

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ

И. Л. Андроников
В. Н. Ганичев
А. В. Гулыга
В. В. Володин (зав. редакцией)
П. А. Капица
А. Г. Кузьмин
Л. М. Леонов
Д. С. Лихачев

И. В. Петрянов-Соколов
П. В. Палиевский
Б. А. Рыбаков
Ю. И. Селезнев
Л. И. Тимофеев
А. А. Тяпкин
В. С. Хелемендик
Н. Н. Яковлев

Макет и оформление
Р. Ф. Тагировой

БИОГРАФИИ.
СТАТЬИ.
МАТЕРИАЛЫ.

М. П. Веремеенко.	«Изъят от действия...» (Документы к биографии В. Ф. Троцкого)	4
Е. Д. Симонов.	Молодость Н. В. Крыленко	13
Виталий Барладым.	Первые черноморцы	36
Борис Костин.	«Для чести и славы отечества...»	44
Ю. Сальников.	В небе Арктики	59
Виктор Уланов.	От имени Москвы (Хроника Большого симфонического. 1941—1943)	73
	Мгновения легендарной жизни (Фоторассказ о Юрии Гагарине)	87

ПОИСКИ.
НАХОДКИ.
ГИПОТЕЗЫ.

Л. И. Тимофеев.	Апокриф?.. Или...	110
Вяч. Черкасский.	Книги для Гоголя	128
Владимир Воропаев.	Из дописательской биографии Н. С. Лескова	143
А. А. Грелов.	Охота пуще неволи (Очерк о писателе Е. Э. Дрианском и его лучшей книге)	168
В. Гуминский.	Экспедиции Озаровской	185
Н. И. Хомчук.	«И снова рвется в бой душа!»	197
Александр Никитин.	Политрук Отечественной	208
В. Ляшенко.		

5000000000 — 202

П — Без объявл.

078(02) — 83

Историко-
биографический
альманах серии
«Жизнь
замечательных
людей»



Москва
«Молодая гвардия»
1983

Том тринадцатый

ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДСТВО

	Александр Блок	215
В. Енишерлов.	«Семья моей матери...»	254
С. Небольсин.	Из родословной А. А. Блока	279

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАЛЕРЕЯ

Н. А. Павлович,		
А. Л. Толмачев.	К биографии художника Болотова	296
В. Д. Пришвина.	Пришвин фотографирует	305

СМЕСЬ

Леонид Фризман.	Обычное дело	332
Е. Кузнецова.	Письмо Ф. И. Тютчева к Ф. Н. Глинке	338
Александр Басманов.	Возвращение памятью	342
З. А. Милютина.	Нарком Милютин	348
В. Дуров.	Из истории советских орденов	358



В. Ф. Троцанский. 1860-е годы.

М. П. Веремеенко

«Изъят от действия...»

Документы
к биографии
В. Ф. Троцанского

В далекой, снежной и морозной Якутии, в Алексеевском (в память Петра Алексеева) районе есть могила, которую якуты называют «могилой ТАРАТААЯ». На выставках, посвященных революционерам XIX века, ему отводят почетное место.

Одну из центральных улиц своего районного центра — Ытык-Кель — якуты назвали именем В. Ф. Троцанского, ибо «Таратаай» — это и есть Троцанский. Русский революционер,

народоволец, родившийся на молдавской земле и умерший в Якутии*.

Василий Филиппович Троцанский не оставил нам своей автобиографии. Более того, условия борьбы заставляли его, революционера, скрывать и свое имя, и фамилию, и время, и место своего рождения, и многое другое.

Сведения о юношеских годах Василия Филипповича крайне скудны и порой противоречивы. В работах ряда исследователей русского революционного движения второй половины XIX века указывается, что В. Ф. Троцанский родился в 1846 году; в других материалах годом его рождения указан 1845-й; по некоторым сведениям — 1843-й.

В 1973 году в Государственном архиве Молдавской ССР мною был найден документ —

* В 1978 году в селе Черкёх Алексеевского района Якутской АССР открыт Мемориальный музей политической ссылки. Отреставрированы и воссозданы юрты и дома, в которых жили В. Ф. Троцанский, П. А. Алексеев, Э. К. Пекарский, В. Г. Короленко и др. (Ред.).

метрическая книга Оргеевской Дмитриевской соборной церкви за 1845 год (ф. 211, оп. 5, ед. хр. 116, связка 68). За 1845 год в марте месяце под № 7 в ней сделана запись о рождении у служащего Оргеевского уездного казначейства, канцеляриста Филиппа Тимофеева Трощанского и его законной жены Марии Ивановны, оба православного вероисповедания, сына Василия. Восприемником (крестным отцом) был оргеевский уездный казначей титулярный советник Иоанн Дымга. Крещение производил города Оргеева соборной Дмитриевской церкви священник Стефан Федоров Балтага с дьяком Дмитрием Литкевичем.

Отец Василий Филиппович — дворянин, коллежский секретарь, по национальности — поляк; в годы 1864—1865-й проживал в городе Кишиневе, в 3-й части, на Харлампиевской улице (ныне улица Стефана Великого), в собственном доме.

Василий в эти годы жил вместе с родителями и учился в Кишиневской областной (впоследствии 1-й) мужской гимназии, о чем свидетельствует хранящаяся в ЦГА МССР «Общая ведомость успеваемости учеников за 1864—1865 гг. 4 класс, параллельное отделение», где под № 26 значится «Трощанский Василий»¹.

В 1866 году Василий Филиппович уезжает в Петербург и поступает первоначально вольнослушателем в строительное училище, а в 1867 году становится студентом Петербургского технологического института.

В дальнейшем во всех делах следственных комиссий и судов он будет значиться как студент Технологического института. А первое дело в С.-Петербургской Судебной палате на него было заведено уже в 1868 году, о чем свидетельствует сопроводительное письмо при его высылке в Вятку за 4 апреля 1870 года:

«...Василий Трощанский уже был замечен, как **крайне неблагонадежный** и в 1868 году по определению С.-Петербургской Судебной Палаты выдержан в смиренном доме три месяца за Богохульство, порицание веры и произнесение дерзких слов против Особы ГОСУДАРЯ Императора»².

Отбыв трехмесячное заключение в смиренном доме, Василий Трощанский возвращается в Технологический институт.

Одной из форм революционной пропаганды среди молодежи были студенческие сходки. Судя по воспоминаниям современников, Трощанский был на них заметной фигурой.

Об одной из таких сходок сохранилось воспоминание И. Е. Деникера:

«Я приехал в Петербург в октябре 1869 года для поступления в Технологический институт; мне было 17 лет. (...) Однажды в Институте подходит ко мне Старицин и говорит: «Желаешь идти на сходку?» — «На какую?» — «Да там собираются студенты, увидите. Коли хотите — зайдите к одному барину и с ним пойдете». Он дал мне адрес.

Я был как помешанный целый день; мысль быть на сходке не выходила у меня из головы. Дождавшись вечера, я пошел по адресу. Зво-

ню — вхожу в большую комнату (...). «Вы г. Трощанский?» — обратился я к открывшему мне дверь. «Нет, — вот он», — и мне показали на небольшого роста человека с черной бородой и быстрыми, пронизательными глазами.

...Сходка была на Мало-Вульфовоу улице, в доме, который занимала целая коммуна; там жили Александров, Натансон, Ивановский, Рождественский и еще несколько мужчин и дам.

При входе в залу собрания нас спросили, от кого мы? Мы сказали имя Трощанского, и нас пустили. Мы пришли довольно рано, но понемногу стал собираться народ, и в конце набралось до 100 человек.

...Я подошел к одному кружку, в котором читали прокламацию, предлагавшую повальное избиевание начальства; как мне сказали после — прокламацию читал Нечаев — но тогда я не обратил особого внимания на чтеца, ибо старался уловить смысл прокламации.

В другом кружке медик Герценштейн ораторствовал о пользе распространения книг в народе (...), что помочь страждущему народу можно лишь распространением образования...

Сходка, вообще, оставила в моей голове большой сумбур; я не знал, что лучше начать делать: распространять ли книги или убивать (...). Я хотел поговорить об этом с Трощанским, но он все где-то пропадал, и, наконец, я узнал, что его высылает, и успел поводить его лишь на минуту, перед высылкой...»³.

Вскоре Трощанский подвергается административной ссылке под гласный надзор полиции в город Вятку. Вот что говорят об этом официальные документы:

«30 марта 1870 г.
№ 936

Секретно.
Господину Начальнику
Вятской губернии.

Признав нужным студента Технологического института Василия Трощанского выслать из С.-Петербурга под надзор Полиции в Вятскую губернию с воспрещением ему выезда в столицы и столичные губернии (...) мною предложено С.-Петербургскому Обер-Полицеймейстеру об отправлении Трощанского к месту назначения.

Министр Внутренних дел Генерал-Адъютант
(подпись)

Правитель Канцелярии

(подпись)»⁴

О деятельности Василия Филипповича во время его пребывания в Вятке рассказывают его ученики и соратники:

Н. А. Чарушин: «Вятка с давних пор была местом ссылки. В старину ссылались сюда опальные бояре и воеводы и лишь с первой половины прошлого столетия было положено начало высылки в Вятку представителей нарождающейся русской интеллигенции, чем-либо возбудивших неудовольствие правительства. Так, в 30-х годах были высланы Герцен (...), в 1849 — Салтыков-Щедрин (...). В 60-х же годах довольно большой контингент сильных дали поляки после восстания 1863 года (...). После повстанцев-Поляков лишь через 5 лет, а именно в 1868 г., в Вятке появился новый ссыльный, известный издатель Фл. Ф. Павлен-



В. Ф. Трощанский. 1870-е годы.

ков, судившийся перед этим в Петербурге за издание им сочинений Писарева. И лишь с 1870 г. в Вятке начинают появляться ссыльные третьей категории, а именно — непосредственные участники начавшегося в России революционного движения [...] Первым в Вятке из этой категории ссыльных был В. Ф. Трощанский, студент Петербургского института, высланный по студенческим делам.

Это был уроженец юга, яркий брюнет, умный и развитой, который вскоре же по своем прибытии в Вятку в 1870 г. стал вращаться в нашем кругу и был почти постоянным участником всех наших собраний и увеселительных поездок за город.

Жил он уроками, между прочим занимался по физике и математике с Кувшинской, подготовлявшейся к сдаче экзамена при предстоящем поступлении ее в Медицинскую Академию.

...Последняя наша встреча с Трощанским была в 72 г., когда я, уже будучи студентом, приезжал в Вятку на каникулы.

Настроение его тогда было сумрачное, и он серьезно начинал тяготиться жизнью в Вятке, откуда уже успели разбегаться или готовились к отъезду все его более близкие знакомые»⁵.

Полиция, под надзор которой Трощанский был выслан в Вятку, ничего не знала о его подлинной деятельности, и на многочисленные предписания губернатора «...представить мне сведения об образе жизни, занятиях, поведении и благонадежности в политическом отношении

упомянутого Трощанского»⁶ каждый раз отвечала: «...имею честь донести <...>, что состоящий под надзором полиции в г. Вятке студент Василий Трощанский поведения хорошего, ни в каких предосудительных поступках замечен не был, занятий же никаких не имеет»⁷.

Ссылка все больше тяготит и угнетает Трощанского. Он рвется в Петербург, туда, где все сильнее и сильнее бьется пульс революционной мысли и действий. Он подает ряд прошений об освобождении его от полицейского надзора и о предоставлении возможности снова поступить в Технологический институт. И неизменно получает отказ. Он пишет прошение о выдаче ему паспорта и документов на поездку «в один из губернских университетских городов для окончания своего образования». И снова отказ.

Непривычный для уроженца юга климат севера, исключительно тяжелые материальные условия существования: от казны ему выплачивалось на наем квартиры 1 рубль 50 копеек в месяц и на питание 15 копеек в сутки; случайные уроки, которые он давал, не слишком обогащали его бюджет; постоянная мучительная тоска по живой кипучей деятельности — все это не могло не сказаться на состоянии здоровья Василия Филипповича.

Три с половиной года прожил Трощанский в вятской ссылке, лишь после врачебного освидетельствования по согласованию министерства внутренних дел с III отделением ему было разрешено переехать для поправления здоровья «...в одну из южных губерний, за исключением Таврической <...>, но с тем однако ж, чтобы за ним продолжался был по-прежнему надзор полиции».

7 ноября 1873 года Василий Филиппович прибыл в город Курск, о чем курский губернатор уведомил своего вятского собрата, что «...состоявший под надзором полиции Вятской губернии бывший студент Технологического института Василий Трощанский прибыл в город Курск и <...> полицейский надзор за ним учрежден»⁸.

9 января 1874 года вышел указ, в котором говорилось, что лица, обвинявшиеся до 1 января 1871 года в произнесении преступных слов против особы государя императора и вследствие этого находившиеся под надзором полиции, подлежат освобождению от такового.

На этом основании министр внутренних дел уведомил Курского губернатора: «...я признаю возможным освободить ныне от полицейского надзора <...> Василия Трощанского с предоставлением ему права проживать, где он пожелает»⁹.

6 марта 1874 года курское городское полицейское управление выдало Василию Трощанскому свидетельство за номером 5457 на проживание в Курске сроком на три месяца.

Но прошло всего несколько дней, и курский губернатор обращается к начальнику курского жандармского управления с просьбой «...о производстве на квартире Трощанского **самого строгого обыска**», при этом сообщает, что им дано предписание полицмейстеру «иметь за

действиями и сношениями Трошанского строгое негласное наблюдение...».

После обыска 24 марта 1874 года помощник начальника курского жандармского управления штабс-капитан Иванов сообщал курскому губернатору: «...мною признано необходимым для пресечения всякой возможности иметь какие-либо сношения, заключить Трошанского в Тюремный Замок для содержания под стражей в отдельном помещении, что и приведено в исполнение по постановлению моему сего же числа...»¹⁰.

А причиной был анонимный донос, в результате которого — строгое негласное наблюдение, обыск, заключение в тюремный замок, дознание.

Вот что писал губернатор в жандармское управление:

«16 марта 1874 г. № 44.

Конфиденциально.

До сведения моего дошло, что состоящий под надзором полиции в г. Курске бывший студент Трошанский распространяет разные политические мнения, находясь под поощряющим к тому влиянием какой-то особы женского пола, находящейся в Вятке, от которой будто бы он получает письма весьма дурного свойства и деньги. По слухам, он собирает у себя на квартире (против Спасской церкви, в доме Татаренкова) разную молодежь, с которой проводит вечера в беседах и чтении книг предосудительного содержания, тщательно им скрываемых от лиц, не принадлежащих к кругу его знакомых (...) Трошанский имеет в виду особенно зазывать в свое общество учащуюся молодежь...»¹¹.

Губернатору отвечает жандармское управление:

«По произведенному мною дознанию о студенте Василии Трошанском обнаружено, что он состоит в подозрительных сношениях с лицами, проживающими в г. Вятке (...) имею честь покорнейше просить Вашего распоряжения, чтобы получаемая в Курской Почтовой Конторе корреспонденция на имя Трошанского (...) была бы задерживаемая и передаваемая Начальнику Жанд. Упр. (...) Также крайне необходимо было бы сообщать ему секретно и письма, адресованные на имя квартирных хозяев Трошанского (...) на случай, не будут ли в числе их письма, назначенные для передачи Трошанскому»¹².

Вслед за всем этим следует распоряжение министра внутренних дел: «...бывший студент Технологического института Василий Трошанский должен быть изъят от действия...»

А затем по соглашению управляющего министерством внутренних дел и главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии последовало еще одно предписание: «...признано необходимым содержащегося под арестом в г. Курске (...) бывшего студента Технологического института Василия Трошанского выслать под надзор полиции в (...) какой-либо уездный город Вятской губернии (...), с тем, чтобы о месте его



В. Ф. Трошанский в период ссылки.

пребывания был извещен Прокурор Харьковской Судебной Палаты по прикосновенности Трошанского к одному политическому делу»¹³.

На основании вышеупомянутого соглашения Трошанский из курского тюремного замка в сопровождении 2-х полицейских служителей был отправлен к московскому обер-полицеймейстеру, с тем, чтобы из Москвы он был препровожден в Вятку»¹⁴.

7 августа 1874 года Василий Филиппович покинул Курск. Позади еще один отрезок жизненного пути — ссылки, обыски, дознания и тюремное заключение.

Московский обер-полицеймейстер передает Трошанского костромскому губернатору, а последний направляет его вятскому, который назначает местом ссылки захолустный городок Яранского уезда Царевосанчурского, куда Трошанский и был отправлен 27 августа. При этом Яранскому уездному исправнику предписывалось: «...учредить за Василием Трошанским самый строжайший надзор через местного пристава (...), обязать царевосанчурского станового пристава, чтобы он (...) прямо от себя доносил г. начальнику губернии о всех действиях Трошанского, поведении, образе жизни и занятиях его (...). Трошанский (...), по всей вероятности, примет все меры, чтобы бежать из места ссылки. Предваряя о сем, я поручаю (...) обязать царевосанчурского станового пристава, чтобы он употребил все возможные меры к предупреждению побега Трошанского»¹⁵.

В городе Орлове (ныне г. Халтуринск), куда Троцкий был доставлен этапом для дальнейшего следования в Царевосанчурск, он заявил, что нездоров, и попросил отправить его в больницу, надеясь, видимо, отсюда бежать.

Пробыл он в больнице неделю, и 7 августа его отправили в Архангельск, а оттуда, 22 ноября 1874 года, в город Мезень. Из Мезени Троцкогоного препроводили в Холмогоры, в ссылку «без срока, строгому, секретному с подчинением корреспонденции полицейскому надзору»¹⁶.

Об условиях существования сыльных в Архангельском крае С. М. Степняк-Кравчинский пишет в своей книге «Россия под властью царей»: «...это была та же тюрьма, хотя и без камер, окруженная бескрайней пустыней, отрезавшей от всего мира надежнее, чем гранитные стены. Вдобавок полиция ни на минуту не спускала глаз с сыльных. Стоило кому-нибудь из них появиться на улице, как за ним уже следили один или два полицейских. Куда бы они ни шли, кого бы ни навещали, кто бы к ним ни приходил, за ними неотступно наблюдали исправник и его жандармы.

Все это приводило сыльных в глубокое уныние; не оставалось уже почти никаких надежд на изменение их положения к лучшему.

...Чтобы устранить (...) попытки к бегству, был издан указ, что всякая такая попытка будет караться высылкой в Восточную Сибирь.

Но побег все равно совершался...

Это было отчаянное предприятие (...), об успехе побега почти нельзя было и думать»¹⁷.

И все же Троцкий из Холмогор бежал!

30 августа 1876 года уездный исправник в своем рапорте «имел честь доложить» архангельскому губернатору, что 29 числа во время утренней проверки Троцкогоного на квартире не оказалось:

«По осмотре его квартиры никаких вещей не найдено, за исключением кожаного чемодана, но у Троцкогоного, кроме платья, которое на нем, другого имущества не было (...) во все время наблюдения за Троцким никогда не замечал, чтобы он дозволял себе куда отлучаться далее городской черты; приговора же к побегу заметить было невозможно, так как Троцкий никаких вещей, кроме чемодана, не имел, а таковой и теперь находится в его квартире.

Спрошенный мною состоящий под надзором полиции студент Медико-Хирургической Академии Никольский (...) показал, что (...) о намерении совершить побег Троцкий никогда ему не сообщал, но часто говорил, что жизнь для него чрезвычайно тяжела и что нужно найти какой-нибудь исход, а потому, быть может, что Троцкий, находясь в крайне стеснительных обстоятельствах (...), забравшись в какое-либо уединенное место, решил покончить свою жизнь.

Состоящий под надзором полиции бывший студент С.-Петербургского Университета Лев Никифоров показал, что (...) ему ничего о намерениях Троцкогоного не могло быть известно. (...) Хозяин квартиры Троцкогоного мещанин

Аксентьев Иван показал (...), что в последний раз он (...) видел Троцкогоного 28 августа по вечеру, (...) 29 же августа он его уже не видел, о чем и заявил городскому, явившемуся поутру для проверки.

...Содержатель перевоза через реку Курополку, мещанин Петр Харитонов показал, что Троцкогоного он на другую сторону реки из города не перевозил.

...О розыске Троцкогоного предписано (...) приставу 1 стана (...) немедленно отправиться по Архангельскому тракту, а и. д. полицейского надзирателя Тюленев с городским командирован по направлению столичного тракта...»¹⁸

Полиция и жандармы сбились с ног. Ищут убежавшего из-под надзора Троцкогоного. По всем направлениям устроены засады. На поимку бежавшего поднята полиция всех уездов Архангельской и ближайших уездов соседних губерний. Поиски не дали результатов.

А Василий Филиппович — в Петербурге. Живет он на нелегальном положении, по подложным паспортам, под чужими фамилиями — то он Павел Егоров, то Павел Григорьевич Жуковский. Под последней фамилией он работает на заводе артиллерийского военного ведомства браковщиком снарядных ящиков.

С первых же дней своего пребывания в Петербурге он устанавливает связи с единомышленниками. И когда осенью 1876 года в Петербурге возникает одна из крупных организаций народников, «Земля и воля», Троцкий становится одним из ее руководителей.

«Земля и воля» развернула энергичную работу по созданию возможно большего числа периферийных народнических организаций, и главным образом в Поволжье и на Урале, где, как полагали землевольцы, сильнее всего дух Разина и Пугачева.

В одну из главных губерний, куда направлялись землевольческие силы, в Саратовскую, выезжает Троцкий, где под фамилией Васильев он служит в земской управе.

Ширилось революционное движение, ужесточались полицейские репрессии.

В 70-х годах в России прошла вереница судебных процессов, среди которых два, всколыхнувших всю Россию. Это процесс «50-ти» в феврале—марте 1877 года, на котором рабочий Петр Алексеев произнес свою знаменитую речь, названную впоследствии В. И. Лениным «процесской». И процесс «193-х» в октябре 1877—январе 1878 года «о революционной пропаганде в империи» — число обвиняемых и арестованных в разных концах России доходило до двух тысяч человек.

Наряду с этим царское правительство стало широко применять внесудебную расправу со своими политическими противниками — административную ссылку, так как опасалось, что даже негласное судебное рассмотрение дел может привлечь к себе общественное мнение. Административная ссылка, говорит С. Крав-

чинский, «стала чумой, опустошавшей русскую землю».

«Душой», инициатором применения всех средств наиболее суровой расправы с участниками революционного движения был шеф жандармов генерал-адъютант Мезенцев. Его слова: «Великодушие к революции немислимо» — стали лозунгом царского правительства.

Революционеры не могли забыть своих самых близких, самых дорогих друзей и товарищей, сосланных на каторгу, заживо замурованных в казематах, повешенных и расстрелянных.

В их сердцах звучали слова осужденных на каторгу и ссылку по процессу «193-х»: «...Мы завещаем нашим товарищам по убеждению идти с прежней энергией и удвоенной бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы страдать и бороться до последнего вздоха»¹⁹.

4 августа 1878 года среди бела дня на улице Петербурга Сергей Кравчинский исполнил смертный приговор революционеров над шефом жандармов Мезенцевым.

Начались усиленные розыски лиц, причастных к убийству Мезенцева. В течение двух с лишним месяцев эти розыски не дали никаких результатов.

Адриан Михайлов писал в «Автобиографии»:

«...Письмоводитель одной из полицейских частей был арестован по подозрению в передаче «революционерам» секретных распоряжений. Арестованный сознался. По его указанию был арестован член нашей организации Троцанский, который вел сношения с ним»²⁰.

Как же обрадовались ищейки, схватив давно ими разыскиваемого, бежавшего из холмогорской ссылки Троцанского!

Из материалов следствия:

«...Задержанный таким образом дворянин Павел Григорьев Жуковский, проживавший по свидетельству Томского Городского полицейского управления от 11 апреля 1877 г. за № 7456 и имевший кроме того метрическое свидетельство, выданное из Томской Духовной Консистории (...) настоящим его имя Василий Филиппов Троцанский (...) 5 мая 1878 г. Троцанский повенчался с дочерью рядового Янковского, о чем сделана надпись на подложном его документе.

Последнее время Троцанский состоял казенным приемщиком патронных ящиков на заводе Растеряева.

Из числа отобранных у него бумаг он признал за ему принадлежащие только тетрадку с выписками из разных сочинений, которые он желал изучить; копии с секретных циркуляров Министра Внутренних Дел, списанные им без цели разглашения у одного знакомого, неизвестно откуда их получившего.

Ключок бумаги, исписанный цифрами, Троцанский разъяснять не пожелал: ответ «Голосу» по поводу статьи в № 252 желал поместить в одной из разрешенных газет.

От знакомства со всеми привлеченными к

настоящему дознанию лицами Троцанский отказался.

Документы Жуковского оказались подложными, кроме надписи о браке (...)

Бланки Новороссийского Университета в количестве 5 оказались поддельными»²¹.

18 ноября 1878 года В. Ф. Троцанский был заключен в Петропавловскую крепость, где провел более полутора лет. Военно-окружной суд состоялся лишь в мае 1880 года. 20 лет каторжных работ — таков был приговор суда. Но и после суда более года «осужденный ссыльнокаторжный преступник» В. Ф. Троцанский содержался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Лишь 20 августа 1881 года его перевели в дом предварительного заключения для дальнейшего следования в Сибирь.

В «Статейном списке о ссыльнокаторжном Государственном преступнике **Василье Филиппове Троцанском**» сказано: «Василий Филиппов Троцанский из дворян, 36 лет, женат на Екатерине Карловой Янковской, где живет и жива ли — не знает, имеет сына Виктора 3-х лет, жив ли — не знает. Крещен в веру православную. Знает сапожное и столярное мастерство. Рост 2 ар. 5 верш. Борода, волосы, брови — черные. Судился в С.-Петербургском Военно-Окружном Суде.

По распоряжению Главного тюремного управлениясылается в Сибирь. Должен следовать в **ножных кандалах с обритою правою половиною головы**»²².

* * *

Путь сибирский дальний...

26 сентября 1881 года из Петербурга отправлена партия ссыльнокаторжных, и среди них Василий Филиппович Троцанский.

Петербург—Тверь—Москва—Нижний Новгород—Казань — здесь на палубу арестантской баржи явился сам губернатор со свитой чиновников, чтобы проверить, все ли одеты в арестантские халаты с бубновым тузом на спине и закованы ли в кандалы те, коим предписано главным тюремным управлением, и обриты ли им головы; а дальше Пермь—Екатеринбург—Тюмень — отсюда на подводах, а иногда пешком—Тобольск — Томск — Красноярск — Нижнеудинск—Иркутск—Чита—Кара.

Мороз, пурга, метели. Города, поселки. Верста за верстой, привалы, дневки и ночевки, и всегда на всем пути тюрьмы... тюрьмы, пересыльные тюрьмы.

Более полугода длился этот скорбный путь Василия Филипповича и его соратников.

5 апреля 1882 года Троцанский в сопровождении двух жандармов был доставлен на Карийскую каторгу.

Небольшая, всего несколько десятков километров длины, речка Кара, приток Шилки, протекающая между сопок, стала местом печально известной Карийской каторги. В 30-х годах прошлого века здесь были открыты золотые россыпи, ставшие собственностью царской фамилии. Для их разработки на Кару начали

отправлять уголовных каторжан, а в 70-х годах и осужденных на каторжные работы политических.

Прошли годы... В «Статейном списке» Василия Филипповича Трошанского добавилась следующая запись:

«В рудничные работы поступил 5 апреля 1882 года. На основании 602 ст. XIV т. о ссыльн. (...) считая срок работы со дня вступления приговора в законную силу по день поступления в рудничные работы, Василий Трошанский пробыл в пути и тюрьмах 1 год 10 месяцев 21 день, из этого на основании 569 ст. о ссыльн. изд. 1857 г. (...) следует исключить 1 год 6 месяцев, которые Трошанский должен был провести в отряде испытываемых, а остальное время до поступления в рудники 4 мес. 21 день должно быть сокращено по ст. 582, считая 10 мес. за год, что составляет 5 мес. 14 дней, затем Трошанскому остается провести в рудниках 8 лет 16 дней.

*Сокращая действительное нахождение его в рудниках по ст. 582 и при замене заводских работ рудничными по 560 ст., т. е. считая 10 мес. за год и год рудничных работ за 1,5 год. заводских, Трошанский должен провести в работе после срока испытания 4 года 10 мес. 10 дней, и таким образом срок работ Трошанского при одобрительном поведении окончится 24.IX—1886 г.»*²³.

Подождал заветный день — 24 сентября 1886 года! Отбыл Трошанский установленный высочайшим повелением срок каторжных работ!

Но еще до окончания срока каторги его дальнейшая судьба была предreshена. Трошанский освобождался с предписанием «поселения в Якутской обл.»²⁴.

Была глубокая сибирская осень, когда Трошанского из Карты отправили в Читу. Из Читы в Иркутск. Из Иркутска в Якутск.

Под «почетным конвоем» — «на почтовых лошадях в сопровождении двух конвоиров из нижних чинов Иркутского резервного пехотного батальона (...) при подлинном (...)» статейном списке, фотографических карточках, одежных записках и медицинских свидетельств... и был Василий Филиппович Трошанский доставлен в город Якутск 14 марта 1887 года.

Якутская ссылка снижала не менее мрачную славу, чем Карийская каторга. Огромная тюрьма без решеток, «белоснежная усыпальница» для русских революционеров.

Петр Алексеев писал своей жене Прасковье Семеновне Ивановской:

«...Сознаю, что не в силах передать то тяжелое впечатление, которое произвела на меня Якутия.

Еще не доехав до места назначения, чем дальше забирался в глушь, чем дальше знакомился с якутами, которых встречал по пути, своими товарищами, поселенными среди них, — на душе становилось тяжелее, мрачные думы не покидали ни на одну минуту, а в голове роились такие вопросы, которые, право, передать боюсь. Силы меня покидали, энергия слабела, чем я был бодр — надежды рушены (...). Ни

одной светлой мысли, ни единого просвета души. Все деревенело, безжалостно гнело меня»²⁵.

Официальным предписанием Василию Трошанскому назначался местом поселения «3-й Жехсогонский наслег Батурусского улуса»²⁶.

Окружное полицейское управление 20 марта отправляет Трошанского под конвоем в Батурускую инородную управу с предписанием «по прибытии его в управу поселить немедленно в названном наслеге». При этом полицейское управление дает знать инородной управе, что Трошанский «лишен всех прав состояния и принадлежит к разряду ссыльно-поселенцев»²⁷.

Место жительства указано. Полицейские правила известны — «не отлучаться», «не нарушать» и т. п. Теперь устраивайся, как можешь, в Батуруском улусе, 3-м Жехсогонском наслеге, в Черкёх, на маленьком холмике, на берегу речки Татта.

На опушке леса жил бедный старик по имени Балыыкка, а на левой стороне приютилась старуха Чекоох, возле часовни стояли дома местного попа и дьячка. Пятым стал дом Трошанского.

Полной лишений и невзгод, но тем не менее даже в таких условиях плодотворной была жизнь и деятельность Василия Филипповича Трошанского в якутской ссылке.

Он организует нелегальный рукописный журнал «Улусный сборник» и становится его редактором.

Его друзья и соратники рассказывают:

Мария Костюрина: «...В. Ф. Трошанский писал целые трактаты... Каждому было что вспомнить и рассказать, поэтому мало-помалу назрела мысль об издании «Улусного сборника». Все с увлечением стали готовить статьи для него.

Душой этого дела был В. Ф. Трошанский; очень живой, остроумный, даже подчас «ядовитый», он любил пошутить и посмеяться над товарищами; деятельный по натуре, он с головой погрузился в это издание: писал, переписывал, собирал материалы, привлекал к сотрудничеству других (...) Гектограф у нас не было, о печатном издании нечего было и мечтать, поэтому приходилось все переписывать. Формат издания — обыкновенная школьная тетрадь. По поводу издания приходилось время от времени поговорить друг с другом: поэтому съезды бывали часты в нашем поселке (...) Первый номер «Улусного сборника» вышел увесистой тетрадью; материала было довольно много и хватило бы еще на два таких же номера, но переписывать было некому; кроме того, мы жили далеко от города, а так как другие товарищи тоже хотели участвовать, то издание было перенесено в Якутск, где и стал выходить «Якутский сборник»²⁸.

М. А. Брагинский: «Никакими зверскими репрессиями не удавалось самодержавию сковать пытлившую мысль своих пленников, даже заброшенных в лесные дебри Якутии.

И уже одно издание «Улусного сборника»

В. Ф. Трошанскій.

НАБРОСКИ О ЯКУТАХЪ ЯКУТСКАГО ОКРУГА.

Подъ редакціей и съ примѣчаніями

Э. К. Пекарскаго.

Титульный лист книги В. Ф. Трошанского «Наброски о якутах».

свидетельствовало о том, что мысль и в ссылке продолжала работать, и не только в головах ее отдельных представителей, но и в ее, так сказать, коллективном мозгу, органом которого и явился названный сборник.

...Главный редактор «Улусного сборника» В. Ф. Трошанский работал не только как исследователь религиозных верований, домашнего быта и брачных обычаев якутов, но и как публицист...»²⁹.

В издании «Сборника» принимали участие Пекарский, Ионов, Виташевский, Натансон, Аптекман, Тютчев и многие другие политические ссыльные.

Изредка В. Ф. Трошанский ездил к своим товарищам, проживавшим в Амге, Чурапче, Татте. Встречался и был в хороших отношениях с Петром Алексеевым, с которым в свое время отбывал каторжные работы на Каре.

Об их отношениях и встречах имеются отрывочные сведения Э. Пекарского, Ф. Кона и др.

Один, а иногда два раза в год, после соответствующего ходатайства, якутский губернатор разрешал Трошанскому, как и другим ссыльно-поселенцам приехать на несколько дней в город Якутск, но при «учреждении за ним надлежащего полицейского надзора».

Прошло пять с половиною лет пребывания Василия Филипповича в якутской ссылке, и... он был «удостоен» «именного Высочайшего Указа»!

Приводим документ полностью.

«Секретно.
Г. Якутскому Окружному
Исправнику.

Якутский Губернатор
по
Областному Управлению
Отделение 2
Стол 1
Для объявления государственному преступнику
Трошанскому.
21 августа 1892 г.
№ 1101
г. Якутск

Канцелярия Иркутского Генерал-Губернатора от 7 Июля с. г. за № 6797 по приказанию Его Превосходительства уведомила меня для зависящего распоряжения, что на основании именного Высочайшего Указа Правительствующему Сенату 17 апреля 1891 г. и по рассмотрении обстоятельств дела о ссыльнопоселенце, государственном преступнике Василии Трошанском Министерством Внутренних Дел признано возможным ввиду одобрительного поведения названного ссыльного применить к нему ст. 3 вышеприведенного Высочайшего Указа, в силу которой Трошанский может ныне же перечислен в крестьяне, а через четырнадцать лет со времени поселения в Сибирь, т. е. 24 сентября 1900 г. получить право избрания места жительства, за исключением столиц и столичных гу-

берний с отдачей на пять лет под надзор местной полиции и признанием его взамен лишения всех прав состояния лишенным по ст. 43 Улож. о наказ. всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ.

Давая знать о сем поручая Вашему Высокоблагородию распорядиться вышеизложенное разрешение Министерства Внутренних Дел отметить в статейном списке ссыльного Трошанского и объявить этому лицу с подпискою, поставив его в известность, что причисление в крестьяне может состояться по представлении им приемного общественного приговора.

И. д. Губернатора (подпись)»³⁰.

К этому документу приложена расписка Трошанского. «Я, нижеподписавшийся государственный ссыльный Василий Трошанский, даю сию расписку в том, что читал распоряжение Министерства Внутренних Дел о разрешении приписаться в крестьяне по предъявлению мною приемного общественного приговора.

Сентября 3 числа 1892 года.

В. Трошанский»³¹.

Таково было всемиростивейшее повеление! Необходимо сказать и о другой стороне деятельности Василия Филипповича Трошанского.

Центральное место почти во всех литературных работах ссыльных революционеров занимали этнография, антропология и фольклор. Именно этот период выдвинул имена политических ссыльных, оставивших после себя глубокий след в краеведении: В. Г. Богораза-Тана, В. И. Иохельсона, Э. К. Пекарского, И. А. Виташевского и В. Ф. Трошанского.

Спустя несколько лет после смерти Василия Филипповича Трошанского благодаря усилиям

его друга Э. К. Пекарского, которому он завещал свои труды, и при содействии председателя Общества истории, этнографии и археологии при Казанском университете профессора Н. Ф. Катанова научно-литературное наследие Василия Филипповича увидело свет. В 1903 году Казанским университетом была издана «Эволюция черной веры (шаманства) у якутов». В 1911 году тем же университетом в «Известиях Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казанском Университете» опубликованы его «Наброски о якутах Якутского округа».

«Эволюция черной веры» до сего времени считается одним из ценнейших трудов в русской и иностранной литературе о шаманстве. Выдающимся явлением в якутоведении называют специалисты и вторую работу В. Ф. Трошанского — «Наброски о якутах Якутского округа». Не менее известна и третья работа — «Опыт программы для собирания сведений о дохристианских верованиях якутов», опубликованная в XIV томе «Известий Общества Археологии, Истории и Этнографии при Казанском Университете», а затем перепечатанная «Живой Стариной» за 1911 год (под редакцией Э. К. Пекарского).

26 января 1898 года 3-е Жехсогонское родовое управление за № 9 отправило в Батурушскую инородную управу донесение: «Вчерашнего числа умер ссыльнопоселенец Василий Филиппов Трошанский»³².

Он долго и тяжело болел и умер на руках у своего друга В. М. Ионина, который и похоронил Василия Филипповича на берегу речки Татта, неподалеку от его юрты, из которой «поднялся пятый дым» в Черкёх.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ЦГА МССР, ф. 156, оп. 1, ед. хр. 1153.

² Государственный архив Архангельской обл., ф. 1, оп. 4, т. 1, д. 2357, л. 15.

³ Воспоминания Деникера И. Е. — «Каторга и ссылка», 1924, № 4, с. 22—25.

⁴ Государственный архив Архангельской обл., ф. 1, оп. 4, т. 1, д. 2357, л. 14.

⁵ Чарушин Н. А. О далеком прошлом. Из воспоминаний о революционном движении 1870-х гг. М., 1926, с. 58—61.

⁶ Государственный архив Кировской обл., ф. 582, оп. 132, ед. хр. 125, л. 8 об.

⁷ Там же, л. 9 об.

⁸ Там же, оп. 130, ед. хр. 2029, л. 6.

⁹ Государственный архив Архангельской обл., ф. 1, оп. 4, т. 1, д. 2357, л. 64.

¹⁰ Там же, л. 70.

¹¹ Там же, л. 67 и 67 об.

¹² Там же, л. 71.

¹³ Государственный архив Кировской обл., ф. 582, оп. 130, ед. хр. 2029, л. 10 и 10 об., 12 и 12 об.

¹⁴ Там же, л. 12 об.

¹⁵ Там же, л. 18.

¹⁶ Там же, л. 13 и 13 об., 14, 15 и 15 об.

¹⁷ Степняк-Кравчинский С. М. Россия под властью царей. М., 1964, с. 205, 206, 212, 219—220, 224.

¹⁸ Государственный архив Архангельской обл., ф. 1, оп. 4, т. 1, д. 2357, л. 163 и 163 об., 164 и 164 об., 165 и 165 об., 166.

¹⁹ Богучарский В. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912, с. 305—306.

²⁰ Михайлов А. Ф. Автобиография, написанная в мае 1926 г. Приложение к т. 40 Энциклопедического словаря «Гранат», с. 275.

²¹ Государственный исторический архив Ленинградской обл., ф. 2073, оп. 2, ед. хр. 50, л. 45.

²² Там же, л. 79 об. и 80.

²³ Там же, л. 83.

²⁴ Центральный государственный исторический архив СССР (г. Ленинград), ф. 1405, оп. 76, ед. хр. 7344, л. 190.

²⁵ Центральный государственный архив Якутской АССР, ф. 12, оп. 15, ед. хр. 169.

²⁶ Там же.

²⁷ Государственный архив Читинской обл., ф. 1, оп. 1(п), ед. хр. 477, л. 33.

²⁸ Костюрина М. Молодые годы (Арест, тюрьма, ссылка). — «Каторга и ссылка», 1926, № 3, с. 191—193.

²⁹ Брагинский М. А. 100 лет якутской ссылки. Сборник якутского землячества. Изд-во политкаторжан. М., 1934, с. 164.

³⁰ Центральный государственный архив Якутской АССР, ф. 12, оп. 15, ед. хр. 169.

³¹ Там же.

³² Там же, ф. 28, оп. 1, д. 65, л. 1 и 1 об.



Н. В. Крыленко.

Е. Д. Симонов

Молодость Н. В. Крыленко

Член первого ВЦИК, активный участник Октябрьской революции, член первого Совета Народных Комиссаров, Верховный главнокомандующий и нарком по военным делам (с 1919 г.), председатель Верховного трибунала при ВЦИК, нарком юстиции РСФСР (с 1931 г.), нарком юстиции СССР (с 1936 г.) — таков жизненный путь большевика ленинской гвардии, профессионального революционера Николая Васильевича Крыленко. А вначале было революционное студенческое движение 1904—1907 годов, один из организаторов и руководителей которого — Николай Крыленко...

Все вновь Николаю Крыленко в столице Российской империи. И занавешенные туманом шпили, колоннады, ансамбли дворцов, и кареты «четверкой» с золотом гербов на дверцах, и тут же «золотая рота» — босяки на разгрузке барж, и встречи с теми, кого знал лишь по «Отечественным запискам» либо «Русскому богатству». И лабиринт университетских коридоров, все это закружило, оглушило.

Он невысок, крутой лоб, быстрый, мгновенно оценивающий взгляд. Под густо-зеленой форменной тужуркой не сорочка с тугим крахмальным воротничком, а простая, под стать мастеровому, ситцевая косоворотка. Вдыхает, жадно пьет воздух петровского ансамбля Двенадцати коллегий, где университет. Он идет гулкой, по всей длине здания галерей и бесконечными внутренними дворами и заглядывает в тень неглубоких повторяющихся аркад с полками неразрезанных книг, развалами букинистов, лезущими в глаза объявлениями, вроде:

*«Формы для гг. студентов выгодно изготовляет
пажекого»*

*Его императорского Величества корпуса
Торговый дом военного платья
Альфред Майер.*

*гг. студенты пользуются скидкой
от 2 до 3 %».*

Вчерашний гимназист, он может запросто распахнуть тяжелую дубовую дверь, без особого пиетета войти в аудиторию, где звучали лекции Гоголя или Сеченова, а то и примоститься на той скамейке, на коей сживали Писарев и Кропоткин.

Петербургский университет по стажу не старший, всего лишь шестой в России, но по научному весу, созвездия умов с ним могут тягаться разве что Петровско-Разумовская академия под Москвой да Высшее техническое училище той же первопрестольной.

«Определенная политическая атмосфера, окружающая меня в семье, неблагонадежность отца, преследования, которым он подвергался — все способствовало тому, чтобы не только изолировать меня и других детей нашей довольно большой семьи от растлевающего влияния чиновничьей среды, в которой мы все теперь очутились, но и развить интерес к общественным наукам и общественной деятельности помимо казенной науки», — напишет в «Автобиографии» Николай Васильевич Крыленко¹.

Отец его, Василий Абрамович Крыленко, еще в студенческие годы в том же университете был замечан как участник антиправительственных сходов, недовольство властей вызовет и его деятельность публициста и редактора в Смоленской губернии.

Отнюдь не случайно привлекают Николая гуманитарные науки. В той же «Автобиографии» он писал: «Выбор истор.-фил. факультета был сделан мной вполне сознательно, как продолжение увлечения историческими и в особенности общественными социологическими науками».

На факультете его ждут встречи с египтологом Б. А. Тураевым, историком Руси С. Ф. Платоновым, антиковедом С. А. Жебелевым (будущими академиками), лингвистом И. А. Бодуэном де Куртенэ, которому суждено будет перепечатать со своими дополнениями классический далаевский словарь.

А рядом с ними гвардейского роста профессор — багровое лицо, торчащие из всех карманов вицмундира биржевые бюллетени. Это политэкономист Вреден, о котором уже сложили: «Не столь Вреден, сколь бесполезен». Прогорев в биржевых спекуляциях, подался на ниву просвещения. На экзаменах провертывает по сотне студентов за день. Едва очередной экзаменующийся откроет рот, он приложится к поставленной на кафедру бутылке с этикеткой «Зельтерская вода» — и «Прошу следующего». Как-то один студент закатился, налил себе из бутылки, отхлебнул: «Там же водка!»

Крыленко вступает под своды того учебного заведения, которое можно по праву именовать «цитаделью революционных идей». После отмены в 1855 году «ограничительной нормы» поступления в университет, введенной Николаем I после событий 1848 года, густо пошел сюда образованный разночинец. Вскоре возрастает общее число студентов, идет демократизация состава.

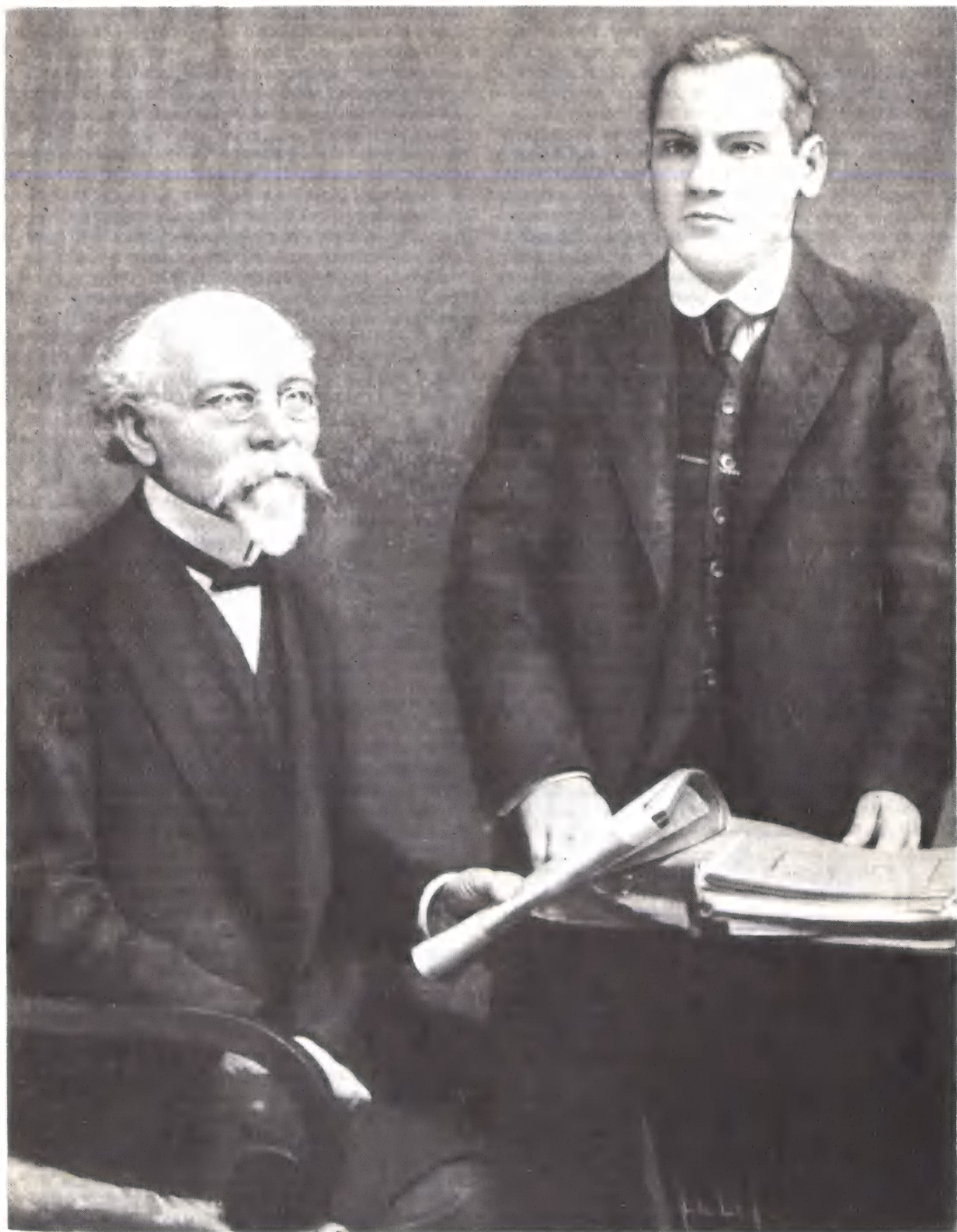
Поначалу чисто корпоративное студенческое движение ширится, осознает себя как частицу общереволюционной борьбы. Множит ряды фабрично-заводской Питер, в студенческих социал-демократических группах мужают те, кто понесет убеждающее учение марксизма к рабочим, подымая их на борьбу. К 90-м годам относится переезд из Самары в Петербург В. И. Ленина, событие, которое Г. М. Кржижановский сравнит с животворным по своим последствиям грозным разрядом. Несколько лет спустя, закончив статью «Внутреннее обозрение», В. И. Ленин добавит к ней в высшей степени примечательную сноску: «...Может быть, история возложит на студенчество роль застрельщика и в решительной схватке...»².

Бурным станет для университета последний год XIX столетия. В феврале — демонстрационный «всеобщий исход» из актового зала в ответ на угрозы ректора Сергеевича по адресу студентов. В июле новая буря, первой ее тучей было возмущение студенчества «Временными правилами об отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаляемых из сих заведений за учинение скопом беспорядков».

Правительство, верное своей политике кнута и пряника, берется на сей раз за кнут: суд отдаст в солдаты 183 киевских студента. В. И. Ленин публикует в «Искре» (февраль 1901 года) гневную статью «Отдача в солдаты 183-х студентов». Правительство выталкивает студентов в армию, «эту школу произвола и насилия»... «рассчитывает в этой школе обучить «бунтовщиков» дисциплине. Не ошибется ли оно в своем расчете? Не будет ли школа русской военной службы военной школой для революции?»³ Статья давала ответ на вопрос, что делать дальше.

Так тяжелый млат, дробя стекло, кует булат. Так крепнет сила сильных, мужество смелых. Поначалу на сходах только студенты, но вскоре учебные аудитории заполняют «глухари» — клепальщики с Адмиралтейского завода, смазчики да коचेгары с Металлического. «Студент шел на помощь рабочему, — рабочий должен прийти на помощь студенту»⁴, — писал В. И. Ленин. Готовить революцию. Выступать сплоченно с рабочими. И даже искусные в своем ремесле Зубатов, Трепов, Плеве поначалу не усматривают назревающей угрозы в том, что движение студентов, которое еще недавно осталось чисто корпоративным, вливается в общереволюционный поток.

После первого студенческого съезда все его делегаты оказались за решеткой. Второй проводится нелегально (Рига, 1902 год). В его реше-



Н. В. Крыленко (справа), 1911 г.

ниях подчеркивается необходимость совместных выступлений с рабочими. В учебных заведениях на смену прежним аморфным объединениям приходят группы, точно определившие свое политическое лицо, в первую очередь это относится к социал-демократам.

В Петербурге первую социал-демократическую организацию студентов создали в Политехническом институте (октябрь 1902 года), в конце 1902 года такая же группа возникла и в университете. Двадцать человек. Первоначальное ядро. Типографски отпечатанная 8 февраля 1903 года декларация извещала от имени группы: «Мы будем способствовать возникновению и мощному развитию политических волнений петербургского студенчества» (следовала целая программа действий).

В 1903 году В. И. Ленин в статье «Задачи революционной молодежи» напоминает: «Студенчество не было бы тем, что оно есть, если бы его политическая группировка не соответствовала политической группировке во всем обществе...»⁵

Ленин неизменно держал в поле зрения дела студенчества, которое он назвал «самой отзывчивой частью интеллигенции»⁶. И на II съезде, положившем начало большевистской партии, стоял вопрос о постановке работы среди учащихся.

Составляя накануне съезда вопросник докладчикам с мест, Ленин вписывает: «Много ли социал-демократов выходит из студентов? Есть ли связи с студенческими кружками, землячествами, союзными советами? Как ведутся эти сношения? — чтения? — распространение литературы? Преобладающее настроение в студенчестве и история смены разных настроений.

Отношение к студенческим волнениям?

Участие студентов в демонстрациях? Попытки заранее сговориться об этом?

Студенты как пропагандисты, подготовка их?»⁷.

Лекция по курсу «Обязательное богословие». Протоиерей Рождественский намеревается с первого же часа создать атмосферу этакого дружелюбия. По-отечески беседует с паствой.

— Итак, мой друг... э-м-м... Крыленков, давайте знакомиться. Начнем с того: в честь кого же нарекли вас батюшка с матушкой во святом крещении? Во имя Николая-чудотворца из Мир Ликийских? Угадал?

— Не совсем так, господин профессор. Не совсем так.

— Понимаю, понимаю. Есть и другие Николай. Достоин носили это имя и лица августейших фамилий, и миряне, и великомученики. Да и иные деятели, оставившие приметный след в истории отечества.

— Приблизились к истине. Наречен в честь Николая, — пауза, — Николая Ивановича Кибальчича.

...Студент готов освитьать взгромоздившегося на профессорскую кафедру обскуранта, но он может и час и другой слушать, не шевельнувшись, полюбившего лектора. Николай спешит загодя занять место в Старофизической аудито-

рии. Не только историки, густо набились и биологи с химиками, мелькают форменные кители соседей — слушателей Военно-медицинской академии, явились даже будущие богословы.

А курс, вообще-то говоря, факультативный, ни обязательного посещения, ни зачета. «История общественных движений Запада». Но сказал же кто-то из философов про обязательность необязательного. Отсюда и забытая до отказа аудитория. Улыбаясь, занял кафедру молодожайный лектор. Крыленко впервые слушает Тарле.

...Всего лишь год жизни в столице, обучения в университете, но студент второго курса Николай Крыленко уже становится приметной фигурой в рядах революционного движения студентов.

Восемнадцатое октября тысяча девятьсот четвертого года... По аудитории ползет записка, но передают ее с тщательным отбором, прочитавший последний должен будет уничтожить. И так, сходка состоится в Соляном городке...

Один из вожakov университетских социал-демократов, Энгель, постукивает указкой по графину: «Сходку объявляю открытой. На повестке — поддержка резолюции товарищей из «Политехнички». По поручению «Объединенной» слово товарищу Николаю!»

Пока вставшие у двери (две другие предвзительно замкнули) оглядывали входящих, Крыленко, всматриваясь в аудиторию, прикидывал: пожалуй, собралось побольше тысячи. А ведь до этого дня не доводилось ему видеть перед собой больше полусотни слушающих. А тут?.. Он пускается в большое плавание. В бурное море.

Автор этих строк услышит наркома Крыленко через четверть века после этой сходки, во времена, когда Крыленко станет оратором такого же масштаба, что и Луначарский, Дзержинский, Клара Цеткин. Но, по свидетельству тех, кто знал его студентом, и тогда умел он завладеть аудиторией.

Незадолго до университетской сходки студенты «Политехнички» приняли резолюцию — проект ее предложен «Объединенной» организацией — три параграфа, далеко выходящие за рамки прежних, чисто академических требований:

«§ 1. Выражаем недоверие правительству.

§ 2. Немедля прекратить позорную войну с Японией.

§ 3. Созвать на началах всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права Учредительное собрание»⁸.

Теперь очередь университета. Резолюцию предлагает Крыленко. Лес рук за. Призывные слова «Марсельезы» из распахнувшихся дверей.

«Здание университета становится таким образом ареной дерзкой и безнаказанной пропаганды крайних революционных идей среди низших слоев городского населения»⁹, — спешит сообщить по начальству полиция.

А выступление Николая Крыленко на сходке 18 октября обратило на себя внимание членов Петербургской организации РСДРП.

Крыленко только еще второй год в столице, но в «Автобиографии» читаем: «Из публичных выступлений этого времени (до конца 1904 г.) следует отнестись участие в студенческих нелегальных собраниях и уличных демонстрациях (28 ноября) и нелегальных смешанных собраниях с участием интеллигенции и вождей тогдашней земской либеральной России — Родичева, Прокоповича и других, где дебатировались вопросы т. наз. «банкетной компании» и тезисы земского совещания 7—8 ноября 1904 года. Несмотря на то, что формально я в организацию с.-д. не входил, тем не менее мне приходилось выступать против земцев и либералов в защиту всеобщего избирательного права против правого крыла земской либеральной оппозиции от имени с.-д.». А в декабре 1904 года произошло событие, определившее всю дальнейшую жизнь Николая Крыленко. В «Автобиографии» он скажет об этом: «...и от организации эсеров и от эсдэков почти одновременно получил предложение формального вступления в партию. Я выбрал большевиков (декабрь 1904 г.)».

9 января 1905 года. Кровавое воскресенье всколыхнуло всю Россию. Забастовки. Стачки. Митинги. Первая русская революция началась. И молодежь, в том числе студенческая, в первых рядах ее борцов. Это позволило Владимиру Ильичу Ленину уже 11 февраля 1905 года в письме к А. А. Богданову и С. И. Гусеву рекомендовать местным организациям РСДРП многократно увеличивать ряды за счет молодых. «Молодежь решит исход всей борьбы, и студенческая и еще больше рабочая молодежь...»¹⁰.

Ширится круг людей, с которыми сводит Николая судьба... Костя Жарновецкий. Стройный, в аккуратно отглаженной форменной туатурке, со стрелками модных усиков, отброшенной со лба шевелюрой. Скромнен. Исполнитель. Терпеть не может звонких фраз. Прикажет партия, и он без колебаний пойдет на самое трудное.

Дмитрий Мануильский. На два года постарше Николая, в революции с гимназической скамьи. А познакомились на дружеской вечеринке, Дмитрий артистически имитировал и медоточивого отца-богослова, и пшюттоватого картоваго вождя академистов Энгельгардта, и сокурсника, филолога Макса Фасмера, уговаривавшего «делать вашу русскую революцию не столь громогласно, мешаете же готовиться к сессии».

Это он, Митя, под кличкой «Мефодий» поднимал на стачку фабричных с Лесснера. Как «Фома» был вхож к матросам гвардейского полкукапа. Год спустя партию уведомят о том, что узнику Вологодской тюрьмы Мануильскому уготован «стоыпинский галстук» (виселица), но двое заключенных вынесут из каталажки полную книг большую корзину-гусятницу. В ней Мануильского.

Александр Игнатьев. Большелобый. С резко выступающими надбровными дугами, темными бакенбардами. Естественник. Ученый уживается в нем с человеком действий, притом самых решительных. Сын действительного статского

советника, он к концу 1905 года окажется в дружине боевиков.

В барском доме отца, близ финского села Яхи-Ярви, студент университета Игнатьев скрытно наладил производство пикриновой кислоты. И боевики Петербургского комитета партии сообщат: «Вчера на дальних дюнах Игнатьевым открыт наш артиллерийский полигон. На испытании бомб составы № 1 и № 3 срабатывали ненадежно. Состав № 2 разрывает чугунную оболочку точно. Поражаемость осколками, убийная сила для уличных боев вполне достаточна».

В наше время, когда стали доступны стройжайше законспирированные списки, увидим мы в перечне «Коллегии митинговых ораторов» имя «Абрам». Это Крыленко. Первое из более чем полутора десятков имен нелегала, под которыми укроет его партия (Рено, Постников, Гурьяк, Абрамов, Брам, Килыч, Киль, Войтенко), другие найдем мы в полицейских архивах, их называл он при арестах (Сидоров, Постников, Лохвицкий), какие-то присвоит ему охранка для ориентировки филеров наружного наблюдения (Малый, Бегун, Номерной).

А в студенческой среде его запомнили как оратора.

В истории Ленинградского университета, выпущенной к его 150-летию, читаем:

«На нелегальных студенческих сходках, в рабочих кварталах Петербурга, на предприятиях Шлиссельбурга, Сестрорецка, Кронштадта часто можно было слышать «товарища Абрама» (партийная кличка Н. В. Крыленко), призывавшего к сплочению революционных сил, к свержению антинародного режима. В 1905—1907 годах Н. В. Крыленко приобрел широкую известность как талантливый агитатор-массовик, один из организаторов революционных кругов студенчества Петербурга»¹¹.

Бывший семинарист А. К. Воронский, избравший путь подпольщика, партийного публициста (в советское время главный редактор первого нашего «толстого» журнала «Красная новь»), вспоминал:

«Идеалом нашим, героем в наших помыслах был «товарищ Абрам», ныне главный прокурор республики товарищ Крыленко. «Товарища Абрама» знал весь Петербург и в особенности фабричные районы. Кажется, не было ни одного крупного митинга или собрания, где бы он не выступал с речами...

Он был нашим сверстником, и его слава и успех не давали нам покоя. Не раз на явочных для агитаторов квартирах Василеостровского района я с завистью, с уважением и преклонением смотрел на его маленькую, крепко сбитую фигуру и самоуверенную линию от лба к носу. Выступающий, не щадя себя, без счета на сходках, митингах, демонстрациях, Николай сорвал голос. Не может говорить. Только силным шепотом. Но его обступили. Расспрашивают. Уговаривают непременно выступить на курсах Лесгафта. «Хоть пару слес». — «Нет, никак не смогу, что хотите делайте со мной». И до чего же было обидно,— признавался Ворон-

ский, — что не может он, подобно Крыленко, провести рукой по горлу, отрицательно мотнув головой. «Куда нам было до именитого и distinguished «товарища Абрама»¹².

В шестидесятые годы доведется нам услышать одну из тех, кто действовал рядом с «товарищем Абрамом».

...Зал Прокуратуры Союза ССР на Пушкинской улице. Вечер памяти Николая Васильевича Крыленко. Рассказывает белая как лунь Мария Леонтьевна Сулимова: «Тогда, в девятьсот пятую, впервые познакомилась с ним. Удивилась. Да, да, именно удивилась. Ведь все мы были достаточно наслышаны и о существовании, и о деяниях «товарища Абрама». Но никто почти не знал из нас, что он и есть студент Крыленко. Утверждая состав большевистской боевой организации, столкнулась с ним лицом к лицу.

Впечатление? Лучшего быть не может! Боевой, воинственный по самому духу своему, человек пылкого темперамента. И вместе с тем прирожденный конспиратор. Организаторы встречали его то на одном заводе, то на другом, и везде призывал он к восстанию. Соединял пламенность с деловитостью. Сагитирует и тут же присоветует, где оружием обзаводиться, как у себя в цехах кинжалы изготовлять, бомбы. Могильные решетки научил перековывать на колющее оружие. «Для похоронного бюро царизма».

Молод был тогда «Абрам» и горяч, а поглядишь, так подумаешь, что за его спиной многие десятки лет подполья. А не было ведь ему и двадцати. Вспоминается завод Семяникова. День массовых митингов. Тысячи голов перед нами. Возгласы одобрения. Взлетают над головами карты. Но возбуждение оратора не мешало нашему «Абраму» в многотысячной толпе углядеть шпики. «Не теряться, Манечка. Гороховые пальто не за вами, явно за мной явились. Вам это только на руку. Успевает незаметно стусеваться». — «А вы, Абрам?» — «Прошу не беспокоиться. Скроюсь в лучшем виде». — «Но слово сейчас предоставят вам: будете ли выступать?» — «Никаких сомнений. Митинг проведем как ни в чем не бывало. Для этого нас сюда и отрядили».

... И вот прозвучала последняя его фраза. И... словно и не было здесь никакого «Абрама». Промелькнула где-то в толпе каракулевая шапка. И — нет. А шпики считали, что он уже у них в лапах. Сторожат все входы-выходы. А оратор тем временем перемаршал один забор, другой. Ищи ветра в поле. Его по всему Семяниковскому заводу шпики с далматами * ловят, он уже на Металлическом меньшевиков громит».

Рабочие окраины Питера, ближние к нему пролетарские гнезда — Колпино, Сестрорецк, Кронштадт, Шлиссельбург. Сюда то и дело надевается невысокий, быстрый в делах и в ре-

чи, готовый схватиться с любыми авторитетами от меньшевиков и эсеров «товарищ Абрам». Теперь мы бы назвали «партийным поручением» его деятельность агитатора-пропагандиста группы содействия при Петербургском комитете большевиков.

Когда идешь в наши дни от стрелки Васильевского острова к университету, издали бросается в глаза белеющая на фасаде мемориальная доска:

«Здесь в 1905 г. проводились многотысячные митинги рабочих и революционного студенчества».

Первая общестуденческая массовая сходка в знак протеста против закрытия правительством высших учебных заведений состоялась в университете 7 февраля.

...Заполненные сверх всякой вместимости аудитория, коридор, марши мраморной лестницы. Околачивающийся у дверей субинспектор пометил на крахмальной манжетке: «Безработный» (кличка Мануильского). А это что?.. Нет, не ослышался. Из аудитории донесся благолепный распев «Вечной памяти».

За «Безработным» слово «товарищу Абраму». Рубит с плеча. «Земский собор — затея трусоватых либералов. Не собор нужен, но всенародное Учредительное собрание. Борьба. От оружия критики к критике оружием. Ergo — всенародное ополчение. Университеты закрыть. На все время борьбы против исторически изжившей самое себя монархии с ее монархом».

И тут с верхних ярусов раскатившийся, протодьяконовски оглушительный бас Гоглидзе: «Августейшему монарху со чады и домочадцы и думные его дьяки «Вечная память». Не стовариваясь, с хохотом подхватили, пропели по панихидному чину все пятнадцать раз.

И снова к делу. «Ставится на голосование резолюция, вносимая группой [большевиков] об отношении студенчества к политической забастовке. За — 2378, против — 66, воздержались — 42.

Повестка исчерпана.

Какое!.. Мануильский подбегает к золоченой раме, обрамляющей сонный лик Николая Второго, указкой колет, рвет, разрывает в клочья августейшее изображение. А у выхода со звоном летят пятачальные, полтины и даже целковые в папаху с надписью: «На бомбу Трепову». Те, кому это надлежит, ужами выскальзывают из толпы... Звонить! Вызвать! Пресечь!.. Куда там... Телефоны молчат: работа физиков, снопы всех проводов на крышах подсоединили к водосточным трубам.

В этот же день в аудитории номер девять созвали контрсходку академики. Отторгнуть благомыслящую часть студенчества от той пропасти, в которую ее тянут. Имеют быть заслушаны соображения господ профессоров Савича с Боровитиновым, будут оглашены «Маленькие письма» Суворина из «Нового времени». На собрание не наскребли и девятина душ. А «Дело об оскверненном портрете» дошло до царя. Усмотрели покусение на «освященном законе» образ правления», выговор ректору Жданову

* Стражи внутризаводской охраны.

с инспектором Лысцовым, «высочайшее неудовольствие» всему университету. Студенты исключены с правом ходатайства об обратном поступлении. Подумать только, императорский университет образовал «республику в столице самодержавия».

Когда Ленину доведется со временем рассказывать молодым швейцарским социалистам о первой русской революции, он вспомнит, как «...открылись двери университетов, и аудитории, которые в мирное время предназначались исключительно для того, чтобы дурманить молодые головы профессорской кафедральной мудростью и превращать их в покорных слуг буржуазии и царизма, служили теперь местами собраний для тысяч и тысяч рабочих, ремесленников, служащих, которые открыли и свободно обсуждали политические вопросы»¹³.

Крыленко так вспоминает это время: «...при моем участии проходят все сходки в университете...» («Автобиография»). Его берет на заметку охранка.

Совершенно секретно.

*«Записка
отделения по охране общественной
безопасности и порядка в столице
Его превосходительству Господину Директору
Департамента полиции
28-го февраля 1905 г.
№ 145*

Вчерашнего числа, около 3-х часов дня в слободу Александровку на дачу Константина Сердаковского был проведен наблюдаемый Отделением, известный Департаменту полиции Константин Сигизмундов Жарновецкий, при чем агент сообщил, что на указанной даче собралось до 20 человек учащейся молодежи.

Жарновецкий видный член группы «Вооруженное восстание»¹⁴.

Начальник охраны Герасимов докладывал далее, что командированный им офицер переписал всех гостей. И не без сожаления констатирует: собрание носило частный характер, никто не задержан. Под № 3 в этом перечне «студент Санкт-Петербургского университета Н. Васильев Крыленко».

Собрались они для решения не терпящих отлагательства дел: раскрепить по учебным заведениям членов «Объединенной», использовать в партийных целях бал технологов. Попутно отвергли затею кое-кого из бестужевков: объединяться и жить отныне в «социалистических лабораториях». Эти подобию толстовских колоний на руку только полиции. Зато опыт созданной для легальности санитарной фракции студенческой столовки Технологического одобрили: с точки зрения властей, затея вполне невинная, на деле же возможность вполне легально собирать материал о труде и жизни рабочих ближних заводов, их нещадной эксплуатации.

И что ни день, то сходки, сходки, сходки в нарастающем количестве... На них идет не только студент, но и рабочий. Николай уже отличает тугих на ухо «глухарей»-котельщиков с Охты от свинцово-серых с лица типографщиков Сувори-

на, темнолицых вагранщиков с Адмиралтейского. А эти кто? Дорогие макинтоши. Заломленные котелки? Трости с набалдашниками слоновой кости? Господа корреспонденты записывают речи, вот что можно прочитать в берлинской «Фоссише Цайтунг»:

«Ход студенческих собраний и резолюции их показывают, что студенчество приняло пароль социал-демократических вождей: превращать университеты в места народных собраний и таким образом нести революцию в широкие массы населения».

Первейшим делом считает Николай Крыленко работу на Металлическом заводе. Туда его направил Петербургский комитет.

Старый большевик А. В. Буров вспоминает: «Разыскал там (в столовой университета.— Е. С.) Абрама, сообщил ему о митинге и просил его обязательно прийти. Абрама мы знали по университетским выступлениям и любили его за горячие речи, за русскую рубашку с поясом. Я был убежден, что такой оратор, как Абрам, на таком важном собрании, где решаться будет наша судьба, нам необходим. Сообщил ему, что почти все заводы Московской заставы забастовали и выбрали депутатов и придут на митинг.

Абрам не особенно был доволен сообщением и стал доказывать, что не случайные депутаты должны руководить движением, а партия, а то опять выйдет гапоновщина.

Я не возражал, но только усиленно просил его прийти на митинг»¹⁵.

Новый день «товарища Абрама» начинается в комитете Полжостровского подрайона (самое крупное предприятие — Металлический, здесь же заводы Розенкранца, «Феликс»). На столе — месячная рапортчика фабричной инспекции за первый месяц девяносто пятого, раздобыли единомышленники из заводской конторы:

«С.-Петербургский Металлический завод. Заведение машиностроительное, 8-й группы. Число рабочих — 2000.

Число принимавших участие в забастовке — все.

Продолжительность забастовки 7—18 января — 9 дней.

Число потерянных рабочих дней — 18 000. Причины забастовки — общие»¹⁶.

Конкуренция, борьба за прибыли заставили 150 фабрикантов посетить в том же январе министра финансов В. Н. Коковцева. «Общество для содействия улучшению и развитию фабрично-заводской промышленности», которое существует с 1897 года, будет отныне откровенно именоваться «Общество заводчиков и фабрикантов». Во главе — миллионщик, король нефти и динамита Э. Нобель. А директор Металлического Н. Лесенко с управляющим И. Панковым играют не последнюю скрипку в «Особой комиссии по борьбе со стачками».

В доме наемных квартир у токаря Касаткина скинет Крыленко студенческую тужурку, облачится в замызанную робу чертовой кожи, обяжется плотным фартуком. «Жестянку», личный

рабочий номер отштамповал ему медник Дмитриченко.

«Я подошел к заводским воротам, в руках у меня были «Биржевые ведомости» — это был сигнал, по которому меня должны были узнать, — и остановился напротив ворот... Гудок, ворота открывают, рабочие выходят, ко мне сразу подходит двое товарищей, видят, что у меня газета.

— Вы?

— Я.

— Начнем.

Сейчас же останавливаются тут же на улице:

— Стой, стой, все стой, не уходи!

«Столпились на улице, надо ловить момент... Не помню, на что влез... «Товарищи!»... и началась речь. Окончил. Тут окружили плотную и все вместе с толпой уходим подальше».

И опять поспешай в проходную, не спутай «свой» гвоздь с чужим, не глядя повесь «восемьсот тринадцатый» — и в цеха. Спокойнее! Увереннее! Каждый второй из прощупывающих незнакомые лица далматов на содержании у охранника.

А завод гудит, оглушает грохотом кувалд, вспыхивает пламенными протуберанцами литейки. И народ на заводе подходящий. Отличает его не только отменная квалификация питерских мастеровых. Сильны силой дружных. «А ну, барабанщик, бей большой сбор!» И ударили по медному паровозному винту ручниками, кувалдами.

На сей раз встреча в механическом цехе... Горки деталей. Едкий запах керосина, машинного масла. Крыленко приостанавливается возле серо-синеватого кольца, напоминающего поворотный круг паровозного депо. Но этот для башни боевого корабля.

Перед митингом рассказали ему, как «помог» оснастить нелегальную типографию не кто-нибудь, сам управляющий Панков. Заявляется он в цех. Слесарь Аксенов докладывает: «На сборке полный порядок, только с отливки пять валков с брачком». Панков доволен. Аксенов: «Так и так, проявите снисхождение, разрешите взять валок из непоправимого брака». — «На что он тебе?» — «Да не мне лично. В деревню. Старый вал в колодце начисто проржавел». — «На общественные нужды позволяю. Скажешь от моего имени мастеру. И всему миру поклон от меня».

Так получили валок, надраили, распилили, резиной обтянули. Есть свой гектограф.

Незадолго до митинга влетел взбудораженный парнишка: «Сами управляющий с okolоточным! Не замели бы гостя». Сборщики втолкнули Крыленко в броневую башню, захлопнули массивную дверь.

Баррикадные бои в Лодзи. Знамя революции над броненосцем «Потемкин». Лондонский III съезд партии, выдвигающий на первый план вооруженное восстание. Правительство в тревоге. Под парами судно, дабы могла покинуть в

случае чего страну царская фамилия, перебравшаяся в Петергоф, где рукой подать до моря и не останавят скованные забастовкой железные дороги.

«Чем и как приостановить революцию?..»

Правительство делает ход конем. Ради успокоения широких общественных кругов царским рескриптом созвана Государственная дума. Тремя неделями спустя для умиротворения студентов вводится «автономия» университетов.

Но и тут власти верны себе... Казалось бы, советы профессоров отныне свободным волеизъявлением избирают ректора, его помощников, деканов. Студентам предоставляется право свободно обсуждать волнующие их дела на сходках. Но, что ни пункт, то сводящие его на нет разъяснения. И первая же сходка в университете оценит указ о думе как позорное издательство над народом, пресловутую же университетскую конституцию как ублюдочную реформу.

В самом деле, выборы должностных лиц не имеют силы до утверждения их попечителем округа, сходки не могут быть созываемы без санкции советов профессоров, на которые возлагалась особая забота «о поддержании правильного хода учебной жизни».

В. И. Ленин определит автономию: «Мизерная уступочка, крошечная реформа, проведенная в целях притупления политических противоречий и «примирения» разбойников с ограбляемыми...»¹⁷.

В сентябре ЦК РСДРП обратился «Ко всей учащейся молодежи»: «В своей тяжелой, полной героизма борьбе за лучшее будущее русский рабочий всегда рядом с собой видел и вас, граждане студенты!»¹⁸

Осуществляя решения III съезда РСДРП, большевики вели подготовку к всеобщей политической стачке и вооруженному восстанию. В этой подготовке участвовали и студенты. Они решительно отвергли так называемую «автономию», высочайше дарованную высшим учебным заведениям в августе 1905 года, задуманную с целью потушить революционный пожар.

Политическая ситуация обостряется. 13 сентября на общей сходке студентов Петербургского университета постановили: «...открыть университет для развития в его стенах и вне их широкой работы по подготовке надвигающейся решительной борьбы». За — тысяча семьсот. Против — всего лишь двести сорок три.

Следуя за большевиками, сходка отвергает эсеровскую стратегию «рассеяния студентов из городов», ухода их на землю, закрытия университета. Надо сплачивать ряды в борьбе, быть вместе с пролетариатом. «И пусть наш открытый университет станет для самодержавного правительства более опасен, чем университет бастующий»¹⁹.

Особое совещание кабинета министров предписывает: «Оградить как студентов, так и профессоров от насилия бунтовщиков... При невозможности оградить порядок собственными средствами предложить им обращаться к содействию

вию гражданских (читай, полицейских. — Е.С.) властей»²⁰.

А власти мечутся. Разброд даже в генералитете. Командующий войсками в Киеве Драгомиров счел недостойным для боевого офицера помогать полиции: «Мои солдаты не воюют с мальчишками». Николай II: «Предписываю подовать!» Последователь суворовских традиций, генерал разыгрывает чисто опереточную Вампуку. На позициях полевая артиллерия. Боевые сигналы рожков. Скачут на взмысленных конях ординарцы. Киевский университет блокирован, генерал рапортует: «Вверенные мне войска в полной боевой готовности. Орудия на местах. Неприятеля не выдать». Правительство вынуждено пойти на уступки. Царь ставит 17 октября подпись под пресловутым манифестом, по имени которого назовет себя одна из разновидностей заигрывающей с царизмом буржуазии («октябристы»).

Сизый промозглый туман повис над Петербургом. Скудный свет фонарей не в силах разогнать мглу. Поздняя осень девяносто пятого. Николаю назначил встречу нелегально вернувшийся в Россию Бонч-Бруевич. Ленинский эмиссар. Партийный издатель. Крыленко пофланировал вдоль Караванной, мимо эмалированной дощечки: «Издательство «Вперед». Книжный магазин и склад», резко свернул в подъезд. «Из университета? — осведомился малый с бумажной лентой вокруг головы. — Вы кяде Тому? Тады за мной». Переходы. Повороты. Из-за стола поднялся высокий бородач. Густейшим басом:

— Бонч Центральный. — Подал руку. Попривал очки в простой оправе.

Николай познакомил Владимира Дмитриевича с новыми «Уставными правилами» студенческой организации. Каждый вступивший сознательно принимает социал-демократическую программу. Обязуется работать не только в своем учебном заведении, но, по требованию комитета, в любой социал-демократической организации.

Бонч внимательно перелистал изданные студенчеством листочки, читая вслух заголовки, одобрительно кивал: «Резолюции сходок», «Вести с Кавказа», «Бакинская резня», «К офицерам», «Назад к марксизму».

— И много успела выпустить ваша «фирма»? — показал Бонч на гриф — «Объединенная социал-демократическая организация студентов Санкт-Петербурга». — Пятнадцать наименований менее чем за четыре месяца? И тиражи до четырех тысяч? Ленин — надо вам иметь в виду — неравнодушен к издательской деятельности. В этом он вас, несомненно, одобрит.

Вынул из шведского бюро папку. Крупно вывел: «СПб. Студенч. изд. 1905 г.».

С особой похвалой отозвался Бонч-Бруевич об их мартовской листовке.

Крыленко информировал: вопреки решениям эсеров студенческую забастовку прекратили. Правительство испугалось — митинги,

демонстрации, опять митинги, студент идет вместе с рабочими — приказало закрыть университет с октября 1905 года. В университетской резолюции сказано: начинаем занятия, чтобы превратить учебные заведения «в очаги революционного брожения».

Свои впечатления о Крыленко Бонч-Бруевич изложил двадцать семь лет спустя:

«Крыленко под кличкой «Абрам», обладая более чем выдающимися ораторскими способностями и совершенно незаурядным сангвиническим темпераментом, произносил тогда всюду свои громовые, принципиально выдержанные речи, которые, несмотря на его юный возраст, производили огромное впечатление на рабочих собраниях фабрично-заводских районов. Надо отметить, что в этом молодом таланте было много серьезных социал-демократических знаний, и он совершенно свободно поднимал перчатку, бросаемую ему и кадетами, и эсерами, и незаурядными ораторами других политических партий. Он выступал везде и всюду, переходя с митинга на митинг, с завода на завод, привлекая огромные симпатии к социал-демократической партии самых широких масс населения, и рабочих в частности и в особенности»²¹.

Тринадцатое октября Крыленко назовет для себя «кульминационным пунктом» года. В этот день он председательствует на общепитерском митинге в Технологическом институте. Будет обсуждаться создание нового органа власти — Совета рабочих депутатов. Депутаты уже избраны от заводов и фабрик, в ночь проведет первое свое заседание Петербургский Совет.

Боевик и депутат Совета от Главных вагонных мастерских И. В. Попов вспоминает: «Много раз бывал я на заседаниях Совета (...) Когда Совет заседал в Технологическом институте, в коридорах и на лестницах депутатов встречали восторженные толпы студентов. На заседаниях Совета я много раз видел неумоимого «товарища Абрама». Около него всегда роились рабочие с Выборгской стороны, колпинские, из-за Московской и Невской застав. Всюду его знали и льнули к нему. На заседаниях Совета депутаты докладывали о ходе стачки на заводах, о введении восьмичасового рабочего дня, об организации боевых дружин и изготовлении оружия. А потом начинались бурные продолжительные дебаты, бывало, в прениях высказывалось до тридцати человек»²².

Осенними вечерами девяносто пятого Невский проспект похож на ущелье. С заходом солнца погружен во мглу. Не тарахтит конка. Спущены рифленые жалюзи на витрины магазинов Елисеева, Эйнема, Блинкен и Робинсона. Одиноким лучом чуть прорезает мрак снятый с военного корабля прожектор на Адмиралтействе. Город замер. Всероссийская политическая стачка. Участвуют миллионы. Рабочие, мелкие служащие, присоединились и студенты.

Днем — заводы, квартиры-явки, редакции газет «Новая жизнь», «Волна». Вечерами — казармы лейб-гвардии. Крыленко вместе с Мануильским и Жарновецким в Военной организации при Петербургском комитете РСДРП. Ко-

роток день, правда, в запасе еще ночь, под ее покровом он встречается с боевыми дружинами, помогает собирать бомбы-«македонки», ранним утром учится их метать. Жаль, что еще в Люблине увлеклся велосипедом вместо городков, ведь городошники — готовые метальщики бомб.

Все реже ночует он дома. Нет расчета за полночь вышагивать с Полюстрова на Васильевский, чтобы чуть свет на то же Полюстрово. Переспит у подручного слесаря-сборщика Андрияши Сяркке. (Спортивные корреспонденты наших дней хорошо знали его, «хозяина» крупнейшего в городе стадиона. Вымаливали билеты на очередной «матч века», выслушивали сетования на опять потерявший очки «Зенит» и не подозревали, какова биография почтеннейшего Андрея Оттовича.)

* * *

Царь подписал пресловутый манифест о свободах.

Крыленко от имени ЦК РСДРП выступает перед рабочими Металлического завода. Он страстно избобляет манифест Николая II и призывает не прекращать борьбы до тех пор, пока она не будет победно завершена.

— Возьмите царизм за горло и коленом — на грудь! — восклицал оратор. «Рукой за горло...» — была любимая фраза «Абрама»²³.

На Металлическом началась забастовка. Появились — царскому манифесту не верить.

Рабочий Ново-Бумагопрядильной фабрики Л. Михайлов: «На митинге сошлись самые лучшие агитаторы района всех партий: говорили меньшевики, социалисты-революционеры, гапоновцы, но всех покрывал большевик, тов. Абрам (Н. Крыленко)»²⁴.

Сохранилась беглая запись одной из речей Крыленко. Напомним, что оратор — человек, которому только двадцать. Трибуна — груда чугунных отливок. Зал — гулкий заводской двор.

Из речи Крыленко: «В трусливом трепете перепуганных буржуев и всех реакционных сил Европы я вижу приближение последней бури. Те победные клики, которые потрясают всю Европу, тот змеиный шепот, который раздается во всей России, то «не позволю», которое говорит немецкий пролетариат своему правительству, когда оно хочет послать свои войска в русскую Польшу, то «будем как русские», которое раздается на улицах австрийских городов, — это все отзвуки далеких громов всемирной схватки, огонь которой горит теперь в ваших глазах, это отблеск далеких, пока еще не приближающихся зарниц великой социальной революции, которая положит конец всякому угнетению, всякой эксплуатации, всякому насилию»²⁵.

Манифест не мог обмануть большевиков. Борьба не прекращается. «В этой напряженной борьбе вырастают кадры нашей партии, — вспоминал ветеран Металлического завода М. Базанов. — Вместе с рабочими вырастал мо-

лодой еще тогда, но прекрасный трибун т. Крыленко».

В декабрьские дни 1905 года, когда Николай Крыленко пришел вместе с несколькими товарищами на явку, жандармы окружили подпольщиков. Во время перестрелки Николая ранили. Сумел скрыться. Товарищи устроили в больницу.

Но шипки шли следом; указание партии — на время покинуть Питер.

Николай на неделю уезжает в Люблин и снова возвращается в Питер.

Попадает он как-то под вечер и в родную alma mater. В профессорском гардеробе неизвестный, но чем-то на удивление знакомый, рывком скидывает швейцару тяжелую доху на хорьках. У гостя голый, как колено, череп с шишкообразным наростом на темени. Беспокойно дергающийся носик. Золотое пенсне. По вестибюлю раскатывается: «К нам пожаловал сам Владимир Митрофанович Пуришкевич. В его честь звучит новый гимн «Вперед, академисты!». Музыка господина Виттерта».

Эта первая встреча Крыленко с Пуришкевичем в 1906 году не окажется последней. Судьба сведет не раз на самых неожиданных перекрестках истории писемоводителя думской фракции большевиков Крыленко и депутата IV Государственной думы Пуришкевича, прапорщика действующей армии Крыленко с прибывшим на фронт земгусаром Пуришкевичем, а после Октября — члена Военно-революционного комитета Крыленко с арестованным заговорщиком Пуришкевичем.

Еще в феврале 1906 года партия направляет Крыленко на работу среди солдат. Он член Военной организации при Объединенном комитете РСДРП, действовавшей в Петербурге. Организация ведет работу в частях, издает газету «Казарма».

...Николай спешит на Миллионную. Вот и Зимний с полосатой будкой. Часовой в бескозырке преображенца. В первый батальон этого полка и надлежит проникнуть Крыленко. На сегодня он «родич» рядового Скрипуна. Миновал аквамаринового цвета громаду Зимнего, канавку с чухонской лайбой на мутноватой воде, атлантов Эрмитажа.

Задержался у фонаря напротив крытого перехода, соединяющего Эрмитаж с казармой. Не куда-нибудь идти. Сам главнокомандующий гвардии, брат покойного императора, великий князь Владимир отбирает пополнение лейб-гвардии Преображенского полка, командиром первого его батальона неизменно состоит царствующий монарх. В преображенцы отбирают брюнетов с крупными носами, измайловцы — сплошь блондины, павловцы — курносые, низкорослые.

На Крыленко картуз, сапоги бутылкой, широкая чуйка. Для маскировки в руке завязанные в салфетку кулич с пасхой.

Под сырной пасхой листки решений IV съезда — «О вооруженном восстании», «О пар-

тизанских выступлениях», «О созыве конференции военных организаций». С собой и отгиснутые на тончайшей бумаге брошюры. На обложке — «Долой социал-демократов», внутри — «Программа партии».

Крыленко записывается в книге посетителей. Где же мог видеть этого: морда хорька, рыжая короткая шерсть на башке. Погоны старшего фельдфебеля, но втянутая в плечи шея, согнутая спина, впившиеся в тебя глаза?.. Никакой ты не лейб-гвардеец!.. Была не была?.. Крыленко вынимает шкалик, ломоть ветчины, протягивает «Хорьку»:

— Прощу покорнейше! В честь светлого Христова праздника.

— Благодарствуйте. За ваше драгоценное-с.

— Вы, господин фельдфебель, с какого батальону будете? Не из того ли, где их благородия капитан Мансуров?

— Во-во, ваше степенство. Из третьего. (А третий-то вовсе версты за три отсюда.)

Идет Николай длиннющим, на полверсты, сквозным коридором с высоченными арками. Ряды коек под грубошерстными одедами. Пирамиды аккуратно начиненных винтовок, стойки для тесаков. Присыпанные влажными опилками деревянные полы.

— Христос воскрес, братец! — приветствует ожидающий его солдат.

— Воистину, служивый! — подает узелок Крыленко. — Поклон тебе от деда Федора Пафнутьича да тетушки Аглаи Васильевны, да от самого питерского «Дяденьки» (понимай, Книпович, из ЦК, ее кличка).

Скрипун молод, но сообразил — и вида не подал, что никогда до этого не виделся. Повел по казарме. «Эвон, братец, на воде ботик самого царя Петра Великого. Житье наше гвардейское: на всем готовом да еще полтина в месяц идет». Выпалил громко, на всю казарму. Увел в пустую канцелярию, упикнул литературу в кипу ведомостей.

Рывком вытянулся, когда вошел капитан с чуть выступающими скулами, смуглой кожей.

— К тебе гость, Скрипун?

— Ихние братец двукродный, значит, будем, ваше высокоблагородие.

— Пока еще только «благородие». Честь имею: Мансуров. — Полистал лежащие на столе газеты «Русский инвалид», брошюру «Русское чтение». В приоткрытой двери возникла морда «Хорька», увидев мирно беседующих с самим батальонным, мигом исчез.

На три часа пополудни назначена у «брата» и пропагандиста Военки Давида Ритмана встреча с преобразженцами, саперами, матросами гвардейского полукэкипажа.

...Вот и золоченый купол храма Святого Духа, и дом, где должны ждать их. В руке Крыленко обусловленный выпуск «Пинкертона», вместо закладки еловая ветка. Быстрый обмен фразами пароля с парнем, лихо сплевывающим семечки у калитки.

— Не проезжал здесь офицер?

— Какой?

— Гусарский.

— Их много на острова едет.

И парень ведет проходными дворами в дальний проулок. Аверьян Исаков, Иосиф Беляк, незнакомые саперы. Раздать четвертый номер «Казармы». Ритман принес листок «На пропаганду среди солдат». Столковались, как доставлять свежие номера «Волны», «Курьера»: еще неделя, и весь гарнизон убудет в летние лагеря Нового Петергофа. «Завтра на том же месте».

Подошел май девятьсот шестого. 9-го большой митинг, где большевики неизбежно столкнутся со всеми противостоящими рабочему классу, от меньшевиков до кадетов. Николаю надо еще поспеть до митинга на Выборгскую. Рассказать о бесславном конце Гапона. Не так уж мало было и рабочих, доверявших попуполитикану.

Уверен был в себе этот человек, который даже после 9 января встречался во Франции с Азефом и Анатолем Франсом, Жоресом и Клемансо.

А теперь повешен на пустой даче своими же соратниками — эсерами. В его личном бронированном ящике номер «414» в банке «Лионский кредит» обнаружено четырнадцать тысяч рублей и четырнадцать же тысяч франков.

Сегодняшний митинг назначен в Народном доме видной кадетской функционерки и филантропки графини Паниной. Николаю доводилось бывать здесь... Концерты бесплатные, кружок домашних хозяек, лекции с туманными картинками. Трясаясь в конке, Николай листает выпущенный домом «Календарь». Темы общедоступных лекций: «Ветхий Завет в живописи и поэзии», «Был у Христа младенца сад», «Бог в твоём сердце».

Зал уже полон. Рабочих собралось порядочно. Дело будет...

Первое слово кадету Водовозову: «Что представляет из себя нынешняя Государственная дума и какое к ней отношение населения». Водовозов, невысокий, блондинистый, весьма подвижный, кидал в зал округлые фразы. По Водовозову, именно его партии кадетов суждено, не берясь за оружие, превратить империю в цветник народных свобод.

«Слово предоставляется господину Бартеңеву». К трибуне продвигается некто низенький, пухленький, побледневший. «Да это же один из лидеров меньшевизма, Федор Дан». Крыленко знает его по университету. Бонч-Бруевич называл его «склочных дел мастер». Дан начал с того, что думу следует поддержать. Уподобил тех, кто хочет вести народ в революцию, «кровавому хлысту», порадовав одобрительно кивнувшую Панину.

Отработанным адвокатским поклоном ставит точки над и еще один кадет, Н. А. Огородников: «Надо рассеять недоразумения. Беспочвенные инсинуации о каком-то соглашении конституционно-демократической партии с правительством. Соглашения не было, и позвольте объявить об этом. Только частные переговоры. С одним из представителей власти. По его же инициативе».

Но где же большевики? Только и слышно с трибуны... Согласие. Единство интересов. Не надо обострять. Все это знакомо... Легальность. Доверие. Взаимность. Но где же все-таки большевики?

«От социал-демократов большевиков слово имеет господин Карпов!»

Да никакой же это, товарищи, не «Карпов». Ленин! Вот кто!

С минуту Владимир Ильич стоял молча. Но зал уже узнал его. Уже взорвался.

Николай ждал. Ведь это бой одного против многих. Против всех, кто выступал до него.

«Карпов» обращается к покрывшемуся испариной Дану: «Разоблачение партии кадетов есть не просто руганья. Это необходимейшее, наиболее целесообразное средство отвлечения широких народных масс от половинчатой, робкой, стремящейся к сделке со старой властью либеральной буржуазии». К «народному» социалисту Мякотину, тощему, с тонкой, длинной шеей, словно насаженным на палку черепом: «Бойкот Думы не был ошибкой. Пролетариат должен смести такую Думу». К Водовозовым с Огородниковыми: «Партия народной свободы»? Неизбежен открытый ее поворот против пролетариата и крестьянства».

«Карпов» заканчивал почти конспективно, тезисно, успевая, однако, дать быструю, но беспощадную по точности характеристику и Думе, и представленным в ней партиям. Он извлек листки, исписанные стремительными, наклонными вперед строками. Учтиво поклонившись, передал недоуменно поднявшей брови Паниной:

— Покорнейше прошу председательствующего поставить на голосование.

Резолюцию открывали слова: «Собрание обращает внимание всех граждан», заканчивали: «Собрание выражает уверенность, что пролетариат по-прежнему будет стоять во главе всех революционных элементов народа»²⁶.

Прошла ленинская резолюция.

Зима 1907-го. Крыленко должен встретиться с Лениным в Куоккала, сошел с поезда на перегон раньше. Охранка обложила большевиков со всех сторон, никак нельзя навести ее на след Владимира Ильича.

Отмахал верст с пяток по заснеженному лесу и идет, казалось бы, по беспокойному делу, по тревожному, а все кругом: белизна снегов, могучие сосны, даже ветерок, осыпавший снегом, все-все наполняет чем-то хорошим, уверенным. Замедлил шаг. Возникла за деревьями нескладной архитектуры дача «518» — «Вазз»... В сенях веник из еловых веток. «Ван Ваныч» — Ленин весело потирает руки, вводит в низкий сводчатый коридор. На встречу с Лениным и Крупской приехали Калинин, Крыленко, большевики с заводов, от Металлического — Белостоцкий.

Начало девяносто седьмого года отмечено подготовкой к выборам II Государственной думы. «Булыгинскую» большевики бойкотирова-

ли. Трибуну нынешней Думы решено использовать, чтобы во всеуслышание заявить о нуждах и требованиях рабочих. Но меньшевики вбивают клин, готовят сговор с кадетами. Это и должны узнать на заводах, для этого и съехались к Ленину рабочие делегаты. Надо решить принципиальные вопросы, тактика на выборах во II Думу. Следует ожидать очередных мерзопакостей и со стороны меков и от кадетов.

Слесарь Семен Марков после беседы познакомил Крыленко с делегатом Выборгской стороны. На Металлический Иван Белостоцкий пришел только в ноябре: неудивительно, что не знали друг друга. Большевики поставили Ивана вроде бы на невидную должность — в Бюро регистрации безработных». Лучшего явного пункта и не придумать. Но власти прикрыли бюро, Белостоцкий вернулся на завод.

Белостоцкий поделился, чем живет рабочий люд.

— Нельзя ли собрать народ, потолковать о том, как осадить «черную сотню», да и проискать меньшевиков дать отпор? — осведомился ожившийся Крыленко.

— На Металлическом не соберешься: мигом в кутузку угодишь. Следят за каждым шагом.

Тогда же, на даче, договорились: открыто под большевистскими лозунгами собирать опасно, а потому используем профсоюз металлистов, оформивший себя немногим более полугода на двухтысячном собрании в том же доме Паниной. Недаром же напоминает Ленин: умело сочетать подполье с самой энергичной деятельностью в любых легальных институтах.

Собрались для начала на квартире работника завода. Николай слушали хорошо. Но средних лет дядя сердито прервал:

— Вы все толкуете свое: «Идите к массам!», «Зовите массы!» Все это слова. Какие там массы?

Николай спокойно:

— Знакомая песня. И называется она: «Пускай могила меня закроет». А песенка эта ликвидаторов, которые хотели бы видеть партию революционеров в холодной могиле. Стало быть, вы сами только за спокойненькие, легальные формы — клубы, школы, танцы, игры с фантиками. Чего мы этими фантиками добьемся?

К разгару спора приспели «гости»: пристава, городовые, некто в штатском. Вгляделись... Двое танцуют. Невысокого роста лобастый студент подкручивает колки гитары. На столе студень, пиво «Карнеев и Гаршанов», сеток.

— По какому-то поводу сборище?

— День ангела младшенькой.

— Как звать?

— Крестили Анной.

Полицейский к отрывному календарю. «День пресвятые великомученицы Анны».

— Потрудитесь назвать себя, господин студент.

— Петр Ладыженский. Прошу вас, мой студенческий билет.

«Гости» разочарованно отковыряли.

— Кого же разыскивали?

— Вероятнее всего, меня, — прехладнокров-

но пояснил студент. — Раз уж так, будем знакомы: Николай Крыленко. На Металлическом бывал, и не раз. Собираюсь еще. Так что, до скорого.

Николай не остается по одному адресу дольше чем на сутки, еще надежнее уехать к ночи в Келломяки либо Ойлилу. Доктор Гусаров, горный инженер Малоземов, коллеги по университету Менжинский, Гудков, Кальварский в тюрьме. В прошлом году жандармы просидели всю ночь и в его комнате на Третьей Рождественской. Он скрывается по другому, третьему, десятому адресу. Борется до последнего.

Но как это бывает в жизни: выпутывался из самых сложных переплетов, а тут — пожалуй-те — на макине провели. Пятого июня тысяча девятьсот седьмого входит в паровой катер на переправе Охтенского судостроительно-механического завода Крейтон и К°. На пристани почти бережно подхватывают под локти. «Только без шума!»

На вопрос жандармского ротмистра немедленно назвался: Постников Владимир Николаевич. Из мещан города Екатеринослава.

Жандарм испытующе оглядел его, полистал лежавшую на столе папку.

— Рад познакомиться, мещанин, гм-гм, Постников. Почему только у вас изъята справка: «Удостоверяем нуждаемость члена социал-демократической группы товарища Николая Васильевича Крыленко. Бюро социал-демократической группы. Н. Борисов».

Жандарм:

— Вы, несомненно, проштудировали книжонку «Как держать себя на допросах». И решение вашего же II съезда на сей предмет. Вот что, любезнейший, задержите-ка штанину. Не побуждайте меня приказывать это конвойным. Не станете теперь отрицать, что этот свежий рубец явного пулевого ранения заполучили в перестрелке, когда некий «товарищ Абрам» уходил от чинов полиции за Невской заставой? И лечиться изволили в больнице святых Екатерины опять-таки под чужой фамилией.

Закурив, жандарм пустил кольца к лепному потолку:

— Не вы ли, господин Крыленко, под псевдонимом «Войтенко» выезжали на партийную гастроль в первопрестольную? После сходки у Оленьих прудов за ночевали там же, в Сокольничьей роще? Направляли свою деятельность на преступные агитации среди войск?

Жандарм учтиво пригласил подойти к столу.

— Изъято при производстве первоначального обыска на дому. На рукописи — «Н. Крыленко». Той же рукой, что под другой рукописью, озаглавленной вами «Кто был прав?». Полистаем для освежения вашей памяти: «Дума не есть окончательное собрание! Этот лозунг должны поддерживать в самой Думе те, кто не продал за чечевичную похлебку десятирублевого довольствия своего долга перед родиной и своей совестью». Мы уже установили, что этой тирадой вы намеревались ошельмовать одного из достойных ораторов в Народном доме графини Паниной. Подписано: «А. Брам». Та

же рука. И все это вы-с, молодой человек, вы-с и никто иной!

Крыленко ничего не признавал, ни строки не подписывал. День спустя снова разложили изъятое... Призывы к ниспровержению законного правительства. План обучения боевых дружин. Тезисы беседы «Все средства производства должны стать общественной собственностью».

— Это уже абсолютно неопоримые улики. Изъято лично у вас при задержании. Еще один предерзостный поступок.

Да, здесь он еще больше оплошал. «Прощание с записной книжкой». И зачем только так скал с собой? «А. Брам». И не дописана ведь статья, а подпись поспешил проставить. Она и подвела. «Графологическая экспертиза идентифицировала почерк данной рукописи с вашими университетскими конспектами, письмами к родным».

Трясясь в тюремной карете, напряженно размышлял: что ведомо им, что — нет? Даже про перестрелку унюхали. А ушел из больницы за день до срока выписки. Вернулся в Питер к февралю 1906 года. И с ходу в работу по бойкоту избирательной кампании I Думы. Тогда же, в феврале, избрали членом Петербургского комитета от Окружного района. Правда, угроза ареста побудила покинуть столицу, уступив мандат Ксандрову.

Изъяли 42 экземпляра отпечатанных типографски постановлений и резолюций партии, 20 прокламаций, «рукописи беллетристического тенденциозного и частью преступного содержания». Акта изъятия Николай так и не подписал. Военная организация, предъявляется ему обвинение, ставила своей целью «втянуть армию в водоворот политической борьбы и склонить ее к измене долгу и присяге».

Неделю спустя арестантская карета доставит в Военно-Окружной суд на Мойке. Ожидание в камере с давно не мытыми серыми стенами, покрашенным мелом окном. В кабинете главного военного прокурора пушистый ковер, дубовые стулья, тома свода законов. «Отсутствие чистосердечности свидетельствует о вашей закоренелой преступности».

Под суд пойдет пятьдесят один человек. Помощник военного прокурора полковник Голубев вменяет им:

«Разновременное вступление в тайное общество под названием «Военная организация при С.-Петербургском комитете»; поставившей заведомо для них, обвиняемых, целью своей деятельности насильственное изменение посредством народного восстания и мятежей в частях армии и флота установленного в государстве Российском монархического образа правления на республиканский»;

«убедить (воинских чинов) не только не стрелять по приказанию начальства в случае вызова для подавления беспорядков политического характера, а открыто с оружием в руках присоединиться к революционному движению и путем вооруженного восстания добиться указанного изменения политического строя в государстве».

Деяния, предусмотренные двумя статьями уголовного уложения, тремя статьями XXIV книги свода военных постановлений, положения об усиленной охране. Подлежит преданию военному суду.

Более двух недель продлился при наглухо закрытых дверях процесс. Судебные документы свидетельствуют: немногочисленна была «Военка», не так уж долго и действовала, но совершила немало.

Лейб-гвардии Семеновский полк, Гвардейский флотский экипаж, Кронштадтская военноморская база, лейб-гвардии Финляндский полк, саперы, кавалергарды, казаки, не менее тридцати воинских подразделений всех видов оружия, вплоть до Воздухоплавательного парка, входили в орбиту ее деятельности. И все это под носом огромного, разветвленного сыскающего и судного аппарата, чины которого последнюю неделю шли за ним по пятам.

«Товарищ Абрам» был взят последним.

В его делах, делах его товарищей не только агитация. Что, как не военная подготовка востания «Литографский лист с чертежами и схемой революционного нападения», «Чертежи к тактике уличного боя», «клочок бумаги с обозначением войск, расположенных в Петербурге, и с обозначением против каждого полка организаторов по кличкам», протоколы Исполнительного бюро? Готовились купить для постоянных явок трактир и лавочку. (Не успели!) Не один месяц действовал специальный квартирмейстер (явки, склады литературы, размещение приезжающих).

После двух суток совещания суд приговорил восьмерых на каторгу. Крыленко в числе шестнадцати (а не «трех», как пишет он в «Автобиографии») оправдан «за недоказанность обвинения». Но, кто их знает, что еще уготовят власти! По настоятельной рекомендации товарищей из Петербургского комитета нужно отправиться, по примеру «Ильичей», в ближнюю эмиграцию, под ней разумели тогда земли за рекой Сестрой.

Короткие наезды в Петербург. Арест во время одного из таких наездов, Николая снова высылают из столицы.

Крахмальный воротничок а-ля Оскар Уайльд. Широко повязанный галстук с булавкой. Белоснежная сорочка. Эмалевый ромб выпускника университета. Начинающаяся от висков, подстриженная под моряка борода. Внешнее впечатление преуспевающего, респектабельности.

Когда глядишь на фотографию, сделанную в 1909 году, трудно подумать, что этот же человек в замасленной куртке смазчика создавал в Череповце профсоюз железнодорожников, в забрызганном фартуке маляра снимал с работы вагонников Александровского завода, начиная забастовку.

Фотографировался по просьбе отца, Василия

Абрамовича, в Люблине, куда возвратился, покинув столицу отнюдь не по собственному желанию.

Попробуем то, что нам известно об этом периоде жизни Крыленко, свести в анкету.

Графа 1. «Местожителство».

После процесса «Военки» — Финляндия. Новый арест 6 декабря 1907 года. «В порядке охраны, впредь до распоряжения» выслан в Люблин. Урывками, не обнаруживая себя, навещается в Питер, в Москву.

Графа 2. «Образование».

Отлучен от университета на самом пороге окончания. Два года прошений, отказов, переписки. Наконец в 1909-м «Дозволить пребывание в С.-Петербурге сроком на 2 мес., по случаю держания гос. экзаменов». В свое время единственным среди тридцати трех экстернов удостоен круглого «весьма» Владимир Ульянов. Спустя восемнадцать лет с этой же оценкой сдает все экзамены в том же университете Николай Крыленко.

Профессора Гримм и Ястребов хотят оставить его при кафедре всеобщей истории, кафедре славян, готовиться на магистра. Все данные перспективного ученого.

«Отказать по причине политической неблагонадежности».

Графа 3. «Партийная работа».

...А здесь, в Люблине, пора весеннего цветения, нежный аромат сирени. Сиреневый потоп. Лиловые гроздья над прохожими. Сирень на улицах, в костелах, в пахнущей свежемолотым «мокко» кофейне, куда забегают подбодриться филижанкой кавы по-варшавски.

Проглядывая вдетые в лакированную палку «Люблинские ведомости», Николай краем уха ловит обрывки разговоров. Чем здесь люди живы?..

— Сто лят пану! Стул есть свободен? Гран мерси! Не кажется ли пану, что и наш Люблин становится абсолютно современным? Президент города докладывал почетным ратманам, что мы уже не только важный духовный центр с кафедральным капиталом прелата Антония Пойшевского, епископа Холмского и Люблинского преосвященного Евлогия. Богата и индустрия — целых сто четыре промышленных заведения. Водочные, сахарные, кожевенные. Слово благородного человека! Сорок лет назад на моей памяти их было тридцать три на всю губернию.

В первые же дни приезда в Люблин Николай обходит присутственные места в поисках вакансии. В магистрате предложили собирать на процентах вновь вводимый налог с велосипедов и автоматических экипажей. «Нужно ли было для этого проходить курс университетских наук?» «Вам нелегко устроиться на казенное место, как лицу неподлежаще освобожденному».

Впрочем, есть еще кое-какие вакансии. Удален с поста смотритель ассенизационного табора Кузьмицкий. («Благодарю покорно!») Подскакивает организатора своих лекций известный профессор Страсбургского университета

г. Кузе. («Наслышан о его глубоко научном открытии: среди музыкантов плешивых — два процента, у литераторов — все шестнадцать».)

Но старые друзья, в первую очередь семья учителя Петриковского, выручили. Устроили читать литературу и историю в частной гимназии имени Стащица. «В рамках утвержденных свыше программ». Директор доверительно кладет возле него на край стола письмо из Варшавы. Власть сообщает ему о Крыленко: «Широкого образования. Хорошо поставленная речь. Привлекался... Высылался... Судился...»

Гимназисты Люблина разглядывают бледного, невысокого, с тревожными глазами пана учителя, который урок русской литературы начинает рассказом о дружбе Пушкина с Мицкевичем, о Сенатской площади 1825 года, с отрывков из Чернышевского, Писарева, Сенкевича. Вот вам и «москаль»... Пан педагог читал по-русски, цитировал по-латыни Тацита, по-польски — Мицкевича. На его уроках история не предстает более вереницей монархов. Предстает историей трудового народа, его борьбы.

Недавние казенные уроки становятся в таком изложении «неорганизованной пропагандой социализма на уроках истории и литературы в старших классах школ, где, благодаря их особому положению, мне фактически была предоставлена полная свобода агитации» («Автобиография»).

Известный впоследствии польский ученый, профессор, тогда же гимназист Е. Эйбих вспоминал: «Это были минуты, когда мы забывали обо всем, что нас окружало. Среди абсолютной тишины все, обратившись в слух, мы упивались его уроками. До сих пор он стоит перед моими глазами, декламирующий вдохновенно и страстно, а в ушах, как далекое эхо, звучит постигаемая через него упоительная поэзия Пушкина».

Расклещик идет по Люблину, клеит объявления на круглой, выше роста тумбе, и кажется, крупный деревянный шрифт афиш ведет спор мнений и взглядов.

«В Городском собрании имеет быть ежегодный дамский карточный вечер».

«В Люблинском Крестовоздвиженском соборе совершаются богослужения в первые шесть седмиц Великого Поста».

«Завтра, в четверг (9 февраля 1911 года. — Е. С.), в 7 ¹/₂ час. вечера в зале Гигиенического общества г. Николай Крыленко прочтет публичную лекцию — «Критик-гражданин, памяти Н. А. Добролюбова, по поводу 50-летней годовщины смерти».

«Завтра, во вторник (24 января 1912 года. — Е. С.), в 7 ¹/₂ ч. вечера в зале Гигиенического общества г. Николай Крыленко прочтет публичную лекцию на тему: «1812 год в истории Европы и России» или «Историческая романтика и историческая действительность».

В том же зале выступит он с вызвавшей жаркие споры лекций: «Черные маски» Леонида

Андреева и «Синяя птица» Метерлинка. (Литературно-критическая параллель)». Слава его как чтеца, по тогдашней терминологии, чтеца-декламатора, шагнет за пределы гимназии. Николай удостоивает поощрительных хлопков в ладоши даже губернатор, хотя можно не сомневаться в том, что его-то регулярно уведомлял начальник жандармов полковник Осипов об образе мыслей декламатора и лектора.

«Крыленков» неперенный участник благотворительных концертов в фонд вспомоществования недостаточных студентов-петербуржцев, при благосклонном участии г-жи Мещериновой из Варшавы (либо певца Миллера из той же столицы Привислинского края).

Гремит духовой оркестр Тарутинского полка. Ленты, бутоньерки, фраки, балльные платья, киоски с шампанским. В буфетах, как сообщал хроникер, «путершмиты, путерброды, лимонад». На сцене представленная силами местных любителей комедия В. Крылова «Медведь сосватал». В дивертисменте хор балалаечников (дирижирует бывший главный капельмейстер египетского хедива).

«Наконец публика услышала и давно уже зарекомендовавшего декламатора г. Крыленко», — отмечал в местных ведомостях «один из строителей».

Крыленко не трогают. Но не оставляет его ощущение чьей-то тени за спиной. У него еще с Питера отработалось чутье на слежку, тем паче что здешние пинкертонеры работают более топорно. Перлюстрируют корреспонденцию, расспрашивают учеников, заходят к квартирной хозяйке под личиной съемщика комнаты. Но недаром же Крыленко проходил практику конспиратора у Стасовой, Бонча, Ленина, сдавал экзамены Трепову, Сипягину, Герасимову.

Доставил он хлопот и провинциальным шпикам, у которых находится под кличкой «Малый». То и дело исчезает из поля зрения «обеспечивающего» его «штучника», то заявится в Питер, то в Варшаву либо Харьков.

«Штучниками» на заводах назывались рабочие-сдельщики (оплата со штуки продукции). Появились они и в охранке. «Инструкцией по организации и ведению внутренней агентуры» предусматривались три категории сотрудников: агенты внутреннего наблюдения («секретные сотрудники»), «вспомогательные агенты» и ниже всех «штучники», доставляющие сведения за плату за каждое отдельное свое донесение. Именно таким разовикам и поручено следить за учителем.

А Крыленко не только возникает в столице, но и выступает в начавшей выходить в 1910 году «Звезде». Об одной же его серьезной акции мы можем, к сожалению, судить только по донесению, которое следом за ним, уже скрывшимся, поступит в Люблин. «Летняя забастовка в Санкт-Петербургском Новом порту результат действий кружка революционеров-синдикалистов». На полях: «Доложено. 2-й товарищ министра приказал запросить полковника фон Коттена, что предпринято в отношении революционеров-синдикалистов».

Докладывайте... Запрашивайте... Ловите ветра в поле...

А пан педагог уже вышел на кафедру гимназии, привычно начав: «В прошлый раз мы остановились на реформе, официально именуемой «Освобождение крестьян от крепостной зависимости». Вглядимся поглубже да разберемся с вами, кому же потребовались тысячи рабочих рук, не зависящих от прихоти помещика.

Кто вырубал «Вишневые сады» русского барства? Заполнял вчерашними крепостными цеха заводов?»

Вечерами он оставляет на часок-другой в классе Стася, Анджея, Арончика. Подолгу беседует с ними.

В донесениях охраны можно прочесть:

«Убежденный социалист и опытный агитатор, Крыленко избрал себе профессией педагогическую деятельность как наиболее удобную для безнаказанного распространения социалистических взглядов среди учащейся молодежи. При преподавании русской словесности и всеобщей истории он пользовался всяким случаем, дабы деятельность каждого русского писателя и каждый выдающийся исторический факт изложить с социалистической точки зрения.

*Несмотря на то что он находился под негласным наблюдением, при всей своей преступной деятельности, как опытный и уже не раз привлекавшийся социалист-агитатор, Крыленко не давал достаточных данных для законного его преследования, а из лиц, среди которых он агитировал, никто никогда не согласился бы подтвердить свидетельскими показаниями его преступную деятельность, так как симпатии к нему его единомышленников были чрезвычайны»*²⁷.

Подошел 1912 год.

...Поджидавшая в вестибюле гимназии горничная преувеличенно громко оповестила пана учителя: «Материал на коронку дантиста получил. После десяти вечера просят на прием в кабинет на улице Дальняя панны Марии». Крыленко понимающе кивнул.

В приемной врача, отложив прошлогодний «Синий журнал», стремительно поднялась весьма скромно одетая дама лет тридцати пяти — тридцати восьми. Покосилась на державшегося за щеку господина. Кивком головы отозвала Николая на площадку лестницы.

«К вам с личным поручением от того, кого видали в аудитории восемь Питерского университета. Вспомнили? А слушать его же могли в старом корпусе Физического института».

Такое на забывается. Даже в суматошной смене лиц, событий, городов, стран... Назначали будто «Собрание студенческого землячества». На деле — актив питерских большевиков. Ленин сделал доклад о IV, Объединенном съезде партии. А в аудитории исторического факультета Николай слушал его же доклад о выборах во II Государственную думу.

Дама назвала себя: сейчас она — Франциска Казимировна Ланевич.

Крыленко гляделся: тонкое, одухотворенное, нервное лицо. Чуть косящий суженный ле-

вый глаз. Шепотом: «Никак, Инесса?» Молчаливый кивок. Она самая, по дороге из Кракова в родные места, сиречь Питер. А сейчас по делам транспортировок через границу, возобновления связей, выборов в IV Думу ждут «товарища Абрама» в Кракове.

Такие вот дела.

И дела, ей-богу, хорошие! Он не вычеркнут. Не забыт. Его ждут. С его стороны задержки не будет. Не будет и сомнений. Крепко критиковал его Ленин за синдикалистские вывихи. И вот он же вызывает.

...Простенький неоштукатуренный дом красного кирпича в два этажа. «Почему же так разволновался ты, «Абрам»?» Жасмины в два этажа. «Меньше переживал, когда вводили тебя в зал суда?» Перед домом крохотный садик — «огрудок». «Возьми себя в руки, «Абрам». Второй этаж. «Квартира справа».

Ленин сразу же перешел к делу. Просьба помочь с переходами за кордон, сие подразумевает адреса, транспортеров, надежность, гарантированность. Архинужно! На носу выборы в очередную думу, быть драке с отзовистами. «Товарищ Абрам», бесспорно, тот, кто поможет будущим парламентариям надлежаще выступать с думской трибуны. Поручкой, помимо подготовленности его, как агитатора, и знания историка. Да, кстати, он ведь ближе других сейчас к границе, надо бы обеспечить будущим депутатам от рабочей курии переход без помех в Галицию.

Итак, как с переходами границы?

Это обеспечим!

«Крыленко был первым «гостем», прибывшим к Ленину из России»²⁸. Гость из-за кордона мог информировать о том, что знал о питерских делах. Вряд ли обошли в беседе и думу. Ее трибуну и надлежит использовать для того, чтобы вести публичное изобличение и монархии и господ-капиталистов со всеми их прислужниками... Посему: как глядят уважаемый «товарищ Абрам» на свой, так сказать, перевод в Питер? На производство его в должность «сведущего лица» при думской фракции социал-демократов? «Абраму» небесполезно ознакомиться с содержанием будущих думских выступлений большевиков. Кое-что уже набросано.

И поскорее разделяться с люблинским сидением.

...Покачивается вагон третьего класса, вздрагивает на стрелках. По крашеным стенкам и лицам проплывают огни станций, и снова только блики оттаявшей свечи.

«Автобиография»: «К весне 1911 г. (в июле 1912 года.— Е. С.) относится новое возобновление мною партийных отношений, когда я был лично вызван в Галицию к Владимиру Ильичу, по вопросу об использовании имевшейся у меня возможности наладить транспорт через границу...»

Н. К. К р у п с к а я: «...Очень быстро налажен был и нелегальный переход через границу. С русской стороны были налажены явки через

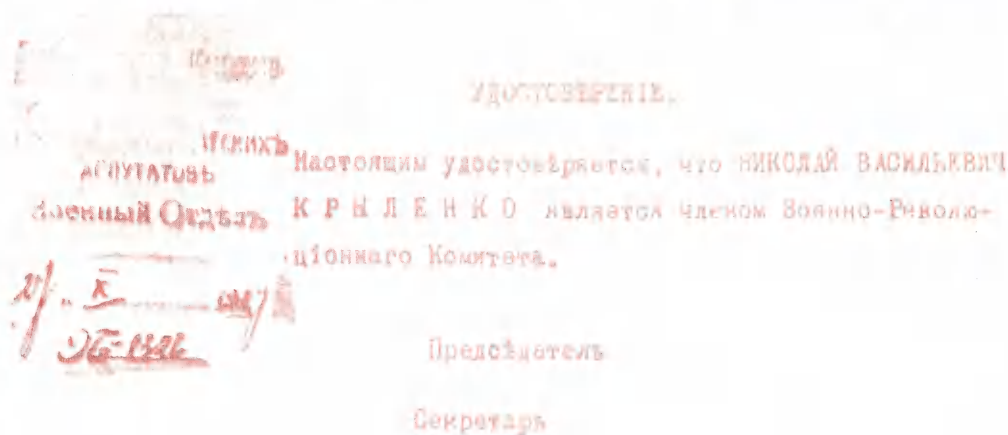
т. Крыленко<...> Помню приезд Николая Васильевича Крыленко вскоре после того, как у него бывала Инесса; он приезжал, чтобы покрепче условиться о сношениях. Помню, как рад был его приезду Ильич»²⁹.

В. И. Ленин (из Кракова Л. Б. Каменеву): «Переезд дал нам пока: 1) близость на 1 день; 2) приезд Абрамчика (сие секрет). Он уже здесь. Видимо, поможет с границей. Может быть (это еще?) и с выборами в СПБ...»³⁰

Заметил ли кто-либо перемены в пане учителе, когда после кратковременной отлучки снова

ной возможности для нелегальной деятельности. «В помещении кружка собрание. Его (Крыленко) правая рука — кандидат на судебные должности Юлиан Петриковский, 26 лет, учитель польской частной гимназии имени Сташица. Брат его Сергей, гимназист, слышал, как Крыленко сказал: «Ни к какой партии не принадлежит, по убеждениям анархист-синдикалист». Отсутствие в документах датировки заставляет нас предположить, что это могло быть говорено до поездки в Краков.

А завербованный Николаем Васильевичем



Мандат Н. В. Крыленко.

появился он в классе, Коммерческом клубе?... Вероятно, раньше других охранка, узнавшая из неведомых нам источников, что он уже «исполняет директивы заграничного центра для местной партийной работы».

Снова встречи с гимназистом Петриковским, с фабричными и теми лихими молодцами, что промышляют контрабандой. Но первый помощник — Петрик.

«Комитетское дело» особого отдела департамента полиции не оставит внимания Петриковских. «В Люблине, в доме 5 по Радзивилловской улице частная (с правами) женская прогимназия. Принадлежит бывшему учителю Люблинской мужской гимназии Ивану Семёновичу Петриковскому 46 лет, православному». Агентурными сведениями отмечена особая близость Крыленко к семье Петриковских. Крыленко был избран товарищем председателя (понынешнему, заместителем. — Е. С.) «Русского литературного кружка» в Люблине.

Он использует кружок, будучи верен тактике большевиков — не упускать ни одной легаль-

гимназист выполнял одно за другим все повышающиеся по степени ответственности и риску поручения учителя. Петрик то и дело исчезает из поля зрения люблинских пинкертонных, чтобы возникнуть на явках Киева, Екатеринослава, Белой Церкви. Еще не получившего гимназического аттестата зрелости, его отличает зрелость конспиратора.

Первое, что насторожило шпики в его письмах — «Товарищ!». «Это обращение среди партийных лиц в большом употреблении». Но мальчишка водит их за нос. Начальник жандармерии вынужден признать, что гимназист «ездил с партийными целями. При разработке этих сведений, указаний на посещение Сергеем Петриковским Киева, Белой Церкви и Екатеринослава добыто не было»³¹.

Однажды Петрик привел в городской сад новую группу фабричных. Из разговора с парнями Николай постигает: большинство здешних пролетариев совсем еще неподнятый пласт. Корнями они целиком в деревне. Хозяина, обермастера чтут, боятся как огня.

Бойчее оказался рекомендованный тем же Петриком сын их соседей из мастеровых. Разбитой, с густо нависшими бровями Лейзерке Фруктман только что отбыл наказание. За контрабанду Люблинский окружной суд на месяц выдвораля его за пятьдесят верст от границы. Такой кстати! Старые товарищи до партии уже осведомлялись через третьих лиц: как с переходом границы?

— Можно ли организовать, уважаемый пан Лазарь, переход границы? На чисто коммерческих, конечно, началах.

— Почему же не можно? Вопрос — что? Обратный вопрос — когда?

— Один-два раза в месяц. Книги, газеты, люди. Если потребуется — оружие, взрывчатка. А какие это люди, Фруктман? Из тех, что за народ голову сложить готовы.

— Я извиняюсь, конечно, но мне лично головы ваши не нужны. А переводить беремся. За них скажу такое: водить будем только тех, кто ходит негромко, не кашляет. Граница — место тихое. Опять же за военный товар. Не пойдет. Себе дорожке встанет. За книги такса с пуда. Господа революционеры пойдут с головы, по соглашению. Вам, как заказчику, оптовая скидка, все как у людей. Работать буду с братьями Наборчиками, великие мастера у своим деле.

Через день встретились снова. Сидя над картой, уточнили дислокацию. Ближе к Люблину, верст на двадцать не доходя границы, курсирует корчемная стража. Всех местных знает в лицо, к незнакомым цепляется. По самой границе часовые — на расстоянии полверсты один от другого.

За окнами мягко звучат в накрывшем город тумане колокола. В просторном кабинете начальника жандармерии обсуждается, как «подобрать ключи» к продолжающему возмущать умы Крыленко. В последнем донесении сказано: «Наблюдение ведется с перерывами по агентурным соображениям. Не обыскан. Не арестован». Установлено, что из единомышленников особенно близки с ним учитель женского коммерческого училища некий Станислав Матвеев Шпилька, опять же недавно выправивший заграничный паспорт сын старшего ревизора акцизного управления Анатолий Имшенецкий. Но прежде всего Юлиан Петриковский.

Власти переходят в наступление. По городу уже комментируют расклеенный на тумбах «Свод обязательных постановлений по краю». Губернатор Скалон явно встревожен. Запрещает все, что не запрещено еще законами империи. Воспринимаются уличные сходбища и противоправительственные собрания, пение «Красного знамени» и «Варшавянки», посещение посторонними лицами (буде даже депутаты) промышленных заведений.

Полиция вправе вломиться в книжную лавку либо библиотеку, привлечь за «публичное выставление изображений или сочинений, восхваляющих преступные деяния». Лекарям всех специальностей под угрозой наказания приказано незамедлительно оповещать власти о всех обращающихся по части любых ранений.

Но люблинская охранка вынуждена распираться в своем бессилии. «Выяснить автора документа, за подписью «Секретарь»... не представилось возможности».

За деятельностью Крыленко независимо от агентурного наблюдения установлено и наружное.

Но даже сдвоенная система слежки так и не дала сколько-нибудь веских улик. По донесениям шпииков мы можем представить себе круг знакомых Крыленко. «За последнее время замечается особенная близость Крыленко со студентом Бессоновым. (Петр Иванович Бессонов (Бодрый), 24 лет; студент Санкт-Петербургского университета)». Тот же штучник «Киевский» докладывает: «С Крыленко хорошо знакома служащая Контрольной палаты Ольга Яблонская, которая имеет общение и с другими лицами, близко стоящими к Крыленко. Яблонская — дочь подпрапорщика 69-го Казанского полка»³². Новое признание в провале: «Малый» упоминается по разным предметам. Кличка в организации не установлена. Фактических проявлений не замечено».

В почтовом ящике ждет Крыленко повестка с казенным орлом. Явиться в штаб 69-го пехотного Рязанского, имени генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полка на предмет отбывания воинской повинности.

Осенью 1912 года вольноопределяющийся 1-го разряда 16-й роты зачислен в учебную команду. Досрочно удостоен унтер-офицерских лычек. Сдал на первый офицерский чин.

В 1913 году Крыленко вернулся из гарнизона, снял гимнастерку с погонами. Уже день и другой, ночь и неделю без устали циркулирует по городу, фольваркам, корчмам. Штучник «Киевский» уловил краем уха обрывки его непонятных разговоров о каких-то «верблюдах». (Так называли транспортеров, которые, что ни месяц, доставляли теперь из Кракова пуда по два нелегальной литературы.)

Через Люблин снова пошла в Россию нелегальщина. Один из наиболее опасных провокаторов тех лет, Брядинский, специализировался на выслеживании каналов зарубежных партийных связей. В составленной им обстоятельной схеме «Пути водворения и распространения нелегальной с.-д. литературы в пределах империи» так и остались необозначенными Люблин, Сосновицы, ни один из путей, проложенных Крыленко.

После полка снова через кордон к «Ильичам». Они съехали со Звездинца. На вокзальную почту приходилось шагать через весь Краков, электричества нет, гуашь, грязь.

И Крыленко идет по улице имени местных магнатов, князей Любомирских. Одна сторона застроена, по другой — яблоневые, грушевые сады. Несколько гектаров из принадлежащих ему тринадцать тысяч князь соблагволил презентовать городу, дозволив назвать за это улицу именем своего шляхетского рода.

Гость с порога рапортует: прапорщик запаса

согласно предписанию убывает в Энский гарнизон на берега Невы. Посмеялись. Одобрили. Порадовались, что за это время поступил на юридический факультет. В думе рабочим депутатам предстоит схватываться не токмо с дубоватыми марковыми вторыми либо караульными. Полно в ней адвокатов, профессоров, тертых политиканов. Тут-то «товарищ Абрам» и понадобится для политической подмоги депутатам.

В указателях Центрального партийного архива под индексом «ф. 17, оп. 2, ед. хр. 12» обозначена оставшаяся неизвестной вплоть до 1954 года «Адресная книга ЦК РСДРП» (1912—1941 гг.), которую вела Крупская. Изготовлена книга где-то в Польше, о чем свидетельствуют латинский алфавит, штамп фирмы на обложке. Надежда Константиновна располагает адресатов по городам начиная с Астрахани (там С. Г. Шаумян).

«Главный секретариат» зарубежного центра ЦК большевиков — Крупская. Ей помогают Арманд, Лилина. Не меньше трех сотен писем за месяц обрабатывает Надежда Константиновна, да столько же надо переправить в Россию. И чуть ли не каждое зашифровано, дешифровать, вписать меж безличных строк главное. В «Почтовых ящиках» газеты «Вперед» то и дело появлялось: «Нате. Письмо не проявилось, слаб раствор». «Коле. Письмо и адрес с оказией получили».

Поражает и география, от ближнего, рукой подать, Люблина, через Суэц в Брисбен до далекой Австралии (там Артем — Ф. А. Сергеев). Первая адресная книжечка велась до начала мировой войны в Кракове и Поронине. В карманной книжечке дислокация всех опорных баз партии. За этими (конспиративными) адресами М. М. Литвинов и Е. Д. Стасова и проходящие по многим страницам и под многими фамилиями Крыленко и Елена Федоровна Розмирович, не только единомышленница, со временем и жена его.

Для каждой явки свой пароль, свой «Сезам, отворись!». «Киев, Большая Васильковская, дом 25, квартира 6, контора Кольбера. Звонить в левый звонок, спросить госпожу Берковскую. Пароль: «Не можете ли мне одолжить книжку «Чтец-декламатор»?» Она скажет: «Вот он» — и покажет книжку. Через нее найти Озоля».

Когда путешествуешь от адреса к адресу по всем 136 страничкам книжечки, то и дело испытываешь чувство человека, завидевшего в толпе того, кого искал. Крыленко! Упоминается раз двадцать.

Неустанно расширял он круг деятельности. Экспедирует не только корреспонденцию, но и людей. В этой цепочке безотказно и беспорочно действовали и Петриковские. Не раз вписаны в книжку рукой Надежды Константиновны их имена.

«Люблин 1) для писем Петра Женская гимназия, Мария Иваненко. Явка: 2) Радзивилловская, д. 3, кв. 20, Ивана Семеновича Петриковского, у него спросить Сергея. Пароль «От Маруси». Ответ: «Она уехала».

И где-то совсем к концу реестра: «Адрес для Н. В. На один раз. Радзивилловская, 5, Евгению Петриковскому — для Веры. Люблин. Адрес Николая Васильевича».

Из помет Надежды Константиновны видно, что «товарищ Абрам» предусмотрел возможность прихода на явку даже в отсутствии хозяйки, «Люблин (для писем). Госпитальная, д. 3, кв. 5, г-же Марии Лидской (Явка 2-я). Наместниковская, 43, кв. 7, спросить Баландовича, пароль тот же. Если комната будет заперта, то ключ находится в почтовом ящике, у которого дно выдвигается вправо. (Для писем). Наместниковская ул., Владиславу Б. Просовскому».

Все шире и география связей Крыленко. От лежащего у самой границы «безуездного» городка Сосновицы, где взялись помогать партии директор коммерческого училища пан Стржембуш, в женском же коммерческом училище «М-11 Кофтунова», а в старинной части местечка Бендия учитель Шмелев. А дальше цепочка протянулась до Харькова, Питера, где действовали две василеостровские явки: на 8-й линии Насонов, на одинадцатой — Янович, на Калашниковском проспекте у матери, Ольги Александровны, и так вплоть до бельгийского Льежа.

И с проходящим подобно припеву: «От пана Миколая», «Внутри — для Абрама», «Письма и посылки Абраму» — кое-где предостерегающее: «Пользоваться пореже». В одном месте предъявить «рублевую бумажку 827281», в другом поклон «от старика Эпишкина». Встретим его и Розмирович и в следующей, приобретенной уже в Цюрихе адресной книжке (1912—1917 гг., ф. 2, ед. хр. 23767, л. 1—34).

Он долго стоит ясным осенним вечером на Николаевском мосту, обратившись к подчеркнутой ретушью заката Фондовой бирже, ростральным колоннам, академии, университету. В глубине Васильевского острова частокот заводских труб. Куранты Петропавловской крепости отбивают «Коль славен».

Крыленко уже договорился с «Правдой». В ожидании выборов в думу делать заготовки для рубрики «Фабричные обличения». Для этого достаточно пройти за Малым проспектом до Гавани. «Чистая» публика селилась по Большому, Среднему проспектам, девяти линиям Васильевского острова, в доходных домах, особняках, виллах. Уже на острове Голодай, где усиленно дымят кожевенные да гвоздильные заводы, ни водопровода, ни бань, ни магазинов, ни даже тротуаров.

Не лучше и на Выборгской стороне, Охте, по Шлиссельбургскому тракту.

Об этом острое корреспонденции Николая.

Своим, отлаженным его рукой ходом работает и люблинское «хозяйство», теперь он навевается лишь для инструктажа тех, кто будет продолжать начатое им дело.

А выборы в думу впряме кассировать и царь и министры, да и модус представительства таков, что люблинское производство крахмальных воротничков пана Вжебжика с пятьюдесятью рабочими мужеска пола выбирает одного уполномоченного, путиловцы того же одного от

всей тысячи. Избирательных прав лишены женщины, студенты, нижние чины, «кочевые инородцы».

Крыленко уже участвовал в кампании по бойкоту III Думы. После тогдашней его речи на заводе модельщики соорудили соломенное чучело. Нахлобучили фетровый котелок, на грудь повесили дощечку — «Депутат. III Государственной думы». Пронесли по цехам, мастерским, выставили у заводских ворот. «Фараон» было схватил: «Не видишь — депутат. Гарантирована неприкосновенность личности». А «Правда», прочаясь с думой, послала ей «Скатертью дорожка!». Господа депутаты проштамповали 2500 законов и ни одного на пользу рабочим, студентам.

Резиденцией нынешней думской фракции, по совету Бадаева, выбрали Пески. От думы недалеко, да и по карману. «Замечательностей на Песках никаких нет», — отмечал путеводитель тех лет, не предполагая, что такими «замечательностями» в истории суждено стать депутатам от рабочих и тем, кто работал с ними.

По Десятой Рождественской расселились социал-демократы. В доме девять Драбкины-Гусевы, Полетаевы, по соседству сняли пятикомнатную квартиру для большевистской фракции. Здесь и обосновалась секретарь думской группы Елена Федоровна Розмирович, она же секретарь Русского бюро ЦК. Другие партии содержат для выборной кампании целые конторы. У большевиков Елена Федоровна и правитель канцелярии, и письмоводитель, и посыльный.

...Дочь немецкого колониста и дворянки из мелкопоместных, на год моложе Николая. В 1904 году вступила в РСДРП. Отбыв заключение в крепости, выслана из России. Три года изгнания. Участвовала в Базельском конгрессе II Интернационала, Краковском и Поронинском совещаниях у Ленина.

Друзья уже заприметили: Николай-то все реже появляется в излюбленной косоворотке без пугович, в студенческом кительшке. Что ни день, из разбухшего портфеля вместо листовок и конспектов извлекает Крыленко чуть помятую от долгого таскания по городу нежную чайную розу, с неприкрытой для него кротостью кладет на стол.

Розу для Розмирович, выдавленный мороженщиком из железного стержня кружок мороженого — хохотушке Лизе Драпкиной.

Елизавета Яковлевна вспоминала о предшествовавших этому годам: «...один «нелегал» — быстрый, вечно голодный «товарищ Абрам» — забегал к нам довольно часто, обычно под вечер. Был он маленький, крепенький, как белый грибок. Едва он появлялся, как с первых же его слов выяснялось, что он «дьявольски устал», «зверски хочет спать» и «адски спешит». Перед ним ставили всю еду, какая имела в доме, и он тут же начинал есть, непременно усадив на колени кого-нибудь из младших ребят, в то время как старшие, разинув рты, заслушивались стихами Курочкина, которые он

декламировал, или же фантастическими рассказами о путешествиях на Луну и другие планеты, на которых он обещал побывать вместе с нами»³³.

«А в т о б и о г р а ф и я»: «...Я вторично поступил в университет, на этот раз на юридический факультет, и одновременно же в качестве экстерна подготовился и сдал три магистерских экзамена по новой истории на ученую степень. Военная служба, с одной стороны, и изгнание из школы, с другой, и вновь подымавшиеся волны революционного рабочего движения сделали то, что я бросил свои планы об ученой деятельности и немедленно же по окончании военной службы выехал за границу к Владимиру Ильичу с новым предложением своих услуг, после чего, направленный в Петроград, первоначально стал работать в «Правде», а затем был прикомандирован ЦК нашей партии к думской с.д. Фракции в качестве «сведущего лица», фактически в качестве партийного инструктора по подготовке агитационных выступлений наших товарищей в Госуд. Думе».

Большевиков в думе шестеро — Петровский, Бадаев, Самойлов, Муранов, Шагов, Малиновский. Меньшевики семь. В главных пролетарских губерниях — Петербургской, Московской, Иваново-Вознесенской, Екатеринославской большевикам отдали голоса больше миллиона пролетариев. Рабочий получил трибуну. Его голос со Шпалерной разнесется над всей Россией, долетит до Запада.

А для этого в квартире фракции и кипит работа.

«Осенью 1913 года, будучи студентом Петербургского университета, — писал позднее С. И. Петриковский, — я вел работу в рабочих кружках Васильевского острова. Здесь меня разыскал Николай Васильевич Крыленко и предложил зайти в думскую фракцию большевиков для переговоров с Еленой Федоровной Розмирович, которая тогда исполняла обязанности секретаря Русского бюро ЦК РСДРП (б) и была секретарем большевистской фракции IV Государственной думы»³⁴.

Канал нелегальной связи «Петрик — Абрам» действует. Усовершенствовали и технику, картон теперь отлично отмачивается, не оставляет следа на вклеенных в него письмах. Рецепт клея по заданию Бонча разработал переплетчик-швейцарец. Крыленко с Розмирович распечатали полученное почтой паспорту, олеографии — «Вечер в Копенгагене», «Верую, Господи, верую», «Пресвятая мадонна с младенцем Иисусом». Бумага пропитана особым составом. Поднеси окурку, мгновенно вспыхнет, сгорит на глазах жандармов, останутся без вещественных улик.

Крыленко с Розмирович помогают большевистским депутатам. Надо подбирать факты, цифры для тех, кто уже записался в прениях: Петровский — по программному выступлению премьера, бюджету министерства земледелия, провокационным действиям охраны. Бадаев — по министерству народного просвещения и морскому. Шагов — аграрная политика правитель-

ства. Муранов — финансы железнодорожного ведомства.

Ходит ходуном бронзовый колокольчик в руке Родзянко, трясется киселем толстые щеки спикера российского парламента. В который уже раз возникает перед депутатами от рабочих позвякивающие надежками на грудь цепями думские пристава: «Исключаетесь на пять заседаний».

Председатель. «Член Государственной Думы Бадаев, прошу вас быть осторожнее».

Председатель. «Член Государственной Думы Муранов, прошу вас говорить не о республике».

Председательствующий. «Член Государственной Думы Шагов, прошу вас к революционной борьбе не призывать. Призываю вас к порядку».

Председатель. «Член Государственной Думы Петровский исключен на 15 заседаний... Приглашаю пристава применить указанные законом меры»³⁵.

За многими из выступлений, вызывавших гнев и кары, «сведущее лицо» — Крыленко: он корпит над отчетами, официальными материалами, обезжестывает заводы.

...Как всегда, не всегда, возник в комнате лидер фракции. Не стукнула дверь. Не скрипнула ни одна половица. Роман Малиновский, ростом под 190. Здороваясь, зыркает желтыми рысьими глазами по всей комнате. Рассказывая о том о сем, будто машинально перекладывает письма на столе, взглядывается в адреса. Рыжая шевелюра, запах духов «Паучи», глубокие оспины по лицу, бегающие глаза.

— Как будет с Бадаичем? Не загудит ли? Есть что на него из полиции? Советовал же ему не обострять. Не послушался. Зря! Могут забрать.

— Уверен, отстоим. Всего-то и сказал пристава на похоронах погибших при взрыве на Минном заводе: «Сдержите конную полицию, чтобы не произошла еще одна катастрофа».

— А ведомо ли вам, дорогой мой Николай, как градоначальник определил его поведение на Митрофановском кладбище? «Вмешательство в действия полиции».

— Это еще ни о чем не говорит. Градоначальник тот же полицейский.

Малиновский подал Крыленко газету. «Выйдя из Таврического дворца и смешавшись с толпой рядовых обывателей, член Думы должен рассматриваться именно как рядовой гражданин, ответственный за свои поступки наравне с другими. Улица, кладбище и др. подобные места не трибуна Государственной Думы».

Но кто бы мог подумать, что самый коварный враг в своей же рабочей семье? Делит с тобой поздний ужин на депутатской квартире, прикуривает от твоей папироски «Ю-ю», поднимает с тобой кружку пива «Карнеев и Гаршанов», дружески похлопывает трудовой мозолистой рабочей ладонью по спине и следит, следит, выслеживает, пусть с думской трибуны Петровский трижды требует прекратить «провокационную деятельность петербургского ох-

ранного отделения». Малиновских этим не проймешь. И вот они, плоды его слежки.

«Пролетарская правда».

«Арест во фракции».

В ночь с 10-го на 11-е декабря (1913 года.— Е. С.) арестован письмоводитель рос. соц.-дем. раб. фракции Н. К. Крыленко и препровожден в дом предварительного заключения.

По этому поводу предс. фракции Р. В. Малиновский обратился к начальнику охранного отделения за выяснением причин ареста. Тов. Малиновский узнал, что Н. В. Крыленко исполнял во фракции техническую работу (переписка на машинке и т. д.).

Что подобный же случай был несколько недель назад, когда был арестован фракционный сторож.

На вопрос, каковы мотивы подобного рода арестов, когда арестуются служащие фракции, существование которой признано русскими законами,— нач. охр. отдел. ответил, что всякая деятельность р.с.-д.р. фракции есть с точки зрения правительственной власти деятельность преступная.

Если законы гарантируют депутатскую неприкосновенность, то это не значит, что правительственная власть не может преследовать лиц, работающих при фракции. В заключение нач. охр. отделения указал, что Н. В. Крыленко как раз и арестован в связи с работой при фракции и что ему и не предъявляются никакие другие обвинения.

Не удовлетворившись таким разъяснением, депутат Малиновский обратился по этому поводу в департамент полиции. Директор департамента обещал выяснить дело и дать ответ. Р.с.-д.р. фракция предполагает по поводу ареста Н. В. Крыленко внести спешный запрос»³⁶.

Дело поручено отдельному корпусу жандармов полковнику Собыженскому, значит, власти придадут сему большое значение.

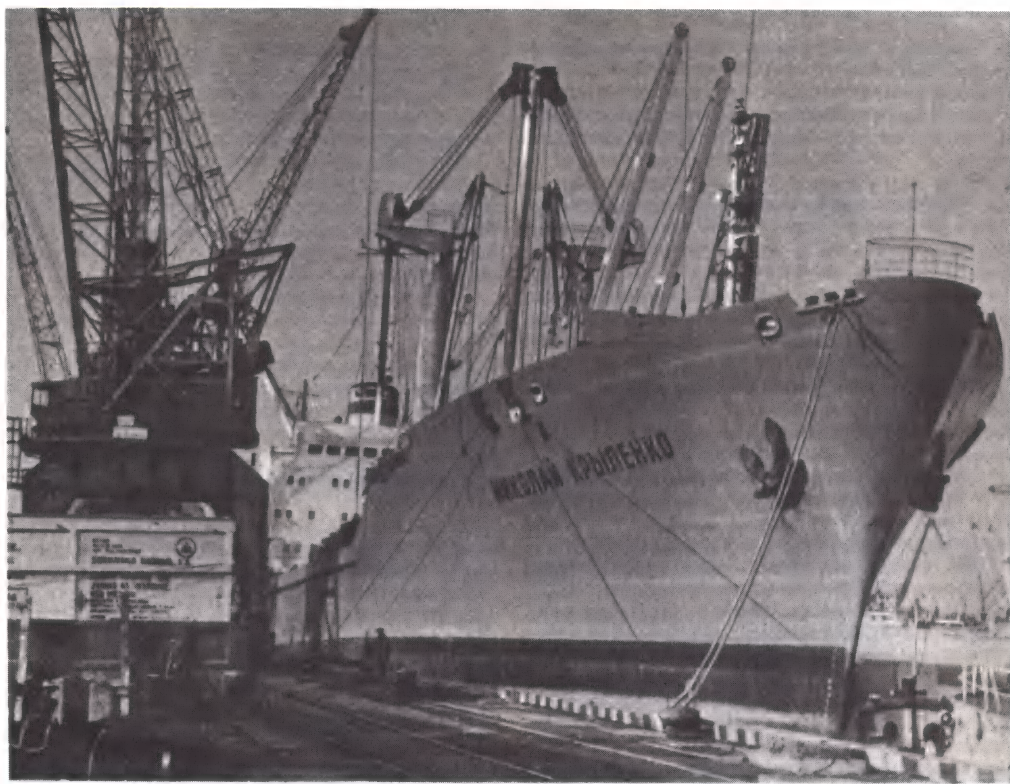
Обидно, конечно, что деятельность сведущего лица оборвалась так скоро. Но и за это время в думские протоколы внесено поболее ста тридцати запросов да и речей «шестерки», и за многими из них тот же Крыленко.

Обеспокоенный вестями из России, Ленин пишет в Париж Инесе Арманд. «Пусть КЗО подумает, кто в Париже мог бы помочь шестерке в составлении речей. Большая нужда после ареста Крыленки»³⁷. Когда Крыленко спокойно, но твердо отказался от показаний, полковник похлопал рукой по пухлой папке.

— Полагаете, что нам неизвестна ваша преступная деятельность по сколачиванию Люблинской боевой дружины? Иль ваше же письмо в Саратов некой Медее Кориной о своей революционной деятельности в Могиловской организации? Кто, как не вы, самолично дважды доставлял транспорты из-за границы в Петербург?

— Уже сказал: от показаний отказываюсь.

— Тогда позвольте ознакомиться с реляцией о новом составе Петербургского комитета партии. «Калинин, Савельев, студент Политехнического института Вячеслав Михайлович Скрябин [Молотов], а вот и наш старый знакомый Кры-



Океанский лайнер «Николай Крыленко».

ленков, именуемый в партии «Абрам», в наблюдении ж «Бегун»³⁸.

Полковник предъявил изъятые документы: «На работу в ЦК прикомандировать состоящих при думской фракции Конкордию Самойлову, Макса Савельева, Крыленко», донесения: «Стачки на Лесснере, «Новом Айвазе», дело большевиков, ведущих большую работу в профсоюзах». «Крыленков подыскал студента для привоза из Кракова преступных воззваний и резолюций августовского совещания». Набросанные собственной его рукой черновики «Запросы министерству внутренних дел о страховании рабочих», набросок внеочередного заявления думе «По поводу наложения ПБ градоначаль-

ником штрафа на члена Думы». Всюду — Крыленко!

— От показаний отказываюсь.

«Дознанием не было добыто в отношении Крыленкова достаточных данных, из-под стражи освобожден»³⁹.

«Автобиография»: «Освобожденный 18 марта 1914 г., я был выслан в административном порядке на два года из столиц и выбрал своим местожительством Харьков, куда приехал в начале апреля и где одновременно закончил государственные экзамены по юридическому факультету и снова вошел в нелегальную работу по подготовке партийного съезда и южной конференции нашей партии...»

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Н. В. Крыленко. (Автобиография). Энциклопедический словарь Русского Библиографического института Гранат. Изд. 7, т. 41, ч. 1, с. 230,

238, 239, 242, 243, 244. В дальнейшем «Автобиография».

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 334.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 393.

⁴ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 394.

⁵ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 343.

⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 343.

⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 81. (Вопросник к съезду. В тексте не размечен).

⁸ Листовка «Объединенной» (Спб., 1904).

⁹ ЦГАОР, ф. ДПОО, 1905 г., ед. хр. 3, ч. 3.

¹⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 9, с. 247.

¹¹ История Ленинградского университета. Л., 1969, с. 172.

¹² Воронский А. К. За живой и мертвой водой. М., 1970, с. 120.

¹³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 321.

¹⁴ ЦГАОР, ф. 10200, 1904 г., д. 3, ч. 10, л.(т.) 1.

¹⁵ Буров А. В. Хроника Московской заставы.— См. сборник «Двадцать пять лет». Л., 1931.

¹⁶ Металлисты, т. 1, Л., 1967, с. 160.

¹⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 377.

¹⁸ «Красная летопись», 1936, № 1, с. 100.

¹⁹ «Пролетарий», 1905, № 20.

²⁰ «Правительственный вестник», 1905, № 210.

²¹ Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч., т. II. М., 1961, с. 389.

²² Попов И. В. Воспоминания. М., 1971, с. 103.

²³ Труд в России. Л., 1925, кн. 2 и 3, с. 52.

²⁴ Первая русская революция в Петербурге 1905 г. Л.— М., 1925, сб. 1, с. 127.

²⁵ «Красная летопись», 1936, № 1, с. 177.

²⁶ Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 2. М., 1971, с. 228, 267, 272, 305.

²⁷ ЦГАОР, ф. ДО, ед. хр. 1877, ч. 3, т. 2, 1905 г.

²⁸ Агафонов В. К. Заграничная охранка, 1918, с. 112.

²⁹ Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. М., 1957, с. 191, 211.

³⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 72.

³¹ Бернов Ю., Манусевич А. Ленин в Кракове. М., 1972, с. 28.

³² ЦГАОР, ф. 10500, ед. хр. 5, ч. 42, оп. 15.

³³ Драбкина Е. Я. Рассказы. М., 1961, с. 40—41.

³⁴ Петриковский С. И. Путь связанного большевистской партии.— См. «Вопросы истории», 1967, № 2.

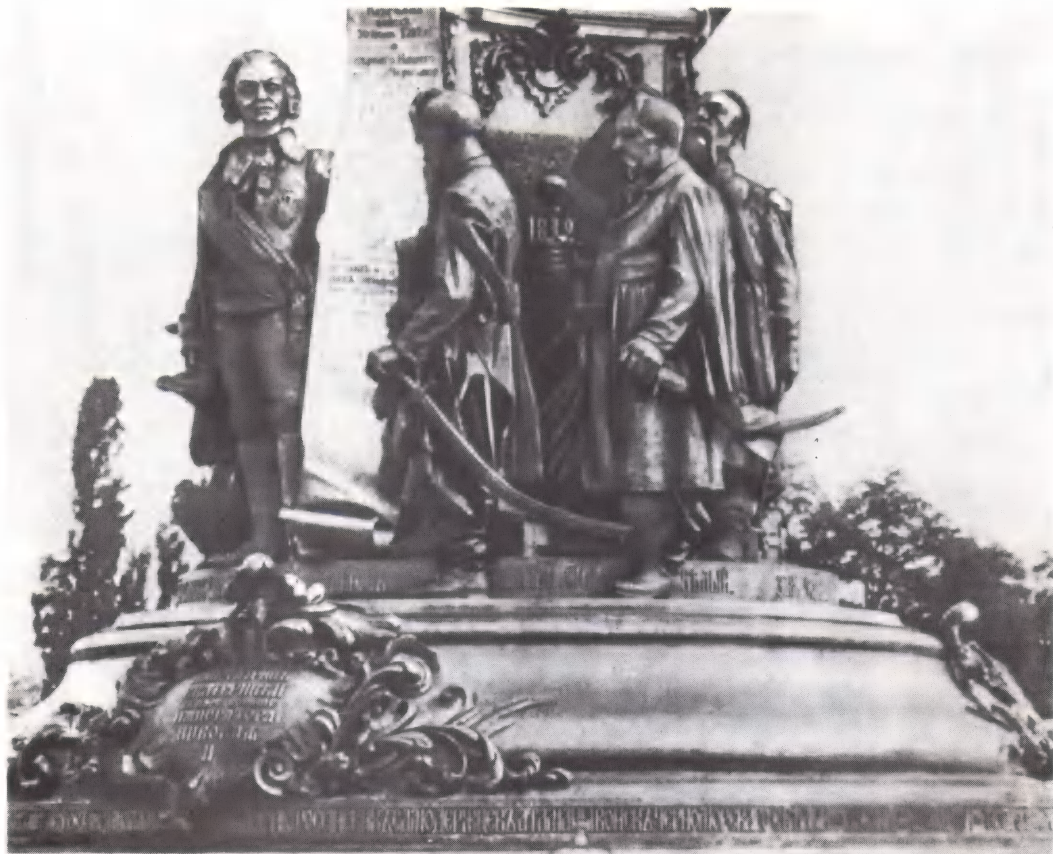
³⁵ Бадаев А. Е. Большевики в Государственной думе. Л., 1937, с. 114, 190 и др.

³⁶ «Пролетарская правда», Спб., 1913, № 7.

³⁷ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 254. «КЗО» — Комитет заграничных организаций (большевиков).

³⁸ ЦГАОР, 1913 г., ф. 102, д. 5, л. 57.

³⁹ Там же.



«Первые черноморцы».
Фрагмент памятника М. О. Микешина.

Виталий Бардадым

Первые черноморцы

ЗАХАРИЙ ЧЕПЕГА

Когда в 1879 году старый деревянный войсковой собор Воскресения Господня за ветхостью его начали разбирать, то натолкнулись на давние, уже всеми забытые могилы. В одной из них нашли потемневшую иконку, в другой — золотое шитье от воротника, в третьей — кусок свернутой парчи от широкого персидского пояса. Старожилы вспомнили, что в этих могилах покоились останки первых руководителей Черноморского казачьего войска: протоиерея Романа Порохни, войскового писаря Тимофея Котляревского¹ и кошевого атамана Захария Чепеги...

Родился Чепега в 1726 году в Черниговской

губернии в селе Борки. Он происходил из известного древнего рода Кулишей и свою настоящую фамилию получил в 1750 году, когда рядовым казаком пришел в Запорожскую Сечь². Его приняли, как, по описанию Н. В. Гоголя, принимали всех впервые приходящих сюда:

«— Здравствуй! Что, во Христа веруешь?

— Верую (...)

— А ну, перекрестись!.. Ну, хорошо, ступай же в который сам знаешь курень...»³.

Молодой казак был приписан к Кисляковскому куреню. Низкого роста, широкоплечий, коренастый, что называется «сбитый», с огромным черным чубом и толстыми продымленными усами, он сразу в первых стычках с турками показал свой природный ум, находчивость, хладнокровие и безграничную храбрость. В одном аттестате, данном Чепега, указывалось, что он «мужественно стоял», в другом — что он «оказывал себя храбрым и неоднократно посылаем был доставлять неприятельского языка»⁴. Чепега дослужился до полковника, когда по приказу императрицы Екатерины Второй

Запорожская Сечь была разорена. Пять тысяч запорожцев ушли в Турцию, кошевой атаман Петр Калнишевский был сослан в Соловецкий монастырь; рядовым казакам пришлось братья за плуг.

Через 13 лет, в 1787 году, по ходатайству светлейшего князя Г. А. Потемкина, который понял, какой боевой силы лишилась Россия в лице казаков, остатки запорожцев вновь собрались и образовали «войско верных казаков». На созданной войсковой раде большинством голосов был избран кошевым атаманом Сидор Белый. Кубанский историк И. Д. Попка так пишет о нем: «Седой старик, но исполненный огня, наездник давних сечевых времен, имевший привычку выезжать в перестрелку без шапки и с выставленной наружу мощной своей загорелой грудью»⁵, 17 июня 1788 года Белый был ранен под Очаковым. А. В. Суворов, посетивший на другой день раненого атамана, писал князю Потемкину: «Чаю, Сидор Игнатьевич будет жив», — но рана оказалась смертельной, и на третий день, 19 июня, атаман умер. Суворов донес об этом Потемкину и внизу приписал строчку: «На радость — печаль: Сидору Игнатьевичу отдал последний долг...»⁶.

Атаманом избрали любимца казаков — Харько Чепига. В старину порядок выборов был простой — голосованием на сходе; после чего стоявшие поблизости с белыми оседлыми стариками, сами когда-то бывшие властными старшинами, набирали из-под ног растоптанную сапогами грязь и клали ее на обнаженную голову избранного кошевого атамана, грязь текла по лицу и усам «ясновельможного», чтобы всему свету было ведомо, что все вокруг — прах и глеч, кроме вольностей никем не побежденного и никому не покорного войска Запорожского!..

В 1788 году Потемкин, желая отрезать у Очаковского гарнизона подвоз продовольствия из крепости Хаджибей (город Одесса), приказал атаману послать в эту крепость 100 казаков во главе с капитаном Булатовым, чтобы они подожгли турецкие магазины. Но казачья сотня оказалась бессильной выполнить приказ. Тогда 29 октября вызвался Чепига. С несколькими отважными казаками под покровом черной южной ночи он пробрался к Хаджибею, и береговой цейггауз запылал. А 7 ноября в самой крепости Чепига поджег амбар с продовольствием. «Как он умудрился сделать это, — замечает кубанский историк, — один бог ведает...»⁷.

За этот подвиг он был удостоен ордена святого Георгия 4-го класса.

На поприще атамана З. А. Чепига показал себя человеком большого ума и доброго сердца. Мужественный и несокрушимый в бою, он даже при тяжелом ранении сохранял хладнокровие. Сквозная пулевая рана надолго уложила его в постель. А поправившись, он снова садился на боевого коня и снова отличался в сражениях...

Все попытки князя Потемкина взять каменистый остров Березань, грозно стоявший на подступах к Очакову, терпели неудачу. Потем-

кин был в отчаянии, прятался от людей, валяясь на коврах в своей походной палатке, грыз ногти, «малодушествовал» и вдруг вспомнил о лихих запорожцах. Призвал к себе их знаменитых главарей — Чепегу и Головатого — и спросил:

— Можете ли вы взять со своими запорожцами Березань, что обстреливает наши приступы и не дает захватить Очаков?

Те переглянулись друг с другом и задумчиво ответили:

— Та це дило треба трохи разжуваты.

— Ну, идите из палатки, разжуйте и вернитесь с ответом.

Штурмом Березани руководил Антон Головатый со своей доблестной флотилией. Много тогда полегло запорожцев, а живые ворвались в крепость и, повернув пушки на Очаков, стали обстреливать его меткими ядрами. И вот к палатке Потемкина с устным донесением прибежал казак, весь в крови и грязи. Когда его адъютанты задержали, он поднял шум. Князь приказал пропустить его. Увидав грязного и оборванного запорожца, он удивился:

— Ты что?

— Узялы!

— Что такое?

— Та узялы Березань!

Потемкин расхохотался:

— Что же это? Лучше тебя не было там, что ко мне прислали такого, как ты?

Запорожец невозмутимо ответил:

— Та було там, мабуть, и лепше за мене, та тых к лепшим и пислалы, а мене лядащого — до твоей милости, пан Грыцько Нечоса!

6 декабря 1788 года Очаков пал...

На 11 декабря 1790 года Суворов назначил штурм Измаила. Великий полководец поручил Чепеге вести на мощную турецкую крепость вторую штурмовую колонну. И в этом грозном сражении кошевой атаман показал чудеса храбрости. За мужество ему были пожалованы орден святого Георгия 3-го класса и золотой Измаильский крест. Запорожские казаки заслужили отцовское спасибо от Суворова, что было великой честью для них.

Главнокомандующий писал Чепеге 27 марта 1791 года:

«Милостливый Государь мой Захарий Алексеевич!

Храбрые подвиги, которыми вы себя отличили на штурме Измаильском, удостоились Высочайшего всемилостивейшей нашей Монархини благословения; во ознаменование оного Ея Императорское Величество всемилостивейше пожаловать вас соизволили кавалером военного ордена Св. великомученика и победоносца Георгия третия степени, которого знак с высочайшею грамотою при сем препровождаю, в полном остаюсь удостоверении, что вы усугубите рвение ваше к отличению себя новыми заслугами. С отличным почтением имею честь быть вашим, милостливого Государя моего, Покорным слугою князь Потемкин-Таврический. Санкт-Петербург»⁸.

Именно тогда за верную героическую службу казаки-запорожцы получили имя «черноморцы», а весь кош стал называться Черноморским казачьим войском.

Действуя в авангарде войск генерала Кутузова за Дунаем, черноморцы под командованием Захария Чепеги 5 июля 1791 года разгромили передовой турецкий отряд и ханскую засаду на Бабадагской дороге, захватили три турецкие пушки, много древков с сорванных турками знамен, отбили у противника крупный обоз и взяли много пленных. Старики после вспоминали, что Чепега, бывало, «набере на бичовку турецкого аясира, та й женё мов овец у кошару»⁹.

За долголетнюю суровую службу запорожским казакам пожаловали земли на Кубани: 30 июня 1792 года императрица издает грамоту с наказом: «Войску Черноморскому предлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских». 16 июля войсковой судья Антон Головатый послал из Петербурга срочного гонца к атаману Чепега с короткой радостной вестью: «Слава Всевышнему Богу! Мы от Ея Величества в просьбах войсковых получили все желаемое с хорошим концом...»¹⁰.

Началась спешная распродажа нажитого имущества, сборы и переселение казаков из-за Буга на дарованную землю — Кубань. Кавалерию, пехоту и войсковой обоз возглавил Захарий Чепега. Казаки, измотанные долгой дорогой, жарой, стали роптать, мечтая о возвращении домой — на старые обжитые места, на Украину. И только высокий авторитет атамана, любовь к нему рядовых казаков уняли ропот и возможный бунт.

Ранняя дождливая осень того года заставила переселенцев остановиться на зимовку на Ейской косе, где был хороший подножный корм для лошадей, камыши для обогрева хат и рыба для пищи. Только весной 1793 года атаман привел своих верных, бывалых товарищей на берега строптивой, дикой Кубани. Здесь они и остановились. Когда Антон Головатый прибыл на Тамань с последней переселенческой партией, то получил письмо Захария Чепеги от 12 июня 1793 года:

«...Я, расставивши по реке Кубани пограничную стражу, состою с правительством над оною при урочище Карасунском Куте, где и место сыскал под войсковой град...» Чепега был обеспокоен тем, что к «домостроительству удобное время сего лета проходит, а у нас еще ничего не начато...»¹¹.

1 января 1794 года был обнародован знаменитый «Порядок общей пользы» — законодательный документ, который нормализовал и определял на грядущие десятилетия военную и гражданскую жизнь черноморских казаков. «Порядок» был создан не войсковой радой, не всем кошем, не так, как в давнюю старину писалось письмом турецкому султану Магомету IV, а, как сообщают некоторые историки, лично составлен «письменным» Головатым.

В этом документе начисто перечеркивались прежние вековые запорожские вольности и равенство между казаками, четко проводилась

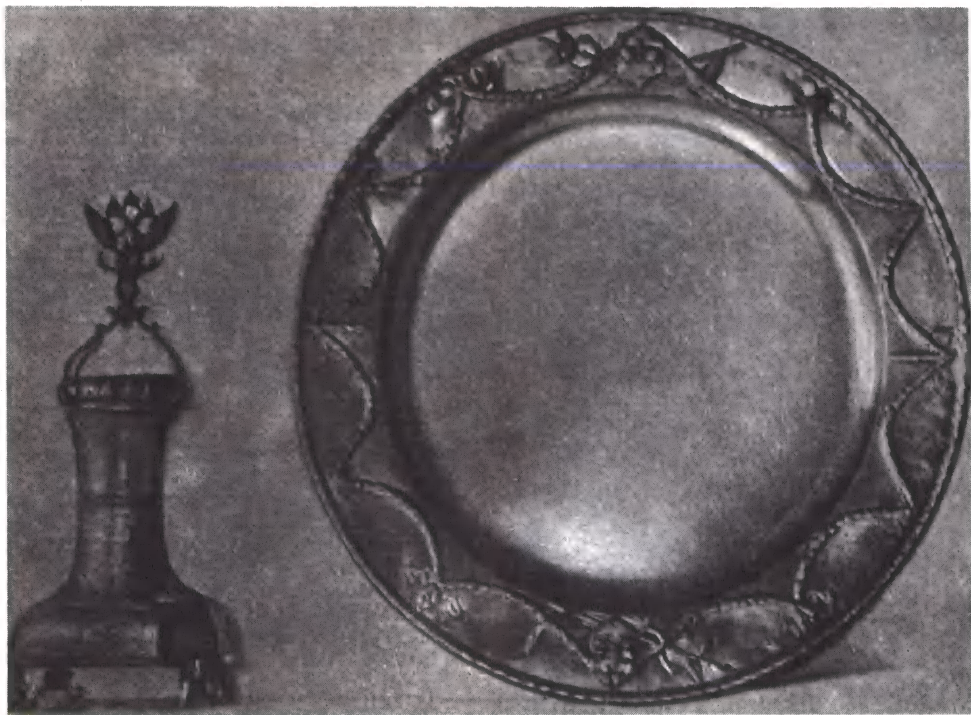
грань между рядовым казачеством и казачьей верхушкой.

Захарий Чепега тем временем был занят устройством Екатеринодара, где разместилось войсковое правительство. 19 ноября 1793 года он заботливо составляет ордер полковому старшине поручику Даниле Волкорезу — первому городничему Екатеринодара, обстоятельно дает наказ, какой порядок и какие законы должны соблюдаться в войсковом граде. Атаман обращает внимание городничего на то, чтобы «жители по данному вам плану во граде строили порядочно», чтобы в торговле «во всем были меры и весы справедливы» и товары продавались «в самой точности, без малейшего примешательства и дороговизны», чтобы во всякий час дня и ночи казаки имели исправные мушкеты и пики для отражения «нечаянного нападения», а казаков, «шатающихся не в свое время без дела, брать в тюрьму и держать до утра»¹².

В этом интересном документе видны заботливость, строгая распорядительность и житейская опытность казачьего военачальника, его простодушие, дальновидность, ум...

Что же это был тогда за город? Первый городничий Екатеринодара Данило Волкорез составил ведомость за номером 332 от 11 ноября 1794 года, в которой перечислял всех поселившихся «с означением, кто какой художник», то есть чем занят. Сразу по прибытии казаки стали заготавливать лес, рыть ров, насыпать валы. Так возникла крепость, где возвели сорок деревянных куреней для одиноких сечевиков. От крепости плугом провели первую борозду, наметили первую улицу — нынешнюю Красную. Семейные люди, очищая поляны в девственном дубовом лесу, устраивались кто как мог. Городничий насчитал 9 домов, 75 хат и 153 землянки, а населения — 580 человек. Характерно, что землянки имели не только рядовые казаки, но и поручики, и полковой хорунжий, и капитан, и даже войсковой старшина. По-видимому, они не думали здесь долго засиживаться, да к тому же все отличались неприхотливостью в быту, привыкнув в военной походной жизни довольствоваться самым малым...

Город-крепость Екатеринодар был построен, и престарелый атаман начал мечтать о покое, о своем собственном уголке. Правительство жалует ему «...два черкесские кута с лесами к полю по заломам, а вниз по первую старую крепость отвести (...) для постройки в Екатеринодаре дома и протчих по службе и званию вашему нужностей во владение ваше навсегда...». Атаман, читая указ, улыбался: много ли нужно одинокому, бессемейному казаку-сироте? Он успел только построить себе турлучную мазанку среди вековых густых дубов над самым Карасуном, как получил царский приказ — снова собираться с двумя конными полками казаков в поход. 14 июня 1794 года он двинулся в дорогу. В этот раз заслуженный воин побывал в Петербурге, был обласкан императрицей: она угощала его за обедом вином, виноградом, персиками¹³ и, подарив дорогую саблю, осыпанную крупными алмазами, сказала Чепега:



Дар черноморским казакам.

— Бей, сынок, врагов отечества!

Захарий Чепега встретился с главнокомандующим Суворовым в местечке Вирковичи и по распоряжению полководца все время находился в корпусе генерал-поручика Дерфельдена¹⁴.

Вернувшись из последнего долгого похода в чине генерал-майора, пожалованный орденом св. Владимира второй степени и золотым польским крестом, З. А. Чепега занялся дальнейшим устройством города Екатеринодара, своего войска, освоением степного края.

З. А. Чепега не был корыстным человеком. В апреле 1796 года, по возвращении из Польши, он дарит Екатерино-Лебяжской Николаевской мужской пустыни, где доживали свои годы бесприютные больные казаки и где, по-видимому, сам престарелый атаман мечтал окончить судьбой отсчитанные дни, «на вечное владение с доброй моей воли» плотинную мельницу «по большой Талызиной дороге на речке Бейсужку» (эта земля была пожалована З. А. Чепеге в марте 1794 года «открытым указом Императорским») ¹⁵.

Недолго длилась мирная, деловая жизнь Чепеги: пятидесятилетняя боевая служба, старость, болезни подкосили его, и в январский

холодный день 1797 года атаман, любимый всем войском, всеми простыми казаками, видевшими в нем и своего верного защитника, и своего отважного предводителя, ушел из жизни. Войсковое правительством рапортом от 14 января 1797 года донесло таврическому губернатору С. С. Жегулину:

«Войска Черноморского атаман кошевой генерал-майор Захарий Алексеевич Чепега сего месяца 8 числа, заболевши тяжело колющим легкого, сего же числа ¹⁶ с полночи в 7-м часу волею божиею умре, а пограничное управление принял по нему старший войсковой писарь армии подполковник Тимофей Котляревский» ¹⁷.

Чепегу похоронили в склепе возле походной Свято-Троицкой церкви «из белой парусины», на месте которой в 1802 году был построен красивый шестиглавый войсковой собор. В другом рапорте сообщается: «По опущении тела в гроб и по отпении «Вечной памяти» выпалено было с пушек девять раз...» ¹⁸.

Память о Чепеге долго жила в народе, она перешла в песни, в предания, в кубанскую степную историю. В 1909 году недалеко от Лебяжьего лимана хутор Величковский, где, по рассказам старожилов, «были терны и волков



Кобзарь. Фрагмент памятника «Первые черноморцы»
М. О. Микешина.

полно», преобразован в станицу Чепегинскую. Название станицы сохранилось до наших дней...

АНТОН ГОЛОВАТЫЙ

Разве не удивительно, что войсковой судья Антон Головатый, не будучи по рангу первой фигурой в Черноморском казачьем войске, затмил самого кошевого атамана Захария Чепегу?

Родившись в местечке Новые Санжары Полтавской губернии в 1732 году¹⁹ в богатой малороссийской семье, Головатый сначала учился в Киевской духовной академии, но, воодушевленный мечтами о подвигах, о борьбе с турками, бросил ее и подался в 1757 году в Запорожскую Сечь. В Сечи быстро оценили его храбрость, грамотность, распорядительность, живой ум и не за них ли окрестили молодого казака «головатым», то есть башковитым, сообразительным? С этой кличкой он и вошел в историю.

Через пять лет Головатый был избран атаманом Васюринского куреня. С каждым годом рос его авторитет в войске. В 1775 году Головатого, как полкового старшину, уже раньше бывавшего в Петербурге и хорошо знавшего придворные нравы, посылают в числе других посланцев ходатайствовать и отстаивать права

войска. Правда, эта поездка не имела успеха: пока запорожские депутаты хлопотали при дворе о правах Сечи, 5 июня 1775 года Сечь была атакована царскими войсками и разорена. В этой обстановке Потемкин действовал неискренне: для вида он покровительствовал запорожцам, но после окончания войны с турками казаки ему уже не были нужны, и он решил уничтожить вольное Запорожское войско, «прибрать к рукам» казацкие земли и тем самым округлить Новороссийское генерал-губернаторство. Для успешного осуществления своего плана хитрый светлейший князь заручился поддержкой других екатерининских вельмож, в частности, генерал-прокурора Вяземского и князя Прозоровского; позже эти два сановника получили по 100 тысяч десятин запорожской плодородной земли.

Прошло несколько лет. Антон Головатый, тайне задумавший возродить родную Сечь, вошел в самые тесные, дружеские отношения с всеильным временщиком и его приближенными. А тут на его счастье в 1787 году снова началась война с Турцией. Главнокомандующий Г. А. Потемкин вспомнил о храбрых запорожцах и призвал их на царскую службу. Под руководством Захария Чепеги и Антона Головатого была сформирована волонтерская команда, из которой в начале 1788 года²⁰ и образовалось «войско верных казаков» под предводительством атамана Сидора Игнатьевича Белого.

26 мая 1788 года Антон Головатый получил приказ от кошевого атамана возглавить вновь созданную гребную флотилию. Неудачные попытки захватить остров Березань, как пишет кубанский историк, заставили князя Потемкина приказать Головатому во что бы то ни стало взять остров. Войсковой судья хладнокровно ответил: «И возьмем, ваша светлость!» — и тут казак, став на колени, запел густым басом, как некогда в духовной академии: «Кресту твоему поклоняемся, владыко!»

— И крест будет! — ответил Потемкин²¹.

И действительно, Березань — эта важная турецкая крепость — была взята штурмом. В одну удачливую ночь — 7 ноября 1788 года — казаки, тайком подойдя на ладьях к острову с глухой стороны, где были более слабые караулы и где по оплошности не были заперты ворота, ворвались в крепость и в одночасье овладели ею. Рукопашная схватка разыгралась среди темноты на крепостных стенах. Черноморцы, переодевшись в плащи и чалмы убитых, ринулись на бастионы, захватили турецкие пушки и, повернув их в крепость, стали картечью обстреливать казармы. Победа была полная!..

В тот же славный день из главного дежурства армии в казачий лагерь пришел приказ:

«За похвальный поиск, учиненный сего дня верными казаками, на острове Березане и овладение оного, Его Сиятельство Главнокомандующий армиею, признавая, что успех сего дела к единому войску верных казаков относится, приказал объявить во всем коше совершенную свою благодарность. И при том повелевает при от-

правлении сюда турок и им принадлежащего прибыть к Его Светлости нескольким старшинам для изъяснения им своего удовольствия и получения всем за хороший их подвиг награждения»²².

А 6 декабря пал Очаков. Головатый, первый из казаков, получил Георгиевский крест, а казаки — за каждое знамя по 20 рублей, их же было добыто тринадцать!

Крепость Измаил — главная опора турок на Дунае — считалась неприступной. Ее крепостной вал высотой до четырех саженей тянулся на шесть верст и граничил с глубоким рвом, залитым водой. На валу было установлено до 300 орудий. Все попытки взять крепость штурмом терпели неудачу. Так, была снята осада Измаила, предпринятая 29 августа 1789 года князем Репниным; 20 ноября безуспешной оказалась одновременная атака вице-адмиралом де Рибасом и бригадиром Антоном Головатым... Тогда князь Потемкин поручил взять Измаил А. В. Суворову. Полководец 2 декабря 1790 года подступил к турецкой твердыне и начал немедленно готовить штурмовые лестницы и фашины для засыпки рвов. После этих успешных подготовительных работ дипломатичный Суворов предложил коменданту крепости сдаться без боя, но получил от него надменный отказ. 9 декабря Суворов собрал военный совет, на котором единодушно было решено — взять Измаил штурмом. Рассказывают, что полководец в знак благодарности за это отважное решение перечековал всех своих генералов и сказал им крылатые слова: «Сегодня — молиться, завтра — учиться, послезавтра — победа либо славная смерть». Штурм был назначен на 11 декабря 1790 года.

Под руководством храброго Антона Головатого две тысячи черноморских казаков, сохраняя полный порядок, высадились на берег и осадили крепость. Головатый направил 600 казаков, вооруженных топорами, рубить крепостные палисады; осаждающие захватили турецкие батареи и, повернув их против противника, открыли ожесточенный артиллерийский огонь. Крепость с 35-тысячным гарнизоном пала. Ее падение произвело огромное впечатление не только в России, но и в Европе: для русского солдата не было непобедимых крепостей. Этот подвиг был столь блистателен, что сам главнокомандующий князь Потемкин-Таврический в донесении императрице Екатерине Второй писал:

«Полковник Головатый с беспредельною храбростью и неусыпностью не только побеждал, но и, лично действуя, вышел на берег, вступил с неприятелем в бой и разбил оно-го»²³.

За это отважное дело Антона Андреевича наградили орденом св. Владимира и золотым Измаильским крестом. Славный казак, имея большой личный военный опыт, говорил своим верным товарищам по оружию: «Сабля и пика есть победоносное оружие храброго российского войска и совершенная гибель варваров». И турки не раз убеждались в справедливости



Антон Головатый.

этих слов, сказанных храбрым запорожцем...

5 октября 1791 года, в глухой бессарабской степи — по дороге из Ясс в Николаев — окончил свою жизнь знаменитый временщик Екатерины Второй князь Григорий Александрович Потемкин. Умер всевластный, хотя и не всегда надежный покровитель черноморцев. Казаки приуныли. Земля, пожалованная еще при Потемкине, на «Фанагорийском болотистом острове» — на Тамани, только на бумаге числилась за казаками. И тогда войско снова направляет в Петербург Антона Головатого, который прекрасно знал, кому преподнести в подарок турецкий старинный кинжал, кому — вкусного осетра, а кому — дорогого коня. Головатый писал полковнику Савве Леонтьевичу Белому и

просил его «приготовить самых лучших до 25 пудов балыков для отсылки в Петербург».

Кроме богатых подарков придворным саванникам, Антон Головатый привез с собою в Петербург любимую бандуру, на которой был мастер играть. Когда он ударял по струнам, все вдруг замолкало, все слушали его игру и сочиненные им песни, рисовавшие судьбу запорожца:

Ой, боже наш, боже милостивый!
Вродылись мы в свити нещасливы.
Служили виро в поли и на мори,
Та и остались убоги, боси и голи....—

пел он, и непритворные слезы катились по щекам этого бывалого казака.

Однажды сама императрица слушала игру Головатого и, как рассказывают, восхищалась и пением, и необычным видом запорожца: среднего роста, смуглый, с большими усами и бритой головой, с оставленным только оселедцем, замотанным несколько раз за левое ухо, Головатый был великолепен! А зеленый чекмень с полковничьими галунами, белый жупан с закинутыми назад рукавами, широчайшие шаровары, красные сафьяновые сапоги, подбитые серебряными подковами, и грудь, увешанная российскими орденами, довершали впечатление. Головатый писал Захарию Чепеге 17 апреля: «В чистой четверг (то есть 2 апреля.— В. Б.) были доставлены к ручке Ея Величества». Тогда Головатый и обратился к императрице с изысканной речью:

*«Жизнедательный державного веления Твоего словом, перерожденный из неплодного бытия, верный Черноморский кош приемлет ныне дерзновение вознести благодарный глас свой к Святейшему Величеству Твоему и купно излагаючи глубочайшую преданность сердец его. Приими оную яко жертву единой Тебе от нас сохраненную; приими и уповающим на сень Твою буди нам прибежище, покров, радование, — та й годи!»*²⁴

Это витиеватое, в духе того времени льстивое и пышное красноречие поразило и Екатерину, и всех присутствующих.

Черноморскому казачьему войску грамотой от 30 июня 1792 года были пожалованы «в вечное пользование» земли на Кубани. 12 июля Антон Головатый ответил на такую щедрость новой блистательной речью:

«Мы к Тебе прибегли, к Тебе, Монархине правоверной. Ты нас приняла як Матерь. Тамань — дар твоего благоволения о нас — будет вечным для обитающих в нем залогом милостей Твоих. Мы воздвигнем грады, населим села, сохраним безопасность пределов. Наша преданность и усердие к Тебе, Монархиня, и любовь к отечеству пребудут вечно, а сему свидетель Всемогущий Бог».

Делегацию Головатого, столь успешно исполнившую возложенное на нее войском важное дело, на дороге в Сечь встретил пятисотенный конный полк. Когда возвращающиеся приблизились к Сечи, трижды было выпалено из пушки. А кошевой атаман Чепега послал навстречу

им своих первых старшин с хлебом и солью. Тут началась беспорядочная, веселая пушечная и ружейная стрельба. Головатый нес на пожалованном серебряном блюде солонку и грамоты, а его малолетние сыновья: Афанасий — письмо Чепеге, а Георгий — подаренную атаману саблю, осыпанную «дорогими камнями», его войсковой судья и препоясал всенародно кошевого атамана. Чепега поцеловал хлеб и соль и начал читать грамоту. После чего он поздравил войско с «монаршими милостями», кланяясь на все четыре стороны.

В доме войскового судьи закипел пир. Гости пели за столом песню, под живым впечатлением важных событий в жизни казачества, сочиненную Головатым:

Ой, годи ж нам журытыся,
Пора перестаты...

Эта песня с той поры стала любимой казачьей...

Не менее ловким оказался Антон Андреевич Головатый в гражданской и в домашней жизни. Еще за Бугом, в Слободзее, у него был свой большой дом с усадьбой, маслобойня и ветряная мельница; вблизи от Слободзеи на реке Турнучуке — хутор с фруктовым садом и два рыболовных завода. В хозяйственных делах он отличался расчетливостью и даже скупостью. Как отмечает историк Ф. А. Щербина, Головатый являлся «истинным сыном привилегированного класса, забравшего уже в свои руки казачью массу и умевшего ковать личное благосостояние на покладах спины подчиненного ему казачества»²⁶. И в этом он был полной противоположностью своему кошевому атаману Чепеге, который, как известно, никогда не гнался за богатством и роскошью.

И при всем том отрицательном, что проявляется в характере Головатого, значение его в жизни Черноморского казачьего войска действительно немалое.

При заселении Кубани Головатый укрупнял не только свое собственное хозяйство за счет захвата пустых, свободных земель, но и заботился об устройстве станиц, казачьей жизни, войскового города Екатеринодара.

Распродав свое и чепегинское имущество на Украине, Антон Головатый с последней партией казаков-переселенцев прибыл на Тамань в июле 1793 года. 18 июля он сообщил Чепеге: «Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский 16-го числа в пятницу был у нас в Тамани, обедал у меня и, часов с пять погостив, обратно на ту сторону возвратился (...), отправлялся на нашей шлюпке и был приемом нашим, как приметно, совершенно доволен. Музыка наша и дьяки его увеселение составляли, а беседа за столом занималась нашими обстоятельствами».

Головатый мог постоять за своих! Когда в мае 1793 года Суворов требовал для строительства Фанагорийской крепости отрядить 3500 казаков, Головатый, рисуя бедственное положение переселенцев, доказывал в личном письме

полководцу: «Сухопутные и водяные бекеты и всякую потребную стражу, кто другой управляет, как не войско Черноморское? Для того вашего высокографского сиятельства всеижайше прошу, милостиво уважив на новость и расстройку нашу, довольно вашему сиятельству известные, приказать, чрез кого надлежит отменить сей наряд...». И наряд был отменен.

Много забот доставил Головатому строящийся войсковой «град Екатеринодар». В одном письме к Чепеге он писал о том, что когда большой колокол, отлитый из переплавленных старых пушек для Екатеринодарской Свято-Троицкой церкви, был «на вербной неделе первый раз опробован, то не только по Херсону, но даже и до Глубокой пристани раздавался звук и такой громкой и приятной, что и граф Александр Васильевич Суворов изволил сам опробовать, со многими господами хвалили и благодарил, а за этим и прочие колокола поспевают». В другом письме к полковнику Кордовскому Головатый давал наставления: «За всеми без изъятия подчиненными недремательно смотреть, чтобы от них какой шалости не произошло, воздерживая сколько можно от пьянства и других неистовств...»

Не менее строг и распорядителен он был и в других административных и хозяйственных вопросах: заводил общественные ставы для ловли рыбы и раков, хлопотал «о заведении жителями хлебопашества, мельниц, лесов, садов, виноградов, скотоводства, рыболовных заводов, купечества и прочих художеств, к оживлению человеческого способствующих», а также строго следил за тем, чтобы «ленивых понуждали к трудолюбию».

Антон Андреевич Головатый 26 февраля 1796 года возглавил тысячный отряд казаков и выступил с ними в так называемый «Персидский поход» на Каспийское море. Но на сей раз ему решительно не везло: казаков в походе преследовали неуспехи и болезни. Тяжкий, смертельный недуг подкараулил и этого могучего человека, отличавшегося завидным крепким здоровьем: он был сражен не вражескими пулями, а злой тропической лихорадкой. В рапорте полковника армии секунд-майора Ивана Чернышова от 25 февраля 1797 года сообщалось, что находившийся в Персии «высокородный и высокопочтенный господин бригадир и кавалер Антон Андреевич Головатый, имея командование Каспийским флотом (...) и войсками на полуострове Камышеваны состоящими (...)» генваря в 28 день скончал живот свой, а 29-го с отличною церемониею от морских и сухопутных сил погребен»²⁷ на острове Сара. Почти через два месяца после смерти Головатый был утверждён кошевым атаманом вместо Чепеги: никто еще не знал, что отважного казака-запорожца уже нет на свете. Царский указ о назначении его атаманом Черноморского казачьего войска был прочитан над его могилой.

...Память о войсковом судье Антоне Андреевиче Головатом до сих пор живет у кубанцев, как и живет его песня:

Ой, годи ж нам журытыся,
Пора перестаты...

Клятву «Мы воздвигнем грады, населим села, сохраним безопасность пределов» А. Головатый, З. Чепега и все кубанское казачество с честью выполнили.

ПРИМЕЧАНИЯ

I

¹ В июне 1797 года Котляревский как представитель от Черноморского казачьего войска находился при коронации Павла Первого в Москве. Его император и назначил 27 июня войсковым атаманом, не избранным казаками, а назначенным свыше. Котляревский не пользовался любовью казаков, при нем произошел известный казачий бунт. 15 ноября 1799 года Котляревский добровольно сложил с себя атаманское звание.

² Государственный архив Краснодарского края (ГАКК), ф. 670, оп. 1, д. 19, л. 1.

³ Гоголь Н. В. Собр. соч., в 7-ми т., т. 2. М., 1966, с. 60.

⁴ «Кубанский сборник». Екатеринодар, 1901, т. VII, с. 268.

⁵ ГАКК, ф. 670, оп. 1, д. 49, л. 6.

⁶ ГАКК, ф. 670, оп. 1, д. 19, л. 124—127.

⁷ ГАКК, ф. 670, оп. 1, д. 19, л. 2.

⁸ «Кубанский сборник». Екатеринодар, 1901, т. VII, с. 277.

⁹ «Наберет на веревку турецких пленных и гонит, как овец, в коша-ру» (загон).

¹⁰ Гагенко К. П. Кубанский памятник. Екатеринодар, 1911, с. 23.

¹¹ Хрестоматия по истории Кубани. Краснодар, Кн. изд-во, 1975, с. 29.

¹² Дмитренко И. И. Сборник исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. Спб., 1896, т. 3, док. 950.

¹³ ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 3021, лл. 19—20. Письмо З. А. Чепеги Ф. Я. Бурсака от 20 июля 1794 года.

¹⁴ ГАКК, ф. 670, оп. 1, д. 19, л. 4.

¹⁵ ГАКК, ф. 250, оп. 1, д. 36.

¹⁶ То есть 14 января.

¹⁷ Памятная книжка Кубанской области. Екатеринодар, 1881. И. Вентковский. Заселение Черноморья с 1792 по 1825 гг., с. 48—49.

¹⁸ ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 354, л. 7.

II

¹⁹ У П. П. Короленко в монографии «Головатый — кошевой атаман

Черноморского казачьего войска» год рождения указан 1744-й. — «Кубанский сборник». Екатеринодар, 1905, т. XI, с. 81.

²⁰ Шамрай В. С. Хронология важнейших событиям и законоположениям, имеющим отношение к истории Кубанской области и Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1911, с. 26.

²¹ «Кубанский сборник». Екатеринодар, 1905, т. XI, с. 111.

²² ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 25, л. 4.

²³ Орлов П. Сборник материалов для казачьей хрестоматии Кубанского казачьего войска, т. 2. Екатеринодар, 1916, с. 1086.

²⁴ Словесное предание генерала Ф. Я. Бурсака — четвертого атамана черноморцев с декабря 1799 по 1816 гг. См.: Исторические записки о войске Черноморском. — «Киевская старина», 1887, март, с. 502.

²⁵ Гагенко К. П. Кубанский памятник. Екатеринодар, 1911, с. 22—23.

²⁶ Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1910, т. 1, с. 527.

²⁷ ГАКК, ф. 249, оп. 1, д. 341, л. 90.



Атака у местечка Клястицы.
18—19 июля 1812 г.

Борис Костин

«Для чести и славы отечества...»

Герой, служащий отечеству, никогда не умирает и в потомстве воскресает.

Я. П. Кульнев

Ротмистр Петр Васильевич Кульнев спешил к новому месту службы, но из-за недомогания жены пришлось задержаться в Полоцке на два дня. И хотя причина, вызвавшая остановку, была серьезной, он, будучи человеком «дисциплины и долга», очень переживал, что не сможет прибыть в установленный предписанием срок. Как только Луизе Ивановне стало лучше, он решил тронуться в путь. Но то ли

виной была ухабистая дорога, то ли время подошло — на почтовой станции Сивошино снова пришлось остановиться: у жены начались родовые схватки. С трудом удалось отыскать повивальную бабу, а помогать ей вынужден был сам Петр Васильевич. Так в ночь с 24 на 25 июля 1763 года в небольшой белорусской деревеньке появился на свет будущий герой Отечественной войны 1812 года Яков Петрович Кульнев. Следует отметить, что относительно места рождения Якова Петровича существует множество легенд. Вот одна из наиболее распространенных, сообщенная Александром Михайловским-Данилевским: «Облекая память Кульнева в народный рассказ, говорили, что он похоронен был подле того холма, где родился, ибо его мать, беременная, ехала из Полоцка в Люцин, внезапно почувствовала боль, вышла из экипажа и родила его на холме под елями, где потом товарищи предали его земле».

Возможно, эти расхождения вызваны тем обстоятельством, что Полоцк и Люцин расположены всего лишь в 130 километрах друг от

друга и до конца прошлого века входили в состав Витебской губернии; но, как бы там ни было, помещане считают Я. П. Кульнева своим земляком.

О родителях Я. П. Кульнева известно очень немного. Его отец, Петр Васильевич, происходил из небогатой дворянской семьи, «верой и правдой» служил отечеству. Однако больших чинов достичь он не смог. Офицерские эполеты Петр Васильевич зарабатывал кровью во время Семилетней войны. Очевидно, тогда он женился на Луизе Ивановне. Яков Петрович отзывался о матери с необыкновенной теплотой и говорил, что она была «воспитана в лучших традициях лютеранской добродетели». Известно также, что она вела переписку с А. В. Суворовым. По свидетельствам современников, Яков Петрович до конца ее жизни треть своего жалования отсылал матери.

Семья Кульневых не утопала в роскоши. Все ее состояние заключалось в офицерском жалованье отца и в родовом поместье Болдырево Калужской губернии с 25 душами крепостных. Отец часто отлучался из дома по служебным делам, и все заботы по воспитанию детей ложились на Луизу Ивановну. С особой настойчивостью она воспитывала у них уважение к труду, скромность и бережливость. Эти качества Якову Петровичу были присущи всю жизнь.

В 1770 году Петр Васильевич привез своих сыновей в Петербург. Было решено определить мальчиков в Шляхетский кадетский корпус. Основная задача корпуса состояла в том, чтобы «доставлять малолетним, предназначенным к военной службе в офицерском звании и преимущественно сыновьям заслуженных офицеров, общее образование и соответствующее их предназначению воспитание». Петр Васильевич принадлежал к заслуженным офицерам, и прошение о зачислении Якова и Ивана «на казенный кошт» было удовлетворено.

С русскими кадетскими корпусами связывают зачастую только такие понятия, как шагистика и муштра. Конечно, была и шагистика, была и муштра. Но корпуса давали довольно большой объем знаний по различным предметам и, в частности, по математике, истории, географии, словесности, по иностранным языкам, по фортификации и тактике. Кроме того, в программу обучения входили фехтование, гимнастика и танцы. Многие зависело от директора. И в этом отношении Я. П. Кульневу повезло. В годы его учебы шефом корпуса был генерал И. И. Вецкой, умный, дальновидный педагог, стремившийся к тому, чтобы его воспитанники стали достойными продолжателями славных боевых традиций русской армии. Времена Аракчеева еще не наступили, и в корпусах готовили не плац-парадных балерин с косичками, а грамотных боевых офицеров. Обстановка в стране способствовала этому. Победы Румянцева и Суворова возбуждали у будущих офицеров гордость за русское оружие, а личности полководцев становились примером для подражания.

Юный Кульнев выбрал образцом для себя Суворова. Много позже знаменитый Денис Давыдов свидетельствовал, что Кульнев «боготворил его и всегда вспоминал о нем со слезами восторга». Некоторые из современников Кульнева говорили, что он слепо подражает Суворову. Яков Петрович писал об этом так: «Да, я подражаю великому полководцу, но у меня нет его состояния, хотя и достиг того, что меня называют учеником этого великого человека».

Учеба в корпусе продолжалась 15 лет. Пятнадцать лет расписанной до мелочей жизни. Для некоторых кадетов, отпрысков знатных родов, считавших корпус своеобразным трамплином для карьеры, это были годы тягостных мучений, но для Я. П. Кульнева они стали серьезной жизненной школой. В 1785 году Я. П. Кульнев выпускается из кадетского корпуса с большой серебряной медалью «за усердие и успехи в учебе». По свидетельству Д. В. Давыдова, «Кульнев знал удовлетворительно артиллерийскую науку и основательно полевую фортификацию, теоретически и практически. Он порядочно изъяснялся на языках французском и немецком, хотя и писал на обоих часто ошибочно, но познания его в истории, особенно в русской и римской, были истинно замечательны. Военный человек и еще гусар (выделено у Давыдова. — Б. К.), он не хуже любого профессора знал хронологический порядок событий и соотношение между собою одновременных происшествий, выводил из них собственные заключения, полные здравого смысла и проницательности». Получив производство в поручики, Кульнев направляется в Черниговский пехотный полк. Но Кульневу больше по душе стремительная лихость кавалерии, и он просит, убеждает, настаивает и в конце концов добивается перевода в Петербургский драгунский полк.

Лихой наездник и забияка, Кульнев быстро сошелся с офицерами полка. А его проделки и находчивость, с которой он удачно выпутывался из всевозможных историй, вызывали у товарищей большую симпатию. Полубили молодого командира и солдаты. Правда, памятью суворовское: «Тяжело в ученье — легко в бою», он до седьмого пота заставлял их атаковать «противника», добиваясь слаженности в действиях. И когда все получалось хорошо, он с удовлетворением отмечал: «Сегодняшнее учение бесподобно. Спасибо, товарищи! Чем дальше, тем лучше!» Он мог накричать, пригрозить всеми карами земными и небесными, потому как был очень вспыльчив, но никогда не опускался до рукоприкладства. Среди любителей поупражняться в мордобитии Кульнев прослыл Дон-Кихотом. А сам Дон-Кихот по этому поводу говорил: «В бою мы все равны — и солдаты и офицеры. И я же своего товарища по морде? Помилуй бог, стыдно». Здесь будет уместно заметить, что Я. П. Кульнев на протяжении всей жизни так и не избавился от этого прозвища, в общем-то верно раскрывающего его внутренний мир. И не случайно, что «Люцинский Дон-Кихот», как часто называл себя

Кульнев, отпустил на волю своих крепостных. Такой поступок едва не стоил ему заключения в Петропавловскую крепость. От расправы его спасла смерть Павла I.

За службу Кульнев взыскивал с беспощадной строгостью, но при этом, как никто другой из офицеров, заботился об участии «полковых крепостных». Старательность и усердие молодого офицера вскоре заметило даже начальство, но отличать его не торопились: уж больно привередлив был поручик Кульнев во всем, что касалось денег на солдатское содержание, да и в деле еще не побывал. Дела пришлось ждать недолго. Восемнадцатый век не отличался мирным нравом. Вчерашние союзники становились врагами, создавались и распадались коалиции, шла борьба за территории, за сферы влияния.

В августе 1787 года Турция объявила войну России. В состав действующей армии был включен и Петербургский драгунский полк. В Молдавии Кульнев получил первое боевое крещение. Особенно отличился он при осаде Бендер. Уже тогда у Кульнева проявились такие важные качества, как умение точно оценить противника, найти его слабое место, не колеблясь принять верное решение. Особенно выделялся Кульнев своей безумной храбростью.

Достоинства молодого офицера оценил и Суворов. В одном из боев противник потеснил боевые порядки русских войск. Возникла необходимость возглавить отряд, который отвлеч бы внимание неприятеля и остановил его продвижение. Суворов воскликнул: «Кульнев! Где он? Отыщите Кульнева!» Кульнев блестяще справился с задачей и был произведен в ротмистры. Через два месяца последовало новое производство: он становится майором и назначается командиром эскадрона. Личное знакомство с А. В. Суворовым оказало сильное влияние на Кульнева. В одном из писем к отцу он писал: «...Чем можно оценить те великие уроки, которые я имел счастье получить, будучи свидетелем славы бессмертного нашего Суворова».

После польской кампании 1794 года потянулись долгие годы скучных стоянок в глухих гарнизонах и тоски по настоящему делу. Его одноклассники давно командовали полками, поднимались по служебной лестнице, ходили в полковниках и генералах, участвовали в боях, получали награды, а Кульнев по-прежнему оставался командиром эскадрона и тянул лямку унылой гарнизонной службы.

Шли годы. Закончилась русско-персидская война, на всю Европу прогремел итальянский поход Суворова, наступил девятнадцатый век.

Смерть императрицы Екатерины II привела к коренным изменениям в русской армии. На смену подлинно боевой учебе пришли строевые экзерциции и шпигруты. Взамен солдата, «понимающего свой маневр», появился «механизм, артикулом предусмотренный». Кульнев с болью воспринимал нововведения «гатчинского капрала» — Павла I. Ему были глубоко противны последыши «всей России притеснителя» — военного министра Аракчеева, и он

плохо скрывал это, что не способствовало продвижению его по службе. В эти годы Кульнева часто переводят из одного полка в другой: сначала в Сумской гусарский, затем в Ивановский, опять в Сумской и, наконец, в 1805 году в новосформированный Гродненский гусарский полк. За всеми этими переводами скрывается не что иное, как желание начальства избавиться от неуживчивого и слишком прямого офицера. Деятельный Кульнев, казалось, сник; на все его прошения об отправке в армию, сражавшуюся против французов, он получает однообразный ответ: «Отказать». Вероятно, это были самые тяжелые годы в жизни Кульнева: неудачные попытки вырваться в действующую армию, нескончаемые парады и смотры, никаких перспектив по службе... И вот на 42-м году жизни Кульнев решает подать в отставку. Он пишет брату: «Я взял твердое намерение сего сентября удалиться от воинского ополчения и воспринять на себя вид гражданина-воина, то есть, взяв отставку, по наружности буду трудолюбивый гражданин, но дух воинственный никогда из меня не истребится. Мне скучно не видеть перемены в моей службе, (...) удалюсь в нашу деревушку Болдыреву».

Но вскоре появилась надежда послужить родине не на плацу, а на поле брани. И тон последующего письма «вечного майора» более оптимистичный: полку приказано готовиться к выступлению. Накануне Кульнев пишет брату: «Я уверен, что ты не покинешь нашу бедную мать, а я могу тебя заверить, где бы я ни был, она всегда будет исправно получать положенные от меня 100 рублей в треть, а буде чего ухлопают, то коней и ружья мои станут ей на три года, ибо за тысячу нельзя купить, вот и все мое имение, кое нажил через 20-ти летнюю службу. Была б, брат, голова, а то все будет».

В 1807 году из всех государств континентальной Европы лишь Россия и Пруссия не были покорены «корсиканским чудовищем». На последнюю-то и направил удар Наполеон. Уже через неделю после начала войны прусская армия была разбита при Иене и Ауэрштедте. Итог этих сражений оказался для Пруссии плачевным: в конце 1806 года она фактически перестала существовать как самостоятельное государство, и таким образом Россия оказалась один на один с грозным противником.

Вместе с Гродненским гусарским полком на театр военных действий прибыл подполковник Кульнев. Волей судьбы он оказался на самом важном участке — в авангарде наступающей русской армии. Еще до начала войны, видя, какие неисчислимые бедствия несет народам нашествие Наполеона, Кульнев вынашивает план его захвата. Об этом он пишет в письме к брату: «Итак, любезный брат, наконец, по долгом стоянии нашем под Гродно сего числа перешли мы за границу в Пруссию, которая сделалась нам союзницей. У меня из головы не выходит поймать Бонапарта и принести его голову в жертву первой же кравице. Ты не назови это химерою, ибо все в

свете сотворено для прекрасного полу». Свои мысли он изложил Вагратиону, но тот отклонил его план как нереальный. Военные действия начались отдельными стычками Вагратиона с корпусом Нея, отходившего под натиском русских войск к городу Гуштадту. Здесь и произошло первое крупное сражение, в котором принимал участие Кульнев. Оказалось, что за одиннадцать лет мирной жизни он не потерял боевого задора и не разучился воевать, хотя, по словам французского маршала Ланна: «Гусар, который не убит в тридцать лет, — не гусар, а дрянь!» — Кульнев в свои 44 года был полон сил и энергии. Знавшие его в эти годы отмечали отменное здоровье, которым он обладал. «Был он роста высокого, почти двух аршин и десяти вершков*, сухощавым, но ширококостным и немного сутуловатым». При своем большом росте Кульнев, однако, отличался ловкостью и мастерски владел саблей, что очень пригодилось ему в бою под городом Гуштадтом.

В этот день Кульнев командовал двумя эскадронами и своими решительными действиями немало способствовал успеху сражения, о чем можно судить по высочайшему рескрипту, направленному на его имя:

«Господин подполковник Кульнев! В воздании отличной храбрости, оказанной вами в сражении с французскими войсками, где вы 24 прошедшего мая с отличным мужеством атаковали с полком неприятельский арьергард, а 25 с двумя эскадронами преследовали знатную часть его кавалерии более мили за реку Пассоргу, взяли довольно пленных, большой обоз и снаряды, которые сожгли в виду своего авангарда, жалую вас кавалером ордена св. равноапостольного Владимира 4-й степени, коего знаки при сем к вам препровождаю, повелеваем возложить на себя и носить установленным порядком в петлицу с бантом. Уверен будучи, что это послужит вам поощрением к вящему продолжению ревностной службы вашей. Пребываю к вам благосклонный. Александр».

В установившееся пятидневное затишье Кульнев с успехом доказал, что он хороший командир не только в бою. Он не забывал старую истину: «Победа куется в тылу» — и был в хорошем расположении духа, когда знал, что его солдаты сыты и имеют все необходимое для боя.

«Солдат должен быть чист телом, совестью и честью». Это слова из приказа Кульнева.

Постоянным вниманием к «государевым людям» проникнуты многие распоряжения Кульнева. Получив известие о назначении брата Ивана командиром полка, он пишет ему: «Ты теперь, любезный брат, достиг такого звания, что в руках твоих состоит благополучие и счастье всех твоих подчиненных (...) Будь справедлив, знай различать людей, а больше всего знай пренебрегать всякой интерес. Все



Мать Я. П. Кульнева.

поступающие в полк суммы ни мало не мешкая раздавай, равно и все, что только до солдата будет принадлежать».

Ведение боевых действий на чужой территории выдвинуло такую важную проблему, как предотвращение мародерства. И в данном случае русская армия оказалась на высоте. А ведь это происходило во времена, когда грабежом и насилием в побежденных странах занимались все европейские армии без исключения! В глазах русского офицера Кульнева грабящий солдат был величайшим преступником, достойным смертной казни.

После некоторого затишья противники приступили к решительным действиям. Наполеон стремился перехватить коммуникации и отрезать русскую армию от баз снабжения. Для того чтобы осуществить это, он предполагал с ходу овладеть стоящим на его пути Гейльсбергом, который был занят русскими войсками, построившими возле него свою оборону.

29 мая 1807 года рано утром французы предприняли первую атаку на город, но закончилась она безрезультатно. Русские не дрогнули, дрались упорно и мужественно. Вой длился несколько часов. Французский авангард потерял убитыми и ранеными около восьми тысяч человек.

* Около 1 метра и 90 сантиметров.

Кульнев несколько раз водил в атаку свои эскадроны, и французы бежали от стремительного натиска гусаров. К исходу дня бой утих. «Мы победили не наступательно, а оборонительно, — записал в свой дневник Денис Давыдов, — но победили и, следовательно, могли на другой день воспользоваться победой — атаковать неприятеля». О своем участии в сражении под Гейльсбергом Кульнев в письме к брату сообщает весьма скудно: «Отбили с полком одно сражение довольно удачное, а ныне, как неприятельская, так и наша армия находятся безо всякого движения (<...> Должно полагать, что если дело придет до схватки, то будет самая кровопролитнейшая баталия и решит участь войны».

Но Беннигсен не воспользовался сложившейся ситуацией и трое суток провел в бездействии, давая возможность Наполеону наращивать силы. Лишь на третий день он отдал приказ... об отходе на правый берег реки Алле. Кульневу и другим здравомыслящим офицерам такие маневры главнокомандующего были непонятны: войска оставляли выгодную позицию и ретировались на открытое поле.

При таком руководстве трудно было рассчитывать на успех, что и подтвердилось в ходе последующих событий. Наполеон сразу определил губительную ошибку «русского» командования и, сконцентрировав все наличные силы в кулак, повел решительное наступление. Так, 2 июня 1807 года началось грандиозное Фридландское сражение, которое, как и предполагал Кульнев, завершило эту войну. В начале сражения французы удалось выбить русских из Фридланда и разрушить мосты через реку Алле. Русская армия оказалась в мешке. Расположенная в непонятный боевой порядок, вопреки здравому смыслу и всяким правилам военного искусства, отбиваясь от более многочисленного неприятеля, осыпаясь градом свинца, она таяла на глазах. В таком же положении оказался и Гродненский гусарский полк. Окруженные со всех сторон, гусары с трудом отбивались от наседавших французов, но кольцо окружения, несмотря ни на что, сжималось. Полку грозило либо полное истребление, либо позорный плен. От этого полк был спасен благодаря кульневской одержимости. Собрав вокруг себя несколько десятков всадников, он, не обращая внимания на численный перевес, с криком «Вперед!» врвался в ряды французов и увлек за собой всех. Окружение было прорвано. Уцелевшая часть полка присоединилась к своим войскам, в беспорядке отступавшим к реке Прегель.

Усталый и измученный в сражениях, не прекращавшихся все эти дни, с воспаленными от бессонницы глазами, прикрывал Кульнев со своим отрядом отход русской армии. «1807 года 2-е июня ознаменовано было неимоверной храбростью, неимоверными усилиями войск наших, и при всем этом этот день был днем бедственным для нашего оружия», — записал в свой дневник Д. В. Давыдов.

За боевые заслуги под Фридландом Кульнев

был удостоен ордена Анны 2-й степени. О нем заговорила вся армия. Но храбрость Кульнева и ему подобных не смогла ничего изменить. Преследуя разбитую русскую армию, седьмого июня Наполеон вышел к границе Российской империи у Тильзита, где и состоялось заключение мира.

После войны положение Кульнева в армии изменилось: на войну ушел никому не известный неудачник, не единожды писавший, что «...ведя скромную и честную жизнь, я целый век несчастлив», а вернулся герой с двумя боевыми орденами, которому сам Багратион дал высокую оценку.

Новым качествам Кульнева суждено было раскрыться во время русско-шведской войны 1808—1809 годов.

В этой войне военные действия велись на значительных пространствах в зимних условиях, что осуществлялось впервые, а русские войска показали образцы мужества и героизма. Русско-шведская война стала новой и значительной ступенью роста таких известных военачальников, как Барклай де Толли, Багратион, Раевский, Тучков, Каменский. Особенно много для победы сделал Кульнев. Командуя, как правило, либо авангардом, либо арьергардом дивизии, а затем корпусом Багратиона и Каменского, он совершал стремительные рейды, нападая внезапно на шведские гарнизоны, а при отступлении, случалось и такое, уходил с боя последним.

На первом этапе войны командование русской армией было «препоручено генералу от инфантерии Буксгевдену». О его талантах военачальника можно судить по такому эпизоду. Три года назад под Аустерлицем, имея 29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии, он во время битвы провозился около третьестепенного пункта боя, где его сдерживал ничтожный французский отряд, а когда он догадался начать отход, то сделал это так неискусно, что несколько тысяч из его корпуса были отброшены к прудам и здесь потонули».

Вот с таким командующим пришлось служить Кульневу. Приказы поступали бестолковые, маршруты движения составлялись без учета местности и обстановки. И всякий раз Кульневу приходилось нарушать приказы, действуя на свой страх и риск.

Особо выделяется в этой войне переход русских войск по льду Вотнического залива на Аландские острова, а затем наступление в направлении Стокгольма. Во время походов авангардом неизменно командовал Кульнев.

Шведское командование расположило на Аландских островах сильную группу войск, а самое главное — знало о планах русских. Элемент внезапности отсутствовал. Но от задуманного отступать было поздно, и в конце февраля 1809 года корпус Багратиона выступил в поход. С первых километров пути на русские войска обрушился свирепый снежный ураган. Лед на море трескался, образовывались огромные полыньи. На ночлег приходилось располагаться прямо в сугробах. В этом снеж-



ном и ледяном аду важен был пример командира, и Кульнев постоянно находился впереди, вместе с солдатами переносил трудности похода. Об этом говорят и строчки его приказов: «Бог с вами, я перед вами, князь Багратион за вами. Поход до шведских берегов венчает все труды».

Шведы, хотя и готовились к отражению наступления, увидев перед собой русские войска, растерялись. Этой растерянностью умело воспользовался Кульнев. Под ударом гродненских гусар шведы дрогнули и, бросая артиллерию, подводы и боеприпасы, отступили. В течение восьми дней все Аландские острова были заняты русскими войсками. За это время кавалеристы Кульнева захватили около трех тысяч пленных, тридцать орудий и шесть военных кораблей, стоявших в гавани. Но и после этого русские войска не остановились. Ученики Суворова Багратион и Кульнев неужержимо рвались вперед.

Кульневу поручается ответственное задание: произвести разведку неприятельского берега. «Надо испытать дорогу на шведский берег и разведать неприятельские силы. Господа шведы не единожды у нас гостили, давно пора визит отдать», — гласил приказ.

«Завтра отправиться к походу, — дает распоряжение Кульнев, — людей обмыть в банях и выкатать в снегу, укрепятся нервы. Онучки и сорочки обмыть: человек свеж, и силы удвоятся». На переходе отряда Кульнева к континентальной части Швеции следует остановиться особо. В памяти тогдашнего поколения еще были свежи воспоминания об альпийском походе Суворова, и переход русских войск через Ботнический залив многие из современников Кульнева сравнивали со знаменитым переходом через Альпы. И это не случайно.

Всю ночь пробивались конники Кульнева сквозь ледяные горы и колючую пургу, обходя полыньи и трещины. А утром перед гарнизоном и жителями шведского города Гриссельгама предстало необычное зрелище: по льду с криками и гиканьем неслись русские кавалеристы. Шведы спешно организовали оборону и встретили русских картечью. Понимая, что атака в кавалерийском строю не достигнет успеха, Кульнев спешил большую часть отряда и повел наступление на ледяные валы, за которыми укрылись шведы. Бой был коротким, но жестоким. Гусары и казаки выбили шведов из-за укреплений, а затем и из города. В своем донесении Багратиону Кульнев сообщал: «Благодарение богу, честь и слава российскому воинству на берегах Швеции. Я с войсками в Гриссельгаме. На море мне дорога открыта, и остаюсь здесь до получения ваших повелений». Брату об этом он написал так: «Экспедиция на Аландские острова кончилась с честью и славою нашего оружия, а я имел счастье, преследуя неприятеля, быть в Швеции в ста верстах от столицы».

Такая близость русских войск к Стокгольму вызвала большую панику в правящих кругах и, пришедший к власти после дворцового пере-

ворота герцог Зюдерманландский немедленно запросил у русского командования перемирия. Окончательно же мир был подписан в Фридрихсгаме 5 сентября 1809 года. Война закончилась, дипломаты принялись подводить итоги. Армия возвращалась в Россию. А с нею и генерал-майор Яков Петрович Кульнев.

Одиннадцать лет понадобилось ему, чтобы перешагнуть от чина поручика до капитана, одиннадцать лет он служил в звании майора, и всего лишь за один год прошел путь от подполковника до генерал-майора. Взлет стремительный, но заслуженный, потому что все эти чины заработаны им в боях, а не в дворцовых приемных. Сам же Кульнев об этом писал: «Лучше быть меньше награжденному по заслугам, чем много безо всяких заслуг».

Поход на Аландские острова и переход по льду Ботнического залива стали наиболее яркими вехами в военной биографии Кульнева, но до этого он участвовал в нескольких важных сражениях: при Сумбе и занятии Якобштадта, при Иппери, где захватил начальника штаба шведских войск генерала Левенгельма, при Куортанском озере, при Оравье, и каждое из них отмечено либо произведением в следующий чин, либо наградой. Золотая сабля «За храбрость», орден Анны 1-й степени, врученный ему Александром I в Або, а самое важное — «за явные заслуги, оказанные на поле брани», — Георгиевский крест 3-й степени.

Как правило, завоеватели оставляют недобрый след в истории покоренных государств. Примеров, подтверждающих это, можно привести множество. С Кульневым, если можно так выразиться, произошел исторический парадокс. Пожалуй, трудно отыскать в анналах истории пример тому, чтобы завоеватель оказался воспет в идиллических стихах:

Я здесь слыхал от матерей,
Как старый Кульнев их страшил,
Когда без спроса и затей
Он к люлькам детским подходил.
Но говорят они «Добряк
Лешь целовал детей и так
Смеялся кротко им в привет,
Как вот вблизи его портрет».

Несмотря на явную погрешность поэта относительно возраста Кульнева (ему было 45 лет, когда закончилась война), остальное соответствует истине. В преданиях шведского и финского народов долго продолжал жить образ «русского богатыря, задушенного и отзвучившего человека». Кстати, сам Йохан Людвиг Руненберг, автор этих строк, фигурирует на одной из финских гравюр того времени сидящим на руках у Кульнева. Гравюра эта сохранилась до наших дней.

В своих воспоминаниях о Кульневе Д. В. Давыдов писал: «Молва о его великодушии разносилась повсюду». Там же Давыдов приводит интересный случай. В городе Або, занятом войсками Багратиона, в доме бургомистра давали бал. Когда в зал вошел Кульнев, все —

и дамы и мужчины — встали со своих мест, окружили его и принялись выражать искреннюю благодарность «завоевателю». Следует добавить, что по-рыцарски Кульнев относился не только к мирным жителям, но и к противнику. «Кто кричит пардон,— гласит один из его приказов,— того брать в плен». А уж если кто попадал ему в «полон», то никогда не испытывал ни издевательств, ни унижений, о чем, в частности, свидетельствовал пленный шведский генерал Левенгелль.

К периоду войны со Швецией относится тесная дружба, завязавшаяся между Кульневым и Денисом Давыдовым, который был моложе Кульнева на 20 лет.

«Я познакомился с Кульневым в 1804 году,— пишет Давыдов,— во время проезда моего через город Сумы, где стоял тогда Сумской гусарский полк, в котором Кульнев служил майором (...) Знакомство наше превратилось в приязнь в продолжении войны 1807 года в Восточной Пруссии (...), но в годах 1808 и 1809 (...) приязнь наша достигла истинной, так сказать, задушевной дружбы, которая неослабно продолжалась до самой его блистательной и завидной смерти (...) Мы были неразлучны, жили всегда вместе, как случилось, то в одной горнице, то в одном балагане, то у одного куреня под крышею неба, ели из одного котла, пили из одной фляжки».

Дружба с Кульневым оказала большое влияние на Давыдова, он многому у него научился, многое перенял и позже использовал этот опыт во время Отечественной войны 1812 года. Облик Кульнева запечатлен и в стихах Давыдова:

Поведай подвиги усатого героя,
О муза! Расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

После войны со Швецией имя Кульнева стало широко известно в России. Этому в большой степени способствовала молва, распространяемая ранеными солдатами, возвращавшимися с полей сражения и передававшими из уст в уста рассказы о нем, содержащие наряду с правдоподобными фактами и элементы типично русского былинного творчества. О популярности Кульнева достаточно красноречиво говорит и такой факт. А. С. Пушкин в повести «Дубровский» вкладывает в уста помещицы Анны Савишны Глобовой следующий рассказ: «...Вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева...»

В мае 1809 года Кульнев назначается шефом Белорусского полка, но в Бухарест, где в то время находился его полк, он прибывает лишь в апреле 1810 года. Об этом он сообщает брату: «Первого апреля прибыл я благополучно в го-

род Бухарест, где нашел нового главнокомандующего графа Каменского (...) и по доверенности его ко мне получил в командование авангард главной армии. Армия наша скоро начнет наступательное движение за Дунаем, и должно надеяться, что (...) война скоро кончится с честью и славою для России».

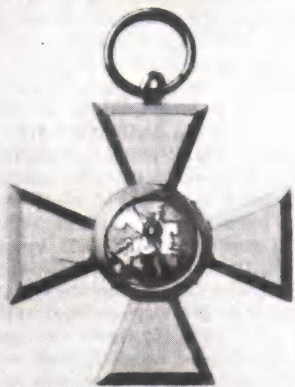
Когда Кульнев писал это письмо, война с Турцией шла уже три года. Наполеону было важно, чтобы Россия увязла в этой войне и тем самым оттянула большую часть сил на юг. Его намерения были ясны: с конца 1810 года он начал всерьез готовить вторжение в Россию.

Еще в 1806 году М. И. Кутузов, бывший в то время русским послом в Константинополе, писал в Петербург: «Верный градусник дел здешней страны — дела самой Франции. Кажется, Оттоманская империя предназначена только служить флюгером Франции».

В мае 1810 года Кульнев вместе с авангардом переправляется через Дунай и приступает к активным действиям. Основная задача, которую поставил главнокомандующий перед армией, — это овладеть тремя сильно укрепленными турецкими крепостями: Шумлой, Рушучком и Силистрией. На них и направил он основной удар, полагая, что с их захватом откроется прямой путь через Болгарию на Константинополь.

Первым серьезным делом было взятие крепости Силистрия. После одной из стычек с турками Кульнев пишет брату: «Недавно одержали на левом фланге нашем славную победу (...) и как думаю, то и Силистрия не долго продержится». Так оно и произошло. Затем последовала осада Шумлы, которой руководил сам Каменский, обладавший достаточной энергией и боевым опытом, но с осадой крепостей столкнувшийся впервые, и здесь у Каменского не нашлось должного умения и находчивости. Вместо того чтобы сосредоточить усилия на одной из крепостей, Каменский разделил армию на отряды и тем самым нигде не достиг численного преимущества. Это сказалось незамедлительно. «Кровопролитный, плохосообразный, предпринятый по инициативе Каменского штурм не удался», — свидетельствует историк. Русские войска вынуждены были отойти от Шумлы, турки решили воспользоваться неудачей, 11 июня покинули стены крепости и атаковали отряд Кульнева. В этот день противник испытал на себе мощь штыкового удара, которым всегда славилась русская армия. Сражение окончилось полным поражением турок. Кульнев гнал отступающих до самых ворот крепости. На следующий день турки предприняли новую попытку разбить русских, но безуспешно.

В письменной благодарности, направленной на имя Кульнева, главнокомандующий сообщал: «Вследствие всеподданнейшего моего представления об отличных подвигах, оказанных вашим превосходительством в сражении 11 и 12 июня при занятии позиции у крепости Шумлы, его императорское величество, вместо испрашиваемой мною аренды, всемилостивейше



Георгиевский крест Я. П. Кульнева.

повелеть соизволил производить в течение двенадцати лет по тысяче рублей ассигнациями ежегодно из Государственного банка, о чем и последовал на имя министра финансов высочайший указ. Генерал граф Каменский 2-й.

Своеобразно распорядился Кульнев этой значительной суммой, «всемиловитейше» пожалованной ему. Все эти деньги он отдал в приданое своей племяннице, которая лишилась матери. А сам продолжал вести «суровый и простой образ жизни». В письме к брату он писал: «Я все живу по-старинному, сплю на сене и ношу продырявленную шинель. Убожество было первой добродетелью римлян, победивших всю вселенную, но коих, наконец, богатство, попавшее им в руки, совершенно развратило».

После боя под Шумлой последовало несколько сражений, в которых русские войска одержали решительные победы, и во всех них Кульнев принимал непосредственное участие.

В этот период проявилась поразительная работоспособность Кульнева. Многие поразились тому, что он целыми сутками не смыкал глаз, приговаривая: «Я не сплю, чтобы спала армия». А если приходилось прилечь, то «все разоблачение его состояло в снятии с себя сабли, которую он клал у изголовья. При первом же известии о выстреле или движении неприятеля Кульнев поднимался и на самом месте происшествия удостоверялся собственными глазами, нужно ли поднимать весь авангард или часть его», — вспоминал Денис Давыдов, проделавший вместе с Кульневым почти всю турецкую кампанию.

В семь часов утра 26 августа началось решающее сражение. Каменский решил направить основной удар на правый фланг турецкой позиции. «Левая, главная часть войск графа Каменского 2-го, — свидетельствует историк, — расположилась в три линии, имея в первой отряд Кульнева». Кульнев, хорошо изучивший местность и расположение противника, повел наступление несколько иначе, чем было указано в диспозиции. Пехотные подразделения атаковали укрепления турок с фронта, а конница во главе с Кульневым, сделав обходной маневр, оказалась далеко в тылу турецких войск.

Такое развитие событий никак не устраивало турецкое командование, и оно выделило большой отряд янычар для ликвидации обхода русских. «Генерал Кульнев заметил наступавшего противника, развернул фронт и сбил значительный конный отряд его, принудив турок искать спасения в укреплениях», — доносил Каменский в Петербург.

Турки, теснимые с фронта и с тыла, еще продолжали яростно сражаться, но это было скорее отчаяние, чем надежда на успех. К полудню их сопротивление было сломлено, и они побежали к Рущуку. Кульнев с отрядом долго преследовал отступавших, и мало кому из них удалось уйти.

За сражение при Батине Кульнева наградили саблей «За храбрость», уже второй подобной наградой.

Но Кульневу не удалось остаться в армии до того момента, когда ее возглавил Михаил Илларионович Кутузов. Его пребывание в Болгарии закончилось следующим эпизодом.

В отряд накануне сражения прибыли подразделения, почти целиком состоявшие из молодых, необстрелянных солдат. Они несколько раз поднимались в атаку, но, попадая под огонь орудий, с большими потерями откатывались назад. Кульнев приказал остановить наступление и перестроить боевой порядок. В этот момент появился Каменский, сопровождаемый адъютантами.

— Что у вас такое, генерал? — сердито спросил он у Кульнева, соскочив с коня. — Почему прекращены атаки?

— Бесплезно терюем людей, ваше сиятельство, — ответил Кульнев. — Превосходство неприятельской артиллерии столь очевидно...

Не дав договорить, Каменский сорвался:

— Вадор! Чепуха! Приказываю возобновить!

— Я доложил вашему сиятельству, — стараясь держаться как можно спокойнее, повторил Кульнев, — почему атаки не удаются.

— Потому, что начальники, — перебил Каменский, — не подают примера храбрости, а много умничают и рассуждают!

Кульнев поблелел. В шведской кампании он с небольшим отрядом еле сдержал натиск неприятеля, преследовавшего корпус Каменского, допустившего тогда явную оплошность.

— Граф, — обратился Кульнев к Каменскому, — вы слишком скоро забыли про Куортани и Оровайс.

Фонетическое письмо Я. П. Кульнева к брату и лет назад Друзей.

З^н = жила построено в каменном
месте тогда еще не предвидел
всего ожидать меня на се стороне
в веревки и шит браненный бу-
сарский похитил камен в ка-
два французские камен похитил, и в
каменно Атамане ка в веревке
был почти до остатка и в два
похитил, та же в в веревке была
услана трупами мертвыми т.е.
генерала который командовал от-
ти похитил в в похитил, и в

Письмо Я. П. Кульнева к брату о бое под Друзей (фрагмент).

При этих словах Каменский пришел в ярость, затопал ногами и приказал арестовать Кульнева.

Яков Петрович хладнокровно отступил саблем, бросил ее к ногам главнокомандующего и спокойно произнес:

— Вы можете отнять ее у меня, граф, но более от вас я ее не приму...

На другой день Кульнев уехал из армии.

Этот эпизод лишний раз свидетельствует о прямооте Кульнева, его решимости отстаивать свою правоту и подтверждает его «бережливость на солдатскую кровь». Правда, и Каменскому нельзя отказать в порядочности, случай этот не был предан гласности, а остался лишь в памяти очевидцев.

1811 год. Западная граница государства Российского. Каждый русский человек, искренне любящий отечество, с тревогой и вниманием следил за маневрами французских войск по ту сторону Немана. Многие уже тогда предполагали, что близок разрыв с Францией, следом за которым начнется война.

К войне у Кульнева свое отношение. Да, он на поле брани не щадил «ни живота своего», ни

жизни противника. И известность свою он приобрел благодаря подвигам, совершенным в шести кампаниях. И тем не менее он писал: «В самом веществе война успешнейшая не что иное, как истребление рода человеческого и разорение жителей, на что без содрогания нельзя взирать». А в одном из писем к сестре восклицал: «О война, гибельная для рода человеческого! Не токмо те страждут, кои участвуют в оной, но и вы, несчастные, чувствуете бремя ее».

Но встретить врага он готов был во всеоружии. Во имя отечества и во славу его совершал он свои подвиги. «Для чести и славы отечества» — эти слова часто звучали в его приказах. «Отечество, коему нет подобных во всей вселенной», — пишет он в одном из своих писем.

Об этом же свидетельствует и такой примечательный факт из его личной жизни. Кульнев не был женат, и вдруг его «на старости лет одолела любовь».

Дело дошло до обручения, состоявшегося в начале 1812 года, и вдруг все внезапно разстроилось.

Одним из требований, на котором твердо настаивала невеста, был уход Кульнева в от-

ставку. Он убеждает, просит отложить свадьбу до лучших времен «буде бог сохранит мою голову», — невеста неумолима. Она пишет Кульневу письмо, ставшее причиной окончательного разрыва.

«Повторяю вам, — отвечает он ей в последнем письме, — еще ничто на свете, даже самая любовь, которую к вам питаю, не возможет никогда отворить меня от сердечных ощущений безпредельной любви к отечеству [...] Прощайте, любезная и жестокая очаровательница, будьте здоровы и вспоминайте иногда о верном вашем друге».

Шел март 1812 года. Кульнев безотлучно находился в Гродно, где располагался его полк. Оказавшись в непосредственной близости к западной границе, он особенно остро сознавал, что война стучится в Россию именно отсюда. В своем письме к брату от 25 марта 1812 года (за три месяца до вторжения Наполеона в Россию!) он пишет: «Тебе известно, что война у нас не за горами».

Неудачно расположенные, разъединенные значительными расстояниями друг от друга, различные по численности, русские армии отступали в глубь страны под натиском превосходящего в силах неприятеля. Гродненский гусарский полк входил в состав 1-й армии, которой командовал Барклай де Толли. Непосредственным же начальником Кульнева был командир 1-го пехотного корпуса генерал П. Х. Витгенштейн.

Фигура командующего графа Витгенштейна и действия его корпуса остались несколько в стороне от всеобщего внимания лишь только потому, что взоры всей России были прикованы к главному направлению, на котором вершилась судьба всего Русского государства, — к Москве. И это справедливо, но в то же время нельзя забывать, что корпус Витгенштейна являлся фактически единственным препятствием на пути наполеоновских войск к столице империи.

Но вот выбор «ангела-хранителя», которым, по мнению императора, должен был стать Витгенштейн, оказался явно неудачным. Для выполнения такой ответственной задачи он не соответствовал, так как был полководцем нерешительным и посредственным. К тому же ответственная роль защитника Петербурга его сильно подавляла. И неизвестно, как бы развивались события, если бы не солдаты и офицеры его корпуса, в большинстве своем участники шведской и турецкой кампаний, имевшие богатый боевой опыт. Общая численность корпуса составляла 25 тысяч человек при 108 орудиях. С кем же предстояло Витгенштейну скрестить оружие?

«Наполеон, преследуя армию нашу, — гласил высочайший приказ, данный Александром I в Дриссе 27 июня 1812 года, — отрядил двух главных маршалов своих Макдональда и Удино идти, не теряя времени, одному по Курляндской, а другому по Псковской дороге на Петербург».

В распоряжении Удино было 28 тысяч чело-

век. У Макдональда — 32 тысячи. Оба маршала по военным дарованиям были на голову выше Витгенштейна, но тем не менее действия их не увенчались успехом. А причина одна — героизм и мужество русских солдат и офицеров. «Надо зарубить себе на носу, — не раз повторял М. И. Кутузов, — что солдат русской армии является сокровищем, его нужно беречь».

Корпус Витгенштейна отступал. Замыкал отступление арьергард под командованием Кульнева. Наполеон стремился отрезать корпус от главных сил русской армии и требовал от Удино активных и решительных действий. Следуя указаниям императора, Удино догнал отряд Кульнева под Вилькомиром.

Бой длился восемь часов. Причем против двух пехотных, одного кавалерийского полка и нескольких орудий русских с французской стороны действовала чуть ли не треть главных сил Удино, а по мере подхода и остальные части вступали в бой. Тем не менее сбить отряд Кульнева с занимаемых позиций французам не удалось. Выдержав неравный бой, Кульнев сжег мост через реку Свенту и присоединился к Витгенштейну. Об этом бое Кульнев сообщает в письме к брату: «Уведомляю тебя, что я, командуя авангардом, первый из русских, который имел счастье сразиться с французским маршалом Удино под Вилькомиром и, побеждая на каждом шагу, по данному мне наставлению мало-помалу отступаю, дабы заманить сих вероломцев внутрь пределов наших. Ежели же паче чаяния, чего однако я не желаю, они нас побьют, так ты, брат, и в Болдыреве места не найдешь, но мы будем стоять как крепкие каменные стены за возлюбленное отечество наше».

Среди гнетущей атмосферы отступления, бой под Вилькомиром стал оживленной темой для разговоров, а имя Кульнева было у многих на устах. Примечательно, что Кульнев ни в коей мере не приписал себе эту победу, а, наоборот, выступил со следующим ходатайством перед Витгенштейном: «Если заслуживаю какое-либо воздаяние, то прошу за особую милость наградить Редигера (командира двух эскадронов) вместо меня».

Витгенштейн несколько дней являл собой простого созерцателя событий, чем вызвал немало колких реплик в свой адрес со стороны рвущихся в бой офицеров. Безделье утомляло Кульнева более, чем самая трудная боевая жизнь. «Нега свойственна малодушным, — не раз поговаривал он, — а нам труды». Он искал дела, стремился в бой. Из Дрисского лагеря он сообщает брату: «Отступление наше за Двину не полагая развитием нашего корпуса, ибо кроме моего дела под Вилькомиром и малой перестрелки в другом корпусе не было никакого, но за Двиною начнутся серьезные дела». Лишь 3 июля Витгенштейн отдал распоряжение о проведении разведки.

Возложенную на него пассивную задачу Кульнев превратил в активный поиск неприятеля. Построив за ночь мост через Двину, он с отрядом переправился на левый берег реки и

На слугу постою для кавалерии

Умъ стоишь воздвигая,
 Сидишь в пушечной палате,
 Какъ Французъ ты подиша
 Удалой нашъ Графъ съ твоей

Видишь какой неугомонный
 За Двину къ намъ перешелъ;
 Врагъ каварный, злобно, злобно
 Вали напасть свою на насъ

Молодца мы потеряли —
 Кульнева здесь убили;
 Да за то и отсели —
 Дорого ты заплатилъ

Сколько тысячъ мерзвъ рѣшилъ
 Ты своими не досталъ
 Сколько пушекъ, штыковъ
 На плечахъ твоихъ несли

Солдатская песня.

возле деревни Чернево, недалеко от местечка Друя, внезапно атаковал передовые полки кавалерийской дивизии Себастьяни.

Действия Кульнева были настолько стремительны, что командир дивизии Себастьяни не решился прийти на помощь своим гибнущим полкам, полагая, что Кульнев располагает как минимум четырехтысячным отрядом. Потери русских составили всего двенадцать человек убитыми и шестьдесят три ранеными. В этом бою Кульнев доказал, что французская армия не столь уж грозная и что ее можно бить, и бить с успехом.

В истории Отечественной войны 1812 года сражение при белорусской деревеньке Чернево занимает всего лишь несколько строчек, не

значение его гораздо большее. Как явствуют французские документы, получив донесение от Себастьяни, Наполеон пришел к заключению, что отряд Кульнева является не чем иным, как авангардом всей русской армии, и вынужден был приостановить движение до выяснения обстановки. Эта задержка позволила Барклаю де Толли выиграть значительное время, что на первом этапе войны было немаловажным.

13 июля Кульнев вновь переправляется через Двину в районе Друи. В этот день последовала удачная атака на неприятельский отряд в 1500 человек, сопровождавший транспорт. Итог боя: 434 человека пленных солдат и два офицера, а кроме того, в его руки попал важный пакет со сведениями о движении войск Удино.

Маршъ на смерть Генералъ-Маіора КУЛЬНЕВА.

„Передъ сраженіемъ со-
ю-вѣстному, всегда
онъ задрожалъ и на-
вѣстъ въ вѣнцахъ“
Я. П. Кульневъ.

Сочиненный
К. П. ПАВЛОВЪ ДОЛГОРУКОВЪ
въ 1912 году.



Марш на смерть Я. П. Кульнева.

Судьба распорядилась таким образом, что Кульневу пришлось сражаться в тех местах, где он родился, провел детство, и это еще более усиливало его ненависть к завоевателям.

Заняв Полоцк, Удино двинулся по Петербургскому тракту. Сосновым бором, но больше ельником да березником, по глухой, малонаселенной местности, изредка пересекая небольшие пахотные поля, шла дорога на Петербург. Здесь-то и разыгрались кровавые сражения, лишившие французов возможности наступления на русскую столицу.

Удино полагал обойти Витгенштейна справа, с тем чтобы Макдональд обошел его слева, и, окружив, разбить корпус русских. Замысел этот удалось разгадать, и Витгенштейн решаете атаковать корпус Удино до того, как подойдет Макдональд. Для выполнения этой задачи был назначен авангард во главе с Кульневым в составе Гродненского гусарского полка, казачьего, двух егерских полков и конной артиллерии — всего 3730 человек с 12 орудиями.

Собрав эти силы в кулак, Кульнев решитель-

но двинулся навстречу Удино, следом за ним вышли и главные силы корпуса. Восемнадцатого июля в час дня Кульнев получил сообщение от разведки, что у селения Якубово выстраивается в боевой порядок французская дивизия, а по дороге на Себеж движется пехотный полк и небольшой кавалерийский отряд. Около двух часов авангард Кульнева подошел к Якубову и, с ходу атаковав противника, завязал бой. До позднего вечера продолжались кавалерийские стычки и гремела канонада.

В 3 часа утра к Кульневу подошло еще два пехотных полка. Получив подкрепление, он решил перейти в наступление. Бой был жаркий и кровопролитный. В самую решительную его минуту Кульнев возглавил атаку гродненцев — это и определило исход сражения. Французы вынуждены были отступать повсюду.

Кульнев стремился достичь полного окружения и разгрома французов, но для этого у него оказалось явно недостаточно сил, а Витгенштейн двигался слишком медленно. И тогда Кульнев решает преследовать отступавшего неприятеля. Преследование было успешным,

отряд Кульнева захватил девятьсот человек пленных и весь обоз корпуса Удино!

Это была полная победа!

Здесь Кульневу следовало бы остановиться и подождать, пока дойдет дивизия генерал-майора Сазонова, но одержимость и азарт преследования взяли верх над рассудком. Лишь утром 20 июля, вступив в бой с неприятелем, Кульнев понял свою ошибку.

За эту ночь Удино отошел верст на пять к деревне Боярщина и занял со своими войсками выгодную позицию между озерами Клешно и Лонье. Кульнев, полагая, что Удино с основны-

ры бросились к упавшему генералу, но гродненские гусары дали им достойный отпор.

Так, в расцвете сил, не дожив до своего сорокадевятiletия всего несколько дней, в бою с врагом погиб храбрый воин суворовской школы Яков Петрович Кульнев.

Два часа спустя у деревни Головицзна с новой силой разгорелся жестокий бой и дивизия Вердье, преследовавшая Кульнева, была наголову разбита подходившими частями корпуса Витгенштейна. В этом сражении вновь отличился Гродненский гусарский полк Кульнева.

Тяжелое впечатление произвела кончина



Дом-музей Я. П. Кульнева в г. Лудза, Латв. ССР.

ми силами отошел на более значительное расстояние, атаковал конную бригаду французов и опрокинул ее. Но в пылу боя не заметил, как противник со всех сторон постепенно окружал его. Понимая, что необходимо подкрепление, он посылает записку Сазонову, но тот промедлил и вместо всей дивизии выслал только один полк с батареей. Этих сил оказалось явно недостаточно. От полного разгрома отряд спасла кульневская одержимость. Отбиваясь от наседавшего врага, русские войска отходили к Сивошину. Кульнев замыкал отступление, подвергая себя наибольшей опасности. Очевидцы рассказывали, что Кульнев, огорченный неудачей, переправясь под неприятельскими выстрелами через реку Дриссу, «скинул с себя мундир и таким образом шел позади всех с поникшей головой. Посланное через реку неприятельское ядро оторвало ему обе ноги».

Последними словами умирающего Кульнева были: «Друзья, спасайте отечество! Не уступайте врагу ни шага родной земли! Победа вас ожидает!»

Гибель командира внесла некоторое замешательство в ряды русских. Французские кираси-

Кульнева на всю Россию. Современник вспоминает: «Весть о его кончине пришла в Москву вечером. В Большом театре давали оперу «Старинные святки», среди действия Сандунова — знаменитая тогда артистка, — подойдя к рампе, неожиданно для наполненной зал публики, дрожащим голосом запела: «Слава, слава генералу Кульневу, положившему живот свой за отечество...» Дальше продолжить она не смогла от слез. Весь театр заплакал вместе с ней».

После смерти тело Кульнева было предано земле недалеко от того места, где он погиб, у деревни Сивошино. Похороны, состоявшиеся 21 июля 1812 года, сопровождался воинскими почестями. Через несколько дней могилу посетила делегация граждан города Пскова. Вот как описывает это посещение купец Шадрин:

«Наконец приехали ко второй линии армии (...) и остановились по сию сторону реки Дриссы. Перешли реку по плавучему мосту и пошли к могиле. По правую сторону стоит унитская церковь, небольшая деревянная, посреди простреленная ядром (...) Священник указал нам на дерево, в которое был вбит гвоздь, у

которого генерал Кульнев был убит пушечным ядром. От сего места пошли мы на могилу храброго генерала Кульнева. Могила сия ничего не представляла другого, кроме могилы... По окончании панихиды помянули храброго героя кутею и, отдав в могиле лежавшему земные поклоны, пошли от оной с чувством, наполненным горестью и соболезнованием. Вот весь тут монумент герою, весь обелиск сражавшемуся за отечество и павшему на поле брани».

В 1830 году на месте гибели установлен скромный гранитный памятник «высотой в 3 аршина и 3 вершка». На лицевой стороне сверху надпись: «Генерал-майор Кульнев — 20 июля 1812 года». Ниже выгравирован отрывок из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов»:

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила,
Где колыбель его была,
Там днесь его могила...

В 1832 году братья перевезли прах Кульнева в свое поместье Илзенберг*. В этом же году ими была выстроена часовня, где в настоящее время и находится его гробница со следующей

надписью: «Генерал-майор Яков Петрович Кульнев, родился 1764 июля, 25 дня. Со славой погиб под Клястицами 1812 года, июля 20 дня». Перед надгробием портрет Кульнева со словами: «От клястинцев — гродненцев и почитателей незабвенному герою 1812 года».

Кульневу не суждено было стать участником и свидетелем разгрома и бегства неприятеля из пределов России, он погиб в самом начале великой эпопеи, но тем не менее имя его стоит в одном ряду с ее «чудо-богатырями» — Кутузовым, Ермоловым, Багратионом, Милорадовичем, Раевским, Коновницыным. Не случайно один из таких же легендарных героев, Денис Давыдов, писал о нем: «Смело можно сказать, что Кульнев был последним чисто русского свойства воином, как Брут — последним римлянином».

И в наше время, на Бородинском мосту в Москве среди фамилий видных военачальников Отечественной войны 1812 года мы читаем фамилию Я. П. Кульнева. В музеях Москвы и Ленинграда находятся портреты, гравюры и народные лубочные картины, запечатлевшие богатырский образ воина, а в Полоцком и Лудзенском краеведческих музеях ему посвящены специальные экспозиции.

Чтут память Кульнева и его земляки-полочане. В городе Полоцке есть улица, носящая его имя, а в районе — совхоз имени Я. П. Кульнева.

Верный сын своего отечества продолжает оставаться примером беззаветного служения Родине.

* Ныне село Илзене Резекненского района Латвийской ССР.



Аэродром Щелково. 12 августа 1937 г.
За час до вылета.

Ю. Сальников

В небе Арктики

Так уж, видно, бывало во все времена — о победителях говорят и вспоминают куда чаще, чем о побежденных. Вспоминают и о Леваневском — выдающемся летчике — гораздо реже, чем он того заслуживает.

Э. Т. Кренкель

В толстых архивных папках Главсевморпути хранятся документы, посвященные знаменитым перелетам советских летчиков в 1937 году из Москвы в США через Северный

полюс. Особенно много писем по поводу погибшего экипажа Леваневского. Люди волнуются за судьбу шести членов экипажа, предлагают варианты спасения, добиваются возможности участвовать в поисковых экспедициях. Пишут пионеры, колхозники, рабочие и ученые. За внешне угловатыми выражениями искреннее чувство соучастия...

«Город Чебоксары. 4 октября.

Товарищи, мне, как и всем сознательным людям мира, страшно охота, чтобы поскорее нашли тов. Леваневского.

Иногда бывают такие чувства, как будто что-то неладное случилось в моей личной жизни. Всем существом сознаю, что заклятые враги социализма злорадствуют этой досадной временной задержке. С тревогой прочитал, что с 10 сентября в Арктике начнутся сумерки, которые, по-моему, усложняют поиски.

В связи с полетом летчика Вилкинса у меня возникла страшно навязчивая мысль, может, она покажется смешной.

Вилкинс летал на высоте только 200 м, но из-за проклятого тумана не мог видеть даже льды. Ведь 200 м — это совсем невысоко, может быть, группа тов. Леваневского даже слышала шум моторов. Может, они кричали. Но Вилкинс, конечно, услышать не мог. А нельзя ли на самолетах воздушной экспедиции установить звукоулавливатели, ведь есть такие приборы — звукоулавливатели с усилителями. Такими, чтобы крики восторга, надежд товарищей можно было услышать с самолета слухачом. Это — одно. А второе... Почему не может быть так, что у них передатчик вышел из строя, а приемник работает. Передать им, чтобы они при появлении шума моторов воздушной экспедиции подавали сигналы звуками и т. п.

Кроме того, снабдить самолеты прожекторами и освещать во время поисков места. Это даст возможность производить поиски и после 10 сентября.

Лескин Александр. Чебоксары¹.

4 сентября 1937 г.

Мы сознаем то колоссальное значение завоевания Севера, хотим помочь. Отважный летчик, преданный делу социализма человек, Герой СССР тов. Леваневский должен быть нашими усилиями найден. Исходя из этого заключения, мы хотим всемерно помочь в поисках экипажа Леваневского: просим ЦИК и тов. Шмидта, чтобы последние исполнили нашу волю в наших намерениях отправиться на поиски Леваневского.

От колхозников сельхозартели
«25-тысячник» Нестеровского с/совета
Оршинского р-на Калининской области
Широков Николай Петрович,
Левшин Александр Дмитриевич².

«Я, пионерка 34-й школы Октябрьского района, придумала способ поиска тов. Леваневского. С аэроплана спустить на ледовые корзинку, туда посадить человека с рупором, чтобы он кричал:

— Товарищ Леваневский, разведите костер.
Майя Данилова, Ленинград,
площадь Труда, д. 6, кв. 87»³.

29 октября 1937 г.

Письмо в «Известия»

«Моя точка зрения на аварию самолета Леваневского такова, что если экипаж жив, то у них нет средств сообщения (например, разбит передатчик). Я предлагал бы в местах предполагаемой аварии разбросать несколько маленьких, самых примитивных радиопередатчиков со светящимися газовыми шарами или змеями. Одновременно радировать в эфир о месте сброса радиопередатчиков. Может быть, можно вместе с радиопередатчиками выбрасывать и животных, умеющих разыскивать людей. Возможно, мое предложение и слишком наивное, но я не могу не думать о спасении лучших людей нашей страны.

Зав. технической частью
Батайского ледзавода Степанов И. И.»⁴.

Житель Тулы Д. Я. Лашков предлагает в будущей экспедиции брать почтовых голубей, которые всегда донесут весточку до земли.

Москвич И. Кочин, студент Института народного хозяйства имени Плеханова, предполагает, что летчики живы и пошли пешком к Папанину — к нему ближе всех! — и нужно сообщить папанинцам, чтобы они выставили световой маяк.

Редакции газет отправляли все письма специалистам в Главсевморпуть. Многие письма были адресованы прямо О. Ю. Шмидту. Архивы хранят и ответы на письма, показывающие доброжелательное и внимательное рассмотрение абсолютно всех предложений.

«Тов. Угрюмову Н. К., г. Муром, ул. Первомайская, 4.

На Ваше предложение сообщаем, что в настоящее время разработан ряд мероприятий по поискам экипажа самолета Н-209, и не исключена возможность организации поисков пешком во льдах. О Вашем участии в этой работе сообщаем, что в настоящее время использовать Вас не можем; в дальнейшем будем иметь вас в виду»⁵.

«Тов. Старикову И. О., застава Ильича, завод «Серп и молот», 16 окт. 1937 г.

Ваше предложение организовать поисковую партию в 200 человек с доставкой ее на самолетах в пункт предполагаемой посадки т. Леваневского с экипажем и высадки их на парашютах чрезвычайно сложно и опасно для жизни этих людей в условиях почти не исследованного района Арктики. В этом варианте поисков также сложен вопрос с обеспечением всех этих людей продовольствием и вывозом их обратно, когда они разбредутся по всему району. Низкие температуры в этих широтах не позволят долго находиться людям под открытым небом, а наступившая полярная ночь будет усложнять розыски самолетов этих партий, чтобы вывезти их обратно на материк.

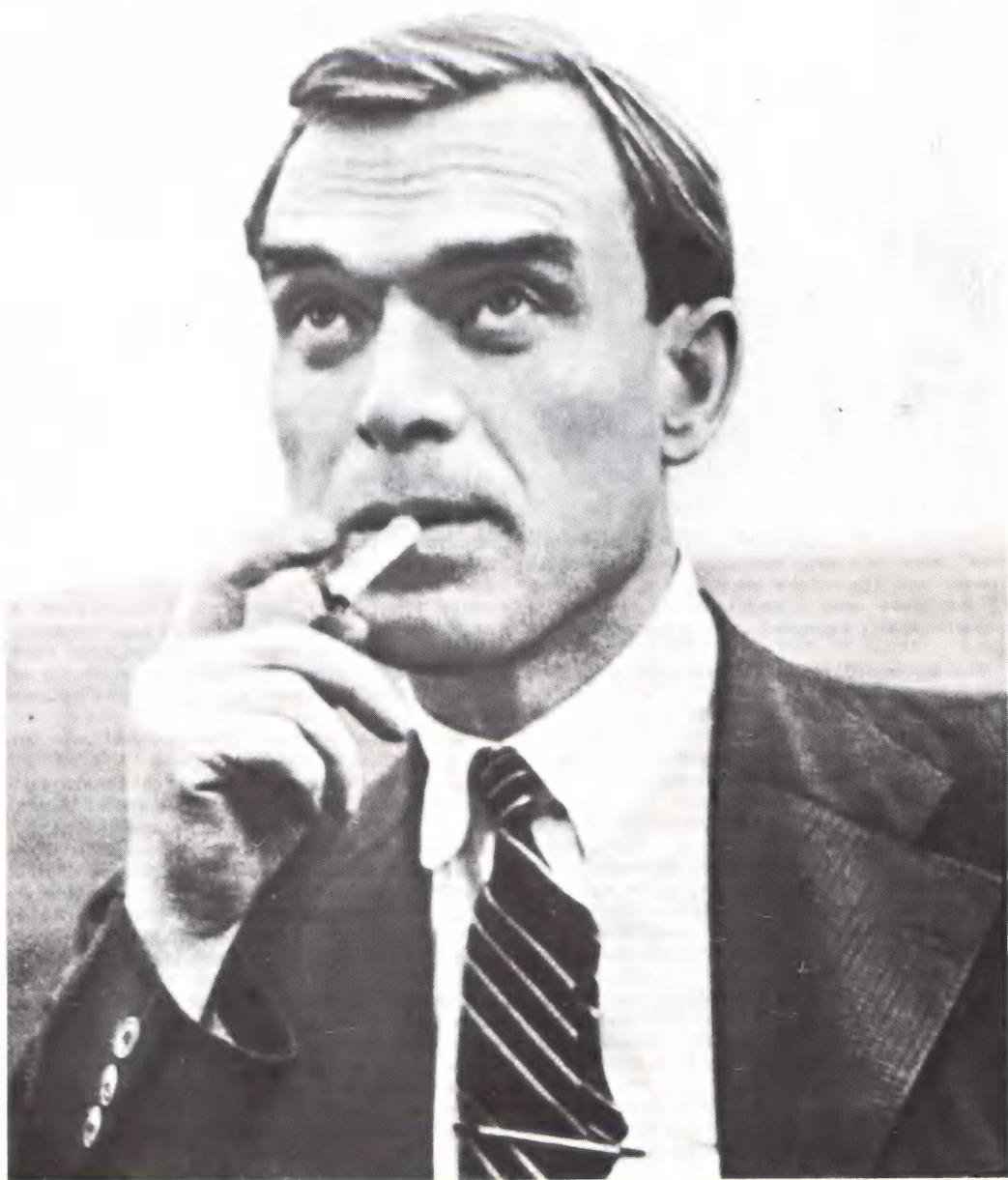
Из всего этого явствует, что Ваш вариант поисков таким большим количеством людей почти неприемлем»⁶.

«Краснодар, крайсовет Осоавиахима, Пугачеву.

Полярная авиация приносит искреннюю благодарность коллективу парашютистов-спортсменов Краснодара за предложение принять участие в поисках экипажа Леваневского. В зависимости от дальнейшего хода поисков Ваше предложение будет учтено»⁷.

Люди внимательно изучали все сообщения прессы, радио, ТАСС, сопоставляли с высказываниями ученых и летчиков и делились своими соображениями.

Письмо в «Известия» от профессора математики Харьковского химико-технологического института И. С. Чернушенко (Харьков, ул. Краснооктябрьская, 69, кв. 1):



Герой Советского Союза С. А. Леваневский.

«В «Известиях» за 20.9.37 изложены соображения т. Спирина о том, где искать самолет Н-209.

Будучи не согласен с выводами т. Спирина, излагаю свои соображения. До полюса самолет т. Леваневского проходил в среднем 1,8 градуса по широте, идя притом не по прямой. От полюса самолет летел уже прямо по 148-му меридиану. Полюс был пройден в 13 ч 40 мин 13 августа («Известия»). После этого были радиogramмы:

1. В 14 ч 32 мин о выбытии из строя одного мотора.

2. В 15 ч 58 мин с сообщением, что все в порядке, но плохая слышимость.

3. В 17 ч 53 мин — «Как меня слышите? Р. Л. Ждите...»

Таким образом, после полюса самолет был в полете, по крайней мере, 4 ч 13 мин.

Вторую РД с сообщением, что все в порядке, можно понимать так, что удалось испрavitь маслопротвод.

В таком случае за 4 ч 13 мин полета самолет достиг 82° широты.

В связи с этим, по-моему, необходимо тщательно проверить показания охотников о том, что они слышали гул самолета, который мог быть от самолета т. Леваневского. Возможно, что т. Леваневский пролетел значительно дальше, чем это предполагается.

На будущее время мне представляется необходимым обязать летчиков, совершающих полеты над безлюдной местностью, в каждой РД сообщать свои координаты в Арктике, в трансполярных перелетах, в 1-ю очередь широту.

Прошу передать мое письмо Шмидту...»⁸.

Перед тем как сопоставлять последние радиogramмы с самолета Н-209, мнения специалистов того времени с архивными материалами, мнениями специалистов в наши дни, чтобы установить истину, необходимо вернуться из 1937 года в... 1933-й, когда главный «виновник» трансарктического перелета Сигизмунд Александрович Леваневский, работая тогда начальником летной части всеукраинской летной школы Осоавиахим в Полтаве, оказался в командировке в Москве и зашел к начальнику полярной авиации Главсевморпути М. И. Шевелеву.

Леваневский мечтал совершать полеты в далекие края, он чувствовал в себе силы для больших дел и, видимо, своей увлеченностью и решительностью произвел впечатление на руководство полярной авиации.

М. И. Шевелев предложил ему очень интересную работу: перегнать летающую лодку «СССР Н-8» из Севастополя в Хабаровск.

Марк Иванович Шевелев и сейчас еще работает в администрации Северного морского пути, и вся история полярной авиации складывалась при его активном участии. Он вспоминает, что перед Леваневским остро встала проблема: на кого оставить летную школу. И тут ему повезло: летчик Алексей Граци-

анский, приятель Леваневского, согласился временно заменить его в Полтаве. Впоследствии Грацианский останется вместо него облетывать закупленные в США «летающие лодки», а сам Леваневский спешно вернется в Москву заканчивать подготовку к трансарктическому перелету. Он отправится на Аляску, а через несколько дней Грацианский вылетит на поиски исчезнувшего самолета с экипажем Леваневского, перелетит через Сибирь, Чукотку, приземлится на Аляске и вместе с американскими и канадскими летчиками будет участвовать в поисках.

...А пока Леваневский выполнял поручение М. И. Шевелева — перегонял двухмоторный «СССР Н-8» через всю Сибирь и вскоре приземлился в Хабаровске. Здесь его ждали две новости: телеграмма из Москвы, требующая срочно вылетать на поиски американца Маттерна, и новый член экипажа — штурман Виктор Левченко. Штурман был кстати — пришлось лететь над абсолютно не изученными местами, даже карты были неточными, по маршруту не было аэродромов, горючего. В. Левченко оказался веселым, общительным молодым человеком — мастером на все руки. С тех пор они летали всегда вместе... Джимми Маттерн принял попытку пролететь на самолете вокруг земного шара, благополучно сел в Хабаровске, загрузился выше всяких норм горючим, оставил даже радиостанцию, отправился в Анадырь и... исчез. Решили искать его в районе Анадыря примерно по тому же маршруту, какой мог быть у Маттерна. Американские и японские газеты много писали об американском летчике. Одна японская газета уверенно сообщала, что Маттерн совершил вынужденную посадку около Анадыря и... был съеден дикими племенами.

Необходимо было опровергнуть эти домыслы.

Леваневский первоначально собирался произвести ремонт после своего перелета: барахлил один мотор, требовалось установить радиостанцию, но надо было скорей спасти человека, и Леваневский полетел на поиски. Тогда, в 1933 году, их самолет впервые прошел по трассе, по которой через семь месяцев отправятся Водопоьянов, Галышев, Доронин, а позже к ним присоединятся Каманин, Молоков и Пивенштейн — для спасения челюскинцев.

Причем «летающая лодка» Леваневского почти весь путь прошла над материком. Американские газеты писали, что их летчику умышленно посоветовали непроходимый маршрут, и Леваневский хотел доказать, что маршрут Маттерна преодолим... Когда самолет приземлился в Анадыре, почти все население бежало встречать летчиков.

— Здравствуйте, товарищи летчики! — приветствовал их кто-то из встречающих. — Тут американец по вас стосковался...

— Маттерн? — быстро спросил Леваневский.

— Он самый. Вот он на пригорке сидит, вам машет. Как услышал звук мотора, заво-



Экипаж самолета «СССР Н-209» перед вылетом.

новался, накомарник надел и на горку подался — не верит, что еще кто-то может сюда добраться по воздуху.

— А где его самолет?

— В тундре валяется, разбит вдребезги. Пограничники наши разыскали беднягу в тундре.

Встречавшие спрашивали, что привезли из удовольствия — он только шоколад ест.

Леваневский отдал американцу почти весь аварийный паек — штук пятнадцать плиток. Тот повеселел и все спрашивал через переводчика: когда полетим? Лететь решили на следующий день. Маттерн снял все, что уцелело, со своего самолета и так загрузил «летающую лодку» Леваневского, что та не смогла оторваться от воды. Леваневский решился на рискованный шаг: приказал слить часть горючего и оставить ящик с консервами — из НЗ. Он не хотел, чтобы американец плохо подумал о русских летчиках. С великим трудом взлетели и полетели в Америку³.

...Американский континент был в тумане. Островками из облаков вылезали острые вершины гор, по которым штурман Левченко ухитрился определять местонахождение самолета. По расчетам, уже подлетели к городу Ному — месту посадки, но пробиваться сквозь туман было рискованно. Леваневский повернул к острову Святого Лаврентия. Там не было скалистого берега, как на Аляске, и посадка долж-

на быть безопаснее. Маттерн то привязывался ремнем к сиденью, то отвязывался, нервно ерзал. Наконец часть острова Святого Лаврентия открылась среди тумана, и Леваневский незамедлительно сел.

Кругом ни одной живой души. Летчики разожгли костер, стали укладываться спать. Маттерн оказался без спального мешка, и Виктор Левченко отдал ему свой, а сам пристроился у костра.

Горючего оставалось на 1 час 10 минут, а до Номы предстояло лететь 1 час 15 минут. Утром Леваневский вложил записку в бутылку о том, что здесь останавливался самолет «СССР Н-8» по пути в Ном. Леваневский летел по прямой, а за его спиной стоял Маттерн и следил за бензинометром. Механик выкачивал ручной помпой из бака остатки горючего.

Из тумана выглянул берег. Командир тут же повернул на посадку, и оба мотора смолкли. Самолет сел и закачался на волнах. Вдали был Ном. Спустили надувную шлюпку, в числе первых повезли Маттерна. Он выскочил на землю, начал бегать и кричать: «Америка! Америка!» — упал и стал целовать землю.

Леваневский потом рассказывал: их встретила большая толпа, и Маттерн узнал, что американский летчик В. Пост, главный конкурент Маттерна, пролетел Ном, а из Нью-Йорка прилетел другой знаменитый летчик — Александер. Но когда американцы узнали,

что Леваневский накануне совершил перелет на Дальний Восток от Черного моря, из Севастополя, все были ошеломлены. В городе к Леваневскому подошел рабочий в комбинезоне, протянул коробку спичек:

— Я сожалею, что не могу подарить вам ничего более ценного. Однако от всей души прошу принять этот скромный дар. Когда закурите, вспомните и обо мне.

— Зачем же откладывать, давайте сейчас и закурим. — И Леваневский угостил американца русскими папиросами.

Экипажу был оказан самый радушный прием.

Городские власти устроили банкет. Было много цветов и... калифорнийских апельсинов.

Экипажу преподнесли приветственный адрес, каждому участнику перелета вручили по золотому кольцу с надписью «НОМ»¹⁰.

Провожать их вышел весь город. Обратный путь проходил не менее драматично: с вынужденной посадкой на Аляске из-за сильного тумана, долетели до Уэлена только на вторые сутки.

Там немного отдохнули, отремонтировали самолет как могли, занялись наконец своим прямым делом — ледовыми разведками. Летали над льдами с посадками на мысе Северном (впоследствии мыс Шмидта), острове Врангеля, бухте Тикси. Сверху Леваневский видел пароход «Челюскин» на подходе к бухте Тикси и говорил потом на земле, что в такой тяжелой ледовой обстановке вряд ли удастся «Челюскину» пройти к Берингову проливу.

Моторы отработали свой ресурс, Леваневский перегнал самолет в Иркутск на ремонт и отправился домой в Полтаву, еще не зная, что через полгода судьба снова забросит его в Арктику. Вот как он записал об этом в автобиографии:

«Живу в Полтаве. Отдыхаю. Читаю газеты, слушаю радио. Скуучно. Без дела мне всегда бывает скучно. 13 февраля я узнал по радио, что «Челюскин» раздавлен льдами. Телеграфирую в Москву, что готов лететь на помощь челюскинцам. Жена, узнав об этом, плачет, и ребята (у меня девочка и мальчик) тоже подняли рев. Но ничего. Я их успокоил. А на следующий день получаю телеграмму-молнию: «Немедленно выезжайте в Москву». Через два часа — вторую телеграмму: «Немедленно выезжайте в Москву». Одна телеграмма была от Главного управления Северного морского пути, другая — от Ушакова. Приезжаю в Москву, а мне говорят, что завтра надо выезжать за границу... Меня это поразило. Я полагал лететь на самолете Р-5 из Москвы прямо на Север. Но правительство решило: Ушакова, Слепнева и меня послать в Америку, чтобы со стороны Аляски скорее попасть на Север»¹¹.

Все трое уже находились в Нью-Йорке, когда в газетах появилось сообщение, что 5 марта Анатолий Ляпидевский одним удачным рейсом вывез со льдины 12 человек — 10 женщин и двоих детей. Но положение «лагеря Шмид-

та» ухудшилось: льдина треснула и барак разорвало на две части.

Все с нетерпением ждали самолетов. Бесстрашные летчики бросали свои фанерные машины с открытыми кабинами сквозь пургу, мороз, переваливали через горы Крайнего Севера, высота которых была обозначена лишь приблизительно, отчаянно пробивались в Ванкарем — крохотный поселочек, вдруг ставший известным всему миру.

С помощью Амторга (торгового представительства СССР в США. — Ю.С.) Ушаков, Слепнев и Леваневский приобрели на Аляске два подходящих самолета и из Фэрбенка перелетели в Ном — последнюю точку перед прыжком через Берингов пролив в Ванкарем.

30 марта при сильной облачности С. А. Леваневский вместе с Г. А. Ушаковым и американским механиком Клайдом Армистедом вылетели первым рейсом из Номы в Ванкарем. При полете к месту назначения исчезла видимость, самолет стал покрываться ледяной коркой, перестали работать почти все приборы.

Вот как записал позже об этих драматических минутах Георгий Ушаков:

«Машина начала проваливаться... Напряжение все более и более увеличивалось. Каждое мгновение машина готова сорваться в штопор и с озорной высоты врезаться в лежащие под ней скалы. Но пилот умело выправляет машину и ставит ее в нормальное положение. Это повторяется регулярно каждые 3—4 минуты. Наше падение было уже определившимся...»

Вдоль берега шла узкая полоска сравнительно ровного льда. На этой полоске и произошел первый удар, после которого машина взмыла вверх. Ударом снесло правую лыжу. Пилот выбил оледеневшее стекло своей кабины, чтобы видеть землю, вернее, торосы, привел машину на ту же площадку, вторым ударом снес левую лыжу и после этого, выключив мотор, бросил машину на фюзеляж таким образом, что она скользнула по небольшой ледяной площадке.

Раздался треск. В боковое окно я заметил летящие куски и ждал, когда машина ударится в торос. Но этого не случилось. Машина остановилась, не долетев до торосенных льдов. Механик и я были невредимы. Обернувшись к пилоту, мы увидели его наклоненным над штурвалом в неподвижной позе. На мои первые окрики пилот не отозвался. Только когда я его встряхнул, он вздрогнул и медленно повернулся к нам лицом. По правой щеке от глаза у него текла густая струйка крови, убежая за воротник кожаной тужурки. Вдвоем мы смогли выйти Леваневскому из кабины...»¹².

Через пару дней Леваневский чувствовал себя вполне сносно, но душевная боль не утихла: разбил самолет, другие — только на подступах к Ванкарему, а челюскинцы все еще на льдине...

Вся страна напряженно следила за перелетами советских летчиков. В трамваях и автобусах, у газетных киосков и на рабочих мес-



Аэродром Щелково. Старт самолета «СССР Н-209».
12 августа 1937 г.

тах — везде слышались разговоры о том, сколько самолетов на подступах к «лагерю Шмидта», какая погода там. А когда самолеты прибыли в Ванкарем и начали вывозить челюскинцев, все считали, сколько человек вывезли и сколько осталось.

За четыре дня вывезли со льдины всех, даже ездовых собак, которых Ушаков отправил на льдину порожним рейсом, чтобы подвозить ослабевших и больных и подтаскивать грузы к «аэродрому». Вся страна, весь цивилизованный мир вздохнул с облегчением, когда в газетах появилось сообщение Правительственной комиссии: все 92 человека сняты с дрейфующего льда. Беспрецедентная «полярная Одиссея» закончилась успешно!

Сохранились воспоминания академика И. М. Майского, с 1932 года находившегося в Лондоне в качестве посла СССР. Эти воспоминания особенно ценны в связи с тем, что в те годы на Западе поднялась клеветническая кампания против СССР — о советском «демпинге», распространялись слухи о банкротстве политики коллективизации, о том, что в самом ближайшем будущем «в России следует ожидать катастрофы».

«Никогда не было еще события, — писал И. М. Майский о спасении челюскинцев, — которое с такой неодолимой силой приковало бы мировое внимание к нашей стране, к нашим людям. И притом внимание не враждебное, а сочувственное... И тот факт, что полярная драма не превратилась в трагедию, а, наоборот, стала исходной точкой блестящей победы человека над природой, глубоко поразил

всех. Перед каждым англичанином, французом, немцем, американцем невольно вставал вопрос: в чем причина счастливого конца этой суровой арктической драмы? И каждый англичанин, француз, немец, американец должен был признать (открыто или в глубине души), что причина счастливого конца крылась в поведении Советского правительства и советских людей как на Большой земле, так и на дрейфующей льдине. И опять-таки все в капиталистическом мире поняли и почувствовали, что новая власть, столь непохожая на все ранее существовавшие образцы, окончательно утвердилась на развалинах царизма...»¹³.

Бесспорно, советские летчики были главными участниками мероприятий, разработанных Правительственной комиссией. Их подвиг не укладывался в привычные рамки представлений о героическом. Поэтому Политбюро ЦК нашей партии обратилось во ВЦИК с просьбой установить высшую степень отличия в нашей стране — звание «Герой Советского Союза» и присвоить его летчикам, участвовавшим в спасении челюскинцев.

Для Леваневского упоминание его фамилии в списке первых Героев было полной неожиданностью. Он страдал оттого, что не вывез ни одного челюскинца.

Его утешали: ведь ты же доставил Ушакова — уполномоченного Правительственной комиссии — и спас американца, да и сам остался в живых!

Как только опустел «лагерь Шмидта», сразу испортилась погода. Все челюскинцы двинулись в Уэлен и бухту Провидения. Кто пеш-

ком, кто на собаках — все добрались в целости и сохранности. Леваневский был в Уэлене и сидел в комнате рядом с радиорубкой, когда взволнованный доктор прибежал к радисту, и они стали обсуждать радиограмму из бухты Лаврентия, где внезапно заболел Бобров, заместитель Шмидта (самого Шмидта, заболевшего воспалением легких, Маврикий Слепнев вывез на американском самолете прямо в Ном, где больного поместили в госпиталь).

Судя по радиограмме, доктор предполагал обострение хронического аппендицита, даже признаки перитонита. Требовалось немедленное хирургическое вмешательство.

В Уэлене был самолет У-2 с неисправным мотором. Леваневский предложил свою помощь, и они с доктором пошли к самолету. Февральско-мартовские ветры замели его снегом, пришлось взять лопаты, откопать, раскатать лыжи, чтобы самолет мог оторваться. Леваневский пробует завести мотор — тот «кашляет», работает только на малых оборотах. Тем не менее удалось взлететь, даже пролететь немного. Перед встречными горами пришлось приземлиться — заглохнул мотор, и необходимо было сориентироваться, так как не было под рукой карты.

С трудом взлетели снова и перевалили через горы.

Позже Леваневский так вспоминал о своей посадке в бухте Лаврентия:

«Ищу место посадки. Впереди чернеет что-то вроде буквы Т (Т — условный знак места посадки для самолета). Захожу над Т. Т — живое!.. Вижу — поднимаются головы. Делаю круг, даю знать, что вижу и понял. Восхищен сообразительностью и авиационной грамотностью челюскинцев. Захожу на посадку, смотрю — хвост моего посадочного Т зашевелился... Вылетаем. Радостная встреча. Челюскинцы рассказывают:

— Идем, видим — летит самолет. Посадочного Т нет. Ну, организовались и легли...

Благодарю их, спрашиваю:

— А почему хвост у Т начал извиваться?

— А это у нас один старик испугался, что вы на него сядете, — хотел дать тягу, но мы не пустили...

Вскоре доктор был в своей стихии, вспарывая больного. Операция прошла благополучно»¹⁴.

Наконец все — летчики и челюскинцы — на пароходе «Смоленск» приплыли во Владивосток. Сохранились удивительные кинокадры тех дней: летчики Водопьянов и Молоков «сражаются» с челюскинцами в домино, «забивают козла», Ляпидевский играет с ручным медведем, улыбающийся Леваневский с фотоаппаратом пытается снять этот момент, несколько человек окружили патефон — новинку того времени.

160 остановок было на триумфальном пути от Владивостока до Москвы, и везде их восторженно встречали тысячи людей. В дороге Леваневский, Ляпидевский и другие товарищи подали заявления о вступлении в ряды Комму-

нистической партии. Бюро ячейки рекомендовало их принять в члены партии.

Среди старых кинокадров есть и эпизод встречи в Москве, запоминается сосредоточенное, напряженное выражение лица Леваневского на фоне улыбающихся, ликующих людей. Дело в том, что его никто не встречал из родных — жена с детьми ждала в Полтаве.

Неожиданно к летчику подошел председатель Правительственной комиссии В. В. Куйбышев и крепко расцеловал. Тепло поздравили летчиков И. В. Сталин и другие члены Политбюро.

Естественно, что он не мог теперь расстаться с Арктикой, и будущий полет он связывал только с Севером.

Из тихой, милой его сердцу Полтавы он с семьей переехал в Москву, к месту новой работы — в полярной авиации.

По утрам внимательно читал газеты. Одно сообщение его взволновало: летчик-испытатель М. М. Громов со штурманом И. Т. Спириным и вторым пилотом А. И. Филиным летал непрерывно более трех суток на самолете АНТ-25 и установил мировой рекорд дальности полета по замкнутой кривой — за 75 часов самолет пролетел 12 411 километров.

Ведь это тот самый самолет, который он ищет! Дальность вполне позволяет на такой машине перемахнуть через Северный полюс и приземлиться где-то в Канаде или США...

Вскоре Леваневский написал письмо в Политбюро с просьбой разрешить такой полет.

Через некоторое время его вызвали в Кремль. Вернулся он радостный, возбужденный. Рассказывал жене и своему неизменному штурману Виктору Левченко подробности разговора:

«Меня товарищ Орджоникидзе спрашивает: «Сколько же времени будете в полете?» — «Примерно 62 часа». — «Так это же почти трое суток без сна и за штурвалом!» Один из членов Политбюро заметил при этом: «В эти часы не только они, но и мы, и весь народ спать не будет!»¹⁵.

Через несколько дней начались тренировочные полеты на дальность, в облаках, по приборам. Вторым пилотом был назначен первокурсник Военно-воздушной академии имени Жуковского Георгий Вайдуков (ныне генерал-полковник авиации), тогда уже известный умением летать «вслепую».

За три месяца требовалось многое переделать и дополнить на самолете АНТ-25, приспособиться к арктическим условиям.

Врачи, закрепленные за экипажем, предписали строгий режим, диету, ежедневное взвешивание.

Экипаж часто совершал тренировочные полеты до Черного моря и обратно без посадок.

Наконец был назначен день отлета — 3 августа 1935 года — и окончательно сформулировано полетное задание: при благополучном перелете совершить посадку в Сан-Франциско.

При малейших признаках аварии поворачивать назад или совершать вынужденную посадку. Всем полярным станциям, а особенно радистам островов Диксон, Новая Земля, Земля Франца-Иосифа предписывалось непрерывно следить за работой радиостанции самолета Леваневского.

В Мурманске наготове стоял поплавковый самолет полярного летчика В. Махоткина, который мог в случае вынужденной посадки самолета Леваневского на воду на участке пути между побережьем и Землей Франца-Иосифа сесть рядом и принять экипаж на борт.

Тогда находились скептики, которые говорили: а почему, собственно, самолет должен лететь через Арктику, а не через Западную Европу и Атлантический океан?

Летчикам популярно объясняли, что кратчайший путь по воздуху из СССР в Америку, например в Сан-Франциско, проходит через Арктику — всего 9605 километров. Если лететь через Атлантический океан — около 14 тысяч километров, а через Тихий океан — около 18 тысяч километров. Этот довод убедителен и сегодня, когда авиация ищет способы экономии энергетических ресурсов...

Провожать экипаж Леваневского прибыли члены правительства, послы США в СССР — г-н Буллит, авиаспециалисты, друзья, представители прессы. Было солнечное утро, машина стояла на горке, чтобы увеличить скорость разбега.

Все разом перевели дух, когда перегруженный самолет оторвался от бетонной полосы Щелковского аэродрома.

Самолет смог подняться только на 50 метров и так летел почти час, пока не израсходовал какую-то часть горючего и можно было подняться немного вверх.

Георгий Филиппович Байдуков вспоминает:

«Но как иногда мгновенно рушатся человеческие надежды! Через несколько часов полета Леваневский подозвал меня и прокричал в ухо:

— Посмотрите, что это за веревочная струя масла вьется на левом крыле?

Действительно, виднелся довольно мощный поток масла, похожий на непрерывно извивавшегося гигантского червя. Внутрь самолета также откуда-то попадало масло.

По нашим подсчетам, утечка превышала во много раз допустимый расход масла девяти- и десятицилиндровым мотором АМ-34. В то же время запаса резервного масла должно было хватить, по крайней мере, до берегов канадской тундры, где возможно приземлиться вблизи жилья, выполнив тем самым главную задачу перелета — преодоление воздушного пространства над центральной частью Арктики и Северным полюсом. Штаб перелета слал по радио распоряжения немедленно прекратить полет и проинформировать посадку на аэродроме в Кречевичах, что между Москвой и Ленинградом»¹⁶.

Это был очень драматический момент. Кабина была заполнена чадом, трудно было ды-

шать, могло наступить отравление угарным газом. Врачи позже сказали, что, если бы полет был на 10—15 часов дольше, отравление было бы опасным для жизни.

Повернули обратно. Многие аэродромы, лежавшие на пути, под разными предлогами отказывались принимать перегруженный бензином самолет.

Сели благополучно. Леваневский стал замкнутым и молчаливым.

Вскоре экипаж вызвали в Кремль.

Разговор был очень доброжелательный, и командир заметно успокоился. Он сказал, что вся беда в самолете, что у нас нет машины, на которой можно перелететь полюс.

Экипажу было предложено поехать в Америку и посмотреть, есть ли там машина для такого перелета.

«Я попросил слова и сказал, что у американцев нет ничего похожего на АНТ-25, — вспоминает Георгий Филиппович Байдуков, — что поездка в Америку будет безуспешна, и я прошу разрешения остаться дома...»¹⁷.

Как-то в разговоре начальник ВВС Я. И. Алкснис сказал Байдукову, что неудача с полетом через полюс поставила в неудобное положение ВВС и авиационную промышленность. В результате Байдуков попал летчиком-испытателем на авиационный завод и стал работать с АНТ-25 и другими машинами. Дефект с маслопроводом удалось исправить...

А Леваневский поехал в Америку.

Оказалось, что самолета для трансполярного перелета в Америке нет. Но фирма «Валти» заинтересовала С. А. Леваневского одномоторным гидросамолетом. Он мог быть переделан в «полярный» вариант. Леваневский решил пролететь вдоль Тихоокеанского побережья, пересечь арктический сектор Канады, перелететь на Аляску, а оттуда путь уже известный — через Узлен, мыс Шмидта, Тикси, Хангану в Москву. Вскоре к нему выехал штурман Виктор Левченко. Перелет был большим испытанием, но все кончилось благополучно. Летчики были торжественно встречены в Москве руководителями партии и правительства, их наградили орденами «за новые крупные успехи в освоении северной воздушной трассы».

Но Леваневский понимал, что закончившийся перелет не тот большой перелет, о котором он мечтал. Сигизмунд Александрович заинтересованно выспрашивал, какие новые самолеты появились за последнее время. Его внимание привлек четырехмоторный самолет конструктора В. Ф. Болховитинова.

Болховитиновский самолет создавался как грузо-пассажирский, имел привлекательные по тем временам данные: развивал скорость 280 километров в час, поднимал 12 тонн груза, потолок его полета равнялся 6000 метров, а дальность — 7000 километров. Дальность была небольшой, поэтому предполагалось лететь через полюс с посадкой на Аляске. На этом самолете уже в первых полетах летчиками-испытателями Байдуковым и Кастанаевым бы-

ло установлено несколько мировых рекордов. Тем не менее самолет нуждался в доводке, он был, как говорят испытатели, еще «сырой». Поэтому конструктор Болховитинов и приглашенный вторым пилотом Кастанаев занимались самолетом почти круглосуточно. Штурман экипажа — неизменный Виктор Левченко, два бортмеханика — опытный полярный «волк» — Григорий Побежимов (до этого полета постоянно работал с летчиком Молоковым) и Николай Годовиков, заводской механик. Радистом был приглашен Николай Галковский.

Почти все основные тренировки происходили без командира.

С. Леваневский вместе с А. Грацианским тем временем облетывали прибывшие из США «летающие лодки», закупленные для работы на грузо-пассажирских маршрутах. Полеты происходили в севастьяпольской бухте. Шел июль, уже стартовал экипаж Громова, а подготовка к старту болховитиновского самолета затягивалась, и Леваневский улетел в Москву, оставив А. Грацианского заканчивать облеты.

Конструктор и экипаж самолета, весь коллектив, готовивший перелет, прилагали максимальные усилия, чтобы быстро и качественно завершить подготовку, так как во второй половине августа лететь было рискованно: синоптики предсказывали резкое ухудшение метеословий. Наконец был назначен день вылета — 12 августа 1937 года. В Фэрбенкс прилетели метеоролог М. Беляков для организации метеосводок экипажу Леваневского и специальный корреспондент «Правды» — Л. Хват.

Губернатор Аляски приказал заготовить горючее для советского самолета. Все население Фэрбенкса собиралось прийти на аэродром встречать русских летчиков.

Отлет из Москвы был в 18 часов 15 минут. Отчеты о старте появились в газетах утром следующего дня. Первая, вторая и третья страницы «Правды» были посвящены новому перелету. Передовая называлась «Счастливый путь!». В ней говорилось:

«И если фашистские летчики прославили себя такими каннибальскими «подвигами», как разрушение Герники — столицы басков, как кровавые бомбардировки Мадрида; если летчики императорской Японии «доблестно» и «мужественно» бомбят мирные китайские города; если герои итальянской фашистской авиации «храбро» уничтожали беззащитное население Абиссинии, то наши славные орлы и соколы — Громовы, Чкаловы, Водопьяновы, Молоковы, Леваневские, — показывая всему миру красоту духа советских людей, открывают новые земли, побеждают огромные, доселе неизведанные пространства, несут на крыльях своих машин осуществление великих замыслов великого народа».

Газета напечатала две большие фотографии: экипаж стоит на фоне своего самолета, красивые и спокойные лица, и общий план самолета — машина выглядела очень солидно.

Далее шли сообщения Правительственной комиссии и первые радиogramмы с маршрута. Вторая страница начиналась репортажем о старте самолета, большой статьей Леваневского с картой-схемой маршрута и репортажем Л. Хвата из Фэрбенкса.

На третьей странице — статьи штурмана экипажа В. Левченко «Курс на Аляску» и конструктора самолета В. Болховитинова «Как создавался Н-209».

Из шести участников перелета трое были ветеранами Арктики. Впервые летели бортмеханик Николай Годовиков, второй пилот Николай Кастанаев (но он был основным летчиком-испытателем самолета Н-209 и знал его, как никто другой) и радист, тоже Николай, Галковский, один из лучших радистов ВВС. Знал ли экипаж о предстоящих трудностях? Несомненно.

В своей статье В. Левченко объективно оценивал трудности самолетовождения в Арктике, объяснял вечерний старт из Москвы необходимостью прилета в Фэрбенкс в дневное время. Экипаж нигде не увидит ночи, так как будет как бы догонять полярный день и солнце. В. Левченко кратко касался возможной ситуации, если самолету придется лететь на трех моторах. Это «повлечет большие неприятности, ибо сесть в море на сухопутном самолете нельзя — он утонет. Чтобы лететь на трех моторах, необходимо будет слить горючее», — писал он. (Такая ситуация возникла в полете, но в радиogramмах не сообщалось, что они сливали горючее. Очевидно, много его было уже израсходовано. — Ю.С.)

Предполагал ли возможность аварии конструктор самолета? В своей статье В. Болховитинов писал, что «повреждение кокового фюзеляжа в одной части не вызывает аварии самолета». Кокковый фюзеляж — это скорлупа, не имеющая никаких внутренних растяжек. Конструктор пишет определенно: «Фюзеляж гораздо жестче и потому меньше подвержен деформации».

Наконец, трезво ли оценивал опасность перелета С. А. Леваневский? Опыт двух предыдущих перелетов показал, что облачность часто достигала высоты более 6 тысяч метров. Чтобы избежать обледенения, самолет должен лететь над облаками. Позволяли ли моторы самолета подняться на большую высоту?

В статье в «Правде» Леваневский писал:

«Поскольку мы не ставим своей задачей установление рекордов дальности беспосадочного полета, выбор пал на моторы с наддувом. Они хотя и расходуют больше горючего, но обеспечивают возможность полета в более высоких слоях атмосферы. Наивыгоднейшая высота полета с нашими моторами с точки зрения более экономного расходования горючего — от 3 до 4 тысяч метров. Машина Н-209 обладает большой грузоподъемностью: общий полетный вес во время старта составит около 35 тонн. При некотором сокращении количе-

ства горючего легко можно взять в самолет до 25 пассажиров.

Одно из положительных свойств самолета заключается в том, что при полетном весе в 25 тонн он может лететь на двух крайних моторах. Бортмеханики имеют доступ к моторам, поэтому в полете возможен небольшой ремонт последних. (Это интересная деталь, которая позволяет нам предположить, что после драматического сообщения с самолета об отказе правого крайнего мотора через некоторое время пришла радиограмма со словами «все в порядке». Очевидно, механики на ходу сумели исправить повреждение. — Ю.С.)

Против обледенения имеются приспособления лишь на винтах, так же как на АНТ-25. Кабина самолета не обогревается, да в этом нет и необходимости. Вылетим мы в обычных костюмах, а когда будем находиться над льдами Арктики, сможем переодеться в теплое полетное обмундирование. Фюзеляж самолета окрашен в темно-синий цвет. Это способствует поглощению тепловых лучей солнца.

Далеко Леваневский пишет о возможных сложностях предстоящего перелета:

«Наиболее трудными моментами полета я считаю старт и участок от «полюса недоступности» до берегов Аляски.

На участке от «полюса недоступности» до берегов Аляски трудности объясняются тем, что здесь ориентировка будет вестись исключительно по солнечному указателю курса и с помощью радиопеленгации. Причем в нашем полете мы не можем «бродить по миру» в поисках меридианов: наш самолет четырехмоторный и больших резервных запасов горючего у нас нет».

Если экипаж вылетал в свитерах, меховых брюках и куртках, на ногах были унты — никакой другой одежды они не брали, то экипаж Леваневского явился на аэродром празднично одетым, сам Леваневский и бортмеханик Годовников были в галстуках. Меховая одежда была погружена «про запас».

Как мы знаем, старт и начало полета были успешными. 14 августа 1937 года во всех центральных газетах было напечатано сообщение Правительственной комиссии по организации перелета:

«Вчера в течение первой половины дня в штабе перелета систематически получались сведения о ходе перелета Героя Советского Союза тов. С. А. Леваневского. Перелет протекал успешно. В 13 часов 40 минут по московскому времени самолет «СССР Н-209» прошел над Северным полюсом и лег курсом на Аляску. Передача с самолета принимали береговые радиостанции Народного комиссариата связи СССР и Главного управления Северного морского пути. В 14 часов 32 минуты с самолета была передана радиограмма, в которой сообщалось, что крайний правый мотор выбыл из строя из-за порчи маслопровода: высота полета 4600 при сплошной облачности. К этому времени самолет, выработав несколько тонн горючего, был настолько облегчен, что мог

продолжать полет без снижения на трех моторах.

После этого регулярная связь с самолетом нарушилась. В 15 часов 58 минут по московскому времени якутская радиостанция приняла следующее сообщение с самолета: «Все в порядке. Слышимость Р-1 (что значит — плохая)». Затем, в 17 часов 53 минуты, радиостанция мыса Шмидта приняла с самолета следующую радиограмму: «Как вы меня слышите? РЛ (позывные самолета Леваневского). Ждите...» По просьбе Наркомата связи СССР все военные, коммерческие и любительские радиостанции Северной Америки ведут непрерывное наблюдение за эфиром, слушая позывные и передачи советского самолета. Одновременно непрерывное наблюдение ведут северные и дальневосточные советские радиостанции. Между Москвой и Вашингтоном, а также между Москвой, Сан-Франциско и Фэрбенком поддерживается регулярная связь по радиотелефону с советником полпредства в США тов. Уманским.

Однако до 2 часов 14 августа связи с самолетом «СССР Н-209» возобновить не удалось. Правительственная комиссия по организации перелета».

14 августа были арендованы три самолета на Аляске, и на них совершены полеты вдоль всего северного побережья. На одном самолете летал метеоролог М. Беляков, командиром был лучший пилот Аляски Джо Кроссон. Другой пилотировали Роббинс и Армистед, принимавший участие в спасении челюскинцев в качестве авиамеханика у Леваневского. Третий самолет пилотировал Мэррей Стюарт, на борту находился советский радионженер Смирнов.

Все три самолета имели небольшую дальность полета и вскоре после безуспешных поисков вернулись в Фэрбенк.

Особую активность в организации поисков проявил советник полпредства СССР в США К. А. Уманский. В те дни полпредство напоминало штаб. Стены были увешаны картами Арктического бассейна, Аляски, Канады. Без конца звонил телефон. Приносили десятки телеграмм. Сотрудники работали круглые сутки, ибо множество вопросов требовало немедленного решения. Уманский занимался поисками подходящего самолета для дальних полетов, экипажа, знакомого с арктическими условиями, созданием баз горючего. Он консультировался по телефону и телеграфу с академиком О. Ю. Шмидтом — начальником Главсевморпути, связывался с Нью-Йорком, где президент «Клуба исследователей», известный специалист по Арктике В. Стефансон, координировал все действия с американской стороны.

Очевидцы вспоминают, что посыльный из телеграфной компании едва не падал с ног от усталости...

Все радиостанции американского и канадского корпусов связи вели непрерывное слушание на волнах радиостанции Н-209. Губернатор Аляски разослал во все населенные

пункты извещение о розысках самолета Леваневского.

15 августа в советских газетах было опубликовано решение Правительственной комиссии о развертывании поисков: «Как вчера сообщалось, перелет Героя Советского Союза т. С. А. Леваневского на самолете «СССР Н-209» протекал в очень трудных атмосферных условиях. Самолету из-за высокой сплошной облачности приходилось лететь на большой высоте, до 6000 метров. В 14 часов 32 минуты выбыл из строя один из моторов, и самолету пришлось снизиться до 4600 метров. С тех пор полных радиogramм с самолета не принято. Из принятых отрывков телеграмм явствует, что самолет еще некоторое время продолжал путь. Можно думать, что, вынужденный лететь в облаках, самолет мог подвергнуться обледенению, что привело к вынужденной посадке на лед. Условия льда в районе полюса и за ним являются сравнительно благоприятными для такой посадки. Все полярные радиостанции продолжают непрерывно слушать на волне самолета. Несколько раз радиостанции слышали работу на волне самолета т. Леваневского, но из-за слабой слышимости ничего достоверного принять не удалось.

Экипаж самолета Н-209 обеспечен продовольствием на полтора месяца, а также палатками, спальными мешками, теплой одеждой и оружием».

Обсудив положение, Правительственная комиссия приняла ряд мер для немедленного оказания помощи. Помощь организуется в двух направлениях: в Восточном и в Западном секторе Арктики.

Срочно были отозваны из отпусков (после успешного полета на СП-1) М. Водопьянов, В. Молоков, А. Алексеев со штурманами, радистами и бортмеханиками. В рекордно короткий срок — за 10 дней — были подготовлены самолеты, укомплектованы необходимой аппаратурой, облетаны, и 25 августа три оранжевых гиганта стартовали на Север с московского Центрального аэродрома (теперь здесь размещен Центральный аэровокзал). Экспедицию возглавлял начальник управления полярной авиации Главсевморпути М. И. Шевелев.

Был закуплен гидросамолет «Консолидэйд», способный совершать продолжительные полеты. Экипаж в составе известного полярного исследователя Г. Вилкинса, канадского летчика Г. Холли-Кениона, радиста Р. Буса и бортмеханика Д. Брауна уже 22 августа вылетел из Нью-Йорка на Аляску. О напряженной работе перед вылетом свидетельствует следующая радиogramма:

«Уманский — Шмидту. 22 августа, не желая тратить горячее, набранное Форт Смит, сильным встречным ветром сел Пойнт Лейк 65° 40' широты, 115 долготы с расчетом быть Копермайне 5 утра по Гринвичу 22 августа и после заправки пустить первую глубоководную разведку. Вилкинс сообщает: задержка дала возможность отдохнуть экипажу, сильно уставшему лихорадочной работы перед отлетом Нью-Йор-

ка, где лодку приготовили непрерывной работой в 30 часов.

Уманский»¹⁸.

В те напряженные дни мимо внимания наших газет прошел один поисковый полет, который совершил канадец Роберт Рэндалл 14 августа 1937 года на маленьком самолете, арендованном советским полпредством у компании «Маккензи эр сервис». Возможно, Рэндалл не знал о сообщении агентства Ассошиэйтед пресс из Сиэттла о том, что радиостанция в Анкорейдже (на Аляске) перехватила в 14 часов 44 минуты по гринвичскому времени сообщение с самолета. В нем говорилось: «Не имеем ориентировки. Затруднения с радиопередатчиком».

Очевидно, после неудачного приземления, или «приледенения», весь экипаж полностью или частично остался в живых, сумел наладить аварийную радиостанцию и какое-то время работать на ней.

Рэндалл пролетел над рекой Маккензи и приземлялся в тех местах, где видел эскимосов.

В своей книге «Нераскрытые тайны Арктики» В. Стефансон описывает полет Рэндалла в специальной главе, посвященной поискам Леваневского:

«Рэндалл не должен был задавать прямых вопросов, потому что, как говорил он, у эскимосов нормами поведения установлено говорить спрашивающему только приятные вещи. Рэндалл должен был просто вести несложный разговор о событиях лета, о том, какие корабли здесь проходили, у кого из эскимосов в округе есть моторные лодки, знают ли они, что такое самолет, когда в последний раз они видели самолет и тому подобное.

Такая методика дала Рэндаллу лишь отрицательные результаты повсюду, кроме острова Бартер. Там ему сказали, что 13 августа люди занимались в загоне домашними оленями и за занятиями сперва не обратили внимания на то, что потом они приняли за шум моторной лодки. Бросив работу, они прислушались и решили, что это был, должно быть, пролетающий за облаками самолет, потому что у многих из них были свои моторные лодки и они были в состоянии заметить разницу. Шум самолета стал доноситься со стороны моря и замер в глубине суши. Если это на самом деле было так, то это бы значило, что Леваневский вышел на Аляску несколько восточнее меридиана Фэрбенкса — небольшое отклонение, легко объяснимое густой облачностью. Никаких других сведений Рэндаллу не удалось добыть на пути к мысу Барроу. Спустя несколько дней он возвратился, пролетев немного в глубь материка и ведя поиск вдоль подножия гор от территории, прилегающей к острову Бартер и на запад. Он не увидел ничего»¹⁹.

Пользуясь сведениями Рэндалла, Джо Кроссон сразу же после этого совершил полет из Фэрбенкса над горами. В последующие недели он и другие летчики летали в этот район, и один полет был совершен до самого Арктического побережья.

Когда развернулись основные поиски, в которые включились известный полярный исследователь Губерт Вилкинс с канадским пилотом Холлик Кенионом и прилетевшие сюда советские летчики В. Задков и А. Грацианский, то в этом районе были совершены более продолжительные полеты.

В Москве спешно готовился еще один отряд самолетов. Руководил экспедицией известный полярный летчик В. Чухновский, остальные командиры — М. Бабушкин, Я. Мошковский и Ф. Фарих. Четыре тяжелые машины были оборудованы для ночных полетов. 6 октября 1937 года с Центрального аэродрома вылетели они на смену группе Шевелева.

Поисковые работы велись с невиданным размахом. Лондонская «Манчестер гардиан», касаясь в своей передовой статье отсутствия сообщения о местонахождении самолета Н-209, писала, что нет оснований не верить в то, что летчики будут спасены:

«Все эти перелеты были организованы с большим размахом, и летчики обеспечены всем необходимым на случай аварии. Они имеют запас продовольствия на 45 дней. Для их спасения будут мобилизованы все средства страны, которая является первой страной в мире по спасательным работам авиации в Арктике. Все, кто помнит то мастерство, с каким челюскинцы с дрейфующей льдины были спасены советскими летчиками (в их числе находился и сам Леваневский), могут составить себе представление о той помощи, которая будет оказана экипажу Н-209»²⁰.

Французская печать уделяла большое внимание положению экипажа самолета Н-209. Газеты подробно сообщали о мерах, принятых правительством СССР для розыска экипажа. Отмечая, что американский летчик Маттерн примет участие в розысках самолета Леваневского, французские газеты указывают, что в 1933 году после аварии на Чукотке Маттерн был выручен из тяжелого положения Леваневским...²¹

Американская «Фэрбенкс дэйли ньюс майнер» писала 23 августа в передовой:

«Русские, американские и канадские самолеты спешат к Полярному бассейну. Советский ледокол идет вперед во льдах. Много самолетов в пути. Вилкинс летал на далекий Север. Такова картина, которая по своему драматизму и грандиозности превосходит все, что знает история. И это не фантазия, а очевидная реальность сегодняшнего дня. Это делается для розыска шести смелых летчиков, которые пересекли Северный полюс и в результате несчастного случая вынуждены были прервать полет.

Отклики добровольцев и интенсивная немедленная мобилизация северных — воздушно-го и морского — флотов СССР ускоряют развитие событий. На помощь пришли многочисленные метеорологические станции и радиостанции пограничных с Арктикой областей Америки, СССР и Канады. Фэрбенкс стал исходным пунктом и базой для подготовки экс-

педиции, обслуживания и связи при поисках. Это будет стоить миллионы, это — потрясающее предприятие, но оно даст много положительного и принесет удовлетворение обществу»²².

Если сделать поправку на «местный патриотизм» газеты города Фэрбенкса, то можно согласиться, что размах поисковых работ вселял уверенность в сердца миллионов людей.

Народы всех цивилизованных стран видели усилия Советского Союза и, как это происходило во время спасения челюскинцев, понимали, что Советская власть, правительство не оставят людей в беде — таков этот необычный, советский образ жизни, столь непохожий на то, с чем приходится им ежедневно сталкиваться... Виднейшие полярники активно обсуждали в печати пути поисков, высказывали свои соображения.

Полярный летчик В. Чухновский, герой поисков экспедиции Нобиле, писал в те дни:

«Прежде всего я убежден, что весь экипаж жив. В этом я не сомневаюсь. При вынужденной посадке, пробивая облака, машина тов. Леваневского подверглась обледенению. Это для меня совершенно ясно. Но тов. Леваневскому во время челюскинской эпопеи уже пришлось испытать это явление. И мне представляется, что он, наученный опытом, не мог допустить обледенения и пошел на посадку при первых признаках обледенения.

Чем же объяснить тогда отсутствие после последней тревожной телеграммы всяких других известий? Мне кажется, что причину нужно искать все в том же обледенении самолета. Обледенение могло начаться примерно на высоте 3—3,5 тысячи метров, когда самолет еще летел на трех моторах. Ледяная корка нарастала очень быстро и, видимо, покрыла антенные трубы. После этого рация перестала работать и связь экипажа с землей прекратилась. Вскоре после этого самолет сделал посадку. Меня часто спрашивают: почему экипаж не мог восстановить радиосвязь после посадки?

Объясняется это очень просто. Нужно только понять, что на летний лед сделать посадку без поломок шасси нельзя.

...К несчастью, в носовой части самолета Н-209 находились обе радиостанции. И если во время посадки у них вышли из строя силовые агрегаты, служившие источниками питания для раций, ни о какой радиосвязи нечего и думать. С одними лампами и обмотками передать не наладить»²³.

С началом полярного дня поисковые работы развернулись с новой силой, как со стороны Американского континента, так и со стороны Евразии. Но ничего утешительного они не дали.

После того как прошел год со дня исчезновения самолета Н-209, Советское правительство опросило многих наиболее опытных полярников: «Следует ли продолжать поиски?» И, основываясь на результатах опроса, приняло решение поиски прекратить...

18 июня 1975 года вместе с Г. Ф. Байдуковым, А. В. Беляковым и И. В. Чкаловым — сыном Валерия Павловича — мы летели в составе группы телекинокорреспондентов в США, в город Ванкувер, на открытие монумента в честь успешного перелета советских летчиков в 1937 году.

По каким-то причинам наш спецрейс не получил разрешения пролететь над канадской территорией, и самолет после пролета Северного полюса повернул на Фэрбенкс по 148-му меридиану, по которому летел Н-209.

Внизу, недалеко от нашего маршрута, находилась советская дрейфующая станция СП-21. Мы послали им радиограмму, а Игорь Чкалов даже поговорил по радиотелефону и передал привет полярникам от участников первого трансарктического перелета Байдукова и Белякова.

Мы летели на высоте около 10 километров, внизу лежали облака, сквозь разрывы были видны льды и черные треугольники разведий. 4 часа 26 минут назад мы стартовали из Москвы, через 6 часов должны быть в Сиэттле.

Радист буднично переговаривался по радио-

телефону с аляскинским радистом, а руководитель перелета А. К. Витковский, включив автопилот, подсел к нам и увлеченно рассказывал, как 14-летним подростком он трепетно следил за перелетами Чкалова, Громова и Леваневского и тогда окончательно решил стать летчиком...

Так состоялась в Арктике встреча двух поколений.

Тогда, 46 лет назад, осваивая неизведанное, погибли шесть советских летчиков: командир корабля С. А. Леваневский, второй пилот Н. Г. Кастанаев, штурман В. И. Левченко, бортмеханики Г. Т. Побежимов и Н. Н. Годовиков, радист Н. Я. Галковский.

Арктика упорно хранит тайны, и мы все еще не знаем причин и подробностей гибели шести замечательных советских людей. Но мы знаем, что их труд не пропал даром, и в сегодняшнем перелете в США, к месту первой посадки советского самолета на Американском континенте, есть вклад экипажа самолета Н-209 и его командира — С. А. Леваневского, первым подарившего людям идею межконтинентального трансарктического перелета.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ЦГАНХ (Центральный архив народного хозяйства), оп. 2, ф. 9570, ед. хр. 1178, л. 38.

² Там же, оп. 2, ф. 9570, ед. хр. 1179, л. 15.

³ Там же, л. 30.

⁴ Там же, ед. хр. 1178, л. 203.

⁵ Там же, л. 146.

⁶ Там же, л. 126.

⁷ Там же, л. 122.

⁸ Там же, ед. хр. 1179, л. 118.

⁹ Зингер М. Ходили мы походами. М., «Сов. писатель», 1959, с. 66.

¹⁰ Там же, с. 70.

¹¹ Как мы спасали челюскинцев. М., «Правда», 1934, с. 134.

¹² Там же, с. 17.

¹³ Цит. по кн.: «История открытия и освоения Северного морского пути. Л., Гидрометеиздат, 1969, т. 4, с. 150.

¹⁴ Как мы спасали челюскинцев. М., «Правда», 1934, с. 143—144.

¹⁵ Зингер М. Ходили мы походами. М., «Сов. писатель», 1959, с. 94.

¹⁶ Байдуков Г. Чкалов. М., «Мол. гвардия». 1977, с. 126 (ЖЗЛ).

¹⁷ Там же, с. 128.

¹⁸ ЦГАНХ, оп. 2, ф. 9570, ед. хр. 104, л. 31.

¹⁹ Stefansson V. Unsolved mysteries of the Arctic. New York, 1945, p. 356—357.

²⁰ «Известия», 1937, 17 августа.

²¹ «Правда», 1937, 16 августа.

²² «Правда», 1937, 25 августа.

²³ «Комсомольская правда», 1937, 4 октября.

Комитет по Радиовещанию и Радиофикации при СНК СССР

Воскресен

21
декабря

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

Ул. Фермана, д. 13 Тел. 85 54 01

21
декабрь

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ РУССКОЙ МУЗЫКИ

◎ 社會與文化批判

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ВСЕСОЮЗНОГО РАДИОКОМИТЕТА

2004

See Appendix 2 for a complete list of references.

Н. С. ГОЛОВАНОВ

[illegible]

Н. А. ОБУХОВА

Dei kunstwerken spraken de leerlingen.

Е. К. КАТУЛЬСКАЯ

DOI: 10.1002/for

С. Я. ЛЕМЕШЕВ

100

С. И. М И Г А Й

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

А. И. ОРФЕНОВ

[illegible]

== ВЕСЬ СБОР ОТ КОНЦЕРТА ПОСТУПИТ В ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ТАНКОВ

НАЧАЛО В 11 ЧАС. ДНЯ

Exposure: 100-1500 mg/kg/day for 10 to 30 days; 5 to 30 mg/kg/day for 30 to 100 days; 100 to 1500 mg/kg/day for 100 to 300 days

Library of Congress

От имени Москвы

До сих пор ведутся споры о творческом своеобразии дирижера народного артиста СССР Николая Семеновича Голованова. Кому-то и сегодня кажутся резкими, чересчур смелыми и неожиданными его трактовки (необычный темп, субъективные динамические штрихи и т.д.). Для других стиль Голованова воспринимается как поиск вдохновенного художника, который всегда стремился увидеть истинный дух классического произведения глазами современного человека (а классика, именно и прежде всего русская классика, была остоном головановского репертуара). Но ни у кого никогда не было и нет

расхождений в оценке истинного облика Н. С. Голованова как музыканта необычайного таланта, редкой эрудиции, мощного темперамента, бескомпромиссного отношения к искусству, к собственному творчеству и творчеству своих коллег.

Вот краткие сведения о творчестве Н. С. Голованова (1891—1953). В девять лет он поступил в московское Синодальное училище, где занимался у В. С. Орлова и А. Д. Кастальского. Окончил училище в 1909 году с отличием. По окончании ему было присвоено звание регента первого разряда, а также учителя пения. Затем Голованов учился в Московской консерватории по классу композиции у С. Н. Василенко. С 1915 года работал хормейстером Большого театра. В 1919—1928 и 1930—1936 годах — дирижер, а в 1948—1953 годах — главный дирижер ГАБТа. С 1919 года участвовал в работе Оперной студии (впоследствии театра) под руководством К. С. Станиславского. Все эти годы вел активную концертную деятельность (особая страница в его исполнительской практике —

совместные выступления с А. В. Неждановой). В 1937—1953 годах — художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. Педагогическую работу вел с 1907 года; в 1925—1929 и в 1943—1944 годах — профессор Московской консерватории. За выдающиеся постановки в Большом театре русских классических опер «Борис Годунов» и «Хованщина» М. Мусоргского, «Садко» Н. Римского-Корсакова дирижер был удостоен трех Государственных премий СССР (1949, 1950, 1951 гг.). Но была еще одна высокая награда — Государственная премия СССР, которую Н. С. Голованову присудили за концертную деятельность в годы Великой Отечественной войны, как значилось в указе, а по сути дела — за человеческий и художнический подвиг, совершенный музыкантом-патриотом в суровое военное время.

* * *

С первых дней Великой Отечественной войны музы встали в солдатский строй, театральные и музыкальные коллективы перешли на военное положение, выдвинули из своих рядов фронтовые театры, концертные бригады. Плечом к плечу прошли по огненным дорогам писатели, актеры, композиторы, музыканты. История Великой Отечественной войны хранит немало впечатляющих примеров создания и исполнения выдающихся произведений музыкального искусства. Седьмая, «Ленинградская» симфония Д. Шостаковича, рожденная в блокадном городе-герое; легендарные песни: «Священная война» А. Александрова и В. Лебедева-Кумача, ставшая музыкальной эмблемой Великой Отечественной, «Вечер на рейде» В. Соловьева-Седого и А. Чуркина, «Соловьи» В. Соловьева-Седого и А. Фатьянова, «Ой, туманы мои» В. Захарова и М. Исаковского, «В землянке» К. Листова и А. Суркова, «Заветный камень» В. Мокроусова и А. Жарова; кантаты, оратории, арии-баллады, марши известных советских композиторов, неповторимо воплотившие стойкость, мужество, веру в победу советского воина.

«Весь советский народ вставал на защиту родной земли, — писал в ту пору С. С. Прокофьев. — Каждому хотелось внести немедленно свой вклад в борьбу. Первым откликом композиторов на происходящие события, естественно, явились песни и марши героического характера, то есть та музыка, которая могла непосредственно зазвучать на фронте. Я написал две песни и марш. В эти дни приняты ясные формы бродившие у меня мысли написать оперу на сюжет романа Толстого «Война и мир». Как-то по-особому близки стали страницы, повествующие о борьбе русского народа с полчищами Наполеона в 1812 году и об изгнании наполеоновской армии с русской земли...»

С новой силой зазвучала в эти дни русская классика.

Среди незабываемых страниц музыкальной летописи времен Великой Отечественной войны — творческая деятельность Большого сим-

фонического оркестра радио и его руководителя дирижера Н. С. Голованова в Москве, особенно в труднейшее преддверие 1941 года, когда коллективу суждено было стать средоточием всей музыкальной жизни города-борца.

Об этом наш документальный рассказ.

* * *

Подчас карандашные строчки, бесхитростно изложенные на клочке бумаги размером в ладонь, могут сообщить и объяснить нам нечто очень важное. Теперь, через десятилетия, письмо это, должно быть, затерялось в бумажных потоках архивов. Подлинник, увы, исчез, но сохранилась копия. Вот она.

«Копия с партизанского письма. Один лист. Написано карандашом на двух сторонах. Подписи под письмом не имеется. Адресовано тов. Голованову. Переписано 20 сентября 1942 года.

Боевой наш тов. Голованов и дорогие гг. артисты-музыканты из Симфонического оркестра радиокомитета! Примите нашу сердечную благодарность за концерт, который мы, партизаны Брянщины, слушали в первых числах ноября месяца 1941 г. Слушали и, не будучи людьми слабонервными (нервы нам еще пригодятся, чтобы прижать хвост зарвавшейся фашистской гадине), со слезами на глазах обнимались друг с другом, выкрикивая: «Ура нашей дорогой Москве, которая жива и здорова!» Как когда-то в мирное время мы слушали из Москвы музыку Чайковского и Глинки. А в это время в нашей землянке на столе лежали поганые гитлеровские листовки-фальшивки, где черным по белому было написано, что-де самим фюрером назначен и приступил к исполнению обязанностей бургомистр Москвы. И имя называют какого-то поганого фон-барона. Вот до какой подлости дело дошло!

Кукиш! Мы слышим Москву! Советскую и свободную! Мы слышим сочинение — симфонию под названием «812 год» (извините, если не так запомнили), перед исполнением ее диктор с радио кратко объяснил нам, о чем будет рассказывать музыка, хотя и без слов, товарищи, ясно о чем. А именно: бей проклятых захватчиков, русский народ, как бивал их раньше. И будет тебе во веки веков героическое Славыя!!

На том еще раз спасибо. С партизанским приветом!...

Как полагают ветераны Большого симфонического оркестра (БСО), это письмо (и подобные ему партизанские письма-отклики на радиоконцерты оркестра в последние месяцы 1941 года) впервые могло появиться не раньше сентября 1942 года, когда в Москву прибыли из-за линии фронта командиры партизанских соединений, чтобы подытожить результаты минувших рейдов и операций, определить дальнейшие задачи борьбы. Именно тогда на специальных, «закрытых», и так называемых «открытых» концертах БСО в Колонном зале, в Большом зале Московской консерватории, в Доме ученых можно было

встретить партизан — и брянских, и украинских, и белорусских, и орловских...

Алексей Матвеевич Ковалев, многолетний коллега Н. С. Голованова, в те годы второй дирижер БСО:

— Партизаны, прилетавшие на совещание в Москву, часто приходили на наши выступления, благодарили, говорили о том, как важно им было слышать музыкальный голос Москвы в ту нелегкую военную пору 1941 года.

Подробней рассказывает об этом старейший альтист БСО Григорий Демьянович Шкурят:

— Однажды после концерта в Колонном зале в артистическую зашел человек средних лет, в штатском. В это время наш главный дирижер Николай Семенович Голованов вытирал полотенцем пот (он, надо сказать, всегда сильно потел — и на репетициях, и особенно на концертах). Гость подошел к нему, извинился и представил себя так: украинский партизан. Ни фамилии, ни имени не назвал. Николай Семенович горячо пожал руку, говорит шутливо: «Как же так? Партизан, а без бороды?» Партизан засмеялся: «А была борода и вся вышла. Такая мода годится разве что для лесов и болот — медведей да комаров пугать, а не для Москвы». Помеялись. Гость говорит: «Горячая у вас работа. В зале собачий холод, а вы как лесорубы после смены. Вот это музыка! Здорово! Первый раз вижу такое. Обязательно расскажу об этом ребятам». Голованов, довольный, улыбается. Потом партизан передал Николаю Семеновичу какой-то сложенный листок. Дирижер тут же прочел его вслух и, еще раз крепко пожал руку партизану, передал письмо (или, может, просто записку) музыкантам. Сказал, чтоб сохранили. Хорошо запомнил, что в этой весточке партизаны называли несколько наших радиопрограмм, упоминали и увертюру Чайковского «1812 год». Скажу и от себя лично — как человек и как музыкант, — что это произведение звучало в тех наших концертах с такой силой, подъемом и проникновением в душу, что публика долго оставалась буквально потрясенной. Я сам видел в первых рядах пожилых людей, у которых из глаз катились слезы, — никто их не стеснялся. Наблюдая такое, нам, музыкантам, трудно было играть. В моей жизни исполнение увертюры «1812 год» было пожалуй, самым сильным впечатлением, вызванным искусством...

...Низкие, зловеще-черные, со свинцовыми разметами тучи ползли в сторону Москвы. Бородинское поле затянуло белесой вуалью измороси. Под ногами вязкое, чавкающее, как болотная трясина, месиво. Памятники русским героям Отечественной войны 1812 года, тускло отсвечивая, причудливо соседствовали с «памятниками» нынешним — еще не потемневшим от гари боев бременчатыми накатами дзотов, бетонными надолбами и «ежами», распахнутыми пастями противотанковых рвов, окопов, заполненных водой.

На работы шли сонными, почти на ощупь, в

слепой непроглядной ночи; когда же бывало тихо, работали днем, вечером. Резко звякали при раздаче лопаты, гулко разносились окрики военных: «А ну давай, московские штатские-заштатские, нажми-ка! Это вам не вальсочки в Сокольниках поигрывать, тут другая музыка. Немец в двух шагах...»

От непривычной работы землекопа сводило судорогой мышцы спины, плеч. Грубым черенком лопаты срывало с ладоней кожу. От голода, от усталости плясало в глазах, валило с ног. Но люди старались держаться ближе друг к другу — так было надежнее, спокойнее.

«Бомбежка, минометные обстрелы, десант... Неужели когда-нибудь можно привыкнуть к этому?» — думал Константин Гаврилович Петров, один из лучших скрипачей московского Большого симфонического оркестра, по разнарядке радиокомитета оказавшийся вместе с несколькими своими коллегами-музыкантами здесь, в Бородине. А может быть, так-то лучше, когда чувство страха притупляет нечеловеческая усталость? Но лучше не думать об этом. И в короткие минуты перекура он уже безразлично осматривал в слабом отсвете цигарки кровоточащие ладони. И все-таки это еще не фронт. Не здесь рвались снаряды и мины, не здесь выворачивало огненным смерчем нутро земли... А каково им там-то, солдатам? Да и что значат твои руки — пусть и руки хорошего музыканта, — когда вокруг происходит такое?.. И снова он нажимал на работу, чтобы забыться, чтобы не лезли в голову страшные мысли, чтобы только чувствовать тупую неотступающую боль в суставах, в позвоночнике и только видеть, как отвесно уходит сочащаяся водяными струйками стена противотанкового рва.

И так вот неделю-другую. Однажды ночью окрик: «Подъем! Становись! Шагом марш!..» Переводили на другой объект. Но на какой — никто толком не знал. Потом поступила команда: «В Москву, пешком...» По дороге военные, сопровождающие, то и дело предостерегали: «Быстрой, подтянись, а то окажемся в окружении. Слышь, фриц как лупит...»

Снаряды бухали все ближе, небо шаталось в сполохах разрывов. Вспышки ракет, свет прожекторов вперекрест. Дошли до Можайска. К тому из музыкантов рискнул связаться с Москвой. Получилось. Оттуда сообщили, чтобы немедленно возвращались. Сели в товарняк, из которого только что выгузили лошадей. Тронулись. Каждую минуту по вагонам команда: «Не выходить, не высовываться — даже если воздушный налет...» Ехали уже в разгаре дня, но было все как во сне.

И вот уже загромыхали разезды московского вокзала.

На радио переполох: «Вы, ребята, занимались там черт-те чем, а добрая половина оркестра уже эвакуировалась в Свердловск. Готовится к отправке новая партия. Так что догоняйте, пока не поздно...»

Спросили про Голованова: не уехал ли? Нет, вроде бы не собирается.

А через несколько дней Константина Гаври-



Народный артист СССР Н. С. Голованов.

ловича Петрова дирижер пригласил в радиокомитет для какого-то неостложного, важного, как значилось в записке Голованова, разговора.

Николай Семенович уже ждал. Он никогда не изменял своим привычкам: начинать дело на полчаса раньше назначенного. Рядом с ним сидел хормейстер И. М. Кувыкин. Вид у них был праздничный, «премьерный»: накрахмаленные рубашки, галстуки-бабочки.

— Здорово, Костя. Как дела?.. — И, не дождавшись ответа и не предложив сесть, Голованов выпалил уже несколько иным, каким-то полуофициально-полуироническим, а по-головановски самым что ни на есть деловым тоном:

— Слушай, молодой человек, я вижу, что солдата из тебя не получилось, хоть ты и сражался (он нажал на это слово) на легендарном Бородинском поле. И руки, слава богу, ты изувечил еще не вконец. А потому мы предлагаем тебе ответственное дело. Мы назначаем тебя инспектором Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета... Что скажешь? Ну? Согласен?..

— Так ведь оркестр, Николай Семенович, на днях отбыл на Урал.

— Не оркестр уехал, многоуважаемый Константин Гаврилович, а музыканты. Вынужденно уехали, эвакуировались согласно решению руководства радио. Хотя совсем необязательно, чтобы в Свердловске оказались и остальные московские музыканты. Что ты на это скажешь?

— А как же быть с кадрами? Ведь и филармонисты уехали, и госоркестровцы, и часть артистов из Большого...

— Вот именно, молодой человек, именно только часть. — Николай Семенович крепко стукнул кулаком по столу. — Другие же еще здесь. И ехать, насколько мне известно, не собираются... А это уже тебе, Костя, требуется уточнить.

— Когда же будем начинать, Николай Семенович?

— А завтра. Встань пораньше и начни... Пойди сейчас в наш клуб, дай понаглядней объявление, обзвони, обойди знакомых и незнакомых музыкантов... Да связись побыстрее с тромбонистом Димой Федоровичем — он тебе поможет. Корооче, привлеки людей. Грише Шкурату сообщи. Но и сам соображай где что.

Сказать, что это было трудным делом, — значит сказать далеко не все. Это было делом рискованным. Прежде всего — кадры. В БСО осталось человек тридцать. Значит, нужно солидно добирать состав. Откуда? Помог Большой театр — небольшая часть его оркестра влилась в БСО (впоследствии, когда в помещении своего филиала Большой театр возобновил спектакли, возникли проблемы «совмещения» музыкантов); в полном составе присоединился к БСО Государственный квартет имени Бетховена: Д. М. Цыганов, В. В. Борисовский, В. П. и С. П. Ширинские; некоторые музыканты пришли «со стороны»... Как бы то ни было, оркестр сложился. И в это горячее время — конец ок-

тября 1941 года — он вместе с двумя другими коллективами радиокомитета — хором, руководимым Константином Сахаровым, и небольшой украинской хоровой капеллой — стал центром притяжения культурной жизни столицы, единственным симфоническим коллективом Москвы, вокруг которого сгруппировались лучшие из оставшихся в городе артистов.

Не менее сложными были проблемы репертуарные. В эти дни, как никогда, нужны были произведения, которые смогли бы поднять дух, вдохновить на подвиг защитников Отечества, укрепить, преумножить патриотизм, мужество, стойкость, оптимизм. Главный дирижер БСО Н. С. Голованов, второй дирижер оркестра А. М. Ковалев, да и каждый музыкант по мере возможности проявляли в этом деле столько энтузиазма и находчивости, что еще до наступления первых репетиций в портфеле возрожденного БСО появились самые разные произведения, в том числе и редкие, а то и вовсе новые в исполнительской практике довоенной поры. Были извлечены из архивов (за словом «извлечены» стояли сложные, под стать детективным, поиски) «Правоведский марш» Чайковского (известно, что Чайковский был выпускником Петербургского училища правоведения) и его кантата «Москва», «Славянский марш»; «Сувороковский марш» Аренского; увертюра Балакирева «Русь»; сочинения замечательных русских композиторов, которых не очень-то баловали своим вниманием исполнители, — Танеева, Глазунова, Лядова, Калининкова, Ляпунова... Костяком же, опорой репертуара стали произведения гигантов отечественной музыки — Глинка, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина.

Встречаясь в те дни в Москве с кем-либо из людей, имеющих отношение к музыке, Голованов и его музыканты непременно спрашивали: не отыщется ли в ваших домашних архивах каких-нибудь нот? Были перевершены, буквально вывернуты наизнанку и «нотница» Музгиза (помещение бывшего издательства Юргенсона), и стеллажи читального зала Московской консерватории (библиотека была эвакуирована); кое-что удалось приобрести в нотном «хранилище» вокальной группы Музотдела радио, руководимой тогда профессором Н. Г. Райским. Все найденное тут же стекалось к Н. С. Голованову, и он, как в былые времена, своим знаменитым малиновым карандашом проходил по нотам, оставляя свои многочисленные пометки, вписки, акцентные «вводы», «крючочки», «вилочки», щедро расставляя динамические штрихи, — словом, густо расцвечивал партитуры, а затем (после нотной расписки) и каждую в отдельности инструментальную партию своей так называемой знаменитой головановской ретущью.

Но, пожалуй, прежде и больше всего Голованов хотел включить в программу первых концертов возрожденного БСО издавна любимую им Торжественную увертюру Чайковского «1812 год», которую дирижер окрестил «политически мощной вещью, симфони-

ческим плакатом». Но для этого необходимо было изменить финал увертюры, изъять из него тему официального старорежимного гимна «Боже, царя храни», которая, разумеется, никак не вязалась с идеей нынешней всенародной борьбы, массового подвига. Изъять. Но чем заменить? И тогда Голованов вспомнил один из давних (в 20-е годы) разговоров с известным русским композитором А. К. Глазуновым. Речь тогда зашла у них именно о «1812 году» Чайковского. Глазунов высоко отозвался о произведении, но отметил, как не к месту, чужеродно, фальшиво звучит в нем этот царский псалом, унижая народный характер сочинения. И предложил заменить в увертюре эпизод с царским гимном народным гимном «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин». Вспомнив этот замысел Глазунова, Голованов решил теперь осуществить его.

В это холодное утро Николай Семенович вышел из дому вместе со своей верной спутницей Антониной Васильевной Неждановой. Не спеша, размеренным шагом шли они по Брюсовскому переулку.

На углу, возле улицы Герцена, они простились. Антонина Васильевна, смеясь и вскинув голову, звонко произнесла: «Успеха, дорогой Николай Семенович. Ни пуха ни пера...» Николай Семенович почтительно кивнул головой... А рядом — он только сейчас это заметил — и здесь, на этой стороне улицы, и на противоположной — его терпеливо ждали музыканты БСО. Увидев, что дирижер «свободен», они стали подходить к нему; шли дальше вместе, затеялся легкий разговор, кто-то сказал смешное, долго смеялись. Но за непринужденностью чувствовалась скованность: сегодня первая в условиях военной Москвы репетиция. Как будет звучать новый состав оркестра и как почувствует, как оценит это главный дирижер?..

Репетиция назначена, как всегда, ровно в десять. Дирижер привычным движением вынул карманные часы, прикрепил их за ушко к специальному гвоздику на пульте. И это знакомая многолетняя привычка Голованова («берегите минуты!») тут же была отмечена музыкантами... Все эти подробности (и как идет по своему переулку дирижер, и разговоры с ним по дороге на репетицию, и «ходовые» его словечки, даже одежда его), вещи незначительные, привычные мелочи теперь напоминали музыкантам обстановку мирного времени, любимой работы; внешнее, в сущности, пустячное рождало предощущение радости сотворчества, того мгновения, когда наступит главное — начнет звучать музыка.

Дирижер строгим «хозяйским» взглядом оглядел оркестр («Все ли на месте?»). Раскрыл партитуру, наклонился над ней, что-то пометил, перелистал, снова возвратился к первой странице. Подышал на руки, энергично потер их, откашлялся.

— Товарищи, поздравляю вас. Большой симфонический оркестр, — музыканты дружно

встали, — в полном составе продолжает работу. Не буду говорить о том, насколько важна и ответственна наша деятельность в нынешних условиях. Вы сами представляете себе насколько. Время военное, время тревожное, время решительных действий. Так что и мы не будем его терять... Начнем с «Богатырской симфонии». Попрошу с первой цифры. Все вместе...

Вспоминает пианист, музыковед, профессор Московской консерватории К. Х. Аджемов (1 января 1941 года он был принят в радиокомитет музыкальным редактором и с тех пор в течение 12 лет, то есть до самой кончины Николая Семеновича Голованова, каждый день бок о бок работал с дирижером):

— «Богатырская симфония» Бородина. Николай Семенович Голованов за пультом. Властный взмах. Повелевая оркестром, дирижер начинает свою, столь динамичную интерпретацию. До репетиции я заглянул в партитуру «Богатырской». Она была расчерчена Головановым. Множество дополнительных оттенков. В партиях оркестрантов также многочисленные пометки дирижера, в основном относящиеся к переосмысленным штрихам и изменениям динамики. Зал наполнило мощное звучание. Выражение лица Голованова — непреклонное, отважное, как будто он ринулся в бой. Жест импульсивный, порывистый. Смотрю на Николая Семеновича и сливаю образ музыканта и творимой им музыки со стихом А. К. Толстого: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж с плеча!»

Впечатление от исполнения не менее яркое, чем от спектаклей Большого театра, поставленных дирижером. Стремлюсь осознать неповторимые особенности головановской интерпретации.

В его передаче «Богатырской» преобладали резкие контрасты звучания: как будто не знакомому пределов фортиссимо дирижер противопоставлял замирания звучности, еле слышное пианиссимо. Он уплотнял гармонию, поэтому в партитуре были дописаны гармонические голоса, заполняющие регистры... Резкие смены темпов, ускорения и замедления создавали своеобразные агогики (то есть некой «сбивки», небольшого отклонения от темпа и метра в целях достижения особой художественной выразительности). Авторский текст Бородина заметно переосмысливался дирижером...

Первая репетиция прошла сравнительно спокойно. Всего дважды ревела сирена воздушной тревоги. Во время первой бомбежки артисты БСО спустились в подвалы консерватории. Вторую или не услышали, захваченные эпической мощью «Богатырской», или услышали, но не захотели прерывать музыку.

Вскоре партитура «1812 года» П. И. Чайковского с новой, головановской, редакцией финала поступила в БСО. Н. С. Голованов хорошо знал это произведение, слышал не однажды, как его исполняли еще в дореволюционное время, имел представление и об авторском прочтении «1812 года» — по рассказам консерваторских

Николаю Семеновичу
Голованову в бла-
годарность за не-
понимание "1812 года",
прослушанного в воз-
духе во время пере-
езда Иран - Москва.
Майор Семенов —

Записка дирижеру Н. С. Голованову.

старожилов, по рецензиям и статьям конца 80-х — начала 90-х годов, когда увертюра звучала под управлением Чайковского в Петербурге и Москве, в Берлине и дважды в Праге, в Тифлисе, Киеве, в Брюсселе, Одессе, Харькове...

И вот теперь Торжественной увертюре «1812 год» предстояло впервые за послереволюционные годы прозвучать в нашей стране.

Голованов вызвал к себе инспектора БСО.

— Константин Гаврилович, срочно, к сегодняшнему вечеру, необходимо раздобыть колокола для исполнения увертюры Чайковского «1812 год».

— Оркестровые колокола, Николай Семенович, итальянские?

— Нет, самые настоящие церковные колокола... Да ты не пугайся, снимать их с Ивана Великого не нужно. Сходи в Большой. Вот записка. Договорись. Надеюсь, звонницу-то еще не успели эвакуировать... Подбери несколько колоколов, один — помощнее. Чтобы тона по красивее были, чтобы перезвон фигурный, льющийся вышел.

Вечером К. Г. Петров спешил по Брюсовскому переулку к Н. С. Голованову, чтобы доложить о том, что удалось сделать.

Дверь открыла сестра дирижера Ольга Семеновна: «Дома, дома, проходите...» Николай Семенович, как всегда, за работой, сидит, сгорбившись, над партитурой. Толстый карандаш в руке. Услышав голоса в прихожей, что-то тяжелое, неостывшее дыхание, поднял голову.

This is a handwritten musical score for the song "The Rose Tree". The score is written on multiple staves, including vocal parts and piano accompaniment. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "pp" (pianissimo) and "f" (forte). There are also handwritten annotations and corrections throughout the manuscript, including a large "K" and "Bach" written in the lower section. The score is divided into measures by vertical bar lines, and the overall layout is typical of a composer's draft.

Глаза стальные, колющие: недоволен, что прерывают работу. Петров осторожно вошел в кабинет. Дирижер посмотрел на инспектора оркестра какими-то чужими глазами, как будто видит в первый раз. Взгляд блуждает где-то еще там, в глубинах музыки. На столе ноты. Увертюра Чайковского. Значит, скоро быть премьере. Рядом с партитурой том сочинений Чайковского — весь в бумажных закладках, другие книги, среди них статьи музыкального писателя Кашкина о Чайковском.

— А, пришел? — Голованов встал, приблизился к музыканту, дружески похлопал по плечу. — Ну, говори. Достал?

— Все в порядке, Николай Семенович, есть колокола и один — наимощнейший. Притащили на санях, там же, на театральных задворках среди декорационного хлама, нашлись. Настоящие крестьянские дровенки. Спрашиваю у сторожа: а лошади у вас тут не найдется взаимнообразно? Старик злющий оказался: такая, говорит, беда по нашу душу, а ты с шутками. Так что пришлось, Николай Семенович, впрягаться нам с Липинским и другими нашими оркестровыми рабочими в оглобелки...

— Ты-то мог бы не тащить, артист, инспектор все-таки, — лукаво заметил Николай Семенович. — А вообще-то нашим маэстро из БСО тоже не мешало иной раз и физически потрудиться... Да вы хоть прикрыли колокола-то, тряпками какими-нибудь, рогожкой, когда везли? А то, чего доброго, люди перепугаются, подумают — колокола с церковью снимают.

— Нет, так везли, не до того было. Десять шагов сделаешь, и силы вон. Далеко все-таки человеку до лошади. Слаб, Николай Семенович, человек...

— Рассказывай сказки — слаб человек!.. Куда привезли-то?

— Прямо в Большой зал. Там и звонницу уже налаживают.

— Ну молодец!.. — И пожал ему руку. Обнял. Довольный, отошел к окну, чуть приоткрыл маскировку, выглянул на улицу... А Константин Гаврилович тоже в отличнейшем настроении — все-таки задание выполнил в срок — этак бодро начинает говорить дирижеру про завтрашнюю репетицию, про гранатометание (была тогда у музыкантов БСО такая боевая тренировка с раннего утра), про график пожарной службы...

— Как вдруг вижу, — вспоминает этот случай К. Г. Петров, — рояль на меня своим лакированным изгибом валится, пол из-под меня, как палуба корабля в шторм, в глазах радужные вспышки. Словом, чувствую — лечу к чертовой бабушке...

Очнулся. Смотрю кругом: ничего не понимаю. Слабость. В ушах назойливо гудит. Вижу какую-то спальню. Но вспомнил, догадался: у Николая Семеновича я. Ольга Семеновна склонилась надо мной, спрашивает: «Ну как?» Голованов рядом, очень взволнован, в глазах испуг.

— Перепугал ты нас, черт...

Потом, видя, что я понемногу начинаю приходить в себя, начал шутить:

— Вот тебе и звон-перезвон колокольный, а звонарь-то того... — И прищелкнул пальцами. Потом резко, строго, каким-то гудящим голосом: — Ты когда ел в последний раз? Говори! Вчера? Только не думай врать. Ну?.. Ольга Семеновна, неси сюда все, чем нас сегодня бог наградил, а то беда с этими отчаянными головами... Ну да ладно, — добавил уже мягко, вполголоса, — ладно, обойдется. Поешь вот, выпей чарку для подъема духа. Обойдется. Время, знаешь ли, нынче такое. Ничего. Им, фронтовикам, защитникам нашим, несравненно трудней. Ты помни об этом, Константин Гаврилович.

Вскоре после того как скрипачу и инспектору БСО К. Г. Петрову удалось привлечь «на свою сторону» группу музыкантов из так называемого сценно-духового оркестра ГАБТа (Константин Гаврилович для пользы общего дела по рекомендации Голованова вошел в состав дирекции прославленного театрального коллектива) и после того, как вслед за набором колоколов из хранилищ Большого театра в Большой зал Московской консерватории перекочевал гигантский барабан «канон», начались репетиции Торжественной увертюры Чайковского. Их было немного: Голованов был нетерпим к любого рода промедлениям. Он, как всегда, боялся упустить то, что можно назвать ощущением неразделимости о-целого образа, тот сиюминутный «божественный» настрой, который завтра может от чего-то погаснуть. В этом заключалась увлеченность художника.

Премьера состоялась в Большом зале консерватории. Зал был пуст. Это было «эфирное исполнение» — только для радиослушателей. Вся мощь глубоко патристической, броской, захватывающей музыки (под стать пронзающим душу историческим плакатам первых дней и месяцев Великой Отечественной войны) вылилась в микрофоны Всесоюзного радио.

...Тягучее, широкое шествие аккордов, излагающих хоральную тему. Начинают альты и виолончели, включаются деревянные духовые, мощь нарастает, достигая наивысшего напряжения. Волны величия, торжественности. Но уже предощущение тревоги. Она подступает, она просачивается сквозь ликование, море света, радости, открытых чувств. Низкий, тревожный рокот басов. Появляется новая выразительная, захватывающая мелодия, в которой зарождаются, начинают проявляться в голосе то одного, то другого инструмента жалобные звуки мольбы, вырастающие в картину печали... И вдруг резко — барабанная дробь, фанфарные сигналы. Трубят сбор. Собирается, полнится русская рать. Нашествие неприятеля. И вот уже стихия битвы: топот коней, бряцанье сабель. Физическая, объемная зримость батальных эпизодов... Вот тема иноземных захватчиков и как антитеза — сердечная, ясная русская мелодия, и в ней

уже предсказание победного исхода; спокойствие и стойкость духа в ней, доброта и любовь к Отчизне, гнев и благородная ярость. А за этой мелодией чистым ручьем льется мелодия уже подлинной народной песни «У ворот, ворот бацкиных»...

И снова — битва, снова столкновение контрастных тем, и эхо тех битв и тех тем, и оглушающий гром последнего решительного сражения. В завершение весь оркестр и присоединившаяся к нему группа медных духовых инструментов, и нарастающий звон колоколов «поют» начальную тему хорального склада — гимн народу, его священной борьбе, апофеоз великой победы. Через краткий эпизод «воспоминаний» о минувших сражениях торжественно и величаво начинают накачивать, вздыматься, шириться исполнинские волны глинкавской темы «Славя...».

Неожиданные обстоятельства вторглись в жизнь Большого симфонического оркестра. С пятнадцати музыкантов БСО срочным предписанием была «снята броня».

После такой новости репетиция, разумеется, сорвалась.

— Людей нужно вернуть, — с нескрываемым раздражением сказал Николай Семенович. — Не прихоть, не каприз — дело требует... Свяжись, Константин Гаврилович, с комендантурой. Спроси, когда военком может принять. Объясни, докажи, что дело не терпит отлагательства. Подготовь список тех, кто сегодня не явился на работу.

Военный комендант города Москвы назначил встречу на следующий день. Рано утром дирижер встретился со своим инспектором на трамвайной остановке. Всю дорогу ехали молча. Только раз Петров спросил у Николая Семеновича: «Выгорит» ли их дело? Голованов недовольно бурчал: «Какое, к черту, дело. Палки в колеса на самом ходу... Ладно, там увидим...»

Встретил их адъютант военкома почтительно: видно, наслышан был от начальника о значении музыканта. Пригласил без промедления. Обменялись любезностями, произнесли несколько общих фраз. И слово взял Голованов...

Разные впечатления оставляла у людей, близко знавших Николая Семеновича, манера его речи. Одни запомнили, что на слова он был скуп, говорил кратко, словно рубил фразой, словно булыжники мостил, одобряя краткость речи поговорками, прибаутками, выражаясь порой чересчур прямо. На репетициях не разговаривал вовсе (реплика, номер такта...); потом, когда отпускала музыка, любил пошутить, пошутиться, послушать свежий анекдот (музыканты мастера их рассказывать), слушать других любил больше, чем говорить сам. Но подчас, чувствуя рядом с собой интересного или заинтересованного собеседника, разговаривался, и тогда речь его лилась легко и просто, иной раз изящно, затейливо даже, возникали нежиз-

ненные ассоциации, скрепленные живописными подробностями.

И убеждать он умел. И не только словом, но и силой своего авторитета, фанатической преданностью делу, своими волевыми и нередко крутыми чертами характера.

...Он сказал, что недавно оркестр уже пережил одно «бородинское сражение», которое чуть было не лишило коллектив своих лучших музыкантов. А мы уже затеяли на радио серьезнейшее дело: силами искусства поддерживать и множить в людях веру в нашу победу; серьезной классической музыкой мы показываем миру, что в Москве идет нормальная, обычная жизнь. Нельзя допустить, чтобы музы молчали только потому, что говорят пушки. Мы уже получаем письма, много писем. Воины ждут нашей музыки, понимают, ждут; и о чем они подумают, если однажды не услышат ее...

Военком попросил подготовить список мобилизованных музыкантов. Голованов сказал, что список готов.

Истекал 1941-й. Жестокие морозы и горячие, отчаянные сражения под Москвой, первый мощный удар Красной Армии, остановивший вражеский натиск, повернувший неприятеля вспять. Москву отстояли!

В бюграфию Большого симфонического оркестра вошли два значительных события. Всего лишь месяц тому назад собрался на первую репетицию в новом составе БСО, а уже в декабре 1941 года в скованном холодом Большом зале Московской консерватории состоялся памятный открытый симфонический концерт, организованный Всесоюзным радио.

Концерт начался в 17 часов. Было совсем темно. Большой зал консерватории заполнили фронтовики, находившиеся в Москве на побывке. Среди солистов были Н. А. Обухова, Е. К. Катульская, С. Я. Лемешев, С. И. Мигай, А. И. Орфенов. Дирижировал Н. С. Голованов.

Вслед за открывшим вечер полонезом из «Ивана Сусанина» Глинки объявили выступление Обуховой. Надежда Андреевна была в строгом темном платье, оживленная, очень волновалась... Артистка пела сочинения Римского-Корсакова — романс «Свитезана» и арию Кашеевны из оперы «Кашей Бессмертной». Особенно сильно прозвучал призывный клич Кашеевны «Меч мой заветный, мой друг дорогой». Хотя сказочный образ не ассоциировался с переживаемым моментом, приподнято-героическое звучание арии нашло живой отклик в аудитории. Обухову восторженно приветствовали. Она повторила вторую часть арии...

Так декабрьским концертом начался «необъявленный» симфонический сезон 1941/42 года в прифронтовой Москве.

А через месяц — первый с начала войны открытый концерт БСО, уже в Колонном зале Дома союзов. И снова звучала русская музыка, классика. Звучала Шестая, «Патетическая» Чайковского... Концерт украсило выступление замечательной певицы, солистки радио Н. П. Рождественской.



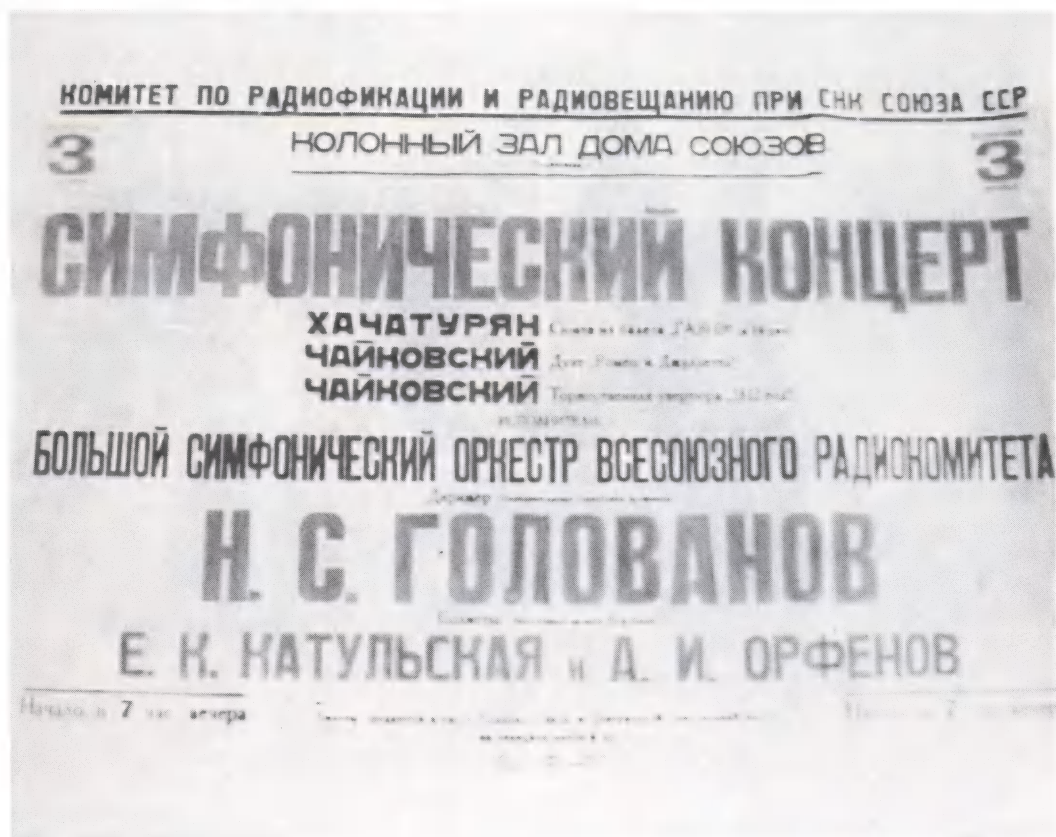
Н. С. Голованов и А. В. Нежданова.

Наталья Петровна Рождественская вспоминает:

— Откуда брались в ту зимнюю пору силы, чтобы приходить на работу и петь? Холод, недоедание, а попросту говоря, голод, тяжелые, тягучие мысли бессонных ночей, тревожное ожидание писем. А ведь поется — голос звенит и не меркнет. Странно и непонятно, какое-то чудо. Стоишь у микрофона, одной рукой держишь ноты, другой держишься за спинку стула, чтобы не упасть. Рядом рефлексор. Из него берешь дыхание, а выпускаешь столб пара. Звучит голос... Домой бредешь, поднимаешься на свой этаж, как альпинист на семитысячную вершину (жила я тогда на 3-й Миусской в доме композиторов); сначала ключ достанешь — отдыхаешь, потом вставляешь его в замочную скважину — отдыхаешь, потом поворачиваешь... И все думаешь, все твердишь про себя: «Смилуйся, господи, дай силы не потерять сознание...» За пазухой — кусок хлеба, крошки от печенья. «Держись, Наталья, думай только о сыне, упадешь — кто пошлет ему в Горький хлеб, держись». А в голове колотятся преступные мысли, искуситель в тебе, сатана: «Откуси хлебушка-то, вот

и силы, вот и не упадешь...» Но ничего, обходится, идешь на завтра в радиостудию, репетируешь и волнуешься, забываешь все на свете, стараешься что есть силы, особенно когда рядом строгий и очень справедливый Николай Семенович Голованов, когда на репетиции добрейшая Антонина Васильевна Нежданова, которая и посоветует, и покажет своим волшебным голосом, как нужно спеть. Но сил хватало не только на выступления в студиях радио. В начале сорок второго года мне довелось принять участие в первом открытом симфоническом концерте в Колонном зале. У меня сохранилась неказистая любительская фотография, как раз запечатлевшая это событие. В кадре — концертная эстрада, видно часть музыкантов, на высоком постаменте Н. С. Голованов во фраке, около него я, на мне белое — оно мне очень нравилось — платье. Опыренная музыкой, пою сердечное ариозо Настаси (по прозвищу Кума) из «Чародейки» Чайковского...

В зале красноармейцы. Слушают серьезно, «вежливо», внимательно. Уже подобревшие, оттаявшие лица. Сидят в шинелях (очень холодно), в руках винтовки. Белесый клубящийся пар



Афиша концерта БСО. 3 октября 1943 г.

дыхания. А на улице в это время колючая, ледяная душа метель, о которой и сейчас нельзя вспоминать без содрогания. Афиши, оповещавшие о концерте, по всему городу. А это уже что-то значит — факт исторический, показательный: Москва сняла напряжение, вздохнула, позволила себе «отвлечься», «полакомиться» искусством. А война ведь только-только разгоралась. Шел февраль 1942 года. Открытые концерты в Москве с тех пор не прекращались.

В Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР) хранятся «обложки» программ музыкальных радиопередач военной поры. Предзимье 1941 года, зима 1941/42 года... Скупые строчки: название передачи из рубрики «Слушай, фронт!» (в начале войны чаще всего это были концерты без литературного текста, иногда с небольшим комментарием об авторе, характере сочинения и т.д. Музыкально-литературные композиции, очерки, авторские концерты-отчеты появятся позже), название произведений, исполнителей, подпись редактора... Все-таки удивительно разно-

образным был репертуар Большого симфонического в ту пору. Перелистаем несколько программных листков из так называемых «микрофонных папок» и отметим те произведения, которыми дирижировали Н. С. Голованов и его коллега А. М. Ковалев. «Камаринская» Глинки, «Шехеразада», Прелюдия-кантата «Из Гомера» (солисты Н. Шпиллер, М. Максакова, В. Златогорова), «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, «Картинки с выставки» Мусоргского (в инструментовке М. Равеля), «Реквием» Моцарта (Голованов развернулся здесь и как выдающийся хормейстер), кантата «Москва» и Шестая симфония Чайковского (очень головановское прочтение этой гениальной симфонической исповеди), оратория «Минин и Пожарский» Дехтерева (другое ее название — «Освобождение Москвы»), Вторая, Третья симфонии, «Поэма экстаза» Скрябина (Скрябин — «абсолютно головановский композитор» — по темпераменту, по общности решения главной идеи: экстатически, по-волево утверждать в искусстве сильную, романтически возвышенную личность, героика, мужественный пафос), кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» (торжественная припод-

нятность тона, единое дыхание хора и оркестра, ясность в представлении обобщенного образа сочинения; это исполнение — одна из вершин искусства Голованова), «Классическая симфония» Прокофьева, симфония Мясковского, балетная сюита «Гаянэ» Хачатуряна, «экстренные» премьеры — «Приветственного марша» Иванова-Радкевича, увертюры Гедике «1941 год»; сочинения Шебалина, Глиэра, Хренникова, Кабалевского, Книппера, Ковалья... Еще радиопреьера — запись оперы Рахманинова «Франческа да Римини» (работы довоенной с участием Н. Рождественской — Франческа, Д. Тархова — Паоло, А. Королева — Ланчотто)... Названия произведений Рахманинова встречаются все чаще. Симфоническая поэма для оркестра «Остров мертвых» (в экспрессионистскую сумрачность ее Голованов привносит величественность звучания), поэма «Колокола», «Три русские песни» для хора и оркестра (в свое время дирижер был первым в нашей стране их исполнителем). Еще два выдающихся произведения Рахманинова, которым дал жизнь в нашей стране именно Голованов: Третья симфония (как полагают, автобиографическая) и Симфонические танцы (последнее произведение композитора, созданное в 1940 году; самая, пожалуй, трагическая страница в творчестве Рахманинова — человека, по его же словам, «лишившегося Родины и потерявшего себя»). Голованов мучительно долго работал над этим произведением: прежде нужно было разгадать его, «испытать до дна» и только потом выпускать «в люди». Музыкальная речь рахманиновских «танцев» была неожиданно трудной. Дирижера захватила лебединая песнь Рахманинова, он сравнивал ее с исповедью русской души, называл произведением, вобравшим в себя всю глубину человеческого духа)...

Конец марта 1943 года. Раннее утро. Репетиция оркестра в Большом зале консерватории. Николай Семенович сидит за пультом, низко опустив голову. Оркестр в сборе. Все на своих местах. Тихо. Напряженная тишина: что-то случилось?

Дирижер смотрит на часы. Лицо бледное, усталое, глаза воспаленные. Поднимается. Говорит сдавленным голосом:

— До нас дошло печальное известие... Умер Сергей Васильевич Рахманинов... Прошу почтить его память вставанием...

Долго длилось молчание.

Возможно, в эти горестные минуты память дирижера возвращала образ живого Рахманинова. Возвращала их встречи на русской земле. Первую, последнюю...

Голованов у пульта. Надо начинать работу. Но трудно сразу, все еще держит слушавшееся.

— Такая судьба... Печальная участь умереть на чужбине, так и не успев возвратиться в родную стаю. «...Слышишь, сани мчатся в ряд, мчатся в ряд! Колокольчики звенят. Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят, этим пеньем и гуденьем о забыньи говорят. О, как звонко, звонко, звонко...» — Голованов перевел дыхание, еще ниже склонил голову и глухо, медленно, монотонно дочитал поэму до конца. Потом, неспешно оглядев музыкантов потерянным взглядом, тихо произнес: — Рахманинов любил «Колокола» Эдгара По... Это драматичнейшее повествование о человеческой доле. — И добавил уже в полную силу голоса: — Рахманиновская музыка станет много счастливей его судьбы. Она обессмертит его имя... Сегодня мы будем играть только Рахманинова. Хочу предложить вам начать с Третьей симфонии. И пожалуйста, как можно мужественней...

Октябрь 1941-го. Октябрь 1943-го. Ровно два года. Самая трудная пора Великой Отечественной войны. Время отчаянных битв, тревоги и надежд. Большой симфонический оркестр, возглавляемый Н. С. Головановым, с честью исполнил свой художнический и гражданский долг: изо дня в день от имени Москвы он высоким голосом искусства поддерживал и укреплял веру советского народа в неизбежную победу над фашизмом.

Самое трудное осталось позади...

В 1943 году возвратилась в Москву свердловская группа оркестра, и 3 октября в Колонном зале Дома союзов состоялся концерт Большого симфонического оркестра радио уже в полном, «собственном», так сказать, составе. У дирижерского пульта стоял Николай Семенович Голованов. В этот день с новой силой грянула уже ставшая знаменитой Торжественная увертюра П. И. Чайковского «1812 год» — монументальный памятник нестигаемости русского духа.



Мгновения легендарной жизни

(Фоторассказ о Юрии Гагарине)

В 1961 году в Лондоне на одной из встреч Юрий Алексеевич Гагарин произнес знаменательные слова:

— Фантасты обычно изображают космонавтов некими сверхчеловеками, неземными героями. Я обыкновенный человек, и если я стал известным, то почему я должен измениться? У нас в СССР таких известных людей много. Звезда Героя, которую я получил, имеет номер 11 175. Это значит, что до меня было 11 174 человека, совершивших подвиги.

Перед нами — мгновения легендарной жизни Юрия Гагарина. Отсчет им начат незадолго перед стартом и после завершения самого потрясающего путешествия века. В этой фотопозиции использованы как широко известные снимки, так и публикуемые впервые (а таких — большинство), но все они принадлежат одному фотокорреспонденту — И. А. Снегиреву. Комментарии В. Привалова.

1. 11 апреля 1961 года люди Земли еще ничего не знали об этом скромном старшем лейтенанте. Ученый мир был еще полон сомнений: сможет ли человек жить и работать в загадочной невесомости. И мало кто вообще мог вообразить себе, что ЗАВТРА этот улыбающийся офицер Военно-Воздушных Сил первым преодолеет устрашающую, громадную силу земного тяготения. Но в его чуть застенчивой, тихой улыбке нам, очевидцам и участникам космических свершений, уже виден свет великой победы... Юрий Алексеевич Гагарин только что выступил на стартовой площадке у ракеты на митинге перед теми, кто готовил полет, кто будет провожать его до выхода на орбиту. Он еще стоит на Земле, а мыслями, кажется, весь уже там — за ее пределами.



2. История — не всегда парад. На этом снимке — одна из вынужденных пауз в космической эпопее. Прямо по курсу — космодром. Но пассажиры на борту Ил-14 внешне никак не выказывают своего волнения: сегодня только 2 апреля 1961 года. Кажется, все уже сделано. Готова техника, готовы люди. И все же главное раздумье — впереди. Кто полетит?

Летчик Юрий Алексеевич Гагарин (в центре) вместе с товарищами «болеет» за командира — одного из руководителей подготовки космонавтов, Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Николая Петровича Каманина.

3. На минуту в неприветливой байконурской степи выглянуло солнце и осветило Главного конструктора — создателя самой грандиозной в мире ракеты шестидесятых годов с космическим кораблем «Восток». Для Сергея Павловича Королева 8 апреля 1961 года — большой день. Вместе с Николаем Петровичем Каманиным и Мстиславом Всеволодовичем Келдышем он подписал задание космонавту на один виток вокруг Земли. Сейчас, кажется, в пору спросить



у Сергея Павловича: чего больше бывает у конструктора — радостей или волнений? Впрочем, вопрос излишен. Пройдет еще три дня, и за сутки до старта сосредоточенно-сдержанный

«железный» СП откровенно признается Каманину, как он переживает за Гагарина:

— Ведь я его знаю давно. Привык. Он мне как сын.



4. Ровно через сутки двадцать миллионов лошадиных сил, запряженных в эту самую фантастическую машину середины нашего столетия,

поднимут Гагарина выше всех когда-либо летавших пилотов, и он прикоснется к звездам. А пока ракете — суточная готовность.

5—6. До старта 2 часа 17 минут. В монтажно-испытательном корпусе Юрий Алексеевич Гагарин и его дублер Герман Степанович Титов облачаются в космические доспехи. Надет скафандр, застегнуты все «молнии», защелкнуты все застежки, и все же чего-то не хватает... ▷

Начальник Центра подготовки космонавтов Евгений Анатольевич Карпов берет в руки кисточку и баночку с краской. Выводит на гермошлеме Гагарина заглавные буквы: СССР. Вот теперь можно лететь!





7. Через 15 минут после посадки. У Гагарина странное, осунувшееся лицо. Позади перегрузки, впервые испытанное человеком длительное ощущение невесомости... От гагаринских глаз трудно оторваться. Они видели еще никем не виданное, охватили всю Землю разом, почувствовав всю ее малость и всю красоту.



8. Первый вальс на Земле после разлуки с любимой, дорогой Валей.

9. Случайная встреча в пути. Трое школьников из Подмосквья поначалу никак не могли признать, что перед ними настоящий Гагарин. Только потрогав Юрия Алексеевича, они поверили, что нечаянная встреча происходит не во сне, а наяву. Освоившись, они засыпали первого космонавта вопросами: когда полетит следующий звездолетчик, есть ли у космического корабля крылья и какое мороженое любит Гагарин — сливочное или фруктовое...

10. Неярка, неброска красота полевых цветов, но Гагарину она дороже самых изысканных и благоуханных ботанических чудес. Потому что цветы эти — от земляков, цветы детства, цветы милой русской Родины.

19 июня 1961 года. Совхоз «Пречистое». Это первая встреча с земляками после легендарного витка вокруг Земли.





11. Среди родных и близких в Гжатске.





12. Родители научили его всему, что потом так поразило мир, — сметке, терпению, щедрости, сердечности и мужеству. Эта встреча — самая радостная из всех. Нежно приобнял Юра свою дорогую маму — Анну Тимофеевну и отца — Алексея Ивановича. 17 июня 1961 года. Гжатск.

13. Гагарин читает односельчанам «Правду». В этом номере опубликовано сообщение о наградах советским ученым, конструкторам, инженерам, техникам и рабочим — покорителям космоса. Шесть тысяч девятьсот двадцать четыре человека, ряд НИИ, заводов и КБ были награждены орденами и медалями Советского Союза. Читая этот номер, Юра еще не знал, что вместе с другими отмечен и самоотверженный труд лаборантки Центра подготовки космонавтов Валентины Гагариной.



14. Это воскресное утро в доме Гагариных началось с тихой паники. Юрий исчез! Два часа разыскивали его и вот — обнаружили!



15.— Как в детстве побывал! — говорит Гагарин, передавая улов на берег.



16. И в космосе, и в водной стихии — первый! Три брата: Юрий, Валентин и Борис — совершают заплыв по речке Гжатке. Рыбалка, свежие пироги, которыми его потчевали, возможность походить босиком по траве, посидеть у костра — это было настоящим счастьем.



17. Куда бы ни приглашали Юрия Алексеевича, его приезд сразу становился праздником для всех. Но сам космонавт очень рассудительно и спокойно относился к своей головокружительной славе. Вот он сходит по трапу самолета, вернувшись из Калуги в Звездный. Такой, как всегда: собранный, готовый приступить к повседневным обязанностям.

18. 13 июня 1961 года. А на родине Циолковского, куда он приехал вскоре после полета, яблоку было упасть негде — все хотели видеть и слышать пионера космоса. Юрия Алексеевича глубоко тронуло, когда его вместе с К. Э. Циолковским калужане назвали почетным гражданином города.

19. 29 июня 1961 года. Юрий Гагарин вместе с корреспондентом «Правды» Павлом Барашевым отправляется в страну тысячи озер — дружественную Финляндию, чтобы принять участие в ежегодном летнем празднике общества «Финляндия — СССР». В этом поезде Гагарин встретился с премьер-министром Демократической Республики Вьетнам Фам Вам Донгом.





20. XV съезд ВЛКСМ. Юрия Алексеевича Гагарина избирают членом Центрального Комитета ВЛКСМ. Позже он скажет: «Эти дополнительные обязанности не приносят мне неприятностей. Наоборот, я люблю работу с молодежью, работу с комсомольцами, она доставляет мне большое удовольствие».

21. Гагаринское самообладание поразительно. Где бы он ни был, куда бы ни торопился, его моментально окружали любители автографов. И Юрий Алексеевич, не желая обидеть людей, пишет, пишет, пишет... Иногда его выручала Валя. Делала это она очень просто: брала за руку и...

△

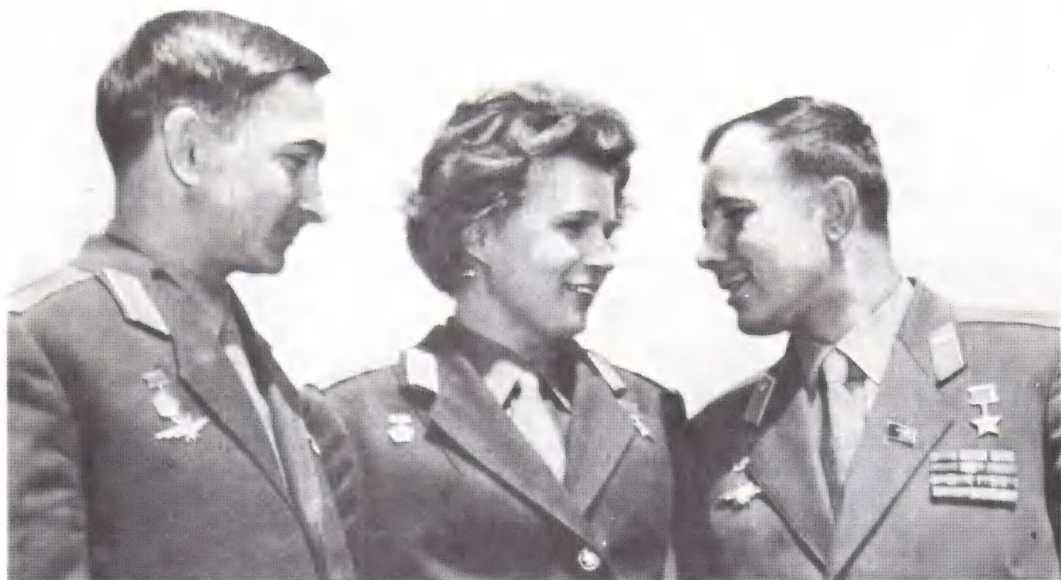
22. Только что Ю. А. Гагарин передал съезду подарок молодежи Москвы и Московской области — модель планеты Луна с лунником на ее поверхности.





Среди делегатов XV съезда ВЛКСМ в Кремле.





23. «Королевой вселенной» назвали нашу «Чайку» после полета. Но она была прежней Вале́й Терешковой — милой и скромной женщиной. Валя среди звездных братьев — Валерия Быковского и Юрия Гагарина. 1963 год.

24. Побратимы. 1961 год. Гагарин и Николаев.

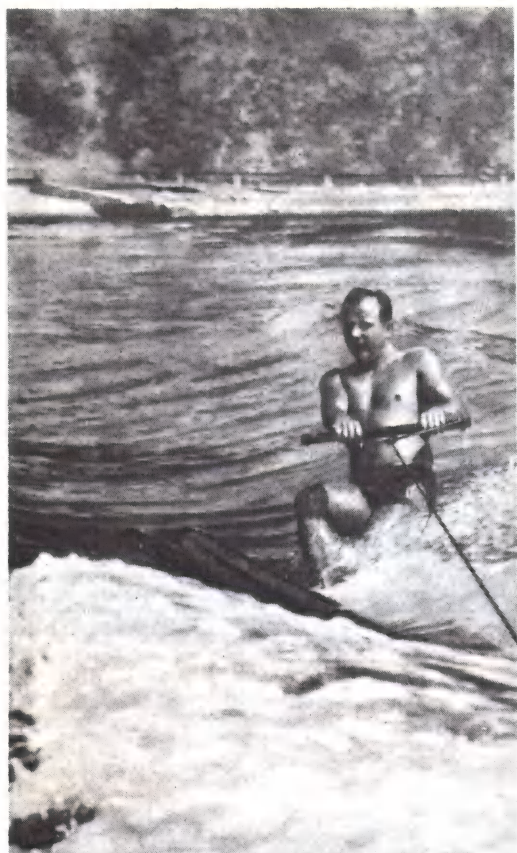




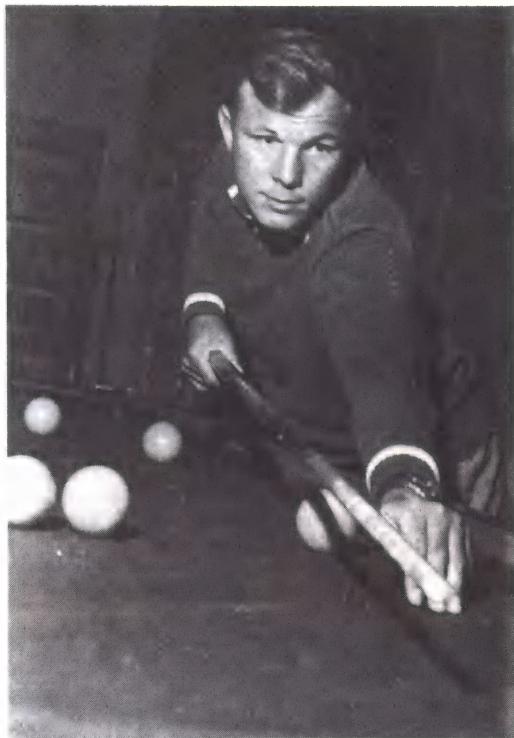
25. Сочи. Май 1961 года. Ученики и учителя. Справа от С. П. Королева — первый начальник Центра подготовки космонавтов Евгений Анатольевич Карпов и руководитель парашютной подготовки, заслуженный мастер спорта СССР Николай Константинович Никитин.

26. Командиры легендарных космических кораблей «Восток»: Ю. А. Гагарин, А. Г. Николаев, В. В. Терешкова, П. Р. Попович, В. Ф. Быковский, Г. С. Титов. Звездный городок. 1964 год.





27. Он летал по волнам, как на парусах. Физическую культуру Гагарин уважал всегда. В его арсенале двадцать видов спорта. Здесь и баскетбол, и теннис, и прыжки с парашютом, и легкая атлетика, и многие другие. Заинтересовали Гагарина водные лыжи. Он стал председателем Федерации воднолыжного спорта СССР.





28. Точная координация движений, развитие глазомера — вот чем привлекал Гагарина бильярд (снимок сделан после полета в космос).

29. «Наши» — это космонавты. Встреча с шефами — ЦК ВЛКСМ — закончилась — увы! — не вничью.

30. Космонавты еще не знали, кто полетит первым, кто вторым, кто третьим, но тренировались, работали с полным самозабвением и отдачей. Парашютная подготовка стала способом проверить силу духа, приобщиться к неведомому. Сурдокамера, центрифуга, барокамера, тренировочные стенды — работы было, что называется, сверх головы.



31. Пройдя через все прежде неведомые человечеству преграды, испытав все тяготы первого полета, он рвался в космос. «Космонавтика — моя профессия, и я выбрал ее не для того, чтобы выполнить первый полет и потом уйти...» — признавался он.

32. Никто не мог так обстоятельно помочь товарищу, как Гагарин. Совершенное знание навигационного оборудования, радиоэлектронных приборов, другой техники, опыт полета — все это создало ему непререкаемый авторитет наставника и командира. Полковник Ю. А. Гагарин готовит в полет Б. В. Волынова.





33. «...Лицо у него всюду счастливое. Этим он и приметен» — так сказала мать великого космонавта о своем сыне.

34. Академик Сергей Павлович Королев — Главный конструктор ракетно-космических систем, создатель легендарного «Востока», человек, имя которого стало известно людям гораздо позже, чем его великое дело.

35. Байконур. Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Ю. А. Гагарин проводит тренировочный выход в скафандрах Алексея Архиповича Леонова и Павла Ивановича Беляева. Экипаж «Восхода» готовится основательно: впервые человек выйдет в открытый космос.

36. Ю. А. Гагарин в самолете застегивает ремни перед очередным тренировочным полетом. Он говорил: «Тропинка в космосе все еще узка, и по обе стороны от нее — бездна. Надо расширять и удлинять этот путь, но для этого требуется время и труд. Много труда».





37. Эта фотография обошла прессу всего мира. С. П. Королев и Ю. А. Гагарин. Им было о чем побеседовать в те майские дни 1961 года в Сочи в перерыве перед вторым полетом. К каждому из них очень приложима крылатая фраза Амундсена: «Удовлетворение — это понятие, с которым я незнаком». Пилотируемые полеты начались! Нельзя ничего упустить из того, что может пригодиться на орбите для рекомендаций будущим экипажам.



38. Митинг после возвращения «Востока-3» (командир А. Г. Николаев) и «Востока-4» (командир П. Р. Попович). Их судьбы чем-то напоминали его собственную. Павел Романович, например, в свое время окончил ремесленное училище и индустриальный техникум. Подарив Андрияну Григорьевичу свою книгу «Дорога в космос», Гагарин надписал ее: «...всегда возвращаясь на Землю живым и невредимым. Ведь ни одна планета не ждет нас так, как эта, планета дорогая, по имени Земля».



39. Они еще не знали, что такое бремя славы. И вот она обрушилась на них. По шутливому предложению С. П. Королева Юрию Алексеевичу «skonструировали» повязку. Но и эта маскировка выручила только на один день. Улыбку Гагарина знал уже весь мир.

40. Он уверенно брался за починку лодочного мотора и сложного космического прибора. Любил найти, понять душу механизма и исправить поломку собственными руками. Этот мотор доставил Гагарину немало неприятностей,



41. Титов и Гагарин. В гости к морякам Черноморского флота.



42. У моряков-подводников. Юрий Алексеевич Гагарин опускался в морские глубины, рассказывал о трудовых буднях отряда космонавтов. А личный состав подлодки продемонстрировал космонавту свою боевую выучку.



заглохнув в море далеко от берега, когда вовсе начал разыгрываться шторм. О том, как пришлось поработать веслами в единоборстве с морской стихией, свидетельствует повязка на руке.



43. Его часто можно было видеть среди рабочих. Он выступал по заданиям Центрального Комитета комсомола как его полномочный представитель. Но это не Красноярск и не Дивногорск, где Юрий Алексеевич побывал в 1963 году. Это строящийся Звездный. Год 1961-й.



44. Крым. Форос. Море. Солнце. Гагарин и — почти в невесомости — Галочка. 1961 год. ▷

45. Каждое утро — зарядка. Дочери часто и с удовольствием бегают с папой. Затем — душ и завтрак с «профессором» и «чижиком». Гагарин с дочерьми — Леной и Галей.





46. Так выглядит сегодня Центр подготовки космонавтов, носящий имя Юрия Алексеевича Гагарина, продолжающий великое дело, начатое первооткрывателем космоса.

47. Юрий Гагарин в строю слушателей Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Навеки остался он правофланговым в замечательном ряду героев космоса.



Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внял
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки»⁴.

Справочник Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» помогает нам установить, что встречи Александра Тургенева с Пушкиным «возобновляются лишь по приезду Тургенева в Россию в 1831-м. В дек. 1831-го (с 7 по 24) они систематически встречаются в Москве...»⁵.

Таким образом, Пушкин читает X главу более чем через год после ее сожжения. Все это свидетельствует о том, что поэт помнил главу наизусть. Предположение Б. В. Томашевского, что «какие-то копии этой главы оставались у Пушкина после 1830 года»⁶, представляется нам поэтому маловероятным. Но очевидно, что и в том случае, если Пушкин не имел списков и читал главу по памяти, то она запоминалась слушателями и могла быть записана ими. Однако резко политический характер главы, единодушно отмечаемый современниками (приведем еще запись из воспоминаний М. В. Юзефовича, встречавшегося с Пушкиным летом 1829 года: «Он (Пушкин. — Л. Т., В. Ч.) объяснил нам довольно подробно все, что входило в первоначальный его замысел, по которому, между прочим, Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов»⁷), и особенности николаевской эпохи создавали опасность для ее хранителей*.

На письмо А. Тургенева 1832 года обрываются все следы X главы, и она уходит из нашего поля зрения более чем на 70 лет, вплоть до 1906 года, когда в IV выпуске издания «Пушкин и его современники» было опубликовано сообщение: «В 1904 году рукописное отделение библиотеки Академии наук обогатилось ценнейшим собранием автографов Пушкина, принесенным в дар Академии вдовой покойного Леонида Николаевича Майкова Александрой Алексеевной Майковой»⁸. И далее в описании

автографов стихотворений Пушкина (описано В. И. Срезневским) под номерами 37д и 57 были названы рукописи, возвращающие нас к X главе «Евгения Онегина».

37д — «Наброски из путешествия Онегина. Листок сероватой бумаги с клеем 1823 г. Среди текста красная цифра 55»¹⁰.

57 — «Нечаянно пригретый славой...» и «Плешивый щеголь, враг труда...» (1830?). В четвертку, 2 л. (1 л. перегнутый пополам). На бумаге клеймо 1829 г. Красные цифры: 66, 67. Текст писан с внутренней стороны сложного листа. Поправок почти нет; писано наскоро, многие слова недописаны, собственные имена обозначены буквами»¹¹.

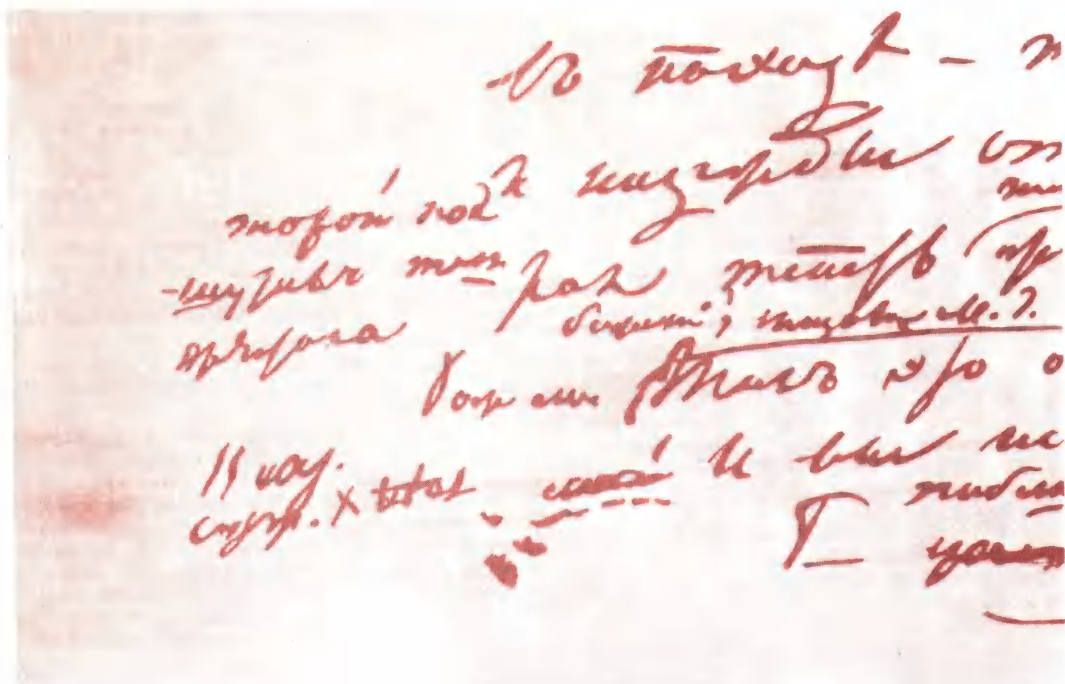
Однако связь этих рукописей с X главой была установлена пушкинистами не сразу. Через четыре года, в 1910 году, в XIII выпуске «Пушкина и его современников» П. О. Морозов опубликовал статью «Шифрованное стихотворение Пушкина», в которой проанализировал автограф Пушкина, описанный под номером 57, пришел к выводу, что это шифрованное стихотворение, и расшифровал его. Затем Морозов обратил внимание на то, что последние семь стихов расшифрованного текста продолжают онегинскими строфами рукописи, описанной В. И. Срезневским под номером 37 д как «Наброски из путешествия Онегина». Все это привело исследователя к следующему заключению: «...шифрованные отрывки также могут относиться к Путешествию Онегина, которого поэт приводил в круг декабристов. Но в таком случае в отрывках недостает уже очень многих стихов, так как составить из них «онегинские» строфы совершенно невозможно»¹².

Морозов справедливо предположил, что Пушкин, опасаясь, «как бы это новое его произведение не нашло себе нежелательных читателей», зашифровал его и что отсутствие в «автографе некоторых стихов, необходимых для уяснения смысла и дополнения рифм, объясняется, по всей вероятности, тем, что все стихотворение не поместилось на одном листе и часть его была переписана на другом, до нас, к сожалению, не дошедшем»¹³.

Впервые принадлежность расшифрованных и исследованных Морозовым стихов к X главе «Евгения Онегина» была установлена Н. О. Лернером в 1915 году, в шестом томе сочинений Пушкина, где они и были напечатаны под названием «Из десятой (сожженной) главы «Евгения Онегина»¹⁴.

И наконец, С. М. Бонди в докладе на Пушкинском семинарии при Петроградском университете (доклад не был тогда напечатан, но на него ссылался М. Гофман в книге «Пропущенные строфы «Евгения Онегина» 1922 г.) убедительно доказал, что четверостишия, расшифрованные Морозовым, не следуют друг за другом как цельный текст, а каждое из них является только началом соответствующей онегинской строфы.

* С X главой, по-видимому, связаны и те фрагменты «Путешествия Онегина», в которых идет речь о военных поселениях и о которых П. А. Катенин сообщает в письме П. В. Анненкову: «Об осьмой главе Онегина слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению...»⁹.



Фрагмент страницы «Метели» с отметкой о сожжении X главы «Евгения Онегина».

2

Вперед, вперед, моя история!
Лицо нас новое зовет.

Дальнейшая история X главы приводит нас в Ленинград 1949 года в Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

26 ноября 1949 года главный библиограф библиотеки, кандидат исторических наук Даниил Натанович Альшиц, «отбирая для описания рукописи, относящиеся по происхождению или по содержанию к XVI веку (...), исследовал собрание Общества любителей древней письменности»¹⁵. Среди рукописных книг, принадлежавших кн. П. П. Вяземскому (основателю Общества любителей древней письменности, сыну П. А. Вяземского), между листов «Апостола» XVI века он обнаружил «какие-то листки». «Стихи, — записал тогда Д. Н. Альшиц. — Придется идти к своему рабочему месту и внимательно посмотреть. Может быть, читатель, возвращая рукопись в фонд, забыл вынуть вложенные в нее свои поэтические опыты. Не должно быть. При приеме от читателя рукопись просматривается с пересчетом листов. Посмотрим: рука XIX века. «Ты прав, читатель, что ж, не крою...» Незнакомые стихи, но строфа явно

пушкинская, онегинская. «Владыка слабый и лукавый...» Это уже что-то знакомое»¹⁶.

Так был найден текст, состоящий из 18 строф и 8 строчек, который внешне сохранял структуру онегинской строфы, включая в себя строки, найденные Морозовым.

Как специалист-источниковед, постоянно сталкивающийся в своей деятельности с различными апокрифами, подделками, Д. Н. Альшиц на протяжении десяти дней тщательно и придирчиво исследовал рукопись и выучил ее наизусть.

Он описал этот текст:

«Рукопись второй половины XIX века, стальным пером, на белой нелинованной бумаге. Водяных знаков нет, кроме горизонтальных параллельных полос на расстоянии 2:5 см одна от другой. Листки ординарные, in quarto числом 5 (пять). На каждой странице, в левом верхнем углу, тою же рукой, что и сам текст, проставлены №№ 1...10. Текст написан черными чернилами, мелким, разборчивым, но культурным, а не писарским почерком, по 2 строфы на странице. Перед каждой строфой № — римской цифрой — I—XIX. Заглавия нет. Пропусков и сокращений нет. На последней 10-й странице писавший, по ошибке, начал снова повторять уже написанные им на странице 9 строфы XVII и XVIII. Дописав вторично XVIII строфу до слов — «Славян бунтарская задруга», он спохватился в своей ошибке,

перечеркнул написанное двумя жирными диагоналями крест-накрест и, проставив цифру — XIX,— принялся за следующую строфу. XIX строфа уместилась до слов: «Онегин! — Пушкин! — Наконец!» Здесь список обрывается. Естественно, что продолжение следовало на листах 6+n, попавших в какое-то другое место. На странице 1 у правого края, на уровне строки: «Он долго корчил либерала» — нарисован теми же чернилами перечеркнутый по диагонали квадратик. Лист 5, судя по чернильному следу, со стороны страницы 10 проколот в виде подковки, видимо, пером, которое писало скорее всего в момент, когда листок был на весу. (Возможно, был поднят за уголок для просушки жирных линий перечеркивания)¹⁷.

Однако нам было не суждено ознакомиться с этой рукописью. 6 декабря 1949 года она была утрачена по причинам, не зависевшим от Д. Н. Альшица, и летом 1950 года текст ее был восстановлен им по памяти*. В 1955 году Д. Н. Альшиц предпринял ряд мер по розыску обнаруженных им в свое время листков с текстом X главы. Но они не были найдены. Сам Д. Н. Альшиц, сделавший ряд значительных разысканий в области своей непосредственной специальности — древнерусской истории, таких, как Список опричников, черновые наброски Иваном Грозным истории своего царствования и другие, вернулся к своей работе. Сегодня мы располагаем текстом, который был записан Д. Н. Альшицем в 1950 году. Обратимся к этому тексту:

I

Ты прав, читатель, что ж, не скрою —
Виновен, замышлял обман:
Не досказать судьбу героя
И кое-как прервать роман.
Но не суди поэта строго —
Причин на это очень много
И, если б в ряд их ставил ты,
Как раз бы кончил у Читы.
Продолжить я намерен все же;
Быть перед совестью в долгу,
Ей-богу, дольше не смогу —
Жизнь — клад, но истина дороже;
Она мне цензор и указ...
Итак, подвинем наш рассказ.

II

[Вл]адыка [слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда]**.
Вскочив на трон отца капрала,



А. С. Пушкин. Гравюра Н. И. Уткина с портрета О. А. Кипренского.

Он долго корчил либерала
И будто выполнить решил
Все, что Лагарп ему внушил.
Явил он действия отвагу:
В кругу интимнейших друзей
Свободомысленных князей
Чернил прожеками бумагу...
Но почему-то из царя
Не получилось бунтаря.

III

[Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра].
Немало перьев эта птица
Лишилась возле Австерлица,
И еле спас ее узор
Тильзита тягостный позор.
А нам царя военный гений
Оставил в память той поры
Новинки воинской муштры
Да стон военных поселений.
Под этот стон и ляжешь в гроб,
[Ты,— Александровский холоп!]

* Пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность Д. Н. Альшицу, предоставившему нам этот текст и ряд других материалов (переписку с Б. Томашевским и пр.), хранящихся в его архиве.

** В прямых скобках ранее известный текст.

IV

[Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?]
Нет слов, могуча сила божья
(Почти как сила бездорожья),
Зимой, и верно, выпал снег,
Барклай был опытный стратег...
Но всех причин на первом месте
Народ наш честный прочно встал,
И он недаром зароптал,
Прочтя в победном манифесте,
Что царь, не сняв с него узду,
Лишь посулил от бога мзду.

V

[Тут * — бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутились в Париже,
А русский царь главой царей].
Всеевропейское дворянство
Пустилось в пляс, порок и пьянство...
Наш царь скакал по городам,
Меняя лошадей и дам...
Аристократ распетушился,
Как будто вовсе не был он
Низвержен, поправ, оскорблен,
А так — невинности лишился —
Из крови встав, не стал умней,
А только сделался жирней.

VI

[И чем жирнее, тем тяжеле.
О русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле]
Так долго носишь гнет господ?
Зачем в военную годину,
Уже держа в руках дубину,
Ее ты рано опустил?
Иль ты забыл, иль ты простил,
Что не француз и не татарин,
Не швед, не немец, не поляк,
А только он твой главный враг —
Рабовладелец, русский барин?
Иль на авось по старине
Ты понадеялся вполне?

VII

[Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил].
«Авось» теперь на службе трону:
[Моря достались Альбиону] **,
А что за вычетом морей,
Авось подляжет под царей,
Мечтать об этом так отрадно...

Наш просвещенный новый царь
Всей сущи будет господарь
И с ней управится изрядно,
А нынче все и вкривь и вкось,
Но я... надеюсь на авось!

VIII

[Авось, аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь]
Тех, что в народе тайно славят,
[Авось дороги нам исправят],
Авось Российская печать
О правде сможет не молчать...
Авось поэт, служитель лиры,
Придворным сможет и не быть
И даже сможет не носить
Камер-лакейские мундиры...
Но я отвлекся от времен,
Когда был свержен Наполеон.

IX

[Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, Папою венчанный,
Исчезнувший как свет * зари],
Чинов британских сворой гадкой,
Он схвачен был бульдожьей хваткой
И похоронен был живьем
На душном острове своем.
[Измучен казнию покоя],
Он слушал моря грозный рев,
Подобно грохоту боев,
Ласкавший сердце боевое...
Он там угас, на много лет
Оставив в мире яркий след.

X

[Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Морей
Из Кишинева уж мигал],
И на самом Олимпе знати
В спесивой Англинской палате,
Ударил смелый звук речей:
Поэт сразился за ткачей.
Царя имея в роли шефа,
Явил крамолу Меттерних,
Но вопреки стараниям их,
[Кинжал Л]увеля, [тень В]абефа
И гильотины светлый нож
Не блекнут в памяти вельмож.

XI

[Я всех уйму с моим народом, —
Наш царь в конгрессе говорил]
И усмирительным походом,
Чуть руки в кровь не обагрил.
Союз монархов европейских
В своих надеждах полицейских

* В ранее известном тексте — «Но бог помог...»

** В ранее известном тексте — «Албиону» (так в рукописи).

* В ранее известном тексте — «тень».

Вст. сомнам и изгнати

Но кто оуми оуми оуми оуми

Убого 12 года

Но кто оуми оуми оуми оуми

Но кто оуми оуми оуми оуми

Ах, о Милосердье Милосердье

Ах, о Милосердье Милосердье

Сей оуми оуми, сей оуми оуми

Милосердье Милосердье

И кто оуми оуми оуми оуми

Милосердье Милосердье

С.О. оуми оуми

Умил оуми оуми оуми

Милосердье Милосердье

Этот оуми, оуми оуми

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Милосердье Милосердье

Чуть где подошвы припечет,
На наше войско клал расчет.
Свободным мыслям нет преграды,
Как прежде русские полки
На вид покорны и дики,
Исправно делают парады,
Но дух свобод исподтишка
Закрался в царские войска.

XII

[Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей],
На ужас пытки ежедневной
Ты вдруг ответил вспышкой гневной
И твой мучитель Шварц — сатрап,
Бежал как трус, как подлый раб.
Сам царь испуган был и взбешен:
— Ведь запоют, того смотри,
«Allons, enfants de la Patrie!».
Весь полк бы должен быть повешен!
Но будет шум... На первый раз —
Сибирь, шпицрутены, Кавказ.

XIII

[Россия присмирела снова,
И пуше царь пошел кутить,
Но искра пламени иного
Уже издавна, может быть],
Все большим жаром разгоралась...
Уж воедино собиралась,
Семья борцов, богатейрей,
Дерзнувших грянуть на царей.
Друзья, друзья... сердечной кровью
Я каждый слог о них пишу
И музу трепетно прошу —
Где не талантом, там любовью
Стихи возвысить на предел
Достойный их прекрасных дел.

XIV

[У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки]
Судили труд Карамзина:
В журчаньи фраз его грациозных
Ловили шум волнений грозных,
Восстаний клетот боевой
И гул свободы вечевой...
Немало было между ними
Героев минувшей войны —
Отчизны верные сыны —
Вот им достойнейшее имя,
Неувядаемый венец,
Победой кованых сердец.

XV

[Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи].
Явился Кюхля беспрестанно,
Каховский дулся как-то странно,

Одним желанием горя —
Своей рукой забить царя;
Пылал Рылеев ярче лавы —
Мой брат по песням, по борьбе,
А может быть, и по судьбе...
(Кто мне простит такие главы?)
Рылеев! — века славный сын,
Ворец, поэт и гражданин!

XVI

[Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И нерешительных пугал *.
Читал свои сатиры ** Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире зная, ***
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства проклиная, ****
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян].

XVII

[Так было над Невою льдистой,
Но там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли,
Дела иные уж пошли]:
Там закипал серьезный кризис —
Уже для будущих боев
Солдат готовил Муравьев,
Читая им свой катехизис,
[Там рать отважных набирал *****
Холоднокровный генерал];

XVIII

[Там Пестель] в стиле теоремы
Неотразимо развивал
Конституционные системы
И «Русской правдой» их назвал...
Там острый вкус — перчинка юга —
Славян бунтарская задруга —
Всему кипенью придала...
Там мысль упорная вела
К цареубийству подготовку,
Чтоб стаей пуганых скворцов
Вельмож рассыпать из дворцов,
Создать смятенья обстановку,
Чтоб развертеть восстания меч...
Чтоб искру пламенем возжечь!

* В ранее известном тексте — «И вдохновенно бормотал».

** В ранее известном тексте — «свою сатиру».

*** В ранее известном тексте — «видя».

**** В ранее известном тексте — «ненавдя».

***** В ранее известном тексте — «И рать набирал».

XIX

В тот год, читатель, снова в ссылке,
Зарытый в Псковские снега,
Метался, как сверчок в бутылке,
Опальный Пушкин — Ваш слуга.
Вдруг, радость! Нет, воображение!
С письмом от Пестеля к Никите
Ну кто б вы думали — гонец?
— Онегин! — Пушкин! — Наконец!

Ознакомившись с этим текстом, известные советские пушкинисты: Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Т. Г. Зенгер, Б. В. Томашевский, И. Л. Фейнберг — сочли его литературной подделкой* (в вышедшей в 1980 году книге Ю. М. Лотмана «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий» об этом тексте вообще не говорится).

Первым и наиболее убедительным в аргументации пушкинистов являлось указание на то, что строка «Уже держа в руках дубину», несомненно, восходит к известной фразе Л. Н. Толстого: «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественною силой» — тем самым определялось точное время подделки. Однако в этом рассуждении не хватало одного важного аргумента. Казалось бы, сначала необходимо было определить, что образа «мужика с дубиной» не было у Пушкина, и он впервые появился у Толстого. Такой проверки сделано не было. Между тем достаточно обратиться к «Истории Пугачева»: «В самом деле, положение дел было ужасно. Общее возмущение [...] Начальники оставляли свои места и бежали, завидя [...] заводского мужика с дубиною»¹⁸, чтобы убедиться в том, что образ мужика с дубиной принадлежит Пушкину. Более того, этот же образ мы встречаем у Пушкина в пропущенной главе «Капитанской дочке»: «В самом деле, я увидел рогатку и караванного с дубиною. Мужик подошел ко мне...

— А где ваши господа? — спросил я с сердечным замираньем...

— Господа-то наши где? — повторил мужик. — Господа наши в хлебном анбаре...

Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика, также с дубинами»¹⁹. В несколько другом контексте, в «Заметке о холере»: «Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку»²⁰. Как видим, образ мужика с дубиной появляется у Пушкина не раз, и, так сказать, с окраской агрессивности.

Таким образом, убедительность этого аргумента ни в коей мере не может считаться исчер-

пывающей. Перед нами либо совпадение текстов Пушкина и Толстого, либо реминисценция Толстого из Пушкина, которого, как известно, он очень внимательно изучал.

Несостоятельность этого аргумента заставляет более пристально взглянуть и на другие доказательства того, что перед нами подделка, поскольку он, несомненно, создавал известную психологическую пристрастность в подходе к тексту, найденному Д. Н. Альшицем.

Аргументы были следующие. Б. В. Томашевский в замечаниях по поводу текста (архив Д. Н. Альшица) считал, что строчка «Тут Луин дерзко предлагал» является позднейшей поправкой Пушкина. На самом деле эта строка находится в тексте, расшифрованном П. О. Морозовым в 1910 году²¹, и без всяких сомнений принадлежит самому Пушкину*.

Вслед за тем Б. В. Томашевский указывал, что ряд строк не мог принадлежать Пушкину по причине их слабости. На этом следует остановиться подробнее:

Чтоб развертеть восстанья меч...

И пуше царь пошел кутить...

Всей суше будет господарь... **

Я всех уйму с моим народом...

Чинов британских сворой гадкой...

Из Кишинева уж мигал...

Чуть руки в кровь не обагрил.

Но бог помог — стал ропот ниже...

Строки эти, бесспорно, слабые. При этом нечетные строки взяты нами из гипотетической подделки, а четные — из текста X главы Пушкина, расшифрованного Морозовым. Другими словами, в той обстановке, в которой писалась X глава, появление слабых строк было просто неизбежно. Пушкин X главу сжег. Можно ли найти более убедительное доказательство того, что он относился к ней с очевидным опасением и не работал над этим текстом так же свободно и раскованно, как над другими. Например: из 270 строк вариантов «Анчара» в окончательный текст стихотворения Пушкин включил только 36 строк²². Ясное дело, что позволить себе создавать варианты таких строк X главы, как: «[Цареубийственный кинжал]» или: «[Плешивый щеголь, враг труда]», Пушкин не мог. Между тем особенностью творческого процесса Пушкина было то, что поэт иногда как бы «обтекал» строки, которые не находил сразу, а потом возвращался к ним.

Простейший пример. Кто из нас счел бы пушкинской строку: «Анчар, феномен роковой» и даже ее улучшенный вариант: «Анчар—

* В 1956 году в XXVII выпуске «Ученых записок Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина» профессор И. В. Гуторов опубликовал фальсифицированный текст X главы, вносящий в текст, найденный Д. Н. Альшицем, грубые искажения. Этот текст мы не рассматриваем. О нем убедительно написал Д. Д. Благой в статье «О казусах и ляпсухах» («Новый мир», 1957, № 2, с. 256—260).

* Отмечено Д. Н. Альшицем. В дальнейшем аргументы Д. Н. Альшица будут обозначаться буквой (А).

** Следует, однако, иметь в виду, что слово «господарь» употреблялось в русском языке не только как титул правителя Молдовы и Валахии, но и в более широком смысле: господин, хозяин, владетель, государь (титул правителя, царя). См.: Словарь русского языка XI—XVII вв., вып. 4. М., 1977, с. 100.

кустарник роковой»²³. Однако эта строка, бесспорно, принадлежит Пушкину и в окончательном тексте звучит: «Анчар, как грозный часовой»²⁴. Еще один пример: «Как лань лесная молчалива»²⁵. Не предполагал же Пушкин оставить в ЕО говорящую лань. И действительно, в окончательном тексте мы читаем: «Как лань лесная боязлива»²⁶. Таких примеров в черновиках Пушкина можно найти очень много. Они его совершенно не беспокоили; он знал, что позднее найдет точную формулировку. Х же глава, как мы смело можем сказать, писалась, во-первых, без возможности такой ее доработки, а во-вторых, она создавалась в обстановке, которой он не знал ни одно стихотворение Пушкина.

Следующим аргументом пушкинистов было наличие в тексте чуждых, по их мнению, Пушкину оборотов. Б. В. Томашевский считал, что выражение «корчил либерала» явно не пушкинское. Однако у Пушкина мы встречаем в ЕО строчку: «Иль корчит так же чудака»²⁷, а в «Романе в письмах» фразу: «...я не корчу английского лорда»²⁸. Денис Давыдов использует выражение «корчит либерала» в «Современной песне»:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала (1836 г.)²⁹.

Б. В. Томашевский видит в стихе: «В журчаньи фраз его грацюзных» — невозможное для времени Пушкина употребление слова «грацюзный». К сожалению, как это ни поразительно, мы до сих пор не имеем полного «Словаря языка Пушкина», хотя пятый том этого словаря, содержащий более 1600 слов из пушкинских вариантов, не вошедших в четыре изданных тома, давно готов к печати в Институте русского языка! (Понять, почему он до сих пор не вышел в свет, совершенно невозможно.) Поэтому мы не можем определенно сказать, что Пушкин это слово не употреблял. Однако его употреблял А. К. Толстой в поэме «Портрет», написанной в 1872—1873 годах: «То молодой был женщины портрет, В грацюзной позе»³⁰.

Вообще замена «и» мягким знаком в такого рода словах широко практиковалась в русской поэзии вплоть до Блока: «Не видно молньи боевой»³¹. Сам Пушкин этим пользовался: *манью*³², *исторья*³³, *Мильонная*³⁴ (А), *Виргилья*³⁵. В журналах пушкинской поры мы встречаем написание: *Шамполион*³⁶ и *Шампольон*³⁷. Поэтому нет оснований вслед за Б. В. Томашевским зачислять строку: «Конституционные системы» — в непушкинские. У Е. Баратынского, например, в стихотворении «Дядьке-итальянцу» (1844 г.) мы встречаем строку: «Он звонкой пустотой революционных фраз»³⁸. Вызвавший возражение со стороны Б. В. Томашевского оборот «серьезный кризис» мог появиться и под пушкинским пером. Слово «кризис» Пушкин употреблял по-французски: «...dans une heure nous aurons la crise».

(«...через час мы ждем кризиса»)³⁹. В лексике Пушкина имеется и слово «серьезно»: «С моей стороны я отступился; возражать серьезно — не возможно»⁴⁰. «Серьезный» мы находим у Лермонтова в стихотворении «В альбом автору «Курдюковой»:

Угрюмых и серьезных
Фигур их не терплю (1840 г.)⁴¹.

Примеров употребления такого рода слов мы можем найти у Пушкина очень много. Но не будем забывать и о тех исправлениях, которые Пушкин бы внес в текст при окончательной обработке.

Строки: «Ей-богу, дольше не смогу» и «[Там Пестель] в стиле теоремы» — Б. В. Томашевский также считает не пушкинскими. Однако в черновиках ЕО мы находим строчку: «Да мало что ль еще смогу»⁴² (А). Что же касается слова «теорема», то, учитывая даже тот факт, что Пушкин не проявлял особого усердия к математике, трудно предположить, что он не знал этого слова, изучая математические науки в течение шести лет в Царскоевском лицее, где, как гласит «Отчет конференции Лицея», «чистая математика проходима была [...]»⁴³, постепенно до самых высших ее вычислений»⁴³, тогда как в известном в те годы «Курсе чистой математики» Е. Войтяховского, о котором, кстати, напоминает Пушкину один из корреспондентов⁴⁴, «теорема» — одно из наиболее употребительных понятий. Таким образом, аргументы, основанные на утверждении, что мы имеем дело с ошибками в языке мистификатора, несостоятельны.

Сомнительным оборотам «свободомысленных князей» или «своей рукой забить царя» гипотетической мистификатор из осторожности предпочел бы их привычное звучание «свободомыслящих», «убить». Однако, употребленные в исследуемом нами тексте в таком виде, они приобретают новые смысловые оттенки (например, слово «забить» в русском языке относится к забюю скотины (А), что применительно к царю звучало чрезвычайно резко и дает основание считать это слово принадлежащим Пушкину.

Кроме того, в ЕО мы найдем примеры такого же необычного словоупотребления: «Мой исправленный чудака»⁴⁵ и др.

Таким образом, под влиянием «дубины» против интересующего нас текста сделано очень много возражений. Однако не все они достаточно взвешены.

3

Как же мог появиться этот текст? Пушкин его сжег, и как автор списка отпадает. Но Пушкин его читал избранным лицам — это известно. Можно предположить, что среди них присутствовал и его брат Лев. Мемуаристы рассказывают, что Лев Пушкин обладал исключительной памятью и помнил буквально наизусть все стихи брата. Узнав о смерти Л. С. Пушкина,

Вяземский отметил в «Старой записной книжке»: «С ним, можно сказать, погребены многие стихотворения брата его неизданные, может быть, даже и не записанные, которые он один знал наизусть. Память его была та же типография, частью потаенная и контрабандная. В ней отпечатывалось все, что попадало в ящик ее. С ним сохранялись бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом...»⁴⁶ Конечно же, Лев Пушкин не мог не слышать X главу, и если ему и не пришла в голову мысль записать ее (что, вряд ли), то можно предположить, что избранным лицам по памяти X главу он читал (вполне возможно, заменяя от себя, как поэт, те стихи, которые забывал). В свою очередь, эти избранные лица могли запомнить и передавать X главу, постоянно внося в нее изменения в зависимости от памяти исполнителей.

Остановимся на одном аналогичном примере. Вспомним строки из лермонтовского «Демона»:

Скакун лихой, ты господина
Из боя вынес как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала!⁴⁷

Проверим их по Лермонтову. Да, они звучат так. Теперь приведем эти строки, использованные в качестве цитаты:

Скакун на волю господина
Из битвы вынес, как стрела,
Но злая пуля осетина
Его во мраке догнала.

Как видим при передаче строфа сильно изменилась. Однако кому принадлежит эта передача? А. Блоку в статье «О современном состоянии русского символизма»⁴⁸. Невольно заменив строки Лермонтова, он даже этого не заметил. Добавим, что замена эта, очевидно, прошла мимо внимания и такого авторитетного лермонтоведа, как Д. Е. Максимов, который в комментарии к V тому Собрания сочинений Блока (М.— Л., 1962) отметил только то, что эта цитата из «Демона»⁴⁹.

Всем известен пример В. Маяковского, который строку из ЕО: «Я знаю: век уж мой измечен» — читал: «Я знаю: жребий мой измечен»⁵⁰. Блоковская строка: «И ты увидишь: мир прекрасен» — передана К. Паустовским в «Золотой розе»: «И ты увидишь — жизнь прекрасна»⁵¹.

Совсем недавно в повести «Алмазный мой венец» В. Катаев даже откровенно оговорил свое право при цитировании стихов на соавторство с цитируемым автором, «считая, что это гораздо жизненнее, чем проверять их (стихов. — Л. Т., В. Ч.) точность по книгам (? — Л. Т., В. Ч.), хотя бы эти цитаты были неточны»⁵². Очевидно, сколь значительны могут быть изменения в тексте, отстоящем от нас на столько лет.

Конечно, у нас нет оснований для безогово-

рочного утверждения, что текст, найденный Д. Н. Альшицем, принадлежит Пушкину. Но скажем прямо, в нем есть такие строки, поддаться которым кажется невозможным:

А нам царя военный гений
Оставил в память той поры
Новинки воинской муштры
Да стон военных поселений.
Под этот стон и ляжешь в гроб,
[Ты, — Александровский холоп!]

А ведь в сохранившемся пушкинском тексте имеется только одна строка: «[Ты александровский холоп]».

К строке: «Измучен казнию покоя» мы находим продолжение:

[Измучен казнию покоя],
Он слушал моря грозный рев,
Подобно грохоту боев,
Ласкавший сердце боевое... —

которое по своей мощи не может не заставить вспомнить стих Пушкина.

Строфа:

[У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки]
Судили труд Карамзина —

только заканчивается новой строкой. Однако трудно представить себе, что строчку: «Судили труд Карамзина» — мистификатор подписал к пушкинскому трехстишию. Настолько она неожиданна, придает совершенно новый поворот всей строфе. Оставшиеся от Пушкина три стиха не дают мистификатору ни малейшего намека на такую строку. Кроме того, строка эта буквально пушкинская и по своей лексике (у Пушкина есть выражение «труды Карамзина»⁵³), и по очень редкому, у Пушкина буквально единичному, употреблению глагола «судить» в форме «судить что»: «И не судить сказанья строга»⁵⁴.

Остановимся подробнее на некоторых деталях исследуемого текста *. Прежде всего отметим характерные для Пушкина анафорические начала строк:

Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом

* Вопрос о знаках препинания для текста, записанного по памяти, особый. Мы не поднимаем его в нашей работе, ограничиваясь наблюдениями словесно-интонационного характера.

Через леса, через моря
Колдун несет богатыря...⁵⁵
(«Руслан и Людмила»).

В VIII главе «Евгения Онегина» в строках XXIV—XXVI:

Тут было несколько девиц,
Не улыбающихся лиц;
Тут был посланник, говоривший
О государственных делах;
Тут был в душистых сединах
Старик, по старому шутивший...⁵⁶

«тут» повторяется даже семь раз. В XVII—XVIII строках исследуемого текста обратим внимание на такие же анафорические строки, начинающиеся «там»:

[Там Пестель] в стиле теоремы
Неотразимо развивал
Конституционные системы
И «Русской правдой» их назвал...
Там острый вкус — перчинка юга —
Славян бунтарская задруга —
Всему кипенью придала...
Там мысль упорная вела
К царевубийству подготовку,—

в которых «там» повторяется шесть раз. Интонационно перед нами чрезвычайно близкие построения.

Если рассматривать текст, найденный Д. Н. Альшицем, не изолированно, а как продолжение «Евгения Онегина», то первая строфа его становится необходимой для органичного перехода от заключительных строф поэмы к следующей главе. Одна из последних строф ЕО:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости. Чего бы ты за мной
Здесь ни искал в строках небрежных,
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновения ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай бог, чтоб в этой книжке ты
Для развлечения, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок,
Хотя крупицу мог найти.
За сим расстанемся, прости!⁵⁷

А в первой строфе текста, найденного Д. Н. Альшицем:

Ты прав, читатель, что ж, не скрою —
Виновен, замышлял обман:
Не досказать судьбу героя
И кое-как прервать роман.
Но не суди поэта строго —
Причин на это очень много
И, если бы в ряд их ставил ты,
Как раз бы кончил у Читы.
Продолжить я намерен все же;

Быть перед совестью в долгу,
Ей-богу, дольше не смогу —
Жизнь — клад, но истина дороже;
Она мне цензор и указ...
Итак, подвием наш рассказ.

Добавим, что содержание первой строфы так же тесно связано со стихотворными набросками: «Ты хочешь, мой наперсник строгий», «Ты мне советуешь, Плетнев любезный», «Вы за «Онегина» советуете, други», «В мои осенние досуги», написанными в ответ на предложение Плетнева продолжить «Евгения Онегина». В одном из них: «Ты мне советуешь, Плетнев любезный», Пушкин пишет:

Ты говоришь: пока Онегин жив,
Дотоль роман не кончен — нет причины
Его прервать...⁵⁸

В первой строфе гипотетической подделки мы находим буквально ответ на эти строки:

Причин на это очень много
И, если б в ряд их ставил ты,
Как раз бы кончил у Читы.

Несомненно и глубокое лексическое единство этих стихотворений Пушкина с этой же первой строфой текста: *герой, рассказ, роман, клад* (правда, в ином значении), *прервать, причины, продолжать* (в нашем тексте — *продолжить*)⁵⁹.

Особого внимания заслуживает строка: «Но не суди поэта строго», близкая черновой строке ЕО: «И не судить сказанья строго»⁶⁰. Вспомним также пушкинские строки:

Не хочу судить я строго⁶¹.
Судей решительных и строгих...⁶²

Можно отметить и определенную перекличку первой строки этой же первой строфы: «Ты прав, читатель, что ж, не скрою» — со строкой из черновики ЕО:

Что-ж до сражений — то читатель
Прошу вас только подождать
Извольте далее читать
И не судить сказанья строго
Сраженья будут — не солгу
Да мало что ль еще смогу⁶³.

Мы найдем в ЕО обращение к критику, также начинающееся оборотом «Ты прав»: «Ты прав, и верно нам укажешь»⁶⁴.

Обращение к читателю, которое мы дважды встречаем в тексте: в первой строке первой строфы и в первой строке последней строфы: «В тот год, читатель, снова в ссылке», характерно для всего ЕО: «Вы согласитесь, мой читатель»⁶⁵, «Гм! Гм! Читатель благородный»⁶⁶, «Но что бы ни было, читатель»⁶⁷, «И вы, читатель благосклонный»⁶⁸, «Кто б ни был ты, о мой читатель»⁶⁹.

Апелляция к совести: «Быть перед совестью в долгу» — напоминает аналогичную апелля-

цию Онегина в разговоре с Татьяной: «Поверьте (совесть в том порукой)»⁷⁰.

Встречающиеся в тексте образцы необычного словоупотребления: «Итак, подвинем наш рассказ», «Стихи возвысить на предел» — соответствуют постоянному поиску Пушкиным новых выразительных средств: «Как он вперед меня подвинет»⁷¹, «Когда прибегнем мы под знамя»⁷², «И двинется ночная тень»⁷³.

В первой строфе исследуемого текста ЕО называется и романом и рассказом: «И кое-как прервать роман», «Итак, подвинем наш рассказ». Эти два названия существуют параллельно в самом ЕО: «А где, бишь, мой рассказ несвязный?»⁷⁴, «Мой напечатанный рассказ»⁷⁵, «В начале моего романа»⁷⁶, «И тем я начал мой роман»⁷⁷.

Глубоко органичен переход от второй строфы к третьей. Трудно предположить, что он явился не естественным развитием мысли автора, а вписан потом между четверостишиями:

[Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда].

и:

[Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра].

Действительно, рассказ об Александре I, заключающийся афористической концовкой (одна из особенностей онегинской строфы, отмеченная Л. П. Гроссманом):

Но почему-то из царя
Не получилось бунтаря —

прямо вливается в строку: «[Его мы очень смирным знали]», естественно подчеркивая контраст «бунтаря» — «смирный».

Строки:

Немало перьев эта птица
Лишилась возле Австерлица —

многоплановы: «эта птица» — и герб Российской империи, и сам Александр I.

Строка: «Тильзита тугостный позор» — привлекает внимание словом «позор». Пушкин в стихотворении «Наполеон» также называет Тильзит и Аустерлиц «позором»: «Исчезни, краткий наш позор!»⁷⁸.

Третья строфа начинается пушкинским четверостишием:

[Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?]

Следующий сохранившийся отрывок — начало

четвертой строфы — дает недвусмысленный ответ на этот вопрос:

[Но бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутились в Париже,
А русский царь главой царей].

Таким образом, если бы текст между этими четверостишиями дописывался потом, мистификатор вряд ли придал бы строфе тот поворот, который она имеет в исследуемом тексте.

Неожиданное определение стратегических качеств Барклая: «Барклай был опытный стратег» — соответствует взгляду Пушкина на Барклая, высказанному в письме Н. И. Гречу: «Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства; но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения»⁷⁹.

Народ наш честный прочно встал,
И он недаром зароптал —

аналогичный оборот мы встречаем в пушкинских «Заметках по русской истории XVIII века»: «Производя слабый ропот в народе, призывшем уважать пороки своих властителей»⁸⁰.

Существенно также отметить повторение слова «ропот» в двух строках подряд: в конце четвертой строфы так называемой подделки: «И он недаром зароптал» — и в начале пятой, в расшифрованном Морозовым пушкинском тексте: «[Но бог помог — стал ропот ниже]».

Характеристика в пятой строфе европейской жизни после поражения Наполеона:

Всеевропейское дворянство
Пустилось в пляс, порок и пьянство... —

перекликается с черновой строкой из «Путешествия Онегина»:

Уж он Европу ненавидит
С ее политической сухой,
С ее развратной суетой⁸¹.

Против этих строк Пушкин написал: «в X песнь».

Возражения Б. В. Томашевского в адрес слова «всеевропейское», причислявшего его к непущинским, решаются, на наш взгляд, чисто орфографически. Слово это могло возникнуть в тексте, найденном Д. Н. Альшицем, в результате описки в словах «всё европейское».

Обратим внимание на то, что такие важные для содержания шестой строфы понятия, как «господа» («Так долго носились гнет господ»), «русский барин» («Рабовладелец, русский барин»), имеются в лексике ЕО:

Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры⁸².

Был настоящий русский барин⁸³

Подбор национальностей в строках:

Что не француз и не татарин,
Не швед, не немец, не поляк —

в русле творческих высказываний Пушкина:
француз — 1812 год, швед — «Полтава», та-
тарин, поляк:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин,—
И тут не вижу я стыда;

Беда, что ты Видок Фиглярин⁸⁴.

Строка: «Камер-лакейские мундиры» — в восьмой строфе, если предположить ее принадлежность Пушкину, как будто могла появиться не ранее декабря 1833 года, когда Пушкин стал камер-юнкером. Однако строка эта могла возникнуть и независимо от личного опыта поэта. Ироническое отношение к придворной службе поэта проявлялось у Пушкина и раньше. 14 августа 1831 года он пишет Вяземскому:

Любезный Вяземский, поэт и камергер...
(Василья Львовича узнал ли ты манер?
Так некогда письмо он начал камергеру,
Украшенну ключом за верность

и за веру).

Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!
На заднице твоей сияет тот же ключ.
Ура! хвала и честь поэту-камергеру.
Пожалуй, от меня поздравь

княгиню Веру⁸⁵.

Кроме того, ничто не мешало Пушкину впоследствии внести в текст 1830 года какие-либо изменения.

В девятой строфе исследуемого текста особое внимание привлекает на первый взгляд несколько неожиданное, а на самом деле подлинно пушкинское определение «душный» в строке: «На душном острове своем». В стихотворении «Наполеон» и в строфах, не вошедших в печатный текст стихотворения «К морю», Пушкин, повествуя о заточении Наполеона, употребляет именно определение «душный»:

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес⁸⁶.

Он искупил мечя стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоской, томлением изгнанья
Под сенью душевной тех небес⁸⁷.

Глагол «угас» в строке: «Он там угас, на много лет» — постоянно используется Пушкиным при описании гибели Наполеона: «Угас великий человек»⁸⁸, «Там угасал Наполеон»⁸⁹, «Он угасает недвижим»⁹⁰, «Угас в тюрьме Наполеон»⁹¹.

Отметим определенное сходство строки: «Оставив в мире яркий след» — с онегинской строкой: «Где грустный он оставил след»⁹².

В десятой строфе следует остановиться на стихах:

[Кинжал Л]увеля, [тень Б]абефа
И гильотины светлый нож
Не блекнут в памяти вельмож.

Образ «светлый нож» уже был у Пушкина, правда, в совершенно другом контексте: «Сверкая светлыми ножами»⁹³.

Обращение к английской палате лордов: «В спесивой Английской палате» — совершенно органично продолжает географический экскурс первых четырех пушкинских строк, причем переход от Александра Ипсиланти: «[безрукий князь] к Байрону: «Поэт сразился за ткачей» — глубоко логичен, связывая этих двух участников борьбы за независимость Греции.

Обратим внимание и на тот факт, что в библиотеке Пушкина имеются мемуары Байрона на французском языке «Mémoires de Lord Byron». Bruxelles, 1830, разрезанные, с пометами Пушкина⁹⁴. В этих мемуарах Байрон отмечает и свои выступления в палате лордов: «Я отказался представить петицию должников — надоела парламентская комедия. Я выступал там трижды, но не думаю, что из меня получится оратор. Первая моя речь (в защиту ткачей.— Л. Т., В. Ч.) понравилась, какой успех имели вторая и третья — не знаю»⁹⁵.

Отметим очевидную близость строки: «Отчизны верные сыны» — пушкинской строке: «России двинулись сыны»⁹⁶ и строк:

Мой брат по песням, по борьбе,
А может быть, и по судьбе —

строкам Пушкина:

Мой брат родной по музе, по судьбам?⁹⁷
Мой брат по крови, по душе...⁹⁸

Строки:

Сибирь, шпицрутены, Кавказ.
Не швед, не немец, не поляк...
Борец, поэт и гражданин! —

обращают на себя внимание. Такого рода тройные перечисления у Пушкина встречаются не раз и не два:

Француз, испанец, армянин...⁹⁹
Гарольдом, квакером, ханжой...¹⁰⁰
Манзони, Гердера, Шамфора...¹⁰¹
Но панталоны, фрак, жилет...¹⁰²
Горадий, Кикерон, Лукреций...¹⁰³
Ни карт, ни балов, ни стихов...¹⁰⁴
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека...¹⁰⁵
Крикун, мятежник и поэт...¹⁰⁶
И Ночь, и Звезды, и Луну...¹⁰⁷

Строки типа: «Рылеев! — века славный

сын», «Авось поэт, служитель лиры» — со сложным эпитетом в форме существительного часто употребляются Пушкиным:

Плешивый щеголь, враг труда...¹⁰⁸
Фонвизин, друг свободы...¹⁰⁹
Денис, невежда бич и страх...¹¹⁰
Ты... свободы, вакха верный сын...¹¹¹
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков...¹¹²
Прости, счастливый сын пиров...¹¹³
Гений, парадоксов друг...¹¹⁴
Нуго с товарищи, друзья натуры...¹¹⁵

Несомненно, не могут не вызвать ощущения сходства строки:

Ну кто б вы думали — гонец?
Чего б вы думали? — воды¹¹⁶.

(ЕО)

Можно было бы привести еще большое количество текстовых параллелей между так называемой подделкой и пушкинскими строками, но мы еще не говорили о стихотворных особенностях текста, хотя здесь нужна особая осмотрительность. Конечно, при наличии не только уже заранее данной формулы онегинской строфы и первых четверостиший, не говоря уже о том, что в качестве примера перед нами находится более пяти тысяч строк, входящих в ЕО, любой поэт и даже просто версификатор в состоянии составить несколько плохих подражательных «онегинских» строф вдобавок с возможностью сослаться на ошибки устной передачи. Поэтому разбор строф «апокрифа» в этом отношении бесполезен.

Однако здесь в ряде случаев перед нами те или иные виды включения в пушкинскую строфу, сочетания с пушкинскими строками (вдобавок, как говорилось, по сути дела, с их набросками сравнительно с обычной для Пушкина тщательной обработкой стиха). И здесь положение резко меняется. Строфа — это интонационное целое, в котором строки органично внутренне связаны, соотносятся друг с другом, предшествующая строка уже предсказывает интонацию последующей:

Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?... Их нет, их нет!¹¹⁷

Очевидно, в какой мере первая строка подсказывает интонацию второй, а та, в свою очередь, опирается на первую (такая же, но более сложная связь, — между строками, очень заметна, например, в строгическом переносе).

Проследим поэтому, в какой мере органично связаны между собой в интонационном плане строки Пушкина и соотносящиеся с ними строки так называемой подделки. В конце второй строфы говорится, что «из царя Не получилось бунтаря». Далее — начало третьей строфы, строка Пушкина «[Его мы очень смиренным звали]», на контрасте (*бунтарь* — *смирный*) под-

хватывающая характеристику царя, интонация, связывающая эти строки, несомненно, оправдана. Затем Пушкин говорит: «[Орла... щипали]», и «апокриф» подхватывает злую иронию: «эта птица» (то есть двуглавый орел), не нарушая тона первого четверостишия. В четвертой строфе Пушкин говорит о зиме, так называемый апокриф — «Зимой, и верно, выпал снег», продолжая тот же ход мысли и иронической интонацией. «Зароптал» в той же строфе «подделки» подготавливает пушкинское «[стал ропот ниже]» в начале пятой строфы, «жирней» гипотетического апокрифа в конце пятой строфы подготавливает пушкинское «[И чем жирнее]», в первой же строке шестой строфы «Иль на авось» предполагаемой мистификации в конце шестой строфы подготавливает «[Авось]» Пушкина в первой строке седьмой строфы, в восьмой строфе пушкинская строка «[Семействам возвратит Сибирь]» легко переходит в продолжающую ее строку гипотетического апокрифа «Тех, что в народе тайно славят», последнее слово восьмой строфы — «Наполюн» естественно развергивается в последующий пушкинскую строку девятой строфы «[Сей муж судьбы]». Все эти примеры говорят о том, что интонации пушкинских строк «состыкованы» со строками, не входящими в канонический текст X главы, не создавая у читателя ощущения искусственности, интонационного разрыва. Особенно отчетливо об этом говорит пример девятой строфы: Пушкин включил в нее одну строку из стихотворения «Герой»: «[Измучен казнию покоя]» (в «Герое» она звучит: «мучим казнию покоя»)¹¹⁸. Она стоит отдельно. Какой должна быть интонация следующей строки? В «Герое» она продолжается: «Осмеян прозвищем героя»¹¹⁹, то есть подсказана самим Пушкиным, нужна (по схеме строфы) лишь мужская рифма. Для гипотетического мистификатора, казалось бы, этого было достаточно. Но пушкинское продолжение заменяется другим: находится контраст покоя и ревущего моря, создаются строки, никоим образом не уступающие своей выразительностью строкам «Героя». Они, пожалуй, и не всякому поэту по плечу:

[Измучен казнию покоя],
Он слушал моря грозный рев...

Еще один пример интонационной завершенности одинокой строки: «[Ты александровский холоп]». Нам неизвестно, откуда она: начало ли это строфы, середина, конец ли ее, с какой интонацией ее произнести. Все это решено в гипотетической вставке: она соотносена с ироническим продолжением строк о царе, переходит к воспоминанию про «стон военных поселений» и затем получает опять-таки просто блестящее завершение, опирающееся на интонацию предшествующих строк:

Под этот стон и ляжешь в гроб,
[Ты,— Александровский холоп!],

где каждое слово передает то отношение к Арак-

чееву, которое оно могло бы получить у Пушкина. Как и в девятой строфе строка о *покое*, так и здесь «Ты» органически вписались в интонацию строфы, уловили ее выразительный строй.

Остановимся еще на одном, последнем примере: ноже гильотины в десятой строфе, эпитете к слову «нож». Эпитет в принципе несет в себе отношение к определяемому, мы вправе искать это отношение и здесь. Но тут возникает неожиданная трудность: здесь отношений может быть два. Либо отношение приговоренного, либо отношение приговорившего, судьи. Очевидно, что в первом случае оно передает ужас, страх, отчаяние обреченного; во втором выражает чувство правоты, справедливости приговора. Эпитет неизбежно приобретает однозначный характер — или плюсовой или минусовый, и это его ограничивает, делает односторонним (либо нож — страшный, жуткий, хищный, жадный, красный, или он — грозный, гневный, правый, верный, славный, точный). Мы перебрали более двадцати эпитетов, но не сумели избежать однозначности. Оказывается, ее все же можно преодолеть. И это сделано: «И гильотины светлый нож». «Светлый» может быть понято многозначно, и той и другой стороной, это определение и неоспоримо и неотвратимо, как судьба, но найти определение такой емкости нелегко, оно действительно завершает строфу.

Конечно, и эти примеры, говорящие о высоте стиховой культуры так называемой подделки, сами по себе опять-таки в такой же мере не являются доказательством авторства Пушкина, как и рассмотренные ранее. Однако неизбежность трудностей устной передачи X главы оправдывает необходимость обращения к поис-

кам того, что называют «косвенными уликами», тем более что к ним в ряде случаев можно применить слова Пушкина: «Порой я стих повертываю круто. Все ж, видно, не впервой я им верчу...»¹²⁰ Автор так называемой подделки представить себе непросто, да и цель его, по сути дела, непонятна: во времена, близкие к Пушкину, она была опасна, а в более позднее время ее не нужно было скрывать. Возможность найти в ней хотя бы крупницы текста Пушкина, как кажется, в ней просвечивающие, сама по себе уже делает нерациональным полный отказ от ее проверки, и она требует коллективной работы.

Естественно, что мы здесь такого рода работу только начинаем. Следует помнить, что у нас еще не установилось однозначного отношения к окончанию ЕО: открытость его сюжета, незавершенность судьбы героя трактуется по-разному, можно видеть в ней своеобразную и закономерную развязку, можно как будто ожидать и дальнейших поворотов этой судьбы, в частности в пересечении пути Онегина с декабристами.

Рассмотренный нами текст предлагает именно такое решение, поэтому характер его оценки получает и более общее значение. Вот почему, учитывая все сказанное, мы считаем, что его не следует предавать забвению, не объявляя, конечно, текстом Пушкина. Но включить его в раздел «DUBIA», привлечь к нему внимание, несомненно, нужно, ожидая либо новых поисков и находок, либо основательного доказательства того, что эти поиски не дали результатов.

В этом, в сущности, цель нашей работы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. I — XVI. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1937—1949; т. VIII/2/: с. 622. В дальнейшем при ссылках на это издание указываются том /римская цифра/, полумтом и страницы /арабская цифра/.
- ² VI, 496.
- ³ Вяземский П. А. Записные книжки /1813—1848/. М., 1963, с. 208.
- ⁴ Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия, ч. XLIV, 1913, март. Спб., 1913, с. 16—17.
- ⁵ Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л., 1975, с. 424.
- ⁶ Литературное наследство, М., 1934, № 16—18, с. 387.
- ⁷ Русский архив, 1880, кн. III /2/. М., 1880, с. 443.
- ⁸ Литературный критик. М., 1940, № 7—8, с. 231.
- ⁹ Пушкин и его современники. Спб., 1906, вып. IV, с. 1.
- ¹⁰ Там же, с. 11.
- ¹¹ Там же, с. 15.
- ¹² Пушкин и его современники. Спб., 1910, вып. XIII, с. 10.
- ¹³ Там же, с. 12.
- ¹⁴ Библиотека великих писателей. Пушкин, Пг., 1916, т. VI, с. 212—215.
- ¹⁵ Архив Д. Н. Альшица. Докладная записка директору Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, л. 1.
- ¹⁶ Архив Д. Н. Альшица. Записки историка-библиографа, л. 2.
- ¹⁷ Там же, л. 24—25.
- ¹⁸ IX /1/, 39.
- ¹⁹ VIII /1/, 376—377.
- ²⁰ XII, 310.
- ²¹ VI, 524.
- ²² III/2/, 693—701.
- ²³ III/2/, 693.
- ²⁴ III/1/, 133.
- ²⁵ VI, 290.
- ²⁶ VI, 42.
- ²⁷ VI, 168.
- ²⁸ VIII /1/, 53.
- ²⁹ Давыдов Денис. Соч. М., 1962, с. 158.
- ³⁰ Толстой А. К. Собр. соч. в 4-х т. М., 1963, т. I, с. 547.
- ³¹ Блок А. Собр. соч. в 8-ми т. М.—Л., 1960, т. 3, с. 253.
- ³² VI, 522.
- ³³ VI, 118.
- ³⁴ VI, 249.
- ³⁵ VI, 219.
- ³⁶ Сын отечества. Спб., 1824, ч. 91, с. 260.

- 37 Там же, 1825, ч. 100, с. 303—304.
- 38 Баратынский Е. Стихотворения. М., 1976, с. 264.
- 39 XV, 38, 316.
- 40 XIV, 196.
- 41 Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т. М., 1969, т. 1, с. 300.
- 42 VI, 407.
- 43 Кобеко Д. Императорский Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы. 1811—1843. Спб., 1911, с. 104.
- 44 XVI, 142.
- 45 VI, 185.
- 46 Вяземский П. А. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 161.
- 47 Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т. М., 1969, т. 2, с. 421.
- 48 Блок А. Собр. соч. в 8-ми т. М.—Л., 1962, т. 5, с. 436.
- 49 Там же, с. 759.
- 50 Чуковский К. И. Современники. М., 1967, с. 330.
- 51 Паустовский К. Повести. М., 1980, с. 608.
- 52 «Новый мир». 1978, № 6, с. 44.
- 53 XI.121.
- 54 VI, 407.
- 55 IV, 5.
- 56 VI, 176.
- 57 VI, 189.
- 58 III /1/, 395.
- 59 III /1/, 326, 395—397.
- 60 VI, 407.
- 61 II/1/, 193.
- 62 VI, 7.
- 63 VI, 407.
- 64 VI, 87.
- 65 VI, 80.
- 66 VI, 81.
- 67 VI, 134.
- 68 VI, 141.
- 69 VI, 189.
- 70 VI, 78.
- 71 III /1/, 234.
- 72 VI, 283.
- 73 II /1/, 442.
- 74 VI, 202.
- 75 VI, 301.
- 76 VI, 114.
- 77 VI, 27.
- 78 II /1/, 215.
- 79 XVI, 164.
- 80 XI, 15.
- 81 VI, 496.
- 82 VI, 36.
- 83 VI, 295.
- 84 III/1/, 215.
- 85 III /1/, 271.
- 86 II /1/, 216.
- 87 II /2/, 853.
- 88 II /1/, 213.
- 89 II/1/, 332.
- 90 III /1/, 252
- 91 III /2/, 880.
- 92 VI, 141.
- 93 I, 122.
- 94 Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина. Спб., 1910, с. 182.
- 95 Mémoires de Lord Byron. Bruxelles, 1830, t. second, p. 191.
- 96 I, 80.
- 97 II /1/, 427.
- 98 II /1/, 323.
- 99 VI, 201.
- 100 VI, 168.
- 101 VI, 183.
- 102 VI, 16
- 103 VI, 438.
- 104 VI, 28.
- 105 VI, 107.
- 106 VI, 267.
- 107 VI, 41.
- 108 VI, 521.
- 109 VI, 12.
- 110 I, 156.
- 111 II /1/, 83.
- 112 I, 195.
- 113 II /1/, 101.
- 114 III /1/, 464.
- 115 V, 376.
- 116 VI, 203.
- 117 VI, 182.
- 118 III /1/, 252.
- 119 III /1/, 252.
- 120 V, 380.

Разные дела по части Гоголя.

1. У Жуковского во Франкфурте узнать посылать ли письмо Смирновой в Тагил.

2. В Петербурге купить Христианское чтение за 1840. год.

3. Чрез Веневитинова попросить у Краевского за июль 1844. год Ответственный Вестник.

Всем известное Христианское чтение / то есть
Вестник Ростовского в 3 части.

Автограф записки Н. В. Гоголя.

Владимир Воропаев

Книги для Гоголя

О круге чтения Н. В. Гоголя до сих пор было известно очень мало. Судьба личной библиотеки писателя и поныне остается загадочной. В этом отношении публикация молодого исследователя Владимира Воропаева, содержащая новые факты и гипотезы, представляет исключительный интерес. Впервые публикуемый автограф Н. В. Гоголя и список библиотеки, отправленной М. П. Погодиным из Москвы в Рим летом 1841 года, с небывалой доселе полнотой дают возможность ознакомиться с книгами, которые читал или мог читать Гоголь во время своего пребывания в Риме в сороковых годах. А в эти годы, как известно, обозначились противоречия во взглядах и творчестве писателя, на которые первым обратил внимание В. Г. Белинский и которые занимают ученых до сих пор. Публикуемый список библиотеки, отправленной в Рим для Гоголя, несомненно, послужит новым стимулом в изучении творчества писателя.

В. И. Кулешов, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской литературы МГУ

...Много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно...

Н. В. Гоголь — С. Т. Аксакову,
август 1842 г.¹

Какой пушкинист не мечтает найти десятую главу «Евгения Онегина»? Кто из исследователей творчества Гоголя не надеется отыскать второй том «Мертвых душ»? Не так давно литературовед Б. Бессонов в одном из ленинградских архивов обнаружил рукописи двух неизвестных произведений Гоголя². Такие неожиданные находки побуждают к дальнейшим поискам неразысканных и неизвестных автографов писателя.

«Разные дела по части Гоголя». Так начинается записка на отдельном листе с короной в верхнем левом углу, написанная, как выяснилось, рукой самого Гоголя. Полный текст ее гласит:

1. У Жуковского во Франкфурте узнать, посылал ли письмо Смирновой в Баден.

2. В Петербурге купить Христианское чтение за 1840 год.

3. Чрез Веневитинова попросить у Краев-

ского за нынешний 1844-й год* *Отечественные Записки*.

Если не случится Христианского чтения за 1840 год, то сочинения Димитрия Ростовского в 3 частях».

Речь в записке, как видим, идет главным образом о книжных делах писателя. И видимо, не случайно автограф Гоголя был приложен к «Реестру книгам, отправленным из Москвы в Рим» Гоголю в июле 1841 года.

Среди многочисленных загадок, оставленных Гоголем своим соотечественникам, есть одна, разрешение которой имеет существенное значение для понимания всего его творчества: какие книги читал писатель? ³ В «Авторской исповеди», рассказывая о работе над «Мертвыми душами», Гоголь так писал о характере своего чтения: «...я обратил внимание на узнавание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынноика, меня занимало (...). Надобно сказать, что я получил в школе воспитание довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об учении пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия» (VIII, 443).

Любовь к книгам была страстью Гоголя. Первый биограф писателя П. А. Кулиш сообщает, что в бытность в Нежине юный Гоголь являлся хранителем выписываемой гимназистами на общую складчину библиотеки. Обязанности свои он исполнял необычайно ревностно. «Книги выдавались библиотекарем для чтения по очереди. Получивший для прочтения книгу должен был, в присутствии библиотекаря, усесться чинно на скамейку в классной зале, на указанном ему месте, и не вставать с места до тех пор, пока не возвратит книги. Этого мало: библиотекарь собственноручно завертывал в бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю, и тогда только вверял ему книгу. Гоголь берег книги, как драгоценность...» ⁴

О личной библиотеке писателя не сохранилось почти никаких сведений. Собирать книги он начал, по-видимому, еще в гимназические годы. В письме к матери из Нежина от 6 апреля 1827 года 18-летний Гоголь сообщает: «За Шиллера, которого я выписал из Лемберга, дал я 40 рублей — деньги весьма немаловажные по моему состоянию (...). Не забываю также и русских и выписываю что только выходит самого отличного. Разумеется, что я ограничиваюсь одним только чем-либо, в целые полгода я не приобретаю более одной книжки, и это меня крушит чрезвычайно» (X, 91—92).

В годы скитаний Гоголя по Европе его библиотека хранилась у Н. Я. Прокоповича, дав-

нишнего приятеля писателя еще с нежинской поры, издателя его первого собрания сочинений. В письме к Н. Я. Прокоповичу из Рима от 3 июня 1837 года Гоголь писал: «...нужно тебе все рукописные мои книги, которые находятся в моей библиотеке в связках, сложить в ящики, запаковать и отправить ко мне» (XI, 101).

Осенью этого же года писатель, остро нуждавшийся тогда в деньгах, решает продать свою библиотеку в Петербурге. «Если у тебя не случится теперь 1500 рублей (...) — пишет он Прокоповичу, — то продай мою библиотеку (...)» Она мне стала до 3000, но если можно за нее выручить половину, то слава богу. Мне бы не хотелось ее сбывать, хотя я и не буду иметь случая ею пользоваться, но я знаю, что многие книги полезны тебе, и мне приятно воображать, что ты роешься вместо меня в них» (XI, 109).

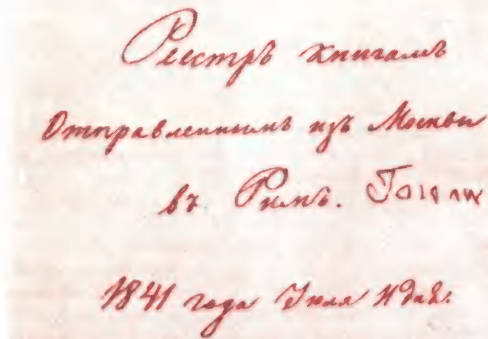
Продажа библиотеки, однако, не состоялась. Прокопович занял полторы тысячи рублей и выслал их Гоголю. Что стало с петербургской библиотекой Гоголя, книгами, которые читал писатель до своего отъезда за границу, по сей день остается невыясненным.

Неразгаданной до сих пор остается и судьба московской библиотеки Гоголя, тех книг, которые окружали писателя в последние годы его жизни. В описи имущества, оставшегося после смерти Гоголя, под номерами с 29-го по 32-й значится: «Русских книг в переплетах восемьдесят семь и таковых же без переплетов шестьдесят три. Иностранских книг в переплетах пятьдесят семь, и таковых же без переплетов двадцать семь» ⁵. Списка гоголевским книгам составлено не было. Все они были оценены оптом по копейке за штуку. «Какие книги держал Гоголь при себе в последние месяцы жизни, — с горечью писал С. Н. Дурылин, публикуя опись, — что он читал — мы никогда не узнаем: мы знаем только, что при нем была библиотека в 234 тома» ⁶.

Трудно поверить, что оставшиеся после Гоголя книги так никогда и не были описаны. Во всяком случае, едва ли можно судить об этом только на основании документа, опубликованного С. Н. Дурылиным. Нет ничего удивительного в том, что дошедшая до нас «Опись (...)» учиненная имуществу, оставшемуся после умершего коллежского асессора * Николая Васильевича Гоголя» (состоящая, кстати сказать, всегонавсего из 32 пунктов), содержит лишь суммарное количество книг, принадлежавших писателю. Подробное описание гоголевской библиотеки (как и определение ее действительной стоимости) не входило в компетенцию лиц, проводивших опись. Описывал имущество покойного писателя квартальный надзиратель Протопопов. При нем был «добросовестный свидетель» Страхов, который «по безграмотству своему приложил именную печать свою» ⁷. Присутствовавшие при составлении описи «постоянные свидетели» граф А. П. Толстой (хозяин дома, в котором умер Гоголь), С. П. Шевырев и

* Исправлено на 1844. — В. В.

* Так в подлиннике. — В. В.



«Реестр книгам, отправленным из Москвы в Рим».
Титульный лист.

И. В. Капнист лишь подписали полицейский протокол.

Летом 1852 года после многочисленных ведомственных проволочек книги Гоголя с его крепостным мальчиком Семеном были отправлены в Васильевку. 20 июня 1852 года С. П. Шевырев извещал М. И. Гоголя: «На днях дворецкий графа Толстого отправляет к Вам с транспортом харьковского комиссионерства все вещи и книги Николая Васильевича, и при них отправится Семен. Я же привезу к Вам все оставшиеся бумаги»⁸.

Сведениями о дальнейшей судьбе книг, принадлежавших Гоголю, мы не располагаем*. С. П. Шевырев всегда отличался добросовестностью и аккуратностью в делах по части Гоголя. Естественно предположить, что им был составлен список гоголевским книгам при их отправке на родину писателя. Нелегко примириться с мыслью, что опись предсмертной библиотеки Гоголя, если она действительно существовала, безвозвратно утеряна.

Понять писателя «изнутри», взглянуть на мир его глазами нельзя без тщательного изучения того литературного окружения, в котором формировались и развивались его взгляды и идеи. Поиск книг, оказавших то или иное влияние на эстетику и мировоззрение Гоголя, затрудняется одним специфическим обстоятельством его писательской судьбы. Художник, чье слово стало школой русской прозы, образцом ее национальной самобытности, наиболее зрелые в творческом отношении годы (около одиннадцати лет) провел за границей... Главными нитями,

связывающими Гоголя с отечеством, стали его обширнейшая переписка и книги, получаемые из России. Писатель внимательно следил за новыми русскими изданиями, порою запрашивая книги, которым еще только предстояло выйти в свет. «Если вышел перевод Славянской истории Шафарика⁹ или что-нибудь относится (ельно) славян или мифологии слав (янской)...», — писал он 2 ноября 1837 года Н. Я. Прокоповичу из Рима, — все это возьми у Смирдина (...) Если вышло Снегирева описание праздников и обрядов¹⁰, пришли...» (XI, 116). В письмах Гоголь постоянно просит своих друзей и знакомых присылать ему книги по филологии, истории, богословию, географии, фольклору, этнографии, статистике России. Интенсивно изучая русскую жизнь по книжным источникам, писатель пользовался самыми полными по тому времени каталогами русских книг. В письме из Франкфурта от 10 мая 1844 года он просит П. В. Анненкова: «Пришлите мне каталог Смирдинской бывшей библиотеки для чтения¹¹, со всеми бывшими прибавлениями, он полнейший книжный наш реестр. Да присовокупите к тому реестр книг всех, напечатанных синодальной типографией¹²; это можете узнать в синодальной лавке (...) Каталог Смирдинский есть, кажется, мой у Прокоповича» (XII, 299).

О том, что читал Гоголь, о круге его интересов мы отчасти знаем из его собственных писем, отчасти из свидетельств близких знавших его людей. Но каждый новый факт, расширяющий наши представления о круге чтения писателя, имеет несомненное значение для исследователя.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится документ, представляющий большой историко-литературный интерес. В описи архива он внесен под названием «Список книг и журналов, отправляемых в Рим для Н. В. Гоголя»¹³. История поступления этого документа такова. До сравнительно недавнего времени он хранился в личном архиве литературоведа, собирателя автографов и писем известных литераторов П. А. Попова (1894—1943) и в 1972 году был передан вместе с другими собранными им материалами в ЦГАЛИ его вдовой А. А. Гаевской.

В оригинале документ имеет следующее название:

«Реестр книгам,
Отправленным из Москвы
в Рим.
1841 года Июля 11 дня».

На первом, титульном листе документа после слов «Из Москвы в Рим» карандашом приписано: «Гоголю». Список представляет собой девять сшитых листов рукописного текста, исписанных с обеих сторон четким, убористым почерком середины прошлого столетия. В нем более 400 названий книг, составляющих в общей сложности около тысячи томов. На листах имеются многочисленные чернильные и карандашные пометы, приписки и исправления, сделанные другой рукой. Весь список разбит на

* Как удалось выяснить совсем недавно, несколько книг из гоголевской библиотеки с автографами были куплены в 1909 году известным антикваром и книгопродавцем П. П. Шибановым (см. Письмо П. П. Шибанова к А. Ф. Онегину от 25 декабря 1909 года. — ОР ГБЛ, ф. 342.6.83). Приношу искреннюю благодарность научному сотруднику Отдела рукописей ГБЛ В. М. Федоровой, указавшей мне на это письмо.

9 тематических разрядов. На обратной стороне первого листа имеется запись, начинающаяся словами: «**№** Нумера в книгах показаны» и относящаяся к распределению книг в «реестре» по разрядам. Назначение ее не совсем ясно. Составитель «реестра», судя по пометкам на листах, пытался систематизировать его и переносил книги из одного разряда в другой. Можно предположить, что «реестр» был переписан с учетом этих пометок и в таком упорядоченном виде отправлен вместе с книгами в Рим. Оставшийся у автора «черновик», вероятно, и является тем документом, который хранится ныне в ЦГАЛИ.

Отдельный, десятый лист документа, озаглавленный «Разные дела по части Гоголя» и содержащий поручения писателя (узнать у Жуковского во Франкфурте, послал ли письмо Смирновой в Баден, приобрести в Петербурге журналы «Христианское чтение» за 1840 год и «Отечественные записки» за 1844 год), непосредственного отношения к «реестру» не имеет. Записка эта, относящаяся к 1844 году, как уже говорилось выше, является автографом самого Гоголя. Предназначалась она, по всей видимости, для графини Л. К. Вьельгорской, намеревавшейся быть проездом во Франкфурте по дороге в Петербург. В письме из Баден-Бадена от 20 июня 1844 года Гоголь писал В. А. Жуковскому: «Пришлите мне, сделайте милость, письмо Смирновой, которое отправила к вам графиня Вьельгорская, но только как можно скорее, потому что оно мне очень нужно (...). Графиня Вьельгорская будет дня через два у вас во Франкфурте, проезжая в Петербург на месяц, для свидания с дочерью» (XII, 327).

В свою очередь, Л. К. Вьельгорская извещала Гоголя в том же июне 1844 года: «Посылаю вам, почтеннейший Николай Васильевич, письмо Александры Осиповны [Смирновой. — В. В.] и уведомляю вас, что я еду в Петербург совершенно одна»¹⁴. Гоголь, как известно, был дружен с Вьельгорскими и нередко пользовался услугами с их стороны, в том числе и по части пересылки книг.

Были ли книги, означенные в «реестре», действительно отправлены в Рим? Кто мог летом 1841 года послать Гоголю целую библиотеку?

Поиски целесообразно было начать среди ближайшего московского окружения писателя. Приезжая в Москву, Гоголь обычно останавливался и жил у М. П. Погодина на Девичьем поле. Как удалось установить, приписки карандашом и чернилами на листах «реестра» сделаны рукой М. Ц. Погодина. Список книг составлял, как видно, один из писцов Погодина. Сам же он, просматривая «реестр», вносил свои изменения в заглавия разделов, делал пометы, добавления к написанному.

Что за книги мог отправлять Погодин Гоголю из Москвы в Рим в июле 1841 года? Собрать такую библиотеку в короткий срок нелегко, да и стоила бы она немалых денег. На протяжении многих лет Погодин аккуратно вел дневник, который хранится ныне в Отделе рукописей

№. Нумера в книгах показаны:

Р. Разряды книги христиан.

II. " в разряде (II).

III. " христиан христиан.

IV. " один из христиан.

V. " в авторизованных.

VI. " христиан (VI).

VII. " христиан в трудном (VII).

VIII. " одного христиан.

IX. " в трудном (IX).

Оглавление в «Реестре».

Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. К сожалению, последняя дневниковая запись в 1841 году сделана им 16—30 июня. Заканчивается она словами: «Долговременная пауза»¹⁵. Следующая запись в погодинском дневнике относится уже к марту 1842 года.

Летом 1841 года в Риме вместе с Гоголем жил П. В. Анненков, переписывавший под диктовку автора главы первого тома «Мертвых душ». В своей известной статье «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года» Анненков так писал об умонастроении писателя в этот период: «...взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворений Пушкина»¹⁶.

Анненков выехал из Рима в начале июля (по старому стилю) 1841 года. Вне всякого сомнения, большой библиотеки у Гоголя в это время не было. Иначе это не укрылось бы от Анненкова, жившего в соседней с ним комнате. Возможно, что в определенную эпоху Гоголю и была достаточна «одна хорошая книга». Но, как видно, наступала такая эпоха в жизни писателя, когда ему была необходима целая библиотека. По свидетельству того же Анненкова, «в эту эпоху он [Гоголь. — В. В.] был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно»¹⁷.

С начала сороковых годов, в период создания второго тома «Мертвых душ», жизнь Гоголя отмечена какой-то неугаимой страстью к знаниям, совершенствованию. Переписка его буквально пестрит упоминаниями о книгах. В письме из Дюссельдорфа от 5 октября 1843 года Гоголь пишет Н. М. Языкову: «Благодарю тебя за желание наделить меня книгами, но проделав

гаемые тобою уже у меня есть. Но так как ты хочешь насытить мою жажду (а жажда моя к чтению никогда не была так велика, как теперь), то вот тебе на вид те книги, которых бы я желал: 1) Розыск, Дмитрия Ростовского¹⁸; 2) Трубы словес и Меч духовный, Лазаря Барановича¹⁹ и 3) Сочинения Стефана Яворского в 3 частях, проповеди²⁰. Да хотел бы я иметь Русские летописи, издан(ные) Археографическою комиссиею²¹, если не ошибаюсь, есть уже три, когда не четыре тома. Да Христианское чтение²² за 1842 год. Вот книги, которые я хотел бы сильно достать. Переслать мне можно их порознь с русскими, едущими за границу (...) А если им и не по дороге мне завезть, то всегда почти встретятся с другими русскими, которым по дороге. А у меня два депо: в Дюссельдорф Жуковскому и в Рим Иванову и Кривцову (...) Покупка этих книг может составить сумму, может быть, даже за 80 рублей, а потому уже это не должно быть в значении подарка, а отнесено просто на счет» (XII, 219—220).

Из Рима Гоголь выехал почти сразу же после Анненкова, в конце июля или начале августа (по старому стилю) 1841 года. Проездом в Россию он заехал в Ганау к Н. М. Языкову и уже оттуда отправился в Москву хлопотать об издании первого тома «Мертвых душ». Покончив дела с печатанием поэмы, писатель летом 1842 года снова выехал за границу и пробыл там на этот раз вплоть до 1848 года. В Рим Гоголь вернулся вместе с Н. М. Языковым осенью 1842 года и поселился на своей старой квартире.

В сороковых годах в Риме жил русский художник-гравер Ф. И. Иордан, состоявший в приятельских отношениях с Гоголем. В его «Записках» есть чрезвычайно любопытное упоминание об «огромном сундуке с книгами, который привезли из таможи к Гоголю». Вот контекст, в котором упомянут этот сундук. «В это время приехал в Рим наш писатель (П. В.) Анненков, с которым я познакомился. Он остановился у Гоголя, с которым был дружен (...) Спустя несколько времени, я увидел приехавшего к Гоголю известного поэта (Н. М.) Языкова. Лицо его было в высшей степени страдальческое, он не мог ходить, страдая болезнью стенового хребта (...). Он собирался, должно быть, долго пробыть в Риме, ибо я видел огромный сундук с книгами, который привезли из таможи к Гоголю, но болезнь заставила его поспешить обратно в Россию»²³. Из слов Иордана следует, что книги привез с собой приехавший к Гоголю Языков. Гоголь вместе с Языковым проводил в Риме зиму 1842/43 года. В Рим, однако, они приехали вдвоем, путешествуя перед этим по Италии (с 1838 по 1843 год Языков по совету врачей жил за границей). Иордан начал писать свои «Записки» на склоне лет, в 1875 году, и мог забыть или перепутать, кому принадлежали привезенные к Гоголю из таможи книги. Наконец он мог просто не знать этого. Однако сам факт получения Гоголем в начале сороковых годов «огромного сундука с книгами», несомненно, заслуживает доверия.

О библиотеке Гоголя в Риме сохранились

случайные, отрывочные сведения. Заметка Ганау от 20 сентября 1841 года писатель просил А. А. Иванова: «Напишите мне, дал ли я вам ключ от сундука с моими книгами и заперт ли он или нет. Я совершенно позабыл» (XI, 346). В одном из черновых писем Гоголю Иванов сообщал: «Ключ от Вашего сундука я нашел»²⁴.

В свой последний отъезд из Рима Гоголь оставил у Иванова два сундука с книгами и пакет с бумагами. В черновом письме Иванова к брату (своего письма А. А. Иванов, как правило, писал сначала начерно), датированном началом апреля 1858 года, содержится упоминание о «двух сундуках с книгами Гоголя [в подлиннике слово «Гоголя» зачеркнуто. — В. Б.]»²⁵. В записной тетради Иванова сохранился черновик письма, адресованного, по-видимому, С. П. Шевыреву и написанного не ранее 1855 года: «Зная Вас лично как близкого приятеля Николая Вас(ильевича) Гоголя, я должен Вам сказать, что покойник пред последним отъездом оставил у меня два сундука и пакет с бумагами. Что в них находится, я не знаю да и не считаю себя вправе знать. Теперь прибегаю к Вашему совету, что мне делать с этими вещами, может быть весьма драгоценными для многих? [В подлиннике запись перечеркнута. — В. Б.]»²⁶.

Архив А. А. Иванова, состоящий из его рисунков и рукописного наследия, согласно завещанию С. А. Иванова, брата выдающегося живописца, поступил в 1877—1879 годах в Румянцевский музей²⁷. Среди большого количества писем и бумаг художника в музей были переданы и сохранившиеся у него рукописи Гоголя. Судьба гоголевских книг, оставшихся, по-видимому, в Риме, неизвестна*.

Новые сведения, проясняющие загадку книг, отправленных из Москвы в Рим в июле 1841 года, удалось отыскать в архиве М. П. Погодина, хранящемся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Среди переписки Погодина сохранились три письма к нему П. И. Кривцова (секретаря русского посольства в Риме, назначенного в 1840 году попечителем над русскими художниками-пенсонерами, направленными в Италию Академией художеств). Речь в них шла о библиотеке для русских художников в Риме. Суть дела заключалась в следующем. Кривцов, используя свои связи при дворе, ходатайствовал о представлении к ордену московского купца-миллионера А. И. Лобкова, взамен чего последний обязался пожертвовать деньги на библиотеку для русских художников в Риме. Посредником между ними и выступал Погодин. С Кривцовым он познакомился, по-видимому, во время своего пребывания в Риме весной 1839 года²⁸. С Лобковым, известным своим собранием старопечат-

* Можно с достаточной уверенностью предположить, что книги эти находятся в личной библиотеке А. А. Иванова в Риме, принадлежащей ныне родственникам художника.

ных книг и редких рукописей (платившим по 700 рублей ассигнациями за книжную редкость²⁹), Погодин сблизился на почве общего увлечения русскими древностями.

В дневнике Погодина имеются следующие записи: «С Лобковым, который, кажется, расположен много сделать по моим указаниям» (4 декабря 1840 года)³⁰; «Говорил с Кривцовым, и о библиотеке для художников в Риме. Князь [Д. П. Голицын. — В.В.] очень любезен, но я не мог, при Кривцове, просить его о рассылке по частям» (31 декабря 1840 года)³¹; «Был Кривцов, толковали о библиотеке и Академии в Москве» (14 марта 1841 года)³²; «Письмо к Лобкову о библиотеке для русских художников в Риме» (15 марта 1841 года)³³.

В письме из Петербурга от 30 марта 1841 года П. И. Кривцов писал М. П. Погодину: *«Письмо Ваше от 21 сего м[есяца] я получил 26-го и в тот же день отнесся официально к князю Петру Михайловичу [П. М. Волконскому — министру двора. — В.В.], который, выслушав в сущность дела, с радостью согласился на мое представление и 27-го числа имел счастье докладывать об оном Его Величеству. Государь Император принял благосклонно, но приказал вследствие учрежденного порядка передать в Комитет Министров (...) Вследствие сего Высочайшего приказа другаго не остается, как подождать несколько времени, в течение коего я буду стараться о скорейшем решении сего дела (...) Как скоро я узнаю что-нибудь утвердительного, то не премину немедленно Вас о том уведомить, а между тем, хорошо бы было, если бы г. Лобков похлопотал о собрании всех сведений, которые могут быть нужны на получение ордена, с тем, что когда таковые сведения потребуются, он бы мог оные немедленно представить (...) Я князю Петру Михайловичу объявил, что орден есть conditio sine qua non [непременное условие. — В.В.] для получения библиотеки, и при сем случае прибавил, что г. Лобков, вероятно, согласится и на доставку книг в Рим»*³⁴.

В следующем письме к М. П. Погодину из Петербурга, датированном 17 мая 1841 года, П. И. Кривцов писал:

«Начинаю вашими словами: «Я свое дело сделал, теперь за вами исполнение Вашего». Комитет Министров нашел г. Лобкова достойным ордена Св. Станислава 3-й ст[епени] и донес об оном Его Величеству, препроводив вместе и Указ на Высочайшее подписание, все это отправлено в Москву прошлую среду и, верно, в конце этой недели будет возвращено сюда (...) Теперь поговорим о библиотеке и об ее отправке и застраховании. Нужно непременно послешить, чтобы отправка могла состояться летом до июля м[есяца]. В эту пору отходят корабли в Ливорно, и г. Лобков, верно, имеет... своих корреспондентов, на которых он может положиться. Я еду на сих днях... в Женеву, где намерен оставаться два или три месяца, и для того и покорнейше прошу меня уведомить по прилагаемому адресу все принятые вами распоряжения, дабы я, с моей стороны, мог принять нужные меры к получению книг.

*Не пеняйте мне, что так долго тянулось это дело, будьте уверены, что невозможно было окончить скорее — надобно быть на месте и видеть, как все изнемогает под формами (...) Вы бы меня, почтеннейший Михаил Петрович, чувствительнейше обязали пересылкой в Женеву на тоненькой бумажке Каталог книгам и пр., жертвующим г. Лобковым для наших художников в Риме, от имени которых и от моего я вам приношу сердечную благодарность»*³⁵.

25 мая 1841 года Погодин записал в своем дневнике: «Лобков получил Станислава за пожертвование, которое лежит у меня в ящике, а Государю донесено, что библиотека доставлена. Письмо от Гоголя, который ждет денег, а мне не хотелось бы посылать»³⁶. За 9—15 июня 1841 года в погодинском дневнике появляется новая запись: «Лобков получил орден; мне останется кое-что за труды»³⁷.

Третье, последнее сохранившееся в погодинском архиве письмо П. И. Кривцова отправлено уже из Рима, вскоре после получения библиотеки. Написано оно рукой неуставленного лица, как видно, под диктовку Кривцова. Подпись — автограф. Публикуем это письмо полностью.

11
Рим. Генваря — -го дня 1842
23

Милостивый государь Михаил Петрович.

На днях получили мы обещанную для общины русских художников библиотеку. Составленный ей Каталог во многом не согласуется со словесными обещаниями и письменными ручательствами вашими, Михаил Петрович, в точном исполнении обязательств, данных по сему случаю г-м Лобковым. Сверх того, что в составе библиотеки не находится многих известных сочинений лучших наших литераторов, как-то: сочинений Н. Полевого, Заозкина Рославлева³⁸, некоторых сочинений К. Масальского, стихотворений Лермонтова, Венедиктова, Хомякова и проч. проч., многие сочинения оказались неполными, в ином нет 1-й, в другом 2-й частей; многих теоретич. один лишь первые томы; большей же части обещанных журналов вовсе не имеется, как-то: Библиотеки для чтения, Отечественных записок, Маяка, Телеграфа и прочих периодических изданий; даже в укладке книг не обращено было должного радения, вследствие чего во многих сочинениях недостает многих листов. Как прежде вы держались за меня, так точно и я прошу вас приняться за г-на Лобкова а в исполнении им своих обязанностей. Извещаю вас обо всем этом, я пишу себя надеждою, что присланные два ящика с книгами были только предвестниками следующих высылки и тем более, что я заплатил за провоз сих последних, между тем как она уплата должна была бы быть произведена г-ном Лобковым. Вы мне писали, что как скоро орден будет доставлен, то вы поручоку [выделено автором письма. — В.В.] за все обещанное, и так позвольте мне ныне обратиться к вам и просить об уведомлении: — я, с моей стороны, выполнил все, — теперь дело за вами. Гг. художники чрезвычайно были обрдованы, и я, по получении от

вас ответа о воспоследующем на сие мое письмо, не премину к вам, почтеннейший Михаил Петрович, и к г-ну Лобкову отнестись официально от имени гг. художников, которые, с своей стороны, приготовляются отблагодарить. Теперь делаются шкафы и приготовляются портфели для рисунков. Сделайте одолжение, чтобы издержки не были по-пустому.

В свое время я извещал вас, что писал о выдате г-ну Гоголю 2000 франк(ов). Письмо мое не застало его более в Риме, и поручение не было выполнено³⁹. Поручая себя в дальнейшее ваше благорасположение и в ожидании ответа на все вышеписанное, прошу вас, почтеннейший Михаил Петрович, принять уверение в истинном моем почтении и преданности.

Кривцов⁴⁰.

О роли Гоголя в этой истории на основании имеющихся данных можно высказать следующие предположения.

Осенью 1839 года Гоголь вместе с Погодиным приехал из-за границы в Москву и остановился в его доме. В 1840 году он усиленно хлопотал о должности секретаря при Кривцове, назначенном начальником над русскими художниками, отправленными в Рим Академией художеств⁴¹. В письме из Москвы от 3 мая 1840 года Гоголь писал В. А. Жуковскому: «Теперь должен я повергнуть к ногам вашим просьбу. Просьбу, которую мне посоветовали сделать в одно и то же время к(нязь) Вяземский и Тургенев, как будто по вдохновению. Кривцов получил, как вам известно, место директора основывающейся ныне в Риме нашей Академии художеств, с 20 тысячами рублей жалованья (в) год. Так как при директорах всегда бывает конференц-секретарь, то почему не сделаться мне секретарем его. Здесь я даже могу быть полезным, я, решительно бесполезный во всем прочем. А уж для меня-то, наверно, это будет полезно, потому что тогда мне, может быть, дадут рублей 1000 сереб(ом) жалованья (...). Вы можете это обстоятельство представить государю наследнику и расположить его в мою пользу и написать от себя письмо об этом к Кривцову» (XI, 281—282).

Уезжая снова в Италию в мае 1840 года, Гоголь еще не знал, как решилось его дело. В письме из Рима от 17 октября 1840 года он писал М. П. Погодину: «Никаких известий из Петербурга: надеяться ли мне на место при Кривцове. По намерениям Кривцова, о которых я узнал здесь, мне нечего надеяться, потому что Кривцов искал на это место европейской знаменитости по части художеств» (XI, 316). Через несколько дней Гоголь вновь справляется у П. А. Плетнева: «...как мое дело. Можно ли мне надеяться на то место в Риме, о котором я писал к вам?» (XI, 319; письмо от 30 октября 1840 года).

Можно предположить, что мысль о библиотеке для русских художников в Риме возникла во время пребывания Гоголя в Москве у Погодина. Возможно, что сама идея библиотеки исходила от Гоголя. В 1840 году он вчерне закончил первый том «Мертвых душ» и при-

ступил к работе над вторым. И тут ему нужны были книги, много книг... В случае, если бы Гоголь занял место секретаря при Кривцове, библиотека была бы в полном его распоряжении.

Попытка Гоголя занять эту должность, однако, успеха не имела. «Я, кажется, не получу места, о котором — помните? — мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме, — писал он С. Т. Аксакову из Рима 28 декабря 1840 года. — Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надуд всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это человек, который слишком любит только одного себя (...). Он мною дорожит столько же, как тряпкой» (XI, 322).

Вместо должности секретаря Кривцов предложил Гоголю место... библиотекаря. В письме из Ганау от 20 сентября 1841 года Гоголь писал А. А. Иванову: «Да кстати о том, что у вас делается, Кривцов твердо уверен, что я ишу у него места, и сказал Жуковскому, что он для меня приберег удивительное место (...), место библиотекаря еще покамест не существующей библиотеки. Итак, вы видите, что у вас штат готовится огромный и на широкую ногу. Я, однако же, как вы сами догадаетесь, за место поблагодарил, сказавши, что хотя бы Кривцов предложил мне и свое собственное место, то и его бы не взял, по причине других дел и занятий» (XI, 345).

Должность, предложенная Кривцовым, разумеется, никоим образом не могла обеспечить пребывание Гоголя в Риме. Но, видимо, не случайно именно Гоголю предложил он «место библиотекаря еще покамест не существующей библиотеки».

Обращает на себя внимание особый, гоголевский подбор книг в библиотеке, отправленной Погодиным в Рим в июле 1841 года. Вполне возможно, что книги подбирались им по списку, составленному самим Гоголем. «Реестр книгам, отправленным из Москвы в Рим» как нельзя лучше отражает вкусы и интересы писателя. Наиболее значительно в нем представлены три раздела: книги духовного содержания, книги исторические, книги русских и иностранных писателей. Тематика остальных — путешествия, география, статистика, фольклор, этнография, теория и история словесности, биографии славных мужей, словари... С одной стороны, «Краткое руководство к познанию племен человеческого рода» А. Л. Ловецкого, многотомные «Записки герцогини Абрантес» и «Записки Буриенна», знаменитое «Добротолубие», содержащее аскетические писания отцов церкви, с другой — «Начальные правила русской грамматики», «Учебная книга русской словесности». Н. И. Греча, его же «Практические уроки», «Ключ к практическим урокам». «Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека (...) от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустыльника» соседствуют в списке с книгами школьными, учебными (не этих ли книг «стыдился» Гоголь, «скрывая все свои занятия?»).

Первый раздел «реестра» (опущенный при

данной публикации) включает в себя разнообразную богословскую литературу: справочные издания, творения отцов церкви, жития святых, описания памятников церковной старины и древнерусского зодчества, а также труды общеисторического характера, как, например, трехтомные «Древности иудейские» Иосифа Флавия.

Содержание этого первого раздела может служить подтверждением усиления в мировоззрении Гоголя в начале сороковых годов религиозных настроений. Из позднейшей переписки писателя видно, что многие из перечисленных здесь книг вошли в его активный читательский обиход.

В подборе исторической литературы чувствуется, как нам представляется, рука М. П. Погодина. Эта часть библиотеки имеет вполне определенную направленность. Сюда входят главным образом книги и материалы по русской истории: летописи по различным спискам, деяния знаменитых полководцев и исторических деятелей, такие монументальные труды, как «История государства Российского» Н. М. Карамзина и «История русского народа» Н. А. Полевого и т. п.

И все-таки наиболее полно и разнообразно представлена в «реестре» русская словесность. Наряду с сочинениями классиков русской литературы — Ломоносова, Кантемира, Державина, Фонвизина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Языкова, Крылова, Пушкина — этот раздел включает и книги популярных романистов 1830—1840 годов: Вельтмана, Загоскина, Лажечникова, а также произведения ныне почти забытых литераторов: Иванчина-Писарева, Булгарина, Греча, Погодина, Ушакова, Свинына, Масальского и многих других. В одном из писем 1846 года Гоголь признавался Н. М. Языкову, что для него «имеют много цены даже и те повествован[ия], которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного» (XIII, 52).

Гораздо скромнее выглядит перечень книг иностранных писателей. За исключением нескольких произведений Шекспира и Гёте, он почти сплошь состоит из сочинений Вальтера Скотта. Здесь будет уместным привести свидетельство П. В. Анненкова, близко знавшего Гоголя и особенно часто встречавшегося с ним в эпоху создания первого тома «Мертвых душ». По словам этого мемуариста, более других, пожалуй, осведомленного в области того, что читал Гоголь в эту пору, «...он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принял за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Также мало знал он и Шекспира (Гёте и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя — Вальтера Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью»⁴².

Вальтер Скотт был любимейшим автором Гоголя. Ни о ком из западноевропейских писателей он не упоминал так часто в своих статьях и переписке, как о «знаменитом шотландце», считая его «полнейшим, обширнейшим гением XIX века» (VIII, 171). В письме из Женева от 22/10 сентября 1836 года Гоголь сообщает М. П. Погодину: «Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтера Скотта, а там, может быть, за перо» (XI, 60). Еще будучи в Нежине, юный Гоголь в числе литературных новинок 1827 года посылает сестре только что изданную в русском переводе поэму Вальтера Скотта «Владелец Островов» (см. комментарий — X, 412).

Многие из книг, перечисленных в «реестре», упоминаются в письмах Гоголя как до, так и после 1841 года. На некоторые из них нами написаны краткие рецензии для пушкинского «Современника» еще в 1836 году. Ознакомившись с заинтересовавшей его книгой, Гоголь нередко вновь обращался к ней по прошествии многих лет. Так, сохранившиеся в бумагах писателя заметки по фольклору и этнографии (IX, 420—427), приуроченные скорее всего к 1849 году, представляют собой извлечения из уже упомянувшегося труда И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и сеуверные обряды». Дошедшие до нас списки книг, выписанных Гоголем в 1834—1836 годах из «Росписи» Смирдина, равно как и «Реестр книг, остающихся в Москве», составленный им, по-видимому, в 1849 году (IX, 491—493), также включают в себя книги из числа тех, которые Погодин отправил из Москвы в Рим в июле 1841 года.

Конечно, было бы неправильно сводить роль Гоголя в истории с библиотекой для русских художников лишь к его личным интересам. Долго живший в Риме среди художников, он, как известно, всячески старался поднять их авторитет на родине, нередко оказывая им свое покровительство и денежную помощь. А. А. Иванов, один из немногих близких Гоголю людей, часто жаловался в своих письмах на скудость знаний, полученных им в Академии художеств. Недостаточность своего образования Иванов, как и Гоголь, восполнял чтением книг. Любопытно, что в одном из писем 1847 года, излагая Гоголю несбыточный проект его участия в делах русских художников в Риме, Иванов ведет речь о книгах и библиотеке. «...Вы вступите в службу к князю [Г. П. Волконскому, сыну министра двора. — В. В.], — пишет он Гоголю, — как секретарь русских художников (<...> Чижову предложат звание агента. Должность его будет — заменять начитанность художническую, то есть он, вместо нас, будет читать книги необходимые на разных языках (и выносить нам оттуда результаты, приспособленные к художнической точке зрения, из чего вы, пожалуй, составите книгу для образования молодых, будущих в России художников) (<...> Ему будет вверена и библиотека, которой приращение будет зависеть от вас и общего совета нашего, под председательством князя. (Он будет иметь казенные две комнаты на сей конец. Князь может тогда отставить доктора и эти деньги обратить на покуп-

ку книг.)⁴³ План Иванова, разумеется, не встретил сочувствия у Гоголя и даже послужил причиной их временной разномыслия.

Много позднее, уже в Петербурге в 1858 году, в беседе с Н. Г. Чернышевским Иванов говорил: «Мы, художники, получаем слишком недостаточное общее образование; это связывает нам руки. Сколько сил у меня достанет, буду стараться, чтобы молодое поколение было избавлено от недостатка, от которого мне пришлось избавляться так поздно (...) У нас в России находится много людей с прекрасными талантами к живописи. Но великих живописцев не выходит из них, потому что они не получают никакого образования. Владеть кистью — этого еще очень мало для того, чтобы быть живописцем. Живописцу надобно быть вполне образованным человеком»⁴⁴.

Публикация «Реестра книгам, отправленным из Москвы в Рим» в июле 1841 года, несомненно, обогатит наши представления о круге чтения Гоголя и Иванова. Список публикуется в его оригинальном виде (исправлены лишь очевидные опечатки) с минимальным комментарием. В квадратных скобках указываются автор или издатель, год и место издания, если их нет в оригинале. В случае если книга к 1841 году выходила неоднократно и невозможно установить, о каком издании идет речь, год и место издания не указываются. Следует также иметь в виду, что названия книг в «реестре» в большинстве случаев даны в сокращении, порою произвольном.

*Реестр книгам
Отправленным из Москвы
в Рим. Гоголю *
1841 года Июля 11 дня*

*II. Книги исторические ***

1. Нестор. Мих(аила) Погодина. М., 1839. 1
2. Летопись Несторова по Лаврент(ьевскому) спис(ку). М., 1824. 1
3. Летопись Несторова по Кенигсб(ергскому) списку. [Спб.,] 1767. 1
4. Летопись Русская по Никонов(у) списку. [Спб., 1767—1792]. 8
5. Летописец Новгородский. М., 1781. 1
6. Летописец Псковский. М., 1837. 1
7. Супрасльская рукопись. М., 1836. 1
8. Летопись, содерж(ащая) рос(сийскую) ист(орию), 1790. 2
9. Летопись, содерж(ащая) рос(сийскую) ист(орию). [М.,] 1819. 1

* «Гоголю» приписано карандашом, по всей видимости, М. П. Погодиным. Все дальнейшие карандашные и чернильные пометы и приписки на листах «реестра» сделаны рукой Погодина. Исследование почерков Погодина и Гоголя проведено старшим экспертом НТО ГУВД Мосгорисполкома В. Н. Визировой, за что автор выражает ей искреннюю благодарность.

** Зачеркнуто карандашом и сверху надписано: Русс(кая) истор(ия).

10. Летопись о мятежах и пр. [М.,] 1788. 1
11. Летописец Соловецк(ого) мон(астыря). 1
12. Киевский Синописис. [Киев,] 1823. 1
13. Книга Степенная царского родословия [М.,] 1775. 2
14. Сказания кн(язя) Курбского. Спб., 1833. 2
15. Сказания современ(ников) о Дим(итрии) Самозв(анце). [Спб.,] 1834. 5
16. Сборник кн. Оболенского. [Спб., 1836—1840]. 11
17. Рукопись Жолкевского. [Издания Павлом Мухановым.] М., 1835. 1
18. Библиот(ека) иностр(анных) писателей о России. [Спб., 1836]. 1
19. Собрание путеш(ествий) к татарам и др. [Спб.,] 1825. 1
20. Продолжение Древней рос(сийской) Вивлиофики. [Спб.,] 1786. 1
21. Уложение царя Алексея Мих(айловича). [Спб.,] 1779. 1
22. Сборник Муханова. [М.,] 1836. 1
23. Славянские Древности. Шафарика. [М.,] 1837. 1
24. Древние и нынешн(ие) Болгаре. [Юрия Венелина. М.,] 1841. 2
25. История Госуд(арства) Рос(сийского). Карамзина. [Спб.,] 1818. 12
26. Ключ к Истории Карамзина. [Павла Строева. М.,] 1836. 2
27. Повествование о России. [Николая Арцыбашева. М.,] 1838. 2
28. История Русского народа. Полевого. [М.,] 1829—[1833]. 6
29. Краткая повесть о (бывших в России) самозванцах. [Спб.,] 1778. 1
30. История Смутного времени (в) России. [Д. Бутурлина. Спб.,] 1839. 1
31. Россиянин при гробе патриарха Гермогена. [Д. Н. Бантыш-Каменского. М.,] 1806. 1
32. Биограф(ические) свед(ения) о князе Пожарском. [А. Малиновского. М.,] 1817. 1
33. История о невинном заточении Арт(емо)на С(ергеевича) Матвеева. 1
34. Царствование ц(аря) Мих(аила) Феод(оровича). [В. Н. Берха. Спб.,] 1832. 2
35. Царствование ц(аря) Алексея Мих(айловича). [В. Н. Берха. Спб.,] 1831. 2
36. Царствование ц(аря) Федора Алексеевича [В. Н. Берха. Спб.,] 1834. 1
37. Деяния Петра Великого. [И. И. Голикова. М.,] 1840. 13
38. Краткая повесть о смерти Петра I. [Феофана Прокоповича. Спб.,] 1831. 1
39. История Петра Велик(ого). [Феофана Прокоповича. М.,] 1788. 1
40. Житие и славные дела Петра Вел(ико)го. [З. Орфелина. М.,] 1774. 2
41. История Петра Велик(ого). [Вениамина Бергмана. Спб.,] 1833. 6
42. История Петра Велик(ого). [В. М. Строева. М.,] 1837. 2
43. Кабинет Петра Велик(ого). [О. П. Беляева. Спб.,] 1800. 1
44. Цветущ(ее) сост(ояние) России. [Издан М. Погодин. М.,] 1831. 1

45. Записки о Петре Великом. [Виллиамса. Спб.,] 1835. 1
46. Журнал Петра I. [Собрал кн. М. Щербатов. Спб., 1770—1772]. 2
47. Деяния знаменит^{ых} полководц^{ев}. [Д. Н. Бантыш-Каменского. М.,] 1821. 1
48. Жизнь князя Меншикова. [М.,] 1803. 1
49. Собрание писем Петра I. [М.,] 1811. 1
50. Историческое собрание списков^{ов} кавалерам. [Д. Н. Бантыш-Каменского. М.,] 1814. 1
51. Обзор главнейш^{их} происшеств^{ий} в России. [Александра Вейдемейера. Спб.,] 1835. 3
52. Царствование Елизаветы Петровны. [А. Вейдемейера. Спб.,] 1834. 2
53. Записки князя Шаховского. [М.,] 1810. 2
54. Исторические записки Манштейна. [М.,] 1810. 2
55. Описание коронации Анны Иоанновны. М., 1730. 1
56. Описание восшеств^{ия} на престол Елизавет^ы Петр^{овны}. [Спб.,] 1744. 1
57. Обзорение царств^{ования} Екатерины II. [П. И. Сумарокова. Спб., 1832]. 3
58. Черты Екатерины Велик^{ой}. [Павла Сумарокова. Спб.,] 1819. 1
59. Переписка Екатерины Велик^{ой}. [Спб.,] 1807. 1
60. Переписка Екатерины Велик^{ой} с гр^афом Румянцевым. [М.,] 1805. 1
61. Анекдоты Екатерины II. [М.,] 1806. 1
62. Жизнь князя Потемкина. [М.,] 1808. 1
63. Переписка Екатерины II с Циммерманом^{ом}. [Спб.,] 1803. 1
64. Первое тридцатилетие истории гор^{ода} Одессы. [Скальковского. Одесса,] 1837. 1
65. Жизнь Суворова им самим описанная. [М.,] 1819. 1
66. Хронологическое обозрение ист^{ории} Новор^{оссийского} края. [Аполлона Скальковского. Одесса,] 1836. 1
67. История Российско-австр^{ийской} кампании. [Е. Б. Фукса. Спб.,] 1826. 3
68. Собрание разн^{ых} сочинений Фукса. [Спб.,] 1827. 1
69. Анекдоты Суворова. Фукса. [Спб.,] 1827. 1
70. Записки о 1812 году С. Глинки. [Спб.,] 1836. 1
71. Записки о Москве и загранич^{ных} происш^{ествиях} С. Глинки. [Спб.,] 1838. 1
72. Кратк^{ие} записки адм^{ирала} Шишкова. [Спб.,] 1832. 1
73. Кратк^{ие} записки адм^{ирала} Шишкова. [Спб.,] 1834. 1
74. Описание Отечественной войны 1812 года. Мих^{айловского}-Дан^{иловского}. [Спб.,] 1840. 4
75. История нашеств^{ия} императора Наполеона на Россию в 1812 году. [Д. Бутурлина. Спб.,] 1838. 2
76. Походные записки русск^{ого} офицера. [И. И. Лажечникова. М.,] 1836. 1
77. Записки о походах 1812 и 1813 год^{ов}. [В. С. Норова. Спб.,] 1834. 1
78. Записки походные артиллериста с 1812 по 1816 год. [Изданные Родожичским. М.,] 1836. 4
79. Записки о походе 1813 года Мих^{айловского}-Дан^{иловского}. [Спб.,] 1836. 1
80. Записки 1814 и 15 год^{ов}. Его же. [Спб.,] 1836. 1
81. Дипломатия Рос^{сийского} двора. Кайданова. [Спб.,] 1833. 1
82. История Малороссии. [Д. Н. Бантыш-Каменского. М.,] 1830. 3
83. Описание Сибирского царства. Миллера. [Спб.,] 1750. 1
84. Взгляд на историю Костромы. [Александра Козловского. М.,] 1840. 1
85. Начертание русск^{ой} истории. М. Погодина. [М.,] 1837. 1
86. История Госуд^{арства} Польского [Бантке. Спб.,] 1830. 1
87. Русская история. Н. Устрялова. [Спб.,] 1840. 4
88. Кратк^{ое} начерт^{ание} русск^{ой} ист^{ории}. М. Погодина. [М.,] 1838. 1
89. Историческое изв^{естие} о жизни и деяниях Димитр^{ия} протоиерея Зарайского. [Козмы Аверина. М.,] 1837. 1
90. Словарь достопамят^{ных} людей Русск^{ой} земли. [Д. Н. Бантыш-Каменского. М.,] 1836. 5
91. Труды и летописи Общ^{ества} истории и древн^{остей} рос^{сийских}. 1
92. Русск^{ий} истор^{ический} сборник. [М.,] 1838. 3
93. Отечественные достопамятности. [М.,] 1824. 4
94. Опы^т повеств^{ования} о древност^{ях} русских. [Г. П. Успенского. Харьков,] 1811. 1
95. Абевега Русских суеверий. [М. Д. Чулкова. М.,] 1786. 1
96. Древняя Рос^{сийская} Вивлиофика. [М.,] 1788—[1791]. 20
97. Барон Мейерберг и пут^{ешествие} его по Росс^{ии}. [Ф. Аделунга. Спб.,] 1827. 1
98. Описание торжества бракос^{очетания} Мих^{айла} Феод^{оровича}. [Издан Платон Бекетов. М., 1810]. 1
- Прод^{олжение} Древней российской Вивлиофи^{ки}. 18-й том *. 1
- Историческое описан^{ие} одежды и вооруж^{ения} российских войск. [А. Висковатова. Спб., 1841]. 1
- Акты Археогр^{афической} комис^{сии}. [Спб.,] 1841. 1
- Собрание грамот и договоров. [Издан гр. Н. П. Румянцев. М., 1813—1827]. 1
- Записки Русск^{их} людей. [Ивана Сахарова. Спб., 1841]. 1
- Памят^{ники}? Москвы. 1

* Приписано карандашом. Все последующие наименования до конца раздела также приписаны карандашом и зачеркнуты одной тонкой чернильной чертой.

III. Книги русских писателей *

1. Словарь митрополита Евгенія о писателях духовного чина. [Спб.,] 1827. 2
2. Словарь русск(их) светск(их) писателей. [И. М. Снегирева. М.,] 1838. 1
3. Сочинения Антиоха Кантемира. [Спб.,] 1836. 1
4. Русские классики. [Сочинения кн. А. Д. Кантемира. Спб.,] 1836. 4
5. Сочинения Ломоносова. [Спб., 1840]. 3
6. Сочинения Петрова. [Спб.,] 1811. 3
7. Сочинения Державина. [Спб.,] 1834. 5
8. Сочинения Богдановича. [М.,] 1818. 4
9. Сочинения Хераскова. [М., 1807—1812]. 12
10. Сочинения Фонвизина. [М.,] 1838. 1
11. Сочинения Мих(айла) Ник(итича) Муравьева. [Спб.,] 1819. 3
12. Сочинения Карамзина. [Спб.,] 1834—[1835]. 9
13. Переводы Карамзина. [Спб.,] 1835. 9
14. Стихотворения И. И. Дмитриева. [Спб.,] 1823. 2
15. Басни И. Крылова [Спб.,] 1834. 2
16. Басни И. Крылова в восьми книгах. [Спб.,] 1837. 1
17. Басни Хемницера. [Спб.,] 1838. 1
18. Опыты в стих(ах) и прозе Батюшкова. [Спб.,] 1817. 2
19. Письма к другу. Ф. Глинки. [Спб.,] 1816. 3
20. Письма русск(ого) офицера. Его же. [М.,] 1815. 4
21. Стихотворения Жуковского. [Спб.,] 1835. 8
22. Стихотворения Ив(ана) Козлова. [Спб.,] 1840. 2
23. Стихотворения Мих(айла) Дмитриева. [М.,] 1830. 2
24. Сочинения А. Пушкина. [Спб.,] 1838. 8
25. Стихотворения Евг(ения) Баратынского. [М.,] 1835. 1
26. Стихотворения Н. Языкова. [Спб.,] 1833. 1
27. Ермак. Трагедия Ал(ексея) Хомякова. [М.,] 1832. 1
28. Димитрий Самозванец. Его же. [М.,] 1833. 1
29. Илиада Гомера. Н. Гнедича. [Спб.,] 1839. 2
30. Тоска по родине. М. Н. Загоскина. [М.,] 1839. 2
31. Юрий Милославский. Загоскина. [М.,] 1839. 2
32. Аскольдова могила. Загоскина. [М.,] 1833. 3
33. Повести. Загоскина. [М.,] 1837. 2
34. Искуситель — [М.,] 1838. 3
35. Недовольные. Комедия Загоскина. [М.,] 1836. 1
36. Марлинского. Полное собр(ание) сочин(ений). [Спб.,] 1840. 4
37. — — — Русские повести и расск(азы) **. [Спб.,] 1837. 8
38. Булгарина: Пам(ятные) зап(иски) Чухина. [Спб.,] 1835. 2

39. — — — Дим(итрий) Самозванец. [Спб.,] 1830. 4
40. — — — Сочинения. [Спб.,] 1828. 5
41. — — — Мазепа. [Спб.,] 1834. 2
42. — — — Выжигин. [Спб.,] 1831. 4
43. Досуги инвалида. [В. А. Ушакова. М.,] 1835. 3
44. Ушакова: Последн(ий) из княз(ей) Корс(унских). [М.,] 1837. 1
45. — — — Киргиз Кайсак. [М.,] 1835. 2
46. Булгарина: Россия в ист(орическом), стат(истическом), геогр(афическом) и лит(ературном) отношениях. [Спб.,] 1837. 6
47. Свинына: Шемякин суд. [М.,] 1832. 4
48. Кот Бурмосеко. Ушакова. [М.,] 1831. 1
49. Свинына: Ермак, или Покор(ение) Сибири. [Спб.,] 1834. 4
50. Греча: Сочинения. [Спб.,] 1838. 5
51. Гоголя: Вечера на хуторе (близ Диканьки). [Спб.,] 1836. 2
52. — — — Миргород. [Спб.,] 1835. 2 *
53. — — — Арабески. [Спб.,] 1835. 2
54. Погодина. Повести. [М.,] 1832. 3
55. — — — Марфа Посадница. [М.,] 1830. 1
56. — — — История о Дим(итрии) Самозв(анце). [М.,] 1835. 1
57. Лажечникова: Последний новик. [Спб.,] 1839. 4
58. — — — Ледяной дом. [М.,] 1837. 4
59. — — — Басурман. [М.,] 1838. 4
60. Вельтмана: Кошей бессмертный. [М.,] 1833. 3
61. — — — Святославич вражий сын. [М.,] 1835. 2
62. — — — Сердце и думка. [М.,] 1838. 4
63. — — — Странник. [М.,] 1840. 3
64. — — — Виргиния. [М.,] 1837. 2
65. — — — Повести. [М.,] 1837. 1
66. Пестрые сказки. Безгласного. [Авт.: В. Ф. Одоевский. Спб.,] 1833. 1
67. Вельтмана: Генерал Каломерос. [М.,] 1840. 2
68. — — — Александр Филип(ович) Македонский. [М.,] 1836. 2
69. Рассказы о былом и небывалом. [Н. А. Мельгунова. М., 1834]. 2
70. Вельтмана: О господине Новгороде. [М.,] 1834. 1
71. — — — Муромские леса. [М.,] 1831. 1
72. — — — Лунатик. [М.,] 1834. 2
73. Калашникова: Камчадалка. [Спб.,] 1833. 4
74. Дух Карамзина. [Н. Д. Иванчина-Писарева. М.,] 1827. 2
75. Взгляд на старин(ную) русск(ую) поэзию. [Н. Д. Иванчина-Писарева. М.,] 1837. 1
76. Иванчина-Писарева. Вечер в Симонове. [М.,] 1840. 1

* Зачеркнуто карандашом и сверху написано: Русская словесность (карандашом) и филология (чернилами).

** Зачеркнуто карандашом.

* Здесь карандашом приписано: Ревизор.

77.	—	День в Троицк(ой) Лав-	
ре.	[М.,] 1841.		1
78.	—	Утро в Новоспасск(ом)	
мон(астыре).	[М.,] 1841.		1
79.	—	Новейшие стихотво-	
р(ения).	[М.,] 1828.		1
80.	Павлова: Новые повести.	[Спб.,] 1839.	1
81.	Похождения Мирзы Хаджи-баба.	[Д. Мо-	
риера.	Спб.,] 1831.		4
82.	Вечера на Карповке.	[М. С. Жуковой.	
Спб.,] 1838.			2
83.	Провинциальные сцены.	[Д. Н. Бегичева.	
Спб.,] 1840.			1
84.	Масальского: Черный ящик.	[Спб.,] 1835.	1
85.	—	Бородолубие.	[Спб.,] 1837.
			2
86.	—	Регентство Бирона.	[Спб.,] 1834.
			2
87.	Полевого, Ксенофонта: Мих(аил) Ва-		
с(ильевич) Ломоносов.	[М., 1836].		2
88.	Соллогуба: На сон грядущий.	[Спб.,] 1841.	1
89.	Альманах на 1838 год.	[Спб., 1838].	1
90.	—	на 1840 год.	[Н. Анорди-
ста.	М., 1840].		1
91.	—	на 1841 год.	1
92.	О Москве.	[М. П. Погодина.	
	М., 1837].		1
93.	Сенсации и замечания г-жи Курдюко-		
вой.	[И. П. Мтлева.] Тамб(ов).		1
94.	Городок в табакерке.	[В. Ф. Одоевского.]	
Спб., 1834.			1
95.	Стихотворения гр(афини) Ростопчиной.	[Спб.,] 1841.	1
96.	Сочинения Долгорукого.		4
Соч(инения) Пушк(ина) последн(ие)			3 то-
ма*.			
Сочин(ения) Лермонтова.			
Веневитинова.			
Бенедиктова.			

IV. Книги учебные**

1.	Словарь Академии Российской.	[Спб., 1806—1822].	6
2.	Продолжение Словаря Церковного.	[Протоиерея Петра Алексеева].	2
3.	Славяно-Русский Словарь.		2
4.	Русско-Франц(узский) Словарь Рей-		2
фа.			
5.	Грамматика Славянск(ого) языка		
[И. Добровского.	Спб., 1834].		2
6.	Грамматика Русская. Востокова.		1
7.	Grammaire raisonnée de La L(angue)		
Russe.			2
8.	Грамматика. Греча.		2
9.	Практические уроки. Греча.		1

10.	Ключ к практич(еским) урокам. Греч-		1
11.	Начальные правила русск(ой) грам-		1
матик).			
12.	Чтения о Словесности.	[Ивана Давы-	
дова].			3
13.	Учебная книга русск(ой) словесности.		4
Греча.			
14.	Умозрит(ельные) и опыты(ые) осно-		
ван(ия) русск(ой) словесности.	[А. Глаголева.		2
Спб., 1834].			
15.	Чтения о русском языке. Греча.	[Спб., 1839.]	2
16.	Очерки русской литературы.	[Николай	
Полевого.	Спб., 1839.]		2
17.	Общее обозрение развития русск(ой)		
слов(есности).	[Шевырева.	М., 1837.]	1
18.	Опыт Словаря русских синонимов.		
[П. Калайдовича.	М., 1818.]		1
19.	—	древних славянск(их)	
слов.	[А. Петрова.	М., 1831.]	1
20.	Собрание образцов(ых) русск(их) со-		
чинений.			6*
21.	—	—	6
22.	Новоселье.	[Спб., 1833—1834.]	2
23.	Образцы славяно-русс(ого) древлепи-		
сания.	[Издаваемые Погодиным.	М., 1840—	
1841.]			2
24.	Древние Росс(ийские) стихотворения.		
[Собранные Киршею Даниловым.	М., 1838.]		1
25.	Слово о полку Игоревом.		1
26.	Русские сказки.	[М. Чулкова.	
М., 1820.]			6
27.	Песни русского народа.	[Ивана Сахаро-	
ва.	Спб., 1838—1839.]		5
28.	Собрание русских народн(ых) песен.		
[Н. А. Львова.]			2
29.	Русские в своих пословицах.	[И. М. Сне-	
гирева.	М., 1831—1834.]		4
30.	Русские простонародн(ые) праздники		
и суевери(ые) обр(яды).	[И. М. Снегирева.		4
М., 1837—1839.]			
31.	Славянская мифология.	[А. С. Кайсаро-	
ва.	Изд. 2-е.	М., 1810 (?).]	1
32.	Русские сказки.	[В. А. Левшина.	
М., 1783.]			5

V. География**

1.	Описание обитающ(их) в России наро-		
дов.	[Спб., 1795—1796.]		2
2.	Землеописание Рос(ийской) империи.		
Зяблов(ского).	[Спб.,] 1810.		6
3.	Географический Словарь.	[Л. М. Макси-	
мовича.	М.,] 1788.		3
4.	Географическ(ие) и истор(ические)		
известия о Кавказе.	[Семена Броневского.	М., 1823.]	2

* Приписано карандашом. Все последующие наименования до конца раздела также приписаны карандашом и зачеркнуты чернильной чертой.

** Зачеркнуто карандашом и сверху написано: Языкознание, Лексикология, Грамматика.

* Карандашом отчеркнуто до конца раздела и написано: К рус(ской) словесн(ости).

** Сверху карандашом приписано: Русс(кая).

5. Записки флота капитана Рикорда. [Спб.,] 1816. 1
6. — " — " — Головнина. [Спб.,] 1816. 1
7. Картины России. [П. П. Свинына. Спб.,] 1839. 1
8. Очерки России. Пассека. [Спб.,] 1839—1840. 4
9. Путешествие в полуден(ную) Россию. Изм(айлова). [М.,] 1840. 2
10. Путевые записки Вадима. [Пассека. М., 1834.] 1
11. Письма Калайдовича об археол(огических) исслед(ованиях). [М.,] 1823. 1
12. Описание С.-Петербур(урга). Безака. [Авт.: И. И. Георги. Спб.,] 1794. 1
13. Материалы для статистики Москвы. [М.,] 1841. 1
14. Путеводитель от Москвы до С.-П(етербурга) и об(ратно). [Ивана Дмитриева. М., 1839.] 2
15. Библиотека полезн(ых) сведений о России. [Сергея Строева. Спб.,] 1836. 1
16. Опыт живописн(ого) путеш(ествия) по Сев(ерной) Америке. [Павла Свинына. Спб.,] 1828. 1
17. Замечания о Сибири. [Карнилова. Спб.,] 1828. 1
18. Историческое обозрение Нижнего Новгор(ода). [Ивана Гурьянова. М., 1824.] 1
19. Виды и приложения к Очеркам России. 1

VI. Путешествия и пр. *

1. Курс Всеобщей Географии. [Ивана Шульгина. Спб.,] 1824—[1825]. 2
2. Кратк(ая) Всеобщ(ая) География. Арсеньева. [М.,] 1841. 1
3. Лекции статистики Рославского. [Харьков.,] 1841. 1
4. Путешеств(ие) вокруг света. Литке. [Спб.,] 1836. 3
5. Живописное путешеств(ие) по Азии. Корша. [М.,] 1839—[1840]. 6
6. Всеобщ(ее) путешеств(ие) Дюмон-Дюрвиля. [М.,] 1835—[1837]. 9
7. Путешествие во внутр(енность) Китая. [Авт.: Макартней. Издал Георг Стонтон. М.,] 1804—[1805]. 4
8. Путешеств(ия) и нов(ейшие) наблюд(ения) в Китае. [Петра Добеля. Спб.,] 1833. 2
9. Историчес(ое) и геогр(афическое) опис(ание) Царства Арменск(ого). [А. Шаамирянца. Спб., 1786.] 1
10. Очерки Константинополя. Базили. [Спб.,] 1835. 2
11. Архипелаг и Греция. Базили. [Спб.,] 1834. 2
12. Путешествие по Сицилии. Норова. [Спб.,] 1828. 2

13. Записки морского офицера. [В. Б. Броневского. Спб.,] 1818—[1819]. 4
14. Письма морского офицера. [В. Б. Броневского. М.,] 1825. 2
15. Путешествие в Молдавию, Валах(ию) и Серб(ию). [Д. Н. Бантыш-Каменского. М.,] 1810. 1
16. Прогулка за границу. [Павла Сумарокова. Спб.,] 1821. 4
17. Путешествие Всеволожского. [М.,] 1839. 2
18. Записки русского путешеств(енника). [А. Глаголева. Спб.,] 1837. 4
19. Виды, портреты и изобр(ажения) к пут(ешествию) Дюм(он)-Дюрв(иля). 2
20. Виды к живописному путеш(ествию) по Азии. 1
21. История Тибета и Хухунора. [Монаха Иакинфа Бичурина. Спб.,] 1833. 2
22. Описание Чжунгарии и Вост(очного) Туркест(ана). [Монаха Иакинфа. Спб., 1829.] 1
23. Описание Тибета. [Монаха Иакинфа. Спб.,] 1828. 1
24. Записки о Монголии. [Монаха Иакинфа. Спб.,] 1828. 1
25. Предметы для художник(ов). [А. Писарева. Спб.,] 1807. 1
26. Очерки. Корнилия Тромонина. М., 1840. 1
- Путеш(ествие) по Греции Давыдова *. Китай. Иакинфа. [Спб., 1840.]
- Лепехин, Паллас, Крашениников.
- Корфа. Очерки Персии.

VII. Описание стран, народов и славных мужей **

1. Краткое руководство к познан(ию) плем(ен) чел(овеческого) р(ода). [А. Л. Ловецкого. М., 1838.] 1
2. Павсаниево описание Эллады. 3
3. Диодора Сицилийск(ого) Истор(ическая) библиот(ека). [Спб., 1774—1775.] 6
4. Древняя история. Герена. [М.,] 1836. 1
5. Лекции профес(сора) Погодина. [М., 1835—1836.] 2
6. История Древней Греции. 2
7. Плутарховы сравнит(ельные) жизнеописания. [Спб., 1814—1821.] 13
8. История Восточно-римск(ой) импе- р(ии). [И. Ертова. Спб., 1837.] 3
9. История Римская. 4
10. Изображ(ение) переворотов в полит(ической) сист(еме) Евр(опейских) госу- дарств. [Ф. Ансильона. Спб., 1838—1839.] 1
11. Изображение характ(ера) и содерж(а-

* Приписано карандашом. Все последующие наименования до конца раздела также приписаны карандашом.

** Зачеркнуто карандашом. Все наименования в разделе перечеркнуты тонкой, едва заметной чертой.

- ния) новой Ист<ории Средних веков>. [Ивана Шулгина]. 2
12. Краткое начертание Истории Света. 1
13. История средних веков, 1836. 2
14. История разн<ых> слав<янских> народов. [Спб.,] 1795. 1
15. Всеобщая историческая библиот<ека>. 9
16. Исторические афоризмы. [М. Погодина. М.,] 1836. 1
17. История первых четырех ханов <из> дома Чинг<исова>. [Иакинфа. Спб., 1829.] 1
18. История монголов. Григорьева [Авт.: Хондемир. Спб.,] 1834. 1
19. История Крестовых походов. [Мишо. Спб., 1841.] 5
20. О Перском Царстве. Варнавы Бриссония. 2
21. История Государств<вания> имп<ератора> Карла V. [Вильгельма Робертсона. М.,] 1839. 4
22. Жизнь Наполеона. [Вальтера Скотта (?).] 4
23. Записки герцогини Абрантес. [М., 1835—1839.] 16
24. Записки Буриенна. [Спб., 1834—1836.] 10
25. История Герена. [Спб., 1832—1834.] 3

VIII. Теория Словесности *

1. Чтения о новейшей изящной словесности. [Вольфа. М., 1835.] 1
2. История древней и новой лит<ературы>. Шлегеля. [Спб.,] 1834. 2
3. —" — литературы средн<их> веков. [Вильмена. М.,] 1836. 3
4. —" — еврейской литерат<уры>. Галлама. [Спб.,] 1839. 2
5. Руководство к истории лит<ературы>. [Людвига Вахлера. Спб.,] 1836. 5
6. Теория поэзии. Шевырева. [М.,] 1836. 1
7. История поэзии. Чтен<ия> Шевырева. [М.,] 1836. 1
8. Фауст Гёте. [Спб.,] 1838. 1
9. Венецианский купец. [Шекспира. Спб.,] 1833. 1
10. Король Лир. Трагед<ия>. [Шекспира. Спб.,] 1833. 1
11. Гец фон Берлихинген. Траг<едия>. [Гёте. М.,] 1828. 1
12. Отелло. Драма Шекспира. [Спб.,] 1836. 1
13. Гамлет. Трагед<ия> Шексп<ира>. [Спб.,] 1826. 1
14. Римские элегии. Гёте. [Спб.,] 1839. 1
15. Земная ночь. Драма. Раунаха. [Спб.,] 1835. 1
16. Избранный Немецкий театр. [М.,] 1831. 4
17. Новый Немецкий театр, 1838. 1

18. Невеста Ламермурская. [В. Скотта. М.,] 1827. 3
19. Сен-Ронанские воды. [В. Скотта. М.,] 1828. 6
20. Матильда Рокби. [В. Скотта. М.,] 1823. 2
21. Беглец. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1821. 3
22. Монастырь. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1829. 4
23. Ивангое. Вальт<ера> Ск<отта>. [Спб.,] 1826. 4
24. Талисман. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1827. 3
25. Эдинбургская темница. [В. Скотта. М.,] 1825. 4
26. Письма о Франции. Вальт<ера> Ск<отта>. 1
27. Вудсток. Вальт<ера> Ск<отта>. [Спб.,] 1829. 2
28. Маннеринг или астролог. Вальт<ера> Ск<отта>. 2
29. Аббат. Вальт<ера> Ск<отта>. [Спб.,] 1825. 2
30. Выслужившийся офицер. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1822—[1824]. 4
31. Владелец Островов. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1827. 1
32. Кот Мурр. Гофмана. [Спб.,] 1840. 4
33. Роб-Рой. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1829. 4
34. Поэма последнего барда. Вальт<ера> Ск<отта>. [М.,] 1823. 1

IX. Языкознание и Всезнание *

1. Полный Греко-Рос<сийский> Словарь. Ивашковск<ого>. [М., 1838.] 2
2. Российско-Франц<узско>-Нем<ецкий> Словарь Гейма. 1
3. Немецко-Рос<сийско>-Франц<узский> Словарь Гейма. 2
4. Английско-Русск<ий> Словарь Банка. [М.,] 1838. 2
5. Русско-Английск<ий> Словарь Банка. [М.,] 1840. 2
6. Итальянско-Рос<сийский> Словарь. [Павлы Криворотовой. М.,] 1839. 2
7. Французск<ий> Словарь Ольдекопа, 1841. 1
8. Энциклопедический лексикон. [Плюшара. Спб., 1835—1841] (без 13-го). 15
9. Картины Света. [Изданы А. Вельтманом. М.,] 1836. 1
10. Живописное обозрение. [Издание Августа Семена. М., 1835.] 5
11. Второй портфель для хозяев. [Павла Муханова. М., 1836.] 2
12. Письма о разных материях физ<ических> и фил<ософических>. [Леонарда Эйлера]. 3
13. О существе законов. [Монтескье. М. и Спб.,] 1810—[1814]. 4

* Зачеркнуто карандашом. Номера с 1-го по 7-й отчеркнуты карандашом. Все наименования в разделе перечеркнуты тонкой чертой.

* Зачеркнуто карандашом и сверху написано: Словари.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. XII. М.—Л., АН СССР, 1952, с. 91. Сочинения и письма Гоголя цитируются по этому изданию. В дальнейшем ссылки на него даются в тексте, с указанием тома и страницы.

² См.: Русская литература. 1965, № 3.

³ Из работ, непосредственно касающихся темы «Гоголь и книга», мне известна только одна: Чудак Г. И. Отношение творчества Н. В. Гоголя к западноевропейской литературе. Киев, 1908. Прил.:

I. «Указатель иностранных авторов, известных Гоголю (в оригинале или переводе), с обозначением некоторых источников, на основании которых можно судить об этом».

II. «Материалы для указателя произведений западноевропейской литературы, появившихся в русских переводах в течение 20-х и 30-х годов XIX столетия (По данным журналистики)».

III. «Список книг исторического содержания на иностранных языках, подаренных Н. В. Гоголем его другу Данилевскому. (По этим книгам Гоголь готовился к лекциям)».

IV. «Указатель переводных произведений западноевропейской литературы, бывших в библиотеке Д. П. Трошинского [которой пользовался Гоголь-гимназист]».

⁴ Кулиш П. А. Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854, с. 18.

⁵ Дурюлин С. Н. «Дело» об имуществе Гоголя. — В кн.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1. М.—Л., АН СССР, 1936, с. 369.

⁶ Там же, с. 371.

⁷ Там же, с. 367.

⁸ Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца. Киев, 1902, отд. III, с. 60.

⁹ Имеются в виду «Славянские древности» П. И. Шафарика, изданные М. П. Погодиным в переводе О. М. Бодянского. Первые две книги вышли в 1837-м, третья — в 1838 г.

¹⁰ Гоголь имеет в виду книгу И. М. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды», выходившую в выпусках (I—IV. М., 1837—1839).

¹¹ Имеется в виду составленная В. Г. Анастасевичем «Роспись российским книгам для чтения, из библиотеки А. Смирдина». СПб., 1828. В 1829 и 1832 гг. вышли два приращения к этой росписи.

¹² Имеется в виду «Каталог книг, продающимся в синодальных книжных лавках в С.-Петербурге и Москве». М., 1840 и 1844.

¹³ ЦГАЛИ СССР. Список книг и журналов, отправляемых в Рим для Н. В. Гоголя, к-во листов 10, ф. 2591, оп. 1, ед. хр. 385.

¹⁴ Вестник Европы, 1889, X, с. 483.

¹⁵ ОР ГБЛ, ф. 231 Погодина/I, 33, л. 43 об.

¹⁶ Гоголь в воспоминаниях современников. [М.] ГИХЛ, 1952, с. 273.

¹⁷ Там же, с. 275.

¹⁸ Имеется в виду «Розыск о раскольнической брынской вере, учении их и о делах их» Дмитрия Ростовского. М., 1745 (был переиздан в составе его «Сочинений». М., 1840 и 1842).

¹⁹ Имеются в виду два сборника проповедей Лаазаря Барановича: «Трубы словес проповедных» (1674) и «Меч духовный» (1679).

²⁰ Имеются в виду «Проповеди блаженной памяти Стефана Яворского». М., 1804—1805.

²¹ Имеется в виду «Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией». К 1843 г. были изданы тт. 2, 3 и 4 (СПб., 1841 и 1843).

²² Журнал, издававшийся с 1821 г. Петербургской духовной академией.

²³ Иордан Ф. И. Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана. М., 1918, с. 212.

²⁴ Литературное наследство. Т. 58, М., 1952, с. 808.

²⁵ См. публикацию Е. Гусевой. Александр Иванов. Письма к брату. — Советское искусствознание. 74. М., 1975, с. 340.

²⁶ ОР ГБЛ, ф. 111, 2.6, л. 50. Опубликовано: Литературное наследство. Т. 58. М., 1952, с. 808, с неточностями в тексте и ошибочным отношением к 1852 году. Впервые на неточности в тексте указала А. В. Аскориани. См.: Аскориани А. В., Машковцев Н. Г. Архив А. А. и С. А. Ивановых. — Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Выпуск 20. М., 1958, с. 53.

²⁷ См.: Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1879—1882 гг. М., 1884, с. 43—49.

²⁸ См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 5, СПб., 1892, с. 246.

²⁹ Там же. Кн. 9, СПб., 1895, с. 197.

³⁰ ОР ГБЛ, ф. 231 Погодина/I, 33, л. 20.

³¹ Там же, л. 24 об. См. также: Барсуков Н. Указ. соч., кн. 5, с. 508.

³² ОР ГБЛ, ф. 231 Погодина/I, 33, л. 33.

³³ Там же.

³⁴ Там же. Ф. 231 Погодина/II, 17.32, лл. 1—2.

³⁵ Там же, лл. 3—5.

³⁶ Там же, ф. 231 Погодина/I, 33, л. 42. Последняя фраза опубликована Н. Барсуковым. Указ. соч. Кн. 6, СПб., 1892, с. 231.

³⁷ ОР ГБЛ, ф. 231 Погодина/I, 33, л. 43.

³⁸ Имеется в виду роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году». Ч. 1—4. М., 1831.

³⁹ 20 октября 1841 г. Гоголь писал из Москвы А. А. Иванову: «Меня удивляет, что вы не получили до сих пор денег. Они посланы были к Кривцову, и Кривцов еще в августе месяце уведомил Погодина, что послал в Рим распоряжение о выдаче их немедленно. Но не знаю только, кому он дал распоряжение: Валентини [римскому банкиру. — В. В.] или кому другому. Итак, я вас прошу разыскать и принять эти деньги. Их 2000 р. (ублей)» (XI, 349). В письме из Рима, датированном декабрем 1841 г., А. А. Иванов сообщал Гоголю: «Сегодня получил я письмо ваше, где вы просите разыскать 2000 р. (ублей). Валентини ничего не знает, и таким образом я решился спросить у Кривцова: не получал ли он деньги от Погодина? На что Кривцов ответил, что в августе месяце получил письмо, где Погодин говорит как можно скорее доставить вам деньги, но вас уже в Риме не было, а Погодин не высылал обещанных денег». — Вот кн. М. П. Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806—1858 гг. СПб., 1880, с. 144.

⁴⁰ ОР ГБЛ, ф. 231 Погодина/II, 17.32, лл. 7—8 об.

⁴¹ О П. И. Кривцове и его взаимоотношениях с Гоголем см.: Гершензон М. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914.

⁴² Гоголь в воспоминаниях современников. [М.] ГИХЛ, 1952, с. 258—259.

⁴³ См.: Боткин М. П. Указ. соч., с. 230.

⁴⁴ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 5. М., ГИХЛ, 1950, с. 337—338.



Дом-музей Н. С. Лескова в г. Орле.

А. А. Грелов

Из дописательской биографии Н. С. Лескова

На закате дней Николай Семенович Лесков говорил критику М. А. Протопопову:

«Я бы, писавши о себе, назвал статью <...> «трудный рост». <...> Я блуждал и воротился, и стал *сам собою* — тем, что я есмь».

Круг личной эволюции в представлении Лескова был вполне завершен примерно во второй половине 70-х годов как «трудный рост», а далее происходил просто «рост» — шло укрепление и развитие навсегда приобретенного.

Лесков не ошибся при своем подведении итогов, наметив сближение начал и финала, усмотрев некое «возвращение на круги своя»,

которое перед исследователями предстает сегодня в осложненном идейном качестве исходных элементов.

Большое искусство напоминает пласт земли, где перевязаны и перепутаны между собой травы, цветки, корни и удержанные мелкокаеистой сетью травяных узлов, нитей гранулы почвы. Множеством ответвлений и отростков, капиллярно воссоединяется творчество писателя с обступающей его действительностью и наследством прошлых веков. Живая взгонка соков общественной, художественной, философской и научной мысли возбуждает в таланте собственные кроветворные, деятельные силы.

Творчество Н. С. Лескова целиком вмещается в эпоху, очерченную веками падения крепостного права: писатель вступил в литературу накануне 1861 года и закончил свой путь в 1895 году. Достоинство, однако, особого внимания, что литератором Лесков стал, будучи зрелым тридцатилетним человеком, что его взгляды во многом сложились до начала литературной карьеры.

Лесков был воистину «рецидивирующим» писателем, и в его искусстве периодически возникало то, что он нес в себе с ранних лет. «Возвратность» процессов лесковского творчества возбуждает естественный интерес к обстоятельствам долитературной биографии мастера, — тем более что перед нами один из субъективнейших художников, подверженный настроениям, обладавший исключительным даром самовнушения и столь же часто сливавший мемуары с вымыслом, как и фантазию с мемуаром.

1. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Всю жизнь — от колыбели до могилы — человека сопровождают бумаги: справки, свидетельства, удостоверения. Н. С. Лесков в «Автобиографической заметке» написал: «Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать. Это было прекрасное, тогда весьма благоустроенное и богатое имение, где жили по-барски. Оно принадлежало Михаилу Андреевичу Страхову...» Сын писателя, Андрей Николаевич Лесков, подкрепил эти слова ссылкой на «надлежащие документы» (которые, впрочем, не назвал) и привел в книге «Жизнь Николая Лескова» текст свидетельства о рождении и крещении Н. С. Лескова.

Второй, почти идентичный по содержанию экземпляр свидетельства обнаружен в Орле, где А. Н. Лескову так и не удалось никогда побывать, — в Государственном областном архиве.

В здании, что находится на улице Лескова, я развязывал кипы слежавшихся покоробленно-заскорузлых документов 1840-х годов, которые во время Великой Отечественной войны спасла эвакуация на Волгу. Громко, на весь читальный зал, шуршала пожухлая бумага. Среди листов, покрытых рыжей, полувыцветшей канцелярской скорописью, между личными делами и некоторыми классными ведомостями об успехах учеников Орловской гимназии, встретил дело ученика Лескова Николая, начатое 5 мая 1839 года, а в нем под № 8371 копия свидетельства о рождении и крещении писателя, датированная «сентября, 21 дня 1836-го года» и выправленная сельскими грамотеями: «Свидетельство в том, что рождение и крещение его, Николая, в метрического [Орловского уезда села Архангельского, что в Собакине, за 1831-й год книге, записанным значится так:

«У отставного коллежского ассесора (так! — А. Г.) Семена Дмитриевича сына Лескова сын Николай родился того тысяча восемьсот тридцать первого года [фев]раля четвертаго, крещен одиннадцатого числа[а], восприемник сельца Гарохова помещик коллежский ассесор сын Страхов, сие таинственно совершал священник Алексей Львов с причтом своим».

Подлинное подписал священник Варлаам Виноградов, (...) секретарь Афанасий Ильинский, справил столоначальник Соболевский»¹.

Упомянутый восприемник от купели Страхов приходился крестнику дядей: его жена, красавица Наталья Петровна Страхова, была родной сестрой матери Лескова, Марьи Петровны, урожденной Алферьевой.

Отец Лескова, Семен Дмитриевич, — судейский чиновник, заседатель уголовной палаты города Орла, дворянин, получивший дворянство за службу в Ставрополе, — был из семьи потомственных священников. Изгнанный отцом из дома по окончании семинарии за нежелание надеть поповскую рясу, он положения в жизни добился добросовестным трудом.

Почти до восьмилетнего возраста Николай Лесков большей частью жил у Страховых, где для детей держали хороших русских и иностранных учителей, и приобрел не только светские манеры, но и первоначальные основы школьных наук, раннее умение говорить по-французски. Но там же он с болезненной остротой наблюдал сцены ревности старика Страхова к жене. После смерти Страхова мальчик не вынес одной из обидных выходок опекуна и упросил родителей взять его в Орел, в родительский дом, где прежде жила наездами.

2. ОРЛОВСКАЯ УСАДЬБА ЛЕСКОВЫХ

Дом, в котором ныне находится орловский Музей Н. С. Лескова, упоминается в рассказах писателя. Автор «Несмертельного Голована» и «Пугала» с теплотой и горечью вспоминал дом «на Третьей Дворянской улице, третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом». Вспоминал сад, в котором бабушка растила цветы и пранный кануфер. Вспоминал просторный вид из сада за широким и глубоким оврагом с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом растянулся большой выгон, на нем стояли казенные магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Зрелище, открывавшееся из усадьбы, навсегда оставило след в сознании мальчика, который каждый день смотрел, как били на николаевских учениях солдат, и всегда о них плакал.

Открывая в наше время в Орле Музей Лескова, специалисты-литературоведы устанавливали местонахождение городской лесковской усадьбы, руководствуясь исключительно лаконичными мемуарными обмолвками писателя в его сочинениях. До сих пор иными документальными данными об усадьбе музейные работники не располагали. Сами ее размеры не были известны.

Дом Лесковых был продан вскоре после того, как сын-первенец Николай покинул кров Страховых. Писатель рассказывал в «Автобиографической заметке», что служебное столкновение непреклонного и неподкупного судебного следователя надворного советника С. Д. Лескова с губернатором поставило отца вне службы: «дворяне не нашли возможным его баллотировать». И тогда, судя по словам



*Господский домъ изъ села Горюховъ, орловск. гудъ
въ которомъ жилъ родной Николай Ан. Лесковъ
и тутъ же происходило его рождение.*

Дом Страховых. Рис. конца XIX в.

писателя, произошел переезд Лесковых в деревню: «Тогда мы оставили наш орловский домик, помещавшийся на Третьей Дворянской улице, продали все и в городе, и купили пятьдесят душ крестьян у генерала А. И. Кривцова, в Кромском уезде».

Так как «покупка была сделана не на наличные деньги, а в значительной степени в долг», Лесковым ради расплаты с долгами первоочередными пришлось тотчас купленную деревеньку продать, оставив себе лишь один хутор Панино. Там были «курничок» — мазанка под соломенной кровлей, сад и мельничка на крохотной речушке Гостомль, «два двора крестьян и около сорока десятин земли».

Биограф и сын писателя А. Н. Лесков описывал дело так: «В нерадушном Орле делать стало нечего. Оставаться там не позволяло и чувство горькой обиды. Лесковы продают свой орловский дом... и по санному пути² перебираются туда на преждевременное доживание»³.

Уход С. Д. Лескова со службы в суде датируется 1839 годом, и логично было думать, что тогда же был продан и орловский дом. Разыскать купчие документы под 1839 годом в до-

статочно хорошо сохранившемся Орловском архиве не удалось.

И все же они нашлись. Нашлись при более широком поиске свидетельств о быте Орла на рубеже 30—40-х годов XIX века. И в них не только датируется факт продажи лесковского дома с аукциона на вынужденных условиях, но и воскрешается трудная, поистине унижительная ситуация, которую пережила семья Лесковых.

В «Орловских губернских ведомостях» за 19-й и 26 декабря 1841 года среди объявлений и известий о продажах с публичного торга отыскалось следующее оповещение: «Орловское Губернское Правление объявляет, что в нем первый присутственный день через два месяца, считая от первого напечатания настоящего объявления в сих Ведомостях, будут продаваться (...) деревянный дом надворного советника Семена Лескова, на каменном фундаменте, с разным принадлежащим к нему строением, плодovitым садом и местом, коего меры по улице 21 саж[ень] и 2 арш[ина] в заднем конце то ж число, а в глубину онаго 50 саж[ень] (46,23 м по фасаду и 106,68 м в глубину по современной метрической системе.— А. Г.), оцененный



Орловская гимназия, в которой в 1841—1846 годах учился Н. С. Лесков. Фото конца XIX в.

по трехлетней сложности годового дохода в 1114 руб. 28 ⁴/₇ коп. серебром и находящийся города Орла 3-й части во 2-м квартале, под № 126...»⁴

Отправляясь от точной даты объявления о продаже дома, в журналах за 1842 год Орловского губернского правления удалось обнаружить дело «О продаже дома надворного советника Семена Лескова».

Может быть, из гордых престижных соображений, а возможно, надеясь, что со временем они вернутся в Орел, — тем более что детей придется учить в гимназии, — Лесковы по переезде под Кромь не решались продать свой орловский дом на 3-й Дворянской. Долг генерал-лейтенанту Александру Кривцову между тем полностью так и не был уплачен, а через два года после продажи имущества займодавец стал настойчиво требовать уплаты денег. Это было не слишком-то своевременно для панинцев: первому сыну Николаю предстояло поступать в гимназию, а детей было уже трое⁵. Тогда и было принято решение продать орловский дом. В резолюции Присутствия Орловского губернского правления, Отделение № III, от 21 февраля 1842 года можно найти указание на размер долга Лесковых генералу Кривцову: 1285 р. 71 ³/₄ коп. серебром⁶.

На помощь Лесковым поспешил их новый родственник, гусарский ротмистр Луциан (Лукиллиан) Константинов, за которого вышла замуж по смерти своего супруга овдовевшая Наталья Петровна Страхова. Конкурируя на торгах с надворным советником Александром Звездиным, Константинов поднял на переторжке первоначальную цену дома с 1125 р. до суммы, покрывавшей долг Лесковых, а 24 марта 1842 года купил дом и усадьбу за 1300 р.⁷

Быть может, и по названной причине писатель сохранил благодарную память о спорщике-парадоксалисте Константинове (см. «Несмертельный Голован», гл. 11). Дом Константинову не был нужен: через неделю он перепродал его за те же деньги поручику Василию Малярову⁸.

Долг был уплачен, хотя навсегда утрачивалось старое гнездо. Тягостные обстоятельства продажи дома больно ранили самолюбие Лескова, и он никогда не упоминал о них. Даже его сын Андрей, лучший биограф писателя, не узнал об этом.

3. ПАНИНО

Переезд в Панино поставил Николая Лескова, возраст которого был самым беззаботным, лицом к лицу с деревенской Россией. Прежде он разглядывал ее с любопытством из бабушкиного возка, когда его брали в путешествие по уединенным монастырям-«пустынькам». Теперь он с крестьянскими сверстниками жил «душа в душу». Барчонка видели трусящим на неоседланной лошади в ночное, пасущим гусей у камышистой заводи, где было «лягушачье царство», а то — у панинской водяной мельницы-толчеи, где под плотиной денно и ночно кипела вода. Он переживал вполне простонародные очарования миром, слушая перепелов, коростелей, отрясая яблони, удя гольцов, забираясь в пахучую чащу конопли, а еще — внимая рассказам мельника дедушки Ильи, который znalся с «водяным дедкой» — лешим, домовым. Становясь «чуть ли не духовидцем», однажды мальчик без памяти бежал из толченого амбара, где сидела «в пыльном повойнике и с золотушными глазами»... кикимора, и тут

же, во время бегства, был схвачен за ногу лешим, который оторвал ему каблук. Чтение священной истории, Ветхого и Нового завета, «не защищало уже (...) от веры в те сверхъестественные существа», с которыми он, «можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи».

Мир русской демонологии, знахарства, фольклора, разбудив поэтическую фантазию, навсегда входил в сердце. Вместе с тем именно в Панине, в соседних селах Добрыни, Гостомле Николке Лескову довелось увидеть воочию драмы крестьянского быта. Разваливающиеся, промерзающие зимой избы, отапливаемые по черному. Летом — засуха, обходы полей с иконами, кликушеские пророчества о голоде. Самый голод. На его глазах закалывали крестьянскую корову-кормилицу под душераздирающее голение всей семьи. По словам писателя, «группа Репина, изображающая поволжских бурлаков, представляет гораздо более легкое зрелище, чем те мужичьи обозы», которые он «видел в голодный год, во время (...) детства».

Вдобавок ко всему крепостной уклад нес суровые конфликты мужика и барина. Порой мальчику приходилось бросаться на защиту знакомых «бородачей», заслоняя их от занесенных розог. Он бывал пасхальными ночами в риге у дякона соседнего села на чтениях апокрифов, присутствовал на скрытых от помещичьего глаза богомольях, которые вершились в курных избах Орловщины, обильной раскольничьими сектами. Он узнал сельские погосты и бедные церковки с наивно-выразительной иконописью, и крепко была усвоена им крестьянская заповедь: «Ты вот что, (...) ты мужика zawsze больше всех почитай и люби слушать...»

Через много лет Лесков скажет своему биографу П. В. Быкову: «...высшая добросовестность побуждает нас относиться с особым сочувствием к крестьянам (...)» Еще в мои детские годы я видел близко страдания злополучного мужика, и рано во мне начали роиться грезы об улучшении участи несчастливцев...»

Весь этот панинский запас впечатлений, эмоций составил демократическую основу лесковской прозы. Из глубины воспоминаний писателю вечно будут звучать «путеводные колокольчики родины», волнуя, побуждая к размышлению, действию, подталкивая к поискам (по-русски широким, чтобы годились на все!) средств извлечения простого народа из нищеты, тьмы и бесправия, которыми он скован.

4. ГИМНАЗИЯ

Приехавший поступать в Орловскую мужскую гимназию в августе 1841 года, Лесков был пристроен на квартиру к повзвальной бабке Антониде Порфирьевне, жившей за мелководной речкой, которая в жару пересыхала, и ее звали кто Перестанкою, а кто Пересыханкою. Это был деревенский уголок Орла, где при домах содержались «угородцы» с овощными грядками, ягодниками и цветниками. Порфирьевна

со старой Игнатьевной, ее служанкой, судачили о купеческих родинах, о том, что пуд ржаной муки из-за недорода стоит 35 копеек, что коренной белуги в продаже вовсе нет, что за сажень дубовых дров отдай теперь 8 рублей, и, значит, печи надо по возможности топить гречневой лузгой. Квартирант из «благородных» и его «компаньон», третьеклассник, сын Порфирьевны, были предоставлены самим себе, что Лесков иногда рассматривал как серьезную помеху для своей учебы и нравственного воспитания.

Орел, каким его рисует тогдашняя местная печать, имел в 1842 году жителей 31 187, и был пестросословным губернским центром, впрочем, наполовину мещанским. Домов в городе было каменных 179 при 3212 деревянных, улиц и переулков — 81, в том числе — 26 мощенных камнем, площадей — 7 (из них одна мощеная), мостов каменных — 2, а деревянных — 11. Стояли в городе 24 церкви (все каменные), а водопровода не было, и воду брали из Оки, из Орлика и из колодцев, которых приходилось по одному на полусотню домов⁹. Имелись в Орле: публичный сад, шесть светских казенных училищ с 387 учащимися (в их списке одна гимназия и при ней один благородный пансион)¹⁰, одно духовное училище с 592 учениками (численное превосходство «духовных» школьников над «мирскими» оказывалось изрядным), больница, дом для умалишенных, смиренный и рабочий «домы».

В губернском, но почти сплошь деревянном Орле часто случались пожары: горели мелкие лавки возле гостиного двора, бани, выгорали целые улицы, и расквартированный тульский егерский полк не мог вместе с пожарной командой ничего поделывать. В отчетах тогда оправдательно сообщалось: «по тесноте устройства действовать не было никакой возможности»¹¹. Из-за июньского пожара 1841 года прекращался выпуск неофициальной части «Губернских ведомостей».

Любопытному вольноприходящему¹² гимназисту Коле Лескову хотелось побывать всюду, куда допуск учащихся разрешался, и тем паче, заглянуть туда, где быть не полагалось: на станции — где уже год, как уходили по тракту Орел—Киев тарантасы, именовавшиеся по-французски дилижансами; в пахнущих валерианой аптеках на Болховской улице; в книжном магазине Полевого... Не то напрашиваться к меднику Антону понаблюдать с ним «зодии», следить, как расписывают местные художники иконостасы церкви Никиты, как ткнут мещанки «поплёвковые» одеяла. И в оцепенении ужаса созерцать на Ильинской площади кнутобойные казни. Окно же дома отставного майора Шульца, что на Полевской площади, было своего рода витриной последних новостей: там всегда можно было увидеть фигуры дерущихся петуха и козла, и лукавые орловцы разумели, что это изображение враждующих губернатора Трубецкого и архиерея Смарагда, борьба которых шла с переменным успехом. То одолевал петух, то козел. А в монастырской

сдободке жили симпатичные люди духовного звания, совсем непохожие на «блинохватов» и «алтынников».

Но всего постояннее в гимназические годы было для Лескова безразборное чтение книг (разумеется, главным образом беллетристики) из богатой библиотеки добросердечной местной помещицы родственницы романиста К. П. Масальского (по одним данным — А. Н. Зиновьевой, по другим — А. С. Ивановой). С этого, по выражению писателя, и началось его «умственное развитие».

Орловская гимназия сразу поразила теснотой и непригодностью для учения: «классные комнаты были до того тесны, что учителя затруднялись найти ученику, отвечающему урок, такое место, до которого бы не доходил подсказывающий шепот товарищей. Духота была страшная, и мы сидели решительно один на другом». Путь младшеклассников в единственное отхожее место на черном дворе добывался «кулачным правом» или «взяткою». Того более отвращал от учебы страх побоев, потому что были учеников почти все наставники, от инспектора до сторожей. Из учителей — как исключение — с подлинно признательным чувством Лесков назовет лишь нравственно обязательного Валерьяна Варфоломеевича Бернатовича да «известнейшего из законоучителей о. Евфимия Андреевича Остромысленского» с его «добрыми уроками».

В гимназистах жил дух протеста по отношению к тем, кто воспитывал, и к тому, что преподавалось. Однажды писатель запишет: «В сороковых годах, когда я учился в школе, нам внушали, что Венгрия совершает преступление, отстаивая свою независимость. Мальчики, ничего не понимавшие в политике, выслушивали эти внушения, но плохо им верили и от чистых детских сердец сочувствовали венгерскому народу, из среды которого тогда являлись мученики и герои»¹³.

Несомненно способный подросток проучился в гимназии с 1841 по 1846 год, но прошел только трехлетний курс, притом экзамены за третий класс не были выдержаны. Предполагалась переэкзаменовка. Отказавшись от нее, Лесков покинул гимназию. Дошедшие документы позволяют уточнить, что Николай вполне благополучно отучился в первом и втором классах («был переводим по испытаниям[м] в высшие классы, из 1-го во 2-й класс в июне 1842 и из 2-го в 3-й в июне 1843 года»)¹⁴. В помесечной ведомости об успехах и поведении учеников второго класса «по части латинского языка» в графах: «Способности. Прилежание. Поведение. Сколько раз не был в классе. За что был наказан» — против фамилии Лесков соответственно значатся оценки за декабрь 1842 г.: 4, 2, 5, 2, 3; «генварь» 1843 г.: 4, 4, 5, 2; февраль 1843 г.: 4, 2, 5, 2, 3; апрель: «не был 6 [раз], оценки отсутствуют; май 1843 г.: 4, 4, 5, ...»¹⁵.

Лесков, следовательно, ведет себя в классе пристойно, способности его рассматриваются как хорошие. Иногда он готовит уроки и полу-

чает достаточные баллы. Видимо, за пропуски без уважительных оснований, нечасто, подвергается наказанию. При наступлении водополюя он, однако, старается возможно дольше не возвращаться в гимназию. В очередной передовице «Северной пчелы» 1862 года Лесков не без иронии воссоздает картину двадцатилетней давности: «Теперь весна; 17-го марта был день преп. Алексия, человека божия, день, известный в народе под названием «с гор потоки», и действительно начались потоки. Вскрылись Днепр и Ока, в Орле мост в опасном положении, и тамошние гимназисты теперь не ходят в классы, а все читают «Современник». Это самое благоприятное время для орловских гимназистов и для уважаемых ими писателей. Такой порядок прекращения уроков «за водою» существует с незапамятных пор, и существует он едва ли не по всему пространству России, но особенно в Орле, где мосты наводятся далеко не так скоро, как выгорают целые части этого центрального города хлебоброднейшей губернии, обитаемой наипросвещеннейшим дворянством. В былые годы там не было переправ по целому месяцу, и поколение тогдашних гимназистов в это время сильно развивалось при помощи сочинений покойного Сеньковского...»¹⁶.

30 июня 1843 года на торжественном акте в честь окончания «частных испытаний», проходивших с 20 мая, законоучитель протоиерей и магистр богословия Остромысленский произнесет в отпиромом лишь по актовым дням парадном зале речь «о том, от чего бывают иные дети неблагонаправны». Мораль пастыря выслушивается гимназистами с нетерпением. После чтения сочинений в прозе и стихах, переводов на русский, латинский, немецкий и французский языки, выполненных воспитанниками гимназического пансиона и вольноприходящими учениками, после выступлений учителя словесности и инспекторов, наконец-то зачитываются имена «переведенных в высшие классы»¹⁷. Среди них — Лесков. Впереди лето, свобода, Панино!..

Но третий класс оказывается роковым. «Живи родители в Орле, а он (Николай. — А. Г.) в своей семье, при властной и зоркой матери, дело шло бы иначе», — справедливо полагал А. Н. Лесков¹⁸. Правда, панинский отрок еще держится на тройках по некоторым предметам. К примеру, по алгебре¹⁹. Зато по истории в графе «Прилежание», где, собственно, и оценивались успехи, тянутся вереницей двойки за октябрь, ноябрь, декабрь 1843 года, за январь и февраль 1844 года. В марте и апреле появляется спасительная тройка, а затем следует провал в мае.

Лесков остается на второй год.

Что касается истории, то положение меняется в лучшую сторону в новом учебном году, но опять — ничего блистательного: тройки — в декабре 1844-го, в феврале и апреле 1845 года, лишь в январе и марте — четверки²⁰.

Трудно судить, не имея классных журналов, как шли занятия по другим предметам и как они шли через год, когда началось психологи-



Присутственные места в г. Орле. Фото конца XIX в.

чески мучительное вторичное повторение третьего класса. Итоговые же данные, извлекаемые из ведомости успеваемости учащихся по журналу заседаний совета гимназии за 1846 год, неутешительны.

Закон божий, география — 4. Русский язык, латинский язык, французский язык, история — 3. Немецкий язык, геометрия — 2. Алгебра — 1. Поведение — 3. «Общее число шаров — 25. Среднее число шаров — 3». «Заключение: оставить»²¹ (не — «перевести»!).

20 мая 1846 года отец Лескова обратился в дирекцию гимназии с прошением об «увольнении» сына и выдаче ему «свидетельства о его происхождении и аттестата о его успехах в науках по последнему экзамену»²². Просимые документы были выданы, и в канцелярских книгах 31 августа 1846 года был дважды повторен первый из известных сегодня автографов будущего писателя: «Подлинное свидетельство получил ученик Лесков»²³.

Документ об учебе был незавидный. Даже при определении на службу «при испытании <...> на первый классный чин» он освобождался лишь от экзамена «из священной и церковной истории и арифметики». Об университете же для него, как для лица, не кончившего полного курса гимназии, не может быть и речи: слишком «несвоевременно и длительно» он «учился праздновать»²⁴.

Но, кто знает, может быть, стоит привести в оправдание часто «праздновавшему» отроку русскую пословицу: «не бывает худа без добра»... Писатель, наверное, не зря говорил корреспонденту В. В. Протопопову: «Я полагаю, что моя литературная деятельность явилась результатом большой начитанности в детском возрасте; она установилась так же постепенно, как постепенно и подготавлилась»²⁵.

Николаю Лескову было 15 лет. Вчера покинув одну учебную скамью, где три года подряд

он добросовестно отставал от своих ровесников, Лесков не желал пересаживаться на какую бы то ни было другую.

Поступить, как советовал отец, на службу? Хотелось независимо жить, просто жить, покончить с ненавистным школярством.

Так и произошло, но лишь через год. А пока, предчувствуя мучительные объяснения с матерью и все же веруя, что худшее позади, он возвращался в родное Панино.

5. ОТРОЧЕСТВО. ДВА ГОДА СЛУЖБЫ В ОРЛЕ

Лесков с некоторым вызовом писал о себе: «Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе на гостомельском выгоне, с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непросто ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги <...>. Я не верю, чтобы попovich знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика».

Знание это складывалось не сразу, но панинским годам должно быть оказано предпочтение. В раннюю пору, когда стихийно закладываются самые глубокие основания натуры, близость к народу позволила Лескову сродниться с его душевным миром. Позднее с этим фундаментальным знанием воссоединялся новый опыт. Писатель обретал право строго судить, дифференцировать произведения других мастеров, оценивая их по степени «проникновения в... святая святых» трудящегося человека.

Лесков целый ряд своих произведений от-

носил к серии «гостомельских воспоминаний». Названным подзаголовком помечены «Язвительный», «Ум свое, а черт свое», «Погасшее дело», «Житие одной бабы». Орловщина и Орел — родина героев и место действия «Овцебыка», «Соборная», «Очарованного странника», «Леди Макбет Мценского уезда», «Несмертельного Голована», «Пугала», «Юдоли», «Дворянского бунта в Добрыньском приходе», «Грабежа», «Расточителя». Орловские пейзажи и персонажи вторгаются в «Некуда», «На ножах», «Мелочи архиерейской жизни», «Котина Доильца и Платонида», «Левшу», «Воительницу», «Тупейного художника», в «Смех и горе», «Захудалый род», «Продукт природы», «Чертогон». Орловские детали, обмолвки, при словы к случаю рассыпаны по всему творчеству Лескова, включая газетную публицистику и эпистолярное наследие. Сила притяжения орловской земли испытывалась писателем повсечасно.

Потом придут Киев, Пензенщина, Петербург. Но расширение впечатлений от поездок по всей Руси еще более укрепит Лескова в той мысли, что каждый русский край самобытен и что совершенно необходимо знание его «интимных» подробностей: человек и край, сливаясь в нерасторжимость, образуют особую социально-этнографическую среду.

Знаменательный разговор ведут между собой чиновники губернской орловской канцелярии в рассказе «Язвительный»²⁶.

Расспрашивая вновь прибывшего управителя княжеских имений господина Дена, англичанина, чиновники интересуются: «Вы давно в наших краях?»

И слышат в ответ: «Я первый раз в О-ской губернии... Но, впрочем, я полагаю, что О-ская губерния то же самое, что и Воронежская и Полтавская, в которых я управлял уже княжескими имениями».

С управителем не могут согласиться:

«— Ну, не совсем,— отозвался один помощник правителя канцелярии, слышавший у нас за политико-эконома.

— В чем же резче всего проявляются особенности О-ской губернии? — отнесся к нему Ден».

Ему отвечают с той уклончиво-неопределенной многозначительностью, с тем замысловатым «себе на уме», которое вообще характерно для бывалых лесковских героев, не сразу демонстрирующих свой «такт» — житейскую опытность и умудренность: «Да во многом».

И когда *Стюарт Яковлевич Ден* пытается прилагать к орловским мужикам и их традициям свою «систему» организации труда (и параллельного — весьма энергичного! — нравственного перевоспитания), уже опробованную в иных губерниях, все окажется неожиданным и непредвиденным. Орловская губерния — это целая страна в стране России. И таких внутридеревенских русских стран немало, и все они требуют пристального изучения.

Лесков выступит писателем-«областником» и в том смысле, что он открывает орловскую

Русь, и в том, что открывает *свою* Орловщину. Он устанавливает свои тонкие опосредованности психологии человека краевым фактором, которые по-своему выявляли Тургенев, Писемский, Мельников-Печерский, Лев Толстой, Достоевский в орловских, тульских полях, в костромских лесах, в приволжских и кавказских горах, на петербургских «стогнах». Своим письмом от 7 декабря 1864 года по поводу послышки в редакцию «Эпохи» «Леди Макбет нашего уезда» Лесков извещал Н. Н. Страхова, что предлагаемая художественная вещь — один из серии очерков «типических женских характеров нашей (окской и частью волжской) местности», то есть как бы настаивал на необходимости тщательного исследования в искусстве впаивности человека в среду.

Покидая гимназию и направляясь вновь в Панино, Лесков, сам того не зная, возвращался в мир, который делает его великим художником. Ему надо было вновь увидеть, как бежит меж хлебов дергач, чтобы его вспомнил Иван Северьянович Флягин. Надо было услышать ливенских, кромских крестьян, мценских мещан, елецких купцов, чтобы они заговорили в прозе Лескова речью, каждое слово, интонация, пауза которой истинны: они выражают характеры и их поведение. Надо было опять заглянуть в курную избу, в спертом воздухе которой мучились удушьем мужики, бабы, дети, чтобы резко и бескомпромиссно зазвучал его голос против дворян-прожестеров, учивших мужиков лечиться принятием сажи внутрь. Пóры памяти его вновь насыщались переживаниями, от которых закипала ненависть к крепостническому строю жизни.

В Панине гимназист-неудачник провел почти год.

30 июня 1847 года Николай Семенов сын Лескова, шестнадцати лет, православного исповедания, из дворян, вступил в казенную службу — занял должность писца 2-го разряда в Орловской палате уголовного суда. Жалованья было ему положено на год 36 рублей серебром. В формулярном списке чиновников за 1847 год против фамилии нового канцеляриста значилось, что имения «у родителя его в Кромском уезде 8 душ и 40 десятин земли, что в походах против неприятеля он «не был», равно как и в штрафах или под судом, что к продолжению статской службы «способен», но к повышению чина «по краткости служения (<...> не аттестуетс»²⁷.

Через два года в аналогичном списке «о службе чиновников и канцелярских служителей по министерству юстиции за 1849 год» отчетливо Николая Лескова пишется по-дворянски, с «вичем» (не «Семенов», но «Семенович»), числится он с 28 июля 1848 года писцом 1-го разряда, определен с 27 сентября того же года помощником столоначальника, жалованья ему назначено 72 рубля, и произошли эти благодетельные служебные перемены «по представлении им документов о дворянском его происхождении»²⁸. Как видим, даже документы о дворянстве Лесковым-отцом не были своевре-

менно выправлены: он не слишком-то уважал дворянское сословие (об этом сын-писатель упоминает неоднократно), да и сам, по фамильной традиции, назовет в одной из первых корреспонденций приобретенный сословный титул «дворянскою кличкою»²⁹. А вскоре служба в орловском суде будет окончена: 7 сентября 1849 года Лесков уезжает в отпуск в столицу Украины и там 28 сентября подает прошение о переводе своем в Киевскую казенную палату.

Видимо, судебным чиновником Лесков стал не без протекции отца, имевшего старые связи. Но краткая служба оказалась отнюдь не бесполезной и для будущего художника слова. Протоколы судебных дел специфическим стилем рассказывают, чем жила, о чем судила, рядила канцелярия уголовного суда. Через нее проходили дела о разорении крестьян помещиками и об убийстве помещиков крестьянами, о взятии в опеку имений за жестокость господ по отношению к живым душам и осылке мужиков в Сибирь по требованию душевладельцев. Ежедневно слышалось: одних крепостных наказывали розгами и отправляли за побег в исправление в арестантские роты, других всего лишь задерживали с фальшивыми кромскими «видами» (паспортами) на излюбленной трассе побегов — между Орлом и Киевом. Мужиков судили за бродяжничество, за членовредительство с целью избежать рекрутчины, за корчемство, приставов — за взятки, купцов — за насилие над служанками, раскольников — за оскотления, за венчание помимо церкви. Из поступивших доношений выяснялось, что среди помещиков были люди столь же, а может быть, и более темные, чем неграмотные крестьяне. По рапорту одного исправника заведено было дело по обвинению помещицы Г. Лапушкиной в разрывании могил для варки колдовского приворотного зелья из черепов — «чтобы крестьяне» от нее «не бегали, а которые находятся в бегах сами бы возвратились к ней»³⁰. Жизнь превосходила своей изобретательностью изощренную фантазию, представляла простейшие аргументы для объяснения невероятных происшествий. Она толкала к размышлению над тем, о чем Лесков расскажет криминальными сюжетами «Погасшего дела» и «Леди Макбет Мценского уезда». Жизнь несла знание мира, где безнравственность и безынность рвали на себе рубаху перед застегнутым на все пуговицы николаевским судьей.

1847 год, когда Лесков стал самым малым чиновником, еще крепче привязывает его к книге. Несколькими неделями ранее его поступления на службу в Орле появился высланный из Киева за участие в Кирилло-Мефодиевском обществе Афанасий Васильевич Маркович и вскоре стал одним из самых интересных людей орловского образованного круга. Широко эрудированный в вопросах культуры, увлеченный украинским фольклором и словесностью, он, по признанию Лескова, «обладал умением заинтересовывать людей литературою».

Но о Марковиче Лесков произнесет не толь-

ко эти, а и гораздо более весомые слова: писатель считал, что человеку этому, которого «очень хорошо знал и любил», он «обязан (...) всем (...) направлением и страстью к литературе».

Лесков был пылок, и — повторим — его оценки подчас могли носить минутный характер. Не приходится, однако, сомневаться, что сосланный украинский этнограф существенно продвинул вперед литературное образование азартного книгочея.

Встречи происходили, видимо, и в доме бывших соучеников Лескова братьев Якушкиных и — наичаще — в доме помещицы Е. П. Мордовиной (к ней приехала в середине 1848 года М. А. Вилинская, ставшая позднее женой А. В. Марковича и известная затем под псевдонимом Марко Вовчок), у которой бывали также П. В. Киреевский, М. А. Стахович. Образовалось подобие кружка, в котором все вращалось вокруг литературы и народной поэзии³¹. Тогда же впервые Лесков услышал имя и запрещенные стихи Тараса Григорьевича Шевченко.

Есть основания интерпретировать высказывание Лескова в 1883 году о влиянии на него Марковича не только узколитературно, но и в более широком мировоззренческом смысле: оно принадлежало человеку, который шел все далее (хотя, как и всю жизнь, непоследовательно) по пути разрыва с церковной ортодоксией и страстно искал нравственного обновления родины в согласии с христианским вероучением в его демократическом варианте, освященном народной историей, трудовой практикой. При таком взгляде на взволнованную фразу Лескова о том, что он обязан Марковичу своим «*направлением*», уместно припомнить некоторые моменты биографии писателя, согласующиеся с его заявлением о долгих годах идейных блужданий, откуда он «воротился» к исходным началам.

Лесков признавался, что в нем «с детства» жила религиозность, «притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала (...) мирить веру с рассудком».

Наряду с прямым религиозным влиянием родной семьи сказывалось влияние, привнесенное книгой. «Сто двадцать четыре священные истории из Ветхого и Нового завета» — «запрещенная» апокрифическая книга, взятая отцом у орловского купца Ивана Андросова, и изданная в XVIII веке книга «страстей» Христовых рассказывали новозаветные легенды по-иному, нежели канонизированные церковью и дозволенные к распространению в широкой публикации. Это вызвало в мальчике острое любопытство и породило вопросы, на которые он начал искать ответов. Будучи учеником первого класса Орловской гимназии, Лесков искал эти ответы в книге, жадно читавшейся им (это не забывается и через двадцать лет), — «Чтение из четырех евангелистов»³².

Так замерцал интерес Лескова к религиозно-философским и богословским проблемам в сфере народной жизни, из которых последние, по видимому, получили для него уже в детские годы особое значение, в частности, в связи с пе-

реселению на Кавказ раскольников из окрестных Панину сел Орловской губернии. В 1863 году Лесков напишет: «Гостомельские хутора, на которых я родился и вырос, со всех сторон окружены большими раскольничьими селениями. Тут есть и поповщина и беспоповщина разных согласий и даже две деревни христовщины (Большая Колчева и Малая Колчева), из которых лет около двадцати, по распоряжению тогдашнего правительства, производились бесчисленные выселения на Кавказ и в Закавказье. Это ужасное время имело сильное влияние на мою душу, тогда еще очень молодую и очень впечатлительную. Я полюбил раскольников, что называется, всем сердцем и сочувствовал им безгранично. С этого времени началось мое сближение с людьми древнего благочестия, не прерывавшееся во все последующие годы...»³³.

Разномыслие с церковностью зарождалось как теплота сочувствия к людям, гонимым церковью и государственной властью, как пылкость к их верованиям, литературе, обрядам. Необъяснимому противоречию между официальным учением и демократическим религиозным волюнтаризмом предстояло разжигать в отроческие годы Лескова его интерес к христианам-иноверам, и чем далее, тем более превращаться в русское идеологическое климате XIX столетия в демократически-оппозиционное религиозно-философское умонастроение. Последнее обнаружит родство со взглядами Л. Н. Толстого и крестьянства, отвергавшего догматику церковного правоверья.

В процессе эволюции мировоззрения Н. С. Лескова встреча с А. В. Марковичем могла иметь значение дополнительного стимула к работе мысли будущего писателя в направлении социальной актуализации христианского этического кодекса.

Несмотря на разгром Кирилло-Мефодиевского общества, едва ли Маркович внутренне отрекся от некоторых убеждений, отраженных некогда программой организации, а в ней есть элементы созвучия демократической критике режима, к которой придет Лесков. В идеологии кирилло-мефодиевцев современными исследователями усматривается отраженный свет христианского социализма, в том числе его «идей христианского демократизма, идей равенства» людей³⁴. «Мирная пропаганда в духе религии Христовой, распространение просвещения в народе»³⁵ — путь реализации пунктов программы общества, избранный его членами. Пункты же эти, по выражению шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова, доказывались «текстами священного писания, превратно истолкованными»³⁶.

Возможность достаточно доверительных бесед Марковича с молодым Лесковым — а он уже в Орле «очень хорошо» узнал и полюбил своего старшего друга — весьма вероятна. Не оттого ли Лесков говорил, что «прожил (...) отрочество» в «лучших мыслях»? Не потому ли при упоминании Марковича писателем речь шла не просто о его «превосходных душевных качествах», а и о влечении «к нему сердце чу-

жих к добру людей»?..³⁷ Во всяком случае, нацупывая в биографии Лескова первичные признаки той антицерковной религиозно-философской ориентации, того мировоззренческого «направления», которое явственно обнаруживает читатель в особенности в его произведениях с 1870-х годов, но которое внушительно заявило о себе уже в публицистике и прозе 1860-х годов, — игнорировать роль А. В. Марковича в идейном формировании писателя нельзя, несмотря на бедность прямых данных.

Несомненно также, что не только «обольстительные рассказы» орловской родни киевских аристократов «о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни», а и отношение Марковича к живущему кипучей умственной жизнью Киеву сыграло не последнюю роль в решении Лескова расстаться с Орлом. Правда, в этом решении было и прозаическое искание более обеспечивающего материально места службы. Оно оказывалось теперь особенно нужным: в июле 1848 года скончался отец. Старший сын, если и не оставался единственным кормильцем, должен был серьезно задуматься о своей роли в семье: рядом с матерью на хуторе проживали еще пятеро детей, а один брат учился в Орловской гимназии³⁸.

Естественно было искать помощи у дяди, Сергея Петровича Алферьева, киевского профессора медицины. Прочное положение С. П. Алферьева в киевском интеллигентном кругу и обусловленные «коммуникабельной» профессией отношения, как предполагалось, могли ускорить продвижение племянника по службе.

После поездки в Киев, где было подано упоминавшееся прошение о переводе в Киевскую казенную палату, Лесков извещен, что просьба его удовлетворена. По зимнему санному пути накануне нового, 1850 года Николай Лесков с кучеренком Матвеем, панинским крепостным, уезжает из Орла. Между прочим, увозятся от Марковича «рекомендации к ценным людям»³⁹.

6. В КИЕВЕ

В час встречи нового, 1850 года Лесковы были исполнены самых радужных надежд. И Киев не обманул их. Алексею он дал высшее медицинское образование. Для Николая «в течение десяти лет крику» являлся такой «житейской школой», что однажды писатель противопоставительно скажет: «Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем (...) переехал в Киев». Без Киева того редкостно яркого художника, каким мы знаем Лескова, не было бы.

Многозвонно-шумный, разноликий, пьянящий колоритами, Киев хлынул в отверстие для впечатлений юную душу орловца. На всех широких улицах, папертях, горках, площадях, в крохотных двориках над Днепром, в кривых овражках плескалось буйное, вовлекающее в

свой водоворот, сценическое действо южнорусской столицы.

А в доме дяди-профессора, помещавшемся бок о бок с Михайловским монастырем, ютиться пришлось в чуланчике: к племяннику, оставившему гимназию, Алферьев не благоволил. Темпераментный Николай уже сорвался еднороды со стези трудолюбия и терпения. Оставалась надежда на воспитание его службой под началом строгого шефа Киевской казенной палаты А. К. Ключарева: Лесков был определен по рекрутскому столу ревизского отделения казенной палаты помощником столоначальника.

Юный Лесков скоро узнал натуру Ключарева, «сурового и сухого формалиста», не обличавшего «слабостей сострадательного сердца»: он тревожился за свою комнатную собачонку, которой «собственноручно ставил (...) промывательное», но подчиненным не привелось увидеть, «чтобы в его сухом, почти жестоком лице дрогнул хотя один мускул, когда он выгонял со службы многосемейного чиновника».

Служба не требовала «высших соображений», но была по сезонам труднее или вольготнее: между рекрутскими наборами легчало. Когда же шло очередное забривание под красную шапку, Лесков, определенный к делопроизводству, «не жил никакою человеческою жизнью», имея в сутки «час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна». На молодом чиновнике лежало все, что требовало «какой-нибудь сообразительности и знания законов»: Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут не осматривали), надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступающих запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов».

Должность «мучительная, трудная и ответственная» заставляла находиться в самом «море стонов и слез» в течение трех-четырех месяцев. А производство по служебной лестнице?.. Это производство двигалось по-черепаши. Только на четвертый год киевской службы Лесков становится коллежским регистратором, то есть получает чин 14-го класса, низший классный гражданский чин, после чего наконец назначается столоначальником казенной палаты.

И все же параллельно службе, а отчасти и благодаря ей шло неуклонное, развивавшее личность постижение многосторонностей Киева, его нравов, бытовых стихий, культурной жизни.

Лескова пленял самый облик города: возно-



Н. С. Лесков. 1860 г.

сивший златые главы Печерск, колокольно перезванивавшийся с церквями и монастырями, и «облегавшие его урочища, которые были застроены как попало, но очень живописно», образуя «старенький серый Киев». Особливая физиономия была и у полных водоплавающей птицы, непроезжих — по причине хронической непросыхаемости — «шияновских» улиц, и у «живописных надбережных хаток, которые лепились по обрывам над днепровской кручей», и в аллеях рослых тополей, и в тихих куртинах верхнего сада. На печерском базаре бежала из уст в уста простонародная молва об очередных подвигах полковника Берлинского — защитника бедных людей от «Вибики» (киевского губернатора Бибикова), так и сверкали блестящие игры русским, украинским, польским словом, самое переплетение которых непроизвольно подталкивало к каламбуру; на семинарской латыни развертывались прения по поводу цен на гусей и поросят. В присофийских мазанках со слеповатыми окошками теснилось племя богомазов либо художников неожиданных, но необходимых киевскому демосу ремесел. Тут с дипломированным академиком Санкт-Петербургской академии художеств, который тщательно зарисовывал акварелью недавно открытую лаврскую древность, встречались

мастера, умевшие придать новой дранке ветхий вид за счет «химии» из коровьего помета и «разнеженных овсяных зерен».

Здесь уживались талантливость и безалаберность, университет и молитвенные хлевушки раскольников, библиотечное заведение Павла Должикова под вывеской «Аптека для души» и уютные хатки «бессоромных крестовых дивчат», «жестоковейность» местечковых раввинов в долгополых лапсердаках и эфемерная великосветская филантропия...

Чиновник невысокого ранга, приставленный к делу, которое показывало «натуру жизни, Лесков одновременно принадлежал к семье, где сходились киевские интеллектуалы, где обсуждались научные, культурные, политические новости. Рекомендации Марковича, совсем недавно окончившего университет и хорошо известного профессорам, по-видимому, тоже сыграли свою роль. Как вспоминал Лесков, молодые профессора «университетского кружка» с «благорасположением и доверием» отнеслись к юноше, «и от них он услышал подробностей той «истории», которая была у всех на устах и «по которой были арестованы в Киеве несколько лиц, и в числе их (...) Тарас Григоревич Шевченко».

Лесков услышал весьма остро изложенный рассказ о фарисействе киевской профессуры в эпизоде с «увольнением» Шевченко из Временной комиссии для разбора древних актов. Состоявший в комиссии рисовальщиком, поэт-художник был схвачен полицией, и его требовалось «выключить» из казенной должности задним числом. Угодничая перед генерал-губернатором, профессор Н. А. Иванисhev проявил иезуитскую находчивость. Он избрал «определение, приравнявшее политический арест... неяске на службу по неизвестной причине» («без всякого согласия комиссии отлучился из Киева и по комиссии не занимался»).

Память юного Лескова⁴⁰ фиксировала подобные рассказы, чтобы откликнуться на них литературным эхом, когда о событиях «глухой поры» будет можно высказываться печатно⁴¹.

Наверняка четкого «состава» у «кружка» университетских ученых, которых будущий писатель встречал и в доме дяди, и изредка приватно слушал в стенах университета, не было. Среди этих носителей либерально-демократических, антикрепостнических взглядов находились те, чье влияние на Лескова осталось неизгладимым. То в автобиографии, то в мемуарных и полумемуарных очерках, то в художественных произведениях Лесков вспоминал «особое дружественное руководство» профессора сельского хозяйства и лесоводства Игнатия Федоровича Якубовского, который увлекся «даровитостью» своего ученика «и занимался им с большой любовью». Яркими личностями, возбуждавшими интерес к науке и культуре, остались в сознании Лескова законоведы Савва Осипович Богородский, Николай Иванович Пилянкевич и Иван Мартынович Вигура. «Повивальную» роль в судьбе Лескова-журналиста предстояло сыграть профессорам

анатомии Александру Петровичу Вальтеру и Николаю Илларионовичу Козлову. Были в том же университетско-профессорском кругу и другие знакомства, но не все они достигали теплоты близости. Видимо, но возникло в этих случаях взаимного ощущения талантливости, на котором не однажды завязывались у Лескова отношения с крупными людьми.

Среди киевских знакомцев Лесков впоследствии многократно с особенным восхищением писал об «известном статистике Дмитрие Петровиче Журавском», который был не только ученым, опережавшим век в специальной области, но и горячим патриотом освобождения крестьян, абolicционером. В дни киевской юности Лескова Журавский оказался для будущего писателя «едва ли не первым живым лицом», научившим его «понимать, что добродетель существует» не только в теории, «не в одних отвлечениях»: все личные средства Журавский тратил на выкуп крепостных из неволи⁴².

Как можно заключить по статье «Из глухой поры», написанной четверть века спустя и посвященной переписке Д. П. Журавского середины 1840-х годов, Лескову импонировала в ученом деятельная любовь к человеку, «чистота и смелость его суждений». Он относил его к «горсти благородных людей «глухой поры», «слывших опасным мечтателями» за хлопоты «о праве бесправных». Размышляя над письмами Журавского, Лесков скажет: «Честные труженики Русской литературы, доля которых всегда была тяжка и сурова, конечно, увидят в задушевных воздыханиях Журавского много каждому из них знакомых скорбей и, может быть, в сем образе страдания черпнут живой струи, властной хотя на несколько часов облегчить болезни унижения и беспомощности, составлявшие доселе удел русского писателя, работающего на пользу родины по велению своего разума, совести и чести...»⁴³. Молодой Лесков в киевскую пору, может быть, не предвидел, что образ Журавского он пронесет через годы как воплощение гражданского идеала. Но острое сознание того, что в его жизни произошла встреча с очень большим человеком, пришло к нему достаточно рано. Об этом свидетельствует, между прочим, и его протест против эгоизма «верхов» и влечение к социально-экономической науке, обнаруживающиеся в самых первых публикациях Лескова.

Киевские годы знаменуются качественно новым, сравнительно с орловским периодом, интересом к знанию, и в воспоминаниях о прошлом применительно именно к этой поре впервые у писателя заходит речь о европейской философии. «Тихие куртины верхнего сада» Лесков именует в «Печерских антиках» «лицедем»: здесь «у нас был свой лицей. Тут мы, молодые ребята, бывало, проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, — кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, о «чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом...». Кто были эти «мы», установить невозможно. Скорее всего является пред-

положение, что Лесков подразумевал студенческую молодежь⁴⁴.

Вероятно также, что как раз к этому времени относится знакомство Лескова с концепциями Роберта Оуэна, упоминаемого впервые в статьях писателя 1861—1862 годов. Лесков задним числом утверждал: «редко кто из нас — молодежи сороковых годов — не вдохновлялся до упоения» Оуэном — «превосходным гуманистом и добросовестным применителем на практике чисто социалистических (не революционных) теорий в Нью-Ленарке, о котором получались «контрабандные известия, преимущественно по изданиям А. И. Герцена». При этом, однако, Лесков и близкая ему молодежь «считали Роберта Оуэна», с одной стороны, «неисправимым социалистом», а с другой — поклонником культа «Цереры, Помоны и сродников их»⁴⁵. Интересно также ироническое упоминание Лесковым того, что в некоем университетском городе он «выучился петь одну латинскую песню, прочитал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабёфа». Явно к киевскому же периоду относится Лесковым начальное его увлечение Герценом, которого он называет «автором, овладевавшим некогда моею молодою душою», и о котором пишет: «Я с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, был жарчайшим поклонником таланта этого человека», человека «глубоких симпатий и (...) крупных дарований». Правду сказать, полагая свою эрудицию более основательной, нежели у автора «Дилетантизма в науке» (а, как показывает огромнейший соответствующий «именослов» к сочинениям Лескова, его осведомленность в литературе по философии была действительно обширной), писатель с некоторым самопредпочтением отвечает в 1873 году о философской базе сочинений Герцена: «Чем бы кто себе ни представлял этого раба своих величайших заблуждений, он все-таки человек с далеко недюжинным умом, замечательным остроумием, с начитанностью и даже с некоторым философским образованием»⁴⁶.

Но Лесков в киевские годы воистину серьезно помышлял о занятиях наукой, притягивавшей его строгостью метода анализа явлений. Одно из его зрелых высказываний доносит весь жар возмущения молодого ума безнравственными и антинаучными установками университетской киевской администрации, более всего опасавшейся появления у своих питомцев самостоятельной и саморевизующей гуманитарной мысли. Не называя города, писатель прозрачно скажет о Киеве: «...кому, например, из студентов одного из наших южных университетов неизвестно, что главный начальник этого университета (лет двадцать назад) (это как раз приходится на начало 50-х годов. — А. Г.) любил повторять подчиненным ему юношам такую речь: «кутите, развратничайте как хотите, и я все это вам прощаю; но историческую критику у меня не смей заниматься!»⁴⁷.

Лесков в Киеве живет наисовременнейшими умственными тревожениями, соприкасается

с богатым фондом научных, философских и общественно-политических идей.

Определенную роль в его эстетическом и гражданском воспитании играет вольнолюбивая запретная поэзия Шевченко, любовь к которой крепнет. Нелишне заметить, что друзья поэта становятся его друзьями, и в их числе сын казака из Пирятина, бывший лаврский иконописец, а затем петербургский художник-академист Иван Васильевич Гудовский. Кстати, общение с Гудовским дорого Лескову тем, что в нем вновь заговорила пробудившаяся в Орле страсть к живописи. Лесков подолгу рассматривает одноликие «икон-портреты» над печерскими гробницами святых, исполненные иеромонахом Иринархом, и входит во вкус однообразного стиля иконописной живой старины. Он любит искусство реставраторов, освобождающих из-под слоев поздних записей подлинны фрески Софии XI века; искусствоведчески судит о работах академика Ф. Г. Солнцева. Ему кажется, что и в нем самом живет дар изографа, и он берет уроки гальванопластики в лаврской типографии.

Лесков-киевлянин ненасытен и разбросяно-жаден в погоне за знаниями. Он пытается десятикратно, стократно компенсировать, наверстать то, что не было взято в гимназический час. Он стремится всеми силами приобщиться к тому, что дает университет и город, названный им «колыбелью просвещения всего русского народа».

От живописи он бросается к русской и украинской литературе, увлекается словесностью Польши. Лесков — с присущим ему преувеличением — даже будет говорить позже, что «в крае, где польская цивилизация очень уважалась», он провел «половину (...) юности в польском кружке»⁴⁸. Этим удобно объяснять и свободу его польской речи, и стилистическую любовь к полонизмам, и великолепное знание произведений польских писателей разных эпох.

Племянник профессора Алферьева Николай Лесков — непререкаемый участник благотворительных спектаклей: в постановках «Ревизора» он играет Добчинского или Бобчинского, обнаруживая талант комического перевоплощения, проявившийся позднее с таким блеском в его творчестве и застольно-беседных устных рассказах.

И была еще одна сторона духовных интересов будущего писателя, зачастую притеняемая исследователями киевского периода жизни Н. С. Лескова, но не забывавшаяся в воспоминаниях самим мастером.

В Киев стекались тысячи простолюдинов, дабы поклониться мощам печерских угодников, запастись «иммунитетом» от социальных невзгод. Город служил местом дискуссий между посланцами различных раскольничьих общин. И прежде наблюдательный, Лесков неизбежно становится в Киеве еще более внимательным к процессам духовных исканий масс, хотя он, по его выражению, тогда «плохо понимал о расколе и не интересовался им», то есть не был еще тем знатоком тонкостей отколовшихся от офи-

циальной церкви вероучений, каким стал впоследствии. В киевских кружках, где вращался Лесков, «шаткости религиозной (...) совсем не было», и он не без иронии относился к разделению раскольников на «толки» и «согласия», убеждаясь на «очезримых» примерах, что путь от скитничества до полного равнодушия к вере не редкость, а заурядность.

Лесков — вопреки его тяге к науке — «был не совсем чужд некоторого мистицизма», интересовался полемикой богословов, следил за спорами о правомерности перевода Библии на современный русский язык и находил «теплую душу» в тех, кто искал себе «опоры в вере народной».

Все это найдет отражение в патетическом монологе героя повести «Детские годы» Меркула Праотцева⁴⁹.

Такое «умонаклонение» располагало Лескова «в начале пятидесятых годов в Киеве» и к общению с кружком «молодежи христианского настроения», в котором «бредил и во сне и наяву Аверроэсом и аверроизмом и сходились в духе наилучшей религиозной терпимости»⁵⁰. Сама формула высказывания Лескова указывает на французский источник — вышедшую в Париже в 1852 году книгу Э. Ренана «Аверроэс и аверроизм».

Религиозно-нравственные искания сложно корректировали эволюцию лесковской мысли. Монолит «расслаивался». Сочувствие «крещеной собственности», рабам экономического угнетения, рекрутчины, полицейщины, безграмотности и всех многочисленных неправд русской жизни было присуще Лескову, как и многим передовым его современникам.

Можно констатировать укрепление в Киеве демократизма будущего мастера слова, идущее от социальной практики и теоретических штудий. Однако нельзя не видеть, что демократизм его, питаемый из специфических источников, приобретает от них и особенную окраску. Это не атеистический революционный демократизм Чернышевского и Добролюбова. Это исподволь складывающееся и стихийно выражающее себя демократическое мировоззрение, которое базируется на любви к трудовому народу и эклектически соединяет в себе реализм эмпирика и идеалистические элементы. В единой душе им станет тесно, и они будут вечно спорить в лесковском творчестве.

В 1857 году Лесков — губернский секретарь (чин 12-го класса). Он женат, имеет дочь, служба его в казенной палате течет по более и более накачиваемой карьерной колее.

И вдруг все по-лесковски внезапно, сгоряча отставлено...

7. «Я УВИДЕЛ ВСЮ РУСЬ...»

...и на три года он делается разъездным агентом частной коммерческой компании «Скотт и Вилькинс».

Компанию основал обрусевший англичанин Александр Яковлевич Шкотт, муж тетки Леско-

ва по матери Александры Петровны Порфирьевой. Штаб-квартира — в селе Райском Городищенского уезда Пензенской губернии, а деятельность компаньонов и их служащих простирается на всю Европейскую Россию. «Операции у нас были большие, — рассказывал Лесков, — и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепок, делать селитру и вырезать паркетные — словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взылись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы...»

Ради осуществления всех этих разнообразнейших операций приходилось много ездить, и Лесков увидел Россию «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру». Он увидел тоскливые Рынь-пески и тучные саратовские степи, одесское приморье и граниты Петербурга. Он плыл Волгой с переселяемыми к Жигулям орловскими крестьянами, трясся в огромных тамбовских тарантасах бок о бок с незнакомцами — купцами, приказчиками, чиновниками, ночевал по постоялым дворам и скверным провинциальным гостиничкам, узнавал ремесла, расценки, человеческую природу. Как никогда прежде, много читал, получая редкие издания от книгопродавцев Москвы, Троице-Сергия, Воронежа, и на бесконечных дорогах, при долгих стоянках вслушивался в житейские рассказы, исповеди, анекдоты. Тогда и научился он особо ценить «практиков», которые «знают людей не по писаному».

Со Шкоттом его сближало народолюбие: англичанин «горячо поддерживал» в Лескове «такое хорошее настроение»⁵¹, и душу будущего литератора не обременяла нравственная раздвоенность. Лесков называл эту пору «самым лучшим временем» своей жизни, когда он «много видел и жил легко». От поры этой не осталось дневников, писем, но от нее — «густота» сочинений писателя.

Что же все-таки побудило Николая Лескова оставить государственную службу, где уже возникала инерция чиновничьего восхождения? На это нет однозначного ответа, но главное заключалось в той новой социальной обстановке, которая складывалась в России после Крымской войны и смерти Николая I.

За кончиной императора, тридцатилетний диктатор которого парализовал русскую общественную жизнь, наступило пробуждение страны от летаргии. После поражения в войне, отрезвившего Россию крепостников и вызвавшего движение крестьянских масс, силы нации стали понемногу развязываться, и вопросом вопроса стала отмена крепостного права (по признанию К. Д. Кавелина, относящемуся к 1858 году, «с крепостным вопросом встали все другие») ⁵², всюду повелевали новыми идеями, а инициативных людей на всех поприщах: в науке, журналистике, экономике и т. д. — захватывали стремления к живой и общепольной деятельности. В то время оживилась хозяйственная жизнь, мно-

венно возникали новые торговые и промышленные предприятия на акционерных началах, и Лескова тоже взмыло желание применить свои внутренние силы в каком-то значительном деле, завоевать независимое общественное положение.

Вспоминая 1857 год, Николай Лесков ссылаясь на заразительность примера С. С. Громеки, офицера железнодорожной жандармерии, чиновника особых поручений при киевском генерал-губернаторе, ставшего известным в качестве публициста. Тот, согласно мемуарным заметкам Лескова, оставил службу и кинулся в волны частного предпринимательства и одновременно литературы. Хорошо известный Лескову не только как журналист, но и как актер, участник тех же благотворительных спектаклей, в которых играл Лесков, Громека «перешел в Русское общество пароходства и торговли», чем якобы побудил и Лескова сделать «то же самое». Вполне вероятно, что на решение Лескова Громека как-то повлиял, но в практической решимости Лесков значительно опережал публициста.

Выбыв из Казенной палаты 1 мая 1857 года в отпуск, будущий писатель уже в сентябре просит уволить его вовсе со службы. Уход Лескова был «неспровоцированным», волевым решением. Уход Громеки был связан с конфликтом, который разыгрался после появления в «Русском вестнике» серии статей жандармского чиновника об органических пороках русской полиции как общественного института. Вызванный телеграфом из Киева в Петербург для объяснений, Громека был обвинен «тремя тузами» — начальником штаба корпуса жандармов, управляющим III отделением А. Е. Тимашевым, главноуправляющим путей сообщения К. В. Чевкиным и начальником III отделения кн. В. А. Долгоруковым — в том, что он «красный»⁵³. В ответ Громека согласно его версии якобы назвал «красными» самих своих судей и заявил, что он «идет за царя и его желаниями, а они идут против него»⁵⁴.

Сообщая об этом инциденте М. Н. Каткову, редактору «Русского вестника», 2 декабря 1858 года, Громека с аффектацией заявлял, что теперь он готовится покинуть должность: «Я ни в каком случае не намерен более стеснять службы своим присутствием и мараť жандармский мундир, и потому и занимаюсь прискаанием частных занятий»⁵⁵.

Как видим, Лесков оставил казенную службу на год с лишним (фактически на полтора года) ранее Громеки, если считать датой ухода последнего декабрь 1858 года⁵⁶.

Лесков сходил с Громекой в некоторых взглядах⁵⁷, но побуждения его ухода со службы были совершенно иными. Он говорил: «Частною службою я надеялся достать себе «честные» средства для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, вищих над каждым служащим человеком по известному пункту» об увольнении «без объяснения. (...) Я думал, что вырвался на свободу,

как будто свобода так и начинается за воротами казенного здания...».

Громека действовал отнюдь не «беззаветно». Извещая М. Н. Каткова о своем выходе из службы, он тем самым как бы призывал влиятельного в будущем охранителя самодержавного режима разделить с ним «вину» за этот выход⁵⁸. И действительно, покинув жандармерию, Громека вновь «воскресает» на казенной службе — в министерстве внутренних дел. Корабли же Лескова были сожжены добровольно, а во всем поведении имелась и несомненная доза романтизма: закапанный сургучом канцелярский стол покидался ради свободной деятельности, не связанной с жесткой формальной субординацией и теснотой вицмундира.

Лесков в своей коммерческой работе был энергичен, предприимчив, хотя и не всегда удачлив — по отсутствию опыта в торговле или, скажем, поставках муки военному ведомству, а помимо того — из-за жалостливости в отношении к мужику. Достаточно скоро выяснилось, что «принципалы» его не получали желанного профита, вкладывали более, нежели возвращали, и виной тому — их слабое знание русских условий (вспомним цитированный отрывок из рассказа «Язвительный»). Вилькинс, разувшись в возможности устойчивого успеха, вышел из дела. Шкотт мужественно продолжал начатое, но чем далее, тем более становилось ясным, что жить компании недолго. И впрямь с августа 1862-го по июнь 1863 года петербургская газета «Северная пчела» будет публиковать объявления о продаже имущества бывшей компании, в частности, хорошо известной Лескову паровой мельницы в селе Райском⁵⁹.

Предвидя неизбежный крах, Лесков отправится в мае 1860 года в Киев, снова искать казенного места.

Ему почти тридцать лет.

Кто он? Чиновник? Коммивояжер? Что, собственно, достигнуто?

Да, пожалуй, ничего прочного. Богатая жена капризна, нелюбима, и в семье тоже нет ничего отрадного...

А знающие его ближе люди убеждены, что это человек с будущим: он положительно умен, энциклопедически сведущ в практических вопросах, многосторонне начитан.

Шкотты говорили в Пензе и Киеве, что остроумный собеседник Николай Лесков превосходно, поразительно живо пишет. Письма-отчеты Александру Шкотту (если бы что-то из них сохранилось!) читались вслух домашним и соседям как беллетристика. Известный бытописатель провинциальной жизни Илья Селиванов пророчил ему литературную известность. Степан Громека, перебравшийся в Одессу и редактировавший там «Листок Русского общества пароходства и торговли»⁶⁰, судя по позднейшим признаниям Лескова, склонял его к писательству. По-видимому, в разговорах заходила речь конкретно об «Отечественных записках», в редакцию которых Громека вхож и редакторы которого А. А. Краевский и С. С. Дудышкин ему известны.

И на нихъ
то всякаго
авица Ни-
за прода-
центами, и
роже объ-
о, «О про-
меплата въ
обованія, и
на, не воз-
та и есте-
ь книжной
ресующей-
ихъ, какъ
лену о по-
мыкѣ, мно-
лавки на-
ь жданной
я было въ
проса. Но
шихъ рус-
сличаютъ,
четыре: П.
ъ новыми
ловъ; куп-
орговлю и
Ивановича
ѣ учебни-
ей истори-
гучающаго
жанія. Къ
ѣсть книгу
мъ языкъ.
бности чи-
ость цѣны,
ея за 20

коп. сер., были такъ-новы, такъ-радостны для всякаго, что всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдили за появленіемъ ея въ продажѣ. И вотъ, наконецъ, 18-го мая, въ магазинѣ Степана Ивановича Литова мы подали давно-жданную книжку. Завернувъ ее и положивъ въ карманъ своего пальто, я подалъ приказчику рублевый билетъ и попросилъ 80 копеекъ сдачи. Вообразите же мое удивленіе, когда приказчикъ объявилъ мнѣ, что сдачи слѣдуетъ не 80 копеекъ, а только 60, потому-что книга у нихъ продается не по 20 копеекъ, какъ назначено на ея этикетѣ, а по 40. Причину такого возвышенія цѣны сто на сто, мы объяснили обыкновенной фразой, что пересылка дорогого стѣитъ; а какъ-бы въ поученіе моему резонерству, прибавили: «Не берите; и по этой цѣнѣ уже всѣ почти разобраны, а еще никто не спорилъ». Противъ такого убѣжденія нечего было говорить. Заплативъ за книгу двойную цѣну, я ушелъ изъ магазинка Степана Ивановича Литова, размышляя: гдѣ же край этому злоупотребленію безконкурентности? Мы привыкли къ тому, что Степанъ Ивановичъ Литовъ не продаетъ книгъ менѣе, какъ съ 40% пользы; мы знаемъ, что сочиненія Бѣлинскаго, вездѣ продающіеся по 1 руб. сер. за томъ, онъ пріобрѣтъ со сбавкою 10%, а намъ продавалъ ихъ по 1 руб. 30 коп., за томъ, т.-е. съ 40%. Но вѣдь это были критическія сочиненія Бѣлинскаго, которыя покупаютъ люди съ извѣстнымъ образованіемъ, стало-быть, болѣе или менѣе и съ извѣстнымъ достаткомъ; а какъ-же книгу, назначенную собственно для общаго употребленія всѣхъ и каждого, сдѣлать такою недобросовѣстною спекуляціею. Предавая такія дѣла нашей книжной торговли, путемъ печатной гласности, суду общественнаго мнѣнія, мы не можемъ не заявить нашихъ надеждъ, что духовное начальство богатой Кіево-Печерской Лавры, вѣроятно, не замедлитъ выпускомъ и продажей Евангелій на русскомъ языкѣ, по такой-цѣнѣ, которая положитъ предѣлъ такимъ спекуляціямъ.

Николай Лясковъ.

И незадолго до ухода от Шкотта, в апреле 1860 года, оказавшийся в Одессе по служебным делам Н. С. Лесков пишет экономически весьма обстоятельную и литературски зрелую статью «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)», которая появится ровно год спустя в «Отечественных записках». На отписке статьи Лесковым в пору признания будет помечено: «1-я проба пера. С этого начата литер. работа»⁶¹.

8. «ПИСАТЕЛЬСТВО НАЧАЛОСЬ СЛУЧАЙНО...»

«Писательство началось случайно», — сообщал в «Заметке о себе самом» Николай Семенович Лесков накануне своего 60-летия.

В это невозможно поверить. Лесков — прирожденный писатель, или, как говорят в подобных случаях, писатель милостью божией и писатель всеми силами души своей. Просто жизнь истинного художественного дарования исполнена скрытой, подчас не сознаваемой им самим работы накопления впечатлений, обретения мудрости и опыта.

«Корреспонденция.

Город Киев, 20-го мая 1860 г.

Вероятно, всем известно, что почти везде у нас слышны жалобы на дороговизну русских книг, но, конечно, не все знают, что нигде дороговизна эта не достигает таких поразжающих размеров, как в Киеве. У наших книгопродавцев вы не купите ни одной книжки по той же цене, которая за нее объявлена и с которой им делается издателями значительная скидка, чтобы они имели возможность продавать книги по объявленной цене. (...) Правда, я слышал от одного, достойного всякого уважения, воронежского книгопродавца, Ивана Саввича Никитина, что некоторые книги в провинции нельзя продавать без возвышения цены несколькими процентами, и помню, что сам заплатил ему 15 коп. сер. дорожке объявленной цены за сочинение Л. В. Тенгоборского «О производительных силах России»⁶²; но такая переплата в провинции за сочинения, на которое немного требования и которое несколько лет стоит на полке магазина, не возвращая затраченного на нее капитала, и понятна и естественна. А как вы называете такие выходы в книжной торговле, о которых я



Так и было у Лескова до лета 1860 года, с которого можно начать реальный отсчет его литературских дней.

18 (30) июня в 25-м выпуске петербургского журнала «Указатель политико-экономический», в разделе «Слухи и вести», появилась следующая анонимная заметка:

«В книжном магазине С. И. Литова в Киеве 20-копеечные Евангелия на русском языке не продаются дешевле как по 40 к., что чрезвычайно оскорбляет покупателей этой книги. Это удвоение цены особенно отражается на посещающих Киев богомольцах, которые всегда покупают в Киеве книги духовного содержания, но которые так бедны, что нередко 20 к [ошек] [серебром] составляет весь наличный капитал пешехода-богомольца. Переплатить лишний двугривенный для него — есть уже разорение, и он принужден отказать себе в приобретении Евангелия, недоступного для него по цене».

Заметка была как заметка. Проходная.

О таких сто лет спустя не вспоминают.

Если бы не вторая корреспонденция о том же. Точнее: если бы не подпись под ней.

21 июня 1860 года в № 135-м «Санкт-Петербургских ведомостей» было напечатано:

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ.

Г. Киев, 20-го мая 1860 г. Вероятно, всем известно, что почти везде у нас слышны жалобы на дороговизну русских книг, но, конечно, не все знают, что нигде дороговизна эта не достигает таких поразжающих размеров, как в Киеве. У наших книгопродавцев вы не купите ни одной книжки по той же цене, которая за нее объявлена и с которой им делается издателями значительная скидка, чтобы они имели возможность продавать книги по объявленной цене. Эта уступка книгипродавцам дешевле объявленной цены, большую часть, бывает очень значительна, так, что иногда книга стоит им только половину цены, значащейся на этикетке, в остальных же случаях уступка всегда соответствует 10 — 20%, которые, за исключением пересыльных расходов, должны составлять пользу книгопродавца. Но к книгам, на которых книгопродавцы получают скидки не более 10%, принадлежат только издания компаний Седатенкова и Шепкина, в которых ученые сочинения, составляющие собственность авторов, и немногие другие; все же остальные достаются им за полцены. И если

спешу доложить интересующейся печатным делом русской публике».

И далее в статье сообщалось, что киевские газеты оповестили о выходе Евангелия на «понятном нам», русском языке, но книги не было несколько дней ни в одной из четырех имеющихся в Киеве «русских книжных лавок: или, как их здесь величают, магазинов».

Затем набрасывалась сценка покупки книги, появившейся в лавке Степана Ивановича Литова, упомянутого ранее в заметке «Указателя экономического»:

«...мне подали долгожданную книжку. Завернув ее и положив в карман своего пальто, я подал приказчику рублевый билет и попросил 80 копеек сдачи. Вообразите же мое удивление, когда приказчик объявил мне, что сдачи следует не 80 копеек, а только 60, потому что книга у них продается не по 20 копеек, как назначено на ее этикетке, а по 40. Причину такого возвышения цены, сто на сто, мне объяснили обыкновенной фразой, что пересылка дорого стоит; а как бы в поучение моему резонерству прибавили: «Не берите; и по этой цене уже все почти разобраны, а еще никто не спорил». Против такого убеждения нечего было говорить. Заплатив за книгу двойную цену, я ушел из магазина Степана Ивановича Литова, размышляя: где же край этому злоупотреблению бесконкурентностью?»

Мы привыкли к тому, что Степан Иванович Литов не продает книг менее, как с 40% пользы; мы знаем, что сочинения Белинского, везде продающиеся по 1 руб. сер. за том, он приобрел со скидкой 10%, а нам продавал их по 1 руб. 30 коп. за том, т. е. с 40%. Но ведь это были критические сочинения Белинского, которые покупают люди с известным образованием, — стало быть, более или менее и с известным достатком, а как же книгу, назначенную, собственно, для общего употребления всех и каждого сделать такою недобросовестною спекуляцией.

Предвая такие дела нашей книжной торговли путем печатной гласности суду общественного мнения, мы не можем не заявить наших надежд, что духовное начальство богатой Киево-Печерской Лавры, вероятно, не замедлит выпуском и продажей Евангелий на русском языке по такой цене, которая положит предел таким спекуляциям».

Вот эта корреспонденция «Санкт-Петербургских ведомостей» и была подписана впервые появившимся в печати именем «Николай Лесков».

Что можно было сказать о неведомом авторе двух заметок, если внимательно в них вчитать-ся?

Прежде всего, что автор обладает напористым темпераментом, что он настойчив в преследовании того, в чем усматривает проявления общественных злоупотреблений. Во-вторых, писавшим руководило благородное негодование демократа, окрашенное очевидным христианским чувством. Третье: автор — книжник, завсегдатей-посетитель книжных лавок, отлично знающий коммерческие нравы и приемы киев-

ских дельцов от книготорговли. Кроме того, он имеет представление о постановке дела продажи книг и в иных южнорусских губерниях. Он посещал книжный магазин Ивана Саввича Никитина, открывшийся в Воронеже в феврале 1859 года, беседовал с поэтом. Сам автор заметки интересуется не одной художественной словесностью, но и сочинениями специального спроса, в том числе исследованиями экономическими. Наконец, перо автора скользит с неприхотливой свободой и остро отточено.

...Из источников других, позднейших, нам известно, что в начале 1861 года Николай Лесков поселился в Петербурге, на Моховой улице, 28, в доме госпожи Быченской. Приютил его бывший киевский университетский профессор-экономист Иван Васильевич Вернадский, издававший упомянутый «Указатель экономического». Это был типичный умеренный либерал-прогрессист предреформенного времени. В писаниях Вернадского Добролюбов отмечал очевидное стремление способствовать новому в рамках того, что «уже давно решено правительственным образом или постановлено в министерских кабинетах, но еще не вынесено на общее обозрение»⁶³.

Квартира редактора находилась через стенку с редакцией журнала, напечатавшего анонимную заметку о киевских книжных спекулянтах.

На Моховой встретились два киевлянина, и вполне позволительно предположить, что между ними были какие-то более ранние контакты, если не существовало знакомства.

Действительно, еще в декабре 1859 года в Москву, в адрес издателя журнала «Вестник промышленности», видного славянофила Ф. В. Чигова, киевского экс-профессора, пришло письмо из села Райского Городищенского уезда Пензенской губернии, писанное уборым узловатым почерком на синей почтовой бумаге. Отправитель его Николай Лесков упоминал о получении пензенской почтовой контрольной изрядного количества экземпляров «Указателя экономического» И. В. Вернадского. Автор письма называл редактора «Указателя» по имени и отчеству, как лицо, близко ему известное, и затем, предлагая свои услуги «содействовать распространению» журнала Чигова в губерниях Пензенской и Саратовской, замечал, что сам Лесков имеет «некоторое значение в нашем (пензенском. — А. Г.) промышленном кругу». Распространению «Указателя» Николай Лесков «содействовал», то есть он и прежде сносился с редакцией петербургского журнала. Тут же в письме назывался Киев и припоминались давние встречи с Чиговым в домах киевской профессуры, из которой названы С. П. Алферьев и И. Ф. Якубовский.

Коллега С. П. Алферьева по университету, профессор Вернадский, стал издателем «Указателя экономического» в 1857 году. Первой публикацией и первым долговременным петербургским пристанищем (до середины 1861 г.) Лесков был обязан старому киевскому знакомству.

В час свидания на Моховой худой, быстрый, черноглазый Лесков должен был в подробностях изложить степенному Вернадскому, что же произошло между его увольнением со службы у Шкотта в мае 1860 года и январем 1861 года.

Едва зачисленный в канцелярию киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора в сентябре 1860 года, губернский секретарь Николай Лесков уже в ноябре был уволен со службы «по болезни» «согласно прошению». За этой формулой скрывалась бурная «история», связанная с первыми публицистическими выступлениями Лескова на страницах южнорусского еженедельника «Современная медицина» во второй половине 1860 года⁶⁴.

Киевскую «болезнь» Лескову приходилось излечивать на берегах Невы.

9. ДЕБЮТ В «СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»

В «Указателе экономическом» Лесков публиковал заметки в 1860 году еще несколько раз. Сообщал о лекциях профессора-анатома Александра Вальтера. Писал о застарелых бытовых беззладицах Киева: о нехватке бань и распивочных заведений. Констатировал хронические трудности определения в коммерческую службу для чиновника-дворянина, с чем ему пришлось столкнуться самому.

Выдержанные в требовательно-беспокойной интонации, критические реплики не представляли чего-либо экстраординарного: подобным образом после Крымской войны писали на Руси многие. Время требовало очистки от ржавчины всех деталей государственного механизма. И, как говорил в те дни самый пронизательный европейский аналитик русских событий, ослаблением державной цензуры в России была «предоставлена возможность для вежливой, благонамеренной и весьма почтительной в выражениях дискуссии; была разрешена даже легкая и уважительная критика действий чиновников», а это казалось «людям, знавшим николаевскую Россию, <...> огромным шагом вперед»⁶⁵.

Общий пафос отвержения старых норм жизни был на Руси столь силен, что журналистика и дело выходила за рамки благоприлично-журищей критики. Цензор А. В. Никитенко писал: «Мы хотим улучшений и думаем, что можем достигнуть их без помощи общественного мнения, посредством той же бюрократии, которая так погрязла в крадстве», «стеснениями не направишь и не сдержишь умов, очнувшихся от вековой дремоты»⁶⁶.

Когда профессор А. П. Вальтер предпринял в Киеве издание еженедельника «Современная медицина» и пригласил в него Николая Лескова, тот впервые дал волю своему гражданскому чувству, заговорив о гноящихся язвах русской жизни.

«Заметка о зданиях», опубликованная 28 июля 1860 года, имела примечание от редакции, указывавшее на выход автора за пре-

делы медицинской трактовки вопросов: статья Лескова характеризуется «некоторой своеобразностью», а именно «установкой взгляда с политико-экономической точки зрения».

Лесков, отправляясь от вопроса о гигиене общественных зданий, за порталами и колоннадами которых прячется вопиющее небрежение к естественнейшим требованиям человеческой природы и нравственности, рассуждал, однако, далеко не только как экономист. Голос публициста, потрясенного «чрезмерно большой цифрой безвременных могил в России», был голосом гражданина. «В нашем краю всяческих чудес» (а автору доводилось «видеть многие города нашего царства») Лескова встречали помпезная архитектура и «ужасающее пренебрежение к народному здоровью». Повсюду торжествующие «дух суетности», «вещественная монументальность» подавляют и презирают «факт жизни».

За примелькавшимися явлениями автор обнаруживал антигуманную сущность норм русского общественного строя. Наблюдая пережиточно-средневековый уровень «нравственного развития народа», он расценивал его, между прочим, как препятствие для экономического прогресса и ставил то и другое в зависимость от очевидной внутрисоударственной тенденции: «Средневековое <...> стремление к одной монументальности едва ли свидетельствует о чем-либо другом, кроме неспособности отрешиться от средневековых понятий, стоящих вне прогрессивного направления нашего времени. Это давно заявлено наукою и сознано некоторыми правительствами, заботящимися о долголетию жителей и обратившими внимание на возведение зданий, благоприятствующих условиям человеческой жизни, а не египетских пирамид».

Открытое противопоставление «некоторых правительств» правительству «нашего царства», «нашего края всяких чудес», было высшей и, пожалуй, рискованной точкой критicismа бывшего торгового агента. Оно, по-видимому, дает представление и об атмосфере, господствовавшей в среде киевских профессоров, которые могли видеть в Николае Лескове достойного питомца своего круга.

Следующий лесковский статье — «О рабочем классе» («Современная медицина» от 18 августа 1860 г.) — был предпослан сокращенный эпиграф из «Тилемахиды» к радищевскому «Путешествию из Петербурга в Москву»:

Чудище обло, огромно,
стоzewно и лаял.

Т р е д и а к о в с к и й.

Возможно, что Лесков читал «Путешествие» по изданию 1858 года, выпущенному лондонской типографией Трюбнера и К° с предисловием и в текстологической редакции Искандера (Герцена)⁶⁷: в столице, где Лесков подолгу жил в 1859 и 1860 годах, оно обращалось уже в октябре 1858 года⁶⁸. Но какое бы издание или список запрещенной книги ни дошли до него,

Лесков в данный момент резко подчеркивает свою склонность к реальному освещению судьбы народной. Эпиграф, пафос и содержание статьи вновь заставляют вспомнить об общении будущего писателя с Журавским.

Лесков начинает с методично-обстоятельных выписок о жилищных ста двадцати тысяч питерских рабочих 1840-х годов из одноименного с его заметками исследования Ф. Г. Тернера, опубликованного в июньской книжке «Библиотеки для чтения», пространно цитирует его, но, не выдержав, обрывает себя: «Довольно выписок. Перед ними бледнеют вертепы, описанные в *Mystères de Paris* и *Mysteres de Londres*». И выделяет слова Тернера, что эти картины, обнаруженные еще историком С. К. Веселовским, «сохранили (...) полное значение и полный интерес» и поныне.

Как изменить жизнь народной, рабочей массы?..

Раздумывая над этим, Лесков уповает на силу общественного мнения, на силу печатного слова. Пишущий на страницах «Современной медицины» и обращающийся к «медицинскому сословию» России, Лесков стеснен и скован в формах высказывания, но вопросы он ставит достаточно широко. Он укоряет медиков за недостаток гражданской активности — за «литературную бездеятельность (...) в деле разоблачения общественных язв», потому что именно суждения врачей, коим «жилища рабочего народа и образ его жизни знакомы более, нежели провинциальных львов и аристократии», позволяют правильно решить вопрос, «каким образом следует изменить законы и правила общественной гигиены?»

Молодой публицист указывал: «Кроме Петербурга, мы почти не знаем, как живут рабочие в других городах нашего государства», а в России «не много менее 400 тысяч жителей в Москве, 100 т. в Одессе, семь городов с населением от 100.000 до 25.000 жителей. Все остальные города, числом 650, имеют каждый население менее 25.000 жителей. И как в каждом из этих городов живет бедный рабочий класс, способствуя увеличению процента смертности, — мы решительно не знаем. (...) условия эти в каждой местности имеют свои особенные печальные оттенки».

Необходимость социолого-этнографического исследования народной жизни литературой, по Лескову, условие грядущего преобразования этой жизни. Им, демократом, с порога отвергнут литературный снобизм:

«Если, по выражению одного писателя, возмущение воспламеняется и слова льются при виде роскоши, вкуса и богатства в убранстве чертогов, то и зрелище нищеты, хотя и не возбуждающее приятных поэтических мечтаний, а напротив, часто сжимающее сердце и наполняющее его немую грустью, имеет также свою полезную сторону. Оно знакомит нас с бытом наших меньших братьев, возбуждает к ним участие и дает возможность подать им руку помощи вовремя и кстати»⁶⁹.

Эта возможность подать руку помощи вове-

мя и кстати может быть достигнута только при совершенном знакомстве с положением рабочего класса, а таким знакомством мы решительно не можем похвалиться. Русская литература чрезвычайно бедна наблюдениями этого рода, и большинство собранных сведений, без всякого спора, принадлежит деятелям политико-экономической науки...».

Словно бы эхо голоса Журавского опять слышится в статье начинающего публициста.

Журналистская позиция молодого Лескова, проецирующаяся на его писательство, формулируется с предельной ясностью: «всякое открытие зла есть уже шаг к искоренению этого самого зла»; «есть лица, принадлежащие к так называемому образованному сословию, которые считают несомненным с своим достоинством высказать близкое знакомство с тем, что отвратительно на взгляд и скверно воняет. Оберегая свою эстетику, они заставляют бедный народ безгласно страдать и нюхать эту вонь. Пора бы нам освободиться от того табунного свойства, по которому люди без всякого желания делают все то, что делают все, и, в силу некоторых авторитетов, считают безмолвие добродетелью. Пора нам отвыкнуть от мысли, что предметом литературы должно быть что-нибудь особенное, а не то, что всегда перед глазами и от чего мы все страдаем прямо или косвенно. Сбросив вековой хлам предубеждений, мы ощутим себя близкими к жизни наших меньших братьев и сумеем помочь им вовремя и кстати, обнаруживая противящиеся гигиене стороны общественной жизни».

В канун крестьянской реформы Лесков рассматривает неприглядные черты рабочего быта как следствие «неправомерного преобладания одного сословия над другим». Он обличает касту «китайских европейцев», образованных ретроградов, которые становятся на пути нового в науке, а значит, и в обществе, одновременно пытаясь обвинять «молодое направление» в «несостоятельности». Лесков — с «молодым направлением», истинных представителей которого, по всей очевидности, он находит в близких ему киевских профессорах — людях, не стремящихся «протягивать свою лапу к львиной доле, не бросив ни одной лепты своего труда в сокровищницу науки, напоившей их знанием».

Автор статьи «О рабочем классе» ищет полезной деятельности на поприще гласности, словно бы делая выбор. Он с надеждой смотрит на литературу и даже формулирует — столько же для себя, сколько для нее — демократическую эстетическую программу.

Предоставление Лескову А. П. Вальтером трибуны в «Современной медицине» для ответственных выступлений и последовавшие за этим события 1860 года убеждают, что Николай Лесков не только принадлежал к определенному кружку прогрессивно мыслящих киевлян, но и выступил в какой-то момент выразителем волновавших этот кружок общедемократических идей. Лесковский порыв к гражданскому обличительству, выходившему за рамки «депар-

таментского» (медицинского) толкования вопроса, нашел сочувственный отклик в примечании «Ред.» (возможно, редактора Александра Вальтера) к статье «О рабочем классе». Поддержав мысль автора об инертности сословия врачей, куда, по выражению «Ред.», «идеи века еще мало проникли», писавший вслед за Лесковым обратил взгляд на гораздо более широкий круг виновников бедствий рабочего класса: «еще более (нежели медики. — А. Г.) виновато чиновничество, бюрократия, правления, приказы, полиция...». На статью же «Заметка о зданиях» был помещен отклик «Кое-что о тюрьмах» («Современная медицина», № 40 и 41 от 15 и 20 октября 1860 г.), подписанный именем Лескова Алексея и рисовавший невыносимость тюремного быта, перед которой были бессильны филантропические комитеты.

В эпоху нарастания в России общественного протеста, когда революционная волна вздымалась все выше, острая критика российских социальных несовершенств зримо сближала позиции представителей разных идейных течений. В качестве типического явления начала 1860-х годов В. И. Ленин отмечал «требование политических реформ всей печатью и всем дворянством»⁷⁰. Подлинного, органического единения потоков, зашумевших в общем русле, однако, не предвиделось. Созвучие голосов нередко оказывалось временным, совпадение взглядов — «точечным». Если фигуры Чернышевского, Добролюбова, платформа «Современника» и — в несколько меньшей степени — «Искры», «Русского слова» олицетворяли революционный демократизм, то были еще силы, искренняя ненависть которых к крепостничеству, пережиткам средневековья в национальной жизни, обусловленным неравенством имуществ и сословий, отнюдь не соединялись с революционной идеей, не означали сомнений в необходимости института самодержавия. Когда накал борьбы еще не достиг апогея, когда демократизм непоследовательный не вполне выявил свою сущностную неустойчивость, когда партийно-групповые программы должны были еще шлифоваться и формироваться в кузнице общественных мнений, Лесков — человек, безусловно, демократических, но не до конца проясненных для него самого ориентиров — выступает в «Современной медицине» за радикальное врачевание застарелых российских недугов.

С этой точки зрения весьма важен очередной фельетон (статья) «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» («Современная медицина», 1860, № 36, 15 сентября), подписанный псевдонимом Фрейшиц (вольный стрелок).

Лесков словно бы иллюстрирует пословицу: «Врачу, исцелися сам». Он вводит читателя в рекрутские присутствия и делает его свидетелем получения взятки эскулапами и их воинскими партнерами. Послуживший немалое время у рекрутских наборов, автор не с чужих слов знал механику несправедливой сдачи молодого

простолюдина, а то и ребенка в рекруты (впоследствии он поведает о том в рассказе «Владычный суд»). С терпким юмором повествовал Фрейшиц, как отдатчики рекрут, дабы «лекаря уболаговторить», обращались за помощью к «знаменитому «ундеру» Даниле Хведоровичу» и как дока-«ундер» извещал лекаря о получении мзды: «Тронется «ундер» за правый ус, значит, смазано, чтобы принять. Тронется за левый — смазано, чтобы обрковать. Попрavit «амуницу» — ничего не дано».

Живые сценки резюмируются: «Лекарь и «ундер» — это Орест и Пилад, им раскодиться никак нельзя». Рекрутский врач «обращает внимание только на монетное подкрепление просьбы», а типичные прошения таковы: «помещик просит принять Ванюшку, который не хочет идти по оброку и оставить молодую жену в прачках у барина»; отдатчик восьмилетних еврейских детей из числа «благонамеренных единоверцев» «просит принять Срулика в рекруты»; «мать Срулика просит забраковать его»...

Контроль ревизоров за рекрутской взяткой, указывает Лесков, фиктивен, действия контролеров можно оценить словами гоголевского Городничего: «пришли, понюхали и пошли прочь». А между тем из всех поборов взятка врачей рекрутских присутствий — «самая черная, самая грязная и постыдная, вопиющая». Статья завершена почти в гоголевской сокрушенной интонации: «Эх, метлу бы, метлу нужно в наши Рекрутские Присутствия».

Но Лесков не колеблется в возможности успешной борьбы со злом: «Мы утвердительно можем сказать, что на Руси не без людей, которые бы могли указать средства если не к совершенному уничтожению рекрутской взятки, то к значительному ограничению ее».

«Это уж так самим богом устроено, и вольтерянцы напрасно против этого восстают», — открывала гоголевская цитата следующую статью Фрейшица — «Несколько слов о полицейских врачах в России» («Современная медицина», 1860, № 39, 6 октября).

Задавшись вопросом: «Чем же живут, как богатеют почтеннейшие городовые и уездные врачи?» — Лесков отвечает с присущей ему обобщающей иронией: «Этого бы не решили народы Запада, величаемого у нас «гнилою язвою» и «душевредным куколом»; но мы, толстоносые скифы, можем отвечать на него. (...) таинственная рука, питающая городовых и уездных врачей, —

есть взятка,
взятка
и взятка».

Городовые и уездные взяточники из врачебного цеха, по словам Лескова, те же Добчинские и Бобчинские: «Им даже может быть приятно, чтобы о них поговорили».

Вывод Фрейшица гласил:

«Медицинское управление наше настоятельно требует реформы».



Н. С. Лесков.

Лесков едва ли мог представить, какой скверны он коснулся на сей раз, едва ли предполагал, какой резонанс вызовет его статья в полицейском аппарате, притом в разных этажах его.

Но ему тотчас пришлось это ощутить.

Машина, известная многолетней приработанностью своих шестерен, ударила по нему всей своей тупой тяжестью.

10. ЖАНДАРМСКАЯ «ГРАЦИЯ»

По иронии судьбы в тот самый момент, когда еженедельник напечатал статью о полицейских врачах, Лесков опять устроился на государственную службу и знакомился с обязанностями следователя по криминальным делам. Всего лишь две недели назад его провели на должность, именно в начале октября 1860 года он начал проходить испытательный срок. И поручено ему было расследовать дело о ночном грабеже, учиненном в Киеве, на Подоле, законоблудителями-полицейскими...

Ведший совместно с Лесковым следствие жандармский штабс-капитан Крижицкий смекнул, что сора из избы выносить не полагается, и посоветовал замять дело. Лесков, готовый жарко служить социальному очищению России, наотрез отказался вступить в сделку с совестью. Тогда бывалый штабс-капитан подстроил компаньону элементарную ловушку: он вызвал его на свидание с одним из обвиняемых, присутствовал на свидании сам и вслед за тем обычно обвинил Лескова в вымогательстве взятки. Как пишет современный исследователь, раскрывший подноготную темной интриги, — автора бичующей статьи о полицейских эскулапах решили «поразить его же оружием»⁷¹.

Киевская полиция показала себя тем более «бдительной», что уже 28 октября министерство внутренних дел, прочитавшее статью о полицейских врачах, потребовало из Петербурга от своих киевских скорохватов либо подвергнуть наказанию повинных в злоупотреблениях мздоимцев, либо привлечь к ответу за «клевету» автора статьи и редактора «Современной медицины».

1 ноября недвусмысленное предписание достигло Киева, и наутро канцелярия генерал-губернатора и жандармерия взялись за строптивца: против следователя Лескова было возбуждено секретное дознание, а сам он тотчас отрешен от продолжения следствия по поводу ночного полицейского разбоя.

В докладной записке, направленной 18 ноября генерал-губернатору, Лесков с достоинством защищал себя:

«Я вполне уверен, что люди, устроившие мне систематическую ловушку за несклонность мою к сторонничеству, вероятно, позаботились и об искусственной обстановке подготовленной ими сцены в таком месте, где обладателям полицейского произвола всегда можно найти людей всякого разбора, имеющих основание быть слугами видов каждого полицейского чиновника; я нисколько не удивляюсь числу лже-свидетелей, которых может добыть несколько разоблаченная мною корпорация полицейских чиновников, — все это, вероятно, предусмотрено людьми, сделавшими юридические тонкости своей специальностью и поставившими своей задачей деморализовать человека, державшего приподнять грязное покрывало неблагоприятных, но благоприятных им начал»⁷².

Не считая для себя возможным оставаться в службе, которая встретила его подлогом и полицейской провокацией, Лесков просил освободить его от государственной должности и сослался на свое желание избрать для себя другие занятия.

В этой ситуации властям, не желавшим признавать Лескова ни в чем не повинным, требовалось бросить на него тень. И производившие секретное дознание чиновники попытались это осуществить. Жандармский рапорт от 26 ноября обвинил в вымогательстве взятки и Лескова, и равно — для пущей убедительности — провокатора Крижицкого. Такова была жандарм-

ская «грация», о которой позднее Лескову не единожды довелось писать. Дело же в связи с полнейшим отсутствием улик прекращалось.

29 ноября 1860 года Николай Лесков получил отставку. За литературный дебют было заплачено дорогой ценой.

Тем временем в «Современную медицину» поступила явно инспирированная противниками Лескова статья Ф. Б. «Несколько мыслей против «нескольких слов» г. Фрейшица «о полицейских врачах в России», и еженедельник, стоявший за объективное обсуждение вопросов, поместил ее в 46-м и 47-м номерах от 24 ноября и 1 декабря. Ф. Б. неуклюже попытался опростоставить бесспорные наблюдения Лескова, объявлял нарисованную публицистом картину «в высшей степени ненатуральной», а выводы «противулогическими».

Редакция, по-видимому, отлично осведомленная о драматических перипетиях борьбы публициста с полицией, как и прежде, держала сторону Лескова. В непосредственно же ближайшем номере еженедельника (№ 48 от 8 декабря) Николаю Лескову была дана возможность выступить под его полным именем со статьей «Полицейские врачи в России», которая в подзаголовке именовалась «статьей <...> по поводу статьи г. Ф. Б.».

Лесков не шел на попятную и не прибегал к оправданиям, хотя, казалось бы, давление на него достигло предела. Отвечая Ф. Б., он отвечал и на демагогическое требование министерства внутренних дел назвать пофамильно взяточников, имя которым было *легион*. Он отстаивал право пишущего вести речь о явлении взяточничества как социальной болезни: «Взятка, как всякое зло, боящееся света, скрывается во тьме и творится вдали от всего того, что может быть юридическим доказательством, и потому всякое дальнейшее словопрение с г. Ф. Б. становится несносным и бесплодным гортанобесием. <...> систематические взятки, вошедшие в обычай и тщательно скрываемые от власти, не доказываются и не опровергаются юридически, они доказываются общественным мнением и разумным вникновением в дело; иначе вся обличительная литература обратилась бы в прокурорское бюро ассизного суда».

В заключение, вдохновляясь именем и искусством великого сатирика, который играл столь крупную роль в формировании его взгляда на Россию, а затем и выработке его собственного художнического стиля, Лесков парировал нападки своих оппонентов со всей резкостью: «г. Ф. Б., не считайте нас совсем профанами, и мы <...> говоря словами Гоголя, знаем, «как что делается в благоустроенных государствах». (смотри комедию «Ревизор». Сквозник-Дмухановский)».

В 1857 году Чернышевский иронизировал над наивным тезисом: «Пусть литература преследует взяточничество, и взяточничество исчезнет»⁷³. Два года спустя Добролюбов заострял внимание читателей на «мелочности» русской обличительной словесности, которая вра-



Дом № 28 по улице Моховой, где в 1861 году жил Н. С. Лесков.

щалась в рамках «правительственных распоряжений», «ничего не сделала и не имеет права гордиться тем, что поднимала серьезные общественные вопросы». Не делая исключения даже для Щедрина, автор исполненной тревоги статьи «Литературные мелочи прошлого года» язвительно называл «предметом гордости наших публицистов, беллетристов и даже поэтов» «преследование взятков и чиновных злоупотреблений»⁷⁴.

Казалось бы, и Лесков в цикле статей 1860 года возвышал голос против зол, критикуемых по традиции. Но, видимо, говорил он с такой силой страсти и негодования, а конкретный адресат обличений был столь застрахован от них, что монолог «вольного стрелка» потребовалось без промедлений заглушить.

Чем угодно и как угодно.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ ГАОО, ф. 64, оп. 1, е. х. 1700, № 8371 (сохранена орфография подлинника).

² Лесков вспоминал, что переезжали по теплу: «Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский» («Пугало»).

³ Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памяткам. М., 1954, с. 21.

⁴ «Орловские губ. ведомости. Часть официальная», 1841, 19 декабря, № 38, с. 657 (то же в № 39 от 26 декабря, с. 685).

⁵ После Николая в семье родились: Наталья (7.VI.1836 — 28.III.1920), Алексей (9.VI.1837 — 8.XII.1909), Михаил (1.XI.1841 — 16.VIII.1889), Василий (1.VIII.1844 — IX.1872), Ольга (14.VII.1846 — 13.XI.1893), Мария (1847 или 1848 — 1859 или 1861). (ИРЛИ АН СССР, картотека А. Н. Лескова, № 2145.)

⁶ ГАОО, ф. 4, № 601, л. 620.

⁷ Там же, л. 920—922.

⁸ Там же, ф. 6, оп. 1, е. х. 3130, л. 34—34 об.

⁹ «Прибавление к Орловским губ. ведомостям», 1843, 24 декабря, № 52.

¹⁰ Там же, 1840, № 52, с. 523. В октябре 1843 г. открылся еще частный пансион мадам Роделер для девиц.

¹¹ Там же, 1843, 11 июня, № 24.

¹² В гимназии учились и воспитанники благородного пансиона. Они, а не вольноприходящие ученики, как Лесков, должны были ежегодно вносить за свое содержание 600 р. ассигнованиями. А. Н. Лесков ошибся, посчитав, что и родители будущего писателя вносили названную сумму (Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 73).

¹³ ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, № 35 (см. также: Гроссман Леонид. Н. С. Лесков. Жизнь — творчество — поэтика. М., 1945, с. 23).

¹⁴ При публикации гимназического свидетельства (см.: Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 74) допущен пропуск части текста. Восстановление сделано по черновой копии документа (ГАОО, ф. 64, оп. 1, е. х. 1702, № 8371).

¹⁵ ГАОО, ф. 64, оп. 2, арх. № 16 д.

¹⁶ «Северная пчела», 1862, 3 апреля, № 90.

¹⁷ «Прибавление к Орловским губ. ведомостям», 1843, 27 августа, № 35, с. 399—400.

¹⁸ Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 76.

¹⁹ ГАОО, ф. 64, оп. 2, арх. № 16 д.

²⁰ Там же, арх. № 15 д.

²¹ Там же, оп. 1, е. х. 33, л. 36 об. — 37.

²² «Расположившись по обстоятельствам моим сына моего Николая... перевести в другое учебное заведение или определить в службу...» — мотивировал С. Д. Лесков свою просьбу (ГАОО, ф. 64, оп. 1, е. х. 1702, № 1286).

²³ Там же, № 8371. Дата автографа поставлена в «Штрафном журнале». Под № 59 в рубрике «Когда был» помечено: «31 августа 1846 года со свидетельствами о рождении и крещении и об опе» (ГАОО, ф. 64, оп. 1, е. х. 32).

²⁴ Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 74.

²⁵ В. П. Памяти Н. С. Лескова. — «Петербургская газета», 1895, 22 февраля, № 51.

²⁶ В первой редакции произведения орловская типология здешнего действия еще «гуще»: канцелярия находится на Болховской улице, выезжает чиновник в «К-мы» (Кромы), а упоминаемые «наши края» — «О-ская» [Орловская] губерния (см.: Лесков Н. С. Полн. собр. соч., т. XII. СПб., 1897, с. 408—409).

²⁷ ГАОО, ф. 4, оп. 1, № 2676. Формулярные списки чиновников судебных учреждений губернии за 1847 год, л. 203 об. — 204.

²⁸ ГАОО, ф. 4, е. х. 2782, л. 46 об. — 47. Тут же сообщены несколько возрастные цифры об имении родителей. «В Кромском уезде 11 душ и 55 десятин земли».

²⁹ См. «Указатель экономический», 1860, № 195.

³⁰ ГАОО, ф. 4, е. х. 2689, л. 22 (начато 24.XII.1848 г., окончено 21.X.1849 г.).

³¹ Баландин А. И., П. И. Якушкин. Из истории русской фольклористики. М., 1969, с. 43—44.

³² Стебницкий М. Слюдями древнего благочестия. СПб., 1863, с. 31—60.

³³ Там же, с. 26—27.

³⁴ Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846—1847). М., 1959, с. 80. См. также с. 150, 151, 153.

³⁵ Там же, с. 144.

³⁶ Там же, с. 116.

³⁷ Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 83.

³⁸ Прошение о принятии в гимназию Алексея Лескова писал в связи с болезнью отца старший сын, Лесков Николай, «писец 2-го разряда» (по-видимому, в 1847 г.: дата отсутствует, но документы о дворянстве семьи еще находились «в рассмотрении Герольдии») (ГАОО, ф. 64, оп. 1, е. х. 1700).

³⁹ Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 91.

⁴⁰ Во время пребывания Лескова в Киеве там оказались два человека, знавшие отбывавшего ссылку Шевченко по периоду Кирилло-Мефодиевского общества, — А. В. Маркович, вернувшийся из Орла в 1853 г. (служил сначала бухгалтером в Палате государственного имущества, затем городским страпчим), и профессор Ф. В. Чижев.

⁴¹ Секрет «увольнения» Шевченко был раскрыт в язвительной статье Н. С. Лескова «Официальное буффонство» (1882 г.). А. Н. Лесков, впрочем, полагал, что отец «отвел Иванушеву едва ли точную роль в деле исключения из службы Т. Г. Шевченко» (РО ГБЛ, ф. 369, 394, 9 л. 9).

⁴² О Д. П. Журавском, высоко оцененном еще Чернышевским, в наши дни высказаны мнения как о революционере-демократе, ученом широких прогрессивных воззрений. Его труд «Об источниках и употреблении статистических сведений» (1846) считается классическим и сравнивается в подборе материала с «Положением рабочего класса в Англии» Ф. Энгельса.

⁴³ Лесков Н. С. Из «глухой поры». Переписка Д. П. Журавского и два письма Л. Н. Нарышкина (1843—1847). — ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, № 111, л. 6.

⁴⁴ В «Овцебыке» (1862), рассказывая «мемуаром» о хлопотах в июне 1854 г., то есть в киевский период жизни, по некоему «процессу, производившемуся в курских присутственных местах», Лесков описал философские споры курской образованной молодежи эпохи «господства романтизма» почти теми же словами, которыми в «Печерских антиках» говорится о Киеве, едва ли не перенес в курскую обстановку киевские события: «В такие ночи курские жители наслаждаются своими курскими соловьями (...) и лишь только одни молодые учителя жарко спорят о чувствах высокого и прекрасного или о дилетантизме в науке». (...) Теперешнее русское среднее общество отнюдь не похоже на то, с которым я жил в Курске в эпоху моего рассказа».

⁴⁵ Н. Л. Спорная область между двумя мирами. Наблюдения и изыскания в области медиумических явлений. С рисунками. Сочинение Роберта Дель Оуэна, перевод с английского. СПб., 1881 г. — «Исторический вестник», 1882, январь, с. 234.

⁴⁶ Русское общество в Париже. В кн.: Лесков — Стебницкий Н. С. Сборник мелких беллетристических произведений. СПб., 1873, с. 521, 509, 451 (курсив мой. — А. Г.).

⁴⁷ Л. С. Вавилонская дочь. — «Русский мир», 1872, 26 января, № 24.

⁴⁸ Лесков — Стебницкий Н. С. Сб. мелких беллетристических произведений, с. 409, 406.

⁴⁹ Меркул Праотцев в ряде сущестнейших черт внутреннего облика — двойник Лескова. Примечательно, что в ряду бесподписных статей писателя есть «Дневник Меркула Праотцева». — «Русский мир», 1874, № 63, 70, 77.

⁵⁰ Лесков Н. С. Новозаветные евреи (Рассказы кстати). — «Новь», 1884, т. I, № 1, с. 71—72.

⁵¹ Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М. — Л., 1930, с. 155.

⁵² РО ГБЛ, ф. 120, колл. 40, кн. 18, л. 37.

⁵³ Упомянув К. В. Чевкина, А. В. Никитенко писал в январе 1858 г.: «Сей государственный муж доказывал..., что нынешнее направление литературы, заключающееся в преследовании всяческих крадств, вредно. Недавно в какой-то статье задеты были по этой части путейские чиновники. Вообще многим из нынешних главных начальств не нравятся литературное бичевание мерзостей, совершающихся в их ведомствах. Они находят, что это повлечет неуважение к правительству. Гласность и усиление общественного мнения в делах общественных они находят вредным...» (Никитенко А. В. Дневник. Т. 2, 1858—1865. М., 1955, с. 5).

⁵⁴ РО ГБЛ, ф. 120, кн. 21, с. 128.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ 1859—июнь 1860 гг. — время, когда Громека был главным секретарем Одесской конторы Русского общества пароходства и торговли, а также редактором «Листка русского общества пароходства и торговли» (по № 49 от 26 июня 1860 г.).

⁵⁷ Сетуя на свое квазивпадение в социализм, еще не столь далеко эволюционировавший вправо, Громека признавался Каткову 2 мая 1860 г.: «Я чувствую, что социализм подкашивает меня, и не могу оторваться от той точки зрения, с которой поземельная собственность является (...) кражею у всего человечества и источником деспотизма и рабства в разных видах. Раз ставши на эту точку, невозможно сойти с нее, и тысячи вопросов и сомнений преследуют меня...» (РО ГБЛ, ф. 120, кн. 21,

с. 131). Эти ноты, проникшие в статьи Громеки, имеют созвучия в публицистике Лескова 1860 — 1861 гг. Громека высказывал желание, «чтобы Россия не оставалась на полпути, не окончила в смертельных объятиях бюрократии, вочинной неправды и застоя!» (Громека С. С. О полиции вне полиции. — «Русский вестник», т. 17, 1858, октябрь, кн. 2, с. 692).

⁵⁸ В статье «Последнее слово о полиции» («Русский вестник», т. 20, 1859, апрель, кн. 2, ф. 635—653) С. С. Громека перефразировал строки письма 1858 г. Каткову, словно бы возражая не названным публично Тимашеву, Чевкину, Долгорукову: «И за то, что мы сами верим и надеемся и возбуждаем теплую веру в других, друзья наши называют нас красными!»

⁵⁹ Сведения эти собрал А. Н. Лесков (РО ГБЛ, ф. 357, карт. 2, е. х. № 7).

⁶⁰ В. П. Памяти Н. С. Лескова. — «Петербургская газета», 1895, 22 февраля, № 51.

⁶¹ Фотокопию автографа см. в кн.: Лесков А. Жизнь Николая Лескова, с. 129.

⁶² Книга появилась (1854—1858) в переводе редактора «Указателя экономического» И. В. Вернадского. Статья Лескова «Очерки винокурной промышленности» открывалась эпиграфом из нее (наряду с эпиграфом из «Губернских очерков» Н. Щедрина). Чернышевский считал авторитет Тенгоборского ложным, ибо экономист имел «решимость говорить о пользе крепостного права для земледелия». Осудив переводчика, не изыавшего «дурих страниц» (этого требовала «честь науки»), Чернышевский напечатал свои «примечания» к книге, «которые бы восстановились искаженная автором истина». — «Современник», 1858, № 2, с. 399—400.

⁶³ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в трех томах, т. 2. М., 1952, с. 38.

⁶⁴ Левандовский Л. Н. С. Лесков в Киеве (Новые материалы). — «Русская литература», 1963, № 3, с. 108—109.

⁶⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. М., 1958, с. 672.

⁶⁶ Никитенко А. В. Дневник, т. 2, с. 17.

⁶⁷ В личной библиотеке писателя находилось как раз лондонское издание книги Радищева, выпущенное под одним переплетом с записками кн. М. Щербатова «О повреждении нравов в России». Хранящие многие пометы владельца, оно находится ныне в Орловском доме-музее Н. С. Лескова (библиотека Н. С. Лескова, № 112).

⁶⁸ Никитенко А. В. Дневник, т. 2, с. 39—40.

⁶⁹ В период размежевания революционеров с либералами И. В. Шелгунов, процитировав те же слова, перенесенные Ф. Г. Тернером в книгу его «О рабочем классе и мерах к обеспечению его благосостояния», иронически прокомментирует их: «Мы нарочно выписали все это прекрасное место, чтобы показать, как цветисто писали в 1848 г. (...) Действительно, какое приятное чувство — участие к меньшей братии, столь многочисленной, и какое высокое наслаждение подать ей руку помощи вовремя и кстати! Но ведь еще приятнее быть старшею братиею, тем более что без этого невозможно наслаждение помогать меньшим братьям?» Революционер Шелгунов предложил либеральному экономисту, не ставшему под сомнение нынешней классовой организации общества, не хлопотать «о благосостоянии русского народа»: «в народе много силы и смысла, (...) он и сам справится с своим делом» («Современник», 1861, декабрь. Современное обозрение, с. 160, 170).

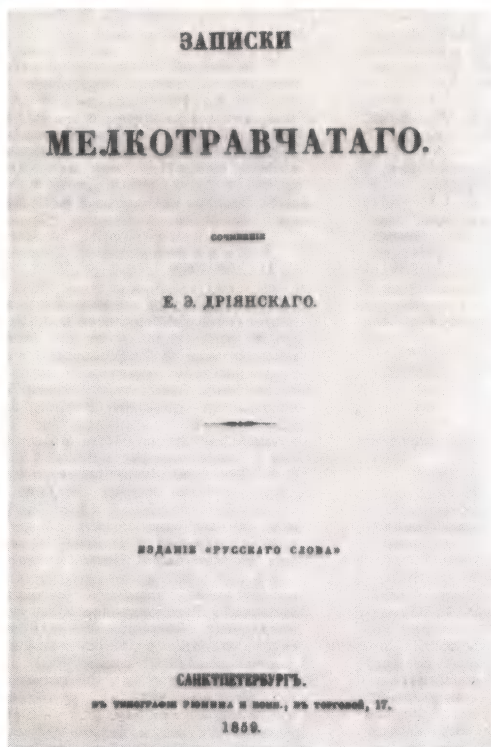
⁷⁰ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 29.

⁷¹ Левандовский Л. Н. С. Лесков в Киеве, с. 108.

⁷² Там же.

⁷³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1948, с. 844.

⁷⁴ Добролюбов Н. А. Собр. соч. в трех томах, т. 2. М., 1952, с. 42, 39.



«Записки мелкотравчатого». Первое издание.

«Записки мелкотравчатого». Издание 1930 г.

В. Гуминский

Охота пуще неволи

(Очерк о писателе Е. Э. Дриянском и его лучшей книге)

«Милый Миша, — писал Александр Николаевич Островский брату 4 декабря 1872 года, — Егор Эдуардович Дриянский при последнем издыхании: нужда, сырые квартиры сломили его железное здоровье и довели до лютой чахотки. В темном углу, за Пресней, без куса хлеба, без копейки денег умирает автор «Одарки Квочки», «Квартета», «Туза», «Паныча», «Конфетки» и пр., таких произведений, которые во всякой, даже богатой литературе были бы на виду, а у нас прошли незамеченными и не доставили творцу-художнику ничего, кроме горя. Теперь уж поздно бранить его за непрактичность, за

хохлацкое упрямство, за неумение показать товар лицом; теперь надо помочь ему. Сделай милость, напиши кому-нибудь из членов Литературного фонда, чтобы поспешили помощью несчастному Дриянскому (формальности на тот раз можно и обойти)...»¹

Письмо Островского было доложено на 32-м заседании Комитета Литературного фонда, и 18 декабря нуждавшемуся писателю выделили 100 рублей. «Чтобы понять, как вовремя и к месту была эта помощь, — благодарил Островский казначея Литфонда, — надо было видеть, как крестился Дриянский, принимая деньги»².

Той зимой московские газеты сообщали о постановке в Малом театре новой комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — Островский будет писать Некрасову о «сумасшедшем, бешеном успехе» пьесы. Открылся модный каток на Пресненском пруду, в двух шагах от квартиры Дриянского, по соседству с Зоологическим садом: именно той зимой — как впоследствии точно установят литературове-

ды — толстовский Константин Левин будет здесь кататься вместе с Кити Щербацкой. Или вот: «Саратовский помещик Петр Иванович Богданов осенью выехал из Саратова в поле с собаками; куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов ехал с охотой; так за зайцами и лисицами доехал до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до 400 верст по почтовой дороге. Богданов хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт — быстро стал необходимым членом общества...» Рассказывали газеты и другие новости, предупреждали об осторожном обращении с огнем — приближался новый, 1873 год, а с ним и новогодние праздники с их всегдашней пиротехникой.

О смерти литератора Егора Эдуардовича Дриянского 29 декабря 1872 года в доме Александрова, в Безымянном переулке, что за Пресненским мостом, газеты не сообщали.

ЧТО ОСТАЛОСЬ

После Дриянского остались:

Повесть из малороссийской жизни «Одарка Квочка», напечатанная с благословения Островского в № 17—18 «Москвитянина» за 1850 год. «В повести видны признаки таланта, который, будучи и необработанным, обнаруживает оригинальность...» — похвалили «Отечественные записки»³.

Пьеса «Комедия в комедии» («Москвитянин», 1855, № 6) — «произведение, которое, несмотря на все свои недостатки, выходит из уровня обыкновенных драматических явлений наших и достойно занять довольно почетное место в скромном по количеству репертуаре новейшей драматической литературы» — по отзыву «Библиотеки для чтения»⁴.

«...О г. Дриянском, хотя его доселе напечатанные у нас произведения «Одарка Квочка» и «Комедия в комедии» приняты весьма благосклонно петербургскою критикою, мы можем говорить добросовестно не столько на основании этих напечатанных произведений, сколько на основании других, нам известных, но доселе еще неизвестных публике...» — так начал свою рецензию Аполлон Григорьев⁵. На основании «еще неизвестных публике» произведений Дриянского критик «Москвитянина» обещает начинающему писателю «почетное место в литературе». В этой статье он их так и не назвал. Попробуем назвать мы.

Повесть «Паныч». Григорьев по прослушиванию рекомендовал ее «прекрасной вещью»⁶, напечатана она была в № 11 «Библиотеки для чтения» за 1856 год под другим названием, отредактирована до степени «возмутительного безобразия». «Добыл, наконец, ноябрьскую книжку Библиотеки для чтения и пробежал покойника Паныча,— сетовал Дриянский,— куда как невзрачен Л и х о с с е д в его шкуре; да и подвешен-то он плохо, и лена лихо полиняла...»⁷

«Посылаю вам «Квартет» Дриянского, про-

читайте его сами, употребите на это денек, вещь стоит того», — писал Островский И. И. Панаеву⁸. «О достоинстве этого произведения вы знаете мое мнение, да и сами это несомненное достоинство увидите», — вторил ему Григорьев в письме к Дружину⁹. И дальше: «...я лично держусь того, что серьезный художник есть всегда лучший судья своего произведения». «...«Квартет» есть лучшее мое дело...» — это сам «серьезный художник» — Дриянский¹⁰.

История напечатания этой повести занимает пять лет. За это время она побывала у М. П. Погодина в редакции «Москвитянина» (август — апрель, 1853), в апреле 1856 года в «Отечественных записках» — редактор А. А. Краевский; у редактора «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинина (июль, 1856), в «Современнике» у И. И. Панаева (май, 1857); весной того же года снова в «Москвитяnine», когда на недолгий срок его «полновластным хозяином» стал Аполлон Григорьев; через год она чуть было не попала в «Русское слово», куда перешел Григорьев, а напечатана была в № 9—10 «Библиотеки для чтения» за 1858 год при А. Ф. Писемском¹¹. В своих странствиях «Квартет» получил еще четыре положительных отзыва: от В. П. Боткина, А. В. Дружинина, А. А. Краевского, И. И. Панаева (от двух последних — по первом прочтении) и два отрицательных: от А. А. Краевского и И. И. Панаева, когда по размышлении и, «соображаясь с удобствами журнала», в напечатании было отказано. За это время повесть несколько раз проходила цензуру и переделывалась в соответствии с ее требованиями, несколько раз по собственному вкусу ее переделывали редакторы, несколько раз сам автор «ломал ей шею».

Роман Дриянского «Туз» начал было печататься в «Русском вестнике» за 1865 год, но вскоре вызвал, по свидетельству С. В. Максимова, «целую бурю недоразумений и споров». Он передается в «Московскую газету», и в ней появляется следующее объявление: «С № 7 нашей газеты начался печататься роман в четырех частях Е. Э. Дриянского «Туз», начало которого, в измененном противу оригинала виде, под названием «Антон Антонович» было печатаемо в «Русском вестнике», но остановлено по требованию автора...»¹²

С 1851 по 1872 год Дриянский сотрудничал почти во всех крупных русских журналах и опубликовал в них ряд других своих вещей¹³. Критических отзывов на эти произведения не обнаружено.

Где-то начиная с середины 60-х годов писатель стал задумываться и об итогах своей творческой деятельности: «Видите ли, еще в третьем году покойник Аполлон Григорьев адресовался ко мне с предложением от Стелловского (известного книгоиздателя. — В. Г.) насчет полного собрания всех моих вещей (<...> Всех вещей будет до пятнадцати, и со всем наберется листов вблизи ста (<...> Много вещей вступят в него в обновленном виде, как, например, «Паныч», испорченный Дружининым в «Библиотеке»...»¹⁴.

Кроме того, до нас дошли письма Дриянского



Сотрудники «молодой» редакции «Москвитянина». На переднем плане (сидят): Аполлон Григорьев (в центре), А. Н. Островский (справа).

го: 25 — к Островскому, 14 — к Дружинину, по два, по три — к С. В. Максиму, Аполлону Майкову, А. В. Старчевскому, одно — к министру народного просвещения Е. П. Ковалевскому (подробности о нем ниже).

Вот, пожалуй, и все, что осталось.

ИТАК...

Итак, Островский был как будто прав в своем утверждении, что лучшие вещи Дрианского, произведения «творца-художника», прошли незамеченными в тогдашней литературе. В самом деле: если на первые его сочинения и были положительные отзывы в печати, то вскоре их сменили оценки из частной переписки, а затем и полное молчание.

Полностью подтверждается и другое заключение Островского, что эти вещи не принесли Дрианскому ничего, кроме горя. Лучшим комментарием к нему могут служить письма писателя, в особенности последние. В них речь идет о нищете, «чистой нищете», когда нет 1 рубля 19 копеек в аптеку сегодня, а завтра — денег может не оказаться и на «более необходимую потребность», то есть на похороны.

В одном из писем конца 60-х годов писатель попытался обобщить опыт своих литературных и прочих злоключений: «Знаете, я не фаталист и верю, что все несообразности и неудачи зависят исключительно от нашего неумения орудовать делом, от непрактичности, нерасчетливости и от подобных причин, но о себе имею право сказать, что я именно та исключительная личность, для которой придуманы нарочно и исключительные препоны во всем. Например, я твердо уверен, что если мне завтра предстоит перейти улицу для того, чтобы получить что-либо желанное, даже должное в смысле интереса, непременно посреди улицы окажется либо загородка, либо канава непроходимая, — одним словом то, что скажет: «Ступай назад! Другим можно, тебе нет!» Черт знает что такое! Так ли, сак ли, бог меня убей, становится совестно за самого себя. И кружится голова, и тоска разъедает душу»¹⁵. Знаменательно и само дословное совпадение писем (Островского и Дрианского и Дрианского к Островскому), только Островский убрал «исключительность» и, думается, не потому, что ее вовсе не было, а просто больше было «непрактичности», «неумения показывать товар лицом» и других «подобных причин».

Не был Островский одинок и в перечислении лучших вещей Дрианского: точно так же думал, по-видимому, и сам их автор, так полагали и современники-литераторы. Для них Дрианский был автор «Одарки», автор «Квартета» — и это служило достаточной рекомендацией. О «пр.», то есть о прочих произведениях «творца-художника», как-то не вспоминалось.

Пожалуй, единственное исключение составил С. В. Максимов. На письмах Дрианского к нему рукой адресата для справки уверенно поставлено: «Письмо автора «Записок мелкотравчатого». Позже стали появляться неясные све-



И. В. Киреевский.

дения о том, что эту книгу ценил и использовал в своих произведениях Чехов¹⁶. Потом поползли и совсем уже туманные слухи, что ее читал и хвалил Бунин, что к числу ценителей «Мелкотравчатых» относились Ремизов и Пришвин. Но проверить их так и не удалось.

Так что творчество «несчастливого Дрианского» было, казалось, забыто и похоронено.

«ЗАПИСКИ МЕЛКОТРАВЧАТОГО»

«Записки мелкотравчатого»...

Сочинение Дрианского...

Ни название книги, ни имя автора ничего не говорят современному читателю. Так начал свою статью 1930 года «Об авторе «Записок мелкотравчатого» известный историк литературы П. Е. Щеголев. Статья эта предвляла переиздание книги Дрианского.

Щеголев назвал публикуемую вещь «лучшей из охотничьих книг» и поставил ее в один ряд со знаменитыми охотничьими записками Аксакова, тургеневскими «Записками охотника», блистательными страницами, написанными об охоте Львом Толстым. То есть поставил наравне с лучшими, классическими образцами великой русской прозы XIX века. И авторитетно утверждал: «Не только охотничья книга, а еще общечеловеческая и художественная», «написана пером первоклассного мастера».

С тем же тщанием, с каким он обычно подходил к работе над текстами Пушкина, Лермонтова, ученый опубликовал ряд писем Дрианского,

столь же уважительно и скрупулезно собрал почти все упоминания о нем в печати, в переписке и воспоминаниях современников.

Но что же это все-таки за книга, заслонившая собой все остальные, в том числе и отнюдь не бесталанные произведения Дрянского? ¹⁷ Что такое «Записки мелкотравчатого», которые позволяют их автору с полным правом претендовать на «почетное место» (вспомним слова А. Григорьева) в первом ряду русских литераторов, и чем они отличаются от других, классических «охотничьих записок»?

«МЕЛКОТРАВЧАТЫЕ» И КЛАССИКА

«Посылаю вам, любезнейший Александр Николаевич, статейку в «Смесь», — писал Дрянский Островскому из Ренбурга летом (в июне?) 1850 года. — Душевно рад, что удалось выполнить обещание: не знаю, хорошо ли? От вас зависит оценка. Мое дело было сделать как сумелось. Правду сказать, я было начал ее сперва без основной идеи, а так просто, с плеча! Но вникнув после в дело, когда оно пошло ровнее, нахожу, что этот отдел есть неисчерпаемый источник для пера, а потому, быть может, ни к селу, ни к городу окрестил ее «Мелкотравчатыми» и расположил так, что впоследствии можно будет развить их как душевнее угодно» ¹⁸.

Так небрежно началась история «Записок», первый отрывок из которых под названием «Мелкотравчатые. Очерк из охотничьей жизни» появился в № 2 «Москвитянина» за 1851 год. Отметим любопытное совпадение. «Мелкотравчатые» были напечатаны в отделе «Смесь», «так сказать, на задворках журнала», по замечанию Щеголева. А за четыре года до этого в «Смеси» январской книжки «Современника» за 1847 год был опубликован первый очерк из «Записок охотника» Тургенева. Или, как писал об этом П. В. Анненков: «...в одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч», как путеводная звезда, восходящая на горизонте» ¹⁹. В дальнейшем оба эти произведения печатались уже в главных отделах журналов — в «Словесности».

Но только этим сходство «Записок» Дрянского и Тургенева не исчерпывается. На их общее отличие от «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова обратили внимание уже сами охотники. Так, в известной «Русской охотничьей библиографии» Н. Ю. Анофриева характеристика «Мелкотравчатых» (к этой любопытной характеристике мы будем возвращаться и позже) дана в разделе «Охотничьи повести и рассказы». В том же разделе помещена справка и о записках Тургенева, тогда как аксаковские «Записки ружейного охотника» отнесены библиографом в гораздо более специальный раздел «Охотничьи руководства и справочников» вместе с охотничьими инструкциями, календарями и т.п.

Книга Аксакова и в самом деле много специфичнее и как бы «научнее» произведений Тургенева и Дрянского. В центре его записок —

звери и птицы, человек же со своей собственно человеческой психологией, страстями устраняется из этого мира или, точнее, подчиняется ему и служит верным его отражением. Он — наблюдатель-натуралист, который наблюдает — а по Аксакову это значит: и любит и блюдет, то есть с любовью оберегает, — открывшиеся ему будто впервые красоту и сложность природного мира, не желая смешивать и портить их своей собственной сложностью. Этот наблюдатель (но никак не охотник как главное действующее лицо) словно находится в зрительном зале, на сцене которого разворачивается великое и вполне самостоятельное действие — жизнь природы. Главные его персонажи — пернатые и четвероногие — равнодушны к человеку (вспомним пушкинскую «равнодушную природу»), но человек уже начинает догадываться, что в природе есть своя душа и свобода (Тютчев). А догадка эта, догадка о родственном, хоть и забытом, ведет к участию, любви, пусть еще безответной.

Не случайно образ театра так настойчиво вторгался в критические отзывы на аксаковскую книгу. «Москвитянин», например, писал: «В целом репертуаре иной сцены, со всеми ее трагедиями, комедиями, водевилями и балетами, не примешь такого участия, как в судьбе пернатых жителей болота, степи и леса, описанных автором» ²⁰.

Совсем иначе у Тургенева. Охота как таковая его интересует меньше всего — охотник он маскарадный, «странный» (то есть сторонний, посторонний на охоте), по отзывам современников ²¹. Прекрасные охотничьи и пейзажные описания в «Записках охотника» — это только лирические отступления, своего рода стихотворения в прозе. Описания природы композиционно организуют книгу, дают ей общий светлый тон; они могут сливаться с ее главной темой, могут контрастировать с ней, но никогда не самодовлеют. Грубо говоря, охота здесь только внешний повод для проявления поэтического «чувства природы» рассказчика, условный организационный прием для решения совершенно другой задачи: изображения мира людей, «земледельческого класса», социальных обобщений большого порядка.

И наконец, Дрянский. Для него важна именно охота. Охота как процесс, как самостоятельный социальный институт, как явление, изменяющее обычные отношения между людьми, между человеком и зверем и заставляющее вспомнить об общей, родственной «проснове» этих отношений. Здесь есть нечто общее с аксаковским подходом к миру, но если аксаковский охотник, затаившись на одном месте, ласкает природу своим любящим, внимательным взглядом, то охотник Дрянского вторгается в нее со страстью, инстинктивно понимая, что встретит столь же сильное ответное чувство.

«Читатель, не державший в руках ружья, — справедливо писал о «Мелкотравчатых» Щеголев, — не имеющий никакого представления об охоте, собаках и так далее, вдруг проникается настроениями и интересами охотника, входит во

все подробности охотничьего спорта. Ему становится близкой и родной психология гона, психология борьбы со зверем, делаются понятными и волнующими переживания собаки и человека, возникающие из их совместной работы»²².

Многие отличия книги Дряновского от записок Аксакова и Тургенева протекают из своеобразия самого материала «Мелкотравчатых».

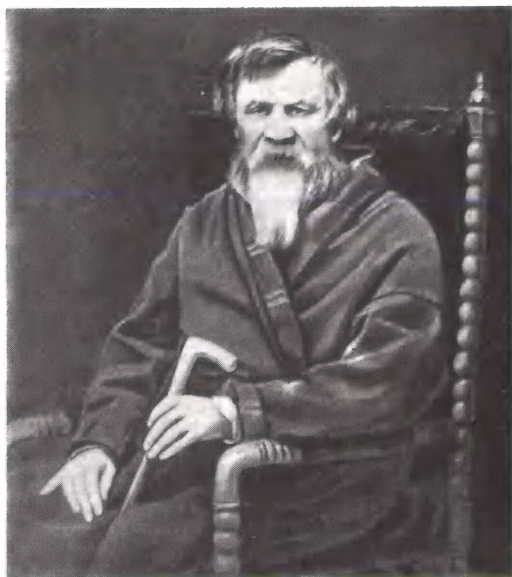
«МЕЛКОТРАВЧАТЫЕ» И ПСОВАЯ ОХОТА

Псовая охота, так же как и ее воздушный аналог — соколиная охота, много древнее большинства остальных охот, в том числе и ружейной. Ружье в руках охотника свидетельствует о том, что между миром зверей и птиц и человеком пролегла непроходимая граница и человек может нарушить ее только с помощью чуждого этому миру предмета — продукта человеческого развития, цивилизации, законы которой давно разошлись с законами природы. Ружейная охота — это борьба заведомо неравных соперников, и, безусловно, этический момент был решающим в той странности аксаковской книги, что в записках ружейного охотника ружейной охоты нет как таковой — она подразумевается. Это — исходная предпосылка, заданное, но оставшееся за пределами книги условие.

Ружейный охотник, как правило, одинок, во время охоты он не принадлежит ни человеческому, ни какому другому коллективу. Если же он по гуманным соображениям забудет про ружье, станет натуралистом-охотником, литератором-охотником (причем слово «охотник» будет обязательно на втором месте), то все равно останется в сфере действия человеческой культуры, и одиночество его будет даже еще заметнее: ведь не случайно именно в этой сфере закрепились формула «наедине с природой».

Отношения же между охотником и подружейной, легавой собакой — слепок с неравенства отношений в человеческом обществе. Собака здесь, конечно, и друг, но самое главное — верный слуга, существующий самостоятельно как охотник лишь постольку, поскольку ружье не может само искать и подносить дичь.

Не так в псовой охоте. Здесь между человеком и зверем стоит, по существу, еще один зверь, только в большей или меньшей степени прирученный, одомашненный и потому держащий сторону человека. Основная борьба разворачивается между этими представителями одного или почти одного мира, человек же в первую очередь свидетель псовой охоты, а уже потом участник ее финала. Тут уже власть переходит в его руки, он поднимается над сценой как главный устроитель и действительный хозяин им задуманного, а осуществленного зверями действия, он вершит их судьбу и получает их добычу. Не случайно на фреске в юго-западной башне Софии Киевской, на которой изображена древняя сцена охоты на тарпанов (диких лошадей), ситуация так близка псовой охоте, только



М. П. Погодин.

на месте собак изображены пардусы (прирученные гепарды).

А вот единственный в своем роде «психологический» портрет главного действующего лица псовой охоты, приведенный Дряновским в его книге:

«Из всех собак, которые по своей породе и свойствам принадлежат к различным родам охоты, едва ли сыщется хоть одна, которой бы суждено было терпеть такую скорбную участь, какой обречена наша русская, так называемая стайная, паратая гончая собака. По самой уже природе она предназначена к постоянно тщетному разыскиванию чего-то вечно убегающего от нее, о близости которого доносит ей тонкое чутье; она тянется из всех жил, работает до истощения последних сил, носится, ищет, гонит, хлопочет, и все это для доставления потехи другим, сама же не может и не смеет дотронуться до предмета своих вечных поисков, и чуть она отрыскала, увлеклась дальше своего предела, как уже крик выжлятника и грозная рука с арапником встречаются и провозжают ее к новым поискам, гоньбе и тревоге...

За что же эта необходимейшая и самая дорогая собака в охоте, эта рьяная, самоотверженная, добыточная труженица и вернейшая помощница охотника, доставляющая ему одно из наилучших для него удовольствий, оставлена им в таком черном теле и не выходит ни на миг из-под тирании своих грозных надсмотрщиков и стражей, в то время как сухопарая борзая и вислоухая легавая пользуются таким почетом и ласкою господина, едят с одной с ним тарелки, спят на мягких диванах и пользуются всеми благами и довольств и свободы?.. А за то, что ни одна из охотничьих собак не обладает таким

количеством зверских инстинктов, сколькими наделена гончая собака, преимущественно зверогон; его жадность, заркость и злоба, без постоянного внимания и строгого за ним досмотра, ведут его прямо к зверской одичалости...

Гончая может нарушить волю пославшего ее, обернуться его врагом, посягнуть на достоинство человека — домашних животных. Но эти нарушения человеческого права расцениваются не по новым законам, по которым признается право только человека, а по тем древнейшим, где человек и зверь равноправны и, вступив в борьбу (или заключив союз), равно отвечают за свои поступки: будь то убийство или покушение на собственность. Человек сильнее собаки, он подчинил ее своей воле, она стала его собственностью. Но и он же в силу законов псовой охоты признает за ней право на протест, проявление звериной свободы — ответственность за плохую выдержку стаи несет он сам как ловчий, охотник. В «Записках мелкотравчатого» погибает на охоте мальчик Фунтик, но это не несчастный случай, не трагическое исключение из порядка жизненной справедливости, а напоминание об естественном и справедливом порядке, когда жертва может ответить убийце тем же.

Древнюю основу псовой охоты Дрянский тонко чувствует, художнически понимает и передает в «Мелкотравчатых» с возможной полнотой. С той же художественной полнотой рассказывает он о самом процессе охоты, обо всех его подробностях и деталях.

Мы уже отмечали своеобразную «научность» «Записок ружейного охотника» Асакова, когда речь шла о жанровых отличиях его книги от охотничьих записок Тургенева и Дрянского. Тогда на первый план выступила большая непрофессиональность, относительно большая литературность, беллетризованность двух последних книг (отмеченная и в охотничьей библиографии). Термин «научность» вполне можно употребить в применении к книге Асакова даже и без кавычек, ведь она, как известно, была высоко оценена крупнейшими представителями тогдашнего русского естествознания (проф. К. Ф. Рулье, проф. В. М. Черняевым и др.). Записки Асакова внесли «огромный запас фактов в науку», — констатировала журнальная критика²³.

Посмотрим же теперь, как отнеслись к «Запискам» Дрянского специалисты-охотники с точки зрения своей «науки», — это позволит установить фактическую основу его «охотничьей повести», «собачьего романа», понять, на каком действительно материале создавал писатель свое повествование о псовой охоте.

«МЕЛКОТРАВЧАТЫЕ» И ОХОТНИКИ

В самом конце «Мелкотравчатых» сделано следующее заявление: «...правильная серьезная псовая, как и всякая другая охота, есть своего рода наука, к которой, заключаю словами ловчего Феопена: «Надо подступать умечу!»

Насколько профессионально следовал этому заявлению в своей книге Дрянский, можно увидеть, сравнив ее со специальными руководствами для псовой охоты Реутта и Венцеславского, что уже сделал в свое время П. М. Мачеварианов — «профессор охоты», как его именovali современники. «Е. Э. Дрянский, — писал он в «Записках псового охотника Симбирской губернии», — в своем прекрасном, живом охотничьем рассказе «Записки мелкотравчатого» высказал о псовой охоте во сто раз более, дельнее и поучительнее для неопытных охотников, чем сколько написано в обоих вышесказанных руководствах»²⁴. Уже в XIX веке на «Мелкотравчатых» начинают ссылаться при разрешении профессиональных споров, авторитет их в вопросах псовой охоты становится непререкаем. «Не угодно ли заглянуть в книгу «Записки мелкотравчатого», г. Дрянского, — советует своему оппоненту автор одной из тогдашних статей, — посмотрите, как ловил русака только что сгодовавший кобель Карай — тогда будете иметь понятие, как должна ловить резвая собака двух или трех осеней, т. е. в самой поре»²⁵.

Наиболее развернуто охарактеризовала с этой точки зрения книгу Дрянского уже знакомая нам «Русская охотничья библиография» Н. Ю. Анофриева: «Знаменитая у охотников повесть, изображающая псовых охотников времен крепостного права. Повесть написана замечательно живо, прекрасным охотничьим и литературным языком и считается образцом рассказов о псовой охоте. Эта повесть — лучшая настольная книга каждого псового охотника. Главные лица изображают известных тогда охотников: Алеев — Кареева, Бацов — Нитлева, а граф Атукаев — графа Палена. Книга редкая, стоит до 8 рублей»²⁶.

Щеголев счел указание на прототипы персонажей «Мелкотравчатых» «скорее продуктом охотничьей легенды, чем исторической действительности». Очевидно, здесь сыграл решающую роль традиционному скептическому подход к любому охотничьему (или же рыбацкому) высказыванию, претендующему на достоверность. Но на этот раз традиция «охотничьего» предания оказалась предельно документальной.

Вот что пишет Дрянский на одной из страниц своих «Записок»:

«...Все мы сошли с балкона и принялись рассматривать этих волкодавов, о которых слава гремела во все концы охотничьего мира, так что коренной охотник, владимирец или костромич, при встрече со своим братом воронежцем или тамбовцем, перечисляли поименно охотников и псово собак «братовской породы», и каждый, желая возвысить достоинство собственной охоты, говорил: «Вот мать моих собак, внучка Наяну» или «Отец этих собак, сын Пылая и Юргы, прямо из Братовки!» Эту геральдику собачьей породы твердят охотники издавна, еще со времен существования деда и прадеда Алеева...

...привели на сворах одиннадцать молодых собак; глядя на них, трудно было поверить, что это щенки. Не знаю, что думали мои охотники,

но я сознавал, что такой красоты, статей и роста собак вижу первый раз в жизни».

А теперь сравним этот отрывок с выдержкой из «Отчета о 2-й очередной выставке собак и лошадей в Москве» А. Е. Корша: ²⁷ «Победим — кобель пологопегий ростом 1 аршин 3 вершка (85 сантиметров. — В. Г.) — рост громадный для борзой собаки, такой громадный, что мы со своей стороны видели только вторую подобную собаку...» Победим получил на 1-й очередной выставке большую серебряную медаль. Вторая «подобная собака», о которой говорит в своем отчете А. Е. Корш — Награждай (рост 1 аршин 2 вершка), «как лучший представитель русской породы псовых собак», получил на 1-й выставке большую золотую медаль. «Награждай — однопятнистый Победима, собака породы Кареева...»

«Собаки С. С. Кареева идут все от Наяна, принадлежавшего покойному Ал. Ник. Карееву, который вывел очень псовую, красивую и злобную породу собак, достигшую значительной известности (...) и описанную в «Записках мелкотравчатого» г. Дрянским».

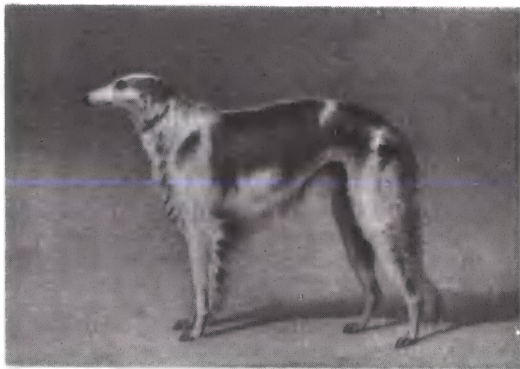
«...у г. Кареева на выставке и после выставки были раскуплены все приведенные им щенки и даже взрослые собаки (...) При этом долгом считаем привести следующий любопытный факт: кобеля и суку купил г. Гейденрейх за 225 рублей для берлинского зоологического сада...»

В 1875—1876 годах на страницах «Журнала охоты» разгорается полемика по поводу «правил ведения пород» псовых собак ²⁸. Начал ее некто Н. П. Ермаков. Вскоре ему ответил С. С. Кареев. Его статья с выразительным названием «Сердце не камень — не вытерпело и заговорило» была подписана фамилией автора и указанием: «Раненбургский уезд, с. Братовка» (вспомним, что именно из Раненбурга Дрянский отправил свое письмо о «Мелкотравчатых» Островскому летом 1850 года).

Полемика велась с постоянными ссылками на «Записки мелкотравчатого», упоминались граф Пален и другие прототипы героев «Мелкотравчатых», шла речь и о «дедовских и прадедовских традициях» содержания «братовской породы» — С. С. Кареев готовил к выпуску книгу «Сто лет кареевской охоты».

Еще в № 4 «Журнала охоты» за 1875 год были помещены изображения собак, получивших на очередных выставках награды (худ. Н. А. Мартынова). И Ермаков в одной из своих реплик писал, что «часто любителю на портреты Награждай и Победима. Только по этим двум кобелям могу я судить о собаках г. Кареева — и несмотря на их недостатки, считаю их прекрасными, породистыми собаками...»

Итак, Дрянский возводит просторное здание «Мелкотравчатых» из кирпичиков документального, «портретного» факта. Но сам этот «дельный» факт поучителен своей непохожестью на моментальный, «фотографический» снимок природной жизни, даваемый Аксаковым, на прикладную точность «охотничьего» взгляда Тургенева. Он взят из мира сегодняшней псовой ловли-охоты — «портрета» леген-



Борзые Награждай, Похвал, Победим — призеры 1-й собаководческой выставки («Журнал охоты», 1875, № 4).

дарных, давно прошедших времен, мира, дорожащего своим сходством с этим «портретом», своими «дедовскими и прадедовскими традициями». Непохожа на любую другую и охотничья «наука». Ведь генеалогия любой псовой собаки стремится в идеале выяснить, как давно был приручен человеком зверь и сохранил ли он на протяжении ряда поколений «дворянскую» чистоту своей природной, дикой «породы», несмотря на общение с изменившим этому прошлому человеком.

ОХОТНИЧЬЯ УТОПИЯ

Изменяя отношения между человеком и собакой, охота преобразует и отношения между людьми. В «Мелкотравчатых» широко представлен быт мелкопоместного дворянства с его часто уродливыми формами семейной жизни (Петр Иванович и Каролина Федоровна); граф Атукаев может вволю тешился слабостями своего шута и нахлебника Петрунчика. Но охотник Атукаев ничем не выше других охотников, он преклоняется перед профессиональным авторитетом Алеева, безоговорочно подчиняется воле ловчего Феопена. Коллектив охотников — это своеобразная социальная утопия, первобытное братство людей перед лицом природы. «Нет, ты, брат, не шути этим! Это дело важное; теперь ты сам человек настоящий!...» — говорит Лука Лукич Бацов рассказчику после торжественного посвящения того в звание посового охотника, посвящения в члены этого братства.

И тот же серьезный смысл проступает, несмотря на долю иронии, в знаменитом тургеневском определении: «...я познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком». И те же утопические законы охоты разрешают ловчему Даниле у Толстого грозиться поднятием арапником на своего барина, а того заставляют сконфузиться, испугаться собственного крепостного. Когда же охота закончилась, обращение старого графа к Даниле: «Однако, брат, ты сердит» напоминает о том, что все вернулось на свои места.

Место платоновского философа в охотничьей утопии «Мелкотравчатых» занимает ловчий Феопен — персонаж, близость которого героям древности выдает уже редкостное звучание его имени (Феопен — это русифицированная форма древнего греческого имени Феопемпт, в переводе — «Богом посланный»). Феопен — чудодей, знающий досконально все тонкости ловчего дела, умеющий так «выдержать» стаю, что она поражает даже и бывалых охотников. Это действительный, а не созданный человеческим высокомерием «царь природы», языческий бог охоты, древний и могущественный, полновластный владыка и друг своих собак, готовый для них и вместе с ними пройти все испытания:

«...Рог ловчего гудел уже близ опушки. Когда мы подъехали к тенетам, Феопен только что вылез из трущобы и, стоя на лугу, гудел в рог без умолка; подле него собралась уже небольшая кучка собак; остальные одна за другой валились с разных сторон: одни ложились тотчас, свертывались в колючку и, вздрагивая, грели бока на солнышке; другие катались и вытирались о траву».

Ловчий Дриянского — это художник, высокие замыслы которого недоступны людям и могут быть поняты только человеком близкой, художнической, натуры. Это и хитроумный Одиссей, следующий впереди охотничьего поезда и, по мере того как охота начинает занимать все большие пространства, все более и более вырастающий в глазах читателя. Вершина его

мастерства — охоты в бескрайней степи графини Отакойто, апофеоз сметки — в гениальной проделке с дистанчным и объездчиками, загородившими путь в эту степь.

«Данила Толстого, Феопен Дриянского и Леонтий Бунина (из рассказа «Ловчий», 1946 г. — В. Г.) — три бессмертных литературных типа в охотничьей литературе», — справедливо заключает современный исследователь этой литературы Н. Смирнов²⁹.

МИР «МЕЛКОТРАВЧАТЫХ»

В «Записках мелкотравчатого» два мира, и у каждого из них свои измерения: социальные, пространственные, временные, языковые. Мир охоты только островок на необозримых пространствах русского мира, но этот островок несет в себе полную меру красоты и справедливости, непреходящая ценность которых лежит в основе всего мироздания. Мы назвали охоту своеобразной утопией, и своеобразие этой утопии прежде всего в том, что она реально существует («утопия» с греч. — место, которого нет), она — часть действительного бытия мира, а не отвлеченный идеал, недостижимая норма. Люди и природа выступают в охоте как единое и нерасторжимое целое, но это целое живет по законам природы, и человек здесь только гость, он только «ходит на охоту», а живет совсем в другом месте. В этом — действительная утопичность охоты. Хотя связь между большим и малым разрушена не навсегда: «Охота — природа человека», «Охота — веселье» — утверждает пословица.

В «Записках мелкотравчатого» два времени: одно историческое, со всеми точными приметами жизни России середины прошлого века, другое — время самой охоты — природное, «богатирское время» русских былин и гомеровского эпоса. И второе начало, по мере развития повествования, побеждает в книге Дриянского.

В «Мелкотравчатых» нет сюжета. Его движение подменяется движением охоты, охотничьего поезда. И с каждым шагом охоты человек все более и более приближается к природе, все крепче становится его связь «со всеми соединенными силами мира» (М. М. Пришвин).

В конце концов наступает их полное слияние: над миром «Мелкотравчатых» подымается в своей вневременной и внепространственной сущности образ охотничьего «рая» — степь графини Отакойто — «сто двадцать тысяч десятин земли от сотворения мира не паханной», по которой «бродят стадами журавли, дрофы, стрепета, обитают миллионы сурков», водятся во изобилии красный и всякий иной зверь. У этого «другого края» не может быть никакого хозяина (графиня Отакойто — условный символ, который, получив от охотников свое прозвание, пребывает постоянно где-то «за границей»), и только охота может существовать здесь в обрамлении «картины, которой нельзя было дать другого названия, как земля да небо».

Движение охотничьего поезда начинается под звуки песни, песня же в заключении книги (в сцене «посвящения») объявляет о том, что

охота замирает до следующей осени. Ведь псовая охота живет по законам природного времени и так же, как природа, периодична — только с первых желтых листьев до первой пороши приходит она на землю.

Охотничья песня — это еще и указание на особое языковое существование охотничьего мира, имеющего свой фольклор и богатую литературу.

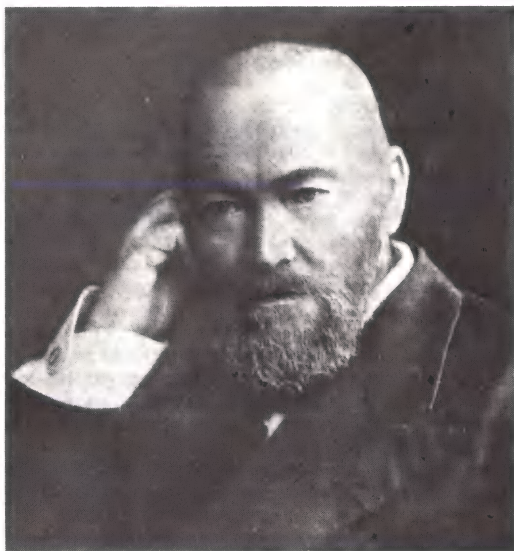
ЯЗЫК «МЕЛКОТРАВЧАТЫХ»

Не так давно, в своей речи по поводу нового многотомного Академического словаря русского языка академик Д. С. Лихачев подчеркнул: «...принято совершенно правильное решение — не включать научную и техническую терминологию в словарь <...> Но есть ремесла, есть промыслы, которые продолжают многие века. И вот их терминология должна войти. Например, сельское хозяйство, охота, рыболовство — то, что всегда обогащало русский язык. Эти промыслы традиционны, и они выработали замечательный, красивый язык. Я особенно настаиваю на языке охоты, на охотничьих терминах. С этой точки зрения я бы предложил просмотреть произведения Дрианского и включить их...»³⁰

В «Записках мелкотравчатых» есть такое примечание «от автора»: «Язык охотничий испещрен множеством таких слов и оборотов, которые могут казаться правильными и понятными только для одних охотников. Как передать, например, не изменения смысла и не умаляя силы выражения повис на шипце, заложился по русаку, заяц начал от р о с т а т ь и тысячи подобных терминов? В другом случае, избегая их и выражаясь языком книжным, я рискую подвергнуться нареканию у специалистов дела и заслужить справедливый от них упрек в непонимании предмета».

Охотничий язык «Мелкотравчатых» — это не просто ряд терминологических вкраплений в общелитературную, «книжную» речь, как на этом вроде бы пытается настоять сам Дрианский. Это стилистическая основа книги, придающая ей совершенно необыкновенный лингвистический колорит, «силу выражения», громкое и неожиданное звучание. Охотничий язык непонятен неспециалисту, но это древний, коренной русский язык, соединенный со множеством знакомых слов богатыми ассоциативными связями. И именно в силу своей *неполной* *полноты* охотничий термин переживается читателем много сильнее, непосредственней, чем стершееся, привычное, общелитературное слово. Происходит нечто вроде языкового открытия: за незнакомым, новым узнается старое, знакомое, и каждое слово становится целым миром, «бездной пространства» по Гоголю.

Приведем несколько примеров. Охотники говорят: «помкнуть» зверя, то есть поднять его с места, «взбудить» и погнать по горячему следу. Начало гона так и зовется «помычкой». И рядом сразу же встают близкие, однокоренные



А. Н. Островский.

выражения: «помыкать» (кем-нибудь), «мыкаться» (по свету), «умыкнуть» (невесту), пословица «Умыкали бурку крутые горки!» и т. п. Весь тот богатый словесный ряд, где и «умыкнуть», то есть замкнуть, убрать под замок, и «помыкая истомить, умучить, замаять» (Даль), и новгородское областное «помыкуша», то есть шатун, бродяга и т. д.

Или поразительно точный термин, «мышкованье», то есть ловля лисицей мышей в осеннем или зимнем поле.

Или сами названия собачьих пород. Вот «борзые» — от слово «борзо», то есть быстро, стремительно. «Седлай, брате, свои брззые комони», — сказано в «Слове о полку Игореве». И тут же встает весь ряд, выражающий скорость, остроту: «борзотекущий», «борзолетный», «борзописец» и т. п.

А термин «отъездное поле»? Вот как его определяет, пожалуй, единственный современный специалист в области охотничьего языка Н. Смирнов: «Отъездное поле — это поистине золотая цепочка образов, передающих весь блеск и поэзию охотничьих скитаний в отдаленных от дома местах <...> само же слово «поле», означающее волю и простор и являющееся синонимом повой и ружейной охоты, отсекает от себя такие производные, как «полевать» (охотиться), «полеванье» (потеха), «с полем» (поздравление с удачной охотой)...»³¹

Охотничий язык имеет свою иерархию, точно отмечающую изменения, происходящие в мире природы. Каждой ступеньке этих изменений соответствует свой термин. В «поле» охоты встречаются «острова», то есть небольшие отдельные лески, особняки (Даль). Волки разделяются на «прибылых», то есть тех, которым меньше года, «переезжков» — больше года, «мате-

рых» — больше двух лет и «стариков» — больше пяти. К тому же волк, находящийся при логове, гнезде, волк-отец, называется «гнездарем», волчица-мать — «гнездаркой».

В этих терминах также нетрудно уловить их происхождение: в первом случае («прибылой») мы встречаемся с производным от «прибыли», во втором («перейрок») — со зверем, переживающим пору возмужания, «перееживания» — от древнего славянского бога плодородия Ярило; в третьем («матерой») — с вполне взаматеревшим, сформировавшимся, вошедшим в года зверем — от древнего родового, идущего от «матери».

Повествование в «Мелкотравчатых» ведется от первого лица, лица бывшего ружейного охотника, совершающего свое первое охотничье путешествие в составе псовой охоты и на наших глазах вместе с нами постигающего всю ее «науку» (в том числе и язык). Но за литературным образом рассказчика, который столь прямо соотносится с нашим собственным незнанием охотничьего мира, стоит сам автор, этот мир прекрасно знающий и понимающий.

Уже то, что нам известно о реальной основе книги Дриянского, позволяет предположить, что рассказчик и автор «Записок мелкотравчатого» не могут очень далеко отстоять друг от друга. Досконально зная биографию писателя, мы могли бы наверняка, идя «от факта к образу», найти еще не одно, не два подтверждения точности его художественного метода.

Но биография Дриянского нам почти неизвестна. Так нельзя ли поступить наоборот и, воспользовавшись художественным материалом «Мелкотравчатых», попробовать если не установить новые биографические данные, то хотя бы дополнить немногие имеющиеся и подтвердить или опровергнуть сомнительные?

ПОРТРЕТ АВТОРА «ЗАПИСОК МЕЛКОТРАВЧАТОГО»

Мы не знаем, где и когда родился Дриянский. Островский говорит о «хохлацком упрямстве» писателя, «малороссийским литератором» называет его Дубровский³². Сам Дриянский, как мы уже знаем, писал малороссийские повести («Одарка», «Паныч»), в которых показал себя превосходным знатком малороссийского быта, фольклора. Все говорит за то, что его родиной можно считать Украину.

Подтверждает это и тот факт, что в «Списке сочинений литераторов, получивших воспитание в гимназии высших наук и лицее кн. Безбородко», где под номером VIII стоит имя автора «Мертвых душ», значится и Дриянский³³. Кажется наиболее вероятным, что учился он в Нежине в 30-е годы³⁴. Но в списке студентов, окончивших курс в этом учебном заведении, Дриянского нет. Следовательно, недоучился?

Преподавание в нежинской гимназии, как и в большинстве закрытых школ того времени, отличалось гуманитарным уклоном: студенты изучали здесь языки, словесность, историю,

искусства — рисование и пр. Конечно, интеллектуальный запас пополняется на протяжении всей жизни, но основы его закладываются в детстве. Так посмотрим, нет ли у рассказчика «Мелкотравчатых» таких интеллектуальных черточек, которые, будучи вовсе необязательными для обычного охотника — а именно таким он в книге представлен, — могли бы «выдать» гуманитарное образование самого Дриянского?

Как будто есть. Рассказчик владеет по меньшей мере двумя, французским и немецким, языками, причем настолько свободно, что может судить об ошибках в произношении других персонажей книги. Конечно, знание языков для того времени не критерий отличия, но показательно, что, если большинство охотников худо ли бедно «знают по-французски», только он один может обратиться к немке Каролине Федоровне на ее родном языке. Но уж совсем необязательно псовому охотнику разбираться в тонкостях живописи, уметь отличать копию от оригинала, хорошую картину от посредственной, а Боппа от Рюисдаля. Между тем рассказчик при случае уверенно берет за это.

Нежинская гимназия создавалась как привилегированная школа для детей местных дворянских фамилий. Условия приема несколько раз смягчались, состав воспитанников постепенно демократизовался, но в интересующие нас годы он оставался преимущественно однородным. С этим как будто согласуется, что и Дриянский свое официальное письмо к министру просвещения подписал: «Егор Эдуардов сын Дриянский (дворянин)».

Но в генеалогических справочниках и родословниках, как украинских, так и польских, как общих, так и губернских, фамилия Дриянского не обнаружена. Да и сама она вызывает известные сомнения. Как справедливо писал Щеголев, «фамилия его, сочетание имени и отчества невразумительны». Или, может, «дворянство» Дриянского было либо недавним, либо вообще проблематичным?

Однако безымянный рассказчик «Мелкотравчатых» держится вполне «на равных» с другими охотниками, в том числе и с титулованными (графом Атукаевым). Да и в отношении к нему незаметно ни тени пренебрежения, которое тот же «его сиятельство» иногда демонстрирует в обращении с «низшими». Судя по всему, герой Дриянского принадлежит к мелкопоместному, но не безродному дворянству, сохраняющему достоинство своих предков, но не их достаток.

Чем занимался Дриянский по выходе из лицея и до знакомства с Островским в 1850 году, мы не знаем. Вероятнее всего, 40-е годы он провел на военной службе в провинции: об этом говорит повесть Дриянского «Квартет» с ее доскональной точностью и специальными подробностями в описаниях армейского быта. Некоторые детали из жизни главных героев «Квартета» имеют, видимо, автобиографичный характер и дают основание предположить причину службы Дриянского в армии: ту же материальную неустroенность и желание поправить дела офицерским жалованьем.

Очевидно, в 50-е годы у него еще было небольшое имение: в одном из писем того времени к Дружинину упоминается некая деревня, из которой получена весточка, что «град обр-отал все на два года вперед»³⁵. Во всяком случае, тогда у Дрянинского была еще возможность выбора между литературой (точнее: литературным заработком) и охотой (то есть существованием на доходы с имения). В письме к Островскому от 3 марта 1853 года раздраженный неудачами с «Квартетом» Дрянинский пишет: «Черт с ним (то есть с «Квартетом». — В. Г.) и со всею литературой — лучше порскать!»³⁶ В сентябре 1856 года он собирался начать хлопоты о каких-то «вещах более существенных», чем литература, при которых «можно будет позабыться литературой, но только забавляться, не больше того»³⁷.

Эта операция — по замыслу Дрянинского, она, вероятно, должна была обеспечить его благосостояние — явно провалилась, и к началу 60-х годов мы его застаем кругом в долгах, с одной только надеждой «прокормиться честным литературным трудом». Теперь вместо собственной деревушки он ездит в имение Островского Щелоково (и выполняет там обязанности управляющего), а любимую охоту заменяет рыбной ловлей на речках Куекше и Мере, обильных «щуками и карасями». В последние годы жизни Щелоково (или, как его называл Дрянинский, «Щелоково») становится для больного и измученного литератора каким-то символом отдохновения «без волнений и тревог»: «Дорогой Александр Николаевич! Наконец мне начало во сне видаться, что я с вами в Щелоково...»³⁸

Мы не знаем даже, как он выглядел: не сохранилось ни подписанных фотографий, ни портрета. Есть, правда, два любопытных свидетельства о внешности писателя, которые позволяют предположить, что она была не совсем заурядна.

Первое принадлежит М. И. Семевскому и относится к его посещениям квартиры Островского в Серебряном переулке, у Николы Воробина. 1 ноября 1855 года Семевский увидел здесь в числе гостей и автора «Записок мелкотравчатого» — «мужчину с загорелым лицом и с черными усами»³⁹.

Второй «словесный портрет» — из письма А. Ф. Писемского к Островскому (около 7 августа 1858 года). С сентябрьской книжки «Библиотеки для чтения» за 1858 год должна была печататься повесть «Квартет». «Всю первую часть уже набрали», как вдруг Дрянинский неожиданно потребовал, чтобы рукопись была передана в распоряжение Аполлона Григорьева. Последний еще весной 1858 года во Флоренции был приглашен Г. А. Кушелевым-Везбородко в «Русское слово» в качестве помощника главного редактора и ведущего критика.

У Писемского — в это время соредактора «Библиотеки» — были все основания для недовольства как поведением Григорьева, который выступал здесь в роли нежелательного конкурента, так и Дрянинского — чересчур легкомысленного и корыстолюбивого автора. И он в пись-

ме к Островскому (общему другу всех троих) не скупится на свои характерные словечки: «Любезный друг, Александр Николаевич! Что этот дуралей Дрянинский делает. За паршивый роман его мы уже заплатили ему деньги, набрали уже всю первую часть, и вдруг он теперь пишет, чтобы передали его повесть полоумному Григорьеву, который будто бы ему дает за все его произведение по сту рублей. Я написал Дрянинскому письмо довольно легонько, но ты распеки его и скажи, что так даже *берейторы, облик которых он носит* (курсив мой. — В. Г.), так берейторы не делают, да и Григорьеву скажи, что это и глупо и подло! А Кушелеву я сам объясню в приличных выражениях»⁴⁰.

Итак, первое свидетельство — «мужчина с загорелым лицом и с черными усами», второе — похожий на «берейтора». Эти свидетельства как будто не противоречат одно другому, скорее, наоборот, в совершеннейшем согласии рисуют портрет если и не охотника, то уж, во всяком случае, человека, близкого и к солнцу и к лошадям (берейтором, как известно, называют специалиста, обезжающего верховых лошадей и обучающего езде на них)⁴¹.

Все эти вопросы (происхождения, внешности, социального и бытового поведения) играли не последнюю роль и в жизни кружка, членом которого Дрянинский вошел в литературу.

Ядро кружка составляла «молодая редакция «Москвитянина». Так принято называть группу молодых литераторов (А. Н. Островского, А. А. Григорьева, Е. Н. Эдельсона, Б. Н. Алмазова, Т. И. Филиппова), сблизившихся между собой на почве одинаковых взглядов на задачи и цели русской литературы.

Вокруг «молодой редакции» объединялись остальные: Н. В. Берг, Л. А. Мей, А. Н. Потехин, М. А. Стахович, Е. Э. Дрянинский, И. Т. Кокорев, С. В. Максимов и др. — литераторы; Н. А. Рамазанов — профессор скульптуры; П. М. Боклевский — художник, знаменитый иллюстратор «Мертвых душ»; П. М. Садовский, С. В. Васильев, И. Ф. Горбунов, А. И. Дюбюк и др. — артисты и музыканты. Кружку, в большей или меньшей степени, принадлежали и различные талантливые самоучки из простонародья (музыканты, певцы и т. п.), студенты, купцы, сидельцы из торговых рядов «не по писанной инструкции, а на основах обычного права: обязательно быть прежде всего русским человеком и доказать свои услуги какой-либо из отраслей родного искусства, той или другой — безразлично» (С. В. Максимов)⁴².

Остановимся чуть подробнее на внешности членов этого кружка. Во второй половине 50-х годов Григорьев отправляет М. П. Погодину письмо, в котором характеризует критически как славянофильство (за его «связь с старым барством», «обрезание и холощение народного во имя узкого, условного, почти пуританского идеала»), так и западничество. Здесь же говорится и о ненависти к «государственному и общественному деспотизму», о непримиримости с западной идеей «об уничтожении народ-

ностей, цветов и звуков жизни, с мыслью об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве»⁴³. Последнее для нас сейчас главное, ведь отношение правительства Романовых к внешности своих подданных строилось, как известно, на «западнических» принципах, заложенных еще политикой Петра I.

2 апреля 1837 года верный его традициям Николай I издает специальный указ, запрещающий носить усы и бороды чиновникам гражданского ведомства.

Но дело не ограничивается чиновниками. Весной 1849 года всем губернским предводителям рассылается циркуляр министра внутренних дел, воспрещающий теперь уже всем дворянам носить бороды и народное платье⁴⁴. Москвичи к этому времени уже начали привыкать к внешнему виду К. С. Аксакова, которого поначалу из-за его «русского костюма» народ, по свидетельству П. Я. Чаадаева, принимал за «персиянина». А. С. Хомяков изумлял заведомо петербургских гостей тем, что являлся туда «в своей славянке, в пунцовой рубашке без галстука, и вместо жилета на нем была поддевка». При этом высокообразованный славянофил мог ночи напролет спорить на прекрасном французском или английском, по выбору, языках⁴⁵.

Но вот циркуляр пришел в Москву, и И. С. Аксаков надолго запомнил утро, «когда к его больному старику-отцу (С. Т. Аксакову. — В. Г.), уже несколько лет переставшему выезжать из дому и носившему дома, у себя, ради удобства, русское платье, — явился однажды полицейский чиновник с письменным приглашением дать полиции подписку: «сбрить имеющуюся у него бороду и впредь оную не отпускать». К. С. Аксаков и Хомяков также были приглашены и также были обязаны подписками: «Русское народное платье в публичных местах не носить»⁴⁶.

Наконец, сам кружок «молодой редакции», Аполлон Григорьев. Где-то во второй половине 40-х годов «он вдруг из западника превратился в ярого славянофила, надел красную рубашку, плисовую поддевку и в этом костюме садился в первые ряды в Александринском театре, обращая на себя всеобщее внимание»⁴⁷.

Островский, как известно, в 50-е годы ходил обстриженный в кружок (à la мужик), такую же прическу носил и И. Ф. Горбунов. Семевский заметил: «Бог знает почему, полиция сильно преследует употребление русской одежды. Как Рамазанов, так и другие, одевающиеся постоянно в национальный костюм, возят с собой постоянно галстуки [...] Приближение полицмейстера, или обер-полицмейстера, или другого какого ни на есть осла в б л а г о ч и н н о й оболочке заставляет проворно их застегиваться и навязывать сверх русской рубашки немецкий галстук»⁴⁸.

Но без столкновения с властями все-таки не обошлось, да и бороду не так легко скрыть. И 5 мая 1857 года Дрианский сообщает Островскому: «С Потехиным вышла оказия: Беринг (московский обер-полицмейстер. — В. Г.) увидел его

в театре — выписал к себе и приказал сбрить бороду. Накануне поездки к Берингу он был у меня с Железновым и — бедняжка — переконфуженный вояво. Третьего дня уехал в Кинешму все-таки в бороде»⁴⁹.

Автор «Мелкотравчатых» был одним из самых близких к Островскому членов кружка. «Егор Эдуардович Дрианский из всех московских литераторов был наиболее частым посетителем и собеседником Островского», — свидетельствует С. В. Максимов⁵⁰. Дрианский был «крестником» Островского на литературном поприще, не был оставлен заботами и на протяжении всего остального своего творческого пути: Островский — частый слушатель новых вещей Дрианского, их редактор, он то и дело хлопотал за них перед другими редакторами. По просьбе Островского Дрианский начал писать «Мелкотравчатых», первый очерк которых тот и опубликовал у себя в «Москвитянине» в 1851 году. Не обошлась без участия Островского и дальнейшая история этой книги.

«ЗАПИСКИ МЕЛКОТРАВЧАТОГО» (ИСТОРИЯ НАПЕЧАТАНИЯ)

Вслед за «Москвитянином» «Записки» стала печатать «Библиотека для чтения». Главы I—VI появились в № 9, 10 и 12 за 1857 год. Первый очерк сравнительно с публикацией в «Москвитянине» был переработан: проведена стилистическая правка, некоторые сокращения, песня «Ах, не белы снеги во чистом поле забелели» заменена на более соответствующую времени действия «Эх, не одна во поле дороженька пролегла»⁵¹. Из-за песни произошел и перерыв в печатании «Мелкотравчатых» в «Библиотеке»: Дрианский не успел получить из Рванбурга от «своих» охотников песни для сцены охотничьего праздника (к этим охотникам, к слову сказать, регулярно по отпечатаниям отправлялись отсылки глав «Мелкотравчатых»). По сравнению с «Москвитянином» изменилось и заглавие произведения — только теперь оно стало печататься как «Записки мелкотравчатого» (было: «Мелкотравчатые. Очерк из охотничьей жизни»), внешнее оформление — появилась нумерация глав, их краткое содержание стало выноситься вперед.

Судя по письмам к Дружинину, Дрианский значительно расширил первоначальный план: «Псовая охота» — так он хотел назвать свой охотничий эпос — должна была включать наряду с «Мелкотравчатыми» и другие произведения на эту же тему (впоследствии некоторые из них были опубликованы с подзаголовком «Из записок мелкотравчатого»). «Псовую охоту» автор мечтал издать с новотипажимами, а пока печатание «Записок» в «Библиотеке» оборвалось на VI главе.

Наступил 1859 год⁵². Островский в письме от 3 марта известил Дрианского, что Г. А. Кушелев-Безбородко желает приобрести «Мелкотравчатых» для своего журнала. «Собрав печатный текст (то есть публикацию в «Библиотеке». —

В. Г.) и приложо к нему рукопись, служившую ему продолжением и окончанием», Дрианский выезжает в Петербург. Здесь 8 марта в присутствии свидетелей (А. Н. Островского, П. М. Боклевского и И. И. Рюмина) он заключает с редактором «Русского слова» следующий договор:

«а) Редакция «Русского слова» отпечатывает «Записки мелкотравчатого» отдельную книжку для выдачи подписчикам журнала в виде приложения.

в) Редакция отпечатывает в пользу автора один завод в количестве 1200 экземпляров и пересылает их переплетенными на место жительства автора, в г. Москву, через контору Базунова (известного книгопродавца. — В. Г.). Автор, с своей стороны, в видах интересов журнала, обязывается не пускать книг в продажу ранее 1 января будущего 1860 года (то есть до тех пор, пока главы VII—IX «Мелкотравчатых» не будут окончены печатанием в самом журнале. — В. Г.).»

В июле Дрианского известили, что напечатание «Записок» окончено, и, «обнадеженный таким положительным известием», он прибыл 12 декабря в Петербург, чтобы, «не затрудняя контору излишнею пересылкою, распорядиться лично продажей книги». Но здесь писатель нашел следующие ему экземпляры в «таком неестественном виде, что из них нельзя было сделать никакого употребления». «Мелкотравчатые» были отпечатаны крайне неряшливо, неправильно сброшюрованы, встречались пробелы, шрифт был выбран неудачный.

Дрианский экземпляров не принял и стал просить, чтобы книга была перепечатана типографией «Русского слова» «надлежащим образом». Два раза приезжал он с этой просьбой к Кушелеву, «но, к сожалению, оба раза граф изволил почивать». «Наконец, — вспоминал он впоследствии, — прожив в Петербурге двадцать два дня, без копейки в кармане, и не найдя никакого благоприятного исхода делу, я обратился к г. Краевскому — снабдить меня деньгами и, получив от него в счет представленной мною для напечатания в «Отечественных записках» статьи (речь, вероятно, идет о «Притоне». — В. Г.), уехал обратно, заплатив за лестное знакомство с графом Кушелевым-Безбородко из собственных трудовых денег сто пятьдесят рублей».

3 января 1860 года Дрианский отправил Кушелеву письмо, в котором описывал свое бедственное положение и, взывая к благородству редактора «Русского слова», просил разрешить свое дело. Ответа не последовало — граф отбыл за границу. Вслед за ним в Париж отправляется еще одно послание — тот же результат. «Между тем, — рассказывает писатель, — положение мое относительно средств к жизни ухудшилось до того, что я решился приступить к новому изданию книги и продал право его г. Основскому (книгоиздатель. — В. Г.), для чего потребовалось, во избежание контрафакции, уничтожить прежнее». Проследить за уничтожением первого издания Дрианский

уполномочил своего петербургского знакомого Е. А. Вердеревского. Тот обратился в редакцию и с удивлением узнал, что «книги по распоряжению графа распродаются и что контора считает их (...) своею собственностью».

Кушелев, «словно мстительная тень», явился, чтобы отнять у своего автора «последнюю надежду на поправку». «Мелкотравчатые» кушелевского издания появляются в Москве, их привозят даже из Казани. «Аполлон Николаевич! — пишет растерявшийся Дрианский Майкову. — Я вас высоко ценю как поэта и глубоко уважаю как человека, и обращаюсь к вам: помогите! Дайте ваш добрый совет, что мне делать в этой лютой напасти? Я потерял уже всякое соображение. Ведь это хуже, чем открытый разбой! Бога ради, объявите хоть настоящему редактору «Русского слова», чтоб он остановил контрафакцию...»

Майков мог сделать немного: он направил представителя Дрианского к Г. Е. Благосветлову, заменявшему Кушелева в его отсутствие, «оказал помощь и содействие Вердеревскому при его розысках по темному царству кушелевских контор». Но и обращение к этому известному своим демократическими взглядами журналисту не помогло. Дрианский рассказывал Майкову в письме от 9 февраля 1860 года: «Г. Благосветлов, отпуская Вердеревского, снабдил его окончательным решением: посоветовать г. Дрианскому не вступать больше в это дело и не докучать конторе своими требованиями, *потому-де за давностью времени он ничего не получит!!* Хороши же кушелевские клеветы! Видно, пришлось по Сеньке шапка! Господи! И это русское царство! И это девятнадцатый век!»

На этот раз Дрианский решает не оставить «неудавшегося мецената» без «судьбища». 22 февраля 1860 года с помощью Островского⁵³ он составляет обширное заявление на имя министра народного просвещения Е. П. Ковалевского, где подробно излагает все обстоятельства дела и в заключение просит: «Вести тяжёлое дело с графом судебным порядком я не имею ни времени, ни средств, а потому, по силе узаконений, касающихся «прав собственности сочинителей, переводчиков и издателей» (Дрианский имел в виду статью 3095, X тома Свода Законов Российской империи. — В. Г.), покорнейше прошу ваше высокопревосходительство не отказать мне в назначении третейского суда из числа находящихся в Петербурге господ ученых и литераторов, а графа Кушелева-Безбородко, за отсутствием его, обязать немедленно уполномочить от себя доверенное лицо для разъяснения причин его намеренного или ненамеренного захвата чужой собственности (...) Лишь себя надеждою, что ваше высокопревосходительство не оставите без внимания моей просьбы...»

17 марта 1861 года Дрианский отправляет по письму Майкову и Дружинину⁵⁴ с просьбой справиться о судьбе прошения. Дружинин писал по этому поводу Островскому 27 марта: «...по моему мнению, тут ничего выйти не мо-

жет — Кушелева нет в Петербурге, да и вообще подобные суды никогда ничем не кончались»⁵⁵. Он оказался прав: где-то в десятых числах апреля Дрианский получил ответ на свое прошение, названный им «отповедью по моему делу». Оказывается, министр просвещения передал заявление Дрианского в главное управление цензуры, которое и извещало просителя, что дело это никакого отношения к данному учреждению не имеет. «Ответ, полученный мною, — недоумевал Дрианский, — нисколько не соответствует моей просьбе, и не знаю, каким манером она попала в цензурное отделение»⁵⁶.

Так ничем и закончилось дело о «Мелкотравчатых»: Дрианский не получил за свою лучшую книгу ни гонорара, ни какого другого удовлетворения. «Записки» больше ни разу при жизни автора не переиздавались — первое посмертное издание вышло в 1883 году. Затем, в 1906 году, «Мелкотравчатые» были переизданы в качестве премии к журналу «Псовая и ружейная охота». В 1957—1958 годах их переиздает Н. П. Смирнов в альманахе «Охотничьи просторы» (№ 8—10). Отрывок из «Записок» появился в 1972 году в сборнике «Русская охота». Вот, пожалуй, и все (кроме Щеголевского) издания книги Дрианского. Тут уместно еще раз процитировать Щеголева, переадресовав его наблюдение нашему времени: «Сама книга (имеется в виду первое издание «Записок» 1859 г. — В. Г.) давно является библиографической редкостью (так же как щеголевское переиздание в наши дни. — В. Г.), но отрывки из нее перепечатывались и доселе перепечатываются в специальных охотничьих изданиях»⁵⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Островский А. Н. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1953, с. 241.

² Там же. В апреле 1861 года по ходатайству А. В. Дружинина и того же Островского Литературный фонд уже выдавал Дрианскому 150 руб. См.: Синюхаев Г. Т. Труды и дни Островского. — В сб.: Островский. Под ред. М. Д. Беляева. М.—П., 1924, с. 337.

³ «Отечественные записки», 1850, № 12, с. 121. Дружинин в «Современнике» ограничился шутилым замечанием по поводу повести /«Современник», 1850, № 10. См.: Дружинин А. В. Собр. соч., т. VI. СПб., 1865, с. 389/, Некрасов годом позже в том же «Современнике» отметил в авторе «Одарки» «талант, хотя и подражательный» /«Современник», 1851, № 2.— Цит. по: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч., т. XII. М., 1953, с. 264/.

⁴ «Библиотека для чтения», 1855, т. 132, с. 21. В отзыве «Отечественных записок» (1855, № 7, с. 50) отмечалась «естественность характеров» комедии. В 1856 году она шла на сцене Александринского театра. См.: Вольф А. И. Хроника петербургских театров. СПб., 1844, с. XXV.

Это произведение Дрианского было прослушано Островским и Аполлоном Григорьевым 18 февраля 1855 года, а в конце того же месяца Островский редактировал его для журнала. См.: Уч. зап. ТГУ, вып. 306. Тарту, 1973, с. 356 (письма Григорьева к М. П. Погодину от 17 и 23—26 февраля 1855 г.— публикация Б. Ф. Егорова).

⁵ «Москвитиния», 1855, № 15—16, с. 208.

⁶ В письме к А. В. Дружинину второй половины августа 1856 г. См.: Письма к А. В. Дружинину. М., 1948, с. 100.

⁷ Там же. Письмо от 2 декабря 1856 года. А. Н. Плещеев же в письме к М. Л. Михайлову от 28 декабря 1856 года отметил: «ноябрьский № Библиотеки — отличный». — Литературный архив. № 6. Л., 1961, с. 241.

⁸ Островский А. Н. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 63. Письмо от 17 мая 1857 г.

⁹ Письма к А. В. Дружинину, с. 100. Письмо от второй половины августа 1856 г.

¹⁰ Там же, с. 124. Письмо от 12 апреля 1857 г.

* * *

Самый глубокий и теплый отзыв о Дрианском оставил его друг С. В. Максимов: «За отзывчивое, мягкое сердце он в равной степени оценен был и литературным и театральными кружками: у постели умиравшего Корнилия Полтавцева⁵⁸ он проводил целые дни и темные ночи; в литературных кружках возбуждал сочувствие постоянными неудачами в делах. Казалось, не было человека несчастнее его. А он не скорбел и не унывал, и точас забывал о себе, как только требовалась на стороне его помощь или простое участие, и затем хлопотал без устали»⁵⁹.

Таким, кажется, и должен был быть Егор Дрианский — писатель, охотник, автор прекрасной, человеческой и, пожалуй, одной из самых светлых и радостных книг в русской литературе — «Записки мелкотравчатого».

«Алеев подал знак, — двенадцать борзятников сошлись в кучу и сыграли свой позов: звуки были как-то торжественны и проникающие глубоко (<...> Собаки взвыли и запрыгали. Из дому высыпал народ — и дети, и няньки, и дядьки, и куча зевак. Все это глазело, слушало... и вот Феопен взмолился на своего солового киргиза, снял шапку, перекрестился, подсвистнул стаю и тронулся со двора; за стаей тронулась другая, потом пошли своры, за ними двинулся обоз (<...> вот зарежели колеса и бубенчики под крыльцом; все мы, по обычаю, уселись по местам, поднялись враз, помолились; Алеев простился надолго с семьей, и мы в четырех экипажах съехали со двора...»

Теперь, господа, до свидания...»

¹¹ История «Квартета» изложена в подробностях в статье П. Е. Щеголева «Об авторе «Записок мелкотравчатого» в кн.: Дрианский Е. Записки мелкотравчатого. М.—Л., 1930, с. 16—21. Там же пересказ содержания повести. Дополнительные сведения содержатся в письмах Ап. Григорьева к М. П. Погодину, отправленных весной 1857 года. См.: Уч. зап. ТГУ, вып. 306, с. 382.

¹² «Московская газета», № 7 от 13 февраля 1866 года. Этот впервые установленный факт заставляет пересмотреть мнение А. И. Ревякина, полагавшего, что инициатива в прекращении публикации «Туза» в «Русском вестнике» принадлежала редакции. Судя по всему, именно объявление «Московской газеты» имел в виду С. В. Максимов, когда вспоминал о «жалобе Дрианского в газету» на М. Н. Каткова. См.: Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 80 и с. 525. Отрывок из «Туза» был опубликован еще в 1864 году в № 46 журнала «Развлечение» под названием «Наследник» (Эпизод из нового романа Е. Э. Дрианского).

¹³ Историю напечатания «Записок мелкотравчатого» мы излагаем в статье ниже. «Притон» был напечатан в «Отечественных записках»,

1860, № 3 (Первоначальное название очерка «Охотрад». См.: Уч. зап. ТГУ, вып. 306, с. 374. Письмо Ап. Григорьева к М. П. Погодину, датированное весной 1866 года); повесть «Амазонка» — в «Русском вестнике», 1860, № 18; «Изумруд Сердоликович» — в «Зрителе», 1863, № 18, 19, 20; рассказ «В вагоне» — в «Карманной библиотеке для дороги», № 1862; повесть «Конфетка» — в «Современнике», 1863, № 7 (цензурную историю повести и отзывы на нее И. А. Гончарова см.: «Северные записки», 1916, № 9, с. 137—139); рассказ «Былые времена» — в «Развлечении», 1864, № 8 (этот рассказ — вторая редакция повести «Конфетка». См.: Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М. — Л., 1960, с. 140); «Скипидар Купоросич» — в «Журнале Московского Общества Охоты», 1870, № 1, 4, 5; комедия «Бог не выдаст — свинья не съест» — в «Веседе», 1872, № 7.

¹⁴ Письмо к С. В. Максиму от ноября 1865 года. Цит. по: Щеголев П. Е. Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 30.

¹⁵ Незданные письма к А. Н. Островскому. М. — Л., 1932, с. 123. Письмо от 13 апреля 1868 года.

¹⁶ См.: Лазарев-Грузинский А. С. А. П. Чехов. — В сб.: Иехов в воспоминаниях современников. М., 1954, с. 114.

¹⁷ Тот же П. Е. Щеголев так, например, отзывался о «Квартете»: «К оценке Григорьева и мнению Островского надо присоединиться. Вещь Дрянского — крупных художественных достоинств, значительного социального захвата. Как художественный памятник, она и до сих пор не потеряла своего значения. Она незаслуженно забыта, и мы приветствовали бы ее переиздание». (Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 20.)

¹⁸ Цитируем по более точной публикации Щеголева. См.: Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 13. В незданных письмах к А. Н. Островскому (с. 119) письмо напечатано, что высветляется при сверке с текстом автографа, хранящегося в ЦГТМ имени А. А. Бахрушина, с досадными опечатками: «развить» вместо «развить» и т. п.

¹⁹ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 395.

²⁰ «Москвитин», 1852, № 8, с. 120.

²¹ См., например, фельетон И. И. Панаева «Литературный масхарад накануне нового (1852) года» («Современник», 1852, № 1). О других отзывах современников см.: Алексеев М. П. Заглавия «Записки охотника». — В сб. Тургеневский сборник, V. Л., 1969, с. 214—217.

²² Щеголев П. Е. Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 4.

²³ «Журнал охоты», 1859, № 13, с. 9.

²⁴ Мачеварианов П. М. Записки псового охотника Симбирской губернии. М., 1876, с. IV.

²⁵ «Журнал охоты», 1875, № 2, с. 34.

²⁶ Анофриев Н. Ю. Русская охотничья библиография. Брест-Литовск, 1905, с. 116. В первом дополнении к этой книге (Киев, 1911, с. 36) список был продолжен: «...Стерлядкин — Другерта, Иван Петрович — Карамышева».

²⁷ «Журнал охоты», 1876, № 3, с. 53—54.

²⁸ Впервые обратил на нее внимание в связи с книгой Дрянского Н. Смирнов. — См.: Смирнов Н. О «Записках мелкотравчатого» и их авторе. — В альм.: Охотничьи просторы, кн. 8. М., 1957, с. 259.

²⁹ Смирнов Н. Охотничий язык как разновидность народной речи. — В альм.: Охотничьи просторы, т. 15. М., 1960, с. 249.

³⁰ Русская речь. 1973, № 2, с. 63. Некоторые охотничьи термины, используемые Дрянским, уже вошли со ссылкой на «Записки мелкотравчатого» в современные словари. Это относится прежде всего к самому слову «мелкотравчатые». См.: Словарь современного русского литературного языка, т. 6. М. — Л., 1957, с. 814, значение 2. В. И. Даль в этом значении слово «мелкотравчатые» еще не знал. См.: В. Л. Даль. Толковый словарь, т. II. М., 1955, с. 317.

³¹ Смирнов Н. Охотничий язык как разновидность народной речи, с. 237. Говоря об охотничьем языке «Мелкотравчатых», мы используем ряд наблюдений этого ученого.

³² Литературное наследство, т. 88, кн. 1. М., 1974, с. 319. Письмо Н. А. Дубровского к А. Н. Островскому от 30 августа 1872 года.

³³ Гимназия высших наук и лицей ки. Безбородко в Нежине. Спб., 1881, с. XLIII. Библиография Дрянского Н. В. Гербеля, помещенная здесь, неполна и не совсем точна: не учтен ряд журнальных и газетных публикаций, есть ошибки в номерах учтенных журналов.

³⁴ Мы исходим из своих предположений относительно времени рождения Дрянского (его личное дело в архиве гимназии не обнаружено. Вероятно, оно сгорело в числе многих других во время пожара 1918 года). Тот круг литераторов, в котором Дрянский вращался в Москве, состоял в основном из людей примерно одного возраста: А. Н. Островский родился в 1823 году, Ап. А. Григорьев — в 1822-м, Т. И. Филиппов — в 1825-м, Е. Н. Эдельсон — в 1824-м, А. Ф. Писемский — в 1821-м, И. И. Железнов — в 1824-м и т. п. Ни в воспоминаниях, ни в письмах, где упоминается имя Дрянского, следов того, чтобы он был или много старше, или много моложе остальных «москвитянцев», мы не нашли (будь иначе, надо думать, они бы обнаружили хотя бы в интонационном строе). В лицей же ки. Без-

бородко принимали, как правило, с 10—11 лет. Таким образом: 1820? — 1825? + 10 — 11 = 1830-е.

³⁵ Письма к А. В. Дружинину. с. 118. Письмо от 18 июля 1856 года.

³⁶ Незданные письма к Островскому, с. 108. Здесь письмо неверно датировано 1850 годом. Точная дата (на автографе стоит 3 марта) устанавливается по приписке. «Поздравляю вас с новым успехом, — пишет Дрянский. — Достойному — достойно. С удовольствием читал № 15 «Московских ведомостей» и от души порадовался. Нетерпеливо жду прочесть ваше новое дело...» В № 15 «Московских ведомостей» от 3 февраля 1853 года сообщалось о представлении в Малом театре первой пьесы Островского, попавшей на сцену, — комедии «Не в свои сани не садись». Это единственное сообщение газеты за начало 1850-х годов, которое могло порадовать Дрянского в связи с именем Островского.

³⁷ Письма к А. В. Дружинину, с. 121. Письмо от 22 сентября 1856 года.

³⁸ Цит. по: Щеголев П. Е. Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 34.

³⁹ Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 129.

⁴⁰ Писемский А. Ф. Материалы и исследования. Письма. М. — Л., 1936, с. 124. О том же инциденте Писемский писал и А. В. Дружинину 7 августа 1858 года (там же, с. 123). Здесь сообщается и дата несохранившегося письма Дрянского к Писемскому с требованием о передаче рукописи — 4 августа. 22 августа Писемский сообщил Дружинину, что «Дрянский, накутивший было в начале месяца, прислал наконец извинительное письмо» (там же, с. 124). Жалоба Писемского Островскому на Григорьева также возымела действие. Григорьев впоследствии не без горечи писал, что ему принесли «утешительные известия о том, как ругал меня матерно Островский за доброе желание пособить Дрянскому насчет его «Квартета» — продажей этого «Квартета» Кушелеву... Григорьев А. А. Воспоминания. М. — Л., 1930, с. 209.

⁴¹ Известно, что Писемский иногда пользовался немецкой «лошадной» терминологией при изображении своих литературных героев, причем употреблял эти термины, как правило, в ироническом смысле. См., например, портрет героя повести «Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицкая (Брак по страсти)», 1851 г.

⁴² Островский в воспоминаниях современников, с. 80.

⁴³ Григорьев А. А. Материалы для биографии. Под ред. В. Книжника. Пг., 1917, с. 151.

⁴⁴ См.: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Т. 2. М., 1883, с. 142 и сл.

⁴⁵ См.: Егоров Б. Ф. Славянофильство, западничество и культу-

рология.— В сб.: Уч. зап. ТГУ, вып. 308; Труды по знаковым системам, VI. Тарту, 1973, с. 269.

⁴⁶ Сочинения И. С. Аксакова. Т. VII. М., 1887, с. 440. Статья «О ношении народной одежды».

⁴⁷ Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972, с. 106.

⁴⁸ Островский в воспоминаниях современников, с. 106.

⁴⁹ Неизданные письма к Островскому, с. 116—117. Об этом же происшествии писал 19 мая 1857 года Островскому и И. Ф. Шестаков: «...между тем Погодин сбрил бороду, а А. Потехин был приглашен к обер-полицмейстеру по случаю бороды, который, однако, только просил его обриться». См.: Литературное наследство, т. 88, кн. 1, с. 407.

⁵⁰ Островский в воспоминаниях современников, с. 80.

⁵¹ Так что Щеголев ошибся, когда написал, что первая глава «Мелкотравчатых» была повторена в «Библиотеке» без изменений. См.: Щеголев П. Е. Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 21. Отметим, что и Тургенев в отдельном издании «Записок охотника» приводит «Дороженьку» (очерк «Певцы»). В журнальной же публикации «Певцов» исполнялась плясовая песня «При долинушке стояла...».

⁵² Дальнейшее изложение построено на основании писем Дрянского к Е. П. Ковалевскому и Ап. Майкову, фрагментарно опубликованных П. Е. Щеголевым в его статье (с. 22—27). Отметим, что этот яркий эпизод истории раннего «Русского слова» почему-то совершенно выпал из поля зрения исследователей, занимающихся журналом Кушелева. Ни в книге Ф. Ф. Кузнецова «Журнал «Русское слово». М., 1965, ни в работе Л. Э. Варустина «Журнал «Русское слово». 1859—1866». Л., 1966 о нем нет ни слова.

⁵³ Это следует из письма Дрянского к Островскому, которое мы датируем мартом 1860 года. В его постскрипуме Дрянский писал: «К Ковалевскому отослал, благодарю за последнюю редакцию письма — вышло щегольское. Что-то будет?» Неизданные письма к Островскому, с. 122. Здесь письмо датировано (1860?).

⁵⁴ Письма к А. В. Дружинину, с. 126—127.

⁵⁵ Неизданные письма к Островскому, с. 149.

⁵⁶ Письма к Дружинину, с. 127. Письмо от 15 апреля 1861 года.

⁵⁷ Щеголев П. Е. Об авторе «Записок мелкотравчатого», с. 3.

⁵⁸ Полтавцев К. П. (1823—1865) — актер московского Малого театра.

⁵⁹ Островский в воспоминаниях современников, с. 67.



Собирательница О. Э. Озаровская и «вещая старушка» М. Д. Кривополенова.

Н. И. Хомчук

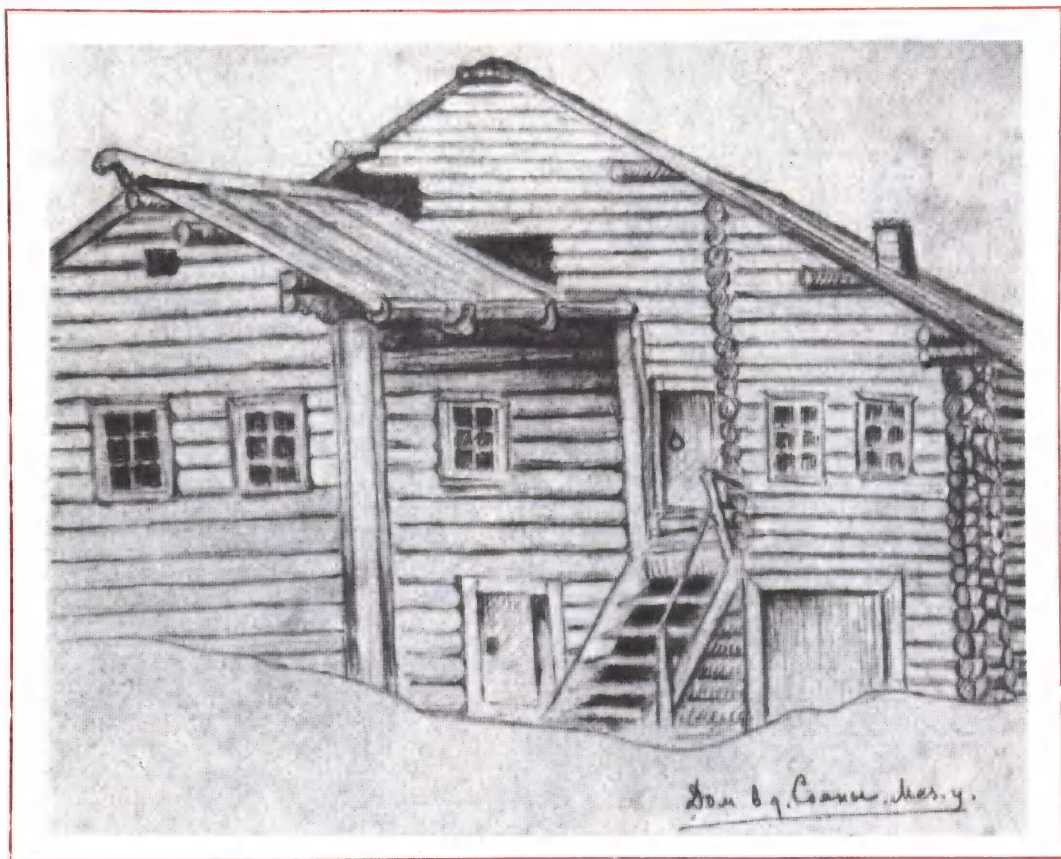
Экспедиции Озаровской

Немолодая полная женщина, примостившись на краешке скамьи, увлеченно слушает рассказ древней старухи, прозванной в родной таежной деревне за долголетие «Кычкой столетней». Проворно (нельзя упустить ни слова!) бегаёт по бумаге карандаш. Такой запечатлел и дождик, спутник в скитаниях по русскому Северу, Ольгу Эрастовну Озаровскую, неутомимую собирательницу отечественного фольклора и не менее неутомимую его пропагандистку.

«Ольга Эрастовна поставила себе очень трудную, но чрезвычайно важную задачу [...] — воспринять интонационные оттенки и мелодику крестьянской северной речи, про-

анализировать ее на основе знаний декламационного искусства и перенести свои достижения в этом деле на пользу сцены и школы. Много раз совершая поездки на Север, живя в самой гуще деревенского быта, внимательнейшим образом изучая народную речь, записывая с соблюдением научных правил крестьянские песни, былины, сказки, легенды, анекдоты, обряды, О. Э. Озаровская в совершенстве овладела народной речью [...] Многочисленные выступления Ольги Эрастовны перед артистической, научной, студенческой аудиториями [...] стяжали ей громкую и вполне заслуженную славу», — писал, подводя предварительные итоги многолетней и разносторонней деятельности Озаровской, крупнейший знаток народного творчества Юрий Матвеевич Соколов.

Озаровской было за сорок, когда, повинувшись внутренней потребности, следуя своему призванию, она сделала окончательный выбор: после долгих лет работы в Главной Палате мер и весов, где была лаборантом и любимым соратником Д. И. Менделеева, после шумного успеха



Северный дом в дер. Соины Мезенского уезда. Рис. 1921 г.

на столичной сцене (ей не стыдно было признаться в родстве с известным режиссером и актером Александринского театра Юрием Эрастовичем Озаровским), после плодотворных педагогических опытов в Студии живого слова безоглядно погрузилась в стихию народного творчества, поставив перед собой цель столь же благородную, сколь нелегко выполнимую, требующую полной самоотдачи, если угодно — нравственного самоотречения и подвига, — собрать, спасти, увековечить, сделать достоянием современников и потомков то, что несет народная память, то, в чем запечатлелся многовековой опыт жизни народа, его мудрость и сокровенные чаяния — песни и сказки, былины и скоморошины, легенды, предания, обрядовую поэзию, духовные стихи, заговоры, пословицы, блестящие народного красноречия. «Ведь какие бывальщины бывали — никакая типография уж не сочинит теперь. Уж не знать, кака тогда типография сочиняла», — бережно занесет она на карточку полюбившийся ей афоризм, слетевший с уст одного из северных своих знакомцев-исполнителей.

Коротко лето в Архангельской губернии, коварны мелеющие после вешнего половодья реки, в тайге — бездорожье и гнус. Под грузом восковых валиков (и как же много приходится брать их с собою, если каждый звучит не более пяти минут, давая возможность зафиксировать то запев скоморошины, то мерное звучание былины, то несколько песенных строф, то фрагмент сказки) и ящика с фонографом оседают в воде легкие северные лодки, по-местному «карбаски» и «дорки». Век магнитофонов еще впереди. Чем ближе к концу пути, тем тяжелее драгоценная ноша: растет кипа полевых записей, экспедиционных дневников, исписанных четким почерком собирательницы, почерком человека, знающего, что он трудится для будущего (низкий поклон Озаровской от фольклористов этого дня — без труда разбирают они сегодня беглые строки, сделанные карандашом начерно более полувека тому назад); переключиваются после нелегких переговоров с местными «жонками» в багаж Озаровской из старинных крестьянских укладок редкой красоты сарафаны, шитые жемчугом головные повязки и завороты

ники (шейное украшение), штофные «полушубочки», переливчатые прабабушкины шали и девичьи шитые «рукава», чтобы обрести вторую жизнь то на сцене Политехнического музея, то в зале Тенишевского училища, то на консерваторской сцене (не счесть русских городов, в которых побывала с концертами фольклористка), где Озаровская, помолодев и похорошев, преображенная народным костюмом, что так ловко сидит на приветливой «московке» (ласковое прозвище, данное ей в северных деревнях), одарит слушателей только что записанными сказками, поделится дорожными впечатлениями (ненасытной душе ее мало петроградских и московских газет, мало архангельского «Северного утра», где печатаются путевые очерки под заголовком «За жемчугом»), а то затеет инсценировку старинной свадьбы, вызвав на подмогу верных своих помощниц из архангельской глуши, с которыми успела сродниться.

Скрипят в размытых колеях тележные колеса, медленно поворачиваются весла в уклониных лодок. Год 1914-й, год 1915-й... и так всю жизнь, пока не померкнет зрение, утомленное непосильным бременем записей и корректур. Она не одинока в своих странствиях. В первую поездку на Белое море с ней отправляются молодая единомышленница, сын-подросток Василько Озаровский да верный страж их московского дома озорная лайка Шарик; на Кулою и Пинегу фольклористку сопровождают ученики ее студии, в чьи души она сумела заронить искру огня, который так ярко горит в ней самой. А в октябре 1921 года (трудное для молодой Страны Советов время, но Озаровская не боится трудностей) «Известия Архангельского Губисполкома» уведомляют читателей, что в губернии «уже целый месяц работает высланная Академическим центром Наркомпроса научная экспедиция по собиранию и пропаганде народного творчества с артисткой О. Э. Озаровской во главе» и что капитан на четыре часа задержал отплытие парохода по Кулою, поджидая фольклористов.

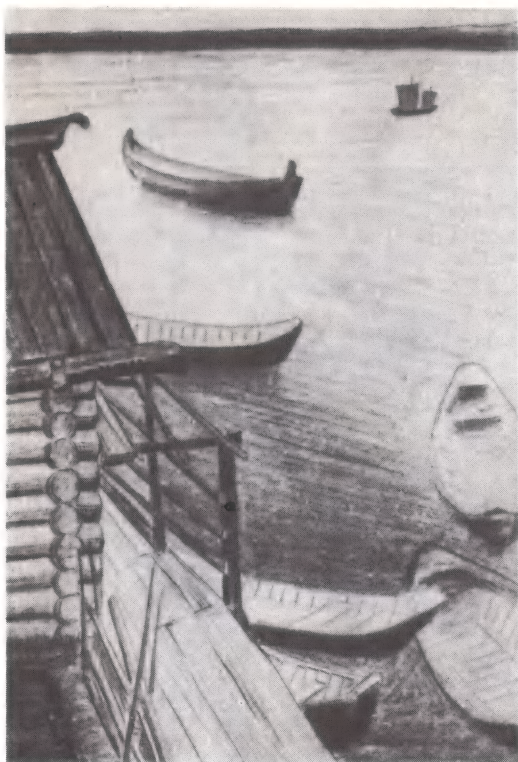
Таежные реки, древние деревянные храмы, высокие, ладно сложенные из «лиственки» крестьянские дома (отпечаток внутреннего достоинства тех, кто обживал непокорный, гиблый край, как бы лежит на просторных срубках, где вдоволь света и воздуха, где впору разместиться растущей семье, а на крытом скотном дворе довольно места коровам, лошадям, овцам. Свиной и кур не держали северяне: брезговали, не любили дурного запаха и лишнего шума) и, может быть, самое для нас любопытное — портреты исполнителей, тех, ради свидания с кем совершала Озаровская новые и новые поездки на Север, их лица, простодушные и лукавые, веселые и задумчивые, оживают на плотных листах рисовальной бумаги.

Художник, слутник Озаровской в 1921 году, трудился вровень с фольклористкой, ничего не упуская в дороге. Вот кормщик, «корщик» уважительно кличут его на северных реках и в Поморье, ведет карбасок вниз по Кулою, про-



Вниз по Кулою. Рис. 1921 г.

щупывая шестом дно, изменчивое от бесконечной смены отливов и приливов (в устье рек они высоки, как в Ла-Манше). Бывает, правят и гребут на носу (отсюда и название «носник», записанное Озаровской для комментария к рисунку) и ко всему привычные крепкие телом и духом северные «жонки» — и тут у художника карандаш наготове. А вот и устье Кулоя, Долгая щель, и при впадении реки в Белое море показываются на волнах остроносые «дорки», а дальше — часовня, уцелевшая от церкви Владимирской божьей матери. «Долгощелье — Архангельска уделок и Москвы уголок», — шутят северяне. Портреты долгощелов, как именуют себя местные поморы, и на каждом — характеристика, а порой и автохарактеристика, вовремя схваченная на карандаш Озаровской и перенесенная ею на паспорт при разборке материалов экспедиции. «Яков Федорович Попов по прозвищу Порхаль. Все былины в Долгощелье от меня пошли, все у меня переняли. Вон Афанасий рассказывает: «Это все мое, все мое!» Здесь же портрет Афанасия Яковлевича Нечаева, сказочника и колдуна по прозвищу



Берег Белого моря в устье реки Кулой. Рис. 1921 г.

Утешительный и Маслеюшко, о котором с некоторой запальчивостью отозвался Порхаль, и цитата из речей долгощелов: «Афанасий, он утешительный. Он уж утешит!» За прялкой Авдотья Широкая по прозвищу Мгляха, о которой рассказывают удивительные истории: «Мгляха через крышу дома два пуда перекинула» (не обидел бог ловкостью да силой).

Кулойские, пинежские села и деревни — новые напевы, новые лица... «Ефрем Осипович Чирцов. С(ело) Нёмьюга Пинежск(ого) у(езда) Арханг(ельской) губ(ернии), исполнитель духовных стихов. Носит берестяный обруч от головной боли» *. На полях рисунка — отрывок исповедального рассказа исполнителя с сохранением всех черт местного говора: «Как тоскливо, — поедешь в лодочку один и поешь, — вроде как сам себя тешу, а люди говорят: «Колдун. Без ума». И меткое заключение Чирцова, знающего силу слова, цену народной традиции: «Одно слово неправильно выговори — оно неправильно существует, не так действует».

«Авдотья Алексеевна Горбунова, 107 лет, основательница Соянского кладбища на своей чищени * (без попа захоронила). Кычка — столетна. С(ело) Сояна Мезенск(ого) у(езда)». В ней нетрудно узнать ту самую «ветхую деньми» старушку, от которой (на другом рисунке) Озаровская с таким вниманием записывает что-то, примостившись рядом на скамье. Так оно и есть, на полях помета: «Кычка сказывает «Потыка» ** О. Э. Озаровской».

Художник (сын собирательницы Василько Васильевич Озаровский смутно припоминает, будто звали его Комаров) рисует. Озаровская, со свойственной ей пунктуальностью, делающей честь серьезному ученому, на каждом рисунке оставляет карандашную помету — где, что (или кто) изображено. И дата. Ольга Эрастовна и сама не лишена дара, которым наделен ее спутник. Не случайно в юности сблизилась она с Анной Ивановной Менделеевой (женой своего великого учителя и руководителя Палаты мер и весов), чьим призванием была живопись. Расписная дуга, русская печь, на диво разрисованная, узорный наличник, убранство деушки-пинежанки побуждают ее взяться за карандаш. Зарисовки сопровождаются пояснениями автора: «Сия дуга деревни Карьеполья крестьянина Андрея Степанова Красикова 1888 года м(есяца) марта 9-го», — воспроизводит Озаровская надпись на дуге; «Оконный наличник в с(еле) Карьеполье Пинежск(ого) уезда Арх(ангельской) губ(ернии)»; «Пинежская девица <...> на масленичных казнях <...> ***», зарисована в дер(евне) Ч(а)кола на р(еке) Пинеге в 1916 г(оду). Зарисов(ано) Ольгой Озаровской»; «Печь в доме Александра Денисовича Кырчакова в Карьеполье. Расписана псаломщиком Васильем Вас(ильевичем) Новиковым годов 25 назад» и дата: 3/IX—21.

Сотни русских крестьян и крестьянок, молодых и умудренных житейским опытом, прошли через творческую лабораторию Озаровской, и каждый исполнитель вносил свою лепту в ее собирательскую «копилку». Но была на пути Озаровской встреча, совершившая истинный переворот в судьбе начинающей фольклористики, во многом определившая направление ее дальнейших поисков, оставившая неизгладимый след в истории нашей национальной культуры, — встреча с Марией Дмитриевной Кривополеновой, пинежской нищенкой Махонькой, как звали ее в родных местах за малый рост и тщедушное сложение. Некогда собиратель архангельских былин и исторических песен Александр Дмитриевич Григорьев опубликовал записи, сделанные от Кривополеновой, но именно Озаровской с ее профессиональным артистическим чутьем и опытом выпало редкое счастье открыть сказительский и песенный дар

* Е. О. Чирцов служил матросом в Ревеле, был контужен в голову. Жил отшельником, пропадая сутками в тайге. О нем во время экспедиции 1975 года по Кулою поведала мне его дочь, передавшая песенный дар отца.

* Чищень — место, очищенное от тайги.

** Былина «Потык-богатырь».

*** Масленичных гуляньях, когда представлялась возможность показать себя в праздничном уборе. — Н. Х.

«вещей старушки», как благоговейно назовет ее С. Т. Коненков, «государственной бабушки», как уважительно отзовется о ней А. В. Луначарский, — именно Озаровской пришла смелая мысль извлечь Кривополенову из мрака забвения, вывести ее на ярко освещенную сцену, где обеих ждала настоящая, трудом и талантом завоеванная слава.

Сближение Озаровской с Кривополеновой овеяно легендами и может показаться случайной случайностью. «...Летом 1915 года на берегу Пинеги, в ожидании, покада сдвинется с места омелившийся пароход <...>, Озаровская познакомилась со старой нищенкой <...> Рассказывают, что Озаровская <...> остановилась передохнуть у знакомой пинежской «плачей» (Прасковьи Олькиной) и задремала. Во сне ей почуилось совершенно необыкновенное пение <...> Озаровская пробудилась, <...> вышла на крыльцо, а там сидит крошечная сухонькая старушка и тихонько напевает редкую былину», — читаем, например, в предисловии к сборнику былин, скоморошин, сказок М. Д. Кривополеновой, подготовленному к печати А. А. Морозовым. Между тем, перелистав архангельскую губернскую газету «Северное утро» за 1915 год, где публиковалась серия очерков Озаровской «За жемчугом» (собирательница сравнивает себя с ловцом жемчуга, открытый ею дар Кривополеновой — с драгоценной жемчужиной; позднее в совместных выступлениях со сказительницей под тем же названием «За жемчугом» расскажет Озаровская о своих поисках и находках во время поездок по русскому Северу), можно составить куда более точную картину этой исторической встречи:



О. Э. Озаровская и «кычка столетна» (104-летняя сказочница) Авдотья Алексеевна Горбунова. Рис. 1921 г.



Ефим Чирцов. Рис. 1921 г.

«...25 мая — 3 июня. Великий Двор <...> Вот я и дома! Так странно, что этот дом на севере, где я провела всего-навсего одну неделю в прошлом году, я считаю более родным, чем свою московскую квартиру. А Прасковья Андреевна — моя сестра. Деревенская. Как и городская моя сестра, она балует меня и прощает мне то, чего не простила бы в других <...> Та, городская, журит меня за невнимание к своим выгодам, заботится о моих туалетах, об успехах, а эта, крестьянская, больше всего думает о том, чтоб заполнить мою душу. А я еще думала, что заленюсь здесь на шаньгах, колобках, пирогах с тварогом! Нет, Прасковьюшка не даст залениться! Больше, чем о житном тесте, думает она о другом: свадьбу ведь не досказали в прошлом году, кое что упустили <...> — теперь, уж все скажут, раз мне нужно знать. И сажает меня за карандаш...

Утренний сон, когда в открытую дверь жаркой горницы тянет с повети холодок, так сладок. Послышалось, будто старческий голос поет что-то <...> У Прасковьюшки кто-то сидит и поет. Срываюсь с постели и слушаю под дверь.

...Былина! Былина! Подглядываю: на лавочке крошечная сказочная старушонка поет с увлечением о «Кострюке, сыне Демрюкове», поет и прерывает горячими пояснениями и за-



О. Е. Озаровская и М. Д. Кривополенова после концерта.

ливается счастливым смехом артиста, влюбленного в свое творчество.

Я под хорошей звездой <...> Никаких подходов и осторожностей, — врываюсь в горницу, как в уборную артистки, выражая свой восторг и ничуть не смутишь — примет как должное.

Так и есть. Но, конечно, рада и польщена <...> Работа закипела. Бабушка поет, мы строчим, грежит фонограф <...> Ах, бабушка, не умирай! Дай мне испытать счастье быть твоей доброй волшебницей».

Озаровской довелось в полной мере испытать счастье первооткрывателя. Но если и можно говорить о чуде, то о чуде, тщательно подготовленном предшествующей работой собиравательницы. Не будь за плечами Озаровской первой поездки на Пинегу, знакомства с Олькиной и другими пинежанками, перешедшего в прочную многолетнюю дружбу, не прояви Прасковья Андреевна доброй воли, не залучи к себе в дом бродившую в ту пору по округе Махоньку — не улыбнулось бы фольклористке капризное собирательское счастье. В конечном счете встреча эта представляется не большей неожиданностью, чем открытие периодической систе-

мы элементов учителем юности Озаровской Д. И. Менделеевым. Окончательная, стройная картина сложилась во сне, но как долго, как мучительно и упорно трудился мозг, прежде чем свершилось чудо открытия.

Интереснейшие штрихи к нарисованной уже картине первого знакомства содержат продиктованные мне воспоминания Василько Васильевича Озаровского (приобрел широкую известность в нашей стране и за ее пределами как крупнейший знаток жизни змей; кобры, гюрзы, питоны и удавы мирно сосуществуют в его тесной квартире. На фотографии, подаренной Пушкинскому дому вместе с уцелевшими материалами личного архива Озаровской, Василько Васильевич запечатлен во время одного из своих выступлений с коброй Победой). «Собственно говоря, — шутливо вспоминает Озаровский, — честь открытия Кривополеновой принадлежит мне <...> Деревня Великий Двор рядом с Пинегой. Утром Прасковья Андреевна, мама, я, еще кто-то из соседей собрались в лес. Дверей на Севере по старинной традиции не запирают. Прислонили коромысло, — значит, нет дома. Меня что-то задержало, все обогнали меня шагов на двадцать. Тут подошла ко мне старушка с очень симпатичным, немного жалким лицом и трогательным, каким-то детским выражением, лет семидесяти на вид. Нищенка. Стала кланяться, креститься. Испытывая смущение (старый человек и вдруг кланяется мне, подростку, — непривычно!), я догнал маму:

— Там удивительно симпатичная старушка. Нужно ей что-нибудь дать!

— Вернись, там в кармане халата что-то есть...

Я быстро вернулся в избу, взял пятак (милостыня по тому времени немалая) и подал старушке. Бабушка опять закланялась, закрестилась, а я побежал догонять своих.

А на другое утро (это уж по рассказам бабушки, когда мы подружились с ней) бабушка подумала:

«В том доме мне хорошо подали... Пойду-ка еще...»

Мама спала. Прасковья Андреевна вынимала из печки печеное, когда явилась бабушка. Прасковья Андреевна охотно «добывала дичь» (то есть находила исполнителей) для мамы, она стала расспрашивать гостью, не знает ли, не поет ли та старин, поставила перед ней шаньги, сметану...

— Знаю, — ответила бабушка.

И началось! Проснулась мама, проснулась Александра Петровна Соколова *. Сели записывать. Я безмятежно спал на «вышке», потом спустился вниз. Бабушку никуда не отпустили, оставили в доме <...> Скоро все мы научились у нее петь смешную «Небылицу в лицах, небывальщину», переняли скоморошину «Усища-атаманишша». Спустя некоторое время подня-

* Александра Петровна Соколова-Румер — друг и спутница Озаровской во время второй поездки на Север.

„ЗА ЖЕМЧУГОМЪ“

разсказъ о второй поездкѣ по русскому сѣверу, артисти

О. Э. ОЗАРОВСКОЙ

съ участіемъ крестьянки Архангельской губ., сказительницы

МАРИИ КРИВОПОЛѢНОВОЙ.

ПРОГРАММА:

Рѣка Пинега. Старины Маріи Кривополѣнковой. Скоморошины. Кемь. Поморскій Александръ Дюма. Новая форма сказки. Лѣтній берегъ. Свадебная. Сѣверное сердце. Гордая царевна. Побывальщина. Куроцька рябушецька. Исполнить **О. Э. Озаровская.**

Иванъ Грозный, Князь Михайло историческія. Добрыня Микитиць (былина), Кострюкъ, Усишша — скоморошины. Исполнить **М. Д. Кривополѣнова.**

Начало въ 7½ часовъ вечера.



Печ. за № 30013 разр. 27 Ноября 1915 г. за Петр. Град. камерг. Лысоговскій.

Тип Б. Авдеева. Моховая, 41.

Программа совместного выступления О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополѣновой в Тенишевском училище. Петроград, 1915 г.

лись в верховья Пинеги (Веегоры, Усть-Ежуга, кривополеновские места). А потом пришла пора возвращаться в Москву. Бабушка остановилась у нас, на Сивцевом Вражке. Ей отвели комнату. Помнится, в третий приезд бабушки, в 1921 году, мне довелось открыть дверь на звонок Луначарского — он поспешил к нам, как только узнал, что Кривополенову доставили в Москву, поцеловал ей руку.

У бабушки была не просто блестящая память. Она оказалась подлинной артисткой. Мама особенно любила выступать с ней по школам. Молодежь после концертов выносила бабушку на руках. Казалось, она сама вышла из сказки*.

Вышла из сказки... «Бабушка, не умирай! Дай мне испытать сказочное счастье быть твоей доброй волшебницей», — звывала Озаровская, заканчивая очерк о знакомстве с Кривополеновой. Действительность превзошла самые смелые ожидания: «Сказка совершилась в Москве, в «каменной Москве», про которую она пела всю жизнь, побираясь за кусочками. Нищенка стала артисткой, знаменитостью <...> В огромном зале люди всех возрастов и положений, вставши с места, с чистыми и благоговейными лицами, не отрывая взоров от крохотной бабушки, поют <...> А я стою рядом и горжусь, что судьба вручила мне палочку для волшебного превращения» — так завершается очерк «Сказительница былин — Марья Кривополенова», венчающий цикл «За жемчугом» и написанный Озаровской под непосредственным впечатлением совместного триумфа в Москве в осенние дни 1915 года.

Дошел черед и до столицы. «Привезенная госпожой Озаровской пинежская «бабушка» — один из немногих чудом сохранившихся до наших дней обломков древней «синкретической» эпохи русской культуры. Для артистки-нищенки не существует напева («голоса») отдельно от текста, и мертв текст без напева, и нераздельно слиты тот и другой с зачатками драматического действия: с мимикой, жестиком, очень степенной, но и очень выразительной <...> Чем-то не только архаично-культурным, но и древнекультовым веет от Кривополеновой, от всей совокупности ее фигуры, ее манеры держаться, ее голоса, ее экспрессии, ее былей и небылиц <...> Так ее и принимать нужно, так о ней, собственно, и писать надлежит, для себя и для читателя сохраняя всю целокупность и слитность всего виденного и слышанного и воображением дополненного», — восторгался музыкальный критик В. Г. Каратыгин, посвятивший Кривополеновой профессиональную рецензию после ее выступления в зале Тенишевского училища.

Гудят рельсы, мелькают города, пестрят восторженными отзывами газеты Москвы и Петрограда, губернские «Ведомости» и «Лист-

ки». «Слушатели долго не отпускали бабушку и заставили ее повторить особенно понравившуюся «Небывальщину». «О. Э. Озаровская с бабушкой выступали еще в трех сеансах для уходящих. Желавших попасть было так много, что не смогли бы поместиться даже в Общественном собрании», «Ее пение слушали с напряженным вниманием. Голос ее удивительно тверд, а дикция поразительна, если иметь в виду, что у нее во рту всего три зуба. Она поет с увлечением, протестуя против попыток г-жи Озаровской сокращать ее «номера» из уважения к старческой усталости, <...> публика устроила горячие овации обоим участникам вечера. Молодежь окружила их плотным кольцом, благодарилась, — курсистки целовали бабушку», «Мария Кривополенова очень стара <...>, но эта старушка сохранила секрет отчетливой дикции и правильной ритмической интонации: она сохранила всю прелесть народной наивности и согрета огнем художественных переживаний и веры в свои песни. Обе исполнительницы имели громадный успех».

Покинув родные края безвестной нищенкой, Кривополенова к концу года вернулась всеми признанной, почитаемой «северной бабушкой». Наконец-то (ибо несть пророка в своем отечестве) дошел черед и до Архангельска: «10-го декабря состоялся вечер архангельского кружка любителей изящных искусств при участии известной сказительницы, крестьянки Пинежского уезда Марии Дмитриевны Кривополеновой <...> Старушка много говорила о своих путешествиях и о тех впечатлениях, которые она вынесла от посещения обеих столиц <...>. Зрительный зал Торгово-промышленного собрания был буквально переполнен», — почтительно писало о Махоньке «Северное утро».

По словам Ю. М. Соколова, высоко оценившего заслуги Озаровской перед русской фольклористикой, она «сумела так талантливо раскрыть перед людьми науки и искусства ее (Кривополеновой) исключительное дарование и так ясно показать необходимость изучения крестьянского поэтического творчества, что вскоре неразрывно связанные имена Озаровской и сказительницы Кривополеновой приобрели широкую популярность по всей стране».

В следующем, 1916 году Кривополенова продолжала свои выступления по городам России. А там — революция, гражданская война, последний приезд в Москву в 1921 году, радостное свидание с Озаровской, а за ним вечная разлука. Время сохранило для нас офорт, выполненный соратницей Озаровской в деле создания народного театра художницей Ниной Яковлевной Симонович-Ефимовой в 1915 году, когда Кривополенова достигла зенита своей славы. Сказительница в задумчивости замерла на фоне миниатюр к старине «Вавило и скоморохи», воспевающей непобедимую силу искусства и особенно дорогой сердцу Озаровской. На обороте дарственная надпись: «6 ноября 1915 года. Многоуважаемой Ольге Эрастовне Озаровской

* Записано мною в городе Фрунзе в январе 1980 года. — Н. Х.



Сказительница М. Д. Кривополенова и писатель Борис Шергин. 1915 г.

на память о хороших часах, проведенных у нея * с ней и с бабусей. Н. Е.».

Уцелели и старые снимки, так много говорящие уму и сердцу тех, в ком жива память об Озаровской и Кривополеновой. Вот они рядом на сцене. Озаровская крепко прижимает к себе «северную бабушку» после особенно удачного выступления. Вот бродят по кремлевскому двору, вот сидят, ласково улыбаясь друг другу, в квартире знакомого доктора во время гастролей в Ростове-на-Дону (в этом городе жила с семьей старшая сестра фольклористки Надежда Эрастовна, Остапович в замужестве; отсюда в Москву была прислана памятная фотография с трогательной надписью и пожеланием «еще много и долго «давать уроки» вместе и радовать публику»). А на этом снимке Мария Дмитриевна сидит рядышком с земляком своим Борисом Викторовичем Шергиным. Уроженцы одной губернии, они познакомились благодаря доброму вмешательству Озаровской, и кто знает, как сложилась бы судьба будущего писателя,

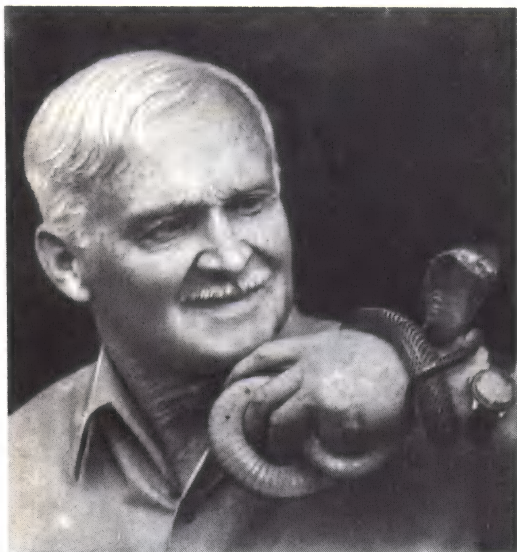
блестящего знатока и исполнителя русского фольклора, если бы не поддержка Ольги Эрастовны в начале пути.

В личном архиве собирательницы сохранилось письмо о том, как уходила из жизни «северная бабушка». Оно написано местным учителем Василием Ивановичем Стирмановым, впоследствии известным пинежским краеведом, инициатором создания музея, где почетное место занимают экспонаты о Кривополеновой и Озаровской. Спустя полвека трудно читать без душевного волнения этот человеческий документ:

8 апреля 1924 г(ода). С(ело) Пиримень Пинежского у(езда) Арх(ангельской) губ(ернии). Ольга Эрастовна!

Зная, какое участие Вы принимали в судьбе бабушки М. Д. Кривополеновой, считаю долгом сообщить, что Мария Дмитриевна 8 февраля с. г. скончалась в д(еревне) Веегоры Михайловской вол(ости) Пинежского уезда Арх(ангельской) губ(ернии). Последние месяцы и дни своей жизни М(ария) Д(митриевна) провела, печально забытая, вероятно, большинством тех, кто раньше интересовался ее талантом, ее былинами, сказками, старинами, и питалась подаяни-

* Старая орфография.



В. В. Озаровский — сын О. Э. Озаровской — знаток змей Средней Азии. Фрунзе, 1979 г.

ем, переходя из дома в дом. За несколько недель до смерти она ночевала у меня и просила написать Вам о том, в каком положении она находится, что я и сделал, не зная до сих пор, получили ли Вы это письмо.

До последних дней М. Д. не переставала петь старины, которыми заслушивались взрослые, а особенно любили дети. При мне она, заснув на печке, во сне начала петь «Кострюка» и, проснувшись, без перерыва продолжала до конца, что привело в восторг бывших тут нескольких человек взрослых и детей, особенно любивших и перенимавших раньше у нее эту старину.

Думая, что М. Д. была забыта случайно, главным образом из-за ее удовлетворенности всяким положением, и что на обеспечение ее могли быть отпущены средства от государства, я просил бы Вас оказать содействие, чтобы таковые пошли на обучение внучат М. Д., незавидное детство которых она всегда старалась скрасить. Вместе с тем прошу Вас сообщить, когда и где были печатаны былины и старины бабушки и где сейчас их можно приобрести, что намерены сделать школы здешней волости, а может быть, и всего уезда. Одну книжку былин, сказок и старин с портретом М. Д. я видел у нее, кажется, в 1917 году, и если нет позднейших изданий, то крайне желательно было бы иметь хотя бы это.

Местный учитель В. И. Стирманов*.

«Бабушкины старины», записанные и подготовленные к печати усилиями Озаровской, издавались при жизни сказительницы дважды: в 1916 и 1922 (с дополнениями) годах. Пенсия на имя бабушки не застала ее в живых. Озаровская позаботилась о том, чтобы могила той, с

кем ей суждено было рука об руку войти в историю отечественной фольклористики, испытать бескорыстную радость сотворчества, не осталась безымянной. На смерть Марии Дмитриевны она откликнулась очерком «Перед портретом (памяти М. Д. Кривополеновой)», который и поныне остается, пожалуй, лучшим из всего, что посвящено «северной бабушке», и входит в наше сознание как нерукотворный памятник сказительнице.

— Кто это?

— Бабушка.

— Ваша?

— Нет, я не имею счастья гордиться такой бабушкой. Это всеобщая бабушка, или, как она себя называла после первой встречи и ласковой дружбы с наркомом А. В. Луначарским, «именитая бабушка», а после того, как навестил ее в глуши один любопытный американец*, — «всемирная бабушка».

— Кто же она?

— Народная артистка Мария Дмитриевна Кривополенова.

— Она получила это звание?

— Она его не получала. Она с ним родилась.

— Она служила в театрах?

— Она служила всю жизнь в Большом Народном Театре: на дорогах, в избах, на пороге и на печке. За это ей подавали.

— Так она была нищенкой?

— На ее родине нет такого названия. Ее называли «сиротиной». Это название указывает на участь, на долю. Ее любили, встречали радостно и радостно оплачивали свое удовольствие послушать «старины». (...) Однако эта старушка стала «известной артисткой» в общепринятом смысле слова. О ее выступлениях писались большие рецензии, с нее писали и гравировали портреты (...), ее ваял Коненков (...), она выступала в больших залах перед многочисленной публикой, она видела иступленные восторги юности и умиление старых народовольцев (...), писатели почтительно целовали ее морщинистую руку, протягивавшуюся так долго за подаванием, певцы, следившие за ее дыханием и звуком, восклицали: «Итальянская школа пения!»

А после революции, как только уничтожился северный фронт, по распоряжению наркома по просвещению ей был выдан особый паек там, в страшной глуши, на севере, и затем по его же вызову прибыла она в Москву, чтобы работать с этнографами.

Нарком лично приезжал за нею, возил к себе в Кремль, лично отвозил и провожал по темной лестнице до дверей квартиры, где остановилась бабушка.

— Она была все-таки образованная?

— Неграмотна. Но это не помешало Русскому географическому обществу выдать ей медаль «За научные труды и заслуги».

— Ну а техника? Школа пения?

— Чистый воздух и простор дорог...

* Альберт Рис Вильямс.



О. Э. Озаровская среди участников комитета по празднованию 30-летия ее артистической и научной деятельности. 1929 г.

— Как же она держалась на эстраде?

— Как большая артистка. Поклоны ее были истовые, улыбка обаятельная, взоры зажига-тельные, смех заразительный...

— Это когда же случилось? Сколько ей было тогда лет? Вы говорите о ней как о красавице.

— Да она же красавица! Посмотрите на этот лоб, хранящий такие изобильные знания <...> Городская слава и деньги пришли к ней на 72-м году жизни.

— Как она к этому относилась?

— Как мудрый нищий: благостно...

— Жива она?

— Умерла 80 лет.

— Умерла она в достатке?

— Как нищая и как артистка... Местный учитель сообщил подробности ее смерти <...> Редкому артисту суждена такая смерть*.

Озаровская пережила Кривополенову почти на десятилетие. Путь ее — путь подвижника, верящего в правоту и необходимость своего дела, устремленного в будущее. Слабеют силы, гаснет зрение, но снова и снова, не щадя себя, с бескорыстием истинного артиста и ученого, устремляется она на Север. Год 1925-й, год 1927-й.

На обложке школьной тетради, одной из тех, куда заносились полевые записи, набросок письма:

«...У меня одна надежда на Вас. Несколько лет я работала над свадебным обрядом на Севере. У меня он записан полностью в нескольких пунктах рек Пинеги и Кулоя со всеми циклами песен каждого района. В такой полноте еще не была никем изучена русская свадьба. В этом году мне привелось видеть свадьбу со всеми обычаями, какой не бывало уже 20 лет <...> Мне очень тяжело было бы сознание, что мой труд не увидит света, а он не увидит, если Ваше издательство не придет на помощь. План книги таков...»

* Опубликовано в журнале «Красная нива» за 1926 год, № 29 от 18 июля.

Сколько тревог, трудов, неосуществленных планов, требующих скорейшего воплощения. А время знает свою работу. Фотография 1929 года. Озаровская в костюме пожилой северной крестьянки. Сарафан, темный платок, повойник. Доброе, осунувшееся, усталое лицо. А глаза, они почти не видят. Ее помещают в Ленинградский Дом ученых ЦЕКУБУ.

Групповой снимок: Озаровская — юбиляр в окружении членов комитета по ее чествованию: слева академик С. Ф. Ольденбург, справа председатель комитета академик П. Н. Сакулин, сзади стоят товарищ председателя профессор Ю. М. Соколов и брат его, фольклорист Б. М. Соколов (вошли в историю фольклористики как братья Соколовы), председатель «Никитинских субботников» Е. Ф. Никитина, К. Н. Игумнов, артисты, ученые, единомышленники. 25 февраля 1929 года страна торжественно праздновала тридцатилетие научной, артистической и педагогической деятельности Озаровской. Торжество состоялось в Государственном театре имени Вахтангова. О нем писала «Правда».

Озаровская скончалась в 1933 году, вдали от Ленинграда и Москвы, с которыми связана вся ее сознательная жизнь, в киргизском городе Фрунзе, куда привезли ее, совсем уже незрячую, на попечение сына и его жены. На месте

кладбища, где погребли Озаровскую, стоит кинотеатр «Иссыккюль». Нет могилы, нет памятника над ней. Но память об Озаровской жива в ее трудах. Нерукотворный памятник воздвигла она себе. Последним, особенно весомым камнем в нем стала книга «Пятиречье», главный итог поисков Озаровской, вышедшая в 1931 году с иллюстрациями известного художника Л. С. Хижинского. На титуле сигнального экземпляра, присланного во Фрунзе из Ленинграда, незадолго до рождения внука, написано почти ошупью, вслепую:

«Книгу, съевшую мои глаза и здоровье, передаю как материнское благословение ненаглядному, бесконечно любимому сыну Васильку Васильевичу. Храни и никому не давай, не расставайся с ним. Это один из трех экземпляров, переплетенных Бернарду Шоу, гостю СССР, художнику и мне (...). Книга признана «вечной» и классической, но сохранится ли в нашу эпоху? Оценена будет лишь через сотни лет. Пока храните и пользуйтесь для будущего чада, рождение которого приветствую этой книгой. Только два издания в СССР соперничают: «1000 и одна ночь» и эта, «Пятиречье» (...). Сохраняйте и любите, как я Вас обоих.

*Мама, автор сына и сей книги.
29 июля 1931-го».*



П. А. Заломов с женой и родственниками. Суджа, 1935 г.

Александр Никитин

«И снова рвется в бой душа!»

Биография этого человека давно всем известна. А вот стихи его — почти никому. Так что нам предстоит, по существу, первое знакомство с Петром Заломовым как с рабочим поэтом, певцом революции. Но почему только теперь мы узнаем о заломовских стихах?

Много лет назад автор этих строк, тогда еще студент Московского университета, увлекся, казалось бы, и без того хорошо изученной биографией Петра Заломова. В журналах появились очерки о неизвестных эпизодах революционной деятельности прообраза горьковского Павла Власова, которые легли в основу книги «Ураль-

ская явка»¹. Потом предстояла увлекательная работа над первым изданием автобиографической повести Петра Заломова, более полувека пролежавшей в его семейном архиве².

Встречаясь с людьми, знавшими Петра Заломова, разбирая архивные документы, читая письма и воспоминания революционера, я находил и кропотливо собирал стихотворные строки, написанные рукою сормовского знаменосца. Так создавалась коллекция ранее неизвестных поэтических проб пера прототипа горьковского героя.

Далеко не все заломовские стихи совершенны в литературном отношении, но за каждой их строкой — чувства и мысли «чернорабочего революции», как называл себя Петр Заломов. Стихи автобиографичны, они — свидетели сознания высокого гражданского долга одного из славных сынов рабочего класса революционной России.

Многие стихи и письма Петра Заломова, хранящиеся в семейном архиве Заломовых,

приводятся здесь впервые. Автор выражает глубокую благодарность дочерям революционера — Галине Петровне и Елене Петровне Заломовым, оказавшим помощь в сборе материалов для очерка.

* * *

Стихи Петра Заломова чаще всего встречаются в его письмах к старым нижегородским друзьям, товарищам по революционной борьбе. Порой стихотворные строки заменяли собой письма, служили продолжением воспоминаний. За этими строками безошибочно узнаешь не только рабочего, преданного делу пролетарской революции, но и публициста, продолжающего оружием слова борьбу за переустройство жизни.

Вспомним речи Петра Заломова и его товарищей на суде, которые высоко оценил Владимир Ильич Ленин, назвав превосходным, от самих глубин пролетариата исходящим комментарием к событиям и фактам классовой борьбы³. Эти речи отличались цельностью взглядов, четкостью мысли, искренностью.

«Прибавлять что-либо к этим речам, — отмечал В. И. Ленин в 1902 году, — значит лишь ослаблять впечатление, производимое этим бесхитростным рассказом о бедствиях рабочих и о росте среди них возмущения и готовности к борьбе. Наш долг теперь — приложить все усилия, чтобы эти речи были прочтены десятками тысяч русских рабочих. Пример Заломова, Быкова, Самылина, Михайлова и их товарищей, геройски поддерживавших на суде свой боевой клич: «Долой самодержавие», — воодушевит весь рабочий класс России для такой же героической, решительной борьбы за свободу всего народа, за свободу неуклонного рабочего движения к светлому социалистическому будущему»⁴.

Речь Петра Заломова была опубликована ленинской газетой «Искра»⁵ и стала широко известной в России и за границей. Стихи же, написанные Петром Заломовым вскоре после его знаменитой речи, долгое время оставались неизвестными. А ведь в них сормовский знаменосец отстаивает и развивает, в сущности, ту же мысль, что и в речи: революционная борьба рабочих закономерна, и сила ее не в подвигах героев-одиночек, а в пролетарской солидарности, в массовом героизме рабочего класса.

В строгих и точных по мысли строках Петр Заломов так изложил свои взгляды:

В героев я не верю,
Герои устают,
Герои умирают,
Герои предают.
Один лишь в целом взятый
Весь трудовой народ
Идет, нуждой объятый,
Без усталости вперед!⁶

В письме Петра Заломова к нижегородскому революционеру, слесарю Якову Пятибратову, есть такие строки: «О моем настроении ты мо-

жешь судить по моим стихам... Правда, я плохой поэт, но мои стихи достаточно ярко характеризуют мое настроение»⁷. Не только настроение передают стихи Петра Заломова. Они рассказывают о реальных событиях жизни революционера и близких ему товарищей. Стихи во многом автобиографичны. Этим прежде всего они и ценны.

Одно из заломовских стихотворений может служить своего рода вступлением ко всем остальным:

Мой мозг — экран.
В нем род картин запечатленных.
Там голод, нищета,
Тяжелый рабский труд.
Там круг друзей,
Свободой вдохновенных,
Аресты и тюрьма,
И тяжкий царский кнут...
Там первая любовь,
И девушка там с черною косой,
И радостный,
Как солнце
После ночи темной,
Там первый баррикадный бой!⁸

Подтверждение правоты этих слов — вся жизнь бесстрашного революционера. Сошлемся на один пример из жизни молодого Петра Заломова.

В те далекие годы существовал обычай: каждому рабочему при переходе с одного завода на другой устраивать довольно строгие испытания. Работая на заводе Курбатова в Нижнем, Заломов был свидетелем подобных экзаменов, иногда принимавших жестокий характер. В семейном архиве Заломовых сохранилось стихотворение Петра Андреевича под заголовком «Новичок». В нем рассказывается о том, как во время испытаний молодого слесаря ради потехи был смазан салом боек молотка. Из-за этого молоток, соскользнув с зубила, сильно ранил руку новичка:

Рука как подушка, зубило в крови.
А он не моргнет даже бровью.
Довольно, ребята, ворон не лови!
Крещен он железом и кровью!

Рабочая среда той поры закаляла характеры. И поэтому все симпатии Заломова были на стороне молодого слесаря, в глазах которого он увидел не слезы испуга, а непреклонную решимость выйти победителем. По мнению Заломова, это важнее всего, потому что рабочий поступал не просто на завод, а как бы в рабочую школу будущих борцов революции:

В суровую школу железных борцов,
Работы и точного знания,
Где чуть переносят насилье оков,
Таится где пламя восстания.

Правда, сам Петр Заломов подобным испытаниям в Нижнем не подвергался, так как по-



П. А. Заломов. Суджа, 1912 г.

ступил на завод Курбатова учеником. Зато ему трудно было сделать другое: перейти из учеников в слесари. Целых три года Заломов числился в «мальчиках», хотя он уже выполнял работу квалифицированных слесарей.

Лишь в Перми, куда уехал революционер, скрывшись от нижегородской полиции в 1898 году, Петру Заломову позволили держать экзамен по всем «правилам» того времени.

Мастер приказал сделать из круглого железа пробный кубик, каждая сторона которого должна быть равной одному дюйму. Петр не спеша подошел к слесарному верстаку, засучил рукава. Но Заломова ожидал подвох: крейцмсель и зубило ему вручили поломанные. Не раздумывая долго, Петр Заломов сам нагрел их в горне, заново отковал, закалил в воде и заточил.

Кубик был вырублен со стороны в один и три шестнадцатых дюйма, то есть с небольшим запасом. Оставалось опилить его сначала драчовым напильником, а потом напильником с мелкой насечкой. Но последний оказался тоже негодным. Он был не ровным, как струна, а дугообразным. Петр ухитрился и с таким напильником добиться нужной точности, навести блеск.

Несмотря на далеко не случайные неожиданности, работа была выполнена в срок. Петр был действительно человеком опытным, и провести его, как того новичка, было не так-то просто. Инженер, принимавший пробу, одобрил ее. Казалось, что с коварным дюймоном покончено, испытания завершены. Но тут подошел помощник мастера. Он сказал, что слесарь не умеет работать, так как пилил не во весь размах. Зало-

мов пытался объяснить, что напильник изогнут и для такой работы вовсе не годится. Но все доводы Петра были отвергнуты. Пробная работа слесаря была признана недостаточно хорошей, и плата поденщику определена низкой — всего 70 копеек в день.

Оскорбления и унижения поджидали рабочего на каждом шагу. Но самое главное, что и подчеркнул Петр Заломов в герое своего стихотворения, это проявление характера человека, который должен стать «железным борцом». Автор не называет имени новичка. Но в его поведении, в образе его мыслей нетрудно узнать характер самого Петра Заломова.

Обратимся снова к письмам Петра Андреевича к Пятибратову, повествующим о начале работы юноши на заводе, совпавшем с вступлением его на путь революционной деятельности:

«Дорогой Яша! Помнишь, как ты меня пропагандировал и предложил мне вступить в ряды социал-демократов? Это было осенью 1892 года. Я тогда сказал, что мне надо подумать и я не могу такого важного вопроса решить сразу. Ты в ответ на это спросил: «Сколько тебе лет?» — «Пятнадцать», — ответил я. «Я в пятнадцать лет был умнее тебя и долго не думал», — сказал ты мне тогда и ушел, попросив не болтать. Недели через две я сам попросил у тебя литературу»⁹.

Но между этими двумя событиями — предложением о вступлении в революционный кружок и ответом о согласии — были другие, не менее важные для характеристики молодого Заломова, равно как и героя его стихотворения, во многом примечательные события. О них Петр Заломов вспоминает в другом письме к Пятибратову:

«Расскажу тебе одну смешную историю из своей юности. Когда осенью 1892 года ты предложил мне вступить в подпольную марксистскую организацию, я тебе ответил, что... мне надо подумать. Так вот, главной причиной моей нерешительности была боязнь, что я не смогу выдержать пытки. И я делал опыты. Несколько раз разбивал себе руку ручником (молотком. — А. Н.) во время работы, и она распухла у меня как подушка. Потом один раз, когда я внизу пригирал шток к поршню с Федоровым, пролеза под железной рукояткой хомута, как бы нечаянно выпрямился под ней и ударился головой так, что упал на пол, а когда встал, то все предметы вокруг меня танцевали. После этого опыта я признал себя «годным» и заявил тебе о своем желании вступить в организацию и попросил у тебя литературу. Я стал считать себя полноправным членом группы Освобождения Трудя, но временами на меня находили сомнения, и я снова проверял себя...

Конечно, все эти испытания были по-детски наивны и смешны. О них я боялся и заикнуться из опасения быть жестоко высмеянным. Но одно несомненно: если бы я не смог выдержать тех детских испытаний, то не смог бы выдержать и всего того, что пришлось перенести впоследствии. И я помнил, дорогой Яша, о своем первом учителе, который казался мне **скованным из**

цельного куска железа, и старался быть достойным его»¹⁰.

Вот о какой поистине железной черте характера революционера напоминает стихотворение «Новичок».

Во многом автобиографичны и другие стихи Петра Заломова, испытавшего не только тюрьмы и ссылку, но и ни с чем не сравнимую радость борьбы:

Там вдали реет красное знамя,
Революции песня гремит.
Ближе, ближе. Не песня, а пламя!
Огненным языком говорит!¹¹

Эти строчки взяты из стихотворения, посвященного Сормовской политической демонстрации 1902 года. Они запечатлели не только это знаменательное событие, но и довольно точно передали настроение знаменосца, готового принести себя в жертву во имя победы революционного дела:

Вот уж близко. На солнце сверкают
Наклоненные к бою штыки.
Демонстранты в толпе исчезают,
Их укрыли рабочих полки.
Так решили. Но красное знамя
Гордо реет навстречу штыкам.
Революции будущей пламя
В нем горит на погибель врагам.
Знаменосец назад не отступит!
По закону петля его ждет,
Но «расход» пропаганда окупит,
И один на врагов он идет¹².

Как непохожи с первого взгляда эти яростные слова на рассудительные строки о том, что Петр Заломов был мастером конспирации и вообще человеком очень осторожным. А тут вдруг — один на штыки! Но никакого «вдруг» нет. Петр Заломов, обладая непреклонным и твердым характером, был в то же время человеком гибким там, где этого требовали обстоятельства, а точнее, условия революционной работы. Одно дело — узкий круг подполья, и совсем другое — открытое выступление перед тысячами людей. Вот почему в этом, казалось бы, отчаянном порыве была прежде всего строго продуманная еще накануне линия поведения.

Об этом Петр Заломов размышлял в своем письме, отправленном осенью 1934 года к товарищу юности Леониду Баранову:

«Дорогой Ленья! Помнишь, как ты, Сеня, Митя и я ходили в лесочек за знаменами, которые были зарыты в песок?»¹³ Я знал, что несение знамени с надписью «Долой самодержавие!» означает публичный призыв к ниспровержению существующего порядка и что за это единственное наказание — смертная казнь через повешение.

Я об этом никому не сказал, а на собрании в Починках заявил, что знамя с надписью «Долой самодержавие!» понесу я сам, что это мое право. И из 80 человек ни один этого моего права оспаривать не стал. Моей целью было рево-



Членский билет П. А. Заломова, выданный Всесоюзным обществом политкаторжан и ссыльных поселенцев. 1924 г.

люционизировать организацию и в то же время сохранить ее. И еще более революционизировать массы...

Мы условились, что при приближении солдат знамена сорвем с древков, спрячем под пиджаками и рассеемся в толпе. Но я сознательно обманул вас, чтобы сохранить для организации, а сам решил идти один на штыки солдат, чтобы погибнуть на глазах шеститысячной толпы. Мне казалось, что такая праздничная смерть произведет гораздо более сильное впечатление на рабочих, чем мое повешение в застенке»¹⁴.

«Скованными из цельного куска железа» показали себя 1 мая 1902 года Петр Заломов и его товарищи — Дмитрий Павлов, Леонид и Семен Барановы. Братья Барановы вслед за Петром несли еще два знамени, меньших размерами. Но первое знамя — оно одно было с

грозной надписью — нес высоко над собой Заломов и не опустил перед штыками солдат. Революционер шел на верную смерть, но во имя жизни — светлой, разумной, достойной человека. С этим знаменем он и вошел в историю...

«Это был высший момент счастья в моей жизни!» — скажет спустя много лет об этом дне сам Петр Заломов.

Что же вдохновляло рабочего на беспримерный подвиг, что придавало ему мужества и силы?

«Самое большее, что в их власти, — писал из Бутырской тюрьмы о царских судьях Петр Заломов, — это то, что они могут отнять у нас жизнь. Вот если бы они могли отнять у нас наши убеждения, — это было бы действительно ужасно. У нас против наших врагов имеется сильнейшее оружие — это вера в правоту нашего

дела, вера в близкую победу <...> Я бы пошел теперь на муки, на пытки, а мне дали... всего вечную ссылку»¹⁵.

Из далекой сибирской ссылки несется голос революционера:

Братьев тиран беспощадно терзает.

Скоро последняя битва начнется.

Дума до боли мне сердце сжимает —

В битве той мне умереть не придется¹⁶.

Стихотворение под названием «В ссылку» написано весной 1903 года в селе Маклакове Енисейского уезда. Это самый ранний из всех дошедших до нас поэтических опытов Петра Заломова, о которых, кстати сказать, знал и Алексей Максимович Горький: «У меня были письма Заломова из ссылки, его литературные опыты...»¹⁷ В письмах из Сибири к сестре Варваре революционер тоже говорит о своем увлечении стихами¹⁸. В частности, речь идет о стихотворении под названием «Доля», оставшемся неизвестным. Возможно, что это лишь иное название стихотворения «В ссылку».

Через год в село Маклаково к Петру Заломову приезжает учительница Жозефина Гашер, француженка по национальности, дочь инженера-химика, приглашенного для работы в Россию. Оба они, Петр и Жозефина, были знакомы еще раньше, в Нижнем Новгороде. Когда Заломов в тюремном замке ожидал суда, Гашер под видом невесты приносила обеды, которые помогли ему быстро поправиться после голодовки. И, как показало время, невестой она назвалась тогда не случайно. «Я сразу угадал в ней натуру родственного порядка и сразу полюбил ее»¹⁹, — признался Петр Заломов в одном из писем к сестрам. В Сибири Жозефина стала женой Петра Заломова, а в самом начале 1905 года у них родилась дочь Галина.

Но как Жозефина Гашер оказалась в Восточной Сибири?

Предоставим слово ее старшей дочери Галине Петровне Заломовой:

— Жозефина Эдуардовна распространяла листовки, на которых были отпечатаны речи сормовских рабочих, произнесенные на суде. С этими листовками ее схватили жандармы в Ростове-на-Дону. Местом ссылки она сама избрала село Маклаково на Енисее. Туда, к Петру Андреевичу, и заявила, как когда-то жены декабристов. Только она была еще невестой...

В Красноярске мне удалось разыскать сохранившийся в местном архиве список лиц, состоявших под особым надзором полиции в январе 1905 года. В список были внесены, причем даже рядом, имена двух прототипов литературных героев горьковской повести: Степана Семеновича Погнирышко (Находки), привлеченного к дознанию Нижегородским губернским жандармским управлением в 1903 году, и Жозефины Эдуардовны Гашер — Саши, арестованной годом позже Донским областным жандармским управлением²⁰.

Местом поселения Погнирышко в этих документах указан Красноярск, а местом нахожде-

ния Гашер, как и говорила Галина Петровна, — село Маклаково Енисейского уезда. Против имени Гашер в списке сделана пометка: «французская подданная». Однако это обстоятельство ничуть не помешало применить по отношению к Гашер все правила процветавшего в России той поры «полицейского демократизма».

В марте 1905 года Петр Заломов на деньги, переданные от Горького, нанимает местного крестьянина-извозчика и тайно бежит в санях из ссылки. Полиция рассылает секретные указания о задержании приговоренного к пожизненной ссылке Заломова, сообщает его приметы. Но революционер, подоспевший в Красноярске прямо к сибирскому экспрессу быстрее полицейских депеш, прибыл в центральную часть России. Он благополучно добирался сначала до Киева, а потом до Петербурга.

На финской даче в Куоккала²¹ Петр Андреевич встречается с Алексеем Максимовичем. Писатель заносит рассказы революционера о своей жизни в записную книжку. Давний интерес Горького к Заломову, а потом прямая помощь ему, наконец, эта встреча вплотную приблизили писателя к тому дню, когда, отложив в сторону все дела, он начнет писать бессмертный роман «Мать».

А пока разгорается первая русская революция. Петр Заломов уже в Москве, живет по фальшивому паспорту на имя Антона Волоховича. На квартире, снятой близ Серпуховской площади, он изготавливает бомбы-македонки для вооружения боевых дружин рабочих, а когда пробил час восстания, и сам с оружием в руках занял место на баррикадах Пресни.

После поражения революции ни в одном из промышленных городов России жить беглому ссыльному Петру Заломову не разрешают. Жена находит место учительницы в маленьком городке Судже Курской губернии. Сюда и переезжают Заломовы. Здоровье у Петра Андреевича неважное: побои, тюрьма, ссылка не прошли даром. Жандармы, как и прежде, следят за каждым его шагом. Поэтому Суджа неожиданно оказалась, по существу, местом второй ссылки революционера.

Это было, бесспорно, самое трудное время в жизни сормовского знаменосца. Недаром мы не встречаем ни одного стихотворения Петра Заломова, написанного в эти годы. Казалось, что реакция победила надолго. Но и в то тяжелое время революционер жил мыслями о борьбе.

И как жадно, всем сердцем отдается Петр Заломов пропагандистской работе, когда приходит весна 1917 года. Открыто вступает он в сватку с монархистами, кадетами, эсерами. Петр Заломов — не только оратор на митингах и собраниях, он принимает непосредственное участие в первых практических шагах по организации Советской власти в уезде. А потом, спустя годы, на бумагу лягут стихотворные строки:

Эй, пахарь, защищайся!

Не прозевай земли!

В Советы собирайся,

Винтовку береги!²²

Насколько авторитетным человеком становится Петр Андреевич в Судже, говорит уже тот факт, что его в числе трех делегатов от Курской губернии избирают на II Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Революционер собирается в Петроград.

На крестьянском съезде в Петрограде Петр Заломов впервые увидел В. И. Ленина, услышал его выступление перед делегатами. Пятнадцать лет тому назад Ильич комментировал в «Искре» его, заломовское слово, произнесенное на суде. Теперь же посланец курских крестьян Заломов с огромным вниманием слушал речь Ленина, которая мало чем походила на тот давний комментарий к стачкам и забастовкам. Это была программа борьбы за социализм, это был смелый взгляд в будущее России. «Я твердо уверен,— сказал тогда Ильич,— что Советы никогда не погибнут...»²³

Да, именно этой революции посвятил Петр Заломов ровно двадцать пять лет борьбы, невыносимо тяжелого труда. И как прямой ответ на это звучат его стихи:

Все последние силы отдать,
Возвратясь, надо ей.
Пусть придется
За то умирать
От руки палачей!²⁴

После возвращения из Петрограда Петр Заломов разрабатывает письменный проект организации Суджанского уездного Совета народных комиссаров и вносит на рассмотрение местного ревкома²⁵. Проект Заломова в основных чертах повторял структуру центральной власти — Совнаркома, во главе которого стоял Ленин. Проект «уездного совнаркома» был принят, а его автор избран уездным комиссаром труда. Он выступает на митингах с отчетом о крестьянском съезде, подробно излагает ленинскую позицию на нем.

Гражданская война прервала мирное развитие революции. Сначала немцы, потом гайдамаки, деникинцы не оставляют в покое старого революционера. Петра Андреевича арестовывают, приговаривают к смертной казни. И лишь стремительный натиск Красной Армии спасает его от белогвардейских палачей.

Целиком автобиографично заломовское стихотворение «Ночь перед расстрелом», которое складывалось в деникинской тюрьме как прощальное слово жене перед казнью:

Крепки тюремные мрачные стены,
Злоба сильна беспощадных врагов.
Ждет меня гибель от низкой измены,
Смерть лишь избавит меня от оков.

С детства я бился с врагом неустанно.
Я не жалею, что много страдал.
Пусть я погибну в застенке бесславно,
Жить будет братства святой идеал!²⁶

В основе своей документальна и неопубликованная, сохранившаяся до наших дней поэма



Анна Кирилловна Заломова — прототип Пелагеи Ниловы в романе А. М. Горького «Мать».

Петра Заломова «Никита Сагайдаков». И хотя ее главным героем является суджанский уездный комиссар финансов Сагайдаков, бывший народный учитель и крестьянский сын, вторым героем поэмы, бесспорно, можно считать самого автора, Петра Заломова, уездного комиссара труда. Два комиссара ждут казни в деникинской тюрьме.

Вот как со слов Заломова описывает эти события его младшая сестра Варвара Андреевна:

«Кроме брата, в подвальном помещении было еще трое арестованных. Среди них — Никита Сагайдаков, местный учитель, тихий, скромный человек.

Сначала увели из подвала одного товарища, потом другого. Петр остался с Сагайдаковым вдвоем. Они тихо беседовали. Была ночь. Охранники запели: «Як помру, то поховайтэ мене на могили...»

Грустный и трогательный напев украинской песни навел на раздумье.

— Отходную нам поют! — сказал Сагайдаков и тихо добавил: — Как не хочется умирать!

Чтобы подбодрить товарища, брат стал рассказывать ему, как умирал его любимый народный герой Разин Степан.

На рассвете увели Сагайдакова. Брат крепко обнял его и остался ждать своей очереди.

Позже, когда городок заняла Красная Армия, он узнал подробности казни Никиты Сагайдакова. Этот тихий, скромный человек умер смертью героя. Его поставили на краю могилы, где лежали тела убитых ранее товарищей, и потребовали выдачи коммунистов. Он молчал. Его начали истязать, пока не превратили все тело в кровавую массу...

Когда население откопало казненных товарищей, Никиту Сагайдакова узнали только по ключьям вышитой рубашки. Хоронили расстрелянных с музыкой и знаменами»²⁷.

Оба близких по теме произведения — стихотворение «Ночь перед расстрелом» и поэма «Никита Сагайдаков» — написаны по горячим следам событий. Первое в сентябре 1919 года в тюрьме, а второе — в апреле 1923 года.

Последние стихи этого цикла углубляют тему революционной революции в литературном наследии Петра Заломова, в них осмысливается ее историческое значение. Из стихотворных строк мы узнаем о конкретных действующих лицах эпохи, которые нигде больше, даже в обширных мемуарах сормовича, не нашли своего отражения.

В этом также заключено немаловажное значение поэтических опытов Петра Заломова как ценнейшего источника для изучения биографии сормовского знаменосца, его политических взглядов в переломный период истории Родины.

На этом завершается в заломовских стихах тема революции и гражданской войны, но остается тема классовой борьбы. Только теперь она приобретает ярко выраженную интернациональную окраску, особенно в стихах о коммунарах и русских продолжателях их дела, которые, по мысли автора, отважными отрядами борцов вливаются в «мировую рать» Коммуны:

Спят давно под землю Парижа
бойцы —
Наши братья по духу, Коммуны отцы,
Но их мертвый язык и теперь говорит,
Их душа все живет и огнем в нас горит!
Чтить их память мы будем с любовью
всегда.
Не изменим мы ей никогда, никогда.
Как они, кровь до капли свою отдадим.
Иль умрем, иль Коммуны врагов
победим.
Наших братьев погибших исполним
завет.
Будет править Землею рабочий Совет!²⁸

Вот как комментирует эти строки старшая дочь революционера Галина Петровна Заломова:

«Стихи о парижских коммунарах были отпечатаны отцом на пишущей машинке более полувека тому назад — 18 марта 1924 года. Об

этом говорит пометка, сохранившаяся в конце пожелтевшей страницы. Но, видимо, строки эти складывались в памяти не в тот день, который был, как и теперь, Днем Парижской коммуны, а значительно раньше, еще в годы революционной борьбы с русским самодержавием. Отец очень любил коммунаров. Они были героями его молодости, вернее, всей его жизни...»

Пожалуй, символично совпадение: Петр Заломов умер в День Парижской коммуны — 18 марта 1955 года.

Подобно тому как участник Парижской коммуны поэт-революционер Эжен Потье звал в песнях создавать рабочую республику, Петр Заломов утверждал в своих стихах, что непременно наступит то время, когда «будет править Землею рабочий Совет», а над миром будет реять «знамя труда».

Не исключено, что Петр Заломов познакомился с творчеством Эжена Потье не только в переводах на русский, тогда еще крайне редких в России, но и с помощью изданий на французском языке. С ними его могла познакомиться Жозефина Гашер. Кстати, в письмах из Сибири к сестре Варваре Петр сообщал, что он не только увлекается стихами, но и изучает иностранные языки.

Так или иначе, но бессмертные образы парижских коммунаров вдохновляли русского рабочего в жестокой битве с самодержавием. Петр Заломов настолько сжился с этими образами, что ставит их рядом с близкими ему товарищами по труду и борьбе. В одном из стихотворений Заломов сравнивает своего друга по нижегородскому подполью Александра Замошника со старым коммунаром, для которого, как и в пору молодости, революционный долг превыше всего:

Все та же мысль мой ум тревожит:
«Когда придет Коммуны день?»
Никто, ничто нам не поможет
Подняться к ней ни на ступень.
Все-все должны мы сами справиться.
Мы рук не смеем опускать.
Нет-нет, не можем мы оставить
Коммуны мировую рать!
Наш долг крестьян, рабочих сблизить,
По всей Земле дать бой врагам.
Чтоб хоть на миг тот день приблизить,
Я кровь и жизнь свою отдам!²⁹

Словам этим веришь как клятве. Веришь потому, что в неистребимости этого порыва весь характер самого автора, словно скованного из цельного куска железа, не сгибаемого ни перед какими трудностями и потерями. Впереди есть высокая цель — «и снова рвется в бой душа!».

В 1925 году Петр Заломов не упускает случая, чтобы еще раз поделиться с друзьями радостью победы и выразить духовное родство с героями своей молодости — коммунарами.

«Парижские коммунары, — пишет он, — продолжали всего два месяца. На сколько же мы счастливее их, если (...) дожили не только

Секретно.

НАЧАЛЬНИКЪ
ЕНИСЕЙСКАГО
Губернскаго Жандармскаго
УПРАВЛЕНІЯ.

9 апреля 1905 г.

№ 1284

г. Красноярск, 9 апр. 1905 г.

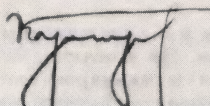
Помощнику моему въ Минусинскомъ и Ачин-
скомъ уѣздахъ.

Созданный за государственное преступленіе
осмѣнно-поселедонецъ Петръ Андреевъ З а л о м о в ъ,
бывшій на водвореніи въ дер. Маклаковой, Енисей-
скаго уѣзда, въ мѣсяцѣ Мартѣ неизвестно куда
окрился. -

П р и м ѣ т н о г о: 26 л., ростъ 2 ар. 8 в. вер.,
глаза каріе, лицо чистое, носъ обыкновенный, волоомъ
на головѣ, бородѣ и усахъ темно-русые; особіихъ пра-
кѣтъ не имѣетъ.

Сообщая объ этомъ, предпринимая принять
мѣры къ розыску Заломова и, въ случаѣ обнаруженія,
задержать и сдать мѣстной полиціи и имѣ довести. -

П о л к о в и к ъ



Жандармскій документъ о розыскѣ П. А. Заломова.
1905 г.

до диктатуры пролетариата, что являлось страстной мечтой нашей юности, но дожили и до социалистическаго строительства»³⁰. В другом письмѣ, говоря о социализмѣ, Петр Заломовъ добавляетъ: «По моему мнѣнію, мы строим его не в одной странѣ, а в мировомъ масштабѣ. Каждый наш шагъ, каждое наше достиженіе становится достояніемъ трудящихся всего мира. В своей странѣ мы строим социализмъ экономически, а в другихъ странахъ — психологически, и это не менее реально. Недаромъ же нашу революцію защищаютъ рабочіе всего мира»³¹.

Спустя двадцать лѣтъ, в 1940 году, Петр Зало-

мов такъ писалъ товарищу по нижегородскому подполью Григорию Козину:

«Если бы мнѣ дали возможность заснуть на сто лѣтъ и проснуться при полной побѣдѣ коммунизма во всемъ мирѣ, то я бы отъ этого отказался, потому что борьба за коммунизмъ для насъ, старыхъ подпольщиковъ, ценнее, чемъ коммунизмъ, упавшій съ неба, безъ всякихъ нашихъ усилій»³².

* * *

Многіе страницы автобиографической повести Заломова «Петька изъ вдовьяго дома»

посвящены матери Анне Кирилловне. Но это была еще не та Пелагея Ниловна, которую мы встречаем на страницах горьковской «Матери», а многодетная вдова, зажатая тисками безысходного горя и нищеты. Но и в ней, в этом неспешно развивающемся, поначалу традиционном для своей среды характере, мы видим первые, хотя еще и робкие шаги к той Матери с большой буквы, которой будет восхищаться весь мир.

В 1935 году нижегородская революционерка Софья Павловна Невзорова в своем письме к Заломову делилась мыслями:

«Между прочим, я задаю себе вопрос, как могла вырасти из Вашей матери — скромной и запуганной женщины — крепкая и стойкая революционерка? Конечно, тут сказалось Ваше влияние, это — так. Но кроме этого, несомненно, в глубине природы этой женщины было заложено истинное понятие правды и справедливости, которое передалось и всем ее детям. В общем получилась удивительная семья»³³.

Этот процесс был не только длительным и сложным. Он, как верно подметила Невзорова, был взаимообразным. В одном из посланий к Софье Павловне Заломов писал: «Мать меня родила, но я сделал больше. Я создал ее как мать семьи революционеров, а это не всем детям своих матерей удастся (...) Она была самым трудным материалом, который когда-либо попадал в мои руки»³⁴. Немного позднее, уже в своих воспоминаниях, Заломов рассказывал об Анне Кирилловне:

«Мать стала на нашу сторону только после длительной, упорной и непрерывной борьбы со мной и особенно с самой собой. Я говорил ей, что за счастье трудового человечества бились и бьются только самые лучшие люди, которые ради этой борьбы не жалеют своей жизни, и что я хочу быть в числе этих людей и смерть и муки мне не страшны. Мать, наконец, поняла меня, и у нее самой явилось желание помогать нам в борьбе, что она и делала впоследствии по мере своих сил...»³⁵

В стихах Петра Заломова мы тоже находим строки, посвященные матери. Но в отличие от автобиографической повести и мемуаров они рассказывают не о конкретных событиях из жизни Анны Кирилловны, а обобщают образ женщины-матери до сравнения с «чистым пламенным лучом нашей жизни», говорят о ее высоком предназначении «творить Человека»:

Берегите ее как прекрасный цветок.
Не мешайте творить Человека!
В ней прогресс, в ней Коммуны росток
Наших дней и грядущего века!³⁶

Эта мысль как бы предваряет собой все то, что говорил о своей матери Петр Заломов, потому что стихи были написаны в 1923 году — раньше, чем его повесть и воспоминания. Она перекликается с той мыслью, которую Горький вложил в образ Ниловны, подчеркивая ее самоотверженность и преданность делу революции, делу Коммуны. По мысли писателя, Ниловна

представляла себе весь мировой процесс, как шествие детей «к правде, к новому солнцу, к новой жизни...»³⁷. Заломов, независимо от горьковского восприятия образа женщины-матери, также придает этому образу глубокий духовный и социальный смысл, видит в его непрестанном развитии важную составляющую часть общественного прогресса. Быть не просто матерью людей, а Матерью Человека!

Завершим рассказ о Петре Заломове и его стихах отрывком из послания революционера Надежде Константиновне Крупской, отправленном 25 января 1924 года — в дни, когда страна прощалась с Владимиром Ильичем Лениным, провожая его в последний путь.

«Мне так бы хотелось утешить Вас в Вашей утрате, — писал Петр Андреевич, — но это невозможно. С полным правом я могу сказать, что мы потеряли не меньше, и даже больше! Мы — рабочие (...) На протяжении десятков лет Ильич неуклонно шел к намеченной цели и был выразителем всех наших дум и стремлений...

Много будет картин написано, много памятников сооружено, и я боюсь, что Ильича будут изображать одно. Если писать картину, то надо изобразить бушующий океан из живых людей, живые волны, а на гребне самой высокой волны должна выделяться громадная фигура товарища вождя. Фигура Ильича должна быть частью, продолжением живой волны солдат, рабочих, крестьян (...) — должна как бы вырастать из них. Мощная волна неудержимо несетя вперед со всеокрушающей силой (...) а Ильич спокойно и зорко смотрит вперед, в еще невидимую для других даль... Ни в каком случае, нигде и никогда не следует изображать пролетарского вождя оторванным от рабочих и крестьян. Наша сила заключается именно в том, что наш вождь есть одно целое с нами...

Может быть, я не сумел достаточно ясно выразить свою мысль, но Вы сумеете меня понять...»³⁸

Многие рабочие поэты откликнулись тогда стихами на смерть Владимира Ильича. Некоторые стихи стали широко известны, как, например, полетаевские: «Портретов Ленина не видно...» А многие стихи, написанные болью сердца, остаются до сих пор практически неизвестными. К ним можно отнести и заломовские:

Влачили жизнь мы долгими годами
Покорными и жалкими рабами.
Ильич поднес нам ковш воды живой —
Мы ожили и ринулись на бой.
Он умер, но у нас не льются слезы.
Кровавые давно их вытеснили грезы.
Пускай печальный марш играют трубы;
Сомкнем ряды, сильнее стиснем зубы.
Его нам скульптор так изобразит:
Ильич серп с молотом в руке соединит.
Он наверху в одно слился с волной
Рабочих и крестьян, идущих в бой.
Кто говорит: он умер? Вместе с нами
Он вечно будет жить, расти с годами!³⁹

Стихи Петра Заломова, как и все, что им написано, не плод минутных раздумий. Это скорее вывод всей его жизни с богатым революционным опытом и неподдельным пролетарским чутьем. Это своего рода завещание соромовского знаменосца и коммунара грядущим поколениям.

Главное в этом завещании, думается, лучше

всех выразила мать революционера, Анна Кирилловна, оставив нам пришедшие из глубины сердца слова: «Берегите Советскую власть! Крепко стойте за рабочее дело... То красное знамя, которое нес мой сын Петр Заломов, с древка не сорвано — оно гордо реет над нашей страной!»⁴⁰

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Никитин А. Г. Уральская явка. Поиски. Находки. Встречи. Пермь, 1976.

² Заломов П. А. Петька из вдовьего дома. Автобиографическая повесть. Литературная обработка, вступительная статья и комментарии А. Никитина. Горький, 1977.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 63.

⁴ Там же, с. 65.

⁵ «Искра», 1902, № 29, 1 декабря.

⁶ Здесь и далее семейный архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Привезенные Анной Кирилловной, матерью Петра Заломова,

красные знамена накануне демонстрации были спрятаны в окрестностях Сормова.

¹⁴ Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

¹⁵ Семья Заломовых. Сборник воспоминаний и документов. М., «Молодая гвардия», 1956, с. 176—177. Далее сноски на это издание.

¹⁶ Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

¹⁷ Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 30. М., 1956, с. 298.

¹⁸ «Волжский альманах». Горький, 1956, № 10, с. 185.

¹⁹ Там же.

²⁰ Красноярский государственный краевой архив, ф. 827, оп. I, д. 1084, л. 5 (об.).

²¹ Ныне поселок Репино под Ленинградом.

²² Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

²³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 139.

²⁴ Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

²⁵ Семья Заломовых, с. 194.

²⁶ Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

²⁷ Семья Заломовых, с. 141—142.

²⁸ Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Там же.

³² Семья Заломовых, с. 189.

³³ Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, ф. 369—272—30, л. 14.

³⁴ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 140, оп. 3, д. 14, л. 242 (об.).

³⁵ Семья Заломовых, с. 27.

³⁶ Архив Г. П. и Е. П. Заломовых.

³⁷ Архив А. М. Горького. Т. V. М., 1955, с. 182.

³⁸ Письмо П. А. Заломова Н. К. Крупской. Публикация А. Г. Никитина, — «Коммунист», 1979, № 6, с. 38—40.

³⁹ Там же, с. 41.

⁴⁰ Семья Заломовых, с. 143.



«Комбат». Фото военного корреспондента М. А. Альперта. 1942 г.

В. Ляшенко

Политрук Отечественной

В правой руке зажат пистолет. Рука вскинута вверх призывом к атаке. Мужественное лицо — скуластое, решительное. Гимнастерка, пилотка, противогаз... Бинобль на груди. Он бросается вперед под пули, увлекая за собой бойцов...

Знаменитый «Комбат» М. Альперта. Эту фотографию знает каждый. Она обошла страницы десятков газет и журналов в СССР и за рубежом. Она — символ войны, символ негибаемого мужества, символ нашей победы. Она навечно в строю.

Командир поднимает солдат в атаку. Вот сейчас, подчиняясь его примеру, его приказу, вскочат десятки, сотни солдат. Гортанное «ура» перекроет грохот боя. Победа или смерть! Об этом говорит весь облик командира, ведущего своих солдат на смертный бой.

Так мы «прочитываем» сегодня эту фотографию. Сколько их было, таких комбатов? Сколько их пало смертью героя, сколько дошло до Берлина? Безымянный комбат стал символом, полпредом наших славных командиров, коммунистов, чьей беспрекословной волей и ненавистью к врагу ковалась победа...

Но сказано ведь: нет безымянных героев. И у нашего комбата, конечно же, есть имя, место рождения, мать, отец... Однако получилось так, что десятки лет ходила фотография по свету, стала уже канонической, плакатной, а мы так и не знали, каким он все-таки парнем был, этот комбат, какие пел песни, кого любил, что ненавидел.

Много раз пытались установить личность.

«Комбата». Так много раз, что и надежд-то, казалось бы, не осталось. И первым, разумеется, пытался это сделать автор фотографии, фронтовой корреспондент Михаил Арнольдович Альперт. После войны на международном фотоконкурсе «Комбат» взял самый главный приз. С этого, собственно, и началось его триумфальное шествие по страницам газет, журналов, фотобуклетов. «Комбат» обрел бессмертие.

Но напрасно Альперт рылся в старых фронтовых блокнотах и ворошил свою огромную коллекцию негативов. Ни одной записи о «Комбате» не отыскалось на пожелтелых страницах. Нашелся только негатив. Один-единственный негатив, в одном-единственном экземпляре. По всему получается, что вдохновенный образ человека, который и сейчас, спустя много-много лет, а может быть, как раз именно поэтому, по особенному волнует и вызывает сопереживание, нам подарила счастливая случайность.

Да, «Комбата» искали долго и кропотливо. Всякий раз поиск начинался с запроса к Альперту. И мы, в свою очередь, первому предоставляем слово ему — автору этого потрясающей силы фотодокумента. Где, как, когда был сделан снимок? Что он вообще может сказать об этом командире?

Итак, свидетельствует фронтовой фотокорреспондент.

«Трудно вспомнить точно, ведь столько лет прошло. Но если мне не изменяет память, этот снимок я сделал где-то в середине лета 1942 года. Где сделал — точно помню: под Ворошиловградом. Остальное словно в тумане... Перед глазами поле и окопчик, открытый чуть впереди линии обороны, который я облюбовал для съемки. Фашисты готовились к атаке. Помню, сначала налетели их самолеты. Потом ударила артиллерия, и вражеская пехота пошла в атаку. Разорелся жестокий бой. Я увидел, что недалеко от меня поднялся в рост офицер. Успел нажать спуск камеры. Затем осколком разбило объектив фотоаппарата. Думал, пленка пропа-ла...

Кто был этот офицер? Когда я возился с разбитым фотоаппаратом, по цепи пронеслось: «Комбата убили». Я был уверен, что это тот самый офицер. Ведь он первым поднялся, первым бросился под вражеские пули... Поэтому я и назвал мою фотографию «Комбат».

Что ж, за исходную точку поиска можно было взять вот это: лето 1942 года, под Ворошиловградом... «Комбат» — название условное, офицер мог быть командиром роты, взвода... Знаков различий на фотографии не видно...

Конечно, очень мало данных. Можно сказать, почти ничего. Шли годы, десятилетия, и с завидным постоянством, которое, разумеется, вполне объяснимо, повторялось одно и то же: кто-то узнавал в «Комбате» то не вернувшегося с войны сына, то пропавшего без вести отца, брата, шурина, свояка... Каждая новая публикация «Комбата» приносила десятки подобных писем. Корреспонденты и сам Альперт снова начинали поиск, но всякий раз с какой-то роковой непреклонностью, с тупиковой неукосни-

тельностью выяснялось — ошибка. Память войны, боль потерь, живая, не затухающая в людях боль принимала желаемое за действительное.

С течением времени и Михаилу Арнольдовичу Альперту, и другим уже стало казаться, что у безвестного комбата вообще не осталось в нашей жизни «корней». Неужели погибли все его боевые товарищи? Неужели не остались в живых ни мать его, ни жена, ни дети? А впрочем, может быть, у него и не было ни жены, ни детей?

Но ведь хоть что-то должно остаться. Не может быть, чтобы после человека не осталось ничего. Теплилась даже мысль, маленькая, но теплилась — комбат жив, просто так сложилось, что не попала ему на глаза фотография, но вот-вот он узнает самого себя...

И тем не менее разгадка тайны «Комбата» лежала в одном из многочисленных писем-узнаваний, приходивших, как обычно, в мае.

«В годовщину Победы над фашистской Германией вся наша семья собралась за столом. Так уж повелось — в эту годовщину мы обязательно собираемся, чтобы вспомнить, чтобы почтить память... Вдруг — звонок. Почтальон принесла газеты. Моя мать Евдокия Лукьяновна по привычке начала перекладывать газеты, ища письма. И вдруг как закричит: «Ваня! Отец! Наш отец!» У меня сжалось сердце, перехватило дыхание. Смотрю на снимок в газете и не верю: батя, батя нашелся!»

Это написал в редакцию «Комсомольской правды» Иван Алексеевич Еременко. В то время он был председателем Днепродзержинского райисполкома города Запорожье. Мать его жила тогда в селе Терсянка Вольнянского района этой же области. Иван Алексеевич был совершенно уверен, что не обознался, что на снимке его отец. Пришло от него и другое письмо:

«Извините нас, дорогие товарищи, но мы не знаем, как разыскать фронтового фотокорреспондента М. Альперта. Дело в том, что в его «Комбате» мы узнали своего отца и мужа А. Г. Еременко. Помогите, пожалуйста...»

Мы, конечно, немедленно передали письмо Альперту. Однако и в этот раз было одно обстоятельство, позволявшее достаточно категорически утверждать, что произошла очередная ошибка. Обстоятельство это заключалось в извещении, которое Евдокия Лукьяновна Еременко получила с фронта в 1942 году. Вот его текст: *«Закарпатская область, Вольнянский район, село Терсянка, Евдокии Лукьяновне Еременко. Сообщаем, что ваш муж младший политрук Алексей Гордеевич Еременко, 1906 года рождения, 14 января 1942 года пропал без вести...»*

«Пропал без вести» политрук Еременко 14 января 1942 года. А снимок сделан «где-то в середине лета 1942 года». На снимке комбат в летнем обмундировании. Это ясно видно. Может быть, фотокорреспондент ошибся? Может, он снял «Комбата» летом 1941 года? Нет, Михаил Арнольдович продолжал настаивать: снимок сделан летом 1942 года. В 1941 году он на фронте не был.



А. Г. Еременко в разные годы жизни.



Но, кроме этого смущающего факта, Иван Алексеевич Еременко показал также довоенные фотографии отца. Очень, очень похож Алексей Гордеевич Еременко на «Комбата». До того похож, что не только Иван Алексеевич, не только Евдокия Лукьяновна, но и все жители Терсянки, помнящие его, без всякого сомнения, сразу и бесповоротно решили: да он это, кто же еще? И покати́лась молва по окрестным селам — Алешка Еременко нашелся.

В редакции «Комсомольской правды» долго и тщательно рассматривали фотографии, привезенные Иваном Алексеевичем. Действительно, поразительное, можно сказать, полное сходство. Вот это и позволило со значительной долей уверенности принять за отправную точку поиска письмо сына Еременко. А извещение — что ж, время было военное, не исключены самые невероятные случаи, когда люди собственными глазами читали на монументах свое имя. А тут куда проще. Почему, собственно, Еременко не мог пропасть без вести в январе и тем не менее оказаться на фотографии летом 1942 года? Ведь не погиб же он, а только «пропал без вести».

И двинулись по следам Еременко следопыты. Завязалась интенсивная переписка между сыном Еременко и Альпертом. Из собранного весьма обширного досье неукоснительно следовало: да, такой человек, как Алексей Гордеевич Еременко, если «Комбат» и он одно и то же лицо, мог повести, способен был повести своих солдат на последний, смертный бой. А в том, что это одно и то же лицо, идущие по следам Еременко не сомневались. Уже очень разительно сходство на фотографии.

Но абсолютную истину могла установить только экспертиза. Тщательная, квалифицированная, научная, непредвзятая. Слишком о серьезном шла речь, чтобы полагаться на инту-

ицию, догадку, просто схожесть фотографий. Ведь святое и неукоснительное «никто не забыт, ничто не забыто» предполагает высшую меру добросовестности исследователя и, разумеется, предпочтение строгого научного факта эмоции, желаемому. С войной не шутят, она и сегодня в нашем сознании такая же суровая, грозная, какой была в тех огненных сороковых. Она и сегодня призывает нас мерить себя высшими мерками совести.

Двенадцать фотографий довоенного Еременко удалось собрать с помощью его сына. Решили обратиться в высшую экспертную инстанцию — во Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции СССР.

Экспертиза была долгой и трудной. Фотографии Еременко, собранные из семейных альбомов, оказались плохого качества. Долго не удавалось определить масштаб, с помощью которого можно было бы установить идентичность по форме уха, носа и т. д. На одной довоенной фотографии Еременко отчетливо виден какой-то значок. Вот он, масштаб, стоит только найти такой же значок и дать его экспертам. Лучшие коллекционеры значков развели руками: такого значка в наших коллекциях нет.

Словом, экспертиза растянулась на месяцы. А тем временем продолжало полниться досье на Еременко «довоенного». «Довоенного», потому что дальнейшая его жизнь обрывается, по сути, 41-м годом, уходом на фронт. Всего два письма прислал Еременко с фронта. Они намекли, на них ничего нельзя разобрать. Пока удалось расшифровать лишь несколько строк из второго письма. Вот они:

«Дорогая Евдокия! Воспита́й детей достойными Родины. Сейчас идти в бой... Спешу, Алексей».

Зато о «довоенной» жизни политрука Еременко удалось узнать достаточно. И самый красноречивый документ — выписка из регистрационного бланка к его партийному билету № 07192771 образца 1939 года, найденная в местном партархиве:

«Год рождения — 18 марта 1906 года.

Время вступления в ВКП(б):

а) в кандидаты — ноябрь 1939.

б) в члены ВКП(б) — ноябрь 1940.

Род занятий с начала трудовой деятельности:

1920—1921. ст. Криничная Екатеринославской губернии — ремонтный рабочий.

1921—1928. Бочарово Софийского района Запорожской области — батрак у кулака.

1928—1931. Колхоз «Авангард», колхозник.

1931—1934. Там же, бригадир.

1934—1935. Там же, организатор.

1935—1941. Колхоз имени Красина, председатель».

Поучительная биография, не правда ли? От батрака до председателя колхоза... Это биография поколения, биография роста, мужания. Выписка из регистрационного бланка к его партбилету показывает, что колхозный активист Еременко прошел настоящую закалку. В его послужном списке борьба с кулачеством, свист пуль из обреза, трудные дни становления колхозов...

Вот каким он был, Еременко. Его еще мальчишкой возненавидело все окрестное кулачье. Ведь это он, Лешка Ерема, голя перекатная, сплотил таких же голодранцев Феодосия Дворецкого и Антона Среду в комсомольскую ячейку — первую в округе. И начали подбивать голодранцы мужиков на колхоз, и такую развили агитацию, что колхоз и в самом деле состоялся. Не совсем колхоз, пока только артелишка, в которой тягла-то — три пары быков. И жена Лешки Евдокия, такая же голодранка, начала баб мутить. Ясли организовала. Особенно эти ясли костью поперек горла мужикам, что в зажитке, стали. Улучили момент, когда Лешка Ерема со своими артельщиками на сенокос поехал, ворвались в ту жалкую избенку, что яслями была, погромили-пожгли, и кто знает, что стало бы с Евдокией и детишками, не подоспел вовремя артелищики. Удирая, однако, один успел в злобе полоснуть ножом. До конца жизни носила Евдокия Лукьяновна тот шрам-памятку, кулацкую метину.

В партию Алексей Еременко вступил в тридцатом, не убоившись лютой злобы, что сопровождала это его решение. Крепкий, жилистый, он был неистов в работе, отдавая ей всего себя без остатка. Ветераны колхоза имени Красина (теперь колхоз Первое мая) Игнатченко, Андриянов, Тупик рассказывают, что никто не мог обойти их председателя на покосе, или когда стога мечут, или когда подходило время снопы вязать. А с каким жаром, с каким неистовством «пробивал» Еременко-председатель для колхоза электросвет! И как радовался, как цвела на его скуластом лице улыбка, когда вспыхнули-таки



«лампочки Ильича»... И каким страшным гневом исказилось его лицо, как прокатывались по скулам крепкие желваки, когда догорал в ночи подожженный кулаками амбар...

А еще помнят его в праздничной поездке в Москву, на сельхозвыставку во главе колхозной делегации. Трижды колхоз имени Красина был участником выставки, и во всей округе считался колхозом-примером, как примером для многих был и его молодой председатель.

В 1941 году, в страшном первом военном году, ему исполнилось 35 лет. Как председатель колхоза, Еременко имел броню. Но разве существует броня для людей такого типа? Красноречивее любых слов вот эти несколько торопливых строк, писанных Еременко и найденных недавно в архиве военкомата:

«Вольнянский райвоенкомат. От председателя колхоза Еременко А. Г.

Прошу направить меня на фронт. Считаю себя вполне здоровым, чтобы бить фашистскую гадину...»

Мы уже знаем, что такие люди, как Еременко, всегда добивались своего. Они уходили на фронт независимо от брони или от состояния здоровья. Они были станovým хребтом того поколения, которое вынесло на своих плечах войну.

Ознакомившись с этой жизнью и предположив, даже только предположив, что комбат и Алексей Гордеевич Еременко одно и то же лицо, мы должны неукоснительно сделать вывод: момент, запечатленный на фотографии, вполне соответствует тем высоким меркам, которыми мерил свои поступки этот неогнимомерный, волевой, страстный человек. К тому же уже отмеченная нами похожесть... Еременко, как и «Комбат», скуласт, несколько аскетичен в линиях лица, глаза глубоко запали в глазницах, голова уверенно сидит на крепкой шее, и тот и другой крепко сбиты, коренасты, пружинисты...

Словом, немудрено, что в идентичность Еременко и «Комбата» поверили сразу так много людей. Экспертиза еще шла, трудная и кропотливая, а о «Комбате» Еременко уже пели песню, и уже красные следопыты местной школы и сын Алексея Гордеевича донельзя сузили круг поисков, долженствующих привести нас к Еременко-военному.

А мы, повторяю, ждали результатов экспертизы. И вот он, долгожданный ответ из института судебных экспертиз. Научное сличение фотографий проводили эксперты-специалисты Н. С. Полевой и Г. В. Соколов. Их трудная работа вылилась в лаконичные и очень объективные строки строгого научного заключения:

«Для решения поставленного вопроса поступившие во ВНИИСЭ фотоснимки были подвергнуты сравнительному исследованию с использованием методик, применяемых при проведении судебно-портретной экспертизы <...> В результате проведенного исследования эксперты пришли к заключению, что наличие совпадающих признаков, характеризующих строение лица в целом и особенности строения левой ушной раковины, дают основание сделать вывод о том, что на фотоснимке, именуемом «Комбат» <...> изображен Еременко Алексей Гордеевич».

Только после этого заключения мы смогли с полным правом сказать, что «Комбат» наконец-то обрел имя, отчество, фамилию.

Итак, «Комбат» обрел имя, сын нашел отца, жена — мужа. Младший политрук Алексей Гордеевич Еременко — вот кто такой «Комбат». Политработник, комиссар. И тогда возникла простая мысль: как же раньше не догадались, что на снимке не строевой командир, а комиссар? В условиях тяжелого боя строевой командир вряд ли бы имел при себе один лишь пистолет... На фотографии ясно видно: позади него солдаты с тяжелым станковым пулеметом. А тут не автомат, даже не винтовка — пистолет. Да и полное походное снаряжение (полевая сумка, противогаз, бинокль), тяжелое само по себе снаряжение говорит о том, что человек, в таких условиях соблюдающий весь «походный этикет», считал себя не вправе быть снаряженным иначе перед своими бойцами, что этот человек по-особенному должен был быть примером им, что он наверняка политработник.

Справедливости ради надо сказать, что было и другое мнение. Именно «образцово-показательное» снаряжение «Комбата» породило кое у кого сомнение в подлинности снимка. О нет, снимок, конечно, подлинный, на нем действительно Еременко Алексей Гордеевич, такие авторитетные эксперты не могли ошибиться, но как бы это сказать... Может, снимок сделан где-то в тылу, на ученьях... Уж больно по всем правилам «Комбат» экипирован, ну как будто нарочно нарядился для съемки. Да, затем в жизни Еременко, наверное, были и фронт, и бои, и «пропал без вести», и вообще это, вполне возможно, достойный человек, командир, комиссар, но снимок сделан не во время боя... Снимок очень хорош, все это не умаляет его патристического звучания, но все-таки...

Что на это сказать? Много-много лет «образцово-показательную экипировку» комбата эти же люди просто не замечали. Она совершенно не бросается в глаза. А завораживает «Комбат» как раз противоположным — пронзительной достоверностью в позе, жесте, в порыве, именно достоверностью, документальностью, подлинностью...

Михаила Арнольдовича Альперта, который помогал поиску до последних дней своей жизни, эти разговоры вокруг «Комбата» очень огорчали. Не один раз он доверительно говорил:

— Вот мы ищем, ищем, мучаемся... Ну неужели я не сказал бы, что снимок сделан на ученьях?

И думается при этом: ну а если бы даже на ученьях? Ведь не в этом дело, не в этом суть. На фотографии Еременко — это точно. Он воевал — это тоже точно. Такой человек, как Еременко, не мог воевать плохо. Запечатленный на фотографии, он по праву стал представителем, полпредом славных командиров, комиссаров Великой Отечественной войны. Такой не мог дрогнуть в бою, струсить, отступить... Он достойно представляет солдат Великой Отечественной.

И все-таки: какова же его судьба? Как случилось, что Еременко пропал без вести 14 января 1942 года и попал в объектив фронтowego корреспондента (если, разумеется, тому и в самом деле не изменила память), где-то в середине лета того же года под Ворошиловградом?

Конечно же, прежде всего посмотрим военкоматовские списки. С кем Еременко призывался в один день, в один час? Кто его однопольчане в те первые страшные дни войны?

Редкостная удача. Нашелся человек, который не только призывался в один день, в один час с «Комбатом», но который поведal о том, как произошла ошибка, как в село Терсянка пришло ошибочное извещение «пропал без вести».

Свидетельствует бывший секретарь Вольнянского райкома комсомола Константин Степанович Гаркавик:

«Я хорошо знал Алексея Гордеевича. Он работал в нашем районе председателем колхоза имени Красина. В конце июня 1941 года мы оба были направлены в Запорожье, в школу политсостава. Затем школу перевели в Павлоград. Здесь нас и застал прорыв фашистов в районе Днепродзержинска. Весь состав школы отбывал атаки. Но силы были слишком неравны. Мы попали в окружение.

Я был старшим в группе. Решил пробыть-ся. Меня решительно поддержал и Еременко. Ночь была темная, шел дождь. Мы шли глухим лесом. Когда позже я проверил людей, то оказалось, что с нами нет одного курсанта — Еременко Гордея Алексеевича. Когда вышли из окружения, я оформил на него донесение как на пропавшего без вести. Сходство фамилий и инициалов, видимо, ввело штабистов в заблуждение. Так произошла ошибка.

Вместе с Еременко мы были до февраля 1942 года. Нам присвоили звания младших

политруков и направили в 285-ю дивизию. Утром 27 февраля я был тяжело ранен и направлен в госпиталь. С тех пор с Еременко не встречался».

Таким образом, пропал без вести Гордей Алексеевич Еремченко, а Алексей Гордеевич Еременко вышел из окружения, был произведен в политруки и направлен в 285-ю дивизию. Через несколько месяцев под Ворошиловградом его снял фронтовой фотокорреспондент.

Оставалось найти ветеранов дивизии, в которой служил «Комбат», однополчан Еременко или обратиться к соответствующим документам в архивах. А это уже, как говорится, дело техники, искусством подобного поиска ныне неплохо владеют даже школьники, создающие уголки боевой славы, стенды героев...

Но так только казалось. Дивизия, в которую, по свидетельству К. С. Гаркавика, был направлен в звании младшего политрука Еременко, летом 1942 года вела тяжелые оборонительные бои, понесла очень большие потери. В доступных нам архивах документов о дивизии, относящихся к этому времени, не оказалось. Долго были безрезультатными и поиски людей, служивших в этой дивизии. То есть люди находились, но в основном прибывшие в часть на пополнение позже. Нет, о младшем политруке Еременко они ничего не слышали. Может, и был такой где-нибудь в соседнем полку...

Но вот вроде бы опять удача. Подполковник запаса Василий Севастьянович Вerezубчак письменно подтвердил, что летом 1942 года воевал в одном батальоне с младшим политруком Еременко, только в разных ротах. Тот ли это Еременко, что на знаменитой фотографии? Как будто бы тот. Дивизия долго стояла в обороне, прикрывая Ворошиловградское направление. Затем по приказу генерала Гречко передвинулась на новый рубеж, заняв оборону в районе села Хорошего. В боях за село Хорошее младший политрук Еременко погиб, чему он, Василий Севастьянович Вerezубчак, сам был свидетелем.

Он и день помнит, когда это было, — 12 июля. Первую атаку батальон отбил. Но во время второй дрогнул правый фланг. Политрук Еременко бросился на правый фланг, остановил бойцов и принял решение контратаковать, чтобы восстановить положение. Во время контратаки, то есть уже в траншеях во время завязавшейся жестокой рукопашной, политрук Еременко погиб.

— Тот ли это Еременко? — переспрашивали Вerezубчака.

— Вроде бы тот, — отвечал старый солдат, вновь и вновь разглядывая фотографии.

Итак, если он не ошибается, «Комбат» погиб. Как будто бы все совпадает: Ворошиловградское направление, о котором говорил и М. Альперт, «где-то в середине лета»... Выходит, между снимком, запечатлевшим «Комбата», и днем его смерти всего несколько дней, а может быть, и несколько часов?

Ну а если память подвела старого солдата? Ведь он давал письменное свидетельство, уже

зная, что идет поиск политрука Еременко, который запечатлен на всемирно известной фотографии, сделанной «где-то в середине лета 1942 года на Ворошиловградском направлении», а у них в батальоне как раз был политрук Еременко, который погиб примерно тогда же и тоже на Ворошиловградском направлении, и даже они «вроде бы похожи...».

Однако других прямых свидетельств не было. Вот почему, основываясь на письменном заявлении подполковника запаса Вerezубчака и на косвенных свидетельствах (совпадение места и даты), Вольнянский районный военкомат направил в село Терсянка Евдокии Лукьяновне Еременко официальное извещение:

«Извещаю Вас с прискорбием о том, что Ваш муж, младший политрук Еременко Алексей Гордеевич, в бою за нашу Советскую Родину, верный военной присяге, проявив героизм и мужество, погиб на фронте 12 июля 1942 года».

И, разумеется, неугомонные следопыты Терсянской школы повезли Василию Севастьяновичу Вerezубчаку на место боев, и он узнал то поле, еще хранившее следы окопов и блиндажей. Поле вблизи села Хорошего. Мальчишки раскопали один из окопов, нашли отстрелянные гильзы, ржавую каску, солдатский медальон... Нашли безымянную солдатскую могилу, над которой насыпали свежий холмик и убрали его цветами. И, как это часто бывает, по окрестным селам разнеслась весть, что нашли именно могилу комиссара, «ну, того, который на фотографии...». И уже то поле под селом Хорошим стало называться Комиссаровым полем, и каждый год 9 мая идут сюда люди, чтобы почтить память политрука Еременко. Колосится на поле пшеница — лучшие трактористы совхоза пахут его, лучшие комбайнеры убирают. Ворошиловградский скульптор Иван Чумак изваял памятник комиссару Еременко. Обелиск в его честь сооружен и в селе Терсянка Запорожской области, на родине комиссара.

Вот она, благодарная человеческая память... Память, действующая по особенным законам избирательности. Попробуйте сказать любому жителю Терсянки или села Хорошего, что, дескать, может статься и так, что на том поле погиб другой Еременко (Вerezубчак не помнит его имени и отчества), то есть другой комиссар Еременко. Ведь все-таки одно-единственное свидетельство, а Еременко — фамилия весьма распространенная.

Нет, лучше не говорите. Не разрушайте легенду. Хотя остаются трудные вопросы, куда не уйдешь, например, от факта, что смерть политрука на поле боя вряд ли могла пройти незамеченной (даже пусть это был очень жестокий бой) для солдат и командиров части, что обязательно бы получила Евдокия Лукьяновна похоронную еще тогда, в дни войны... Как знать, может быть, эту похоронную получила жена или мать другого Еременко... Могло быть и иное: извещение затерялось в вихре событий, не представилось возможным его отослать, а может быть, и составить. Ведь шло жаркое лето 1942 года, труднейшее лето в судьбе стра-

ны, когда оголтелые фашистские орды рвались к Волге, к Сталинграду, когда, случалось, гибли безвестными в бескрайних, выжженных огнем степях целые подразделения...

Специальная и очень авторитетная комиссия наградного отдела Министерства обороны СССР, куда в свое время были переданы собранные материалы, также сочла свидетельство подполковника запаса Вереzubчака о гибели политрука Еременко недостаточным. Еще раз пройдя трудной дорогой поиска, комиссия пришла к выводу, что младшего политрука Еременко Алексея Гордеевича, 1906 года рождения, номер партийного билета 07192771, запечатленного на фотографии М. А. Альперта «Комбат», следует считать пропавшим без вести в 1942 году...

Политрук Еременко пропал без вести, чтобы обрести мировую известность. Безгранична вера людей в Еременко. Именно в того, что на фотографии. В нем сконцентрировалось все лучшее, чем наделяет народ своих сыновей. В нем та высшая правда мужества, перед которой отступают сомнения и колебания. Это он — солдат Великой Отечественной! Герой, перед которым мы, сегодняшние, склоняем головы! Пусть мы не знаем, пусть не уверены, что именно этот, именно наш Еременко пал в безжалостной рукопашной схватке на том выжженном поле. Но даже если это был другой герой — разве и его черты не запечатлены на бессмертной фотографии? Разве не стал «Комбат» собирательным образом? Он ушел в бессмертие, чтобы рассказать нам, живущим, о том героическом времени, чтобы и нас, живущих, питать тем же мужеством, силой, решимостью, чтобы и в нас, живущих, перелить это удивительное чувство Родины, страны, народа.

Да, перед нами как бы собирательный образ политрука Великой Отечественной... Сегодня мы представляем его именно так — в грохоте боя, поднимающим роту (взвод) в атаку. Знаем, конечно, что функции армейского политработника в те огненные годы были широки и многообразны, но в силу закона избирательности нашему поколению он видится именно в этот момент наивысшего напряжения духовных и физических сил. В момент, когда дыбит земля, стонет, пронзенная осколками, когда шквалом огня прижато к земле все живое, когда скрюченные, запорошенные пылью, с прокопченными пороховой гарью лицами лежат в окопах солдаты и кажется, что нет на свете воли, которая подняла бы их, чтобы бросить вперед, в атаку — в эту огненную, начиненную смертью круговерть.

И мы знаем, что была такая воля — воля политрука Отечественной. Сила партии, сила народа, влитая в него, поднимала этого человека навстречу огню, ибо была сильнее смерти. Да, подчиняясь его примеру, его приказу, заражаясь его силой и решимостью, поднимались и шли за политруком солдаты. Да, могучее «ура» перекрывало грохот боя, солдаты шли в бессмертье, и были они сильнее бывших в упор

пулеметов, и были они в этот момент даже сильнее самих себя, и они врывались во вражеские траншеи, и закипала рукопашная. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву, но тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», — напишет позже поэтесса-фронтовик Юлия Друнина.

Он был плоть от плоти народа — политрук Отечественной. Как правило, выходец из рабочих или крестьян. По нынешним масштабам не такой уж грамотей — семилетка за плечами или неоконченное среднее. Политграмоту, как правило, усваивал в подробнейшем конспектировании «Краткого курса истории ВКП(б)». Но настоящей его политграмотой была вся предвоенная жизнь Страны Советов, вздыбленная стройками. Он как бы принял эстафету славных комиссаров гражданской. Общественная жилка, приведшая в политработники, проявлялась в нем, как правило, рано, еще в комсомольской ячейке — на стройке ли, в колхозе ли, а может, после призыва в армию. И эту свою работу он, конечно же, не отделял ни от какой другой, она была воистину его работой, нужной людям, стране, партии. Но она вливалась в него обостренное чувство ответственности, не предоставляя никаких выгод, да он и не искал их в силу своей страстной убежденности в неизменной и скорой победе социализма.

Что еще прибавить к портрету политрука Отечественной? Война, конечно же, застала его не вдруг, он понимал и классово правильно оценивал разлившееся напряжение и, наверное, раньше других был внутренне мобилизован. Оборону Брестской крепости сменгировали комиссары — это факт общеизвестный. Стояли насмерть пограничные гарнизоны, вдохновленные на подвиг уверенностью в победе замполитов. В горькие дни отступления политруки объявляли самым главным врагом уныние и малодушие.

Враги понимали роль комиссара в провале высчитанного по линейке блицкрига. «Комиссаров в плен не брать» — это строки из приказа по армии фон Клюге. Враги не понимали другого — единения комиссара и его солдат, отражавшего единение партии и народа. Очень удивился некий Курт Бахнер, лейтенант, о чем и сообщил в письме домой, когда выстроил пленных красноармейцев и приказал комиссарам сделать шаг вперед — шагнула вся шеренга.

Политруки умели вести за собой людей, политруки умели убеждать людей. Хрестоматийные слова политрука Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва» — для нас сегодня пример этого умения сказать солдатам коротко и страстно о самом главном, умения объединить людей единой волей, единой целью.

Политрук Клочков, политрук Остапенко, политрук Бакшеев. И вот теперь политрук Еременко... Сколько их пало смертью героя, сколько дошло до Берлина! Совесть партии. Совесть народа. Сыны партии. Сыны народа.

Вот что такое политрук Отечественной.



А. А. Блок. 1907 г.

Александр Блок

Столетний юбилей великого русского поэта Александра Блока, включенный ЮНЕСКО в календарь выдающихся памятных дат, широко отмечался в нашей стране и за рубежом. Вышли новые издания произведений А. А. Блока, исследования о его жизни и творчестве, открылись мемориальные музеи в Ленинграде, в белорусском Полесье, принято решение Совета Министров РСФСР о создании Государственного музея-заповедника А. А. Блока в Шахматове, организуется его мемориальный музей в Москве. Пристальный интерес вызвали биографические исследования и публикации, во-

шедшие в четыре тома «Литературного наследства», посвященные А. А. Блоку, в двухтомник «А. Блок в воспоминаниях современников», сборник «А. Блок и современность» и другие издания.

Публикуемые в «Прометее» три работы о Блоке во многом дополняют эти биографические исследования. В двух работах рассказывается о материнской и отцовской ветвях рода поэта — семьях Бекетовых и Блоков, игравших заметную роль в истории, науке и культуре России. Когда-то поэт сказал: «Сыны отражены в отцах...» Погружаясь в историю предков А. А. Блока, мы яснее постигаем истоки его мировоззрения и судьбы, знакомимся с людьми, среди которых формировался характер поэта. В публикацию В. Енишерлова «Биография в фотографиях» включены редкие и воспроизводимые впервые фотографии А. А. Блока и его окружения, многие из которых сохранились лишь в семейных архивах и частных собраниях.

БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Жизнь и творчество Александра Александровича Блока пришлось на годы «неслыханных перемен, невиданных мятежей» в судьбе России. Рожденный в интеллигентной семье, Блок еще застал уходящее поколение — либеральных деятелей русской науки и культуры, среди которых видное место занимал дед поэта — А. Н. Бекетов. А на недолгом, всего в сорок лет, жизненном пути его ждали загадочные зори нового XX века, пламя первой русской революции, тяжелые годы реакции, первая мировая война и, наконец, Великая Октябрьская революция. И все эти события нашли своеобразное поэтическое отражение в творчестве Блока.

«Путь среди революций; верный путь», — сказал Блок о своей судьбе. В этой публикации мы расскажем языком фотографий и документов о жизни поэта от первых нарядных и спокойных лет детства, когда, окруженный всеобщей любовью и заботой в больших петербургских квартирах и благоуханной глуши подмосковной усадьбы Шахматове, рос Сашура Блок, до тех печальных дней, когда Россия прощалась с великим русским национальным поэтом.

А. Блока снимали фотографы-профессионалы и любители. В конце XIX века в Петербурге работало много известных фотомастеров. До нас дошли детские и юношеские портреты поэта, выполненные в ателье Пазетти, Вестли, Волингера, Мрозовской. Позже поэт довольно много снимался у Д. Здобнова, создавшего серию его наиболее известных портретов в 1907 году. Сохранилось несколько снимков поэта, выполненных в моментальных фотографиях. Лучшие из них — портрет 1913 года и прекрасная фотография, снятая 17 июня 1916 года в саду Народного дома в Петрограде. Незадолго до смерти, весной 1921 года, два великодушных портрета Блока сделал известный фотограф-художник М. С. Наппельбаум. Вот что вспоминает дочь фотографа — И. М. Наппельбаум, присутствовавшая на последнем публичном выступлении поэта в Большом драматическом театре. «В кулуарах театра мой отец обосновал маленькую студию для работы над портретами актеров Юрьева, Максимова, Комаровской, Монахова в роли Шейлока и многих других. Эта работа была поручена отцу Анатолием Васильевичем Луначарским и Марией Федоровной Андреевой, руководившей тогда жизнью искусства в городе.

Сейчас отец пригласил в студию А. Блока и К. Чуковского. Он сфотографировал тогда их вдвоем и сделал тот замечательный последний портрет Блока, который сохранил для потомства подлинный трагический, предсмертный облик великого русского поэта.

Когда отец компоновал двойной портрет, меня поразила разность этих двух людей. Чуковский болтал, шутил; Блок безмолвен, замкнут, весь внутри себя и улыбка на тонких губах».

М. С. Наппельбауму довелось выполнить и трагический портрет Блока на смертном одре.

В конце XIX — начале XX века в моду активно входила любительская фотография. Ею увлекались многие знакомые и родственники Бекетовых и Блока. Достаточно сказать, что сохранился снимок отца и матери поэта, выполненный в Шахматове в 1879 году самим Д. И. Менделеевым. Не раз снимал А. Блока сын великого ученого, брат жены поэта, И. Д. Менделеев. Лучшая его работа — групповая фотография бекетовской семьи, сделанная в шахматовском саду в 1909 году, и портрет поэта с собакой.

Очень интересны фотографии театральных спектаклей 1898—1899 годов, в которых участвовал молодой Блок и его будущая жена, Л. Д. Менделеева. Видимо, они также выполнены И. Д. Менделеевым.

Целую серию фотографий юного Блока, его семьи, блоковских мест Подмосковья оставил сын двоюродного деда поэта, академика-химика Н. Н. Бекетова — Владимир Николаевич, гостивший в Шахматове. Среди них — две группы на крыльце шахматовского дома, фотографии сада, дома, окрестностей усадьбы.

Одно время увлекался фотографией двоюродный брат Блока, товарищ его детства и юности, Феликс Адамович Кублицкий-Пиотух. Своим изящным, сохранившимся по сей день «Кодаком» он выполнил в 1911 году несколько фотографий перестроенного поэтом дома в Шахматове, снял несколько групповых фотографий, история донесла в них облик «домашнего» Блока. Ф. А. Кублицкому-Пиотуху принадлежат и многие фотографии усадьбы Сафоново, где неоднократно бывали и Блок, и его мать, и Л. Д. Блок.

Осенью 1905 года в Шахматове гостила А. Е. Лозинская, дальняя родственница поэта. «Блоки жили не в большом доме, — вспоминает она, — а через двор в маленьком флигельке, который сами они устроили совсем по-особому (ящики, покрытые коврами, вместо диванов, обилие всяких живописных тряпок и т.д.) и очень красиво. И так сами они шли к своей обстановке. Летом Любе особенно удобно было ходить в своих фантастических костюмах или сарафанах (тогда это было новостью), с массой бус, ожерелий, подвесок, иногда с цветной лентой, перехватывающей ее золотую головку. Блок ходил в русской рубашке, иногда под вечер накидывал на плечи старенький армячок, почему-то вызывающий негодование Любы; но когда он сидел на ступеньках веранды в этом костюме, да еще опираясь на палку — скорее «посох» с крючком — я не могла отвести от него глаз: эллинский пастух, да и все тут! Сняла его раз в таком виде, и снимок не вышел, к моему большому огорчению. Вообще я снимала всех с усердием, и, как всякий новоиспеченный фотограф, большей частью неудачно. Если бы я предвидела, что я «делаю историю», может быть, преодолела бы лень промывать негативы пять часов подряд; но я этого не предвидела, и снимки получались убогие, о чем, конечно, не перестаю жалеть». Так из случайных, иногда техни-

чески несовершенных снимков складывается своеобразная фотолетопись жизни Блока. Конечно, нам сегодня особенно дороги эти непосредственные изображения поэта, сделанные в большинстве своем в живописном подмосковном Шахматове, они передают нам облик «деревенского» Блока, любящего физическую работу, совершающего далекие прогулки в окрестностях усадьбы, того Блока, который любил говорить: «Работа везде одна — что печку сложить, что стихи написать».

Живой облик иного, предреволюционного Блока доносит до нас серия фотографий, выполненных в Белоруссии, в районе Пинских болот, где Блок проходил военную службу во время первой мировой войны. Этих фотографий, сделанных сослуживцем Александра Александровича по строительной дружине Союза Земств и Городов, сохранилось немного, с них смотрит на нас поэт, таким, каким встретил его в январе 1917 года на Западном фронте Алексей Николаевич Толстой: «Меня привели в светлый, жарко натопленный фанерный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут вошел заведующий, худой, рослый, красивый человек, с ру-

мяным от мороза лицом, с заиндеветыми ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий — Александр Блок».

Ряд интересных фотографий Блока выполнил после революции организатор издательства «Алконост» С. М. Алянский. Среди них — три фотографии поэта — одного, с матерью и женой на балконе их квартиры в доме на набережной Пряжки и печальная, самая последняя фотография Блока, сделанная Алянским в комнате поэта в середине июня 1921 года, менее чем за два месяца до смерти Блока.

В иконографии Блока именно фотографии играют важнейшую роль. Художники — и профессионалы и любители — оставили нам очень мало живописных и графических портретов поэта, и в большинстве своем эти портреты, по отзывам самого Блока и его близких, неудачны. И именно фотографии — от первых детских снимков маленького Сашуры до последнего трагического, выполненного М. С. Наппельбаумом уже с мертвого поэта, раскрывают перед нами динамику внешнего облика А. Блока, остаются главным изобразительным материалом о великом русском поэте с 1883 по 1921 год.



2. А. А. Блок и А. Л. Блок, мать и отец поэта. 1879 год.

«Александр Львович сам в душе был поэтом не менее, чем ученым, а может быть, даже и более. Своих любимых поэтов он знал наизусть. И когда — нередко среди глубокой ночи — он садился за рояль, то раздавались звуки, свидетельствовавшие, что музыка была для него не просто техникою, алгеброю тонов, а живым, почти мистическим общением с гармониею, если не действительного, то возможного, космоса».

Е. Спекторский. Александр Львович Блок, Государствовед и философ.

Его отмечены черты
Печатью не совсем обычной.
Раз (он гостиной проходил)
Его заметил Достоевский.
«Кто сей красавец? — он спросил
Негромко, наклонившись к Вревской:
— Похож на Байрона». — Слово
Крылатое все подхватили,
И все на новое лицо
Свое вниманье обратили.
На сей раз милостив был свет,
Обыкновенно — столь упрямый;
«Красив, умен» — твердили дамы,
Мужчины морщились: «поэт»...

А. Блок. Возмездие.

«Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права...»

А. Блок. Автобиография.

«Моя мать, Александра Андреевна (...) переводила и переводит с французского — стихи и прозой (...) В молодости писала стихи...»

А. Блок. Автобиография.



3. Петербургский университет. Ректорский дом.

Здесь 16 ноября (ст. стиля) 1880 года в квартире ректора университета А. Н. Бекетова у его дочери Александры Андреевны родился сын Александр Блок.



4. Александр Блок с матерью. 1883 год.

«С первых дней своего рождения Саша стал средоточием жизни всей семьи. В доме установился культ ребенка. Его обожали все, начиная с прабабушки и кончая старой няней, которая нянчила его первое время. О матери нечего и говорить». М. Бекетова. Александр Блок.



5. Мария Андреевна Бекетова. 1880-е годы.



6. Екатерина Андреевна Бекетова. 1880-е годы.

«Вскоре после рождения Сашу из-за границы вернулась его тетка Екатерина Андреевна. Она любила Сашу с какой-то исключительной нежностью. Он оставался ее идолом до конца ее краткой жизни».

М. Бекетова. Александр Блок.



7. София Андреевна Бекетова. 1880-е годы.

«От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери — моя мать и ее две сестры <...> Известностью пользовалась старшая — Екатерина Андреевна (по мужу — Краснова). Ей принадлежат изданные уже после ее смерти (4 мая 1892 года) две самостоятельных книги «Рассказов» и «Стихотворений» (последняя книга удостоена почетного отзыва Академии наук)».

А. Блок. Автобиография.



8. Александр Блок. 1884 год.

Он был заботой женщин нежной
От грубой жизни огражден,
Летели годы безмятежно,
Как голубой весенний сон.

А. Блок. Возмездие.

9. Александр Блок. 1885 год.

«В эти годы Саша был очень шумлив и стремителен. Его голос громко раздавался по комнатам, всякому занятию он предавался с самозабвением».

М. Бекетова. Александр Блок
и его мать.



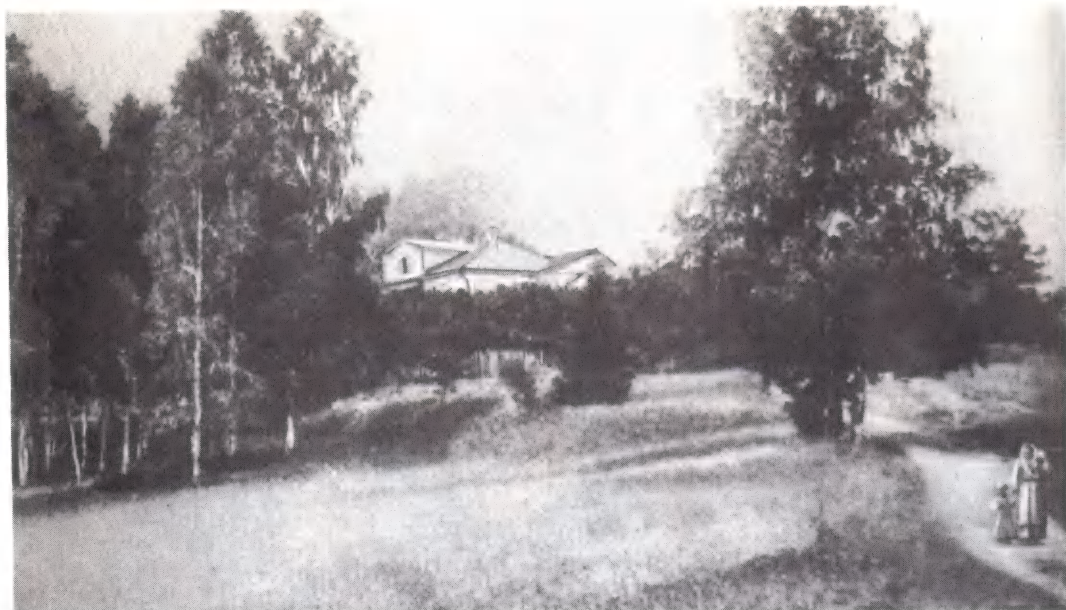
«С семи лет<...> Саша начал увлекаться писанием, он сочинял коротенькие рассказы, стихи, ребусы и т. д. Из этого материала он составлял то альбомы, то журналы, ограничиваясь одним номером, а иногда только его началом. Сохранилось несколько маленьких книжек такого рода».

М. Бекетова. Александр Блок
и его мать.

10. Андрей Кублицкий-Пиотух, Александр Блок, Феликс Кублицкий-Пиотух.

Ближайшими товарищами детства и юности Блока были его двоюродные братья Андрей и Феликс Кублицкие-Пиотух, сыновья его тетки Софьи Андреевны. Братья часто встречались в Петербурге и каждое лето жили вместе в усадьбе их общего деда, А. Н. Бекетова — Шахматове.







12. Усадьба Шахматово — 1880-е годы.

«Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматово, верст 7 от Боблова, имения Дмитрия Ивановича Менделеева, по совету которого они и купили свое. Трудно представить себе другой более мирный, поэтический и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова <...> Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто русская даль».

А. И. Менделеева. Александр Блок.

13. А. А. Блок, А. А. Кублицкая-Пиоттук — мать поэта, А. Н. Бекетов, Н. Н. Бекетов, Е. Г. Бекетова, М. А. Бекетова в Шахматово. 1894 год.

«Веял уют той естественно скромной и утонченной культурой, которая не допускала перегружения тяготеющими душу реликвиями стародворянского быта; и тем не менее обстановка — дворянская; соединение быта с безбытностью...»

А. Белый. Воспоминания об А. Блоке.



14. Шахматово. В окне мезонина А. А. Блок.

Огромный тополь серебристый
Склонял над домом свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающего двор.

А. Блок. Возмездие.

В июне 1899 года А. Блок и его двоюродный брат А. Кублицкий-Пиоттук сделали ряд рисунков усадебных построек в Шахматово. Сохранилось несколько рисунков поэта и два А. Кублицкого-Пиоттуха.



15. Шахматово. Флигель. Рис. А. Кублицкого-Пиоттуха. 1899 год.

16. Шахматово. Баня. Рис. А. Кублицкого-Пиоттуха. 1899 год.



17. Александр Блок с отчимом и матерью. 1895 год.

«После развода с мужем в 1889 году, когда сыну было около девяти лет, Александра Андреевна повенчалась вторично с поручиком лейб-гвардии гренадерского полка Францем Феликсовичем Кублицким-Пиоттух».

М. Бекетова. Александр Блок.



18. Александр Блок — гимназист последнего класса. 1898 год.

«Весной [...] на выставке (кажется передвижной) я встретился с Анной Ивановной Менделеевой, которая пригласила меня бывать у них...»

А. Блок. Дневник.

«Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были — лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100 [...] Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, в доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства...»

А. Блок. Автобиография.

19. Любовь Дмитриевна Менделеева. 1898 год.

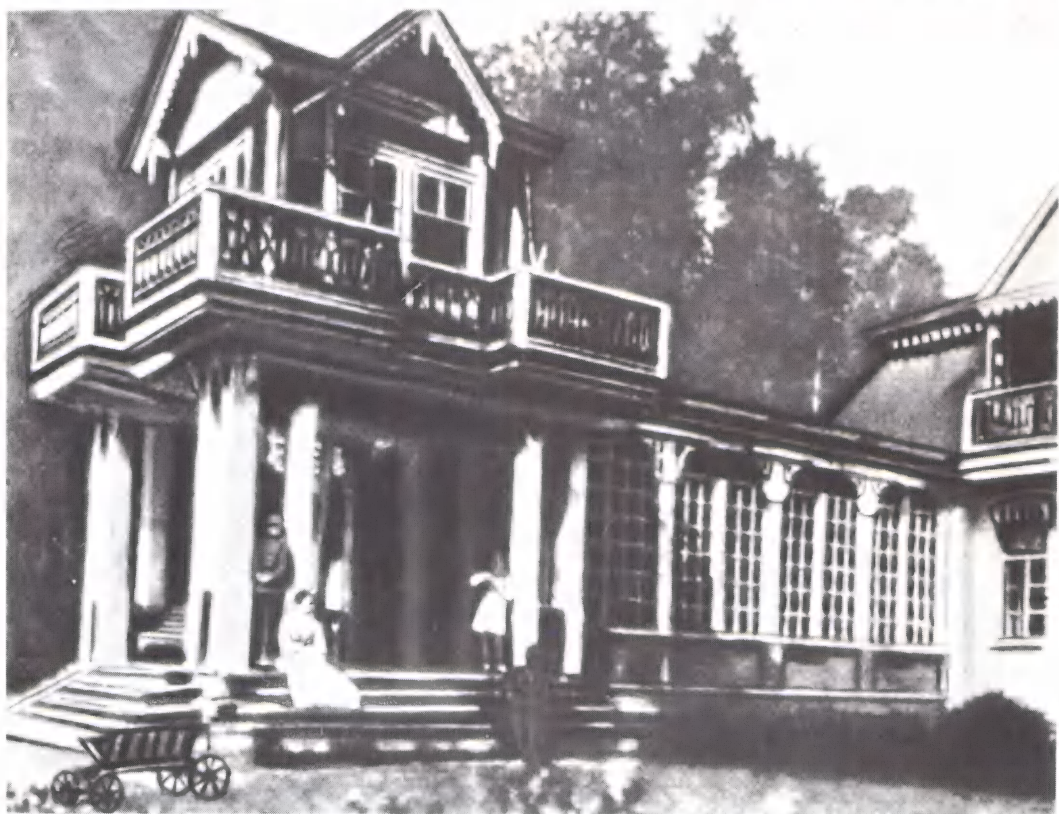
«Меня почти спровадили в Боблово. Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стёком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление».

А. Блок. Дневник.

20. Имение Д. И. Менделеева, Боблово.

«Боблово куплено Менделеевым несколько раньше нашего Шахматова. Оно значительно больше его по количеству десятин, не так уютно, но как самая усадьба, так и местоположение значительно грандиознее (...) Воздвигнут был и дом, большой, двухэтажный; верхний этаж деревянный, нижний каменный, с толстыми стенами (...) Перед домом развели прекрасные цветники и сад с фруктовыми деревьями и ягодником. От прежних времен остался старый парк. В усадьбе построили баню, флигеля, все необходимые службы. Она была далеко не так поэтична и уютна, как старое Шахматово, но на ней лежал отпечаток широких замыслов ее гениального хозяина».

М. Бекетова. Александр Блок.





21. Любовь Дмитриевна Менделеева в роли Офелии. 1898 год.

22. Александр Блок в роли Гамлета. 1898 год.



«Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был в вечер представления «Гамлета». Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный на показ всем плащ золотых волос, падающий ниже колен (...) Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутьме, пока готовили сцену. Помост обрывался, Блок сидел на нем как на скамье, у моих ног (...) Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда (...) Этот, может быть десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной барышни, в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть».

Л. Блок. И быль и небылицы о Блоке и о себе.



23. Л. Д. Менделеева и А. А. Блок невестой и женихом. 1903 год.

«Мой милый и дорогой Сережа! Тебе, одному из немногих и под неперменной тайной, я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни... Я женюсь. Имя моей невесты — Любовь Дмитриевна Менделеева».

А. Блок. Письмо к С. Соловьеву.

«Венчание происходило в старинной церкви села Тараканово. То была не приходская церковь новейшего происхождения, но старинная, барская, построенная еще в екатерининские времена (...) Дмитрий Иванович и Александра Андреевна плакали от умиления и от сознания важности того, что совершалось (...) При выходе из церкви их встретили крестьяне, которые поднесли им хлеб-соль и белых гусей. После венчания они на своей нарядной тройке покатали в Боблово».

М. Бекетова. А. Блок.

24. Церковь в селе Тараканово.

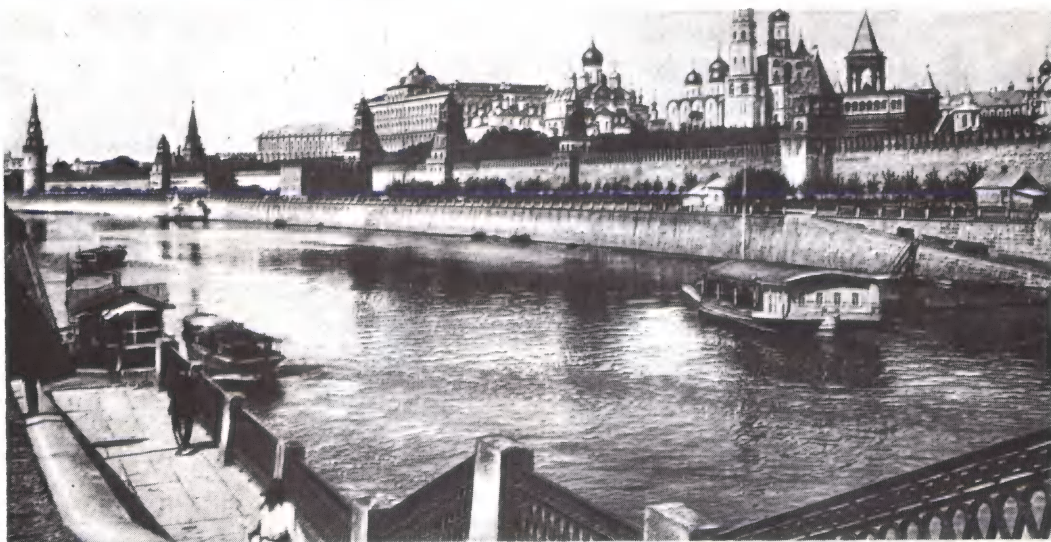




25. А. Блок. Фотография из студенческого дела.

«Первые стихотворения были напечатаны в Студенческом сборнике (студентов СПб университета и учеников Академии художеств, 1903 г.)».

А. Блок. Автобиографическая запись.



26. Москва. (Фотография начала XX века.)

«Ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских и после каждого номера холодного и рыхлого «Мира искусств». А. Блок. Письмо к С. Соловьеву.

27. Андрей Белый. Фотография начала 1900-х годов.

«Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно-описуемое, удивительное, громадное впечатление на Боря Бугаева (Андрей Белый), мнением которого мы все очень дорожим».

О. М. Соловьева — А. А. Кублицкой-Пиотух. 3 сентября 1901 года.





28. Москва. Арбат. Дом, где жили Соловьевы и А. Белый.

«Отсюда, из этого дома, распространилась поэзия А. А. Блока в Москве».

А. Белый. Воспоминания об А. Блоке.

«В 1902 году в Москве образовался кружок (небольшой) горячих ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми, старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начинали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати».

А. Белый. Воспоминания об А. Блоке.

«...С. М. Соловьев полушутя, полусерьезно придумал их тесному дружескому кружку название «секты блоковцев». Он рисовал всевозможные узоры комических пародий на будущих ученых XXII века [...] которые будут решать, существовала ли секта «блоковцев», истолковывать имя супруги поэта Любови Дмитриевны при помощи терминов ранней мифологии и т. д.»

М. Бекетова. Александр Блок.

30. Александр Блок. 1907 год. Фотография с автографом С. Городецкому.

«Навстречу выходил Блок, в длинной рабочей куртке с большим белым воротником, совсем не студент, а флорентиец раннего Ренессанса [...] Приходили Андрей Белый и Евгений Иванов, Татьяна Гиппиус. За чаем начиналась беседа, читались стихи [...] Рождался мир образов, предчувствий, намеков, соответствий — та музыка слов, откуда вышли и «Симфонии» и все метаморфозы Прекрасной Дамы».

С. Городецкий. Воспоминания об А. Блоке.



29. Андрей Белый и С. М. Соловьев. На столе фотографии Л. Д. Блок и В. С. Соловьева.

Сергею Тородеу кому
милому другу.



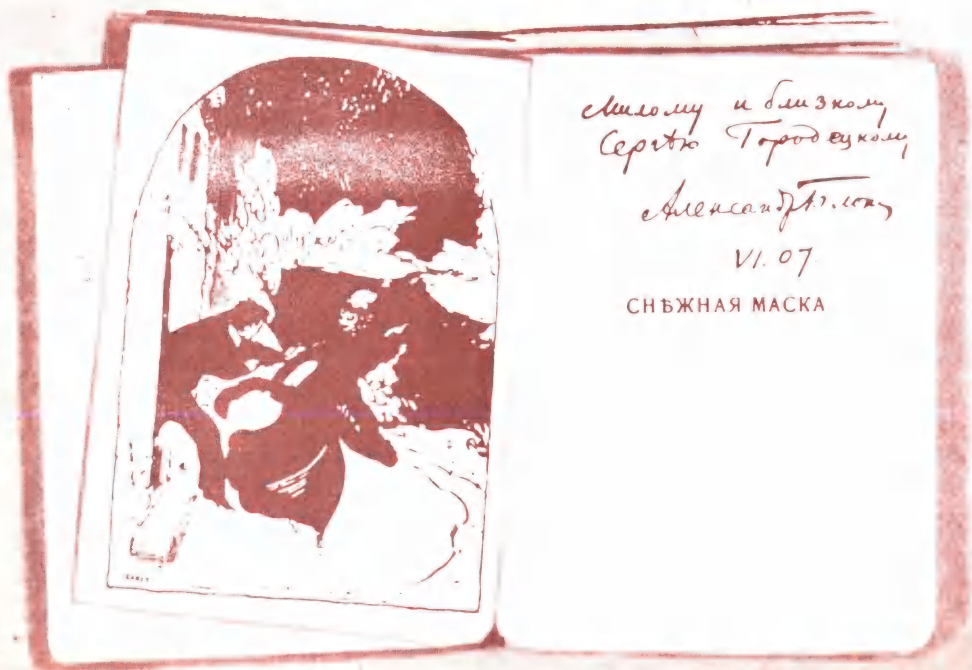


31. Наталья Николаевна Волохова. Ей посвящен сборник А. Блока «Снежная маска».

«Скажу одно: поэт не прикрасил свою «снежную деву». Кто видел ее тогда, в пору его увлечения, тот знает, какое это было дивное обаяние <...> Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассеивают тьму. Другие говорили: «раскольничья Богородица».

М. Векетова. Александр Блок.

32. Сборник А. Блока «Снежная маска» с дарственной надписью Сергею Городецкому. 1907 год.



33. Обложка сборника А. Блока «Лирические драмы». Художник К. Сомов.

«Понемногу учась драматической форме и еще очень плохо научившись прозаическому языку, я стараюсь отдавать в стихи то, что им преимущественно свойственно — песню и лирику, и выражать в драме и прозе то, что прежде поневоле выражалось только в стихах».

А. Блок. Письмо к В. Брюсову.

«Лирические драмы» Блока принадлежат к тому роду интимных произведений, которые появляются в эпохи переломов как в жизни народов, так и в жизни барометров их — поэтов. Критический возраст русской жизни в острейшем своем моменте совпал с кризисом в творчестве Блока, переходящего от декадентской лирики к общенародной драматургии, — и в результате мы имеем любопытную книгу.

Нельзя не упомянуть о рисунке Сомова на обложке и музыке Кузмина к «Балаганчику». В том, как совпали настроение художника-пессимиста, изобразившего трагическое и комическое под эгидой смерти, раздвигающей занавес, и композитора, сложившего безнадежную и пленительную музыку, с настроениями автора, нельзя не видеть большого и печального смысла, характерного для наших дней».

С. Городецкий.



34. Александр Блок. 1907 год.





35. А. Блок с двоюродными братьями и женой. Шахматово.



36. Александр Блок. 1909 год. Шахматово.



37. Александр Блок с семьей в Шахматове. 1909 год.

«Группа, снятая в Шахматове за столом под липами во время чаепития среди дня, относится к лету 1909 года. Это было последнее лето, которое проводила с нами сестра Софья Андреевна с сыновьями, весной следующего года они переселились во вновь купленное имение Сафоново, за 20 верст от Шахматова. В момент снятия группы вся наша семья, кроме мужей моих сестер, была в сборе. Стоящий за спиной Ал. Ал.-ча молодой человек — брат Люб. Дм. Иван Дмитриевич Менделеев, приехавший в гости из Воблова. Он и снимал группу [...] Впереди всех, на углу стола сидит

Ал. Ал. в русской рубашке из ярко-красного сатина. У него несколько утомленный вид и слегка прилипшие ко лбу волосы, вероятно, он в момент приезда гостя занимался какой-нибудь тяжелой работой: или копал землю, или чистил лес. Против Ал. Ал., повернувшись в профиль, сижу я, дальше за мной Люб. Дм. [...] На хозяйском месте в конце стола сидит сестра Софья Андреевна. По другую сторону от самовара — сестра Ал. Андр., рядом с ней старший сын Софьи Андр. Фероль, а за ним его брат Андрюша».

М. Бекетова. Александр Блок и его мать.



38. Александр Львович Блок.

«Мама, и вчера и сегодня я получаю все время известия об отце. Он безнадежно болен и, вероятно, умрет через несколько недель <...> Лежит он в больнице в Варшаве».

А. Блок. Письмо к матери.

«Люба, я застал отца уже покойным».

А. Блок. Письмо жене.

«Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непре-

станно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца — во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры <...> Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула».

А. Блок. Письмо к матери.



39. Ангелина Александровна Блок — сводная сестра поэта.

«В Варшаве на похоронах Александра Львовича мой отец встретился с обоими его детьми. Александр Александрович сказал:

— Вот, знакомлюсь с сестрой».

Г. Блок. Герои «Возмездия».

Тогда мы встретились с тобой.
Я был больной, с душою ржавой...
Сестра, сужденная судьбой,
Весь мир казался мне Варшавой!

Лишь ты напоминала мне
Своей волнующей тревогой
О том, что мир — жилище бога,
О холоде и об огне.

А. Блок. Возмездие (1-я редакция).

40. Мария Тимофеевна Блок. Вторая жена А. Л. Блока.

«18 ноября 1909 года поэт получил первое известие об опасной болезни отца <...> Ал. Ал. тотчас отправился к жене своего отца Марии Тимофеевне, жившей с дочкой Ангелиной в Петербурге. Ангелину видел он перед тем всего один раз, когда ей было десять лет. Теперь это была шестнадцатилетняя девушка. Только что окончившая курс гимназии».

А. Бекетова. Александр Блок.





41—42. Сафоново. Имение Кублицких-Пиоттух, неподалеку от Шахматова. Здесь часто бывал поэт.





44. Софья Андреевна Кублицкая-Пиоттух, тетка поэта.



45. Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух.

46. Двоюродные братья поэта Андрей и Феликс Кублицкие-Пиоттухи с родителями.





47. Петербург. Васильевский остров.

«Дело в том, что Петербург — глухая провинция, а глухая провинция — «страшный мир».

А. Блок. Письмо к Вл. Пясту.

48. Александр Блок на похоронах Врубеля.

«Незаметно протекала среди нас жизнь и болезнь гениального художника. Для мира остались дивные краски и причудливые чертежи, похищенные у Вечности <...> Как недлинен мост в будущее! Еще несколько десятков лет — и память ослабеет: останутся только творения, да легенда, еще при жизни художника сложившаяся.





Врубель жил просто, как все мы живем; при всей страсти к событиям, в мире ему не хватало событий; и события перенеслись во внутренний мир,— судьба современного художника; чем правильнее размежевывается на клеточки земная кора, тем глубже уходят под землю движущие нас боги огня и света».

А. Блок. Памяти Врубеля.

49. А. Блок во время работы над поэмой «Возмездие». 1911 год.

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминуемый,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрашной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

А. Блок. Возмездие.



50—51. Собрание стихотворений Александра Блока. Москва, изд-во «Мусагет». 1911—1912 гг.

52—53. Л. А. Дельмас, в ней обращен цикл «Кармен».

*О да, любовь вольна, как птица.
Да, все равно — я твой!
Да, все равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!*



Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!

Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!
Как иерей свершу я требу
За твой огонь — звездам!

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...

И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснет мне белыми зубами
Твой неотступный лик.





54. Александр Блок. 1913 год.

Да, я томлюсь надеждой сладкой,
Что ты, в чужой стране,
Что ты, когда-нибудь, украдкой
Помыслишь обо мне...

За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен,—
Пусть эта мысль предстанет строгой,

Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!
А. Блок. «О да, любовь вольна, как птица...»

«Осенью 1913 года произошла знаменательная встреча Александра Блока с певицей Любовью Александровной Андреевой-Дельмас». М. Бекетова. Александр Блок и его мать.



55. А. Блок (третий слева) на фронте первой мировой войны в белорусском Полесье.

«Когда летом 1916 года начался призыв в войска ратников ополчения 2-го разряда более ранних годов, Александр Александрович был зачислен табельщиком в одну из инженерно-строительных дружин Союза Земств и Городов, и, не дожидаясь самого момента призыва, отложенного до 25 августа, в июле еще уехал на фронт».

В. Княжнин.
Александр Александрович Блок.



56. Деревня Колбы в Белоруссии. Часовня, которую рисовал в письме к жене с фронта А. Блок. Современный снимок.



57. Блок с сослуживцами по 13-й инженерно-строительной дружине близ станции Порохонск.

«Что такое война? Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе — унылый немецкий прожектор — шарит — из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку...

Люди глазекот на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели перетащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».

А. Блок. Интеллигенция и революция.

58. А. Блок в форме Союза Земств и Городов. 1917 год.

«В военной форме, с узкими погонами «земсоюза», свежий, простой и изящный, как всегда сидел Блок у меня за столом весною 1917 года;



в Петербург он вернулся при первой возможности. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно; «война — глупость, дрянь <...>» — формулировал он, в конце концов, свои впечатления».

В. Зоргенфрей.
Александр Александрович Блок.

60. Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух, мать поэта.

«Мама <...> Посылаю вам с тетей «Стихи о России». Все — не заказное».

60. Сборник А. Блока «Стихи о России».



АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ СТИХИ РОССИИ

ЖЕЛАНІЕ ЖУРНАЛА
„ОТЕЧЕСТВО“



1913

«Подолгу жил в Шахматово, которое он любил, брат нашего отца, отчим Саши Блока Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух. Это был добрейший славный человек. Гвардейский офицер, он, без всяких связей и знакомств, без протекции дослужился до звания генерал-лейтенанта, командира дивизии. Я помню, с каким волнением все мы ждали во время первой мировой войны сообщений из Галиции, где сражалась дивизия Франца Феликсовича. Он храбро воевал и как-то приехал в Петербург в шинели, забрызганной кровью».

Саша очень хорошо относился к своему отчиму, «милому Францику», ценил его мягкий, добрый характер, его честность и прямоту. Франца Феликсовича недаром сравнивали с Дон Кихотом, и не только внешне походил он на знаменитого испанского идадьго. Не случайно, конечно, когда Блок написал драму «Роза и Крест», многие увидели в образе ее героя Бертрана многие характерные черточки Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух.

Стоит, видимо, здесь напомнить, что знаменитое блоковское стихотворение «Петроградское небо мутилось дождем» написано под впечатлением проводов на фронт Франца Феликсовича. К сожалению, почти все письма его пропали, но сохранились в нашем семейном архиве многие фотографии Франца Феликсовича, в том числе и очень интересные, где изо-



61. Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух со штабом дивизии. Галиция.

бражен он с юным Блоком и его матерью, и редчайшие — с западного фронта. Последние хранились вначале у матери поэта, а после ее смерти их передала нам с некоторыми бумагами М. А. Бекетова».

Ф. Кублицкий. Из воспоминаний.



62. Командир 2-й стрелковой Финляндской дивизии Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух, отчим поэта.

«Франц Феликсович отправился на войну в октябре. Бригада его выступила из Петербурга, куда и переселились Кублицкие незадолго до выступления в поход. Франц Феликсович проделал всю боевую кампанию. Он командовал сначала бригадой, потом дивизией и участвовал в галицийском походе, составляя часть армии Брусилова».

М. Бекетова. Александр Блок.



63. Александр Блок. 1918 год.

64—65. Поэма «Двенадцать». Иллюстрации Ю. Анненкова.



«Одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты».

А. Блок.



66. А. Блок. 1920 год.

«...В январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятсот седьмого или в марте девятсот сорокадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией <...> Например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой — будь они враги или друзья моей поэмы. Было бы неправдой вместе с тем отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда проносившийся революционный циклон производит

бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой... Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радуго, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время...».

А. Блок. <Записка о «Двенадцати»>
апрель 1920 г.

«Он ни за что не хотел уезжать из России, как бы тяжело ему ни было в ней <...> Покинуть Россию теперь — казалось ему изменой России».

К. Чуковский.



67—68. Александр Блок с женой и матерью на балконе своей квартиры. 1919 год. Фото С. Аленского.

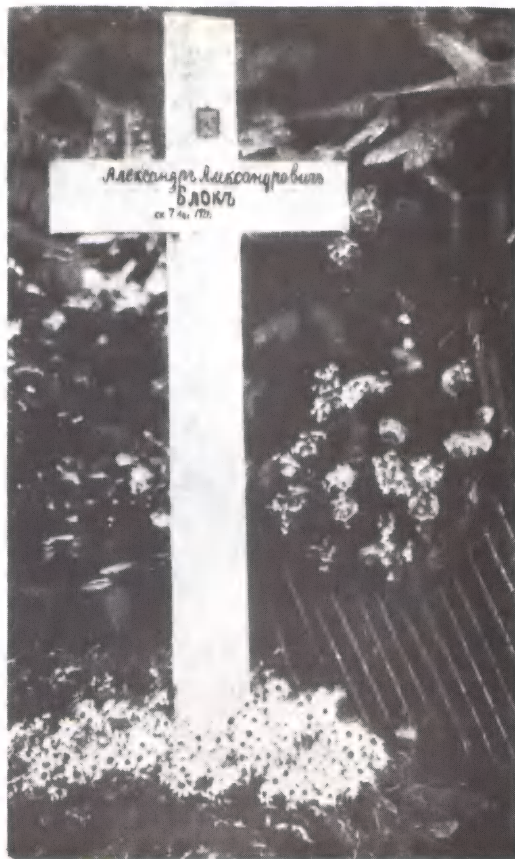


«Первое, что он мне сказал, когда мы обнялись летом 20-го года после долгой разлуки, это то, что колет и таскает дрова и каждый день купается в Пряжке <...> Я был счастлив, что встретил его живым и здоровым. И показался он мне живым, нашим, по эту сторону огненной реки, расколовшей всех на два лагеря».

С. Городецкий. Воспоминания об А. Блоке.







70. Александр Александрович Блок. Последний портрет. Фотография С. М. Алянского. Середина июля 1921 года.

71. Александр Блок в гробу. Фотография М. С. Наппельбаума.

72. Фронтиспис журнала «Записки мечтателя», посвященного памяти А. А. Блока. 1921 год.

73. Мемориальная доска на доме в Ленинграде, где Александр Блок прожил девять последних лет.

74. Могила А. А. Блока на Смоленском кладбище.

Поэта похоронила на старом Смоленском кладбище в Ленинграде неподалеку от могилы деда, А. Н. Бекетова. Позже прах поэта был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища.

ГЕРБЪ РОДА БЕКЕТОВЫХЪ.



В. Енишерлов

«Семья моей матери...»

Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода —
Два-три звена, — и уж ясны
Заветы темной старины...
А. Блок. «Возмездие».

А. Блок рос и воспитывался в условиях исключительно благоприятных для развития литературных наклонностей и вкуса. Его любовь к культуре и литературе была наследственной. Семья Бекетовых, давшая за века российской науке, просвещению и литературе немало замечательных людей, сыграла определяющую роль в формировании личности Александра Блока. Поэт почти не знал своего отца —

профессора Варшавского университета и мало общался с семьей Блоков, типичными представителями петербургского чиновничьего немецкого мира. Лишь после смерти Александра Львовича Блока сын стал задумываться над сложной и трагической судьбой этого необычайного человека, но при жизни ни отец, ни его семья не играли видимой роли в его становлении. Семья же матери, с чьей стороны «в роду — все русское, коренное, гиперболически русское» — именно та среда, что взрастила великого национального поэта России.

«Семья моей матери причастна к литературе и науке, — писал Блок в автобиографии, — (...) Здесь именно любили и понимали слово; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря вульгарно, по-верленовски, преобладающее имела здесь *éloquence**; одной только матери моей свойственны были постоянный мя-

* Красноречие (франц.).

теж и беспокойство о новом, и мои стремления к *musicue* находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной *éloquence* обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлена и не с декадентства вообще».

Сведения о Бекетовых уходят в глубину российской истории, и в государственных бумагах и документах они упоминаются с XVI века. Первый Рудакович Бекетов служил в городских дворянах по Переславлю. Вдова Василия Бекетова Соломонида с внуками Михаилом, Аксиньей и Марьей владела в 1594 году поместьями в Орловском уезде.

Курбат Бекетов в 1620 году имел поместья в Ливенском уезде. В первой половине XVII столетия Бекетовы служили по Твери и Торжку, во второй же — по Новгороду, двое — Иван Ананьич и Иван Афанасьевич в 1690-х годах по Московскому списку, а Лев Ананьич в стряпчих. Федор Романович Бекетов в 1664—1665 годах был воеводой в Борисоглебске. В XVII столетии Бекетовы владели поместьями в Переславль-Залесском уезде.

Интересно проследить связь Бекетовых с фамилиями, известными в русской истории. Шкипер русского флота Иван Петрович Аксаков был женат на единственной дочери богатого помещика Прасковье Михайловне Бекетовой. У их внука Тимофея Степановича Аксакова родился сын Сергей Тимофеевич Аксаков — выдающийся русский писатель. Его дети — Константин и Иван — известные общественные деятели, литераторы, славянофилы.

Можно установить и связь семьи Бекетовых с Тургеневыми. Дочь Андрея Ивановича Тургенева, казанского помещика, жившего в первой половине XVIII века, Пелагея Андреевна была замужем за Леонтием Ивановичем Бекетовым. Брат Пелагея Андреевны Бекетовой был женат на Анне Петровне Окаемовой. Их сын Иван Петрович Тургенев в 1752—1802 годах — директор Московского университета. От его брака с Екатериной Семеновной Качаловой родились сыновья Александр Иванович и Николай Иванович Тургенев (1789—1872) — статс-секретарь Государственного совета, писатель-публицист, декабрист.

Елена Петровна Бекетова была замужем за Александром Дмитриевичем Балашовым, генерал-адъютантом, участником войны 1812 года, министром. Их сын Петр Александрович, флигель-адъютант, был женат на графине Александре Ивановне Паскевич-Эриванской, княжне Варшавской — дочери фельдмаршала Паскевича.

Так переносясь мысленно в глубь русской истории, мы еще не раз можем встретить там славные имена Бекетовых, предков нашего поэта. Имя стрелецкого сотника енисейского сына боярского Петра Бекетова не затеряется среди имен российских землепроходцев. Он, двигаясь с отрядом казаков вверх по Ангаре, преодолел Падунский и Братский пороги и впервые достиг «брацкой» земли, недоступной

до той поры для русских. Благодаря уму и ярко выраженным дипломатическим способностям склонил Петр Бекетов бурятских князей в подданство русскому царю.

Необычна судьба Никиты Афанасьевича Бекетова. Сын полковника Афанасия Алексеевича Бекетова родился 8 сентября 1729 года и с 1742 года учился в Сухопутном кадетском корпусе. «Над ним сбылась пословица, — писал Бантыш-Каменский в словаре достопамятных людей, — что счастье посещает нас иногда во время сна». Императрица Елизавета Петровна любила бывать на театральных представлениях кадет, среди которых Бекетов был «премьером». Однажды, когда поднялся занавес, Елизавета увидела на сцене сладко спящего красивого юношу. Императрица приказала музыкантам играть, не опуская занавес. По окончании «спектакля» Бекетов, а заснул на сцене он, пожалован был сержантом, вскоре подпоручиком, из кадетского корпуса выпущен был премьер-майором, назначен адъютантом к графу А. Г. Разумовскому и вскоре произведен в полковники. Стечение обстоятельств, красота и незаурядный ум сделали Н. А. Бекетова на недолгое время фаворитом императрицы. Но из-за интриг графа Шувалова он был удален от двора, некоторое время находился в опале. Став позже губернатором Астраханской губернии, Бекетов совершил немало для благоденствия этого края, развития его экономики и международной торговли. Не оставлял он увлечения театром, занимался литературой; пользовались известностью стихи, поэмы, драмы Н. А. Бекетова.

Стремясь сегодня «понять всю лежащую за нами историческую цепь» и размышляя, в частности, об истоках таланта А. Блока, нельзя не рассказать и еще об одном представителе рода Бекетовых, оставившем заметный след в отечественной культуре. Родственный Карамзина, двоюродный брат И. И. Дмитриева, Платон Петрович Бекетов был одним из образованнейших людей своего времени. Известный всей России библиофил, коллекционер и меценат, он собирал и подготавливал издание портретов знаменитых россиян. В своем доме на Кузнецком мосту в Москве Платон Бекетов в 1801 году оборудовал типографию и открыл книжную лавку, где собирались писатели, художники. Так создавался один из первых московских творческих клубов. Следуя в издательской деятельности традициям просветителя XVIII столетия Н. И. Новикова, Платон Бекетов издал за 11 лет произведения всех видных писателей того времени и два раза, несмотря на запрет, произведения Радищева. Избранный в 1811 году председателем «Общества любителей истории и древностей Российских», основанного при Московском университете, он сильно пострадал во время московского пожара 1812 года, но, несмотря на это, до конца своей жизни продолжал поддерживать художников и граверов.

Передо мной «Справка Саратовского областного архива о семье Бекетовых». Там, в



П. П. Бекетов.

частности, сказано следующее о прямых предках Александра Блока: «В фонде депутатского собрания есть дело о внесении в дворянскую родословную книгу дворянки Бекетовой Анны Николаевны. Из этого дела видно, что отец Бекетова Николая Алексеевича (прадеда А. Блока. — В. Е.) — Алексей Матвеевич Бекетов служил с 1773 года в гвардии, а 1 января 1777 года по указу Екатерины II от службы в чине поручика отстранен.

Определением Пензенского депутатского собрания 14 ноября 1796 года А. М. Бекетов вместе со своим родом внесен в шестую часть дворянской родословной книги.

Из приложенных в деле документов видно, что мичман Николай Алексеевич Бекетов — помещик Пензенской губернии, имел трех сыновей: Алексея — 1824 года рождения, Андрея — 1825 года рождения (дед А. Блока. — В. Е.), Николая — 1826 года рождения и дочь Анну — 1828 года рождения.

Дочери Анне принадлежало имение, находящееся в Петровском уезде Саратовской губернии».

Прапрадед Александра Блока, Алексей Матвеевич Бекетов, пензенский прокурор, imponировал современникам справедливостью своей и высокой образованностью.

Интересные воспоминания о пензенском бы-

те предков Блока оставил Ф. Ф. Вигель: «...На обратном пути остановился я переночевать в селе Бекетовке, принадлежащем Алексею Матвеевичу Бекетову. Вот еще новое лицо, новый член бесчисленного пензенского дворянства, которого не случалось еще мне называть.

Жизнь Алексея Матвеевича Бекетова и сам он похожи были на те образцовые письма, которые можно находить в письмовниках: слог чист, все правильно и все формы соблюдены. Он не был ни скуп, ни мотоват, ни с кем ни заносчив, ни подобострастен, имел хороший рас-судок, хорошее состояние — всего вдоволь, ничего лишнего. В Пензе, преисполненной тогда одними чудачками, совершенное отсутствие оригинальности одно только делало его оригинальным. Странно было только то, что супруга его, Анна Матвеевна, была вся в него, даже лицом, а как она носила одинаковое с ним отчество, то можно было подумать, что он женат на родной сестре своей.

Если сия чета, о которой с душевным уважением я вспоминаю, прошла сквозь мир сей, не возбуждая в нем особенного внимания, зато из шести человек детей ее было одно чадо, весьма примечания достойное. Три сына были на войне, а из трех дочерей одна была тогда замужем: полно, так ли я сказал, безошибочно можно было ее назвать женатою. У Екатерины Алексеевны Дмитрий Васильевич Золотарев, наш симбуховский сосед, был плохой мужиц-шка, но отличный хозяин, которого она умела употребить с большой пользой, определив его приказчиком над общим их имением и предоставив себе главное над оным распоряжение. Природа... дала Екатерине Алексеевне то удальство, которое львицы нынешнего времени приобретают только искусством. Ее откровенный вид, всегда веселое лицо и дебелости, довольно преувеличенные, с первого взгляда заставляли предполагать в ней много простодушия и даже какую-то рыхлость характера. Это было обманчиво: твердость и сила воли была у нее мужская, и злоязычие ее всегда было остроумно. Паче всего любила она упражнения нашего пола: сколько раз видели ее по дорогам, стоямя в телеге, с шапкою набекрень, погоняющую тройку лихачей, с ямскою приговоркой: «с горки на горку, даст барин на водку».

Братья так красочно описанной Вигелем Екатерины Алексеевны — прадед Блока Николай Алексеевич Бекетов и Дмитрий Алексеевич владели землями в Пензенской губернии. Многие современники с восторгом отзывались об Алферьевке, родовом селе Бекетовых, с его двумя рядами аккуратных хат, прудами, двухэтажным господским домом, к которому примыкал старинный парк. Образ жизни братьев Бекетовых, их просвещенность, гуманность привели в восторг Вяземского, проездом гостившего в бекетовском доме. Николай Алексеевич Бекетов служил в молодости во флоте, плавал в эскадре адмирала Сенявина, но в 23 года, в 1816 году, вышел в отставку мичманом — «...по прошению за болезнью уволен со службы по невыслужению узаконенных пяти лет без

всякой награды». Он поселился в Алферьевке (ныне это Теленгинский район Пензенской области). Материальные дела его шли не блестяще, но неторопливый патриархальный быт не нарушался. Женат был прадед Блока на племяннице декабриста Якушкина. Человек разносторонне образованный, Николай Алексеевич дружил с Боратынским, Д. Давыдовым, Вяземским, возможно, встречался с Пушкиным. Пережив не без замешательства освобождение крестьян, Николай Алексеевич продолжал вести жизнь просвещенного русского барина, но вся эта система существования с многочисленной дворней, тонкими обедами, охотой, к счастью для потомства, привела к тому, что после его смерти остались одни воспоминания об этом быте, и все последующие Бекетовы нашли себя в созидательной работе.

Брат Николая Алексеевича — Дмитрий, тот самый пензенский дядюшка, на наследство которого дед Блока позже приобрел Шахматово, был старинным приятелем и сослуживцем поэта-партизана Дениса Давыдова. Молодой ахтырский гусар, бесстрашный поручик Митенька Бекетов одним из первых офицеров вступил в партизанскую партию Давыдова, участвовал в разгроме французов, а выйдя после войны в отставку, поселился вместе с братом и целиком отдался занятиям наукой. Опыты, которые проводил он в своей расположенной на 2-м этаже алферьевского дома лаборатории, не могли не заинтересовать его юных племянников, и не в этом ли следует искать причину того, что двое детей Николая Алексеевича Бекетова, вопреки желанию отца, мечтавшего об их военной карьере, стали видными русскими учеными.

Денис Давыдов бывал частым гостем в доме Бекетовых. 14 октября 1836 года он писал Пушкину: «Я ездил с собаками в Пензенской губернии с старинным моим подкомандующим 1812 года Бекетовым». Шутливое стихотворение, посвященное Давыдовым Д. Бекетову, Пушкин напечатал в «Современнике»:

О ты, убивший жизнь в ученом кабинете,
Скажи мне: сколько чуд считаетесь
на свете?
Семь — нет: осьмое, ты, педант мой
дорогой,
Девятое — твой нос, нос
сизо-красноватый,
Что так спесиво приподнятый,
Стоит украшенный табачною ноздрей.

В доме братьев Бекетовых познакомился Денис Давыдов с их племянницей, кузиной деда Блока Евгенией Золотаревой. «Молодая девушка выдающегося ума и образования, красавица», — писал о ней современник. Давыдов, уже давно забросивший стихи, вновь вспомнил о своей музе. Никогда не писал он так много, как в 1834 году, после встречи с Золотаревой. «Я теперь в восторге поэтическом. Без шуток — от меня так и брызжет стихами. Золотарева как будто прорвала заглушенный источник. Послед-



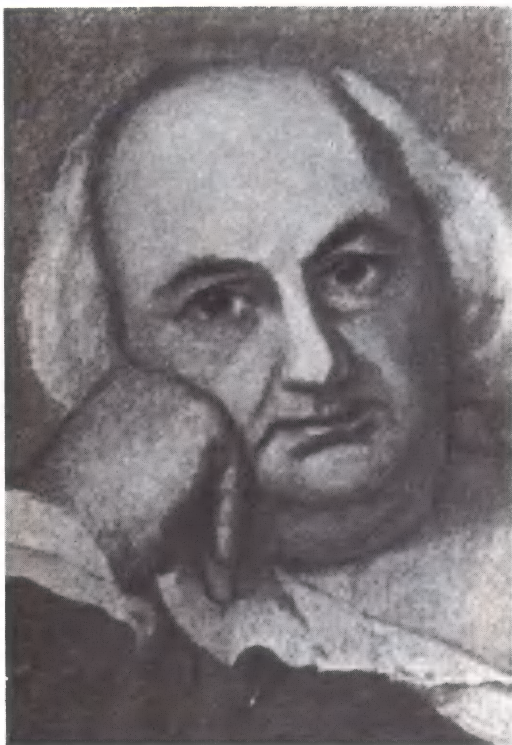
Никита Афанасьевич Бекетов.

ние стихи сам скажу, что хороши». Это отрывок из письма Дениса Давыдова Вяземскому. Чудесные стихи, посвященные племяннице Бекетовых, вызвали в свое время восторженную оценку Белинского.

Вряд ли и теперь оставят кого-либо равнодушными строки, которые адресовал стареющий поэт двоюродной сестре деда Александра Блока:

Жестокий друг, за что мученье?
Зачем приманка милых слов.
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я, на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороченной...
И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не был любим,
Где я страдал без сострадания,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний —
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий.

Видимо, в семейных преданиях доходили до Блока отзвуки этого поэтического романа. Читал



А. М. Бекетов — прадед поэта. Неизвестный художник. Конец XVIII века.

он и опубликованные единственный раз в журнале «Исторический вестник» № 7 за 1890 год, хранившемся в бекетовской библиотеке, письма Дениса Давыдова его двоюродной бабке. Письма эти (переписка велась на французском языке) красноречиво характеризуют мир, в котором жили предки поэта. Письма Давыдова часто сентиментальны — он сознает, что это его последняя любовь, и горько сетует, что не встречает взаимности. Евгения Золотарева боялась этой переписки, что весьма понятно для девушки того времени и ее круга. Давыдов уверяет ее в своей скромности, а в ответ на сомнения он с лихостью отставного гусара пишет, что может только ей простить сомнение в его слове, а то каждого он заставил бы верить ему. В выписанном Давыдовым отрывке из несохранившегося письма Золотаревой она пишет: «Страстный язык, которым вы выражаетесь, заставляет меня трепетать, зачем отправлять всю прелесть этой переписки, которая меня так восхищает». Эквивалентом этого страстного языка поэта могут служить стихотворные строки:

Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы,
Я мог бы вас любить глухим, лишенным
зренья...
Я вас люблю затем, что это — Вы...

Евгения предлагает поэту дружбу. В ответ он восклицает: «У вас хватает смелости предлагать мне дружбу, жестокий друг. Любовь подобна жизни, которая, раз утраченная, не возвращается. Будьте откровенны хоть раз в жизни — вы хотите отделаться от меня, который, я это чувствую, гнетет и беспокоит вас...» В некоторых письмах Давыдова встречаются отголоски сведений о литературной жизни эпохи, указания на посылку в Пензу книг, нот. «Вы всегда говорили мне, что из романов вы любите всегда менее игривые. Я писал так моему поставщику <...> и он прислал один из знаменитых, А. Дюма. Я не знаю, достоин ли он быть вам предложенным, я его не читал, так как получил только вчера, а сегодня посылаю вам. Также посылаю повести Пушкина, прочтите их, я уверен, что вы их будете ставить гораздо выше Павлова, особенно «Выстрел», который Пушкин сам читал мне много раз, и я перечитываю его с большим удовольствием». Роман с Золотаревой близился к концу. Она была уже невестой, и ею был дан первый толчок к прекращению переписки. «Все кончено для меня, — пишет Давыдов, — нет настоящего, нет будущего. Мне осталось только прошлое, и все оно заключено в этих письмах, которые я к вам писал в течение двух с половиной лет счастья».

В том самом доме, где Давыдов познакомился с Золотаревой, в селе Алферьевка (Бекетовка тож) при верхнем течении реки Хопер родился у Николая Алексеевича Бекетова четверо детей — три сына и дочь. Это уже то звено бекетовского рода, с которым непосредственно общался Александр Блок. Дочь Николая Алексеевича Анна после окончания Смольного института в Петербурге, где увлекалась литературой и историей (до нас дошли очень интересные ее записи по русской литературе XIX века, истории России), вернулась к отцу в Пензу. Она рано умерла, и двое ее детей — сын и дочь воспитывались и жили в Петербурге в семье А. Н. и Н. Н. Бекетовых.

Старший сын Н. А. Бекетова Алексей учился в Петербурге в Главном инженерном училище, где был товарищем Федора Михайловича Достоевского. Алексей Николаевич познакомил Достоевского со своими братьями — Андреем и Николаем. Молодые люди близко сошлись. Ф. М. Достоевский писал своему брату 26 ноября 1846 года: «Бекетовы меня вылечили своим обществом. Наконец я предложил жить вместе. Нашлась квартира, и все издержки, по всем частям хозяйства все не превышает 1200 рублей ассигнациями с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации».

В 1846—1847 годах братья Бекетовы организовали в Петербурге кружок молодых людей-единомышленников, обсуждавших на регулярных собраниях общественно-политические вопросы. Р. Н. Поддубная в исследовании «Бекетовско-майковский круг в идейных исканиях Достоевского 1840-х годов» справедливо отмечает, что это объединение было совершенно «того же типа, что и собрания у Петрашевского».

Конечно, социалистическое направление кружка Бекетовых ограничивалось теоретическими дискуссиями и исканиями идеологического характера, но именно это объединение сыграло значительную роль в формировании личностей А. Н. и Н. Н. Бекетовых, А. Н. Плещеева, А. В. Ханыкова, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова и других русских общественных деятелей, писателей, ученых.

Воспоминания участников кружка донесли до нас характеристики братьев Бекетовых. Об Алексее Николаевиче писал Д. В. Григорович: «Всех в равной степени притягивала симпатия к старшему брату — Алексею Николаевичу. Это была воплощенная доброта и прямодушие в соединении с развитым умом и горячее душою, возмущающею всякою неправдою, отзывающегося всякому благородному, честному стремлению». Яркую характеристику А. Н. Бекетову дал В. В. Бриви в 1915 году: «Бекетовы — весьма способная семья: один из них ботаник, известный ректор Петербургского университета; другой — химик, член Академии наук. Третий нисколько не уступал им по способностям. Окончив курс в институте путей сообщения, он поступил на службу. Через некоторое время ему приносят деньги и говорят: это дополнение к вашему жалованию. — Какое дополнение? — Оказывается, инженеры имеют общую кассу, куда поступают все взятки, уплачиваемые разными лицами; они распределяются между служащими, смотря по чину и занимаемой должности. Бекетов отказался от получения денег, с того времени карьера его была погублена...» Алексей Николаевич посвятил себя земской деятельности в Пензе. Работа в земских учреждениях принесла ему большую популярность в губернии, а за исключительно мягкий характер даже едкий М. Салтыков-Щедрин прозвал его «Незабудкой». Благородное нравственное воздействие Ал. Н. Бекетова, интеллектуальную нравственную атмосферу, которую умел он так естественно создавать, испытывали все его окружающие. Встречался со своим двоюродным дедом и А. Блок, когда приезжал он в имение Ал. Н. Бекетова — Урлейка. Блок гостил там в 1890 году вместе с матерью и отчимом.

Характеры людей, чье служение на любом поприще никогда не расходилось с идеалами добра и справедливости, формировал петербургский кружок братьев Бекетовых. В действительности его убеждают воспоминания Д. В. Григоровича, приведенные в упомянутой работе Р. Поддубной: «Кружку Бекетовых я многим обязан. До того времени, как я сделался постоянным его членом, мои мыслительные способности облекались точно туманом. Беседы с Достоевским никогда не переходили пределов литературы; весь интерес жизни сосредотачивался на ней одной (...) Я ни над чем не задумывался сколько-нибудь серьезно, — общественные вопросы меня нисколько не интересовали (...) Многое, о чем не приходило мне в голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвлявшее ум от легкомысленного, я



Н. А. Бекетов — прадед А. Блока. 1827 г. Худ. Я. Яненко.

впервые услышал только здесь, в кружке Бекетовых».

Расхождение Достоевского с Белинским, разрыв с «Современником», происшедшие после вступления писателя в бекетовский кружок, были восприняты им спокойно, благодаря позитивному воздействию новых товарищей. «...Я возрождаюсь не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мне столько обилия и ясности, столько ровности в характере, столько здоровья физического (...) Я много обязан в этом деле моим добрым друзьям Бекетовым (...) это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером».

Не случайно, конечно, что именно бекетовский круг вывел Достоевского и некоторых его товарищей (Плещеева, Ханыкова) в кружок Петрашевского. Ведь, как вспоминал Григорович, во время собраний у Бекетовых всегда «слышался негодующий порыв против угнетения и несправедливости».

Но в 1847 году кружок Бекетовых распался. Николай Алексеевич перевел братьев Андрея

и Николая из Петербургского в Казанский университет. Разошлись и пути Бекетовых с Достоевским, но долгие десятилетия не уничтожили в памяти воспоминания о молодом дружбе. «Не забыл я вас,— писал Н. Н. Бекетов 23 февраля 1877 года Ф. М. Достоевскому по поводу «Дневника писателя»,— хотя мне было всего 19 лет, когда я с вами расстался — с тех пор вы все продолжаете ваш неустанный труд изучения человеческой души: чтение ваших произведений — это беседа с собственной совестью — до того они имеют общечеловеческий всеобъемлющий смысл. Прекрасная явилась у вас мысль делиться с публикой своим душевным сознанием всего творящегося вокруг нас». Сохранилось в рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина и еще одно письмо Н. Н. Бекетова Достоевскому от 18 августа 1878 года: «Многоуважаемый Федор Михайлович. Как отрадно было мне получить от вас письмо и убедиться, что связь с прошлым между нами еще не порвана. У меня, как и у вас, в памяти о прошлом удержалось одно лучшее, т. е. одно положительное, и ваша личность всегда выступала ясно и отчетливо на том отдаленном фоне...»

Своего сына Николая, второго брата деда Блока, его отец Николай Алексеевич мечтал видеть военным. Но сам Николай Николаевич отчасти под влиянием дядюшки Дмитрия Алексеевича видел предназначение свое в другом. После окончания гимназии он обратился к отцу с письмом: «Дорогой отец. Поверьте, насколько трудно дается мне письмо к Вам: нынешним приездом любезный брат мой подтвердил Вашу волю, да и Вы неоднократно твердили Вашу волю и достаточно ясно указывали, что желаете видеть меня военным. Очень долго думал я над решением судьбы своей и хочу поделиться с Вами (...) В пансионе у меня уже выявилось тяготение к естественным наукам. Я отдавал им все свое свободное время, бывая счастлив и не чувствуя усталости. Очень прошу Вас не гневаться и примириться с мыслью, что я не буду военным, ибо назначение свое чувствую в служении науке». Более шестидесяти лет отдал научной деятельности академик Н. Н. Бекетов. Его работа составила эпоху в развитии физической химии. «В Харьковском университете,— писал Тимирязев,— Н. Н. Бекетов своими совершенно оригинальными работами в области химии и физики также обратил на себя внимание не одних только русских химиков». Историки науки считают его прямым продолжателем дела М. В. Ломоносова. В своей научной деятельности Н. Н. Бекетов опередил время. Как сказал один из его учеников: «Такие деятели не всегда бывают понятны современникам», и продолжал: «Не знаю, были ли у Николая Николаевича враги, но знаю, что ни разу не слышал дурного отзыва о той или иной деятельности Бекетова, имя которого будет стоять в истории науки с именем Менделеева и Бутлерова».

В семейном архиве внучки Н. Н. Бекетова Е. А. Бекетовой и ее сына Ф. С. Рофе-Бекетова

сохранилось несколько писем, адресованных дочери Николая Николаевича Екатерине Николаевне Юрковской. Письма эти выразительно характеризуют мировоззрение Н. Н. Бекетова.

Первого января 1901 года Николай Николаевич писал: «Поздравляю вас всех с новым столетием и с Новым годом. Вам всем желаю еще долго действовать в этом новом двадцатом веке, а дети ваши, мои внуки, хотя и родились в XIX столетии, но вполне сознательной жизнью начнут жить только в XX-ом, и потому они принадлежат к тому поколению, которое должно создать и дать определенную характерную окраску этому теперь только наступившему новому веку. Желаю этому молодому поколению хорошей и серьезной подготовки для предстоящей им деятельности (...) Новый год мы встречали вчера вдвоем с Володей *, т. к. сегодня только к нам соберутся родные. Все-таки мы встретили и Новый год и новое столетие недурно, в разных беседах. Я припоминал, сколько 19 век принес человечеству обновляющего и бодрящего, как эти начала распространялись и дошли в половине века до нас, и, наконец, такое всем бросающееся в глаза быстрое развитие науки и техники характеризует окончившийся XIX век. Поэтому мне кажется, что нет никакого основания сомневаться в том, что и наступивший XX век поведет человеческий дух еще далее, и вероятно, Русскому народу придется играть более деятельную роль, а главное, более самостоятельную и из подражателя перейти к роли инициатора — вот что предстоит моим трем внукам — вашим детям...»

Еще одно письмо Николая Николаевича написано совсем незадолго до смерти:

*«14 ноября 1911 года
понеделник, 8 ч. вечера
Милый мой друг Катя...»*

Ломоносовский день для меня прошел благополучно и даже удачно, потому что речи говорили почти рядом со мной и потому я без всякого напряжения мог хорошо все слышать, потому и не скучал. Празднество имело какой-то придворный характер — собрался какие-то расшittyе со всех сторон субъекты. Их, очевидно, привлек не Ломоносов, а великий князь Конст. Конст. наш Президент. Он ведь сочинил большую кантату, переложенную на музыку. После короткого приветствия и чтения приветственной телеграммы от государя началось пение кантаты хором и двумя артистами при громко-гласной и торжественной музыке, а затем депутации, которые подходили и молча (как им было заранее сказано) подавали свои приветственные листы, а перед этим секретарь по списку читал от кого. Началось, конечно, с депутатов от той волости, где родился Ломоносов и от города Холмогоры и Архангельска. Потом пошли Академия художеств и Университеты. Только что прошел Московский университет, как я устремился к столу президиума и вручил папку с

* Сын Н. Н. Бекетова, химик.



Н. Н. Бекетов и А. Н. Бекетов. Неизвестный художник.
1841 год.

приветствием от Киевского Университета св. Владимира. Это мне навязал ректор от имени Совета и очень запоздал, так что я не попал в список, и я, не желая дожидаться, сам уже устроил себе очередь и сейчас же уехал (около 5 часов, а началось в 2 часа). Со мной был Володя и Василий, подезд отдельный, так что мы тотчас же сели в карету и уехали — я совсем не устал и остался очень доволен, что отбыл эту повинность в мундире и орденах. Вот тебе подробный отчет о торжестве [...] Любящий тебя папа Н. Н. Бекетов».

А. Блок встречался с Н. Н. Бекетовым в Петербурге, наезжал он и в Шахматово, и общение с этим выдающимся ученым, прогрессивно мыслящим человеком не могло не повлиять на становление мировоззрения поэта. В дневнике 1918 года А. Блок с мрачной иронией вспоминает о той «аполитичности», с которой он слушал разговоры о общественных событиях в доме Николая Николаевича Бекетова. Когда в 1911 году Н. Н. Бекетов скончался, последним из братьев, Блок записал: «30 ноября. Сегодня ночью скончался дядя Николай. Конец

Бекетовского рода...» 1 декабря: «Сегодня вторая годовщина отца. Может быть и объявлено об этом в «Новом времени» или подобной попойной яме. Но я иду на другую панихиду. На вчерашней панихиде, несмотря на мерзость попов и певчих, было хорошо: неуютно лежит маленький, седой и милый старик. Последние крохи дворянства — Василий на козлах, простые, измученные Бекетовские лица, истинная, почти уже нигде не существующая скромность».

О петербургской жизни Бекетовых вскоре после рождения А. Блока много рассказывают письма сына Н. Н. Бекетова — Алексея Николаевича (1862—1941) родителям. В начале восьмидесятых годов XIX века Алексей Николаевич Бекетов, будущий выдающийся советский архитектор, академик, приехал из Харькова в Петербург для учебы в Академии художеств. В Петербурге юный Ал. Н. Бекетов часто бывал, а одно время и жил в семье деда Блока — А. Н. Бекетова, дружил со своими кузинами — дочерьми Андрея Николаевича и особенно с Алей, матерью А. Блока.



А. Н. Бекетова — воспитанница Смольного института.
Худ. Хорошевский. 1830-е годы.

Письма Ал. Н. Бекетова хранятся в семейном архиве его дочери Е. А. Бекетовой и внука Ф. С. Рофе-Бекетова в Харькове, которым автор выражает глубокую благодарность за предоставление этих материалов для публикации.

Для нас письма Алексея Николаевича особенно интересны не только тем, что в них содержится богатый бытовой и документальный материал о семье Бекетовых, о первых шагах выдающегося архитектора в Академии художеств, но и тем, что в них есть и не опубликованные ранее сведения о детстве поэта А. Блока.

С.П.Б. 25-го января 1883.

«...Вчера в воскресенье был с кузинами в цирке, они очень редко там бывают. Но теперь их прельстил знаменитый американский наездник лорд Гук, который действительно выделял поразительные вещи на совершенно неоседланной лошади, например, сидел задом наперед на самом кончике крупа, там, где начинается только хвост, при этом лошадь пускал*

* Сестры Бекетовы.



Ал. Н. Бекетов в форме слушателя Главного инженерного училища. Художник М. Тербенев. 1830-е годы.

в карьер и ни за что не держался, так что даже глазам не верится...

...Дядя* остался ректором. У них все здорово. Аля** получает от своего мужа*** пись-

* Андрей Николаевич Бекетов — ректор Петербургского университета.

** Александра Андреевна Блок — после рождения сына по настоянию семьи ушла от мужа А. Л. Блока, душевнобольного человека.

*** А. Л. Блок был профессором Варшавского университета.

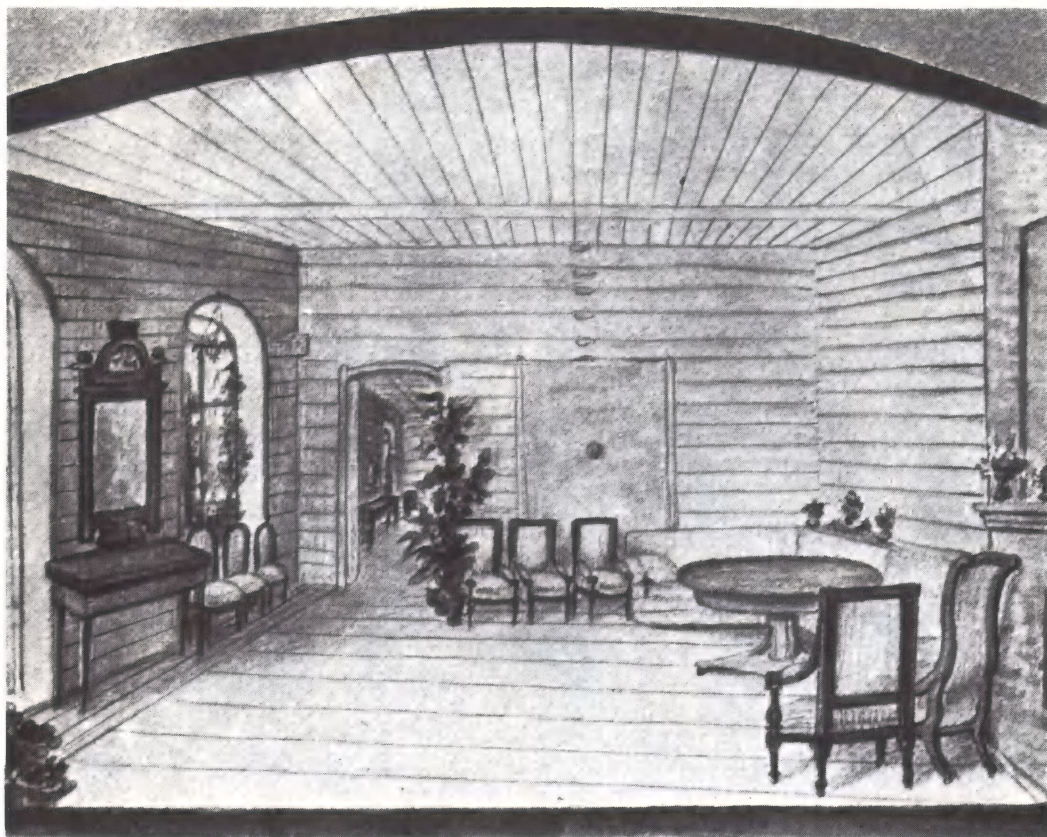
ма ругательного содержания, причем эти ругательства направлены преимущественно на дядю. — К подобным письмам они, впрочем, уже привыкли и стараются не обращать внимания.

А. Бекетов».

7-го февраля 1883.

«Милые мама и папа!

Третьего дня и вчера были дни, чреватые событиями; позавчера вечером можно было, войдя в большую актовую залу университета и подняв голову кверху, свободно считать звезды на петербургском небосклоне, другими словами, в университете был пожар, довольно



Интерьер дома Бекетовых в Алферьевке.
Акварель 1830-х годов.

большой, сгорела впрочем одна актовая зала, преимущественно потолок, и это произошло как раз за два дня до акта, заключений по поводу этого последнего обстоятельства можно сделать очень много, но объясняется пока это приключение очень миролюбиво, именно, что протапливали залу перед актом и в трубе был прогар, куда и проник огонь. Последнее время у нас здесь очень часто стали появляться пожары, на днях напр. вздумал было гореть гостиный двор, а в тот же вечер, когда был пожар в университете, как раз против Ак. Худ. сгорел совершенно один эстампный магазин; затем опять там в ту же ночь, против университета по ту сторону Невы сгорел до тла верхний этаж одного аристократического дома. Вчерашний же день или правильнее вечер был очень радостный для всего семейства дяди: на имя Али * из Комиссии прошений получена была бумага или вид, по которому разрешалось

ей жить с ребенком отдельно от мужа, и этот последний не имеет теперь никакого права требовать ни ее, ни ребенка к себе, так что теперь можно надеяться на скорое получение развода, который не будет уже стоить так дорого, как стоил бы прежде и всего несколько сотен, а не тысяч. Эти дни Маня * в отсутствие, она гостит в Кронштадте у своей подруги, которая кажется выходит замуж. Сейчас я отправляюсь на Балтийский вокзал встретить ее и привезти к дяде, воротившись откуда докончу письмо.

Был сейчас на вокзале, встретил Маню и привез ее домой, где ей так обрадовались, как будто не видели ее целый год. Акта в университете не будет, вместо него устроят только торжественное заседание.

Вчера в Ак. Худ. была оценка рисунков, я получил очень хороший номер, № 16, а перед этим был 73-й, так что большой скачок; в прошлом году лучший номер у меня был 26-й, след.

* Бекетовы добивались развода Александры Андреевны с А. Л. Блоком.

* Мария Андреевна Бекетова, тетка и будущий биограф Блока.



Братья Бекетовы — Николай Николаевич, Алексей Николаевич и Андрей Николаевич. Фото 1870-х годов.

успех, на представлении майских рисунков меня, вероятно, переведут в фигурный класс, надо будет только крепко держаться на 16-м номере и не шагнуть назад; так как в эту оценку переведено в фигурный 12-ть человек, то вычтя из 16-ти 12-ть будет 4 человека, которые рисуют лучше меня, а остальные 108 чел. хуже меня, конкуренция большая, надо держать ухо востро.

Чертеж окон Латеранского дворца кончил, не знаю, какую работу мне теперь даст профессор.

Как доехал Стоянов; получил ли Петя* сказки и нравятся ли они ему?

Скоро буду праздновать свое совершеннолетие, как жаль, что не с вами я тогда буду. Скоро и Масленица, а домашних блинов мне и не попробовать, у дяди не умеют печь хороших блинов, и не очень их любят. — До свидания, целую вас всех крепко

Любящий вас сын А. Бекетов.

Может быть, в этом году мне удастся раньше с вами увидеться по случаю коронации в мае. — Я до сих пор не собрался написать дяде Пете: весной, когда я буду уже в Харькове, можно будет мне съездить к нему дня на три, давно уж я его не видел».

11-го апреля 1883. С.П.Б.

«Милые папа и мама!

Очень досадно мне, что не удалось перейти в эту треть в фигурный, получил 4 номер из оставшихся, которых что-то около 100, из этого можете заключить, что рисунок мой хороший, досаднее всего то, что сознаешь свой рисунок лучше некоторых из тех, кого перевели, где видишь даже неверные контуры, и что это происходит от небрежности наших профессоров, которые стараются скорее перенумеровать рисунки, так как их очень много и, вследствие этого, весьма часто впадают в грубые ошибки. В эту же треть пересматривались Советом Академии и архитектурные работы учеников; здесь я вас поражаю: помните, я вам писал в одном из прошлых писем, что работаю тушью орна-

* Петр Николаевич Бекетов, брат автора письма.



Алексей Николаевич Бекетов.

мент; на нем теперь написали: «похвала от совета И. А. Худ.», его взяли в оригиналы за хорошее исполнение, и на акте, который будет осенью, я получу похвальный листок. Это для меня очень бесполезно, так как обратит на меня внимание профессоров архитектурного класса; замечу, чтобы похвастаться перед вами, что Совет нашей Академии не особенно щедр на такие похвалы, так что эта работа мне очень удалась, это вторая только работа акварелью, так что я вижу мне принесло большую пользу то, что я прежде работал масляными красками. Теперь усиленно занят приготовлением к экзаменам, которые начнутся 26-го Апреля и кончатся 7-го Мая. — Вчера, в Воскресенье, у нас в Академии был художественно-музыкальный Рафаэлевский вечер, участие в котором принимали только одни ученики Академии, публика состояла тоже из них, и были приглашены от нашего имени все профессора и их семейства, было домашнее торжество к юбилею Рафаэля; я вам покажу, когда приеду, памятный листок этого юбилея: с портретом Рафаэля, разными виньетками и стихами; все

это самостоятельно нарисовано и сочинено моими сотоварищами.

У дяди большое беспокойство, по случаю пребывания в Петербурге Блока*, который тревожит их своими неотвязными визитами, и вероятно пробудет здесь все праздники; пока идут мирные переговоры насчет развода, к каким результатам они приведут, трудно сказать. — Погода у нас здесь прекрасная, небо безоблачно и довольно тепло и сухо, хотя Нева еще не вскрылась; а у вас в Харькове, вероятно, уже жара и даже пыль. А что вам пишут из Крыма**, какая там весна? С возрастающим нетерпением ожидаю этого времени, когда увижусь с вами; всего три недели осталось мне жить в Петербурге, но каких трудных недели: весна и экзамены, как эти два слова не вяжутся одно с другим, а между тем их чаще всего приходится согласовывать вместе. До радостного свидания, целую всех вас крепко.

Любящий ваш сын А. Бекетов».

1 Мая. 1883.

«Милые папа и мама!

Поздравляю всех вас с 1-м мая. Третьего дня держал экзамен по ист. искусств; выдержал за два полугодия, получил 4; теперь занят приготовлением к следующему экзамену по перспективе, который будет послезавтра. Очень рад, что сдал два самых трудных экзамена: по механике и Ист. искусств, остались уже более легкие экзамены, хотя заниматься приходится все-таки усидчиво, потому что мало времени на подготовку. Вчера был у дяди, там уже начинают поговаривать о Шахматове***; дядя получит, кажется, скоро деньги на поездку в Одессу, тогда он, конечно, и к нам в Крым заедет; дядя Алеша**** будет 5-го в Москве и остановится в Лоскутной гостинице; я, вероятно, зайду с ним повидаться, когда буду проезжать через Москву <...> Письмо кончаю, потому что совсем некогда. До свидания, целую всех крепко

Любящий вас сын А. Бекетов

Это письмо вероятно последнее до отъезда».

15-го февраля 1887.

«Милые папа и мама!

Петербург меня встретил не очень гостеприимно; все это время мне нездоровилось, хотя серьезного ничего не было, кроме хрипоты, кашля и насморка, благодаря чему я почти всю масленницу просидел дома и лечился хиной и свечным салом; со вчерашнего дня чувствую себя совсем здоровым. От простуды здесь уберечься трудно; погода скверная, несколько раз на день то оттепель, то мороз и постоянно сильный ветер; после неудачного опыта ходить в пальто, я теперь надеваю исключительно шубу.

* Александр Львович Блок регулярно приезжал из Варшавы в Петербург.

** В Крыму у Н. Н. Бекетова была дача.

*** Квартира Н. Н. Бекетова на Васильевском острове в Петербурге.

**** Александр Блок.

Детальную акварель я уже давно, конечно, кончил и через две недели подам ее. Все это время, сидя дома я, благодаря французскому журналу, был не без дела и практиковался в разных архитектурных набросках, которые потом заканчивал акварелью; помогал также своему сожителю в составлении проекта «помещичьего дома», который теперь им задан.

Недавно ко мне заходил Эйхталь и сообщил, что деньги получил и квитанции отправил в Харьков, думая, что и я еще там. Хорошо, что ты, папа, написал про Абашева, а то я думал его здесь поискать. — Недавно я с Кракау был в нашей квартире * и снял с нее план, который и посылаю с этим письмом; нельзя сказать, чтобы квартира была в большом порядке; стоит она совсем не топлённая (я сказал, чтобы топили 2 раза в неделю), паркет в зале и кабинете полопался и затем обои грязны и оборваны, плита в кухне тоже неисправна. — Третьего дня в Правительственном вестнике было напечатано об утверждении тебя, папа, в должности академика; причем газета «Новое время» переврала и напечатала, что профессор Андрей Николаевич Бекетов назначен в Академию наук.

У дяди по-прежнему суета и хлопоты, Алю недавно только привезли из лечебницы домой, где она лежит и может иногда садиться, но ходить ей еще не позволяют, она в скверном положении: ее сын Саша ** опасно болен, у него плеврит, так что одно легкое временно не действует, он тоже лежит; каждый день у Дяди собираются два доктора и докторша, и лечение, кроме беспокойства, доставляет большие расходы; за одно пребывание Али в лечебнице в течение 2-х недель заплачено вместе с докторами и сиделками около 250 рублей.

Как же вы все поживаете? Погода у вас, кажется, довольно хорошая. Все ли здоровы? Пока от вас получил только одно письмо дежное.

Целую всех крепко.

Любящий вас сын А. Бекетов».

Яркой, незаурядной личностью был неоднократно упоминающийся в этих письмах глава петербургской семьи Бекетовых — Андрей Николаевич, дед Блока.

Андрей Николаевич начинал учение на восточном факультете университета, затем покинул его, решив стать военным. Но, будучи по натуре совершенно не расположен к военной деятельности, с удовольствием оставил и ее и, как многие молодые умы стремительных шестидесятых годов, занялся естествознанием. Его способнейший ученик К. А. Тимирязев писал об этом времени: «Не пробудись наше общество вообще к новой кипучей деятельности может быть Менделеев и Цешковский скоротали бы свой век учителями в Симферополе и



А. Н. Бекетова.

Ярославле, правовед Ковалевский был бы прокурором, юнкер Бекетов — эскадронным командиром, а сапер Сеченов рыл бы траншеи по всем правилам своего искусства».

Профессор-ботаник, ректор Петербургского университета в самые его прогрессивные годы (А. Блок и родился в ректорском доме), Андрей Николаевич Бекетов не пользовался симпатией в высших сферах. У властей имел он репутацию «Робеспьера». Кстати, из-за этого Высшие женские курсы носили название Бестужевских, по имени первого их директора историка Бестужева-Рюмина, а не Бекетовских, хотя основателем и вдохновителем высшего женского образования в России был дед Александра Блока. В интересных воспоминаниях О. К. Недзедкая пишет: «Помню, как в обществе взаимопомощи окончивших Высшие женские курсы откуда-то узнали про мое родство с Андреем Николаевичем, и все его соратники по части организации высшего женского образования в России стали мне говорить, что несправедливо, что ВЖК называют часто «Бестужевскими», что Бестужев был назначен директором курсов и

* Усадьба Бекетовых под Москвой, где семья проводила каждое лето.

** Алексей Николаевич Бекетов, брат Н. Н. и А. Н. Бекетовых.

что название «Бекетовские» было бы гораздо более правильным. У них — я это почувствовала по отношению к себе — сохранилось светлое воспоминание о Сашурином деде».

Живой, обаятельный, остроумный, А. Н. Бекетов привлекал к себе в дом студентов, совершенно не считаясь с положением приглашенных в обществе. Разносторонняя талантливость, доброта и благородство притягивали молодежь к Бекетову. И не было у беспокойных студентов Петербургского университета лучшего защитника перед властями, чем их седобородый ректор. В особо ответственных случаях надевал он свои ордена и отправлялся один, а иногда и с Д. И. Менделеевым хлопотать за «бунтарей». И не раз удавалось Андрею Николаевичу вызволять из беды своих питомцев во время студенческих волнений.

Очень любил дед Сашура Блок. В поисках редких растений целыми днями бродили они по шахматовским окрестностям, где дед учил внука азам ботаники. И второй неожиданный для многих современников Блока сборник его стихов «Нечаянная радость» несет явственный отзвук общения поэта с природой, начало которому положил в раннем детстве его дед:

Золотисты лица купальниц,
Их стебель влажен.
Это вышли молчалиницы
Поступью важной
В лесные душистые скважины.

Книги, письма, рисунки, стихи Андрея Николаевича раскрывают фигуру даровитую, многогранную, представителя того любопытного поколения ученых, когда ценилась не «наука для науки», а наука как средство развития личности. Он был представителем той лучшей части русской интеллигенции, которая составляет славу нашей истории. Александр Блок писал о своем деде: «Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно нам уже непонятны своеобразные и чисто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, лафос ее утерян, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым». Образ Андрея Николаевича обаятелен в поэме «Возмездие»:

Глава семьи — сороковых
Годов соратник, он поныне
В числе людей передовых,
Хранит гражданские святыни,
Он с николаевских времен
Стоит на страже просвещения,
Но в буднях нового движения
Немного заплутался он...
Тургеневская безмятежность
Ему сродни...

Таким был дед Александра Блока, собравший вокруг себя в Шахматове звено бекетовского рода. Единственным свидетелем жизни Бекетовых в Шахматове, кроме сказочной природы, являются развалины усадьбы церкви в селе Тараканово в двух километрах от бывшей усадьбы. Здесь в самом начале века отпевали дед Блока. А похоронен он был в Петербурге. На вокзале гроб с телом Андрея Николаевича встречал его старинный друг Дмитрий Иванович Менделеев.

Невдалеке от Москвы существовало еще одно место, где бывал поэт и где жили люди, кровно с ним связанные. Это Трубицыно — имение второго прадеда Блока со стороны матери Григория Силыча Карелина. Полная противоположность Бекетову — Карелин, человек пылкий, неудержимый в своих стремлениях, страстный путешественник, мог дать своему правнуку то мятежное беспокойство, которое настигало Александра Блока в определенные периоды его жизни. Отец Григория Карелина — Сила Деметьевич — прекрасный музыкант, посланный в молодости в Италию учиться капельмейстерскому искусству, был руководителем лучшего во времена Екатерины II «хора роговой музыки» (духового оркестра). Видимо, от него унаследовала незаурядную музыкальность бабушка Блока Елизавета Григорьевна, свободно игравшая на слух сложнейшие фортепьянные пьесы, причем исполнение ее отличалось выразительностью и отчетливостью.

Окончившему в 1817 году 1-й кадетский корпус 16-летнему прапорщику артиллерии Георгию Силычу Карелину прочили блестящую карьеру в канцелярии графа Аракчеева. Но веселый и остроумный прапорщик Карелин как-то, не выходя из канцелярии, нарисовал чертенка в мундире, с надписью «Бес лести предан», обграв недавно сочиненный для себя всеильным временщиком девиз «Без лести предан», за что его схватили и без суда и объяснений отвезли в Оренбург, где сдали в гарнизон оренбургской крепости.

Он мог прийти в уныние. Но пессимизму не было места в характере Карелина. Уже вскоре его добродушие, отличные способности, мастерское красноречие обратили на него внимание всего города, но «мысль его искала пищи в более широкой сфере деятельности. Он предался изучению естественной истории и, попав на этот желанный путь, не сошел с него во всю жизнь».

Человек разносторонне способный, Карелин выполнял самые разнообразные поручения оренбургских военных губернаторов. Он составляет карту пути от Симбирска до Оренбурга, отыскивает в Башкирии месторождения горного хрусталя, дымчатого топаза и яшмы, составляет статистические сведения о крае.

Вскоре, выйдя в отставку, Карелин полностью посвящает себя изучению азиатских окраин России. Экспедиции Карелина стали этапными в исследовании Средней Азии. Кроме чисто научных результатов, путешествия его сыграли большую роль в установлении друже-



А. Н. Бекетов с братьями и семьей в имении Урлейка.

ских отношений между Россией и народами, населяющими азиатскую часть ее. «Свой человек между киргизами и казаками, он равно привлекал и тех и других особою прямою и простотою обращения: к нему охотно шли люди, охотно сообщали ему о своих нуждах, целях и о характере взаимных отношений между всеми этими кочевыми и не кочевыми людьми всех сословий и племен».

В 1832 году Карелин совершает экспедицию для осмотра и изучения северо-восточных берегов Каспийского моря. Экспедиция эта продолжалась 80 дней — ее результатом были дневники, морской журнал, записи об обмелевании устья Урала и Каспийского моря, о морском разбое в северной части Каспийского моря,

о тюленьем промысле и морском рыболовстве на Каспии, а также многочисленные топографические планы и карты.

Главным же следствием этой экспедиции явилось предложение Карелина об утверждении и строительстве русского укрепления на восточном берегу Каспийского моря. Современный нефтеносный, бурно развивающийся Мангышлак хранит память о прадеде Блока, основавшем здесь крепость, названную Ново-Александровском. Сюда через четверть века отпускают с экспедицией ссыльного Тараса Шевченко, и носит ныне Ново-Александровск имя — Форт-Шевченко.

«2 мая с Божьей помощью мы вышли благополучно на Туркменский кряж, в урочище



М. А. Бекетов и Е. Г. Бекетова в Шахматове.

Кизил-Ташь, при подошве так называемых Турманных гор. — Это отрывки одного из немногих сохранившихся писем Карелина. — Киргизы встретили было нас грозно, с шумом и суматохою, но дело обошлось без хлопот. Потолковав немного, человек 1000 ордынцев при первой свезенной на берег пушке начали довольно скоро взбираться на ближние и дальние скалы. Немногим оставшимся на берегу, в почтительном, однако ж расстоянии, я растолковал о цели нашего прихода и ожидающих их великих выгодах...

18 мая торжественно заложен Ново-Александровск [...] укрепление состоит из двух бастионов и двух полубастионов, примыкающих к крутому обрыву Устюга...

Заложенный город обеспечивал России новую дорогу торговли — путь короткий и имеющий много колодцев с драгоценной водой. Отлично понимал это Карелин, писавший из только что основанной крепости: «Наше место представляет им многие преважные выгоды: 1) Караван избавится от хлопот и издержек 12-дневного лишнего хода. 2) Будет находиться не во власти вечно враждующих между собою кочевых племен, но под защитою укреплений. 3) Не подвергнется опасности и издержкам при переезде за море. 4) Получит возможность вместо одного рейса в год совершать три, четыре и пять, и будет то дело домашним, ибо отсюда в Хиву рукой подать.

Есть много выгод других, но пределы сего письма и терпение в. п. истощаются...

Действия Карелина имели цель далекую и заманчивую — обеспечить России непосредственную торговлю с Индией. «Сколько до сих

пор мог я разведать, — продолжает он, — по устьям Аму-Дарьи идти можно, следовательно, имея уголь на Аральском море и волоком не трогая Хиву, можете от нее вынудить все: и наших несчастных пленных, и уплату за многочисленные потери от их грабежей, и свободный по реке путь в большую Бухарию, и далее до ворот Индии.

Простите (<...>), увлекся; сижу у источника и вижу устья».

После следующей, в 1836 году, экспедиции теперь уже для исследования восточных и южных берегов Каспия Карелин привез ценнейший материал, уникальные коллекции, уточненные карты. Особый интерес представляла карта древнего русла Амударьи. Он исследовал туркменские степи, собрал интереснейшие сведения о туркменском народе, завоевал глубокое расположение к России у независимого туркменского племени иомудов. Дошел он и до Кара-Бугаза. «Из Балханского залива следовали мы в Карабугазский и были первые из Русских, ступившие на негостеприимные берега его. Здесь едва мы не погибли: один Бог спас нас».

В 1840 году началась продолжавшаяся пять лет экспедиция Карелина в Сибирь.

Он исследовал Алтай, Джунгарию, Саяны. Богатейшие ботанические, зоологические, геологические коллекции посылал путешественник Географическому обществу и многим естественным музеям. Полные описания этой экспедиции сгорели, но даже оставшиеся, кроме выдающегося научного значения, имеют и еще одно для нас весьма примечательное качество — как и письма Карелина, написаны они прекрасным литературным русским языком — на литературный талант Карелина, его чувство языка и стиля обращали внимание многие современники, например Дельвиг и Вольховский.

В 1852 году Г. С. Карелин составил интереснейший автобиографический документ, найденный через много лет после смерти землепроходца в его письме к С. Н. Карсакову, чье имение Тарусово находилось неподалеку от подмосковного карелинского Трубицына. Деятельность прадеда Блока, одного из одареннейших и оригинальнейших русских людей XIX века, красноречиво характеризует этот манускрипт, подлинник которого (беловой экземпляр) был передан Карсаковым в феврале 1852 года вице-президенту Императорского Русского Географического Общества М. Н. Муравьеву:

«В Тарусове, 5 января 1852 г.

Карелин воспитывался в 1-м Кадетском корпусе, из которого 16 лет выпущен в 1817 году в артиллерию Пропорщиком. Через год зачислен покойным графом А. А. Аракчеевым в Штаб военных поселений и занимался до 1821 года: летом съезжками и надзором за вырубкою лесов и осушением болот; зимою черчением карт и планов в графском доме.

В 1822 году, вследствие несчастного случая, переведен в Оренбургский Артиллерийский



А. Н. Карелина с дочерью Елизаветой (бабушкой поэта).
Дагерротип 1840-х годов.

Гарнизон. Там оставался он на службе до 1826 года и в это время командирован:

1) Сопровождать русского археолога П. П. Свинына по Оренбургской линии до Сибирской границы.

2) Для съемок при экспедиции в 1832 году, в Киргизские степи, под начальством Поливина (что ныне генерал-адъютант) Ф. Ф. Берга.

3) Для открытия месторождения горных хрусталей и дымчатых топазов.

4) По воле Его высочества, покойного Генерал-Фельдцейхмestера, двухкратно сопровождал артиллерийского Генерала Нератова для осмотра на Уральских заводах отливки артиллерийских снарядов.

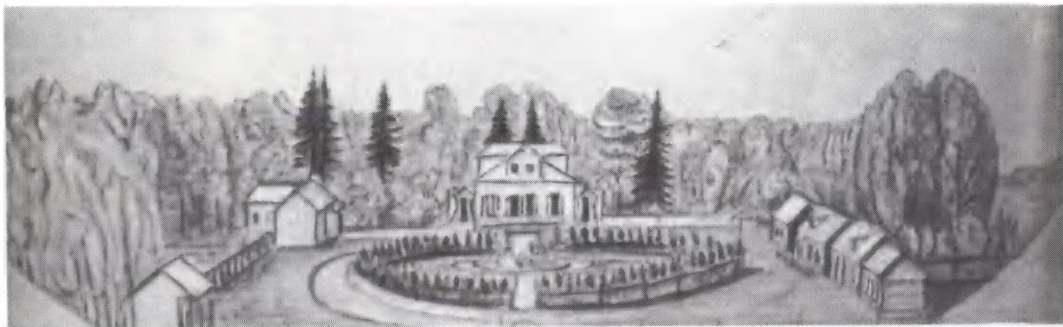
5) Послан был для составления топографического маршрута пути от Симбирска до Оренбурга и потом от Оренбурга до Екатеринбурга, по случаю вояжа покойного Государя Императора Александра Павловича.

6) Командирован в Киргизскую степь Малой Орды с инженером штабс-капитаном Гафеевым для исследования древних монгольских памятников.

С 1826 по 1830 год находился в отставке и в это время:

7) Совершил в товариществе доктора Эверсмана (ныне профессора Казанского университета) путешествие по внутренней или Букеевской Орде, которой и составил первую карту, за что по ходатайству г. Министра Иностранных дел удостоился получить бриллиантовый перстень. Карта эта, сообщенная Карелиным Эверсману, была издана в Берлине под именем сего последнего.

8) Сопровождал Шведско-Норвежских профессора Ганстена и лейтенанта Дуэ в путешествиях их по землям войска Уральского, в Букеевской Орде и оттуда до Волги, для астрономических и магнитных наблюдений.



Усадьба Трубицыно. Рис. С. Г. Карелиной. 1870 г.



Е. А. Бекетова.

9) Находился волонтером для исследования вершин реки Тобола при отряде под начальством полковника Генса.

10) Путешествовал по Башкирии и горным заводам Оренбургской и отчасти Пермской губерний.

В 1830 году зачислен снова на службу в ведомство Азиатского департамента Министерства Иностранных Дел с состоянием при Хане внутренней Киргизской Орды, с которым дважды обсуждал все подвластные ему земли.

11) В 1834 году по высочайшему повелению вновь начальствовал экспедицию для соору-

жения Ново-Александровского укрепления на берегу залива Кара-Су.

12) В 1836 году начальствовал по высочайшему повелению экспедицию для осмотра и описания восточных берегов Каспия.

В 1838 году перечислен в ведомство Министерства Финансов.

13) В 1840 году, с Высочайшего разрешения отправлен от Императорского Московского общества испытателей природы для исследования естественных произведений Хунгории и других земель. В этом году обозрел хребты Нарымский и Тарабагатай.

14) В 1841 году осматривал снежный хребет Алатау и так называемый Семиреченский край.

15) В 1842 году путешествовал по внешним округам сибирских киргизов: Баян-Аульскому и Каралинскому, причем осмотрел между прочим диоптазовые копи и ездил в восточный край Алтая.

16) В 1843 году через Каокбектинский киргизский округ прибыл к озеру Нар-Зайсану, описал его, собрал сведения о системе реки Верхнего или Черного Иртыша от истока его из озера Нар-Зайсана до Усть-Каменогорска на протяжении 400 верст.

17) В 1844 году исследовал систему р. Бухтармы, ездил по Хунгории и по северо-западным пределам Китая».

За постройку Ново-Александровска Карелин получил значительную премию и приобрел небольшое имение Трубицыно близ Москвы, куда перебралась его многочисленная семья. Вот как описано это место дочерью путешественника: «Дом, утонувший в саду, — речка в этом же саду, и около ста десятин отличного елового леса, живописно расположенного по скатам холмов и протекаемого тою же речкой — с холодными ключами превосходной воды». Но недолго выдержал неумный Карелин жизнь в подмосковной тиши. Он писал В. А. Перовско-

му, оренбургскому генерал-губернатору: «Шесть лет высидел я в Москве или в ее окрестностях и чувствую неотразимое желание еще постранствовать; предложил совершить нынешним летом небольшую поездку в Уральские степи до Каспийского моря...»

Он уехал 20 июля 1852 года.

«В 1852 г. приехал я на недолгий срок к устью р. Урала с главной целью наблюдать: оба перелета, гнездование и линянье птиц; но передо мною открылось такое обширное поле для наблюдений по множеству других предметов, а также свобода и затишье для приведения в порядок многих моих путешествий, что вместо двух годов прожил я безвыездно в пределах Урала-казачьих более 16-ти лет».

Загадка добровольного изгнания Карелина и жизнь его вдали от горячо любимой семьи была необъяснима всем, кроме его жены и бли-

ставного гвардейского офицера красавице и умнице Александре Николаевне Семеновой. Сашенька Семенова приехала в Оренбург из Петербурга, где училась в пансионе Елизаветы Даниловны Шретер. Она была близкой подругой С. М. Салтыковой, ставшей впоследствии женой поэта Дельвига, а после его смерти вышедшей замуж за С. А. Боратынского (брата поэта). В пансионе обе подруги занимались у Петра Александровича Плетнева — известного литератора, друга Пушкина и Дельвига. Плетнев с большим расположением относился к своим воспитанницам, одна из которых была дочерью почетного члена «Арзамаса». От Плетнева они узнали о Пушкине, Дельвиге, Боратынском, Рылееве, Бестужеве. Многочисленные письма, посланные С. М. Салтыковой-Дельвиг в Оренбург А. Н. Семеновой-Карелиной, впервые переведены с французского языка и использо-



Шахматово. Рис. Е. А. Бекетовой.

жайшего друга Г. А. Мансурова. Недавно из писем Г. С. Карелина к жене, хранящихся в архиве АН СССР, удалось выяснить, что в Гурьеве у Карелина родилась дочь и забота о новой семье удерживала его от возвращения.

Обширные дневники путешествий, издание которых в тридцати томах было подготовлено Карелиным в Гурьеве, чтобы материально поддержать семью, сгорели во время пожара в 1872 году. Вскоре умер и он сам. Но и дошедших до нас материалов достаточно, чтобы оценить незаурядную фигуру прадеда Блока, путешественника, ученого, литератора.

В Оренбурге Карелин женился на дочери от-

ваны в исследованиях Б. Л. Модзалевского.

Они дают богатейший материал для характеристик литературного быта эпохи, а для нас интересны еще и тем, что как бы непосредственно связывают русского поэта рубежа двух веков Александра Блока с литературной средой пушкинского времени, к которой близки были его предки. Благодаря этим письмам во многом прояснилась, например, судьба декабриста П. Г. Каховского — одна из наиболее романтических и трагических страниц в декабристской эпопее 1825 года. Исследователь пишет: «Теперь, благодаря дошедшим до нас девическим письмам Софьи Михайловны Салты-



9 мая 1866. Оренбург.

Е. Г. Бекетова.

ковой к ее столь же юной подруге Александре Николаевне Семеновой, к тому, что мы знали из прекрасной книги П. Е. Щеголева о Каховском, мы можем прибавить один прекрасный и жизненный эпизод...» И далее: «Он (Каховский), как теперь можно с уверенностью сказать, был и в личной жизни таким же пламенным, ни перед чем не останавливающимся, беспредельно дерзким и дерзновенным, каким он был в своей такой кратковременной, но такой яркой политической деятельности, когда, влюбленный в свое отечество, этот патриот хотел во что бы то ни стало принести себя в жертву этому отечеству и свободе его граждан».

В письмах Салтыковой упоминаются многие лица, игравшие значительную роль в ту не легкую эпоху. Вот отрывок из одного письма: «Вчера, прервав беседу с тобою, я вошла в гостиную и нашла там еще одного человека. Это был г. Якушкин, которого давно уже ожидали в



9 мая 1866. Оренбург.

А. Н. Бекетов.

Крашнево. Я очень довольна, что не приходится убавлять из того, что мне о нем говорили, — я не могу достаточно высказать похвал этому человеку: он очарователен, прекрасно воспитан, умен, имеет, как говорят, прекрасную душу, всеми вообще любим и ценим».

В письме идет речь об Иване Дмитриевиче Якушкине, будущем декабристе — о нем не раз упоминается и в других письмах. А нам, знакомящимся с историей семьи Бекетовых, будет интересно вспомнить, что на племяннице И. Д. Якушкина был женат прадед А. Блока Н. А. Бекетов.

Вот еще отрывки из некоторых писем, полученных в далеком Оренбурге в первой половине XIX века прабабушкой Блока: «Я передала Ольге и г-ну Плетневу, — пишет Салтыкова подруге 13 октября 1824 года, — все, что ты поручила мне сказать им, последний мил как никогда: каждый раз, что я его вижу, я люблю

его все больше <...> Он принес мне несколько отрывков из новой поэмы, которой занят в настоящий момент Пушкин, и настоятельно просит меня послать их тебе; что я и делаю. Сохрани их, — это драгоценность, так как это руки самого Пушкина, он прислал эти отрывки Дельвигу, который отдал их Плетневу, и только мы четверо знаем эти стихи <...> Очень прошу тебя, милый друг, сказать мне твоё мнение об этих стихах. Что касается меня, то я нахожу их очаровательными, в особенности, начиная вот с этого места: «Он пел любовь, любви послушной». Весь этот кусок очень красив, не правда ли?»

Неизвестна судьба автографов Пушкина, бывших у прабабушки Блока. По-видимому, их уже не было в подмосковном Трубицыне, когда в конце века туда приезжал Блок. Иначе, описывая посещение Трубицына в 1899 году, он, безусловно, упомянул бы о них. Блок же, перечисляя виденные им старинные портреты, картину в духе Белладжю, найденную на Урале и испорченную французами в 1812 году, вообще не пишет о каких-либо бумагах.

Переписка двух подруг шла весьма интен-

сивно. После того как Софья Михайловна Салтыкова стала невестой Дельвига, Пушкин упоминается почти в каждом письме в Оренбург.

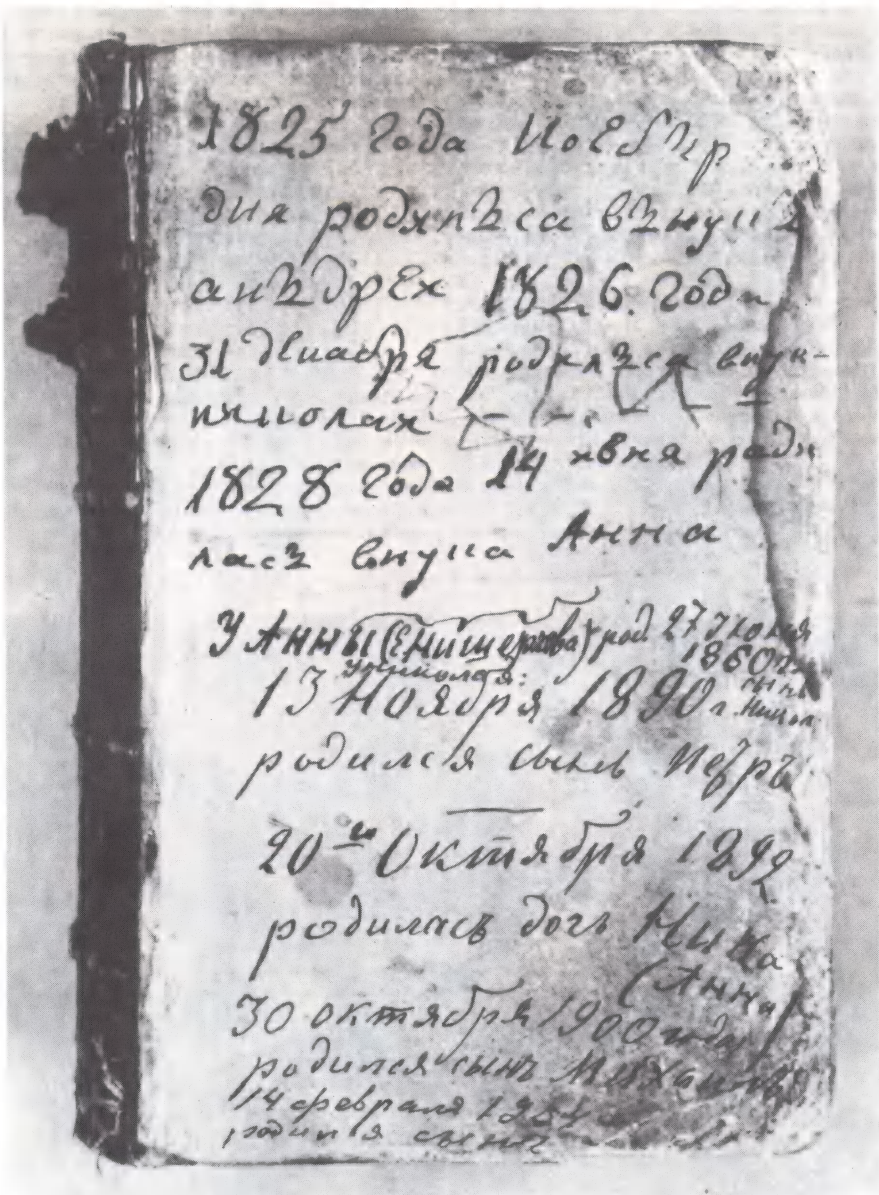
В одном из писем С. М. Дельвиг посылает Александре Николаевне стихотворение, посвященное ей Дельвигом:

От вас бы нам, с краев Востока,
Ждать должно песен и цветов,
В соседстве вашем дух пророка,
Волшебной свежестью стихов,
Живит поклонников Корана;
Близ вас поют певцы Ирана,
Гафиз и Сади — соловьи.
Но вы, упорствуя, молчите:
Так в наказание примите
Цветы замерзшие мои.

Была ли Александра Николаевна Карелина знакома с Пушкиным? Точных сведений об этом нет. Возможно, она встречалась с поэтом, некоторые мемуаристы сохранили об этом глухие воспоминания, но то, что близок был ей пушкинский мир, его интересы, заботы, стремления, — в этом сомневаться не приходится.



А. Н. Бекетов среди организаторов Высших женских курсов.



Родословная Бекетовых с 1825 года.

«Посылаю тебе «Северные Цветы» с портретом Пушкина и тысячу нежностей вам обоим милым и добрым друзьям нашим, от нас обоих истинно любящим вас [...] Вот тебе наш милый добрый Пушкин, полюби его. Рекомендую тебе его. Его портрет поразительно похож, — как

будто ты видишь его самого. Как бы ты полюбила его, Саша, ежели бы видела его как я, всякий день. Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь. Как находишь ты «Пулина»? Надеюсь, что ты не ложно-стыдлива, как многие мои знакомые, которые не решаются сказать,



А. А. Кублицкая-Пиоттх (мать поэта), М. А. Бекетова, А. Н. Бекетов, Н. Н. Бекетов, А. М. Недзвецкая и члены семьи Н. Н. Бекетова.

что они его читали. Мысли в прозе — Пушкина, и пьеса под заглавием «Череп», под которой он не пожелал поставить свое имя — тоже его. Это послание, которое он написал моему мужу, при посылке ему черепа одного из его предков, которых у него множество в Риге: вся эта история правдоподобна».

Через много лет 16 ноября (ст. стиля) 1880 года Александра Николаевна присутствовала при рождении в ректорском доме Петербургского университета своего правнука, будущего великого русского поэта Александра Блока. Вторую половину своей жизни провела Александра Николаевна в Трубецком, но жила в Петербурге в семье А. Н. Бекетова, которого нежно любила, и Шахматове, в том самом флигеле, где после свадьбы поселились Блок с женой. Александра Николаевна научила читать своего правнука Сашуру, как бы протянув нить, связавшую две эпохи русской литературы. И когда за несколько месяцев до смерти Александр Александрович Блок начал речь, произнесенную в Доме литераторов на торжественном собрании в 84-ю годовщину гибели Пушкина словами: «Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук, наполняет собою многие дни нашей жизни», — он

имел право так говорить и как поэт — продолжатель пушкинских традиций, и как человек, непосредственно, через близких по крови людей, связанный с Пушкиным и его кругом.

Любовь и понимание литературы, «слова» унаследовала от своей матери Елизавета Григорьевна Бекетова, бабушка Блока. О ее литературном даровании много и тепло пишет он в автобиографии. Елизавета Григорьевна много переводила, и ее переводы пользовались популярностью долгие годы. Она была знакома с Гоголем, А. Григорьевым, Достоевским, Толстым, Полонским, Майковым. Блок бережно хранил в своей библиотеке экземпляр английского романа, который дал ей для перевода Ф. М. Достоевский.

Трое из четырех дочерей Бекетовых тоже занимались литературой.

Наибольшей известностью пользовалась старшая — Екатерина Андреевна (по мужу Краснова). Творчество Е. Бекетовой сейчас почти забыто, но вот что писали журналы по выходу сборника ее стихотворений: «Эти стихотворения, составившие небольшой том, полны любви к природе, наполнены теплом и светом весеннего солнца и ароматом цветов <...> В стихотворениях Бекетовой нет ни демонической

силы, ни блеска великих поэтов, но в них есть непритворное, искреннее чувство и скромная красота, чего в помине нет у большинства молодых поэтов, особенно нового декадентского пошиба. Томик стихов Бекетовой — настоящий подарок любителям поэзии».

Екатерина Бекетова — автор известного стихотворения «Сирень», на слова которого написан один из лучших романсов Сергея Рахманинова. Изящное, полное тонкого лиризма стихотворение нашло второе рождение в музыке.

Попуту, на заре
По росистой траве,
Я пойду свежим утром дышать
И в душистую тень,
Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать...

Шахматовская сирень, шахматовский парк оживают в этих строчках. Екатерина Андреевна Бекетова была и неплохой художницей. Среди ее бумаг сохранилось несколько шахматовских этюдов, выполненных акварелью и цветными карандашами. На одном из них — тонущий в кустах сирени небольшой бекетовский дом, каким он впервые встретил Александра Блока, впоследствии писавшего в «Возмездии»:

И лишь по голубой стене
Бросает солнце листьев тени,
Да ветер клонит за окном
Столетние кусты сирени,
В которых тонет старый дом.

В поэзии Блока и романсе Рахманинова сохранила свою жизнь жемчужина весны — шахматовская сирень. Но за этим великим именем не должно забываться имя русской поэтессы Екатерины Бекетовой, одной из «образованнейших и симпатичнейших русских женщин», как писал в 1895 году в петербургской «Неделе» автор статьи о ее творчестве. Она умерла молодой, когда Сашуре исполнилось всего 11 лет, и все эти годы был он ее кумиром.

Любовь к литературе развивалась у Екатерины Бекетовой под влиянием родителей, а окончательно ее взгляды оформились во время обучения на Высших женских курсах. Особо отмечал ее профессор Веселовский, под чьим руководством составила она курс лекций по средневековой литературе. Екатерина Бекетова, автор известной в свое время повести «Не судьба», оставила по себе память в основном поэтическими произведениями. Ей была свойственна унаследованная, видимо, от отца-ботаника тонкая наблюдательность и любовь к природе, которая трансформировалась в удивительно легкие и изящные стихотворные строки. Практически все ее стихи написаны в Шахматове, как и будущие шахматовские стихи Блока, они навеяны очарованием неповторимого пейзажа срединной России.

Кто бывал в Шахматове, узнают его окрестности, его дали в строках небольшого стихотворения Екатерины Бекетовой:

На бледном золоте заката
Чернел стеной зубчатый лес,
И синей дымкою объята,
Сливаясь с куполом небес,
Во все концы струилось море
Уж дозревающих полей
И волновалось на просторе
В сиянии гаснущих лучей.
Закат потух... Но свет нетленный
Уж на земле теперь сиял
И на полях запечатленный,
Вечерний сумрак озарял.
И с вышины смотрело небо,
Одевшись мантией ночной,
Как волны золотого хлеба,
Вносили свет во мрак земной.

Это было написано в 1888 году. Александру Блоку исполнилось 8 лет. И эти поля, и зубчатая кромка леса на горизонте, и стога под сумеречным небом, и разбросанные по холмам деревеньки уже входили в его сознание, чтобы через годы выкристаллизироваться в неповторимых поэтических строках:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.
Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Разные таланты, разные эпохи, разное восприятие мира, но неразрывная нить связывает судьбу Александра Блока с жизнью и творческой энергией его предков. Свою концепцию рода отчетливо сформулировал Блок в предисловии к «Возмездию»: «Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и проч.).

Словом мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека (...) Но семья брошена, и в следующем первенце растет новое более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное очущается, наконец, ошутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытывавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие...»



Лев Александрович и Ариадна Александровна Блок — дед и бабушка поэта. Дрезден.

С. Небольсин

Из родословной А. А. Блока

Почти классически традиционен образ Блока в глазах историка литературы: «родовитый дворянин», «потомок богатырей», сдержанно замкнутый, не лишенный даже некоторой надменности «принц» — Блок». Так нарисовал этот образ Д. Благой в известной статье «Александр Блок и Аполлон Григорьев», противопоставляя поэта — «принца» литератору — «мещанину».

Можно припомнить много блоковских портретов, сделанных живописцами. Образ, предложенный Д. Благим, тяготеет больше всего к

одному из них, писанному Сомовым в 1907 году. И хотя мироискусник Сомов овеивает свой предмет довольно уловимыми токами «демонизма», исходящими скорее из атмосферы декаданса, чем из глубин рода, кажется, что сам поэт думает о себе в миг изображения прежде всего так, как это закрепляет в слове Д. Благой: надменный «принц» более чем падший ангел.

Тем не менее не всегда было неизменным отношение Блока к своему роду как «роду богатырей». И не всегда была однозвучной долго и настойчиво певшаяся Блоком художественная мелодия рода, семьи. Это тем очевиднее, чем полнее мы обогащаем себя знанием блоковских трудов и дней, которым поэт методично делал подробную опись, но которые еще не целиком отражены в печати. Ведь за пределами публикаций и комментариев еще остаются довольно содержательные эпизо-



Екатерина Блок — прабабушка поэта. Миниатюра конца XVIII в.

ды его жизни, любопытные факты из его родословной, красноречивые оценки и себя самого, и доставшегося ему семейного наследия.

* * *

Известно, например, что в детстве семья Блока — это исключительно Бекетовы с их уютной петербургской и шахматовской домаш-



Квартира А. И. Блока в Петербурге.

ностью. Известно, что с юности над этим уютом реет все более тревожащая тень далекого отца; а с 1909 по 1918—1919 годы — еще и «варшавская» сестра Ангелина Блок, навевавшая поэту чувство почти родительской ответственности за ее искания, за ее судьбу (об этом интересно пишет Н. А. Павлович в воспоминаниях, опубликованных в одиннадцатом томе «Прометей»). Еще по одной линии — дядя и тетки, двоюродные братья, один из которых, Георгий Блок, оставил интересные мемуары о поэте: «Герои «Возмездия» в «Русском современнике» (1924, № 3).

Менее известно другое. Родственные связи Блока пополнялись и позже. Причем, обнаруживаясь, они не просто принимались Блоком, а подолгу уязвляли и терзали его. Заметить это, впрочем, нелегко, если опубликованные тексты Блока, а заодно и комментарии к ним не подвергнуть дополнительному обследованию.

Когда летом 1917 года к поэту зашел сосед по квартире (Блоки жили тогда на Офицер-

ской, 57), назвался родственником и передал избирательные списки в городскую думу, ничто никаких терзаний не предвещало. Камерюнкер ушедшего в небытие двора «фон Шульман» оказался Блоку дальним родственником с отцовской стороны. Что здесь могло, собственно, смущать? И даже если потом, в течение 1918—1919 годов, Блок то говорит «несколько колкостей г. Шульману» во время уличного дежурства (1918, март), то замечает, что некий неказистый красноармеец «лучше Шульмана» (1919, июль), читатель вправе оставаться безмятежным. Он все равно не догадывается, насколько сильно заряжен здесь кровнородственный сюжет. Что же произошло между тем незаметно для читателя?

«Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством (называть его по имени, занятия и пр. — лишнее), он обстрижен ежиком, расторопен, пробыл всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюш-

ком — тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распорядается и пр. Везде он.

Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли <...> Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа <...>; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».

Дневник, прямо современный «Двенадцати». Там старый мир, как пес безродный, — в целом. А кто же «сатана» здесь?

Не сразу поймешь, что это все тот же Шульман.

Немного странно, что комментатор блоковских дневников в их наиболее известном на сегодня издании (седьмой том синего восьмитомника, 1963) решил здесь настолько пощадить правду, что взял под защиту жертву чьего-то антибуржуазного гнева и не помог читателю опознать ее: «Люблю кадетов по крови», — сказал как-то Блок; почему же не добавить сюда им же сказанное «ненавижу»?

Общий для всего издания указатель имен при другом томе как-то спасает дело. Если найти в нем — специально и сознательно — фамилию Шульман (с инициалами Ф. А. и благород-



А. И. Блок — прадед поэта. Акварель Петра Соколова.

ной частицей «фон»), то можно потом все-таки догадаться: там, в дневнике за 1918 год — тоже он, блоковский родственник, хотя ни строки в том же указателе не найдешь ни о жене буржуа, ни о его дочери. Но кто же это станет заранее предполагать именно Шульмана в ненавистном Блоку соседе?

Полезно разобраться и в составе этой семьи. Здесь только одно приводит к подлинным и почти полным сведениям: добротные петроградские адресные книги, издание сперва суворинское, потом Лениблсовета. Со временем «Офицерская, 57» там редактируется на «Декабристов, 57». Но в лениблсоветовских выпусках 20-х годов есть интереснейший перечень переименованных улиц. И, сопоставляя старые справочники с новыми, мы успеваем уточнить по ним многое. Сперва это само имя «буржуа-сатаны»: не Ф. А., а Р.Р. — Руфим Рудольфович Шульман, причем совсем без «фон». Потом его род занятий (по Блоку, вспомним, «называть его по имени, занятия и пр. — лиш-



Н. И. Блок — прабабушка поэта.

нее»; но камер-юнкер, действительный статский советник — это едва ли мелочи). А затем и некоторые штрихи к портрету жены. Глафира Анатольевна, проживавшая по тому же адресу гораздо дольше Руфима Рудольфовича, — «педагог».

Тема родственного Блоку буржуазного семейства не бессодержательна. Но даже в наиболее авторитетном издании, ведущей фигурой которого был такой известный специалист, как В. Н. Орлов, она почему-то не была доведена до конца. Создается впечатление, что с лета 1919 года эта тема у Блока как бы обрывается. Однако последняя, не опубликованная полностью записная книжка Блока за 1921 год позволяет сказать: не просто соседство, но и знакомство с родственной семьей у поэта продолжалось. Именно в этой книжке упоминается-таки, и уже с полной расшифровкой имени и отчества, барышня-дочь: **Ирина Руфимовна Шульман**. Не некое постороннее лицо, которое, по сообщению недавно изданного указателя переписки А. А. Блока, было случайно занято распродажей блоковских нот, а член все той же враждебно-родственной семьи, на соседство и общий быт с которой жизнь обрекала поэта как раз тогда, когда он сам с прошлым порывал, а оно упорно продлевалось.

По сути дела, эта длительность с 1917 года пожизненная, равная целой эпохе в биографии Блока. Странная, напряженная и остросимволичная связь. Конечно, не пусто самобичующее и страдальческое признание поэта: «люблю... по крови». И конечно, уже в нем самом слышится некрасовско-блоковское «люблю-ненавижу». (Блок любил обращать эти же слова и к родине, даже при всей условности «родства по крови» с родиной-женой: «О, Русь моя! Жена моя!..») Но слова ненависти пробиваются именно сквозь тошнотнотягостное сознание родства. И чуткий к напряженной многозвучности любой блоковской идеи человек едва ли не найдет в них ценного комментария — и биографического, и психологического, и духовного — как к «Двенадцати», так и к «Интеллигенции и революции», так и к наброскам (еще не прочтенным полностью) «Русского бреда» *.

С таким грузом самосознания входил в революцию не один русский интеллигент-патриот. В поколениях и поколениях он проходил школу героев пушкинского «Рославлева», де-



Л. А. Блок, дед поэта. Миниатюра середины XIX в.

кабристов и Герцена. От «ты руки потирал от наших неудач» и «нежно чуждые народы возлюбил» — к «до боли нам ясен долгий путь». А начало XX века налагало на его облик оттенки еще и иного, гаевского тона: странно влюбчивый блудный сын.

Раз коснувшись вопроса о не до конца прочтенном или напечатанном лишь выборочно, нам тяжело здесь оторваться от предсмертной записной книжки Блока. Не однажды была она названа собранием малоинтересных для широкого читателя бытовых заметок, денежных подсчетов и не более; до 1971 года она не публиковалась совсем, да и в этом году в шеститомном огонковском издании Блока

* Следует добавить, что в блоковском восприятии Петрограда и его буржуазных обитателей в 1918 году на образ И. Шульман накладывается образ другой соседки поэта — «мадемуазель Врангель», о которой Блок с сарказмом пишет в дневнике 5 января («тренькает на рояли» и т. д.).



А. Л. Блок (отец поэта) с братьями Петром и Иваном. Фото начала 1860-х годов.

опубликована была лишь частично. Однако эта книжка на деле не столь бытовая. Напротив, это клад бесценных сведений о последних связях поэта с жизнью. Это сведения о новых творческих планах Блока; о литературной борьбе того времени (скажем, о нелепости потуг некоторых акмеисток войти в число «выдающихся поэтов двадцатилетия»); это свидетельства о живом интересе поэта к миру, о судьбе «Двенадцати» за рубежом... Словом, свидетельства о том, что смерть поэта в 1921 году вовсе не какой-то зловеющий исход непереносимой и будто недобровольной творческой немоты. Это просто обычная смерть. И если она впечатляет, то единственно тем, что подкосила человека в минуты, быть может, наиболее глубокой жажды творчества. Книжка заслуживает публикации целиком. А пока что, читая в ней отчетливо запись «Ирина Руфимовна Шульман», мы останавливаемся на одном. Неожиданно-родственные связи, кото-

рые порою навязывали себя Блоку, остались в поле его зрения до самой кончины. Где, кроме общедоступных блоковских архивов, хранятся их следы сегодня? Уже известные имена и адреса делают розыск отнюдь не безнадежным.

Еще раз о «не включенном». Вспомним, например, что из печатных текстов 1918 года на время исчезают почему-то блоковские упоминания Любови Александровны Дельмас, героини «Кармен». Между тем как январский дневник за этот год изобилует записями: у меня Дельмас... у меня весь день, всю ночь Л. А. Дельмас... А ведь это тоже строки, современные «Двенадцати», именно в эти дни создавалась поэма! И если так, то не героиня ли 1914—1915 годов —

Страстная, безбожная, пустая —

отразилась в облике забубенно-страстной Катки? Катка гибнет ведь в чисто карменовском

треугольнике, хотя и с питерским колоритом.

Не будь этих записей о Дельмас, мало что личного и биографического нашли бы мы в поэме по женской линии. Разве что следы редакторского вмешательства Любови Дмитриевны в строках о Катьке: «гетры новые носила, шоколад миньон жрала». По какой-то безупречной женской интуиции вытравляя в окончательном тексте именно «цыганские» штрихи, это ведь она, а не сам Блок, заменила «юбкой улицу мела» на «шоколад миньон жрала». Гибель «девки» с изысканною «родинкой пунцовой возле левого плеча» — гибель художественная, в стихах — мало убеждала чуткую подругу человека-артиста. Однако вытравить все было, конечно, невозможно. Если не сама поэма, то несколько дневниковых строк, спасенные от такой редактур, приводят с собой тему, не чуждую «Двенадцати».

Не станем, конечно, даже и предполагать, что за дочерью презренного буржуа либо, скажем, за ее матерью скрывается то же, что за Дельмас — Кармен. Скорее ведь наоборот. Как подсказывает тон записей 1917—1918 годов о родственниках-соседях, здесь, наверное, был источник впечатлений, питавших поэзию скорбно отрицающую, желчную. «Негодование рождало стих», как любил повторять Блок со времени «Ямбов». Однако нам важен не параллелизм двух разных страниц внутри приватной биографии Блока, а известное созвучие биографии и поэзии вообще. Ведь в этой поэзии живет не просто надуманный лирический герой. «Там человек сгорел» (слова, любимые Блоком):

Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!

Есть и здесь поэтическая условность: после каждого испепеляющего творения автор, конечно, остается в живых. Но видно и другое: что Блок хотел бы донести до людей и тот гибельный пожар, который однажды испепелил его до конца. Может быть, как раз потому, что эта жизнь была в чем-то поучительнее не за всем поспевавшего искусства.

Впрочем, допустить, что биография художника хоть на минуту может снять с себя обязанности искусствоведения, невозможно. Установивать заранее, где именно жизнь будет исследоваться как таковая, без ожидания ее еще неизвестных связей с творчеством, довольно трудно.

Трудно это и для нас. И нам тоже интересен не только изменчивый «состав семьи» Блока — семьи то суженной до одних Бекетовых, то отягощенной окружением странных



А. Л. Блок — отец поэта.

родственников, то снова одинокой и «несчастной» (как говорит Блок в дневнике 4 января 1921 года), то снова осаждаемой, уже по смерти поэта, депутациями «родных и близких». (То самое, о чем обескураженно сообщала мать поэта знакомым в августе 1921 года.) Менялось с годами само видение семьи и рода глазами поэта; а это уже отражалось на мелодиях его стихов.

Мелодии «родового начала» нередко даже главенствовали в поэзии Блока, и самосознание, питавшее их, было полно мучительных противоречий.

* * *

«Из семьи Блоков я выродился. — — — нежен. Романтик», — гласит запись за 16 июля 1903 года (через три тире мы обозначили не поддающуюся расшифровке часть записи). И, казалось бы, ясно: томный иннок и певец «Прекрасной Дамы» сам готов отказать себе в прочном родстве с предками из «принцев» и «богатырей».

Но прочтем еще одно блоковское признание, дошедшее до нас лишь по-сербски, в малоизвестной публикации 30-х годов, и восхо-

дящее к 1904 или 1905 году. На экземпляре тех самых «Стихов о Прекрасной Даме», что вполне позволяло обреченно сознаваться в романтической разнеженности, и с обращением к тому самому человеку, который, очевидно, представлял род со стороны демонически-мужественной, поэт пишет нечто неожиданное. Надпись гласит: «Уважаемому профессору Александру Львовичу Блоку, в знак духовного родства». (В сербской записи с неизвестного нам оригинала — «Уважаемому профессору Александру Львовичу Блоку, у знак духовного родства».)

Блок настаивает на том, от чего только что отрекался. Место «вырождения» опять занимает возвышенное духовное «сродство». Пусть родство не «принцип», но все же суровым северянам — балтийцам, путешественникам, «рыцарям»... Невольно отмечаешь, что примерно так, вспоминая о древних датских шкиперах, рисуют многих: скажем, Нильса Бора с его суровым нордическим лицом и с его отчаянным плаванием через Балтику в памятный ноябрь 1943 года. Да и Блоку бывал близок подобный идеал и даже подобный образ. Вот какую прозаическую миниатюру мы обнаружили не так давно в блоковском домашнем журнальчике «Вестник» за 1895 год (она пока не вошла в собрания сочинений поэта). Испытавший длинную, многовековую цепь поражений в борьбе с морем — «Адриатическим», «Эгейским», — человеческий род утверждает себя, наконец, как победитель именно в полнощных волнах:

«...По Северному морю — цитируем финал, — неслись льдины и сталкивались с грохотом. Море кипело. Высокие волны ходили по нему. И вот вдали показалась черная точка. Она приближается. Это корабль: он борется с бурей. Его стройный корпус дрожит от напора волн.

Морская царица выплывает; стая буревестников кружится над пеной. С севера мчится туча с вихрем и ураганом. Вот она налетела; волны бросают корабль; он то летит кверху, то скрывается в пучине.

Буря стихла. Туча пролетела, но не сломала корабль. Сияющее солнце озарило его палубу, и он мчится навстречу новым бурям, весь покрытый блестящими брызгами. А море катит свои темные волны и колышет морскую царицу, и солнце играет на ее золотой короне...»

Нордическая героика, общая для многих борцов, искателей страны далекой. Да и блоковский баланс падений и взлетов это несколько выправляет в светлую сторону. Будет буря на пути в «желанную страну» — мы поспорим

и т.п. Однако от Блока безнадежно ждать окончательно умиротворяющих разрешений. Раз навсегда не решают дела ни отроческая миниатюра, ни надпись на «Стихах о Прекрасной Даме», где поэт роднит себя с демоническим корнем.

Этот известный Макс Нордау, автор «Вырождения», раз сменил свое будапештское Зюдфельд на мужественный северный псевдоним и потом уже не колебался. А у Блока чуть ли не на следующий же год после подарка отцу в «Ангеле-Хранителе» говорилось уже совсем иное. Поэт и о себе высказывается мрачно и весь свой род не возносит, а тоже клянет:

За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои — поколение рабов...

По духу «выродился» — но «духовно родствен»; предки-борцы, но предки-рабы. И даже на программное «дитя добра и света» (слова, сказанные 5 февраля 1914 года) сразу же наложен скорбный, «угрюмый» тон: «мы — дети страшных лет России», порождение «глухих лет» (сказано в том же году 8 сентября). Так что, пожалуй, лишь в послереволюционные годы надежда и свет возобладали без отступления.

В «Двенадцати» (1918) они торжествуют над глубоко потаенным автобиографическим подтекстом родового проклятья за подложное самообожествление. (Вместе с символом «белой розы» и «венчика из роз» эта нота искупления идет от К. Брентано. И, прочитывая в «Двенадцати» лишь параллель-тождество «Исус Христос — Александр Блок» без ее испушительной окраски, М. Пришвин, а позже критик-марксист А. Макаров скорее всего сужают смысл финала поэмы.) А в «Возмездии» искупается тягость гражданской вины рода, из поколения в поколение неспособного к самоутверждению действием. Последний молодой отпрыск вырождающейся фамилии тоже стоит у гробового входа, поглотившего много несостоявшихся судеб. Но он утверждает, наконец, свободу от рока и стихий и тем самым искупает родовые прегрешения. Здесь появилось-таки дитя добра и света; но добра и света уже никак не дарового.

Любопытно, что если в поэзии Блок 1921 года стремился дописать именно этот антифаталистический сюжет, то он и в «реальной жизни» ждал подобного искупления. Ждал от своего не артистического, а собственно кровного отпрыска. «Если это будет сын, пожелаю ему только одного — смелости...» (Хочется верить поэте Марине Цветаевой, донесшей до нас в своей передаче этот обрывок из неизвестного в оригинале блоковского письма.) В общем

итоге, слова из эпиграфа к последней поэме Блока («Юность — это возмездие», то есть возмездие новых поколений за грехи и слабости старых) кажутся настолько лично, задушевно блоковскими, что иногда их без оговорок приписывают самому поэту. «Юность — это возмездие, по словам Александра Блока...» — написал однажды В. Я. Лакшин. И хотя критик и текстолог грешит здесь против истины, лично и просто почитательски он, конечно, прав. Слова Ибсена, которые открывают «Возмездие», любой не обремененный излишней ученостью читатель воспримет именно как личную идею самого Блока.

* * *

Колебания в отношении к отцам и предкам неудивительны, если вспомнить, насколько сложную гамму подобных настроений нам оставил и как будто даже завещал еще XIX век.

У нас в так называемую романтическую эпоху, когда складывалось столь многое из того, что потом «переверотилось», твердо и раз навсегда высказался о родословных, пожалуй, лишь Пушкин. Уже этой твердостью подняв себя над терзаниями романтизма, он «уважал справедливую гордость родом и происхождением везде, где оно делается источником нравственного достоинства и сочувствия к прошлому своего отечества».

По Пушкину, «гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Вот критерий, вполне пригодный для того, чтобы отличить Пушкина от его же Евгения из «петербургской поэмы»:

Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почившей родне,
Ни о забытой старине.

Много написано — трогательно и крайне многозначительно — насчет общности у Евгения и Пушкина их «трагически неразрешимых проблем». Но проблемы эти на деле разные. Разные уже потому, что Пушкин умнее, памятливей и нравственнее Евгения. Он гораздо больше знает о прошлом, и он-то как раз сыновне «тужит» о нем. Он же, прибавим, еще и более доверчив, более зорек, более трезв и в своих ожиданиях от будущего. У Евгения в будущем — не более, чем «внуки нас похоронят». А у самого поэта было не только приветствие «юношам безумным». Иногда кажется, что именно по-пушкински некоторые метры реализма — «море смеялось...» — напутствовали бодро шедших к ним с топором и за-

ступом внучат-футуристов. Пусть младая будет жизнь играть! Но у Пушкина, кроме доброты и снисходительности, были еще и требования к молодости, не лишние и в наше время. Правильно станет, надеялся Пушкин, не злорада «не помнящих родства», а как раз родственная обязательность наследников перед лицом мощных «учителей своих» — хотя бы и смещаемых. Полное же достоинства чувство родства и равенства с героями былого времени вполне позволяет и в будущем никогда не пугаться любого «мощного властелина судьбы». Сколько бы ни изощрялись филологические умы в параллелях «на дыбы — на дыбу», но над пасынком судьбы, в пределах чьего самосознания Пушкин якобы «мудро» замкнул свой ум, это родство высоко поднимает разумного человека.

Контраст с Евгением во взглядах на предков и потомков — до времени не конфликт. Евгений был распознан Пушкиным, гуманно включен в знание о мире и до времени с Пушкиным — несоизмерим. Распознан был и штатный зоил, пустивший шутку,

.....сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал...

Сильнее тревожила и уязвляла поэта критическая мысль иного толка. То в частном дружеском письме, то в светском разговоре, то с кафедры она журила Пушкина не менее строго и дотошно, чем официальная печать, и гораздо дольше, чем она. Не только Наполеон был «сам себе единственный предок». Артистическая натура той эпохи, имевшая своим наполеоном Байрона, тоже рвала пути наследственности, семьи, «законов», «общества» и, разумеется, «обстоятельств пошлой существенности». Ею владели совсем другие раздумья о значении отцов и назначении детей. Причем и романтизм наиболее глубокий, зримо перераставший даже Байрона, был одержим призраками унаследованных не доблестей, а пороков. Он сквозил «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом», осыпал упреками то выродившееся настоящее, то несостоятельное прошлое. Тогда как для Пушкина — и здесь уже не генеалогия, а собственно философия большого человеческого рода — таких прошлого и настоящего попросту не было, и это правилось не всем.

Но вот что, впрочем, заметно и у пессимистов-философов. Разочаровываясь эволюцией человечества в целом, ради обособленного «личного достоинства» углублялись в историю и они. И не только романтики, хотя прежде все-

го вспоминается, что именно Байрон был при случае не прочь поговорить о великом предке Вильгельме Завоевателе.

Трезвый, подчеркнуто неромантический автор «Человеческой комедии» был, например, всерьез озабочен, как бы скромное «Бальзак» отредактировать в импозантное «де Бальзак». С известной точки зрения, что может быть выше титула «человека-артиста»? Но признанный в таком высшем титуле Афанасий Фет чуть ли не всю жизнь сражается за чужую родовую фамилию. «Романтическая Ирландия ушла в небытие, в могилу», — восклицает один из «великих ирландцев» XX века, поэт Уильям Батлер Йейтс. Этим он хочет задеть своего прозаичного буржуазного соотечественника. Но свои «здоровые корни» и он ищет чуть ли не в донорманнских сагах: Кухулин, Ойзин, короли и «эрлы».

Интеллигентные писатели с генеалогиями от варягов; Бальмонт с неперемненными предками из то ли шотландских, то ли скандинавских мореплавателей; томные светские поэтессы с ордынской «дичинкой» в фамилиях и красивых родословных. Можно найти здесь сколько угодно нюансов. Это и поиск в своей генеалогии залогов прогресса всего человечества — и просто сдержанная гордость отцами; и поиски несуществующего отцовства — и отталкивание от отцов реальных. Вплоть до маскировок подлинного имени именем матери, так что, пожалуй, к иным отходам крупных личных тем мог бы с вождением припасть и фрейдист. Известный нам в просторечье «Маркес» тут не в счет. Материнской половиной двойной фамилии — Гарсия Маркес — мы зовем его подчас зря: сам он ни от чего не отрекался. Однако еще один из ныне модных — Энтони «Бёрджес» — как раз сознательный, идейный конспиратор. Он-то хорошо осведомлен, насколько в цене на критическом рынке мотивы «отвергаемого отца». Не заменить ли по этому случаю свое подлинное, но простоватое Уилсон (вроде нашего Иванова) на что-то более звучное, а одновременно еще и «требующее серьезного исследования»? И тут писатель смело обрывает, по собственным словам, «хвост хлопушки» в своей метрической записи — и на месте отцовской фамилии возникает затейливый псевдоним.

На малой площади родословных концепций издавна сходятся и жизне-утверждение, и миро-ненавистничество, и простое самолюбие. И если на фоне таких прецедентов разглядывать Блока, то он заставит вспомнить скорее всего о Лермонтове с его особым чувством: само-отречением. Вчитаемся снова: «из семьи Блоков я вырожден...»; «предки мои — поколение рабов». Тут тоже «насмешка горькая обманутого сына» и над отцами, и над

самим собой. По времени, по едкости этой горечи ближе к Блоку, возможно, Стриндберг с его новым вариантом «Думы» совсем уже в духе «конца века». (Как он говорит в своем «Отречении», «мы унаследовали от вас ваш сифилис, ваши благие намерения и ваши непоплаченные долги».) Но все-таки Лермонтову с его грустью и горечью без скандализующих интонаций Блок как-то созвучнее.

Вспомним, впрочем, что перед нами особая задача. Блоковские мотивы «рода», наследия отцов и предков мы рассматриваем не в кругу прецедентов, а в кругу документов.

Из времен полувековой давности документы и факты постепенно уведут нас на несколько столетий назад.

Теперь это надо разъяснять особо, но в свое время само слово «Блок» как фамилия поэта могло вызывать улыбку, и вызывало ее. Российский средний человек неплохо знал «товарищество на паях по производству металлических изделий **Жорж Блок**» или купца первой гильдии Генриха Блока. Газетная реклама швейных машинок известной фирмы «Блок» размещалась на полосах более популярных, чем словесность. Даже у Льва Толстого не раз упоминается Блок Генрих, но ни разу Александр, если не считать отклика по совокупности на один из печатавших Блока номеров «Русской мысли»: «подлинно — дом сумасшедших». И странное «торговое» имя само по себе усугубляло комическое впечатление от ранней блоковской поэзии. То ли нас сознательно дурачат, то ли мир и вправду смешно перевернулся: Блоки пишут стихи! Не мог иначе относиться к этой поэзии читатель, по крайней отсталости чуждый «новому искусству».

«Стихотворения откуда-то выкопанного поэта Ал. Блока (хорошо еще, что не Генриха Блока). Набор слов, оскорбительных и для здравого смысла, и для печатного слова...» — так говорили о первых публикациях Блока в 1903 году. В простоте душевной публика путала Александра Блока с Генрихом даже во время похорон поэта, о чем рассказывает в «Сентиментальном путешествии», и, хочется надеяться, достоверно, Виктор Шкловский.

Сегодня конфузнее, пожалуй, если не Александра примут за Генриха, а наоборот: Генриха возведут в ранг Александра. Но устойчивое заблуждение давнего времени и сейчас по-своему живуче.

Коварным образом посягает ныне на звание Блока-поэта его однофамилец уже по воле специалистов-библиографов. Кто не обращался,

исследуя зарубежные судьбы русской книги, к авторитетнейшему в мире библиотечному справочнику США — «Нэшнл контэн кэтэлог»? И вот его том шестой, 1959. Вот книги Блока, имеющиеся в американских библиотеках: «Двенадцать», «Нечаянная радость», «Собрание стихотворений...» И вдруг на одной из скопированных там библиотечных карточек, под знакомым нам именем — «Блок Александр Александрович. 1880—1921» — читаешь следующее: «Строительные кооперативы в Англии, Америке и Германии. Берлин, 1931»...

Какого-то американского книговеда подвела склонность к чересчур дотошной расшифровке. Он знает уже точно, что есть и среди поэтов Александр Блок. Но вот обратное, что быть Александром Блоком еще не обязательно означает быть русским поэтом, он не понял и меру явно переступил. Следуя ироническому ходу журналиста начала века, невольно говоришь: а жалко, что немецкий исследователь кооперативно-строительного дела был не Генрих. Тогда в американской библиографии автору «Стихов о Прекрасной Даме» не навязали бы книгу о жилищном строительстве.

Теперь уйдем от недоразумений к фактам. И попробуем, минуя купцов первой гильдии, представителей банкирского дома, компаньонов товарищества по швейным машинам, разобраться в существенном. Откуда поэт Александр Блок, своим именем обращающий воображение иных то к коммерции, то куда-то еще?

Оставляем в стороне проблему непременных «великих предков». Не будем искать и «презренных предков». Просто и мирно займемся предками как таковыми.

* * *

Родословная — это, пожалуй, единственное, что сближает разные блоковские жизнеописания. Биографии Блока знают множество оттенков, порой будто и не сводимых в одно. Но по крайней мере начинаются они благодаря родословной почти одинаково.

Тетка поэта Мария Андреевна Бекетова выпустила дважды (1922, 1930) очерк «Александр Блок». «Фамилия Александра Александровича — немецкая», — говорит она сразу же. «Его дед по отцу вел свой род от врача императрицы Елизаветы Петровны, Ивана Леонтьевича Блока, мекленбургского выходца и дворянина, получившего образование на медицинском факультете одного из германских университетов и прибывшего в Россию в 1755 году (...) В словаре Плюшара против его имени стоит краткое — л и т е р а т о р ».

Вдумываясь в только что сказанное, не вполне понимаешь, почему слово «литератор» — краткое. Но легко заметить, что лично Бекетова придает этому определенное значение. И недаром, очевидно, сама удлинит названное слово, выделяя его разрядкой. Ведь литератор этот как-никак гётевской эпохи; он, далее, прапрадед не чей-нибудь, а именно поэта; да и вообще Германия... (Так и в дальнейшем, когда приходится, например, коснуться некоторых тяжелых качеств семьянина у отца поэта — «какой-то атактистической, ненормальной жестокости, вероятно, унаследованной от предков со стороны матери, урожденной Черкасовой», Бекетова прибавляет: «не могу заподозрить в столь грубых проявлениях некультурности немецкое семейство выходцев из Германии Блоков». Не может сделать этого и современный английский биограф Блока — Эврил Паймен. Развивая эту линию, Э. Паймен не замедляет уточнить для своего читателя, что упомянутые Черкасовы — из казаков.)

Как бы ни обстояло дело с литераторами и казаками, а уводящей в XVIII век мекленбургской линии в родословных Блока известное значение придается. В 1922 году вышла в Петрограде и другая книга о поэте. Это «Александр Александрович Блок» В. Княжни-на (Ивойлова), с Блоком близкого и Блока хорошо знавшего человека. Бекетовский зачин здесь повторяется, и автор говорит:

«Итак, прежде всего род, предки.

А. А. не интересовался этим. Он искренне верил в легенду, которую закрепил печатно С. Городецкий, будто бы один из предков был врачом царя Алексея Михайловича. Прапрадед — Иоганн фон Блок, родом из Мекленбург-Шверина, действительно, был медиком, но в русскую службу вступил лишь в 1755 г., полковым врачом. Участвовал в семилетней войне, и в 1785 г. назначен лейб-хирургом наследника. Доктор искусный, он был известен далеко в провинции. Пастор Виганд, воспитатель детей харьковского помещика Петра Андреевича Щербинина, рассказывает об одной «удачной, очень трудной операции», для которой привозили специально в СПб к И. Л. сына названного помещика. В 1796 году, апреля в 25 день, Блок был «пожалован на дворянское достоинство».

Разберемся в этих свидетельствах.

Сведения Княжни-на и Бекетовой в основном как будто подтверждаются.

Упомянутый Бекетовой «словарь Плюшара» (то есть «Энциклопедический лексикон» Плюшара под редакцией Н. Греча, А. Шенина и П. Корсакова) действительно содержит статьи о Блоках, ведущих родословную из Мек-

ленбурга. Первая, написанная Д. И. Языковым, дает общую справку о фамилии («Блок, Русский дворянский Дом, происшедший от лейбхирурга Ивана Блока, которому в 1796 Апреля 25 пожалован диплом на дворянское достоинство»), а следующая, за подписью А. Никитина, сообщает об основателе этого «Дома».

«Блок, Иван Леонтевич,— читаем мы там,— лейбхирург, действительный статский советник (род. 1734, ум. 1810), Мекленбург-Шверинский уроженец, происходивший от благородной фамилии. Учившись врачебной науке в Ростке и Берлине, он поступил (1755) в Российскую службу подлекарем, потом (1757), в звании лекаря при Новгородском пехотном полку, находился в походе в продолжение Семилетней войны. В 1777 переведен в Измайловский полк штаблекарем, а оттуда принят (1785) к Высочайшему двору лейбхирургом с чином коллежского советника, и состоял при Государе Великом князе Павле Петровиче и Государыне Великой Княгине Марии Федоровне. Блок имел счастье сопровождать Великих князей Александра Павловича и Константина Павловича во время их путешествия за границу. В 1799 году он пожалован действительным статским советником, и за долговерную службу награжден 600 душ крестьян в Ямбургском уезде».

Все это сведения, учтенные двумя позднейшими биографами. И когда В. Княжнин говорит, что печатно закреплена еще и легенда о каком-то Блоке-предке, бывшем врачом Алексея Михайловича, это тоже верно. «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза—Эфрона (издание, прерванное мировой войной) в статье С. Городецкого сообщает:

«Блок, Александр Александрович,— поэт и критик. Род. в 1880 г. Окончил курс в СПб. унив. по историко-филологическому факультету. Предок его, врач царя Алексея Михайловича, был выходцем из Мекленбурга. Отцу его, Александру Львовичу, по словам его биографа, «стоило больших усилий прекратить писание стихов, чтобы не отвлекаться чересчур от науки в сторону муз...»

Снова, казалось бы, подтверждается сказанное в очерках — книгах. Но возможны и кое-какие поправки.

* * *

Первое: ведь у Плюшара об Иване Блоке совсем не сказано, хотя это и утверждала М. А. Бекетова, что он «литератор! А второе, если разобраться повнимательнее,— версией о враче Алексея Михайловича вовсе не Городецкий сделал достоянием печати, как это сообщает В. Княжнин. Сделал же это тот

самый биограф отца поэта, которого походя упомянул в своей статье Городецкий, но которого В. Княжнин странным образом не заметил.

Это Е. В. Спекторский, ученик А. Л. Блока по юридическому факультету Варшавского университета, впоследствии знакомый Блока-сына и его корреспондент.

Именно Спекторский, заметим, донес до нас, уже в 30-е годы и по-сербски, текст блоковского признания отцу «в духовном родстве», о котором мы упоминали чуть раньше. Именно он в книге «Александр Львович Блок, государствовед и философ», вышедшей в Варшаве в 1911 году, впервые писал о враче царя Алексея И. кстати, если в изложении М. А. Бекетовой, которое, оказывается, не поддержано Плюшаром, тема предков-литераторов как-то повышается в воздухе, то Е. Спекторский позволяет развить и ее.

«Александр Львович Блок происхождения полунемецкого,— пишет Спекторский, собственно, и устанавливая традицию, о которой мы говорили.— Это объясняет многие особенности его жизни и мысли; он сам отлично осознавал, где в нем кончался русский и начинался немец. Один из его предков, выходец из Мекленбурга, был врачом царя Алексея Михайловича. Прадед А. Л. лейбхирург Иван Блок был возведен в русское дворянство. Дед А. Л. официально именовался фон Блок. Отец его был лютеранин».

«Для тех, кто знал его только со стороны его моральной непреклонности, кому он обычно представлялся

Весь в холод правды облечен,

полною неожиданностью оказывалась его артистическая натура. Отец поэта (Александра Блока, родившегося от первого брака покойного с дочерью А. Н. Бекетова), А. Л. сам в душе был поэтом не менее, чем ученым, а может быть, даже и более. Своих любимых поэтов он знал наизусть (...) Гармония стиха или мелодии нередко совершенно отвлекала его от суровой прозаической действительности, а также связанных с нею практических дел, и увлекала в мир грез...

Даже на стиле деловых бумаг, составлявшихся им в качестве секретаря и декана юридического факультета, отражалась его забота о музыкальности языка. Ему стоило больших усилий прекратить писание стихов» — и далее слова, которые мы уже читали у С. Городецкого. А ниже еще: «Он был во многом конгениален Писареву. Но писаревщина в искусстве ему претила...»

Так открывается новая страница в предыстории поэта-сына. Ибо именно о литературных

занятиях и вкусах Александра Львовича Блока Е. Спекторский и написал наиболее увлекательно.

Жаль, правда, что он не сообщает, сохранились ли образчики литературных опытов А. Л. Блока. Однако стоит только поставить этот вопрос, как возникает возможность углубиться в блоковскую родословную еще дальше. Литературные опыты А. Л. Блока до нас дошли лишь шуточные. Лишь с ними знакомит нас в биографической статье «Герои «Возмездия» двоюродный брат поэта Георгий Петрович Блок. Но тот же Г. П. Блок уводит нас дальше Александра Львовича. Возникает фигура последнего Блока-лютеранина, деда поэта и его воспитанника при крещении — Льва Александровича. И она не лишена интереса.

«Нашего общего с ним деда Льва Александровича Блока я не застал в живых [...] В нашем доме было много его изображений: миниатюрный портрет белокурого юноши с оживленным лицом [...] потом бледный дагерротип 50-х годов, потом целый ряд фотографий зрелых и старческих. Я с детства любил это длинное, бюрократически-строгое, значительное лицо с холодными глазами. Позднее, когда я читал Тургенева и Достоевского, я почему-то наделял наружностью деда двух особенно привлекавших меня героев: отца из «Первой любви» и Версилова из «Подростка». Эту наружность унаследовал внук — Александр Александрович...»

Незадолго до смерти Лев Александрович вышел в отставку и заболел странной, по-видимому, душевной болезнью. Он переехал с женой в Германию, жил очень замкнуто. Мелочная аккуратность, которая свойственна была ему и ранее (и которую вместе с наружностью он передал все тому же внуку), теперь стала маниакальной. На все предметы заказывал колпачки и футляры. Ему казалось, что он кем-то разорен и, сводя на бумажке нескончаемые счета, он все бормотал про себя по-немецки какие-то цифры...»

Не исключено, что кое-какие из параллелей здесь утрированы. Но немало и любопытного. И тут свидетельства самых разных авторов напрашиваются на обобщение.

Действительно: много сходного в по-разному поданных генеалогических сведениях о Блоках, в самом тяготении разных авторов к какому-то одному, хотя и не вполне четкому полюсу: убежденность в значении «германского корня»; семейное увлечение — именно по этой линии — литературой и гармониями вообще; странный рецидив «огерманивания» в судьбе Льва Александровича; зыбкий параллелизм, обозначающийся в обликах деда-чиновника и внука-поэта.

Как будто чему-то в своих родословных ле-

гендах Блок действительно подчинялся. Насколько же именно факты и легенды, значимые для родственников и биографов поэта, были важны для него самого?

* * *

В 1915 году была завершена автобиография Блока, написанная для известной «Русской литературы XX века», выходявшей под редакцией С. А. Венгерова. Здесь Блок сообщает: «В семье отца литература играла небольшую роль. Дед мой — лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича, выходя из Мекленбурга...» И, вскользь коснувшись уже упомянувшегося прапрадеда, поэт переходит к отцу. «Судорожное и страшное» видится поэту «во всем душевном и физическом облике его», не обходясь вниманием и его артистические страсти. «Я встречался с ним мало, но помню его кровно», — заключает поэт. Это «кровно» — слабее, чем адресованные когда-то сыном «профессору Блоку» заверения в «духовном родстве». Но невольно отмечаешь: личности отца в автобиографии посвящено намного больше строк, чем рассказу о будто бы более близкой поэту матери.

И напрашиваются вопросы.

Как же все-таки было на деле: «не интересовался» предками (а в то же время, как ни странно, «искренне верил») — или верил заинтересованно, был увлечен?

Верил в легенду-ложь или в легенду, передающую дел давно минувшего?

Играла-таки литература заметную роль в семье отца или не играла?

А прапрадед Иван Блок — только лейб-хирург или же все-таки и лейб-хирург, и «литератор»?

И если не «из Плюшара», то откуда же эта легенда?

Как видно, ни одна из биографических версий, в которые мы вникали, не свободна от ошибок или противоречий, оправдывающих все эти вопросы.

И не менее любопытно, что при всей противоречивости — и очевидной, и скрытой — автобиография Блока публиковалась без оговорок на этот счет не только в 1915-м, но и в 1932 году. Ведь в первом томе двенадцатитомного Собрания сочинений Блока (1932—1936), когда только что поставленные вопросы уже вполне напрашивались, поясняющего комментария к этой «Автобиографии» дано не было.

Оговорки появились лишь в 1955 году. Во втором томе гослитиздатского двухтомника Блока авторитетнейший биограф поэта В. Н. Орлов писал:

«Из справки Мекленбургского архива (от

23 июня 1930 г.) выясняется, что Иоганн-Фридрих Блок (в России — Иван Леонтьевич) родом из Демитца на Эльбе был сыном фельдшера Людвиг Блока, женатого на Сусанне-Катерине Зиль (дочери булочника) и скончавшегося в Демитце в январе 1752 г. Таким образом, версия о «враче царя Алексея Михайловича», появившаяся в биографические справки о Блоке (см., например, «Новый энциклопедический словарь» Брокгауза — Эфрона), — несостоятельна».

Однако всмотримся в эти оговорки: они давали комментарий лишь к так называемой «легенде» о предках (оставим пока в стороне вопрос, насколько обоснованно утверждение о ее несостоятельности). Собственно же «духовная» сторона вопроса («В семье отца литература играла...») оставалась неоговоренной.

И когда буквально тот же текст комментария был повторен еще и в томе 7 (1963) нового восьмитомного Собрания сочинений Блока, один немецкий автор высказался почти полемически: Федор Степун в блоковской главе своей книги о русских символистах с пафосом настаивает на предложенной Е. Спекторским, М. А. Бекетовой, Г. П. Блоком версии о чрезвычайной силе литературных увлечений А. Л. Блока, перешедших в чем-то от отца к сыну. Те же сведения повторяет с доверием и Э. Паймен — составитель и комментатор книги избранных стихотворений Блока, вышедшей в оксфордском издании в 1972 году.

Чисто фамильная и духовная генеалогия Блока становится предметом чуть ли не международной дискуссии. Но примечательно: в увлечении спором зарубежные авторы делают ошибки, после публикации В. Н. Орлова уже совсем непростительные.

Ведь единственное, что действительно способны опровергнуть сведения, приведенные В. Орловым, — это легенда о немецком дворянстве блоковских предков. «Фон Блок» — фикция, вроде «фон Шульмана». Уж это-то, начиная с 1955 года, когда В. Орлов впервые печатно сообщил некоторые сведения о мекленбургском лекаре, женатом на булочниковой дочери, было почти ясно. Между тем и Ф. Степун, и Э. Паймен и в 1964-м, и в 1972 годах пишут о семье «фон Блоков из Мекленбурга» с прежним доверием.

Однако что же говорит полный текст упоминавшейся уже справки из немецкого архива? Не приблизит ли он нас к правде лучше, чем всего лишь пересказ его нескольких строчек? Каков все-таки точный социальный статус мекленбургских Блоков? И кстати, ведь то, что фельдшер Людвиг Блок скончался в 1752 году в Германии, само по себе еще отнюдь не значит, что за сто лет до этого какой-ни-

будь праотец Людвиг не был и не мог быть «лейб-лекарем» в России?.. И почему именно в 1930 году поступила в Пушкинский дом справка из Мекленбурга?

* * *

Папка № 13 описи 8 фонда А. А. Блока в отделе рукописей Института русской литературы АН СССР в Ленинграде содержит две единицы хранения, два документа-письма на немецком языке. Первое — от руки, без даты и без подписи, адресуется в Мекленбургский архив от имени института и представляет собой, очевидно, копию. Второе — официальный ответ. Давая здесь эти документы в русском переводе, подчеркиваем: это перевод полного текста и текста двух документов, а не выборочный пересказ одного из них.

«1. Мекленбургско-Шверинскому государст-венному архиву, Шверин

Подготавливаемую ныне биографию скончавшегося в 1921 году русского поэта Александра Блока, создателя известной поэмы «Двенадцать» и многочисленных лирических стихотворений, было бы очень желательно обогатить подробной родословной писателя.

Находящиеся в нашем распоряжении документальные сведения из русских архивов позволяют проследить происхождение рода, к сожалению, лишь до середины XVIII века, ибо родоначальник этой русской фамилии переселился в Россию лишь около 1755 года и никакими точными данными, касающимися его происхождения, мы не располагаем.

Все, что нам об этом известно, сводится к следующим скудным сведениям.

Его имя было Иохан-Фридрих фон Блок. Его отец носил имя Лео или Леонтиус.

Иохан-Фридрих родился в 1734 г. в Мекленбург-Шверине и умер 8 июля 1816, вероятно, в России.

Он изучал врачебное искусство в Ростове и Берлине.

В 1755 году он поступил на русскую службу в качестве врача.

Есть предположения, что Иохан-Фридрих, кроме медицины, занимался и литературой, однако пока не удалось обнаружить ничего из его литературного наследия.

В документах, указывающих на его русскую службу, говорится, что он происходил из «иностранного дворянства».

В изданном в 1836 году энциклопедическом словаре говорится, помимо прочего, о его происхождении из «дворянской семьи».

Пушкинский дом Академии наук СССР был бы Вам крайне признателен, если бы Вы сочли

возможным оказать ему содействие в получении необходимых сведений.

Особую ценность представлял бы для нас ответ на следующие вопросы:

1. К какому сословию принадлежала фамилия фон Блок в Мекленбург-Шверине (дворянскому или бюргерскому?).

2. Что известно о предках Иохана-Фридриха фон Блока по мужской и женской линии, в особенности о его родителях?

3. Не сохранились ли какие-либо портреты И. Ф. ф. Блока?

4. Не было ли в этой семье выдающихся лиц и в первую очередь — писателей?

5. Нет ли в Мекленбург-Шверинских архивах каких-либо данных лично о Иохане-Фридрихе фон Блоке?

6. Не сохранилось ли каких-либо следов его литературной деятельности?

7. Какие обстоятельства могли вызвать переселение Иохана-Фридриха в Россию в 1755 году (то есть как раз перед началом Семилетней войны)?

Часто ли вообще наблюдались в то время такие выезды или были редкими случаями?

8. Нет ли в настоящее время в Мекленбург-Шверине каких-либо отпрысков фамилии фон Блок?

Что о них известно?

Прилагаем сюда же наброски герба (в двух исполнениях). Один из этих набросков по семейному преданию представляет собой изображение герба семьи фон Блок.

Вошедшая в поговорку забота, с которой в Германии относятся к сохранению всякого рода документальных материалов, и живой интерес к генеалогическим исследованиям позволяют Пушкинскому дому питать твердую уверенность в том, что Вы не откажете ему в Вашем ценном и многообещающем содействии».

В этой копии набросков герба Блоков к письму не приложено. Приложен к нему лишь следующий ответ.

2.

23 июля 1930 г.

Шверин

Иохан-Фридрих Блок является сыном Людвиг Блока, фельдшера в Дёмитце на Эльбе, которого назначил гарнизонным фельдшером в своей крепости Дёмитц герцог Карл Леопольд 8 сентября 1733 года. Людвиг Блок был окрещен 19 сентября 1698 года в Шверине в Мекленбургской соборной общине как сын господина Христиана Блока. Он был женат на Зузанне Катарине Зиль, дочери пекаря Юргена Петера Зиль из Дёмитца. Брак этот в дёмитцкой церковной книге не значится. Как сообщается в актах за 1727 год, Блок был обвенчан с

Зиль в чужой общине местным священником, после чего он бросил забеременевшую от него 6 лет назад и законным образом обрученную с ним невесту Маргарету Элизабет Нине, дочь кистера (дьячка — С. Н.). Внебрачный ребенок Мария Лиза крещена в Дёмитце 25 декабря 1721 г. Как отец ее в церковной книге указан фельдшер Блок из Шверина.

От брака с Зиль родились следующие окрещенные в Дёмитце дети:

1. Зофия Августа, крещена 30 августа 1728 г.

2. Иохан Христиан, крещен 14 сентября 1730.

3. Христиан Людвиг, крещен 28 октября 1732.

4. Иохан Фридрих, крещен 10 октября 1735.

5. Катарина Элизабет, крещена 9 декабря 1738.

6. Иоханна Зофия, крещена 20 января 1741. 25 января 1752 года гарнизонный фельдшер Блок был погребен в Дёмитце. Его жена пережила его.

Двое братьев, Христиан Людвиг и Иохан-Фридрих, в юном возрасте отправились в Россию, о них у нас имеется лишь несколько известий.

Христиан Людвиг писал 8 июня 1763 года из Кронштадта. Он был в то время хирургом и демонстратором по хирургии и анатомии при царском адмиралтейском госпитале. Брат его работал на военном корабле.

Иохан-Фридрих в 1784 году был царским надворным советником и капитаном и занимал должность хирурга в Измайловском лейб-гвардейском полку. Он был 17 лет (то есть с 1767 г.) женат и имел пятерых детей, 2 сыновей и 3 дочерей. Его брат Христиан Людвиг умер неженатым в 1766 году в чине ассессора и члена государственной медицинской коллегии.

В 1787 году о Иохане-Фридрихе сообщается, что он с «некоторого времени» является лейб-хирургом и коллежским советником и все лето состоял при царице в Царском Селе.

В 1791 году Иохан-Фридрих жил в Санкт-Петербурге, на Садовой улице. Еще в 1792 году он писал свои письма оттуда.

Не представляется правдоподобным, что Иохан-Фридрих учился в Ростове. Матрикула университета не содержит его имени.

Семья, из которой происходил Иохан-Фридрих, была бюргерской. Он сам еще в 1792 году писал свое имя без обозначения дворянского титула. Если он позже называл себя фон Блок, то причиной этому является, наверное, русское повышение в сословии. К немецкому же дворянству он, насколько нам известно, не принадлежал.

От 1754 года до нас дошли отпечатки печати Христиана Людвиг и Иохана-Фридриха.

На обоих отпечатках был изображен на фоне щита деревянный пенё («Block»), из которого растёт одна ветвь; на щите два крыла, между которыми в гербе Христиана Людвига был крест. Звезд и диагонально-поперечного деления на этой печати нет.

Портреты Иохана-Фридриха Блока нам неизвестны.

На остальные Ваши вопросы мы ответить не в состоянии».

Далее подпись от руки — фамилия, которую мы лишь предположительно рискуем расшифровать как Штур (Stuhr).

* * *

Совершенно очевидно: перед нами переписка М. А. Бекетовой, выступающей во время работы над новым изданием биографии Блока от имени Пушкинского дома. Хотя самой М. А. Бекетовой случалось признаваться, что она не сильна в немецком, эта переписка именно ее. Ведь если запрос в Германию безличен, включая и его казенно-непогрешимый немецкий, то ответ из Германии как раз именной: «Фройляйн Марии Бекетовой, Ленинград». И переписка эта неосвоенная, результаты которой не успели войти в новое издание бекетовского очерка «Александр Блок», так как в 1930 году очерк уже печатался. Справка из Германии помечена июлем 1930 года (а не июнем, как пишет В. Н. Орлов), между тем как последнее вмешательство автора в издательский процесс — сообщение о приложенном к книге именном указателе — датировано октябрём 1929 года.

Ответ из Мекленбурга, разумеется, никак не смог бы обеспечить книге М. А. Бекетовой какого-то «украшения» ее. Искусшающих фантазию предположений о дворянстве, врачебном образовании, литературных занятиях «Ивана Леонтьевича» он не подтверждает. Но он силен своей документальностью. И новый биограф Блока наверняка будет учить, что, в свое время не сочли нужным узнать ни А. Никитин, ни Е. Спекторский, ни С. Городецкий, ни В. Княжнин.

Да уже и мы, взглядыаясь снова в тот портрет поэта-«принца», с которого начали свой рассказ, знаем нечто определенное.

Прежде всего, немецкие Блоки не были «фон Блоками». Говорить о чете Блок — Зиль, что в старых документах «никакого намека на благородное происхождение супругов не содержится», сегодня мало. Супруги попросту и явно не были дворянами, о намеках ли речь? Не были они и «выходцами из Брауншвейга», как утверждают сегодня другие авторы: то, что Блоки из Мекленбурга, с очевидностью под-

тверждает сам Мекленбург. Не давали мекленбургские Блоки и таких образцов супружеской верности, которые можно было бы поставить на вид экзотически «страшным», с точки зрения иных, «казакам» из дома Черкасовых. Многие легенды и домыслы развешиваются от сопоставления с документами.

За исключением, может быть, двух.

Рано считать несостоятельной версию о «лейб-лекаре» царя Алексея. Вернулся же в Германию дед Блока-поэта! Точно так же мог возвращаться и еще более далекий предок. Разве доказано, что подобное возвращение в Германию для «лейб-лекаря» царя Алексея не было возможным? Да, кстати, не мешало бы выяснить и встречно: кто же именно лечил Алексея Михайловича? Только эти сведения и развешивают легенду.

Вопреки безмолвию документов, мы должны с вышей бережностью подойти и к легенде о первом русском Блоке как «литераторе». Пусть ссылка на Плюшара — ошибка. И пусть мекленбургский архив «не в состоянии ответить» на вопрос об артистических увлечениях Иохана-Фридриха Блока. Сама сила семейной легенды, в атмосфере которой мог расти — и, наверное, рос — подлинный поэт Блок, в данном случае важнее ее документальных обоснований. А ведь, думается, только ее сила и могла породить иллюзию, что литературные склонности блоковского прапрадеда засвидетельствованы печатно «даже у Плюшара». Нет у Плюшара, но есть в самосознании семьи — и письмо Бекетовой в Германию прямо подтверждает это. Ложная отсылка к энциклопедическому словарю — это не просто курьез библиографии, а семейная вера в глубокими корнями.

* * *

Четверть тысячелетия прошло со времени рождения скромного немецкого фельдшера, переехавшего в Россию при Елизавете. Сто лет — со времени рождения его праправнука — поэта. Шестидесят лет — со времени смерти Александра Блока. По-разному, но все эти эпохи с нами еще говорят. Перестают молчать архивы (и в Мекленбурге, что ныне в ГДР, наверняка можно узнать еще немало о древних Блоках). Открываются новыми строками записные книжки Блока и его дневники. Удаётся выявить неизвестных лиц из окружения Блока в последние годы.

Не все в обыденных фактах и сведениях сразу наполняется для нас таким же емким смыслом, какой мы обычно ищем в поэзии. Ведь наверняка не сводим к германской именно линии пафос Блока в его отношении к родине, роду, родословной. Нет ничего немецкого во взволнованном «О, Русь моя! Жена моя!..», хотя особый оттенок этого восклицания — именно в странном интимно-стороннем созерцании. Наконец, к фонвизинскому, по класси-

ческому его типу из «Недоросля», немцу-доктору XVIII века несводимо блоковское обличение предков-«рабов». С другими поэтами проще. Если Багрицкий в своем «Феврале» говорит падшей возлюбленной: «Я беру тебя за то, что робок был мой век, за то, что я застенчив, за позор моих бездомных предков», то здесь источник ясен. Не считая андреевскую «Бездну», источник этот — Блок «Ангела-Хранителя»: «За то, что я слаб и смириться готов, что предки мои — поколение рабов». Но откуда же бичевание предков у Блока? Только из традиции (богаты мы ошибками отцов) или из знания чего-то подлинного о своем роде?

Есть немало задач и для новых литературоведческих изысканий.

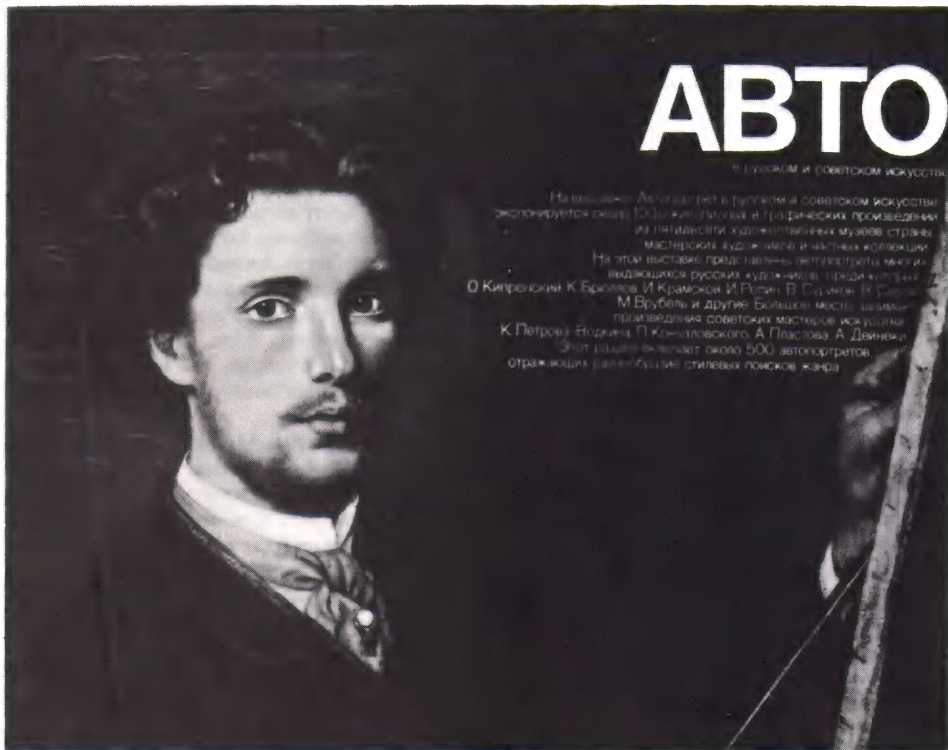
Еще только предстоит дотошно сопоставить генеалогические справки с блоковской геральдикой (ведь мы не знаем, какие именно «наброски герба» посылала Бекетова на сверку в Мекленбург). Предстоит задуматься, почему во время работы над «Двенадцатью», над финалом «Возмездия» Блок столько размышлял именно над Брентано, над «Романсами о розовом венце»: ведь там линия была не германско-русская, а египетско-итальянская, от подмены младенца в святом семействе самым заурядным двойником-галилеянином до искупающего этот давний свой родовой грех огнем и мечом крестоносца.

Как раз здесь и может оказаться полезен интерес к теме, с которой мы начали: следовало бы узнать полней ход взаимоотношений Блока с его петроградскими, квартирными соседями 1917—1921 годов, причем в обоих поколениях семьи «камер-юнкера». Ибо интересно задуматься: не от них ли Блок мог узнать что-то существенное о своей гораздо более чем двухсотлетней родословной?

Это не праздный вопрос. Ведь то, что наука отмечает бесстрастно, а в лучшем случае с симпатией к предмету, то — в отместку за «большевизм из Балаганчика» (Пришвин) — сосед или его дочь могли сказать злобно, вызываяще. Не такой ли вызов, стремившийся уязвить поэта, и заставил его вновь обратиться к «Возмездью», к идеям торжества личности над грузом «происхождения», прегрешениями предков?

Общая, деятельная ответственность за будущее весомей, объемнее фатальных императивов родового прошлого — вот один из уроков революции, да и всей советской эпохи, к которому привлекает внимание Блок раздумьями последних лет*.

* Более ранние публикации ряда текстов, использованных или упомянутых в этой работе, см. в изданиях: «Ческословенска русистика», 1962, № 1; А. Блок. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 6. М., 1971; «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1975, № 5 и 1980, № 6.



Д. М. Волотов. Автопортрет (фрагмент).

Н. А. Павлович, А. Л. Толмачев

К биографии художника Болотова

Каждый момент жизни должен быть
полон великого значения.

*Дневниковая запись Д. М. Болотова
от 14 июня 1873 г.*

В Биобиблиографическом словаре художников народов СССР о Болотове Дмитрие Михайловиче можно прочесть: «Живописец, р. 9/21.3.1837 г. в с. Бахметьеве, Тульской губернии, умер — ? Учился в Академии художеств (с 1854). Получил в 1859 и 1861 — малые, в 1862 — большую серебряную медаль,

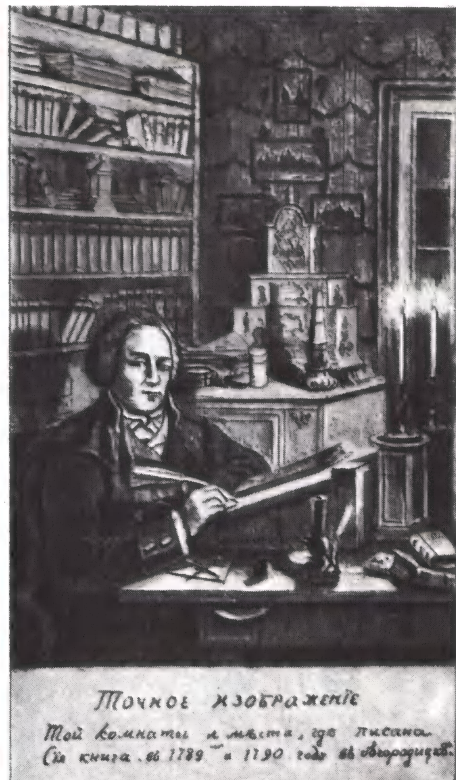
в 1865 — звание классного художника 3-й степени. Участвовал на выставках АХ (с 1863). Исполнял преимущественно портреты: детские (акварель, картон, 1861—1862, несколько в Тульском областном художественном музее); Острицкого (1868), Корнилова (1874), матери (пастель, Тульский обл. х. м.), автопортрет (пастель, там же), мальчика (1875, Новосибирская картинная галерея), П. К. Алениковой-Клебер (1876), В. П. Аваева (1878, Калининская обл. карт. гал.), М. Н. Поливановой (1881, Ульяновский обл. худ. музей). В 1876-м за портрет И. К. Айвазовского (1876, музей АХ СССР, Ленинград) был удостоен звания академика». В 1977 году на выставке автопортрета в русском и советском искусстве была выставлена работа Дмитрия Болотова (хранится в Русском музее в Ленинграде), репродукция ее украшает обложку каталога и афиши этой выставки.

В заметке Биобиблиографического словаря отмечено, что место и время смерти художника неизвестны.

Мы можем ответить на этот вопрос. Д. М. Болотов скончался 25 ноября (8 декабря) 1907 года в скиту Оптиной пустыни и похоронен на территории этого знаменитого монастыря, имеющего теперь статус литературного мемориального памятника.

Дмитрий Михайлович Болотов родился 9 марта 1837 года в имении своего деда по материнской линии в деревне Барыковке (близ села Бахметьева) тогдашней Тульской губернии. Отец его Михаил Павлович и мать Александра Дмитриевна, урожденная Бибикова, имели пятерых детей: двух сыновей — старшего Дмитрия и Евгения и трех дочерей — Марию, Софию и Елену. Александра Дмитриевна была добрая и образованная женщина, предпочитавшая светским интересам семейный круг. Вместе с младшей сестрой она занималась воспитанием детей, которые получили хорошее домашнее образование.

Наследственная склонность к рисованию у старшего сына Дмитрия обнаружилась с того момента, как он научился держать карандаш в руках. Поэтому, когда ему исполнилось семнадцать лет и настало время выбирать ему дело жизни, он поступил учиться в Академию художеств в Санкт-Петербурге. В годы учения Дмитрий снимал скромную комнату на Васильевском острове недалеко от академии. Получив за время учебы две малые и две большие серебряные медали, Болотов успешно окончил учение в 1865 году и был удостоен за хорошие познания в живописи исторической и портретной звания классного художника третьей степени. Впоследствии за работы, представленные на академических выставках в 1868 и 1870 годах, он получил звание классного художника сначала второй, а потом и первой степени. Учителем Дмитрия Болотова по классу живописно-этнодному и композиций — в то время обучение портретной живописи не выделялось в особый класс — был профессор исторической живописи А. Т. Марков. Его класс был самым многолюдным, а сам Марков выделялся особым вниманием и расположением к молодым художникам. Он был также прекрасным рисовальщиком и отличался своей терпимостью по отношению к бытовой живописи. Но консервативно настроенные профессора не допускали вторжения жанра и пейзажа на академические конкурсы. В результате — нашумевший отказ писать работу на заданную тему тринадцати художников — претендентов на первую золотую медаль. Это были товарищи Болотова по академии, но нам неизвестно его личное отношение к отказу от



А. Т. Болотов в своем рабочем кабинете.
Рисунок П. А. Болотова.

участия в конкурсе (он не был в числе этих художников-претендентов). Есть свидетельства, что Дмитрий Михайлович любил острые обсуждения многих вопросов среди соучеников своих и не избегал шумных споров, сохранив это качество до преклонного возраста. Вечерами, после трудового дня, художники часто собирались в трактирчике около академии за чаем, отдыхали за игрой в бильярд, проводили время в беседах об искусстве и о прочих высоких материях. Постепенно к Дмитрию Михайловичу пришло признание, особенно как к мастеру тонкого, одухотворенного женского и детского портрета. Его талант высоко ценился в петербургском обществе, особую заинтересованность проявлял к нему самому и его творчеству И. К. Айвазовский, за портрет которого он и был удостоен в 1876 году звания академика. Возможно, по его рекомендации Болотов давал уроки рисования великим князьям и княжнам. Заказы сыпались



Д. М. Болотов. Портрет А. П. Воронцовой-Вельяминовой. 1905 г.

Д. М. Болотов. Портрет неизвестной.



Д. М. Болотов. Портрет Е. М. Долининой-Иванской, урожденной Болотовой. 1878 г.

все соблазнительнее, все выгоднее, и дальнейшая жизнь художника-академика, казалось бы, могла протекать без существенных изменений и закончиться обеспеченной старостью, освещенной внутренним светом глубокого удовлетворения своим призванием.

Но в 1886 году Дмитрий Михайлович покидает Петербург, чтобы стать послушником в Оптиной пустыни. Там он будет известен уже под именем отца Даниила.

О роде Болотовых мы узнаем из сохранившихся документов и из «Записок» его знаменитого прадеда Андрея Тимофеевича Болотова, сподвижника Н. И. Новикова в царствование Екатерины II, в которых зафиксировано предание об их родоначальнике, упоминаемом в пис-

цовых книгах XVI века. «Сие ничто иное значит как то, что первые наши предки были татары и выехали из Золотой Орды...» — писал Андрей Болотов. Интересно, что Александр Блок в дипломной работе «Болотов и Новиков», написанной при окончании университета, изучает сложную цепь отношений, личных и деловых, этих выдающихся деятелей русского просвещения. Предварительно он прослеживает родословную Болотовых, не только историю внешних событий, но и куль-





Д. М. Волотов. Портрет И. К. Айвазовского. 1876 г.

турных, духовных интересов этой семьи. При этом обращает на себя внимание, что прадед Болотова Ларион Осипович был известен, по словам А. Блока, «как великий делец по приказным делам и хаживал еще в бороде. Он построил резные вызолоченные двери в приходской церкви села Русятина (антика, доказывающая вкус тогдашних времен и вкупе рачение его о церкви)». Его ближайших потомков мы встретим среди офицеров Петровской эпохи, соприкоснувшихся с иностранцами и западной культурой. Что, впрочем, нисколько не мешало им с любовью относиться ко всему русскому. Тимофей Петрович, как пишет А. Блок, «был весьма воздержанного житья, к закону имел должное почтение и, не будучи ханжею и суевеком, был довольно набожен и прибежал к церкви. Он имел о украшении оной особое попечение и, будучи охотником до музыки, завел в полку прекрасный хор певчих».

Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833) пережил восемь царствований (от императрицы Анны до императора Николая I) и оставил мемуары «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», являющиеся одним из выдающихся литературных памятников эпохи. Писал он и философские сочинения, преимущественно на теософские темы. Не менее известен А. Т. Болотов и как ученый, по общему признанию — лучший агроном XVIII столетия. Он издавал агрономические журналы «Сельский житель» и «Экономический магазин», оставил уникальнейший труд «Изображения и описания разных пород яблонов и груш». А его работа «О разделении полей» (1771) считается первым руководством по организации севооборота.

Но и это еще далеко не все. В своих мемуарах А. Т. Болотов замечает, что «получил с детства великую склонность к рисованию и маранью красками», то есть к живописи. В Эрмитаже хранится автопортрет А. Т. Болотова, по описанию известны многие его картины, одна из которых посвящена первому пусканию воздушного шара в Москве в поле за Сущевом в 1784 году.

Дети Андрея Тимофеевича унаследовали влечение отца к живописи. В Историческом музее хранится альбом видов болотовского парка города Богородицка Тульской области с акварелями его сына Павла Андреевича.

Учась в Петербургской академии художеств, Дмитрий Болотов начинает вести дневник, по которому мы можем увидеть, какие философские и нравственные проблемы его волновали уже в то время.

Он записывает:

«Чтобы узнать и познать что-нибудь как

должно, необходимо его полюбить — не полюбивши не узнаешь, и наоборот, чтобы истинно полюбить что-нибудь, должно его познать (разглядеть, исследовать, испытать, вкусить)!»

Он пытается осмыслить для себя самую сущность зла:

«Всему злу причина есть грех! А грех есть неправильное противозаконное действие свободной твари, есть неправильная мысль, неправильное желание, неправильные слова и дела!»

Находим мы у него и такие афоризмы:

«Конец гордости — отчаяние» и «Лесть есть в сущности презрение».

Или более развернуто:

«Ложь, лесть, мишура могут обмануть только по виду, но никогда не могут дать человеку то, что дает ощутить истина и правда».

Иногда к этому вполне светскому человеку приходили мысли о монашестве, и он ездил посоветоваться в Реконскую пустынь к настоятелю Амфилохию, который поддержал в нем это настроение. В 1884 году его сестра София, вдова (по второму мужу Астафьева), приняла монашество и стала первой настоятельницей (1884—1888 гг.) основанного оптинским старцем Амвросием Шамординского монастыря. (Монахиней которого, как известно, была и старшая сестра Льва Николаевича Толстого — Марья Николаевна.) Именно она пригласила брата из Петербурга и познакомила со старцем Амвросием (Александром Михайловичем Гренковым — одним из прототипов старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского). Эта встреча окончательно утвердила Дмитрия Михайловича в мысли уйти в монастырь.

Но сначала надо было закончить все дела и заказы в Петербурге. Только через полтора года, в 1886 году, Дмитрий Михайлович возвращается в Оптину, становится учеником старца Амвросия и остается там до своей смерти в 1907 году, приняв в монашестве имя Даниила. Но Болотов активен по натуре: он не только продолжает художественную работу, расписывая храмы, делая портреты близких к Оптиной людей, и духовных (в частности, он пишет несколько портретов старца Амвросия), и светских, и детей. Он основывает две иконописные мастерские — одну в самой Оптиной пустыни для молодых монахов и послушников, имеющих художественные способности, и вторую в Шамордине — как бы женский филиал этой мастерской. В обеих мастерских обучение было поставлено по программе художественных училищ. Преподавательский опыт у Болотова уже был, так как еще в Петербурге он давал частные уроки рисования и живописи. В обучении он исходил из принципов и приемов живописных (то есть масляными





Афиша выставки «Автопортрет в русском и советском искусстве». 1977 г. Автопортрет Д. М. Болотова.

красками по холсту), а не древних иконописных, в частности делались копии с работ Боровиковского и других художников XVIII века. В начале нашего века работы этих оптинских художников, учеников Болотова, ценились довольно высоко.

О том, каковы были художественные принципы Болотова, мы можем судить по его высказываниям об искусстве, например:

«Образ, обряд, плоть, тело, слово — суть видимые или осязаемые формы мира материального, суть, елико возможно, вернейшие копии с оригинала неосязаемого, тайного, сокровенного...»

Или другое высказывание:

«Пиши густо, нежно, сильно, мягко, свежо, прозрачно, зажигай и гаси, что нужно и цензируй работу, передавая впечатление натуры (разговор и воздух), выбирая главное, опуская ненужное, и это будет изящное творчество, а не мертвая копия природы с ненужными ее мелочами и уродливостями».

Таковыми же были и его практические указания, призывавшие к терпеливому труду:

«Если промахнулся и положил мазок неверно, то положи за этим пять мазков верных и в проигрыше не будешь».

До конца своей жизни художник весь был светлый и любящий, не потерял общительности и широты интересов, ввел в обиход монастырей Оптиной и Шамордина фотографию, которая пригодилась для изданий об этих монастырях. И только за год до смерти он стал заметно слабеть и практически отошел от дел.

В Биобиблиографическом словаре приведен список работ Д. М. Болотова, находящихся в разных музеях страны, но теперь этот список может пополниться: в 1979 году последним девяностолетним бывшим оптинским монахом отцом Павлом (Драчевым) подарен портрет Перловой музею Оптиной пустыни и ныне там выставлен. Кроме того, несколько его работ обнаружено у родных и близких художнику людей. Таковы портреты сестры художника Е. Долининой-Иванской, урожденной Болотовой, ее дочери А. Нецветаевой, девочки А. Воронцовой-Вельяминовой, сестры художника Софии, настоятельницы Шамординского монастыря, на смертном одре, родственницы художника (имя ее не установлено) и, наконец, образ Нерукотворного Спаса, исполненный масляными красками на холсте.

Четыре из этих работ впервые публикуются в «Прометее».



В. Д. Пришвина. Дунино. 1949 г.

В. Д. Пришвина

Пришвин фотографирует

I

Михаил Михайлович Пришвин был еще и фотографом. В наши дни никого этим не удивишь: все занимаются фотографией, кто для отдыха, кто из любознательности, кто строго по-деловому — в помощь своей основной работе: журналисты, художники, природоведы, всех не перечислишь.

Нескромно было бы мне отнимать внимание рассказом еще об одном таком человеке, который, подобно многим, занимался этим подсобным для себя ремеслом. К тому же за прошедшие годы многие снимки Пришвина могли

устареть по технике, по приемам. Разве только что работа Пришвина — это момент в развитии отечественной фотографии — ее история, и это само по себе не лишено интереса... Но есть у нас надежда и даже уверенность, что снимки, а еще больше — высказывания Пришвина, им сопутствующие, сообщат нам нечто ценное, ради чего стоит их собрать в определенной смысловой последовательности и попросить внимания к ним. Надо только наперед условиться, что мы будем рассматривать эти записи Пришвина и снимки его не в упор — с одной профессионально-фотографической точки зрения, а как широкое размышление об искусстве, творчестве, о самой жизни автора.

В журнале «Советское фото» фотограф В.С. Молчанов отметил, что Пришвин «внес ценный вклад в советское фотоискусство». Так могут судить, конечно, только специалисты. Я же, повторю свою мысль, задаюсь целью увидеть и показать другим стержень или смысл, объединяющий многолетний разнообразный труд



Зимний пейзаж.

Пришвина — художника и мыслителя; в этот труд наряду с другими областями творчества входила и фотография. Попутно расскажу и об истории его фотоработы.

И тут сразу необходимо напомнить читателю, что Пришвин всю жизнь был страстным охотником — в детстве с луком, а в первом классе гимназии он получил уже в руки настоящее охотничье ружье (недаром через много лет свое занятие фотографией он назовет «охота с фото-

камерой»); в середине жизни он стал автомобилистом, а в 1940 году у нас с Михаилом Михайловичем был такой разговор (записанный им в дневнике): на мой вопрос, что будет он делать, если его ближайшие жизненные планы не осуществятся, Михаил Михайлович ответил: «Не знаю (...) занимался охотой, потом автомобилем (...) Наверно, займусь самолетом!»

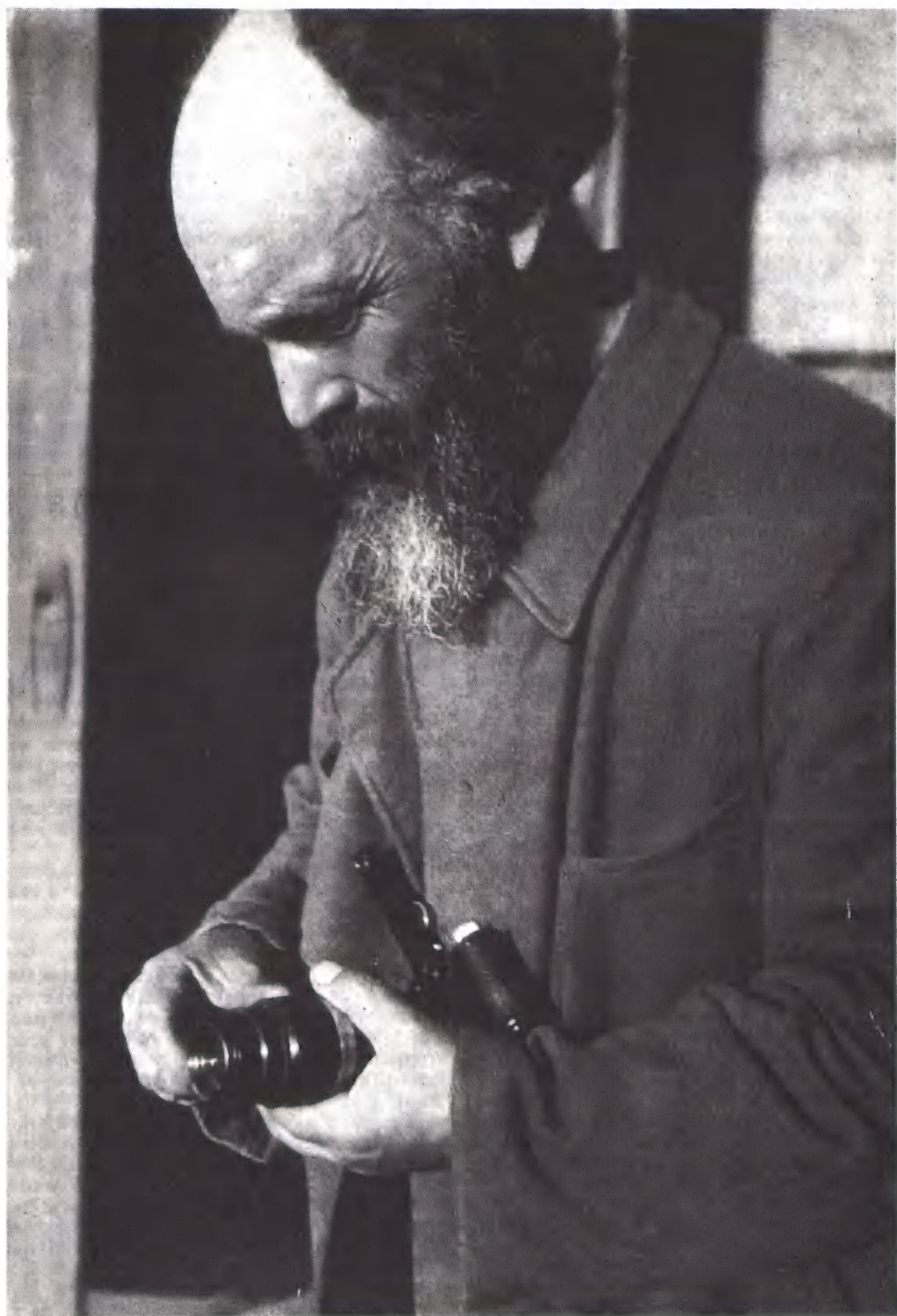
Пускай это было шуткой, и летчиком Пришвину стать не пришлось, но охотой, автомобилем и фотографией он занимался до глубокой старости (охота в конце жизни перешла почти целиком в натаску собак). Занимался он всем этим далеко не «по-любительски» (в смысле поверхностности), а с усердием, стремясь на высшую доступную ему ступень мастерства.

Все эти умения, или искусства, шли как бы волнами, накатывали, бились вокруг его единственного дела — писательства — неусыпной работы мысли. Эти многие пути-подходы были рождены потребностью постигнуть то великое, многостороннее и таинственное в своей неисчерпаемости, чем была для него Жизнь, и он не пренебрегал ни одним из путей, к ней приближавшим.

II

Фотограф самого высокого класса, фотограф-художник, может быть, больше, чем мастер всякого другого смежного искусства, верит в мир, каким он постигает его в визирку фотокамеры. Он точно видит Факт и верит в него; у философов это называется с некоторой снизводительностью наивным реализмом. Потому наивным, что всякое проявление жизни становится *подлинным* фактом, лишь пройдя через ум и сердце человека: жизнь должна быть увидена и понята каждым по-своему, и не только в окошечко фотоаппарата, но и через окно своей единственной неповторимой души. Но чтоб стать ей еще «фактом искусства», то есть явиться к нам прекрасной, мы должны вывести ее из плена сухой рассудочной схемы и воплотить в живой образ: художник и только художник этот образ находит, создает. Как это ни удивительно, но именно через занятие фотографией Пришвин в давние годы понял: рассудок строит схемы, роется в жизни, как крот отыскивая *причины* явлений, в то время как живой ум в противоположность рассудку открывает в природе *образы*. Так понимаемый образ или форма — это не безличный трафарет, а единственное явление, каждый раз новое, и мы не перестаем удивляться ему как «чуду».

Становится понятной запись Пришвина, сделанная им во время фотографирования в зимнем лесу: «Смотрел и дивился формам сосен и елок, засыпанных снегом. Сколько я посвятил времени их фотографированию из-за того, чтобы



установить факт, что вот так бывает. Я будто фотографировал чудеса. Чудо же состоит в самородном явлении формы».

Так создается мир искусства. Рожденный природой, но преобразенный человеком и в этом смысле созданный человеком, он живет вместе с природой и неразрывно и неслиянно, как высшее ее отражение. Пришвин пишет в дневнике: «Нужно посмотреть на вещь с воим глазом и как будто встретиться с нею в первый раз: пробил скорлупу интеллекта и просунул свой носик в мир. Это узнает художник и первое его слово — сказка».

Пришвин называет этот усмотренный и воплощенный художником мир для себя условно сказкой или мифом; у каждого художника своя сказка. Но сказка у Пришвина тем особенна, тем в высшей степени современна, что не нуждается в вымысле, не требует сказочного волшебства. Пришвин подлинный, а не «наивный» реалист, и мир для него всегда в неразрывном единстве, он никогда не отрывается от самой что ни на есть земной действительности, но в то же время приподнимает эту действительность, облекая в одежды поэзии.

Все это наше размышление мы вели для того, чтоб приблизиться к одной записи Пришвина 1926 года из его повести «Охота за счастьем»: «Каждый художник непременно является наивным реалистом и верит, что мир именно такой и есть, каким он его воспринимает. Но все-таки [...] сколько лежит огромных томов путешествий, в которых девятю девять страниц посвящается описанию фактов, и одна только страница своего личного отношения к фактам. Теперь девятю девять страниц устарели, и их невозможно читать, а одна с о я страница осталась, и через сто лет мы берем ее в крестоматию».

И сколько книг о путешествиях не имеет теперь никакой цены только потому, что авторы выдавали свою сказку за действительность и тем унижали собой жизнь... (выделено мной. — В.П.)

Понятно становится теперь во всей его боли признание, сделанное Пришвиным на страницах позднего дневника 1946 года: «Мучился всю жизнь над тем, чтобы вместить поэзию в прозу».

Перед нами ранние дневниковые записи Пришвина, никогда не публиковавшиеся. Это отрывочные заметки для себя; он дорожит проходящим впечатлением, боится, что оно утонет в памяти бесследно, торопится, записывает при самой, казалось бы, неподходящей обстановке его быта: 1919 год, деревенская школа, разруха, голод, работа при коптилке, нет мыла, нет сапог, почта не доходит — раскуривается по дороге, — так вспоминает Пришвин.

...И вот оттуда несколько строк: «Сугробы волнисто сверкали: одна сторона к солнцу сверкает, другая голубеет».

Сосны очнулись — лес был сосновый, я подошел к нему в полдень на лыжах и вдруг увидел, что все сосны очень зеленые и стволы золотые, и что не отдельно и мертво они стоят,

а вместе, щека к щеке и все к солнцу: — И что же это было с нами?»

Читаем — льется на нас поток света, игра красок, свежее дыхание жизни, а ведь всего несколько строк! Мы ясно видим в них поэта, который пишет не стихами, а прозой; живописца, который в будущем осуществит себя... в фотографии.

Приведенные нами ранние записи о природе сомкнулись в далеком будущем с профессиональным самонаблюдением мастера, и тогда Пришвин запишет так: «...Теперь я понял себя, что по природе я не литератор, а живописец, ведь я мало смею выдумывать, я работаю по натуре, и если дерево стоит направо, а я пишу налево, то рисунок мне обыкновенно не удастся. Но я вижу все живописно, и, не приученный к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями».

Ему был дан высокий и нелегкий дар — уничтожить, разбить своим поэтическим словом застаревшее разделение между прозой и поэзией и показать их в живом и сущностном единстве.

Только поэтому Пришвин — поэт и живописец по призванию — принял на равных правах и такое «прозаическое» дело, как фотография.

III

Как фотограф Пришвин «начался» в 1906 году во время своей первой поездки в Беломорье и Карелию по поручению ученых-этнографов для сбора фольклорного материала. Он был к тому времени уже агрономом и даже начинающим ученым, автором нескольких агрономических книг. Но он чувствовал, что наука не его призвание. Из путевых записей по северу родилась его первая художественная книга «В краю непуганых птиц». На титульном листе значится: «С 66 рисунками по снимкам с натуры автора и П. П. Ползунова».

Кто этот Ползунов? Какие фотографии сделаны им и какие самим Пришвиным и откуда взялся у него фотоаппарат: в те годы Михаил Михайлович — житель петербургской окраины — так называемых «капустников» — был беден. Я не успела, не догадалась спросить об этом при его жизни, теперь вопрос стал безнадежно неразрешимым. Правда, по многим фотографиям мы можем безошибочно угадать авторство Пришвина — так ясен его «глаз», его подход к натуре... И все же ответ навсегда был упущен мной.

Так записала я себе и остановилась на этой фразе. Это было 12 июня 1976 года. А следующий день был днем приема посетителей в мемориальном дунинском доме М.М. Пришвина. Ко мне подошла пожилая скромная женщина и сказала, что она давно ищет возможности передать мне работы ее отца-фотографа с надписью на них писателя Пришвина. Это реликвия, хранящаяся в семье с 1906 года.

— Ваш отец Ползунов? — перебила я ее быстрым вопросом, смутно отдавая себе отчет в происходящем.



Начало весны.

— Да, Петр Петрович Ползунов, — ответила изумленная женщина, — но откуда вы знаете?

Так произошел один из необъяснимых случаев совпадения, благодаря которому именно сегодня, а не в какой-нибудь иной день пришел ответ на загадку, мною поставленную накануне. И это был не просто ответ, а целый рассказ о судьбе замечательной русской семьи, добровольно отправившейся в ссылку вслед за дедушкой-народовольцем, высланным на Крайний Север в начале века.

Я узнала от моей гостьи, что у Пришвина действительно не было фотоаппарата. Но по характеру своему и всегда удивлявшему нас пониманию времени он не мог не думать тогда о новой технике фотографирования в помощь своему сбору народной старины. И вот, в Олонецком крае он набредает на деревню Паданы, попадает в дом местного сельского учителя П. П. Ползунова, такого же, как он, страстного охотника, рыболова. И тут оказывается, как в сказке, что у учителя впервые в жизни накануне появился новенький фотоаппарат. История же появления фотоаппарата такова: у четы Ползуновых (жена — тоже учительница) были маленькие дети. Нужна корова, копят деньги на нее, а у Петра Петровича жила еще своя тайная мечта о фотоаппарате... И вот на семей-

ном совете решали: корова или фотоаппарат? Колебались... соблазн был очень велик: знакомый финн обещал купить аппарат за границей (деревня была на границе с Финляндией) и положить в условное место, а Петр Петрович, гуляя, его возьмет и получит первоклассный фотоаппарат и без всякой пошрины. Так победил фотоаппарат.

Такого человека и встретил М. М. Пришвин. Было время летних каникул. Два мечтателя, одинаково доверчивые, мгновенно поняли друг друга и, легкие на ногу, отправились в путь за сказками, прихватив с собой новую «игрушку» — фотоаппарат. Вместе по пути они ее, как говорят теперь, и «осваивали».

Видимо, фотографии в книге Пришвина мы должны считать теперь общими... А корова? Корова в семье появилась с помощью тех же фотографий.

Со своими записями путешествия Пришвин — человек без всякого литературного имени — пришел в Петербург к книжному издателю Девриену, прямо к нему домой, и попросил прочесть рукопись. К ней были приложены и фотографии. Видимо, чем-то Пришвин поразил Девриена, потому что издатель тут же созвал свою семью в столовую, где происходила встреча с неизвестным молодым путешественником,

и предложил выслушать в его чтении какие-то главы. Присутствовали и дети, и даже старая бабушка... Слушателям понравилось, и судьба книги была решена таким домашним способом...

Пришвин вспоминает: «Издатель спросил меня: — Ваше основное занятие живопись? Вероятно, он основал свой вопрос на множестве моих живых фотографий, но после и другие писали, что книга построена на зрительных впечатлениях. Издателю Девриену очень понравились и мои фотографии и, по-своему, наверно, и описание природы неведомого ему края, такого близкого к Петербургу и не менее таинственного, чем отдаленная Гвинея и Центральная Африка» («Охота за счастьем»).

Возможно, что этот первый энергичный и благожелательный читатель и решил направление творчества начинающего писателя: «неведомый край... зрительные впечатления... живые фотографии...» Пришвин сразу пустился в новое путешествие по новым местам. В следующих книгах Пришвина «За волшебным колобком» и «Черном арабе» фотографий нет. Да и впрямь, не тащить же было на себе одному тяжелый по тому времени фотоаппарат в плавание по Ледовитому океану или в Азию, по пескам пустыни.

Потом началась война 1914 года, за ней

трудные предреволюционные годы, Октябрьская революция. Пришвин живет в глухой деревне Смоленщины, работает сельским учителем. Аппарата все еще нет, да и не до фотографии ему было. Наконец, в 1922 году Пришвин вырывается из глуши, ближе к культурному центру страны и живет теперь в маленьких городках Подмосковья. Он пишет, печатается. В 1928 году у него появляется наконец портативный заграничный фотоаппарат «лейка». К этому времени Пришвин уже заслужил известность в молодой советской литературе, но главным образом как автор произведений о природе: «певец природы», понимаемый широким читателем как пейзажист. Долго будет еще преследовать писателя это имя, обедняющее и сужающее до искажения подлинный масштаб его оригинального направления в литературе.

Появился аппарат — две недели уходят на его изучение, — и Пришвин с увлечением бросается в новое искусство. Достаточно прочесть такую запись: «До того я увлекся охотой с камерой, что сплю и все жду, поскорей бы опять светозарное утро». С этих пор и до конца своих дней Пришвин не расставался с аппаратом, который постепенно стал в помощь дневнику своеобразной записной книжкой. В конце 20-х и начале 30-х годов Пришвин был запойным

Лесное зеркало.





На лавах в Дунино.

фотографом, увлеченным чисто художественными задачами. Бывали периоды, когда охота с фотокамерой заменяла ему привычную многолетнюю охоту с ружьем (ведь и ружье было, по существу, способом вхождения в природу, и только в переломные трудные годы оно служило подспорьем, чтоб кормиться с семьей).

Охота с ружьем и охота с фотокамерой были близко связаны между собой еще и тем, что у Пришвина за долгие годы выработалась привычка к трудным, подчас мучительным условиям жизни на болотах, среди комаров, гнуса и слепней, с переходами по многу километров в жару, завязая в грязи; привычка эта и выработанное охотничье терпение расширили пространство и для его фотопойсков.

«Почему же на писателя в этом положении странно смотреть? — спрашивает он и отвечает, — вероятно, потому, что писатель в общем понимании есть благополучный художник и живет в кабинете».

Пришвин в кабинете не жил.

Он склонен преуменьшать профессиональное достоинство своей фотоработы: «Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему специалисту в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю: он это не уви-

дит». А сюжеты, которые снимает Пришвин, смысл, который он вкладывает в них, и приемы, которые он ищет и пробует, — все это может послужить не одной только фотографии, но и ряду других смежных областей, где работает глаз и воображение человека.

Вот, например, снимки, сделанные весной света: туго тающие санные следы на уже растаявшей дороге; Пришвин называет их «колен мороза». Или лаконичный образ «истлевающей дороги» и запись к нему: «Оледенелая, натруженная, набитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда в прозрачности показывалась вместе с весенними облаками, преобразенная и прекрасная». Или «лесное зеркало» — глубокой осенью еще не замерзшая лужица в лесу, окаймленная хрусткой пленкой льда с тончайшим, как кружева, орнаментом. Или размышления в дневнике о прожитом дне: «Что же мне от него осталось, что было как счастье?» И ответ: «Это было множество капель росы, сверкавшее на еловой лапке в то время, как я снимал кружева».

Такое все малое и в красоте такое для художника значительное! После долгих опытов он восклицает: «Постепенно с годами можно научиться снимать в лесу сказку росы». И рядом:



Село Ловела. Архангельская обл., 1935 г.

«Стал снимать людей — старух и детей». Пометка, что «снял свою тень».

Наблюдения осенью над всходами озимой ржи: Михаил Михайлович пришел в такой восторг от подробностей цвета и формы, что забыл о мокроте и лег на живот прямо в грязь, чтобы сделать снимок.

Снимки неба и облаков: «Снимал жизнь неба». Это были легкие по форме и цвету облака, а на земле лежал снег и еще зима.

В снимках и, главное, в записях дневника проходит целая симфония цветов, звуков, форм и настроений.

Таково «настроение» в снимке забытого на ночь ведра на колоде: ведро получает у Пришвина дар говорить без слов, и мы ясно ощущаем близость между человеком и связанной с ним вещью.

И наконец, пауки, эти, по слову Пришвина, «артисты труда». Множество снимков и записей о них в дневнике. Перелагать эти записи было нам грешно перед автором, и потому просим читателя обратиться к записям о пауках в книге «Лесная капель».

В 1930 году Пришвин после посещения его Арсеньевым, автором «Дерсу Узала», собирается ехать на Дальний Восток в целях фото-

графических, но тут же одумывается и записывает, что воспоминание о своих московских дебрях и их богатстве остановило его порыв.

IV

Да, поначалу это была бескорыстная работа художника, восхищенного новыми возможностями прекрасного изобретения техники — послушной «лейки». Но вскоре фотоаппарат сослужил Пришвину новую и великую службу: он прямо-таки спас его, помог выйти писателю из нравственного тупика, в который тот был поставлен переходным, горячим и в своем движении зачастую невнимательным к отдельному человеку временем.

Дело в том, что на переломе 20—30-х годов тема Пришвина «природа — человек» понималась рассеянно и критикой принималась с натугой. Появились статьи, толковавшие литературную работу Пришвина как украшательство жизни «пейзажем», как уход от гражданственности, от необходимой борьбы, как равнодушие к вопросам общественных отношений.

Критики не вникали в подлинный смысл творчества Пришвина, выраженный им просты-



Вологда. 1935 г.

ми и точными словами: «Моя работа — коммунистическая по содержанию и моя собственная по форме». И писал-то он далеко не об одной природе, тем более не о природе, оторванной от человека. Да и как возможно писать о чем бы то ни было, изолировав предмет своего внимания от себя самого со своим сложным общим человеческим миром? По-новому освещая мир природы, Пришвин воздействовал на отноше-

ния человека к природе, равно как и на самые общественные отношения людей между собой.

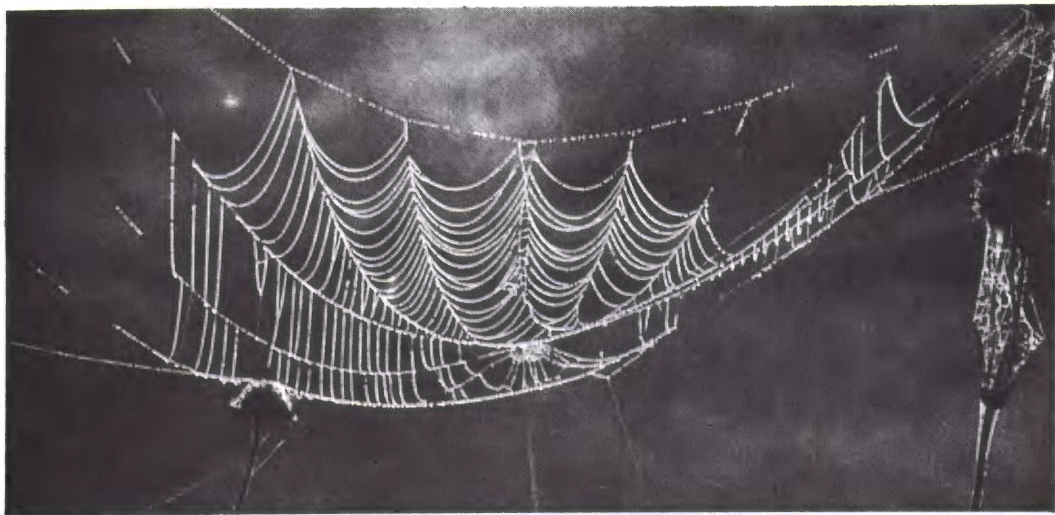
Убедительней всех наших доказательств будет его запись, сделанная в первые дни Великой Отечественной войны: «1941 г. 1 июля <...> Почти четверть века пели: «Это будет последний!» И вот этот решительный бой наступил <...> И если бы оказалось, что весь человек, выверну-

тый из себя наружу, не может оборонить себя, тогда прощай, Михаил Пришвин, со всеми птичками и цветочками».

Любая, самая, казалось бы, на внешний взгляд далекая от социально-нравственных тенденций, поэтическая запись Пришвина о природе, пусть это просто музыкально-живописный отзвук — все равно служит его теме. Темой же Пришвина всегда была созидательная деятельность человека в природе, спасающая ее жизнь.

ски. Пришвина зачастую не понимали. В те годы ему было одиноко и трудно. Дневник, 8 ноября 1930 г. «Последний «Переход». Моя печаль в этом году перешла в отчаяние (...), мне стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть и пойти по дороге до тех пор, пока в состоянии будешь двигаться и, когда силы на передвижение совсем иссякнут, свернуть с дороги в ближайший овраг и лечь там...

Пришвин усиленно ищет выход из создавшего



Воздушная ловушка.

Только теперь, во второй половине столетия, эта мысль, «сама проблема сохранения и защиты окружающей среды, стала понятной по всей земле и даже самому маленькому школьнику, а тогда... тогда это было неясно многим и многим специалистам.

Пришвин хорошо понимал задачу времени: свидетельство — его дневники. Он постоянно пишет о необходимости стать лицом к лицу с современностью во всей ее суровости, терпеливо вместе со всеми переделывать жизнь. Нелегкая и нескорая задача. Нельзя забывать, что именно в те годы Пришвин борется всеми доступными ему средствами за спасение леса под Переславлем, бесхозяйственно истребляемым торфоразработками; и за спасение реликтового растения клавдофоры под Загорском: он выступает в печати, едет на места, устанавливает связи с местными людьми, находит среди них и помощников и врагов своей идеи.

Перед государством в те годы стояла огромная задача — создать новую технику, изменить хозяйство страны. Нелегко было Пришвину сохранять свое направление в искусстве и в то же время быть на уровне новых требований общественной жизни, следовать им. При этом следовать им не насильственно, а деятельно, творче-

гося положения. Он стремится опереться на самый факт бытия. «Жажда факта» — вот единая мысль, пронизывающая записи этих дней: «К моему несовершенному словесному искусству я прибавляю фотографическое изобретательство, чтобы на вопрос наивного слушателя — «было это или нет» — не уверять его в действительности, а показать». И другая запись: «... беру фотоаппарат и снимаю. Искусство это? Не знаю, мне бы лишь было похоже на факт!»

Именно в это время у него возникает мысль заняться детской игрушкой.

Рождается мысль создать фоторассказ об игрушечном медвежонке в лесу, который превратится в живого и умного и будет даже участвовать в человеческой работе. Пришвин ходит по лесу вместе со Скачковым, его громадной медведицей и со своим плюшевым медвежонком в главной роли: «С медведицей кожу по снегам (...)» Идея моя ввести в действительный зимний лес игрушку (...) если не пропаду, оставлю после себя детскую книжку, мое слово любви, может быть, в оправдание всей жизни».

Сделаны бесчисленные снимки, и тут Пришвин узнает, что его идея ненова — в кино есть уже такие мультфильмы. От опытов с медве-

жонком книги не получилось, но осталось нечто большее для автора: уверенность, что художественный подход к жизни — это и есть подлинный реализм в самом значении слова: «Постоянно ношу в голове своей мысль: реальный рассказ — это сказка, заключенная в пространство и время».

Фотоаппарат запечатлевает только действительность, но прямо — из-под факта — из-под снимка рождается у Пришвина его сказка. Так

«Снимал волосы лешего (лишай). По-видимому недра лесные надо изображать именно подобными мелочами, иначе получается «шишкинский лес»... Надо снять елку, осыпанную листьями березы, уснувшего шмеля на цветке. Никогда не упускать снимать резкий луч солнца в лесу. Сегодня мне это не удалось, потому что при моей страсти упускаешь небо — передерживается...»

«После мороза, когда все травинки обдались



Вот и лето пришло.

Пришвин снимает замусоренный ручей на окраине Загорска (видимо, с целью борьбы с антисанитарией), а выходит на снимке «река вроде Миссисипи», вероятно, благодаря особому приему фотографа-сказочника. Пришвин временами уже надеется на какой-то хороший результат в своей работе: «Если уцелеют мои снимки до тех пор, пока у людей начнется жизнь «для себя», то мои фото издадут, и все будут удивляться, сколько у этого художника в душе было радости и любви к жизни».

Пришвин записывает свои наблюдения и маленькие открытия в технике фотоработы: «Заметил, что после грозы при радуге свет много активнее (прозрачность?)». Или после неудачи со съемкой красных растений, покрытых каплями росы: «Красное непременно выходит темным и сливается с землей, а капли при большой диафрагме выходят только передние».

«Широкоугольник можно применять для выделения из ландшафта темы (лица) посредством изображения всего остального ландшафта, как в иконописи, в перспективный фон». Еще запись: «Сколько раз, обманутый видением лесного клена, я принимал чудо золотого цвета листа его за свет, снимал его и на пленках ничего не получалось».

росой и засияли, я пытался снимать против солнца (чтоб) получить изящнейшее изображение светящимися тонами. Вышло неважно, потому что я не пользовался темным фоном и как-то спешил. Но уже по сделанному видно, что росу снять возможно».

«Солнце поднимается выше, лучи сквозь лесной туман проникают в глубину чащи, и на них там в чаще можно смотреть прямо, и даже считать и фотографировать».

«Снимал стрекозу на ветвях можжевельника. У головки ее висели две громадных капли росы. Плохо было с крыльями, которые не помещались в глубину резкости третьей линзы. После оказалось, однако, что сон стрекозы столь глубок, что не только можно выправить крылья, но даже переносить насекомое с ветки на ветку... Одно плохо, что при переноске стягивается с крыльев роса и нельзя бывает фотографировать крылья, которые делаются прозрачными».

«Надо понять, что может дать камера и что не может. И это очень трудно, потому что хочешь снять все, что кажется очень красивым».

Вот сильно росистое, ярко солнечное утро. В мелколесье роса села на тончайшие сети пау-

ков и они стали заметны. С восторгом я бросился снимать эти кружева, но когда проявил, — никакой прелести не вышло. Это потому не вышло, что восторг мой при виде сеточки был не от нее одной, все блестело, все сияло, а сеточка значила не больше кружевного чепчика на голове прекрасной женщины. Фотография дала мне только чепчик.

Надо научиться требовать от камеры только для нее возможное».

Все эти наблюдения, переносящие опыт фотографа-мыслителя в область чисто поэтического творчества, приводят Пришвина к убеждению, что в литературе художественное исследование природы лишь начинается, в то время как «с незапамятных времен с этой целью исследуют природу художники». Этому делу служит и фотография (как и вся современная техника), перед которой художник не должен превозноситься, а лишь не попадаться ей в плен.



Загорск. 30-е годы.

В итогах наблюдений над фотоработой мы находим записи о творческой закономерности, связывающей мыслителя, художника и фотографа. Так перед Пришвиным возникает вопрос, отчего обычно считают фотографию легким делом. Может быть, это и легко для любителя, потому что можно без особого ущерба пробовать — и сотый снимок случайно удастся; но Пришвин думает иначе: удача съемки, как и сама возможность снимать — есть результат общего труда многих людей. Пришвин не просто любитель, а подходит к новому делу как художник очень ответственно, именно потому он и делает вывод: снимать *трудно*, потому что фотокамера — «скудный аппарат» и успех зависит «не от аппарата, а от своей головы». И вывод: «Надо научиться пользоваться машиной, а не подчиняться ей и — это будет подлинный реализм!»



1935 г. На Двине.

«В этом деле художественного изучения природы с литературными целями я считаю себя пионером», — пишет Пришвин. Он вспоминает

свои книги: «Родники Берендея», охотничьи рассказы, ландшафты всех стран света, — все это составляет его «увесистый сундучок». Он настойчиво развивает ценную для нас, далеко не устаревающую мысль о художественном исследовании природы в противовес научному ее изучению.

Вредно художнику «изучать» чудеса: «Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой,

что ночь плохо спал. И когда об этом рассказал Аксюше, она сказала: — Это у вас ребячье и в этом нет ничего удивительного: все люди чем-нибудь играют.

— Так что, может быть, — продолжал я развивать эту издавна любимую мною мысль, — может быть и людей так можно узнавать: узнал, какой игрушкой играет — сам человек откроется.

— И откроется! — сказала Аксюша...»



1931 г. В оленьем питомнике.

а скажи — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете «изучать» незабудку?»

«Показывал Ксюше процесс проявления, и она видела и повторяла: — Это чудо!

И правда, это было действительно чудо, закрытое для большинства людей вредным объяснением воздействия света на бромистое серебро. Было, конечно, полезно и хорошо всем бы знать действие света, но вредно было и прямо убийственно для жизни, что при объяснении бессознательно по какой-то нигилистической традиции тенденциозно внушалось: раз оно так просто объясняется, то и нет никакого чуда, и вообще нет ничего тут удивительного.

«Купил Роллейфлекс * и так радовался ему,

В спадах и подъемах настроения кончается для Пришвина 1930 год. Однако в наступающей захватывающей его новой жизни он не тонет, больше того, где-то он чувствует себя, как художник, впереди. Он стоит на распутье, и вот однажды ему открывается ясный выход: надо идти в издательство «Молодая гвардия» (он выбирает самое близкое ему по духу, по задачам) и начать служить его делу... Вот отрывок письма М. М. Пришвина, с которым он туда обращается: «... В силу особенности нашего времени писатель попадает в положение кустика-одиночки. Есть выход из одиночества у кустарей поступить в артель (<...> Прошу издательство «Молодая гвардия» принять меня на службу как литератора подобно тому, как служат художники, архитекторы и т. п. с определенным вознаграждением за мой труд, позволяющим мне существовать и совершенствоваться в своем деле.

Мной избрана «Молодая гвардия» вследст-

* «Роллейфлекс» — фотоаппарат «зеркалка».



вие того, что я как старый мастер хочу посвящать себя в дальнейшем исключительно трудной литературе для детей и юношества <...> В настоящее время я готовлю книгу об охоте с камерой, которая более чем ружье способствует пробуждению исследовательского интереса. 1930 17. IX».

Дневник 23 ноября. «Эта охота с камерой будет производиться не только в лесах, а и на фабриках и заводах».

Дневник 7 декабря. «Я в последнее время ввожу в свои литературные произведения фотоснимки не как просто репортер, а с целью создать мало-помалу художественную форму, наиболее гибкую для изображения текущего момента жизни».

Во исполнение взятого на себя обязательства Пришвин тут же отправляется на большое строительство Уралмашстрой. Он делает там записи-наблюдения, фотографирует, но творческой «вспышки» не получается, и от поездки остаются только скудные по сравнению с обычными записи в дневниках. Снимков мало.

Пришвин угнетен неудачей, и тут он вспоминает о Дальнем Востоке, давно его манившем, он прибегает к использованному в молодости способу, сделавшему его некогда писателем: он вновь устремляется в неизвестное — тогда был Север, сейчас это будет Дальний Восток.

Задача ясна: написать очерки о преобразовании края. Он изучает государственный питомник оленей, песцов, рыболовецкое хозяйство; с собой «лейка» и маленькая записная книжка с перекидными листками, уместающаяся в кармане блузы. В ней еле читаемые нами недописанные слова и строки; груды снимков. Всего три с половиной осенних месяца.

Возвратившись в Загорск, он садится за очерки по материалам поездки: это «Дорогие звери», «Песцы», «Олень-цветок». Очерки печатаются. Но что-то главное еще требует сказать... Что? И Пришвин снова садится за те же материалы — будто бы о тех же оленях, а на самом деле рождается лирическая повесть «Жень-шень» — коронная художественная вещь Пришвина, вскоре составившая ему известность не в одной лишь отечественной литературе, — она переведена теперь на все основные языки мира.

Началась работа над повестью краткой отметкой в дневнике: «Сел за «Даурию» и перестал заниматься фотографией. Мне дана одна струна, или сказать вернее, лирическая нота — одна для всего...»

Вот забытый, но опубликованный в свое время в журнале «Молодая гвардия» рассказ Пришвина о том, какую роль играла фотография в написанной им повести «Жень-шень»:

«Предлагаемые нами записки были сделаны на Дальнем Востоке главным образом при помощи карманного фотоаппарата «лейка» с пере-

менными объективами; материалы добывались на улицах, на море, в горах, в тайге совершенно так же, как добывается дичь на охоте. Множество драгоценных снимков погибло у меня во время проявления во Владивостоке по незнанию химических свойств дальневосточной воды, но еще гораздо больше не удалось по тем же причинам, по которым охотники пуделяют, рассеивая свинец по земле: то передержка, то недодержка, то не в фокусе, то нелепая композиция. И тем не менее я без преувеличения скажу, что ни одного разу не щелкнул шторкой дорогого мне аппарата бесполезно для моей работы по изучению Дальневосточного края. Каждый снимок я делал с тем загадом, который является результатом моего многолетнего опыта в деле собирания материалов для познания и описания лица данного края.

Я направлял на какой-нибудь предмет свое холодное исследовательское внимание и привлекался к нему горячим родственным вниманием, — все равно, — складывалась ли картинка на пленке фотокамеры или же на сетчатой оболочке моего глаза, — в том или другом случае снимок с предмета оставался в моем мозгу, как записки любителя зверей. Вот так я, как писатель, влиял на свой фотоаппарат, заставляя его фотографировать и там, где технически это было невозможно; и в свою очередь, конечно, аппарат влиял на писателя, побуждая его все брать на глаз.

По этим снимкам, действительным и мнимым, я писал потом дома картинки, как пишут для большой картины художники свои этюды. Но я не знал, что у меня получится большая картина, я писал картинку одну за другой просто по снимкам до тех пор, пока наконец не явился сюжет или повод с сильнейшим желанием соединить все написанные картинки в одном глубоком понимании всего материала.

Тогда я бросил и даже как будто забыл все написанное и одним духом написал свою повесть «Жень-шень» <...> После того как вещь была написана и напечатана, я вернулся к своим картинкам и соединил их под заглавием «Золотой Рог» <...> та фотографическая действительность, на которой я создал свою легенду».

Рассказывая о фотографической работе, Пришвин здесь невольно упрощает внутреннюю работу свою — художника и мыслителя. Но мы-то понимаем, сколько надо было накопить ему опыта в уме и сердце, чтобы так «щелкнуть затвором» и создать такого достоинства поэтическую вещь.

После поездки на Дальний Восток фотоаппарат как помощник в писательстве становится привычным, и фотографии в виде множества негативов и в малой доле их отпечатков скапливаются после каждой поездки. А поездки предпринимаются теперь ежегодно. В 1933 году Хибины, Соловки, Беломорстрой. 1934 год — город Горький — изучать автомобильное дело, 1935 год — Пинега, путешествие труднейшее по условиям жизни и передвижения. На основе его написаны очерки «Берендеева чаща», а в конце

жизни повесть-сказка «Корабельная чаша». Сохранилось множество снимков Пришвина от этой поездки, имеющих сейчас разностороннюю ценность: это и природа, и хозяйство, люди, а все вместе, — это уже история. После кончины Михаила Михайловича его читатель — инженер и любитель-фотограф К.К. Попов буквально «спас» ряд снимков и сделал альбом этого путешествия, отпечатав снимки с авторских негативов, постепенно терявших свои качества. К фотографиям он подобрал записи из путевого дневника Пришвина, и этот ценный альбом хранится в нашем архиве в ожидании опубликования.

В 1936 году Пришвин совершил последнюю в жизни дальнюю поездку — на Кавказ, в район Кабардино-Балкарии; хранится множество негативов, отражающих жизнь и природу тех мест.

В годы 1937—1939-й Михаил Михайлович по-прежнему много занимается фотографией и снимает среднерусскую природу, которую любит больше всего. Это и Подмосковье и Переяславль, едет он и под Кострому для наблюдений и записей весеннего разлива; фотоаппарат, конечно, всегда с собой. Много времени проводит он в лесу, впервые пристально приглядываясь к снежным наносам на деревьях: он видит в них образы «безобидных существ», в обществе которых находит молчаливое понимание. Снимков хранится множество (известен в печати лишь один, названный им «Ночной сторож»).

Можно по записям проследить, какая внутренняя чуткая связь установилась у Пришвина с его фотокамерой.

«1938 год. 26 сентября. Убитая птица — снимок. В моей охоте с фотокамерой самый снимок является почти как в обыкновенной охоте с ружьем убитая птица (<...> Любитель-охотник тратит невероятные усилия, чтобы убить зверька или птицу, а самой добычи потом хоть не будь. Точно так бывает у меня с фотоснимками: в большинстве случаев я не знаю, что с ними делать».

«1938 г. 29 сент. Я, когда делается плохо, начинаю заниматься фотографией».

«1938 г. 6 окт. Из учебника фотографии: «Белое рядом с черным становится на глаз еще белее, чем оно есть. Так, вероятно, по тому же закону контраста, и добро становится сильнее рядом со злом...»

Радостно нам сейчас убедиться: как бы ни было подчас тесно в душе, Михаил Михайлович верен своей основной мысли, что «добро побеждает зло». Именно сейчас Михаил Михайлович назовет свое фотографическое дело «светописью», а себя «художником света». Он назовет свое направление в писательстве стремлением «создать сказку в земном пространстве и в земном времени, чтобы жизненный случай действовал как перо Жар-птицы».

Это значит — увидеть в реальной действительности, в «прозе жизни» сказку (возвышающее идеальное начало жизни), утвердить ее как факт и одновременно как цель. Эта тема будет ныне вести Пришвина уже открыто и до кон-

ца: все свои последующие крупные произведения он назовет «повесть-сказка», «роман-сказка».

Так приходит 1941 год и с ним Великая Отечественная война.

VI

Вся жизнь сорвана с места. Мы уехали в глухие места под Переяславлем-Залесским в деревню Усолье, жили там трудной тыловой деревенской жизнью. Михаилу Михайловичу шел семидесятый год. Однако ранним утром он неизменно садится за стол с книгой и пером. Долгими вечерами идут наши беседы, записи, совместная переписка довоенного дневника. Это работа уже не для литературы, то есть не для будущего: само время теперь поставлено под сомнение, — да и будет ли оно для нас? Важно только одно: переживание правды настоящего с постоянной мыслью о тех, кто отдает за нас свои жизни на фронте.

А днем Михаил Михайлович фотографировал женщин и детей для посылки карточек на фронт их мужьям и отцам.

«Дома набросились на меня женщины снимать своих маленьких детей, чтоб послать на фронт фотографии мужьям...

Я утонул в фотографической работе».

«Чем же плох мой труд снимать карточки детей для посылки их отцам на фронт? И так все, всякий труд, если научиться подходить к нему благоговейно... Так я смотрел на себя-фотографа со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, к которому все подходит запросто и, положив ему руки на плечи, говорят на «ты».

Тогда мне подумалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле».

«Снимаю 16-летних допризывников и дивлюсь им, вполне созревшие воины».

«Война учит всех» — пришло мне в голову, когда я снимал с картошку двух мальчишек по пятнадцать лет. У одного были на груди стрелковые ордена, и я не знал, как мне с ними быть, потому что в комнате стена мешала отодвинуть аппарат, чтобы могли выйти все ордена. — Что делать, — сказал я, — если снять ордена, то отрежется сверху голова, волосы почти до самого лба, а сохранить голову — срежем ордена. — Мальчик задумался... — Режь голову, — ответил мальчик...

Прямо от нашего дома в глубину на далекие пространства простиралась леса. Глухо за ними слышалась иногда канонада — это был голос фронта. Когда Михаил Михайлович выходил теперь в зимний лес, природа говорила с ним по-новому — языком человеческих страданий: «И опять летел весь день снег, но без сильного ветра. Я продолжал думать об этом чудовищном скоплении снежного зла, от которого родится богатейшая весна. Перебрасываюсь от этого в человеческий мир, и вся война представляется мне как болезнь, охватившая все чело-

вечество. И пусть вырастут на крови цветы — неутешительно. Пусть и тут каждый кристаллик зла превратится в каплю росы — неутешительно...»

«Душа сорвана с места!» — записывает он в эти дни.

Еще запись — о перегоняемых в глубину страны стадах, чтоб спасти от наступающего врага. Животные идут усталые, голодные... Над записью заголовочек: «Коровий рев. Каждое утро просыпаюсь, когда гонят мимо открытых окон коров, и они мычат и режут. Прежде меня просто раздражал этот коровий рев, сопровождающийся хлопаньем кнута и окриками пастухов. Теперь, при этом глупом бессмысленно-безнадежном реве отдельных коров, я содрогаюсь, мне слышится в этом реве, в глубине его где-то заключенный человек, не имеющий возможности дать знать о себе своим голодом.

А когда после того встаю и выхожу на росу, то даже и все величие солнца не удовлетворяет меня, и в лучах его, и в цветах, и в траве, и в росе, и уже в том, что солнце круглое, мне чудится какой-то недочет. Чего-то не хватает во всем этом, что-то пропущено или где-то заключено и скрыто, как в этом реве коровьем, слышном теперь уже издали, продолжает чудиться заключенный в темницу родной человек.

Хорошо, что я хотя и поздно, а все-таки это чувствую...»

Он не может участвовать в войне как солдат. С чем же ему выйти к людям на помощь? Только со своим искусством — со словом. Как тоскует он от несовершенства своего искусства и как велика его обращенность к человеку — все это насквозь просвечивает его запись тех военных дней: «... и когда я из тепла и в теплой одежде выхожу ночью в засыпанный снегом лес, слышу, как даже деревья громко трескаются от мороза, как на тропу мою со скрипом от тяжести опускает свою перегруженную ветвь любимая моя сосна, я, так мало сумевший дать людям от своих внутренних богатств, теперь смотрю на все эти богатства неподвижных при луне белых фигур и понимаю их всех, как мои же мечты за всю жизнь бесчисленные, те, которые я не сумел довести до людей».

Вспоминаем такие же наблюдения Пришвина перед войной в зимнем лесу «безобидных существ» и сравниваем — сколько теперь новой боли за человека, сколько новых требований к себе самому...

Перед нами снимок Пришвина, сделанный в Усолье во время войны. Это тоже одна из «снежных фигур» на деревьях. Глаз художника (и фотографа) открывает в ней образ женщины-матери. «Материнский поцелуй» — так назовет для себя этот снимок Пришвин. В нем — прямой отклик на переживания тех дней. Прикосновение к жизни женщин и в нашей деревне и в соседних, куда Пришвин забредал, отзывалось в душе мыслью не только о страдании, но и о любви, преодолевающей смерть: «Смотрел целый час на материю снега, обнимающую каж-



Жизнь дерева.

дый сучок, с тем, чтобы устроиться на нем шариком... И всюду и во всем одна только цель этой снежной материи: облепить, округлить и похоронить. Снежная материя хоронит живые существа с целью их сохранения: под снегом они не вымерзают; и та святая женская материя, о которой я говорил, есть добрая Мать».

Чувство глубины жизни, ее высокого смысла, воплощение этого смысла в простое жиз-

ненное дело заставляет Пришвина-писателя сомневаться подчас в значении самого искусства, как последнего, высшего, возможного для человека деяния: «Стал зарисовывать в лесу и удивился себе, зачем я столько лет таскал за собой фотоаппарат. Но, подумав о слове своем, понял, что, может быть, и слово мое тоже переходное искусство, и как-то можно легче и лучше выразить то, что я хочу выразить своим тяжелым искусством. И, может быть, всякое искусство является только ступенькой по лестнице; за верхней ступенькой искусство вовсе не нужно».

Об этом Пришвин думал и раньше, еще до войны. Видимо, любое глубокое страдание всегда приводит человека к такому же выводу. Так, еще в 1938 году он записал: «Если просто и по самой правде относиться к живым существам, то описывать их или снимать фотографию не нужно».

Как понять нам это сомнение писателя в деле всей своей жизни? Мы понимаем его так, что

мысль о нравственной «ступени» была тем поиском души, который столь свойствен русскому человеку (его мы находим и на страницах летописи, и в народной сказке, и в творчестве наших дней) — это поиск добра и правды в самой жизни, в поступках людей, в их отношениях.

Подтекст этой мысли таков: довольно говорить, писать, рисовать и петь о прекрасном — надо делать.

Весной 1942 года показались признаки перелома войны к победе. Эта надежда соединилась с радостью от наступления весны, и мы находим в те же дни у Пришвина такую запись: «Свет весной действует так, будто ты выходишь из себя и вне себя уже утверждаешься в той бесспорной радости, которую у тебя не отнимет никто».

Запись эта названа Пришвиным коротко: «Свет».

Конечно, это писал не литератор, а просто человек, переживающий вместе со всеми

Плашка.



Попался.





Проводник Осип показывает охотничьи знаки.

страдания и радующийся вместе со всеми выходу из них... Но тем не менее невольно вспоминаем причастность этой записи и к скромному подсобному его ремеслу — фотографии: ведь еще до войны Пришвин назвал его производным от «света» словом — «светопись», а себя — фотографа — «художником света».

«Я хочу доказывать светописью мои видения реального мира».

VII

После войны мы поселились под Звенигородом, в маленькой деревеньке Дунино. В эти дунинские годы — последние свои годы — Пришвин как бы окончательно утверждает в мысли, что все богатства жизни находятся вблизи человека, и художнику необязательно отправляться каждый раз за ними в далекое путешествие:



Так болеет дерево. Наросты на коре.

«Они тут же у тебя за околицей...» За полгода до кончины Михаил Михайлович записал в карманной записной книжке: «Не вдали, а возле тебя самого, под самыми руками вся жизнь, и только если ты слеп, не можешь на это как на солнце смотреть, отводишь глаза свои в далекое прекрасное. И ты уходишь туда только за тем, чтобы понять оттуда силу, красоту и добро окружающей тебя близкой жизни».

Коротко он записывает об этом еще так: «Я стал — мир пошел». Мир сам пришел в движение вокруг человека, и человек этот, рассматривая каждую «мелочь», познает этот мир во всей его полноте.

Надо научиться вниманию к жизни. Этим и занят Пришвин-писатель. А фотография, о которой мы сейчас рассказываем? Но если этому приобщению к жизни всего мира служит у Пришвина все — значит, и фотография.

«Плохой вышел из меня ученый, но я не нахожу слов благодарности тем ученым, кто показал мне лабораторный труд и учил пользоваться методами науки. Я видел потом великих людей, имена которых известны всему миру. И в то же время я великих людей не видал. Все они были очень скромные люди, и их величие было лишь от того, что они имели способности и возможности стать ближе всех нас к Великому — к делу познания мира.

Да, не успел я ничему хорошо научиться в храме науки, но я вынес из этого храма чувство благопристойности и благоговения великих ученых к предмету своего изучения. Вот это чувство я и старался перенести в природу как на предмет моего поэтического изучения и отсюда — на страницы моих книг».

Каждая мелочь была наполнена смыслом. И потому, рассматривая снимки Пришвина, хотя бы сделанные им в Дунине, мы затрудняемся ответить, какой сюжет больше привлекал Пришвина. Вот наша деревенская улица самой ранней весной: «Снимал поверх забора скворца на скворечнике и заметил — девочка маленькая глядит на меня между жердочками. Я и скворца и девочку снял».

Или портрет друга своего, академика Капицы, в момент, когда тот всецело занят разговорами, редкий портрет Петра Леонидовича в 1950 году.

Групповой снимок — наш деревенский люд на берегу во время весеннего разлива: собрались все вместе смолить лодку. Или множество снимков самого ледохода в борьбе наплывающих друг на друга льдин.

Вот Михаил Михайлович отправляется по жаре пешком в соседний колхоз «Иславское»: «Нашли председателя колхоза Егора Ивановича Дюкова, фотографировал сбор огурцов. Первое впечатление, что колхоз замечательный».

«Портрет» солнца на нашем берегу: «Закат солнца. Нарочно не спряталось совсем, а остался глазок, — солнце сказало себе: «Подожду, хоть одним глазом на все погляжу, как-то живете вы без меня».

«Портрет» Жальки — любимой собаки, в тот момент, когда луч света упал на нее и глаза

от этого загорелись удивительной выразительностью, смыслом.

Портрет женщины с собакой в приглушенном полумраке комнаты (закат это или рассвет?). Оба в одинаковой позе пристального спокойного внимания, устремленного на что-то невидимое в окне. И в позе, и в этом общем внимании нас поражает внутренняя связь между животным и человеком.

Фотография у Пришвина, как мы уже прочли выше, по существу, это «орудие его внимания к жизни»; мы бы сказали еще: его прямой любви к человеку; ему нужно поделиться с людьми тем, что он имеет, «мимо чего они проходят». Надо не только это назвать, но попытаться им и показать, а показать он может с помощью фотографии.

Это внимание, по его слову «родственное внимание», Пришвин называет иногда и профессиональным фотографическим термином «глубокий фокус». Однажды он делает запись во время фотографирования, говорящую нам, что всегда существа природы живут у него в неразрывной связи с его вниманием и любовью к человеку: Пришвин снимал в этот раз «глубоким фокусом» старый пенёк и приютившуюся около молоденькую елочку. И вдруг в образе старого пня и елочки Пришвин узнает... старого Грига, «который однажды, вернувшись с горной прогулки, увидел на пороге своего дома маленькую девочку, и с тех пор до смерти не расставался с ней и сочинял для нее песенки».

Однажды известный график и близкий знакомый Пришвина Владимир Андреевич Фаворский сказал ему: «Фотография передает случай,

а живопись событие <...> на этом пути фотография, конечно, может считаться самостоятельным искусством».

Пришвин ему возражает: «Жизнь есть единство, и не только событие, но каждый случай в ней есть явление целого. Но, конечно, надо вперед понимать целое, чтобы узнавать его проявление в частном (впрочем, если не понимать, то хотя бы допускать). Если взять для примера фотографию, то целое, как невидимое изображение, а проявление, как явление целого в частном».

Вот и другой разговор — с человеком, имя которого нам теперь уже не узнать, записан он в дневнике 1 ноября 1930 года: «— Вы все с мелкотой возитесь? — спросил меня Н. из Госторга.

Жаль, не успел я ему тогда ответить, что положение художника обязывает меня к собиранию мелочей, внимательно-родственному отношению к ним и бережному хранению; что только в переменах света и тьмы на мелких предметах могу знать я о восходе и закате солнца <...> что я, имея дело постоянно с мелочами, привык делать то универсальное, что явилось мне самому в мелочах; что всех, кто имеет дело непосредственно с универсальным и презирает мелкоту, я подозреваю в трех грехах современности; эти три греха или вернее три кита: утопия, авантюризм и халтура... Так я уклонился от анализа «мелкоты»!

Откуда явилось это чувство ответственности за «мелкоту», за слезу ребенка, которую нельзя переступить и после начать хорошую жизнь?»

Пахота. Земля дышит.





Вифаньевский пруд.

Так спрашивает Пришвин, а мы продолжаем его мысль: ведь именно эта боль за «мелкоту», за «слезу ребенка» была болью Достоевского, этим он и вошел в совесть всего человечества.

В одной короткой записи Пришвин прямым лучом просвечивает русскую нашу нравственную мысль — нашу литературу.

В этой масштабности духовной жизни, в ко-

торой рядом со Словом находит себе место даже и такое подсобное «мелкое» искусство, как фотография, и есть вся значительность Пришвина как человека и как художника.

Размах его мысли, сопровождающий жизнь души, поражает. Для Пришвина не существует никакой дистанции между фотографом, мыслителем или поэтом. Наивный фотограф, равно как и поэт, ищет «случай», узнает истинную жизнь по отдельным «вспышкам», деталям, намекам, но у них остается мечта, что рано ли, поздно ли, жизнь будет познана — во всей ее полноте.

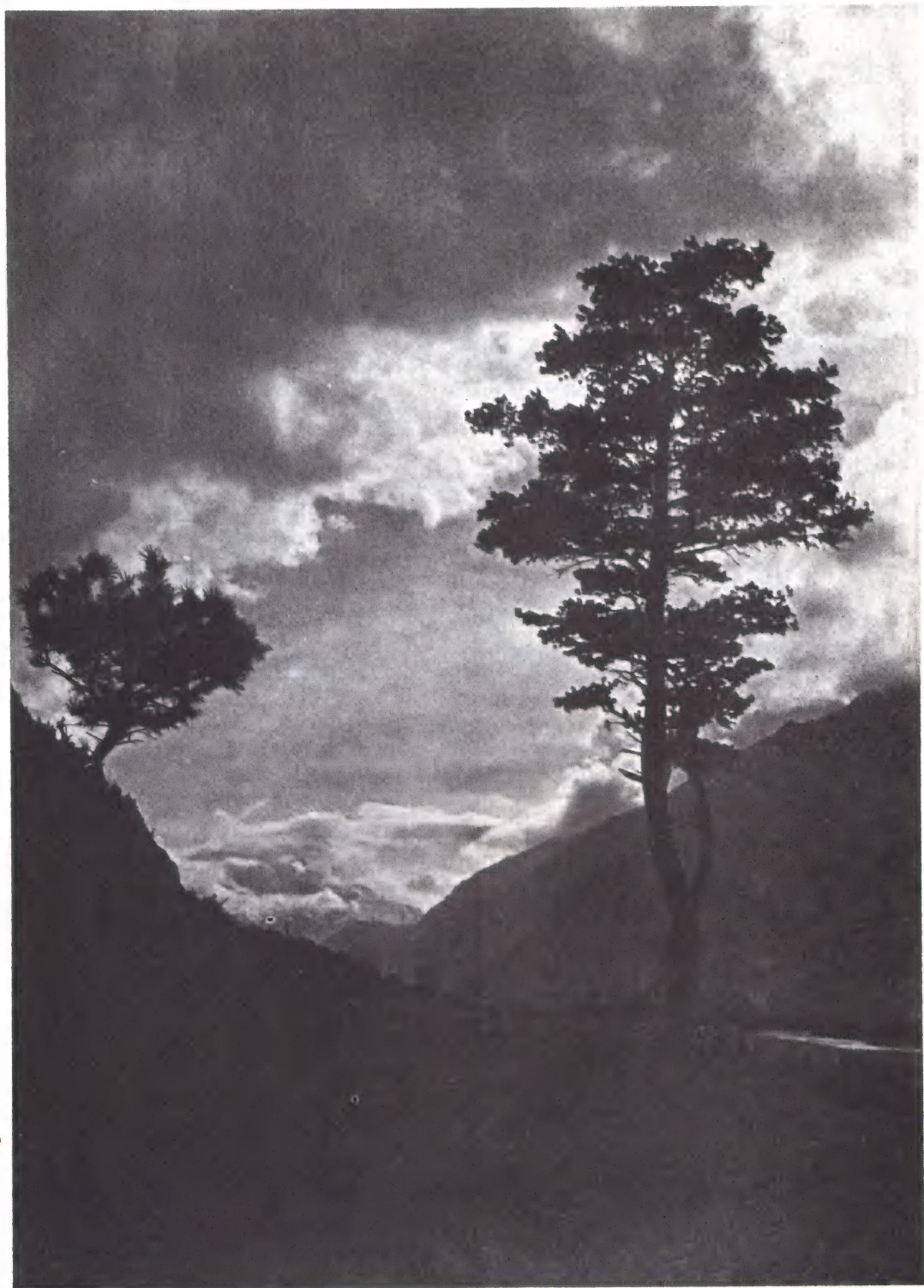
Об этом и говорит нам запись 1930 года: «Фотография тем отличается от больших искусств, что (...) оставляет скромный намек на сложный оставшийся в душе художника план и еще, самое главное, некоторую надежду на то, что когда-нибудь жизнь сама в своих изначальных истоках прекрасного будет «сфотографирована» и достанется «всем».

И к этому запись 1938 года: «Проявляется изображение на пленке, и часто это происходит, будто глаза открываются все шире, шире... Диво! Вышло совсем не то и не так, как снимал. Откуда же это взялось? Раз уж сам не заметил, когда снимал, значит, оно так само по себе и существует в «природе вещей». Вот отчего радостно заниматься фотографией и отчего расширяется глаз: хорошо, очень хорошо, когда сам что-нибудь сделаешь новое и прекрасное, но лучше бывает, когда убеждаешься, что оно есть в самой природе вещей, и кажется тогда, что если бы удалось открыть какую-то завесу, то и всем это будет видно, что есть красота на земле, и в ней заключается смысл».

Он оставил и такие простые слова, как завет новым людям: «...Много раз во время путешествий своих я встречал молодых людей, занятых фотографией природы. Часто они показывали мне замечательные снимки, которые, несомненно, могли бы конкурировать с хорошими гравюрами. Это наводило меня на мысль, что фотография может стать замечательным искусством, объединяющим множество художников. Неоднократно я спрашивал у встречавшейся мне молодежи, имеют ли они «практическую» цель, занимаясь фотографией. И всегда получал ответ: «Практического слишком много в профессии фотографа, но, занимаясь фотографией, мы никаких «практических» целей не преследуем».

Несомненно, в таких молодых людях таятся незаурядные художественные силы, толкающие их выбраться из рутины «практического».

От всей души желаю советской фотографии развиваться за счет той талантливой молодежи, которая видит в искусстве источник живого творчества».





Великий океан. Дальний Восток. 1931 г.

VIII

М. М. Пришвин оставил нам большое количество негативов. Судя по записям дневника, много негативов было им утрачено. Систематизировать же их у него не доходили руки.

Сразу же после кончины писателя началась работа в Государственном издательстве художественной литературы над шеститомным собранием его сочинений. Хотелось в нем соединить слово Михаила Михайловича с его «точной зрения» на описываемый мир — решено было иллюстрировать тома его собственными фотографиями. (До этого фотографии Пришвина появлялись лишь изредка в периодической печати.) Началась первая систематизация фотоархива.

В результате этой работы, кроме шеститомника, вышла тогда еще одна книга, иллюстрированная фотографиями Пришвина: «Дорога к другу» (М., «Молодая гвардия», 1957).

Сохранилось некоторое количество авторских отпечатков разного качества; иногда это «контрольный», в другом случае отпечаток

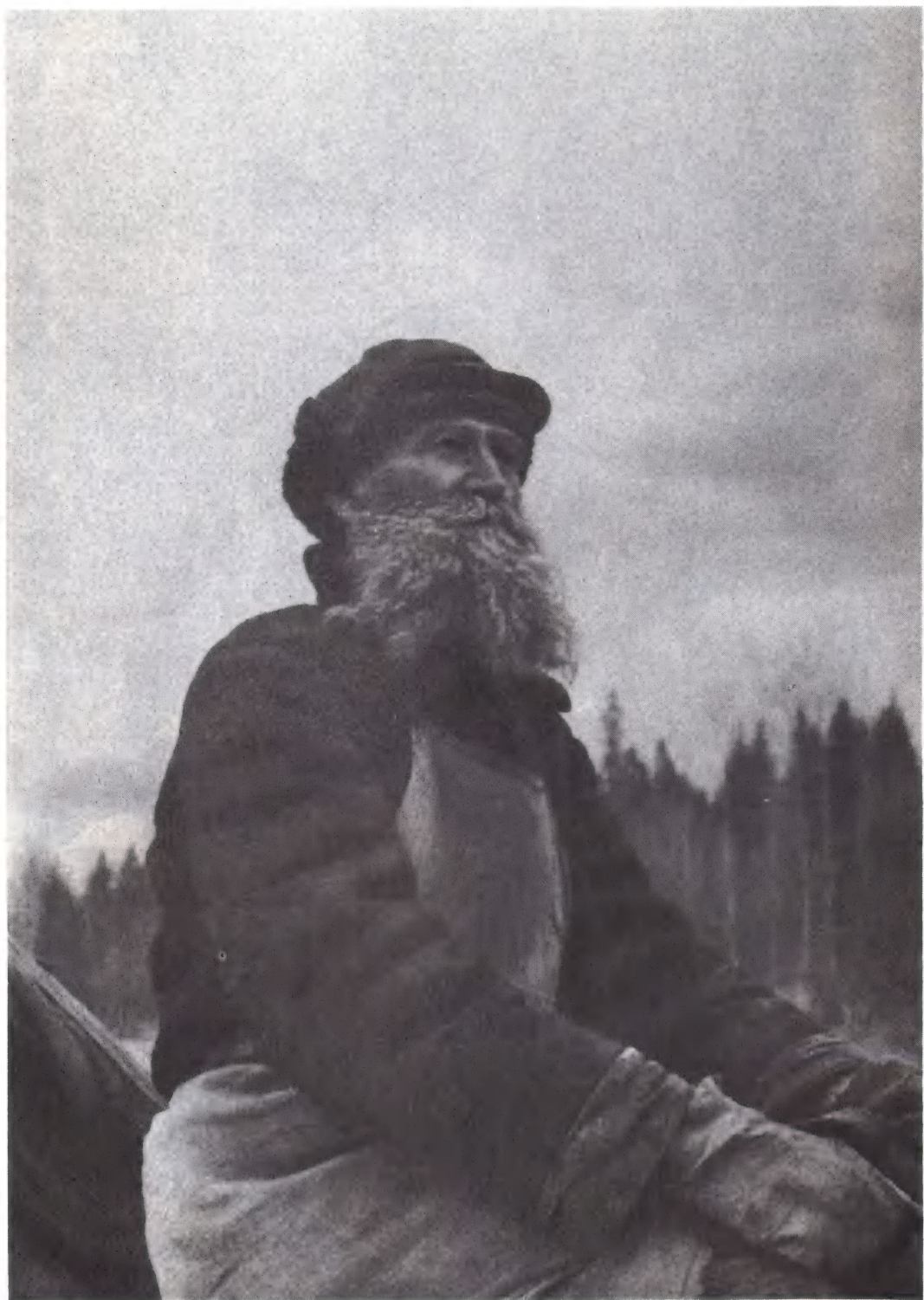
свидетельствует, что фотограф ставил себе художественную задачу, применяя различные приемы. Например, «Дети на лавах» или «Интерьер: женщина с собакой», существующие в нескольких отпечатках — вариантах.

За эти годы широко распространились отпечатки с негативов Пришвина; мы делаем их по просьбе издательств, журналов, музеев, кружков и отдельных читателей. Многие, в свою очередь, дарят нам свои снимки и диапозитивы; они делают их на местах, связанных с жизнью и творчеством писателя.

Есть у нас подаренные нам прекрасно оформленные альбомы, особенно много сделал в этом отношении К. К. Попов, о работе которого я уже упоминала выше. В 1965 году студией «Диафильм» был выпущен диафильм о Пришвине «Дорога к другу», сделанный также Поповым. Нельзя не упомянуть здесь о снимках и диа-

Портрет. Кабардино-Балкария. 1936 г.





фильмах профессионала-фотографа В. С. Молчанова. Весь этот фотоматериал обогатит в будущем фонды и экспозицию мемориального дома М. М. Пришвина в Дунине.

В дунинском доме сохраняются фотопринадлежности, служившие Пришвину. Это два его фотоаппарата — «лейка» и «роллейфлекс». С ними он работал во время войны в эвакуации. Третий аппарат — «грейфлекс» подарен Литературному музею писателей-орловцев в городе Орле, где среди других имен хранится память о М. М. Пришвине. Там же находятся альбомы и отдельные отпечатки фотографий М. М. Пришвина 20—30-х годов.

В комнате Михаила Михайловича в Дунине стоит истрепанный портативный картонный ящик — для перезарядки пленки в любых условиях; он назывался у нас «темная комната» и сопровождал писателя во всех поездках; фотоувеличитель; весы для развески химикалиев (они же нужны были и при развеске пороха для набивки патронов) и еще ряд предметов, служивших Пришвину при съемке, проявлении и печатании, например передник, в котором Пришвин занимался проявлением, а также чинил и мыл автомобиль. Сшит он во время войны в Усолье из старой прогоревшей на охоте платки.

Интересна придуманная Михаилом Михай-

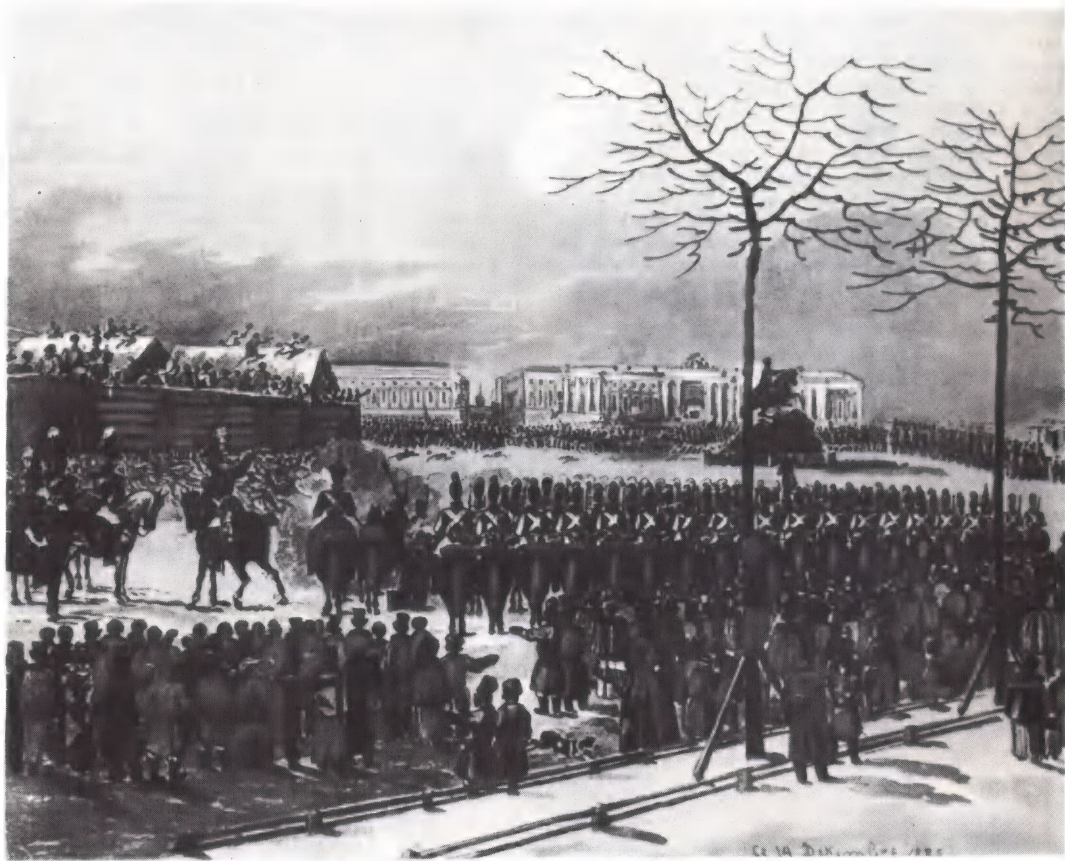
ловичем в эти дунинские годы форма хранения отобранных любимых негативов: это небольшой лист из толстого картона, на который наклеены в несколько рядов бумажные кармашки по размеру негатива с надписью сюжета на каждом кармане. Так предполагал Пришвин хранить их в будущем для удобства пользования.

В дунинской библиотеке — две книги Пришвина по фотографии: «Фоторецептура и фотосправочник» Б. А. Евдокимова (Л., 1928 г., издание автора третье, 447 с.). Книга испещрена рецептами, расчетами и разными заметками Пришвина.

Вторая книга на немецком языке «Фотографическая практика» (1931 г., 806 с.). В книге также есть отметки рукой Пришвина.

В доме — несколько фотографических портретов Пришвина, некоторые из них проявлены и отпечатаны самим Михаилом Михайловичем. Висит ряд его собственных снимков на природе. Все эти фотографии служат нам при приеме посетителей и рассказе о Пришвине.

Последняя запись в книге посетителей сделана сегодня — это был фотограф-любитель с маленьким сыном. Вот запись мальчика: «Мне было очень интересно. У меня есть книги Пришвина. Я буду фотографом, как мой папа. Коля Новиков».



Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.
Акварель К. Кольмана. 1830 г.

Леонид Фризман

Обычное дело

Мы были отроки. В то время
Шло стройной поступью бойцов —
Могучих деятелей племия
И сеяло благое семя
На почву юную умов.
Везде шептались. Тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих свободы ради,
Таясь, твердили по ночам.
Бунт, всныхнув, замер. Казнь проснулась.
Вот пять повешенных людей...
В нас молча сердце содрогнулось,
Но мысль живая встрепенулась,
И путь означен жизни всей.

Н. П. ОГАРЕВ. Памяти Рылеева

потоплено в крови восстание декабристов, шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф получил донесение с пометкой «Секретно».

Этим донесением, находящимся ныне в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, открывается дело — обычное дело, каких в фондах царской охранки, так называемого Третьего отделения, сохранилось немало. Но может быть, именно обыденностью, типичностью своей оно и характерно. Это — одна из страниц нашего революционного прошлого¹.

В руки властей попали материалы, которые на официальном языке полицейских донесений квалифицировались как «рукописные сочинения, не долженствующие обращаться в публике». «Сочинения сии под заглавиями: 1. Послание к Ар...ву, 2. Рылеев в темнице, 3. К друзьям и 4. Стихи в честь блаженной памяти государыни Императрицы Елисаветы Алексеевны, из

В середине декабря 1826 года, спустя ровно год после того как на Сенатской площади было

коих особенно 2 и 3 содержания противного общему порядку»².

Из этих четырех «сочинений» три были хорошо известны и распространялись по стране в многочисленных списках: «К временщику» К. Ф. Рылеева, имевшее хождение под заглавием «Послание к Аракчееву», «К друзьям» В. Ф. Раевского и «Н. Я. Плюсковой» А. С. Пушкина. Но зато четвертое — «Рылеев в темнице» впервые попало в руки царских сыщиков. Это было пространное прозаическое произведение, сочиненное в форме предсмертной речи Рылеева, обращенной к потомству, и подписанное его именем.

Удалось установить, что автором «Рылеева в темнице» был студент Харьковского университета Владимир Розальон-Сошальский. К сожалению, сведения о нем крайне скудны. Известно только, что среди немногих стихотворений, с которыми он успел выступить в печати, есть «Боян на Куликовом поле», написанный в духе рылеевских дум³. Не исключены и личные его контакты с членами Южного общества, в 1825 году он пользовался книгами библиотеки, собранной декабристами из Ульяновской управы⁴. После разгрома декабрьского восстания он пишет и распространяет произведения «зловредного содержания». Среди них — сатирические стихи на Николая I, «На смерть графа Милорадовича» и о «событии 14 декабря». Заполучить тексты этих произведений властям не удалось, но и одного «Рылеева в темнице» оказалось достаточно, чтобы вызвать немалый переполох.

Делом харьковского студента занимался сам самодержец всероссийский Николай I. Он принимал решения и давал указания, а всеильный Бенкендорф служил лишь передаточной инстанцией. 26 февраля 1827 года он шлет военному генерал-губернатору Петербурга П. В. Голенищеву-Кутузову письмо, наглядно свидетельствующее об испуге и раздражении властей:

«Милостивый государь Павел Васильевич! Во исполнении высочайшего его императорского величества повеления честь имею покорнейше просить Ваше Высочайшее превосходительство приказать захватить при благонадежном полицейском чиновнике бумаги студента Владимира Сошальского, проживающего 3-й Адмиралтейской части 3-го квартала в доме купца Артамонова, не дав ему времени ничего из них скрыть, а самого Сошальского держать в доме под пристрогом, чтобы он ни с кем не мог иметь сношение. Бумаги его, какие будут найдены в его квартире, запечатав, приказать доставить ко мне в 9 часов вечера, а завтра в 9 часов утра приказать привести ко мне и самого Сошальского (желательно бы провезти) в закрытом



К. Ф. Рылеев. Рис. неизвестного художника.

экипаже, (дабы он никем не мог быть узнан).

С истинным почтением и преданностью честь имею быть Вашего Высочайшего превосходительства покорнейший слуга

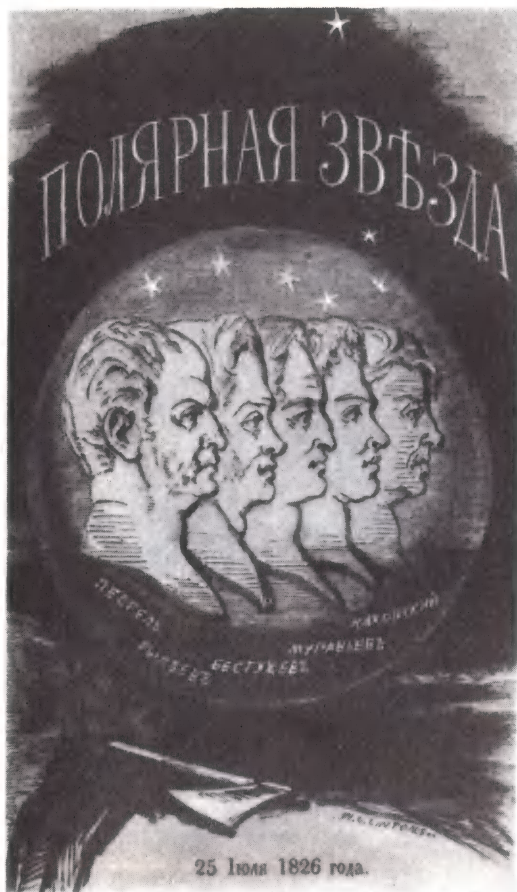
*А. Бенкендорф»*⁵.

На следующий день в присутствии Бенкендорфа автор «зловредного сочинения» подвергся допросу. В архиве сохранился его протокол⁶:

«Правительству достоверно известно, что вы сочинили означенные стихи и хотя имеет ясные в том доказательства, но не желая начать уликами, лишив вас чрез то способов облегчить вину вашу добровольным сознанием, требует от вас искреннего и чистосердечного показания в следующем:

Когда именно сочинили вы сии стихи и кто вам в том содействовал?

Кому вы оные стихи сообщили и какую имели цель при сочинении оных?



«Полярная Звезда». Альманах А. И. Герцена.
Титульный лист.

...Объясните, когда вы располагаете быть чистосердечными, все, что вам известно на счет сих стихов и других подобных им сочинений».

В стремлении вырвать у юноши нужные сведения «вопрошатели» не воздерживаются и от прямых угроз:

«Все сие вы имеете объяснить чистосердечно и без всякой утайки, в противном случае вместо снисхождения вы заслужите двойное взыскание».

В подобных ситуациях люди и постарше и поопытнее студента Сошальского не всегда сохраняли самообладание. И поначалу он, видимо, тоже растерялся, но тем не менее стремился избегать определенных ответов, называть поменьше имен и главным образом те, которые и без него были известны.

«Рылеев в темнице», к несчастью моему, есть

произведение моего ума. Сочинена она вскоре после печального происшествия 14 декабря 1825 г. и без всякого постороннего содействия. Цели я при сочинении сей пьесы, сколько помню, никакой не имел. Это дань внутреннего безрассудства, требовавшего излияния страстей, помрачавших возникающий ум. Кому их отдал? — точно сказать не могу, ибо все сие было давно без малейшего внимания и в совершенном забвении себя и последствий, долженствовавших произтекти от таковых поступков... Все сочинения, находящиеся при деле, кроме статьи «Рылеев в темнице», не мои. Авторов их с точностию назвать не могу или не умею...»⁷

Но враг был цепок и когтист, вырваться из его лап оказалось не просто. Владимиру ставился контрвопрос:

«Из сего следует заключить, что авторы те, хотя не наверно, но сколько-нибудь вам известны; почему объясните то, что в сем отношении вы знаете, и основания, на коих утверждено будет сие ваше показание?»⁸

Я, объяснял Сошальский, «желал выразить сим не то, чтобы я знал их, но только не точно, но хотел я показать, что они мне известны только по подписи их имен под сими сочинениями, а не по другим каким-либо причинам, имеющим более основания»⁹.

«С какой целью, — вновь и вновь допытывались у молодого человека, — вы писали столь враждебные сочинения и кому они вами сообщены?» Владимир повторил, что «никакой цели не имел при сочинении различных пьес, кроме стяжания имени стихотворца... Кому их передал? Этот вопрос меня вновь затрудняет, и несмотря на всю мою откровенность, которую вы можете заметить в предыдущих строках, я ничего не могу сказать удовлетворительно по причинам, изложенным в четвертом пункте»¹¹.

На первый взгляд может показаться странным, что деятельность Сошальского привлекла к себе столь пристальное внимание, что его делом занимались не только высшие полицейские чины, но и сам император. Странное, однако, становится понятным, если учесть, что наше «обычное дело» имело и некоторые необычные черты...

Расправляясь с участниками движения декабристов, посылая их на виселицу, на каторгу, царизм не мог отделаться от постоянной тревоги и страха перед, казалось бы, поверженным врагом. Ему было важно не только обезглавить дворянское революционное движение, но и всячески дискредитировать его, представить обществу в искаженном свете его цели, его участников. В газетных сообщениях, в царском манифесте и в позднейшем «Донесении» Следственной комиссии ничего не говорилось о декабри-

стских проектах отмены крепостного права, «разделения земель», сокращения сроков солдатской службы. Первые русские революционеры изображались как «злодеи» и «изверги», «ничтожные» и «развратные мальчишки». Организаторами восстания были, по официальной версии, «несколько человек гнусного вида во фраках», которые «не нашли себе других пособников, кроме немногих пьяных солдат и немногих же людей из черни, также пьяных...»¹².

Но особенно хотелось властям оболгать Рылеева, представить дело таким образом, что «поэт-гражданин» якобы раскаялся перед смертью в своих деяниях, признал их преступность и справедливость постигшей его кары. С этой целью была состряпана гнуснейшая фальшивка — стихотворение «Голос осужденного в темнице», якобы написанное Рылеевым накануне казни. Оно разошлось в таком количестве списков, что даже сегодня в наших архивах сохранились десятки экземпляров. Широкое хождение этих стихов нужно, видимо, объяснить тем, что оно поощрялось властями. Во всяком случае за их распространение никто не был «притянут к Иисусу».

Трудно представить, кто был автором этого стихотворного пасквиля, кто из «поэтов» посмел вложить в уста казенного, не смилившегося Рылеева такие верноподданнические слова:

В порывах гордого мечтанья
Я созерцал себе трофей
Из обезглавленных Царей,
Законов, веры и изгнанья
Забыл в коварном преступленьи,
Что наш ли долг Царей судить?
Что божью казнь иль награждение
Мы в их поступках должны чтить.
Им бог, вручив бразды правленья,
Судьбу народов отдает.
От них ответ за угнетенье
Сам на суде своем возьмет.
Увы! в тюрьме, но уже поздно
Рассудка луч мне просветил,
Цепей заржавленных стук грозный
Во мне здесь совесть разбудил.
Она грызет меня всечасно:
Она кричит, что я злодей.
Уймись, о лютая! ужасно,
Ужасно быть в раздоре с ней.
Зачем она мне вспоминает
Обманы, ковы прежних дней,
Зачем до смерти ад являет
Душе растерзанной моей.
Я вижу: свод тюрьмы трясется,
Мной погубленных слышу стон,
Проклятье страшное несется
Ко мне отцов, детей и жен.

Осиротил я их семейства,
Я их родных обворожил
Мечтой искусного злодейства
И в сеть коварства уловил...¹³

Не мужественный Волынский, не стойкий Артамон Матвеев, а кающийся Святополк Окаянный — вот каким должен был предстать Рылеев глазам тех, кто видел в нем вожда, учителя, властителя дум. И надо признать: нашлось немало людей, которые поверили этому «Голосу осужденного в темнице», приняли рифмованную фальшивку за предсмертное раскаяние поэта-гражданина.

И вот именно в это время, когда подготовленный и срежиссированный спектакль, казалось, начал приносить желаемые плоды, появился еще один «голос» Рылеева, произносивший совсем другие слова.

Вот как представил себе студент Социальный этот предсмертный монолог Рылеева:

«Россия, драгоценная Россия, для которой и в темнице рвалось мое сердце! Я мнил узреть тебя свободною, думал, одушевленный моею страстию к твоему блеску, сорвать тяжкие твои оковы, жертвовал всем, чтобы возвратить права твои, — и что же? сам гибну под незаконным правом могущего; не щадил ничего, чтобы раздрать преступную пелену, скрывающую угнетение и неправосудие, — и что же? сам умру от секиры торжествующей неправды!..

*Но мне ль страшиться суда и казни?
Против тиранов лютых тверд,
Я буду и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден.*

Мне ли умереть, боясь свирепого взгляда тирана, и унести со смертью все истины, которые таила душа моя и коих преизобилие устремляло меня к действию! Мне ль отворать слух мой от приговора злобою и неправдою, не посмотрев прямо в глаза смерти и в руки сильного!

*Всегда и повсюду
Славна кончина за народ!..*

Нет, не умру! Не сомкнутся уста мои, пока не произнесут истины, пока не выскажут самовластителю пагубных бедствий для государства, протекающих от вручения власти жестким временщикам, попирающим благоденствие народа, дабы самим возвыситься, любящим одну корысть или одно свое могущество, преданным трону не для того, чтобы привлечь на него благоденствие подданных, но дабы самим иметь в нем опору против ярости и ожесточения удручаемых ими; не сомкнутся, пока не укорят тех,

кои обладают судьбами сограждан моих, в забытии священных клятв, ими торжественно возглашенных пред лицом всевышнего бога и владыки народа, предпочитать благо его всем своим личным выгодам, между тем как они жертвуют сим благом своей суетности и удовольствиям, пренебрегают народом, пред коим должны благоговеть. Умерла правда в судах, председаемых татями и правоту попирающих, нарушена безопасность собственности и свобода личности... Пусть хотя один луч свободы сверкнет вместе с ударом смертельного орудия, и я умру с улыбкою.

Когда же мне не суждено ее воскресить, из праха моего восстанет яростная тень, позовет на суд самовластителей и... затрепещут!

*Вражда к неправде закипит
Неукротимая в потомках,
И Русь священная узрит
Неправосудие в обломках.*

Рылеев»¹⁴

Конечно, в художественном отношении строки харьковского студента сильными никак не назовешь, но они воссоздавали правдивый облик Рылеева-патриота. Такой, каким он предстанет чуть позднее в знаменитом стихотворении Кюхельбекера «Тень Рылеева», где «поэт-гражданин» произносит:

*Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливцев, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!»¹⁵*

Сам того не ведая, харьковский студент первым опроверг стихотворную фальшивку «Голос осужденного в темнице».

Стоит ли удивляться, что это вызвало переполох: бумаги захватить при благонадежном полицейском чиновнике... запечатать... доставить... допрос в присутствии Бенкендорфа... «высочайшие» указания...

Однако от чрезмерно жесткой расправы с молодым человеком решили воздержаться. Разгромив движение декабристов, повесив и отправив на каторгу его участников, правительство старалось избегать дальнейших шумных репрессий. Надо было создать впечатление, что идеи первых русских революционеров не нашли себе сколько-нибудь широкой поддержки. Ведь

царский манифест утверждал, что «не в свойствах и не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную, но... сердце России для него было и всегда будет неприступно»¹⁶.

Как известно, и во время следствия и после него изуверская жестокость палачей чередовалась с фарисейским «великодушием». С харьковским студентом решили поступить «великодушно». «Прощение» выразилось в том, что бывшего студента по личному указанию царя отдали в солдаты: «Государь император высочайше повелеть соизволил... из студентов Харьковского университета Владимира Розальон-Сошальского перевести и отправить немедленно (курсив мой.— Л. Ф.) на службу в Финляндский корпус»¹⁷.

Дальнейшая судьба юноши нам неизвестна. Но мы знаем, что расправа с автором не пресекла распространение его произведений.

Через четыре месяца после отправки Розальон-Сошальского в Финляндию к Бенкендорфу пришло новое донесение — на этот раз от подполковника А. А. Волкова. Шефа жандармов уведомляли, что «в Харькове ходят по рукам сочинения под названием «Гроб Рылеева», «Прощание с морем», «Послание к друзьям» и «Послание к Ар...ву». Сказывают, что оные впущены из Харьковского университета»¹⁸.

Бенкендорф реагирует незамедлительно: «Милостливый государь Александр Александрович! По случаю представленных мне Вашим превосходительством донесений от г. подполковника Волкова, что в Харькове ходят по рукам разные нелепые сочинения, я хотя и должен заключить по самим заглавиям оных, что они те самые, по которым производилось следствие и коих сочинители открыты, но при всем том убеждаюсь покорнейше вас просить предписать подполковнику Волкову стараться удостовериться, точно ли сии сочинения продолжают ходить по рукам и в таком случае доставить мне списки оных с извещением, от кого получено.

С совершенным почтением честь имею быть Вашего превосходительства покорнейший слуга

А. Бенкендорф»¹⁹

Полицейские чины бросаются на поиски. Машина улавливания недозволенных мыслей приходит в движение. Начинается новое «обычное дело»...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ События, о которых идет речь, были описаны дважды: М. А. Цявловским по материалам архива Н. К. Шильдера («Голос минувшего», 1917, № 7—8, с. 76—104) и В. Мияковским по материалам Киевского центрального исторического архива («Україна», 1925, кн. 6, с. 57—71). Недавно их анализировал Г. Я. Сергиенко («Український Історичний журнал», 1970, № 8, с. 77—84). Однако наиболее полное собрание документов, находящееся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (далее ЦГАОР), лишь в малой мере попало в поле зрения историков. Приводимые далее архивные документы публикуются впервые.

² ЦГАОР, ф. 295, ед. хр. 126, л. 7—7 об.

³ «Український журнал», 1825, № 16, с. 221—222.

⁴ См. об этом: Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. Сост. В. Н. Орлов. М.—Л., Гослитиздат, 1951, с. 604.

⁵ ЦГАОР, ф. 295, ед. хр. 126, л. 9—9 об.

⁶ Там же, л. 16—17.

⁷ Там же, л. 18, 29 об.

⁸ Там же, л. 33.

⁹ Там же, л. 34.

¹⁰ Там же, л. 16 об.

¹¹ Там же, л. 18 об.

¹² Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям», 1825, № 100, 15 декабря.

¹³ Рукописный отдел Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 333 (Чичагова), № 56, л. 133—136.

¹⁴ Декабристы... с. 567—568.

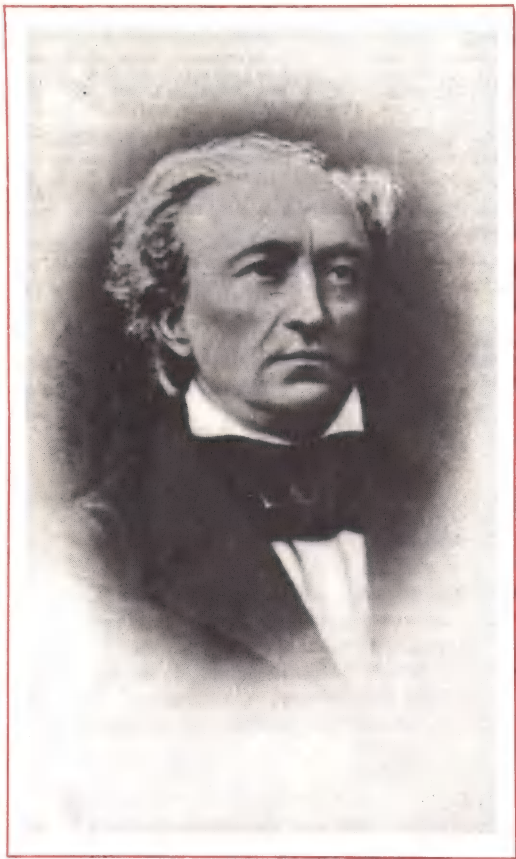
¹⁵ Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в двух томах, т. 1. М.—Л., 1967, с. 211.

¹⁶ Декабристы и тайные общества в России. М., 1906, с. 109.

¹⁷ ЦГАОР, ф. 295, ед. хр. 126, л. 54—54 об.

¹⁸ Там же, л. 56.

¹⁹ Там же, л. 57.



Ф. И. Тютчев.

Е. Кузнецова

Письмо Ф. И. Тютчева к Ф. Н. Глинке

«Мафусаил русской поэзии» Федор Глинка родился на год раньше Батюшкова, а умер в год рождения Александра Блока. Его жизнь охватывает почти столетие, и трудно перечислить всех деятелей русской культуры, так или иначе связанных с ним, бывших посетителями его петербургского, московского и тверского салонов. Е. А. Штакеншнейдер вспоминала о вечерах у супругов Глинок в 50-е годы: «Настоящее вавилонское столпотворение! Писатели (но не все; Майков и Лавров, например, не бывают), писательницы, караимы, генералы, семинаристы,

артисты, сановники, чиновники, грузины, греки, севастопольские герои, ханжи, актрисы... но всех не перечтешь!»¹ Литературные и общественные связи Глинка в 20—30-е годы подробно освещены в работах В. Базанова², но поздний период жизни и творчества поэта сравнительно мало изучен; не говоря уже об именах третьестепенных, в тени остаются контакты Глинка с крупнейшими поэтами той эпохи. Так, в недавно появившейся интересной статье В. Ф. Шубина о петербургском салоне Глинка в 50-е годы³ в перечне знакомых поэта отсутствует одно имя, едва ли не самое значительное для него: это имя Федора Ивановича Тютчева.

Личное знакомство Тютчева и Глинка произошло в конце 40-х годов. Но подспудные связи, приведшие к их духовному и литературному единству, прослеживаются уже в 20-е годы. Впервые их имена сойдутся в 1829 году в «Галатее», издававшейся С. Е. Раичем — бывшим воспитателем Федора Тютчева и главой литературно-философского кружка, куда входил и Глинка (впоследствии Раич и Глинка поддерживали тесные дружеские отношения в течение долгих лет). Выросшие из этого кружка «Общество любомудрия» и журнал «Московский Вестник» объединяли вокруг себя многих общих знакомых Глинка и Тютчева — настоящих и будущих: С. П. Шевырева, М. П. Погодина, В. П. Титова, А. С. Хомякова и других. Интерес к Глинке среди «любомудров» знаменовал определенный поворот в истории отечественной поэзии: «воскрешение философской оды у Шевырева (...)» — так же как и воскрешение Глинка — были новым этапом развития стихового образа, стоящим в связи с лирикой Тютчева⁴. О популярности Глинка у «любомудров» свидетельствует тот факт, что редактор «Московского Вестника» Погодин «даже сам предложил ему денежное вознаграждение за его произведения»⁵ (правда, простодушный Глинка от денег отказался).

В конце 20-х — начале 30-х годов Глинка и Тютчев печатаются в одних и тех же журналах и альманахах: «Галатее», «Денница», «Телескоп», «Современник». Пожалуй, самой характерной чертой, объединяющей в это время обоих поэтов, является оригинальность, резкая своеобычность их произведений. С. Е. Раич о Глинке: «Его муза облекается в особенную одежду, говорит языком особенным...»⁶. С. П. Шевырев о Тютчеве: «Тютчев имеет особенный характер в своих разбросанных отрывках»⁷. Впоследствии Тютчев и Глинка по достоинству высоко оценят поэтическую деятельность друг друга.

В 1848 году Глинка со своей супругой Авдотьей Павловной, тоже поэтессой, устроил в

Слыхи ваши, как я в восторге сижу. Я
 читаю свои стихи и наслаждаюсь. Мое
 "Вздох" много же вышло. Между тем
 как-то тошно мне всей "наше" Современной лиры
 вот слышишь как-то тошно! Первое
 что-то — я сам не знаю что не понимаю!
 За что мне так отпадает мое сердце
 тождеством? Грядет ваше творение себе восторг
 красота
 А. Мору
 16 февраля. 1850

Автограф письма Ф. И. Тютчева.

Петербурге целый ряд вечеров с чтением поэмы
 «Таинственная капля», написанной на сюжет
 легенды о разбойнике, распятом вместе с Хри-
 стом (несколько раньше такие же чтения про-
 водились в Москве). Очевидно, на одном из та-
 ких вечеров — скорее всего у старого знакомого
 Глинки князя Вяземского — и произошло зна-
 комство с Тютчевым. Тютчеву поэма понрави-
 лась (см. об этом ниже), и в дальнейшем он сле-
 дил за публикацией новых стихотворений
 Глинки — оба они печатались в «Москвитяни-
 не».

Через год после знакомства Глинка пишет
 стихотворение «Ф. И. Тютчеву»:

Как странно ныне видеть зрящему
 Дела людей:
 Дались мы в рабство настоящему
 Душою всей!

А между тем под нами роются
 В изгибах нор,

И за стеной у нас уж строятся:
 Стучит топор!..

Но принял не напрасно дикое
 Лицо пророк:
 Он видит — близится великое
 И близок срок!

Как бы ответом на эти строки звучит письмо
 Тютчева Глинке, являющееся подтверждением
 глубокой связи обоих поэтов:

«Почтеннейший Федор Николаевич, много
 вы утешили меня письмом вашим⁸. Душевно
 рад, что статья⁹ вам понравилась. Впрочем, —
 простите мне самолюбивое признание — я и не
 сомневался в вашем сочувствии и одобрении.
 Вы из малого, малого числа весьма зрячих и
 разумеющих¹⁰.

Не на Западе — поверьте мне — в этот горь-
 кий, противный век истинно встретишь совер-
 шенное, безусловное непонимание — а здесь,
 в так называемом образованном кругу нашего

нашей современной литературы они сделаны каким-то мутным, переводным языком — для чего бы вам их не напечатать?

За сим, прося вас о передаче моего усердия почтеннейшей супруге вашей, поручаю себя вашему дружескому расположению.

Ф. Тютчев.

16 февраля 1850»¹³.

В дальнейшем личное общение приостановилось (Тютчев жил в Петербурге, Глинка — в Москве и Твери), но осталась родственность в самых различных сферах: от патриотических стихов во время Крымской войны до... увлечения спиритизмом¹⁴.

В 1862 году Глинке пришлось попытаться воспользоваться старым знакомством — и все из-за той же «Таинственной капли». Поэма была впервые напечатана в 1861 году в Берлине в Вольной русской типографии. В России духовная цензура запретила ее печатать из-за апокрифического характера легенды. Тогда Глинка обратился с письмами к Ф. И. Тютчеву — председателю цензурного комитета и Я. П. Полонскому — его секретарю, прося помочь снять запрещение. Приводим отрывок из письма к Тютчеву:

«С этой почтой посылаю Вашему превосходительству книгу в двух частях. По заглавию увидите, что это: «Таинственная Капля», та самая, которую Вы имели терпение слушать и выслушать вместе с кн. П. А. Вяземским. Тогда читал я рукопись Вам как поэту и владельцу стиха сильного, звучного и всегда осмысленного, и Вы, — судья в полном смысле этого слова, — почтили меня отзывом благоволительным. Теперь посылаю русскую поэму, напечатанную в чужой стороне. От Вас зависит открыть ей дверь в отечество... Пропустите же сиротку на родину!.. я уверен, что ничто не могло и не может погасить священного огня в поэтической душе Вашей, и по этой уверенности мой заветный экземпляр, мое заветное литературное произведение передаю в теплые Ваши руки»¹⁵.

По каким-то причинам просьба Глинки осталась без ответа, и поэма была напечатана в России только почти десять лет спустя в типографии М. П. Погодина. Во всяком случае это произошло не по вине Тютчева, бывшего, по воспоминаниям современников, более чем либеральным цензором¹⁶ и не отказавшего бы в услуге старому знакомому.

Таковы некоторые эпизоды из истории взаимоотношений двух поэтов XIX века.



Ф. Н. Глинка.

отечественного общества. На Западе, — слишком поздно, может быть, для его спасения — но не поздно для истины — найдутся многие самостоятельные умы, которые, вопреки вековым предрассудкам, — не откажут в сочувствии к русской мысли — но для русских, охмелевших на чужом пиру, она недоступнее, чем для кого-либо. И вот почему все, что теперь ни совершается на Западе, этот окончательный кризис многолетнего уклонения¹¹ — все еще, для нашего образованного люда — ничто иное, как тарабарская грамота. И как хотелось, чтобы там, где сам учитель стал в тупик, несчастный школьник совершенно не растерялся!..¹²

Стихи ваши, как и все ваши стихи, я читал с особенным наслаждением. В вас русский язык живет и дышит. Между тем как почти для всей

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. 1854—1886. М.—Л., «Academia», 1934, с. 176.

² Вазанов В. Г. Поэтическое наследие Федора Глинки (10—30-е гг. XIX в.).— В кн.: Федор Глинка. Избранное. Петрозаводск, 1949; Вазанов В. Г. Ф. Н. Глинка.— В кн.: Ф. Н. Глинка. Избранные произведения. Б-ка поэта, большая серия. Л., «Сов. писатель», 1957.

³ Шубин В. Ф. Федор Глинка и его петербургский салон в 1850-е годы.— «Русская литература», 1980, № 2.

⁴ Тьянянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., «Наука», 1969, с. 170.

⁵ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 2. Спб., 1889, с. 195.

⁶ «Отечественные записки», 1830, № 5, с. 255—256.

⁷ Письмо С. П. Шевырева к И. С. Гагарину. Пушкин в неизданной переписке современников (1815—1837).— «Литературное наследство», 1952, т. 58, с. 132.

⁸ Не сохранилось.

⁹ Речь идет о статье Ф. И. Тютчева «La Papauté et la Question Romaine» («Папство и римский вопрос»), 1849.

не» («Папство и римский вопрос»), 1849.

¹⁰ Ср. определение из цитированной выше статьи С. Е. Раича: «Ф. Н. Глинка принадлежит к весьма малому числу наших поэтов».

¹¹ В статье «Папство и римский вопрос» Тютчев писал: «Глубокий и непримиримый разрыв, веками доминирующий Запад, должен был наконец дойти до высшего своего выражения...» (Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений. С критико-биографическим очерком В. Я. Брюсова. Спб., 1911, с. 475; имеется в виду революционная ситуация в Европе).

¹² (Светская власть церкви) — «не в обиду будь сказано мудрым учителям Запада — истинная и единственная причина, в силу которой движение реформы, христианское в своем начале, сбилось с пути и наконец пришло к отрицанию авторитета церкви...» (там же, с. 483).

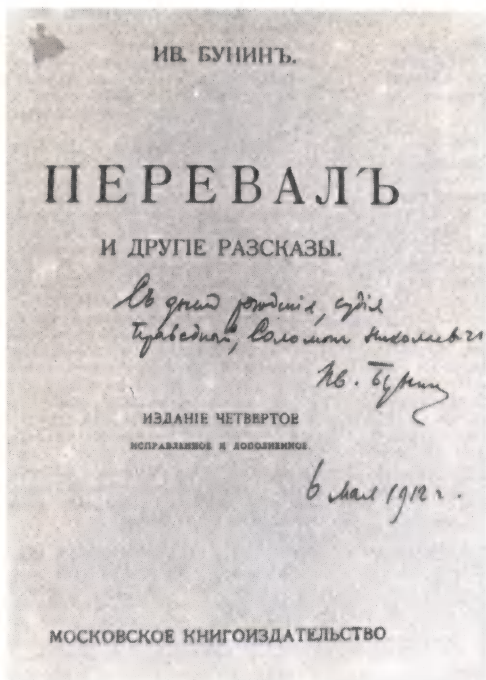
¹³ ЦГАЛИ, ф. 141, оп. 1, № 421, л. 1—106.

¹⁴ В тетради Глинка записывал ответы, «полученные им *оттуда* (...) от патриарха Никона, архангела Михаила и даже от... Наполеона Бонапарте...» (Розанов И. Н. От поэзии безличной — к исповеди сердца. Федор Глинка.— В кн.: «Русская лирика. Историко-литературные очерки». М., «Задруга», 1914, с. 218—219).

¹⁵ ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, № 82, л. 1—106. Е. А. Штакеншнейдер вспоминает по поводу издания поэмы: «Вот Глинка и пишет Полонскому письмо, да такое, что до смерти нахохочешься, просит оказать покровительство берлинской сироте и жмет Полонского «теплую поэтическую руку».

И Чаадаева припел, и стихи на нигилистов сочинил...» (Штакеншнейдер Е. А. Указ. соч., с. 314). В примечании к этому отрывку приводится цитата изданного письма с указанием: «Ни «теплой поэтической руки», ни Чаадаева в приведенной выдержке нет» (с. 528). Но в публикуемом письме к Тютчеву есть близкие к этим выражения: «сиротка», «теплая рука», — правда, без Чаадаева и нигилистов. Совершенно очевидно, что приведенное письмо к Полонскому — не то, которое имеет в виду Штакеншнейдер. Остается предположить одно из двух: либо Штакеншнейдер перепутала адресата (что крайне маловероятно), либо — скорее всего — существует еще одно письмо Глинки к Полонскому, написанное одновременно с письмом к Тютчеву и в сходных выражениях.

¹⁶ «Федор Иванович Тютчев (известный поэт) пропускал к печати все, что ни посылали ему на одобрение. По своим большим связям, имея доступ к князю Нессельроде и к князю Горчакову, он разрешал гораздо более, чем обыкновенный чиновник министерства» (Усов П. Из моих воспоминаний.— «Исторический вестник», 1882, № 1, с. 126).



Автографы И. А. Бунина.

Александр Басманов

Возвращение памятью

Ту звезду, что качалася в темной
 воде
 Под кривою ракушкой в заглушенном
 саду,—
 Огонек, до рассвета мерцавший
 в пруде,—
 Я теперь в небесах никогда
 не найду.

И. Б у н и н, 1891 г.

По сути, это была просто библиофильская редкость — не больше. В Москве, в квартирке на Бутырском валу, у знакомых, мне встретились среди случайных книг несколько принадлежавших Бунину. Так они, верно, и стоят до сих пор, притулившись (поистине неисповедимы судьбы иных реликвий!) к «Трем мушкетерам» — желтые, цельнокожаные, чуть истрепавшиеся, с потускневшим золотым тиснением

в манере модерн: «Ив. Бунин», пять томов, московского издательства писателей от 1910 до 1915 года, и на титуле каждого — слегка выцветшей черной тушью, еще молодым, нарядно-педаanticеским почерком автора дарственная надпись: «Дмитрию Николаевичу Муромцеву...»

Помните незатейливый литературный приемчик, кочующий в старину из повести в повесть? Вот в недрах комода или письменного стола найдена побрякушка голубая лента, кольцо, а может быть, желтеющая от времени записка и, как по волшебству, забытая пора — все ее краски, запахи и обязательная любовь — оживает вновь. Почтим же традицию, ибо ситуация схожа.

Первое дальнее знакомство с Митей Муромцевым, хоть и косвенное, но осталось в душе Бунина, конечно, навсегда. Как-то в Грассе, в эмиграции, стариком он говорил: «Вот у меня целые десятилетия, которые вспомнить скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, кашоши...»

В те ранние субботние сумерки ноября 1906 года за Арбатом действительно была какая-то фиолетовая муть, и галки, еще не заснувшие, вились вокруг церковных куполов, были и резиновые галоши: под ногами сыро, сыякотно. Потом колокольчик у подъезда на Поварской, с праздничным шумом открыванье дверей, сени, переполненные чужими пальто, и веселая, жаркая от натопленных, до потолка, кафельных печей зала. Ах, как хорош, как оказался памятен тот вечер у Муромцевых! Были: Стражев, Иванов — литераторы, Сонечка Субботина — начинающая драматическая актриса, профессор-филолог Горбунов, Оля Иловайская — дочь знаменитого историка, Лёра Цветаева, Эльза Адам — женщина удивительной внешности: золотые волосы, черные глаза.

Особенно с самого утра волновался Митя Муромцев, молоденький юрист, только-только окончивший курс университета: сам раздвигал на все доски стол-сороконожку, сам покрывал его тугой скатертью и звенел стаканами, сам бегал по лавкам, покупая закуски и красное вино. Теперь, довольный и возбужденный, он сидел впритирку с другими гостями на полукруглом мягком диване — прямо против известного литератора Ивана Бунина. Тот: красивый, тридцатилетний, в цвете сил и надежд, элегантный человек, о котором Горький отзывался почти тогда же: «Он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности — здесь не будет

преувеличения», — сидел, чуть покачиваясь на стуле, щурился то ли от сизой струйки папирозного дыма, то ли от врожденной насмешливости и спорил с профессором Горбуновым о стихах Минского: «Вы ошибаетесь, в этих стихах ритм отличный», — и читал несколько строф. Профессор возражал, и тогда, чтобы прекратить нелепую беседу, Бунин язвительно сказал: «Ну вам и книги в руки», — и перевел разговор на другую тему.

В сущности, ни поэзия Минского, ни юрист Митя его в ту минуту не занимали. Он пришел сюда из-за его сестры Веры, красавицы девицы в кружевном воротнике, расположившейся теперь за противоположным концом стола: «Знаете, — шептал ей, уходя, Бунин, — приходите, пожалуйста, завтра в университет, на заседание Общества российской словесности: будет председательствовать Боборыкин, потом Вересаев прочтет рассказ о войне, затем с новыми стихами выступлю и я...» Вот знак связи Дмитрия Муромцева и знаменитого писателя (после лишь были десяток именинных и пасхальных *poste card's*, десяток по тому или иному поводу застой и одно, навсегда московское, прощанье в 1918 году).

Ноябрь 1906 года — рубеж, начало перелома в судьбе Бунина, одновременно парадоксальной и естественной. Именно из того ноября (пространственная и временная точка отсчета — вечер на Поварской) он «рука об руку с той, кому бог сулил быть (...) спутницей до гроба, совершал (...) свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю». С тех пор дорога была уже всегда, какая-то странная, встречно-поступательная — от дома и к нему: в Египет, Сирию, Палестину, Турцию, буддистские страны, наконец, насовсем на Запад — физически, а душой, памятью, пером во всех писаниях — обратно в Россию. «Иго мое благо», — любил повторять Бунин библейские слова: вечная тема блудного сына стала сюжетом собственной жизни.

Свою неизлечимую болезнь он предчувствовал, пророчил еще в 1911 году в «Суходоле», где словесная парча уже тогда выплеталась нитями тоски — золотыми и матовыми: «В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были открыты освещенные стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ногти с заглавными в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестренках платьицах, и в японских

нарядах, и в черно-лиловых бархатных шляхах — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль».

Потом в эмиграции, в двух тысячах от этого Суходола верст, и останется для Бунина лишь серебристая пыль воспоминаний, до того нежная, готовая вот-вот растаять, исчезнуть с розыального лака под малейшим ветерком и до того, однако, стойкая, невытравимая из души до самого смертного часа, что загадка ее без устали и с удивительным упорством станет преследовать, мучить его, станет «игом и благом» вместе, единственной религией и действительностью. Отдых наступал только во время работы: погружение в нее походило на сны узника под тюремным одеялом («ведь сны порой сильнее всякой яви»): стоило притворить веки, как тут же возникал нескончаемый, до горловой спазмы волнующий спектакль, название которому — дом. И обретались тогда из неосязаемого эфира памяти декорации, причудливые и изысканные, и был тяжелый вишневым бархат, и бревенчатые стены староусадного дома, и черные кривые портреты пудренных дедов, и сундуки с железными задвижками, и окованные медью образа с «суздальскими ликами», и сероголубой от дождя и снегов, подгнивший балкон ротондоу, и ветхая блекло-золотистая шелковая шаль, забытая кем-то на гнутой спинке старинного кресла.

Да, канул, ушел кометою тот незабвенный 1906 год — остался лишь сверкающий былого след: семейство Муромцевых, милейший Митя и милейший дом на Поварской, Вера и начало ее любви, театры, гости, литературные чтения, озорник Куприн и эта смешная история, которую он сотворил — Марья Карловна, его жена, стала хвалить очередную пьесу Леонида Андреева, а Куприн «схватил спичечную коробку и поджег ее платье из легкой материи. Слава богу, удалось затушить». Долго потом вспоминали, смеялись.

Наконец, прощай Москва, и через Киев (о, это чудо из чудес — собор св. Софии!), конечно же, туда, где начнутся и закончатся все их путешествия, — в любимую Одессу: холстинковые полосатые тенты, духовые оркестры и пляжи, Ланжерон, палевые кружевные шляпы и солнечные зонтики, ледяное вино к розовой кефали, ветерок, большие синие волны, порт и белоснежные пароходы; вон с тяжким вздохом-гудком отвалил один от пирса и пошел, пошел верстовою дугой, удаляясь в открытое море, курсом на Турцию — только и полетела потом с басурманской почты открыточка: «Дорогой Митя, через полчаса снимаемся. Идем в Афины. Ты не

Дорогому Димитрию Николаевичу
Муромцеву
Кензенте его Кензенте
И. Бунин

можешь себе представить, как хорош Константинополь».

Постоянного гнезда не было у Бунина никогда. Были номера в «Лоскутной» и номера «Столица», были наездами родовое Васильевское и деревушка Глоново, были Орел, Полтава, Москва и Петербург, был Грасс, Прованс, был Париж. Тоска по дому сделалась для работы благотворным, необходимым духовным условием, единственной писательской возможностью, и Горький даже подметил: «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звездного сияния его одинокой, страннической души».

Что ж, у каждого судьба своя. Кстати, сказано это было на Капри, где Горький с Буниным соседствовал и откуда как раз тогда тот затеял большое дело — организацию издательства писателей: «Столь плохи стали дела в литературном мире, что давно, давно пора писателям подумать хотя бы о некоторой объединенности, подтянутости и осмысленности своего существования, своей работы...»

На «гвоздях» нельзя идти, ради скандальезных успехов нельзя писать, выдумывание всяческих проблем и половых и иных — надоело до чертиков, пора писателям о душе подумать... — вот, по Бунину, причина нового начинания.

Потом свои книжки с маркой этого издательства (как раз те самые, что послужили поводом для настоящего рассказа) он регулярно, подчас шутливо надписывая: «С днем рождения, судия праведный, Соломон * Николаевич...» — и будет преподносить своему шуру.

Но главная, самая яркая и навсегда, память по Мите сохранилась все же от той чудесной поездки в Предтечево, в имение к дядьке Алексею Алексеевичу Муромцеву — сухому, высокому, с гладко бритым голубым подбородком и большими бурыми усами старику, вояке еще с николаевских времен, теперь по годам отставленному, но в неизменной шинели и фуражке с желтым околышем, всегда из-за подагры с костью, который не расставался с его «широкой рукой, покрытой гречкою». Бунин напишет: «Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает «мертвые души», и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое.

* То есть справедливый и мудрый, как легендарный Соломон.

Дорогой Дмитрий Федорович

Ив. Бунин

СУХОДОЛЬ.—ЗАХАРЬ ВОРОБЬЕВЪ.—СТО ВОСЕМЬ.—НОЧНОЙ
РАЗГОВОРЪ.—СИЛА.—ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ.—СВЕРЧОКЪ.—
ВЕСЕЛЫЙ ДВОРЪ.—ИГНАТЬ.

1 окт. 12 г.

Молодой герой моего рассказа сперва заезжает — ненадолго — в имение своего родного дяди, улана Черкасского, для которого я взял старика улана Муромцева, который слыл под кличкой «раздраженный улан», между тем как улан Черкасский был добрый человек, только такой же большой ростом и всем складом, как улан Муромцев. Я поместил его имение в речной долине, подобной той, в которой было расположено имение брата улана».

Это о происхождении рассказа «Натали», одного из лучших бунинских рассказов. Потом, в Грассе, память оставила Бунину в мучительную награду от Предтечева оранжевые закаты и «скользкие от противного зеленого бархата» ступеньки купальни у реки, комнату с окнами в теневую часть сада и шелестящий серебристый тополь, ореховые книжные шкапы в кабинете, кучу трубок с бисерными чубуками, стопудовое, крытое порыжелым сукном бюро и на нем медную подозрительную трубу. Потом память поселила в этом доме Натали — образ, чистота которой заставляли только со «страстной мечтой глядеть на нее».

Рассказ трагичен: страсть, измена, очищение, смерть — точь-в-точь как трагичны все рассказы из «Темных аллей», книги, истерзанной болью утраты единственной и незабвенной любви. К кому эта любовь? К Натали, Степе,

Русе, Антигоне, Тане? «Понятие России — женственно изначально», — говорил Бунин и всегда олицетворял это понятие, придавал ему «телесные» черты, маскировал в их обличья свои сны наяву:

«— Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!» — кричала Катя, вся в чем-то суконно-сером с быстрыми яркими глазами, девица из «Митиной любви». И Митя, худой и нескладный, в высоких смазных сапогах и старенькой куртке, рванулся как безумный с площадки вагона, припал к ее перчатке и потом, когда поезд набирал скорость («ревом требуя путей»), видел еще последние мгновения сквозь ветер и слезы свою единственную: она плыла назад все быстрее и быстрее, пока вдруг «точно сорвало и ее и конец платформы». Только и осталось: тонкий запах ее муаровой перчатки на губах, законное сумеречное мельканье голых весенних деревьев в темном талом снегу, да одинокое дребезжание фонаря в убогом прокуренном тамбуре — и это все то, что Бунин называет потом «несказанной радостью».

Долгая судьба, былая слава, путешествия, десятки стран, сама действительность меркли от одной-единственной вспышки памяти, например: метель, ветер сдувает с крыш снег, ситцевая занавеска на окне, ее русая коса и «от избытка счастья» слезы на глазах: «В одной зна-



Стол И. А. Бунина.

комой улице я помню старый дом...» что еще помню? Помню, как весной провожал ее на Курском вокзале, <...> и мы говорили, прощались и целовали друг друга руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов <...> Больше ничего не помню. Ничего больше и не было».

Больше действительно не было ничего, и потому роковой миг той, прошедшей любви приходил изо дня в день, из рассказа в рассказ, обязательно кончаясь разездом, разрывом, разлукой, наконец, смертью. И вот подробность: есть в этих бесконечных бунинских разрывах и разъездах упрямая географическая зависимость, некая реальная координата — Москва, Курский вокзал — не оттого ли (да простит читатель эту наивную расшифровку), что отсюда ведет дорога домой, на Орловщину, к началу жизни и самой памяти: «Самое первое мое воспоминание есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видимым в окно, на юг <...> Только и всего, только одно мгновенье!»

Мгновенье это разрешалось, однако, танталовой мукой («беру перо в руки и плачу...»), почти галлюцинацией — в Грассе, где пальмы, горы, море, говорил: «Прищурьтесь немножко, и вы легко можете себе представить, что вы где-нибудь в екатеринославских степях, под Никоподем. Дом этот отлично мог бы быть хатой, а тот черный туман позади — степью».

Но на деле екатеринославских степей не было. Вместо них, стояло глаза приоткрыть чуть шире, появлялись скалистые берега и бил соленый прибой, посыпал сыростью мистраль, появлялся какой-то вечный октябрь, и было завывание в каминной трубе, зеленоватые звезды во

французском небе, а в холодной гостиной «на белой пустой скатерти венком лежали темные тени гвоздик».

По вечерам Бунин, как правило, читал домашним сочиненное за день — то, что Вера Николаевна должна была перепечатать на машинке с утра. Перепечатывать сделалось совсем нетрудно: некоторые вещи состояли всего лишь из полусотни строк — живописность слога и русский язык Бунина достигли в эти времена несравненных вершин:

«Она выходит к обеду, блистая чудесно сделанным цветом лица, голых рук и плечей, подведенными глазами, жемчужным ожерельем, перстнями на пальцах с острыми ногтями, гофрированными платиновыми волосами, в длинном серебристом платье — в нем ее высокое тело изгибается так, точно оно без костей. Вся она, так же, как и ее серебристая сумочка, женственно пахнет пудрой».

Это из рассказика «Ривьера», одного из тех рассказиков якобы без формы, без начала, без конца, которые потом некоторые критики назовут «осколками недописанных, не вполне состоявшихся произведений», так и не поняв, что именно к этим «осколкам» шел Бунин всю жизнь, мечтая об абсолютной раскованности художественной прозы: «Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законного выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» И еще: «Для меня главное — это найти звук. Как только я его нашел — все остальное дается само собой».

То, что Бунин называл «звуком», лежит вне содержания и формы, неопределимо письменно, но обязательная принадлежность самой красоты. Помните, как говорила о ней Оля Мещерская (которую казачий офицер нелепо застрелил потом на платформе: опять платформа, поезд и опять роковой отъезд!) своей подруге, «полной, высокой Субботиной»: само собою, черные, как ночь ресницы, румянец, тонкий стан, «но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре...».

Да, все принимает в себя и все растворяет в себе пространство и время: вот и помянул вдруг Бунин в рассказе «Легкое дыхание» имя Сонечки Субботиной, той самой, что тогда сидела против него на мягком диванчике под

наивно-геометрическим ореолом семейных фотографий. Все исчезло, все растаяло дымом: нет в живых Софьи Субботиной, в России остался «судия праведный, Соломон Николаевич Муромцев». Вот последнее к нему письмо сестры:

«Для Яна нет большего человека, чем я, и ни один человек меня ему никогда не заменит. Это он говорит всегда и мне, и нашим друзьям без меня. Кроме того, то нетленное в наших чувствах, что и есть самое важное, остается при нас...»

Бунин умер в первые часы воскресенья, 8 ноября 1953 года, в Париже, в своей квартире на узкой улице Жака Оффенбаха, в комнатухе, буквально заваленной книгами. С октября он уже не вставал с постели, был очень слаб, горел, задыхался от свирепого воспаления легких, которое подхватил случайно и которое в 83 года переносить было особенно тяжело, но пытался работать до конца — писал книгу о Чехове. Накануне, часа за два до смерти, просил Веру Николаевну сесть у изголовья, почитать письма Антона Павловича и в одном месте указал: «Пожалуйста, отметь это и подчеркни, и заложь страницу — это очень важно».

Свое угасание он, обладавший безупречным талантом интуиции, чувствовал давно: перебрал архив, сделал последние распоряжения. Раскладывая бумаги, среди которых попало несколько уже желтеющих открыток с Поварской, опять вспоминал тот вечер: сладкоголосое итальянское пение из железной лилии граммофона, хрусталь недопитых стаканов, зыбкое опаловое марево из-под абажурного шелка, узкие пальцы Веры в своей руке и Митя: галстух бантом, молодой во всю щеку румянец и веселое сиянье стеклышков пенсне.

После отпевания и похорон, когда с кладбища Сен-Женевьев-де-Буа возвращались в город, небо неожиданно просветлело, в синеве, окрашивая все вокруг несказанной прелестью, зазвенело солнце, и Вера Николаевна порадовалась, что день выдался именно таким, какой он любил особенно, и вспомнила его стихи:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной...



Н. А. Милютин.

З. А. Милютин

Нарком Милютин

Теперь они живут в легендах, те, кто устанавливал Советскую власть. И среди них — большевик с 1908 года, революционер-профессионал Николай Александрович Милютин.

Издавна в семье Милютиных бытовал рассказ-предание прабабки, которая видела и всегда потом помнила, как на Петропавловском кронверке казнили декабристов. Юный Коля будто сам видел и слышал солдатский гул, говор и покашливание, и каре оцепления, и дробь армейских барабанов.

Потом была учеба, блестящее окончание школы.

Уже в юности привлекали его живопись, рисование, история изобразительного искусства,

архитектура. Весь чердак милютинского дома был завален холстами, красками, кистями, рисунками... И позже самые лучшие минуты вдохновения находил Милютин у мольберта. На многих его дореволюционных рисунках изображен знаменитый Полотняный Завод, где постоянно проживал наш дед по материнской линии Иван Петрович Прыгунов.

Николай, не расставаясь с красками и кистями, охотно посещал этот благословенный пушкинский край, рисовал виды Полотняного Завода, гончаровскую усадьбу, дом Щепочкина... Сегодня, если судьба приведет вас в Музей А. С. Пушкина в Москве, в одном из залов (№ 4) вы увидите рисунок «Спасские ворота при въезде в усадьбу Гончаровых» — это работа Николая Милютина.

Публикуемые же здесь два рисунка: «Церковь Спасо-Преображенская» и «Усыпальница Гончаровых» и вовсе уникальны — изображенные на них постройки, которые видел Пушкин, не сохранились до наших дней. И сейчас, когда идет восстановление Полотняного Завода, они смогут помочь работе реставраторов.

На рисунках Николая Милютина запечатлен и сохранившийся кирпичный дом Щепочкина (бывшего напарника по выработке полотен Гончарова), построенный в XVIII веке. Милютин шутя говорил, что этот дом надо взять под колпак, до того он красив и хорош. Кто его строил, остается загадкой.

Николай Александрович после окончания школы Мазинга, вечерних курсов при Реальном училище Чернышева и попутно Центрального училища технического рисования Штиглица мечтал учиться в Архитектурном институте. Но возможности большой семьи были ограничены, и он решил поступить в Вольный политехникум — учебное заведение для рабочих и разночинной интеллигенции, куда был принят в 1906 году на архитектурный факультет.

Вольный политехникум стал рубежом в жизни Милютина. Здесь он в 1908 году вступил в партию большевиков, участвовал в создании социал-демократического кружка и входил в число его исполнительный тройки.

Но в конце 1909 года Вольный политехникум, считавшийся рассадником вольнодумства, был закрыт. Николай Александрович поступил на службу в Российское транспортное страховое общество. Затем, в 1914 году, он работал на знаменитом Путиловском заводе, после чего его направили воссоздать большевистскую организацию на фабрике «Скороход».

Это была первая серьезная проба сил молодого подпольщика. Больничная касса фабрики «Скороход», секретарем которой стал Милютин, вскоре превратилась в один из конспиративных центров большевистского Питера. К концу 1915 года на фабрике было уже 200 членов партии — и ни одного провала!

Воспоминания Милютина свидетельствуют, с какой находчивостью использовали тогда большевики легальные возможности для дела революции.

«Помещение больничной кассы при фабрике «Скороход» фактически стало штабом организации, где было сосредоточено все основное ядро работников района. Но как это достигалось? Помещение больничной кассы было нами перестроено таким образом, что ни один человек не мог пройти в кассу, не будучи замеченным нами.

Все сотрудники были прилично одеты — мужчины в «галстучках», дамы завиты. Словом, вполне «порядочное» учреждение.

Очень следили мы за чистотой и порядком, за тем, чтобы не было лишних бумаг. Ни одна прокламация не задерживалась в кассе больше пяти минут. Заседания бюро райкома происходили, как правило, в трактире против Сенного рынка — за приличной закуской и подобающей «выпивкой», что тоже отводило всякие подозрения.

Строжайше соблюдалось одно правило: ни один человек, работавший в кассе, не вправе держать при себе или в помещении какую-нибудь нелегальщину. Поэтому частые обыски ничего не давали полиции.

Внешне отношения работников кассы с администрацией завода были вполне вежливыми и лояльными. Дело дошло до того, что один из наиболее черносотенных и подозрительных директоров, Александр Карлович Гартвиг, как-то заявил: «Наконец-то больничные кассы имеют приличный вид и настоящего бухгалтера, а не какую-то шантрапу».

Бухгалтером этим был не кто иной, как М. Н. Федоров, председатель бюро райкома большевиков. И не кто иной, как черносотенный Гартвиг, прибавил ему жалование за очень интеллигентный вид и знание дела... Кстати сказать, о бухгалтерии Федоров имел весьма смутное представление, и бухгалтерские отчеты за него составляли другие товарищи... Благодаря сложившимся отношениям все сотрудники кассы имели свободный проход через все ворота завода, чем, конечно, частенько пользовались!

Итак, касса всегда была «чистой». А все, что нужно было хранить конспиративно, хранилось либо в архиве кассы, в особом деле № 1234, либо в письменном столе председателя правления товарищества «Скороход», кабинет которого всегда пустовал и к которому у нас был запасной ключ. Сам владелец стола, конечно, не подозревал, что в нижнем ящике его стола, в который он никогда не заглядывал, большевики хранили резной шрифт и другую технику для изготовления паспортов. Знали об этом только два человека».

В самый разгар мировой войны, в 1915 году, Милютин призвали в царскую армию, но и там он продолжил работу большевистского пропагандиста, за что и был приговорен полевым судом к расстрелу. Солдаты, поднявшие восстание в роте, освободили своего агитатора, потом вместе с большевистской организацией Политического института разоружили полк самокатчиков на Выборской стороне, раздав оружие рабочим района. Это была очень важ-

ная победа. Вскоре после взятия казарм был создан Революционный комитет.

Только теперь Милютин смог снова вернуться в Московский район, откуда расходились нити к Советам и Государственной думе, формировались отряды Красной гвардии.

Партийная организация стала пополняться. Возвращались большевики из тюрем и ссылок, вступали в ряды большевистской партии передовые рабочие фабрик, заводов, участники революционной борьбы.

В 1917 году Николай Милютин был избран членом Петроградского Совета.

Наступили напряженные дни. Буржуазия стремилась разгромить революцию. Единственной силой, способной подавить корниловский мятеж, была большевистская партия. В заводских комитетах шла запись в красногвардейские отряды, выдавали оружие. В полную боевую готовность приведены революционные воинские части. Московский район оказался на переднем крае обороны Петрограда. Это налагало особую ответственность на партийную организацию Московской заставы.

О наступлении со стороны Луги «дикой дивизии» в райкоме стало известно вечером 27 апреля. Решили немедленно организовать штаб обороны. В него вошли шлисельбуржец Я. М. Штейн, М. Н. Федоров и командующий вооруженными силами района Н. А. Милютин.

«Вдруг, — вспоминал Н. А. Милютин, — со стороны путиловской ветки слышен цокот бешеного галопа. Что за чудо: у нас ни одного конного! Насторожились. Вот всадники подъехали к углу... Повернули в переулок, где вход в штаб, остановились... Кто-то тяжело подымается по лестнице... Вошли. Сверкнули серебряные погоны: офицеры! Неужели прорван фронт? Но нет, больше ничего с улицы не слышно. Что-то не то.

Вшедших трое. В полутьме лиц почти не видно. Надо действовать. В кармане шинели палец на гашетке кольта.

— Что скажете?

— Нам надо вашего главного начальника.

— Вот начальник штаба, а я командующий Красной гвардией района.

Пришедшие выхватывают шашки. Кровавым отблеском молнии сверкнули клинки и... повернутые эфесами, тянутся в наши руки.

— Мы сдаемся, — говорит ближайший горец. — Меня зовут Хаджи-Мурат Дзарахохов. Мы представители татарского горского полка. Нам сказали, что в Петрограде резня и надо установить порядок. Однако, когда мы пришли сюда, то нам здесь делегаты Советов рассказали совсем другое. Мы не хотим больше идти с князьями, мы решили вернуться домой в свои аулы. Мы много воевали. Братоубийственной войны не хотим. Не будем убивать петроградских рабочих.

Высокий горец с седыми усами что-то говорит Хаджи-Мурату. Тот переводит:

— Это командир сотни. Он спрашивает, отпустите ли вы их всех на родину, если они перейдут к вам?

Российская
Федеративная Советская
Республика.

Народный Комиссариат
по
Продовольствию.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Управление Общих Дел.

Подготовил

9. Сенин
17.11.20
Москва

Предъявитель сего Уполномоченный Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов и Народного
Комиссариата Продовольствия тов. МИЛЮТИН командирован ВЦИК
и НАРКОМПРОДОМ в Орловскую губернию для ответственного ру-
ководства заготовительной компании* 1920-21 года в Орлов-
ской губернии в качестве Председателя Орловского Губпродсо-
вещания.

Тов. МИЛЮТИНУ предоставляется право делать распоряжения
по объединению работы всех местных органов Советской Вла-
сти направленной к усилению заготовительной деятельности
продорганов.

С этой целью тов. МИЛЮТИНУ предоставляется право:

а/ Требовать от всех Местных Органов Советской Власти, Уч-
реждений, и Организаций, в том числе, и Военных Исполни-
ния всех его/ МИЛЮТИНА/ распоряжений, касающихся области
продовольственного дела.

б/ На основании постановления ВЦИК от 1 июля 1920 года
производить мобилизации местных ответственных Советских ра-
ботников, усиливая ими работу продорганов.

в/ Принимать все необходимые меры по проведению Декретов
Советской Власти по Продовольственному делу и распоряжений
Народного Комиссариата Продовольствия и подведомственных
последнему Местных Органов.

г/ Отменять те из постановлений всех местных органов Со-
ветской Власти, которые противоречат продовольственной по-
литике ЦЕНТРА.

д/ На основании постановления ВЦИК от 9-го мая 1918 года
отстранять от должности и предавать суду должностных лиц
всех ведомств в случае их дезорганизующего вмешательства
в области продовольствия.

Воим Учреждениям, Организациям и должностным лицам Р.С.Ф.С.Р. предписывается оказывать тов. МИЛЮТИНУ незамедлительно всяческое содействие при исполнении возложенных на него поручений:

Тов. МИЛЮТИНУ предоставляется право пользоваться телеграфным проводом и подачи телеграмм "А"

Тов. МИЛЮТИНУ предоставляется право проезда во всех поездах (вагонах) и пароходах, как общих так и специальных, в том числе следующих даже по специальному назначению военного ведомства:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА *М. Калужский*

№ 148/2
3-1X-206

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ *В. И. Ленин*

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПО ПРОДОВОЛЬСТВУ *И. В. Сталин*

Центральный Комитет Р.К.П./б/ предлагает всем местным партийным организациям оказывать всемерное содействие тов. МИЛЮТИНУ в исполнении возложенных на него ответственных заданий и руководиться его указаниями по всем продовольственным вопросам.

Секретарь Р.К.П./б/ *Н. К. Крестинский*



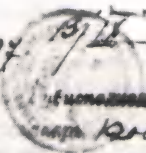
Л. В. Орловский *И. В. Сталин* *М. К. Крестинский*
ОТЛОЖИТЬ
УТВЕРДИТЬ
КОМИТЕТ

А. М. Милютин

2087

1919

1900 д.



М. К. Крестинский



Н. А. Милютин у мольберта. 1933 г.

— Видите ли, друзья, этого вопроса я решить не могу. Прошу вас посидеть здесь. Мы сейчас обсудим ваше предложение и дадим ответ. А теперь предвительно скажите, как вы проникли сюда, по каким дорогам ехали, сколько у вас людей и что думает ваше командование о переходе к нам.

Хаджи-Мурат на минуту задумался. Медленно отвечает, водя пальцем по столу:

— Дороги хорошо не знаю. Нас было четверо. По нас стреляли. Один упал, очевидно, убит. Придем все. Командиров мы решили не слушать, это все князья, а мы — бедные люди. Те, что приехали со мной, — делегаты. Нам верят. Дайте пропуск через фронт, и мы приведем всех людей, если обещаете нас не трогать и отпустить домой.

— Ладно. Подождите.

Быстро оглядываю комнату. Кругом все встали. В руках винтовки. Лица суровые, напряженные. Яков Штейн спокоен, но смотрит в тяжелом раздумье на пол.

Забираю под мышку шашки и кинжалы. Идем в смежную комнату. С нами несколько красноармейцев...

— Ну?

— Плохо. Они видели, что на фронте у нас дело дрянь. Прорваться — пустяк. Надо их расстрелять и отходить на вторую линию. Видал, как они смотрят в сторону? Провокация!

Я беру слово:

— Ребята, я был в тылу у Корнилова. Наши агитаторы работают вовсю. Солдаты митингуют, генералам не верят. Думаю, что можно рискнуть, приняв меры. Я предлагаю оружие им вернуть, пусть едут и ведут своих сюда. Матросам на Красную Рогатку передадим, чтобы пропустили их, а потом сосредоточим у шоссе кулак. И если это окажется провокацией, то... я думаю, мы сумеем их уничтожить перекрестным огнем. Уверен, однако, что все будет хорошо. Поймите, если они перейдут к нам, какое это будет иметь значение!

— Нет, — говорит Яков, — лучше не рисковать. Ведь мы пускаем их в город. Что наша баррикада? Перерубят, а там до Смольного ни одной заставы.

Третьего члена ревкома в штабе нет. Как быть? Я, командующий районом, беру все на себя. Яков согласен. Идем. Возвращаю Хаджи-Мурату оружие и говорю:

— Мы вам верим. Приведите сюда всех, кто не согласен выступать против народа. Кто хочет, может уезжать домой, а кто пожелает — останется с нами.

Быстро заговорили делегаты. Хаджи-Мурат убеждает в чем-то седого. Потом говорит:

— Верьте нам. Пусть, кто хочет, останется с вами. Я тоже не пойду домой. Я бедный человек и буду с рабочими. Мы благодарим вас за доверие и не обманем. Оставьте одного из нас заложником.

— Не надо. Поезжайте. Мы скажем, чтобы вас пропустили.

Проходит часа два напряженного ожидания.

Но вот доносится цокот сотен копыт. Все ближе... Затихло... Входит Хаджи-Мурат, берет под козырек и рапортует: такие-то сотни татарского конного полка явились в распоряжение революционного народа.

Вдох облегчения. Радостью засветились глаза. Все задвигались. Жмут руки пришедшим, хлопают их по плечу.

Через полчаса на площади митинг, горят костры. Внимательно слушают горцы незнакомую речь. Хаджи-Мурат берется переводить. Лицо его кажется багровым, череска в свете костра напоминает крылья гигантской огненной птицы.

— Война — войне! Мир — хижинам, война — дворцам! Землю и власть народу! Долой князей!



Нарком финансов РСФСР, член Малого Совнаркома
Н. А. Милютин. 1925 г.

Гортанные крики заглушают колокольный звон, которым кто-то в азарте решил приветствовать горцев. От путиловской ветки до Московских ворот все полно вооруженными людьми. Высоко поднято алое знамя райкома.

— Опора Корнилова — «дикая дивизия» — с нами!»

В письме, опубликованном в газете «Солдат» 13 сентября 1917 года, перешедшие на сторону революции писали: «Мы заявляем, что считаем позором оставаться в той части войск, которая невольно по вине своих вождей-офицеров запятнала себя изменою революции... Мы заявляем свою полную солидарность с рабочим классом и отдаем свою боевую мощь в его распоряжение для укрепления свободы и против контрреволюции».

А у Ленина о том событии есть такие строки: «Вся сила богатства встала за Корнилова, а какой жалкий и быстрый провал!»

В октябре 1917 года Николай Милютин организует в Московском районе несколько красногвардейских отрядов. Участвует в штурме

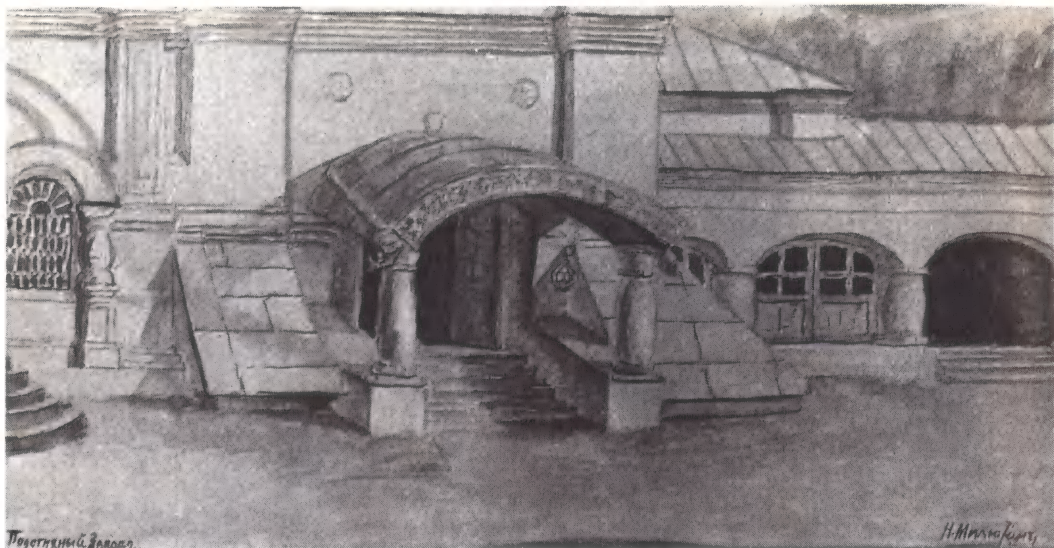
Зимнего дворца, в котором немалую роль сыграл отряд Красной гвардии Московского района под командованием Милютина (кстати, этот отряд одним из первых ворвался в Зимний)... Были первые дни Советов, переполненные кипучей работой, требовавшие мобилизации все новых и новых сил...

В декабре 1917 года Николай Александрович был избран председателем общегородской больничной кассы. С этого времени и начались его постоянные встречи с Владимиром Ильичем Лениным.

Н. А. Милютин вспоминает один из разговоров с Владимиром Ильичем. Это было в середине 1918 года. Николай заболел и проводил лечение в селе Помазове (около города Усмани). Он узнал, что в самой Усмани в это время власть оказалась в руках анархистов, эсеров и меньшевиков, председателем Исполкома оказался Исполатов — анархист, его заместителем — меньшевик.

Под Воронежем шли бои. Белые решили использовать Усмань для своего наступления на Грязи и Козлов, причем в Козлове было подготовлено белогвардейское восстание.

Милютин рассказывал, что выработанная



Усыпальница Гончаровых. Рис. Н. А. Милютин.

привычка наблюдать за окружающими людьми помогла ему в первые же дни его пребывания в Усмани расшифровать наличие скрытой офицерской части. В Усмани, на счастье, в это время оказались питерские товарищи, создавшие из местных рабочих небольшой вооруженный отряд. Тайно вызвали продотряд и в ночь переарестовали почти без выстрела всех белогвардейцев — около тысячи человек. Тут же, вспоминал Милютин, создали ревком и Чрезвычайную комиссию, которой и передали арестованных белогвардейцев. Затем провели выборы Советов, создали уездный съезд Советов и избрали новый Исполком.

Исполотова, в это время в городе не было. Узнав о событиях, он выехал в Москву, явился к Я. М. Свердлову и по-своему изложил ему все дело.

Милютин пригласили в Кремль.

«Товарищ Фотиева сообщила Владимиру Ильичу о моем приходе. Меня тотчас же позвали.

— Ну как, поправились? Как ваше лечение?

— Спасибо, Владимир Ильич, как будто все в порядке.

— У меня всего минут пять, максимум десять времени. Вы лучше расскажите, что такое там вышло, в Усмани, Яков Михайлович что-то мне рассказывал невероятное.

Говорю, что ничего особенного, сорвали белогвардейскую затею захватить Грязи и Козлов.

— Это я слышал, но говорят, что вы и Советы заодно разогнали.

— Это верно. Совет-то там несоветский был. Местная парторганизация была в подполье,

часть коммунистов сидела в тюрьме, а офицеры чувствовало себя совсем свободно.

Владимир Ильич засыпал меня вопросами: как мы организовали рабочих, с чего начали операцию, как использовали профсоюзы, как вели себя офицеры и их командиры, кто им помогал, где и у кого они размещались, какие меры конспирации применяли, как вели себя местные меньшевики и эсеры, как мы организовали перевыборы Советов в городе и селе, как реагировали крестьяне и т. д.

Ленина интересовали конкретные формы, характеристики людей, настроения разных слоев населения. Он подробно расспрашивал, как крестьяне по собственной инициативе дали нам продукты для отправки в Москву... Много смеялся над рассказом о сходке в Помазове, где председатель объявлял обсуждаемый вопрос, а сам садился на завалинку курить. Мужики кричали все сразу до хрипоты, а когда уставали, председатель объявлял решение, с которым все соглашались, затем предлагал следующий вопрос и т. д.».

Милютин пишет, что их беседа затянулась: «Вместо пяти минут я пробыл у Владимира Ильича два часа».

7 августа 1919 года Николай Александрович был назначен членом коллегии Народного комиссариата труда и членом Малого Совнаркома, одновременно работая по Наркомздраву.

Малый Совнарком — это Правительственная подготовительная комиссия при Большом Совнарком. Владимир Ильич часто говорил:

— Это мой первый помощник!

«Мне выпало величайшее счастье, — писал Милютин об этом периоде, — видеться с Владимиром Ильичем почти повседневно.



Село Полотняный Завод. Спасские ворота при въезде в усадьбу Гончаровых.

На всю жизнь останется у меня в памяти то исключительное время. Чудесные, почти нереальные по внутренней красоте и одухотворенности товарищи по работе заставляли просто не замечать очень тяжелой материальной обстановки. Помещался Малый Совнарком в маленькой комнатке, где печь была разобрана «для ремонта»: ожидавшие очереди докладчики сидели в соседней комнате в абсолютной темноте. Тогда по месяцам не приходилось раздеваться: в моей спальне было по Реомиру 12 градусов холода, и погреться удавалось лишь в нашей маленькой столовой Совнаркома.

Светлым воспоминанием радости и счастья навсегда останется совместная работа с Владимиром Ильичем, Фрунзе и другими товарищами».

В конце августа 1920 года Центральный Комитет РКП(б) разослал всем губкомам РКП(б) письмо, названное «К продовольственной кампании». В нем подробно излагалось, каким образом должны действовать советские организации и все население, чтобы избежать последствий засухи. В помощь местным советским и партийным организациям был послан ряд центральных работников на места в разные губернии для организации продовольственных заготовок. В Орловскую губернию — Н. А. Милютин. Получив обширный мандат (как он сам его назвал) за подписью В. И. Ленина, М. И. Калинина, Н. П. Брюханова, он сразу же выехал в Орел, где столкнулся с печальной картиной. План заготовок был выполнен всего на 11 процентов. Пришлось провести мобилизацию партийцев, сделать упор на расслоение крестьян, взяв ставку на кулацкий хлеб. И дело пошло на лад.

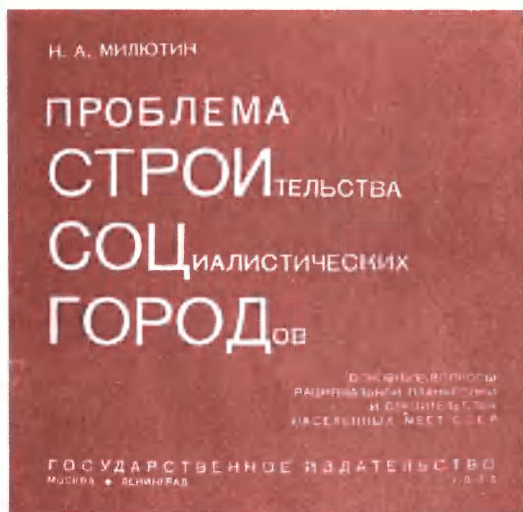
Когда Милютин приехал в Москву для разрешения насущных вопросов, его вызвал к себе Ленин. Владимир Ильич попросил рассказать, как Николай Александрович добился того, что крестьянин дал продукты. Милютин подробно остановился на тактике расслоения деревни, рассказал, что в некоторых районах губернии голодают значительные слои крестьян и он на свой страх и риск послал из части заготовленного, отобранного у кулака хлеба, чтобы подкормить семьи красноармейцев, бедноту, ребятишек... Милютин не знал, как Владимир Ильич примет подобную инициативу.

Ленин одобрил линию на расслоение деревни, на изоляцию кулака, на помощь семьям красноармейцев, детям и бедноте частью заготовленного хлеба. Владимир Ильич тут же дважды звонил в Наркомпрод, чтобы разрешили часть заготовленного хлеба раздать бедноте, и подтвердил, что одобряет мероприятия Николая Александровича в этом деле, а также организацию общественного питания в тех районах губернии, где с продовольствием было плохо.

Эти столовые зимой сыграли огромную роль. Кулак остался изолированным, крестьяне стали открыто указывать на кулацкие ямы с хлебом и картошкой.

Владимир Ильич был особенно доволен, что обошлось без человеческих жертв, без крови, но предупреждал (пишет в своих записках Милютин), что вооруженных бандитов надо опасаться, что антоновщина может перекинуться и в Орловщину. Николай Александрович уверил, что за свой отряд он спокоен.

Владимир Ильич задал ряд вопросов о настроении крестьян, об их отношении к Советам.



Титульный лист книги Н. А. Милютин.

Когда Милютин уходил, Ленин сказал: «Это хорошо, что вы расшевелили губернию и дали продовольствие городу. Сейчас это самое главное. Но если хватит времени, загляните и впредь. Будете в Москве — расскажете».

Когда выполнение плана разверстки по Орловской губернии перевалило за восемьдесят процентов, Николай Александрович получил телеграмму о назначении его председателем Воронежского губернского продовольственного совещания. Там дела оказались неважные. Прядком — рыхлый, губисполком и губком — в руках троцкистов. По губернии шли непрерывные бандитские выступления, орудовали Антонов, Колесников, беспокойно было в разных районах. Продразверстка выполнена всего на два процента.

Учитывая обстановку, Николай Александрович получил неограниченные полномочия: мандат от имени ВЦИКа, Совнаркома, СТО и Центрального Комитета партии (фотокопия мандата Н. А. Милютина воспроизводится в «Прометее»).

Владимир Ильич осознал трудную обстановку перед отъездом Милютина в Воронеж, учил внимательно присматриваться к людям, правильно расставлять их и настоятельно советовал опираться на низовые советские органы.

В Воронежской губернии пришлось заниматься не столько заготовками, сколько отбиваться от банд Антонова, Махно, Колесникова и других бандитов.

Милютин ликвидировал ряд банд, руководил двумя боями с Махно, отбив у него свыше 10 орудий и 40 пулеметов, а также очистил район Воронежской губернии и часть Тамбовской от банд Антонова. Одновременно пришлось вести непрерывную борьбу с оппозиционерами,

бюрократами, ворами, засевшими во всех органах. Только благодаря авторитету В. И. Ленина, благодаря сплочению лучших партийцев и пролетариев удалось в ту зиму одержать победу в губернии.

За удачно проведенную продразверстку Н. А. Милютин получил от В. И. Ленина подарок — часы с дарственной надписью.

В марте 1921 года Н. А. Милютин был назначен наркомом социального обеспечения. Владимир Ильич горячо поддерживал мысль нового министра о создании специальной операции инвалидов — ведь после двух войн осталось множество искалеченных людей, им надо было помочь. «Для инвалидов раньше, чем для всех, труд должен стать радостью. Вот чего вы должны добиваться», — говорил В. И. Ленин. С его помощью была облегчена и учеба инвалидов — Владимир Ильич по просьбе Милютина специально обращался к Луначарскому, настаивая на всяческих льготах для инвалидов при поступлении на курсы и в вузы, на обеспечении их стипендиями с преимуществом по отношению к остальным студентам. Не были забыты и дети, после войны оставшиеся без родителей, и одинокие старики. Ленин очень беспокоился, не забыты ли одинокие старики. «Ведь за них никто не заступится, если мы их забудем», — говорил он.

Опираясь на поддержку Владимира Ильича, Милютин горячо взялся за дело. Повсеместно возникали артели, где люди, потерпевшие из-за увечий, получали специальность, обрели новую профессию, возвращались к труду, к жизни. Не преувеличивая можно сказать, что дело кооперирования инвалидов, сыгравшее огромную роль в судьбах тысяч людей, было детищем Милютина. Когда он ушел из Наркомсовета в связи с назначением его наркомом финансов РСФСР (в 1924 году), буквально сотни писем, телеграмм стали поступать к нему от инвалидов с выражением сожаления и благодарности.

Много преданных друзей обрел тогда Николай Милютин. Его и теперь с благодарностью вспоминают оставшиеся в живых ветераны.

В 1924 году Николай Александрович назначается наркомом финансов РСФСР, а в 1929 году — председателем Малого Совнаркома.

...Годы шли, а мечта детства и юности не исчезла. Николай Александрович продолжал увлекаться рисунком и архитектурой. Без отрыва от производства закончил нарком Милютин архитектурный институт и даже работал главным редактором журнала «Советская архитектура».

Николая Александровича увлекали проблемы городов будущего. Он стал председателем Правительственной комиссии по разбору вопроса о постройке новых городов, возглавлял в Коммунистической академии секцию социалистического расселения, в 1930-м написал интересную и сегодня, а тогда абсолютно новаторскую и смелую по архитектурной мысли книгу «Соцгород». Его мечта — создать наиболее разумные и целесообразные условия для жизни и

быта людей. «Как можно больше света, воздуха, зелени, радости, простоты», — писал он в книге. Уже тогда предлагал Милютин отделить жилищную зону от производственной зелеными площадями и водоемами.

Смело критиковал некоторых не в меру увлекающихся «ретивых строителей», предлагавших стереть с лица земли старую Москву и на ее месте построить новую. Милютин возражал, советуя оставить ее городом-музеем, архитектурным и историческим заповедником. Ему говорили: «В Москве на каждом углу стоит церковь. Их слишком много, по-вашему, их тоже надо оставить? Не лучше ли будет очистить место для нового строительства!» На что Милютин, смеясь, отвечал, что действительно некоторые москвичи частенько посещают церковь (была такая) на Петровке, но ходят они, как стало известно, слушать артистов Большого театра, выступавших с пением Чайковского, Бортнянского, Глинки.

«Москва, — подчеркивал он, — это наша история! Вокруг Москвы имеется достаточно свободной незаселенной земельной площади, где и надо, кстати, по-новому принципу и проектам строить новую Москву».

И снова повторял, что «в Москве много старинных непревзойденных памятников национальной архитектуры, и их надо во что бы то ни стало сохранить!» — говорил он и напоминал слова Анри Матисса: «Прежде чем ехать в Италию, не мешало бы посетить Россию».

Относительно проекта Дворца Советов, предложенного архитектором Иофаном и одно время утвержденным к строительству, Милютин говорил: «Свечка! Нам нужно здание более монументальное с большим вкусом. И строить его надо на Ленинских горах, чтобы было красиво и величественно».

...Умер Н. А. Милютин в 1942 году, немногим пережив свое пятидесятилетие.



Л. Г. Карапетян.

В. Дуров

Из истории советских орденов

16 сентября 1918 года был учрежден первый советский орден — Красного Знамени РСФСР, которым мог быть удостоен каждый гражданин республики, проявивший «особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности»¹. Несколько позднее, в декабре 1920 года, когда в стране еще шла гражданская война, по инициативе В. И. Ленина VIII Всероссийский съезд Советов учредил орден Трудового Красного Знамени РСФСР «в целях отличия перед всей Республикой Советов тех групп трудящихся и отдельных граждан, которые проявили особую самоотверженность, инициативу, трудолюбие и органи-

зованность в разрешении хозяйственных задач»².

По примеру Советской России некоторые другие советские республики также учредили свои боевые и трудовые знаки отличия. Ордена, выдававшиеся за военные заслуги, были учреждены в Азербайджанской, Армянской, Грузинской ССР, Хорезмской и Бухарской НСР. Республиканские ордена Труда и Трудового Красного Знамени введены в Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР, ЗСФСР и Хорезмской НСР.

Вскоре после образования СССР, в августе 1924 года, был учрежден орден Красного Знамени СССР, а несколько позже — орден Трудового Красного Знамени СССР. Кавалеры республиканских орденов при соблюдении некоторых условий приравнивались к награжденным орденами общесоюзными. В 1933 году награждение республиканскими орденами было прекращено, но знаки ранее выданных орденов республик решено не обменивать на общесоюзные и сохранить как яркие свидетельства боевого и трудового героизма советских людей в годы гражданской войны и восстановления народного хозяйства страны.

К. Е. Ворошилов, Председатель Революционного Военного Совета СССР, в письме М. И. Калинин по вопросам приравнивания награжденных республиканскими орденами в правах к кавалерам общесоюзного ордена писал: «Первенствующее значение ордена «Красное Знамя» РСФСР подтверждено всей историей гражданской войны и традициями Красной Армии»³.

ВЦИК утвердил символ, который стал основой рисунка знака боевого ордена РСФСР — Красного Знамени⁴.

Вместе со знаком ордена награжденный получал особую грамоту от имени ВЦИК, а также памятку «Что такое орден Красное Знамя и кто его носит». В этой памятке говорилось: «Орден Красное Знамя есть единственная награда, которой ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов награждает солдат революции за храбрость, беззаветную преданность революции и рабоче-крестьянскому правительству, а также за проявленную распорядительность. Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен знать, что он среди равных себе выделен волею трудящихся масс, как достойнейший и лучший из них, что своим поведением он должен всегда и везде во всякое время являть пример сознательности, мужества и преданности делу революции. Он должен помнить, что на него смотрят другие как на образец, что по нему учатся бескорыстному



Орден Красного Знамени
РСФСР.



Орден Красного Знамени
Азербайджанской ССР.



Орден Красного Знамени
Грузинской ССР.



Орден Трудового Красного Знамени
РСФСР.



Орден Трудового Красного Знамени
Украинской ССР.



Орден Трудового Красного Знамени
Белорусской ССР.



Орден Трудового Красного Знамени
Армянской ССР.



Орден Трудового Красного Знамени
Таджикской ССР.



Орден Трудового Красного Знамени
Узбекской ССР.

исполнению долга, что то Красное Знамя, символ которого он носит на груди, дорого для всего пролетариата, как знамя, пропитанное кровью рабочего класса и крестьянства в дни царского режима, как знамя борьбы лучших представителей рабочих за великие идеалы трудящихся масс».

Первым кавалером ордена Красного Знамени РСФСР стал Василий Константинович Блюхер. Возглавляемая им десяти тысячная партизанская армия совершила героический рейд по тылам белой армии. Пройдя за 40 дней в непрерывных боях 1500 километров, партизаны соединились с регулярными частями Красной Армии. В представлении Реввоенсовета 3-й армии, в состав которой вошли партизаны В. К. Блюхера, отмечалось: «...Переход войск тов. Блюхера в невозможных условиях может быть приравнен разве только к переходам Суворова в Швейцарии». 28 сентября 1918 года было принято постановление о присуждении первых орденов Красного Знамени. В нем, в частности, говорилось: «...первым по времени знак отличия присудить тов. Блюхеру, второй — тов. Панюшкину, третий — тов. Кузьмичу...»⁵

Член ВЦИК В. Л. Панюшкин был в августе 1918 года по указанию В. И. Ленина направлен во главе Особого отряда на Восточный фронт. Отряд В. Л. Панюшкина, отличившийся в боях за Казань в начале сентября 1918 года, был награжден Почетным Революционным Красным Знаменем, а его командир — орденом Красного Знамени.

Третий кавалер боевого ордена — Филипп Кузьмич Мионов, ошибочно названный в документе «Кузьмич». Донской казак Ф. К. Мионов участвовал еще в русско-японской войне 1904—1905 годов, затем в первой мировой войне и прекрасно знал военное дело, дослужившись до чина войскового старшины. В декабре 1917 года принял участие в установлении Советской власти во главе полка, избравшего его командиром, в своем родном Усть-Медведицком округе на Дону. Впоследствии командовал бригадой, дивизией, а в конце 1920 года — Второй Конной армией. За отличие представлялся еще к одному ордену Красного Знамени и Почетному Революционному Оружию.

Почетное Революционное Оружие — пашка, кортик с вызолоченным эфесом и с положенным на эфес знаком ордена Красного Знамени — введено декретом ВЦИК от 8 апреля 1920 года⁶. Первым пунктом в декрете значилось: «Почетное Революционное Оружие, как награда исключительная, присуждается за особые боевые отличия, оказанные высшими начальствующими лицами в действующей ар-

мии». Всего этой награды был удостоен 21 выдающийся советский военачальник. Среди них главнокомандующий всех Вооруженных Сил Республики С. С. Каменев, легендарные герои гражданской войны М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Г. И. Котовский, талантливые красные полководцы М. Н. Тухачевский, С. К. Тимошенко, И. П. Уборевич, А. И. Корк и другие. Каждое такое награждение отмечало проявление военного гения, внесшего огромный вклад в общую победу над врагом. Так, Иван Семенович Кутяков, командовавший одной из бригад знаменитой 25-й дивизии В. И. Чапаева и ставший его преемником, был награжден Почетным Оружием за целый ряд подвигов, в частности, за то, что после героической смерти Василия Ивановича под Лбищенской в сентябре 1919 года «объединил под своим командованием группу из 3 бригад и, лично руководя ими, решительными атаками ликвидировал временный успех противника»⁷. Получил эту награду, как мы уже знаем, и Ф. К. Мионов. Для С. С. Каменева и С. М. Буденного, имевших все виды наград, существовавших в то время в РСФСР, и совершавших новые подвиги в борьбе с врагами, ВЦИК учредил особую награду — Почетное Огнестрельное Оружие с орденом Красного Знамени, прикрепленным к рукояти. Этого знака отличия С. С. Каменев и С. М. Буденный были удостоены Приказом Реввоенсовета Республики № 28 от 26 января 1921 года. Последним по времени Почетным Революционным Оружием (холодным) был отмечен «за отличия при ликвидации конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году» Степан Сергеевич Вострцов, имевший к тому времени четыре ордена Красного Знамени, полученные за отличия в гражданской войне.

Декрет ВЦИК «О повторном награждении орденом Красного Знамени бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии» был утвержден в мае 1919 года. «Преступное посягательство мировых империалистов на свободу РСФСР, создав непредвиденные осложнения на боевом фронте, — говорилось в декрете, — вызвало новое героическое напряжение народной мощи, ознаменованное проявлением беззаветной храбрости и воинской доблести верных сынов Революции, сражающихся в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Имея в виду, что многие красные бойцы, уже награжденные орденом Красного Знамени, являющимся ныне единственным революционным знаком отличия, в настоящую боевую страду вновь оказывают выдающиеся подвиги, заслуживающие поощрения, ВЦИК Совета Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красно-

армейских Депутатов в заседании своем постановил:

1. Установить для отличившихся защитников Социалистического Отечества, кои уже награждены за ранее содеянные подвиги орденом Красного Знамени, не вводя степеней его, повторное награждение этим орденом»⁸.

За время гражданской войны четырьмя орденами Красного Знамени РСФСР были награждены первый кавалер этой награды В. К. Блюхер⁹, ставший впоследствии Маршалом Советского Союза, а также С. С. Вострцов, Я. Ф. Фабрициус и И. Ф. Федько. Трижды орденосносцами стали более 30 человек, дважды — около 300. Всего же краснознаменцами стали 15 тысяч красных героев, из них половина рядовых воинов и младших командиров¹⁰. И за каждым таким награждением стоял подвиг, а то и несколько героических дел. Нельзя без волнения читать представления к награждению, составленные, как правило, вскоре после боя, не всегда грамотные, но всегда передающие ту тревожную обстановку, в которой приходилось бороться Советской Республике.

В феврале 1925 года был представлен к награде красноармеец А. И. Вавилин. Гражданская война уже кончилась, но в Средней Азии еще продолжали сопротивляться остатки недобитых басмаческих банд. В бою с одной из таких банд, численностью в 650 человек, «красноармеец 4-го эскадрона (80-го кавалерийского Гиссарского Краснознаменного полка 7-й Отдельной Туркестанской кавбригады. — В. Д.) тов. Вавилин Аристарх Иванович проявил себя честным и стойким бойцом. Во время атак противника тов. Вавилин поддерживал дух бойцов личным примером, появляясь в самых опасных местах. Во время одной из атак был тяжело ранен командир эскадрона, каковой остался в десяти-пятнадцати шагах от противника. Вавилин, увидев это, бросился к командиру и начал отстреливаться от наседавшего противника, защищая своей грудью раненого командира и перевязывавшего его лекпомом. Тов. Вавилин был ранен в ногу, но он не выпустил винтовки и лежа продолжал отстреливаться от противника. Вторично ранен в плечо. Истекая кровью, он не бросает своего поста до тех пор, пока не было восстановлено положение и командир эскадрона был перенесен в более безопасное место. Ни одного стоны не вырвалось из груди тов. Вавилина. Тяжело раненный, он продолжал ободрять словами бойцов. Когда раненый командир эскадрона остался перед противником, он пытался застрелиться из нагана, дабы не попасть живым в руки противника. Наган дал три осечки, и в это время подбежал тов. Вавилин, отнял наган и со словами: «Пока я жив,



С. А. Хмаладзе.

я вас не брошу» — стал отстреливаться. Тов. Вавилин показал на личном примере, насколько в Красной Армии должно быть развито чувство товарищества и долга, а поэтому достоин награждения орденом Красного Знамени»¹¹.

Но при награждении командиров личной храбрости было еще недостаточно, в представлении к ордену Красного Знамени РСФСР одного из комбригов очень правильно сформулирован принцип, которым надо руководствоваться при выборе достойных отличия: «При представлении к Революционной награде лиц высшего состава, я полагаю, единственно достойным основанием к тому являются достигнутые под руководством данного лица тактические успехи и что проявление только личного мужества лицами высшего состава не является достаточным основанием для представления к награде, поскольку личное мужество является обязательным качеством старшего войскового начальника, тем более кавалерийского, и проявление в необходимых по обстановке случаях его является лишь исполнением служебного долга»¹².

Абсолютное большинство красных бойцов и командиров сражалось, проявляя невероятное мужество, не ради каких-либо наград и привилегий, а единственно во имя скорейшей

победы над врагом. Один из таких героев, Александр Соколов, командовал Казанским Сводным полком. За боевые успехи полк был награжден Почетным Революционным Знаменем, а его командира представили к ордену Красногос Знамени РСФСР. Александр Соколов «отклонил личную награду, избегая выделения из общей среды бойцов»¹³.

Семен Адамович Хмаладзе, профессиональный революционер, встретил революцию пожилым человеком, за спиной которого был большой опыт нелегальной работы, годы тюрем и ссылки, имел он и опыт боевой деятельности. Еще во время революции 1905 года Хмалад-

няя очередное задание партии по нелегальной доставке оружия, он был арестован в четвертый раз и опять сослан, на этот раз в Тобольскую губернию, на 3 года.

Февральскую революцию встретил в Царицыне, где принимал активное участие в арестах жандармов и полицейских. Организовал красногвардейский отряд. После Октября командовал Бакинским советским батальоном, Особым отрядом, был комиссаром 1-го Коммунистического бронепоезда имени В. И. Ленина, участвовал в боях с денikinцами. В 1920 году был отозван на Юго-Западный фронт и в качестве командира бронепоезда № 21,



Орден Красной Звезды
Бухарской Народной
Советской Республики
1-й степени.



Орден Красной Звезды
Бухарской Народной
Советской Республики
3-й степени.



Орден Труда
Хорезмской Народной
Советской Республики.

зе был избран командиром боевой дружины Красной гвардии города Баку, участвовал в боях с казаками. В 1906 году, когда полиции с помощью провокатора удалось разгромить подпольную типографию революционеров, С. Хмаладзе была поручена вооруженная экспроприация государственной типографии. С этим заданием партии он справился блестяще. После удачной экспроприации ему пришлось сменить фамилию и бежать. Но в 1908 году С. А. Хмаладзе арестовали и сослали в Вятскую губернию. 6 месяцев в ссылке — и снова побег, и снова арест. После окончания срока ссылки в 1911 году вернулся в Баку, где его вновь арестовали и выслали из города. Выпол-

носившего имя его боевых друзей А. Джапаридзе и С. Шаумяна, воевал с белополяками. После героической гибели бронепоезда стал командовать другим бронепоездом № 7, также получившим почетное наименование «имени Джапаридзе и Шаумяна».

В составе IX Красной Армии участвовал в разгроме белых и зеленых на Северном Кавказе, а затем в освобождении от меньшевиков Грузии.

Во время Тифлисской операции бронепоезд Хмаладзе отвлекал на себя весь артиллерийский огонь противника. С этой задачей он тоже справился. За участие в освобождении Грузии С. А. Хмаладзе был награжден ор-

денами Красного Знамени РСФСР, Азербайджанской и Грузинской ССР. Позднее за заслуги перед Советской Грузией его отметили также орденом Трудового Красного Знамени Грузинской ССР.

...Каждый день из подъезда одного из домов на улице Дружбы в Ереване выходит высокий, подтянутый человек в форме полковника пограничных войск. Седина на висках говорит, что за плечами у этого офицера большая жизнь.

Он спешит в гости к молодым пограничникам, к юным пионерам, к рабочим фабрик и заводов столицы Армении или к старым боевым друзьям, чтобы вместе вспомнить трудные, но наполненные важными событиями годы. Об этих событиях напоминают и многочисленные награды на груди ветерана.

Командир роты 3-го Армянского советского стрелкового полка Левон Карапетян свою первую награду — орден Красного Знамени Армянской ССР № 54 — получил в апреле 1921 года за отличия в боях с контрреволюцией. Еще 16 человек из роты Карапетяна с гордостью носили боевой армянский орден, в то время как в некоторых других частях Армянской Красной Армии было по 1—2 орденосца на полк. Недаром 8-я рота Левона Карапетяна получила почетное наименование Коммунистической. Вскоре на груди командира появился еще один боевой знак отличия — «Серебряная Звезда Армении». После окончания гражданской войны в Закавказье Левон Галустович Карапетян командовал отрядом армянских чекистов. Много смелых боевых операций провел отряд во главе со своим бесстрашным командиром. В 1923 году Карапетян становится пограничником. За отличия по охране государственной границы командование неоднократно награждало Левона Галустовича, в том числе несколько раз — почетным боевым оружием. С гордостью носил Л. Карапетян именную маузер с надписью: «За беспощадную борьбу с контрреволюцией от Коллегии ОГПУ». В 1932 году за успешную боевую работу по охране мирного труда советских людей Левон Галустович Карапетян был награжден орденом Трудового Красного Знамени Армянской ССР. А в годы Великой Отечественной войны к наградам, полученным ранее, прибавились орден Ленина, три ордена Красного Знамени СССР и много медалей.

В Советской Средней Азии борьба с остатками контрреволюционных сил была особенно тяжелой и продолжительной. За отличия в сражениях с врагами Бухарская Народная Советская Республика награждала своих воинов

орденом, который первоначально назывался Знаком Военного Отличия. Это была большая пятиконечная звезда, серебряная (2-й степени) или позолоченная (1-й степени), в центре которой помещалась маленькая, также пятиконечная, звездочка красной эмали — красноармейский символ. Национальный характер награды подчеркивался надписями на узбекском языке и маленьким полумесяцем. Позднее в документах эта награда получила название ордена Красной Звезды или Красного Полумесяца 1, 2 и 3-й степени (третья степень награды была в виде серебряной медали грушевидной формы с надписью «Защитнику Революции»). Некоторые наиболее отличившиеся воины Бухарской Красной Армии имели по две и даже по три национальные бухарские награды. Помощник военного комиссара 1-го Бухарского кавалерийского имени ЦК Бухарской компартии полка Ярулла Хасаншин первую свою награду, орден Красной Звезды БНСР 3-й степени, получил за бой под кишлаком Кушхана 2 ноября 1922 года. Следующей наградой, орденом 2-й степени, он был удостоен за отличие при уничтожении банды Астан-Корхулбека 6 февраля 1923 года. Наконец, высшую, первую степень бухарского ордена Я. Хасаншин получил за спасение окруженного басмачами отряда милиции¹⁴. Столько же наград Бухарской НСР имел и командир эскадрона того же полка Михаил Ульянов¹⁵.

Советская Россия прислала на помощь молодым и не имеющим опыта национальным частям Красной Армии лучшие свои силы, закаленные на фронтах гражданской войны. Не случайно, что многие русские красноармейцы и командиры с гордостью носили бухарские награды, которыми была отмечена их помощь в борьбе с басмачами в Средней Азии.

Комкор П. А. Павлов за отличия в борьбе с басмачеством был награжден орденом Красной Звезды БНСР 1-й степени. После этого П. А. Павлова отозвали в Москву на должность одновременно командира и комиссара командных курсов «Выстрел». Но в 1923 году, в связи с обострением обстановки в Средней Азии, Павел Андреевич снова возвратился туда — командиром XIII стрелкового корпуса. После нескольких удачно проведенных им новых операций против басмачей IV Всебухарский курултай (съезд) отметил его за услуги небывалой дотоле наградой — холодным оружием с прикрепленным к нему знаком бухарского ордена. В грамоте ЦИК Бухарской НСР, преподнесенной П. А. Павлову вместе с наградой, говорилось: «Благодарный бухарский народ в лице своего выборного органа четвертого Всебухарского курултая постано-



А. Т. Федин.

вил присудить Вам для ношения почетную серебряную шашку с орденом Военного Отличия первой степени на эфесе. Означенное отличие присуждается Вам, глубокоуважаемый товарищ Павлов, за Ваши победы над врагами бухарского народа». Текст грамоты был повторен на клинке, а ножны шашки украшены пятью миниатюрными золотыми знаками ордена¹⁶.

Впоследствии П. А. Павлов, уже награжденный к тому времени двумя орденами Красного Знамени РСФСР, был послан в качестве военного советника в Китай, к вождю китайской национальной революции Сун Ятсену. Много полезного для китайского народа успел сделать за короткий срок П. А. Павлов, но в июле 1924 года трагическая случайность оборвала его жизнь. Китайское правительство объявило саблю П. А. Павлова высшей военной наградой страны. Его имя было присвоено эскадрилье самолетов.

Солдат Андрей Федин, георгиевский кавалер, в первые же дни Октябрьской революции записался в Красную гвардию. Позднее, в Красной Армии, прошел боевой путь от военного комиссара эскадрона до командира и комиссара кавалерийской дивизии. Участвовал в установлении Советской власти на Украине, сражался с петлюровцами, немцами, воевал в 1-й Конной армии против Деникина, Краснова, Шкуро, Мамонтова, дрался с белополя-

ками и Врангелем. Позднее был направлен на борьбу с басмачеством в Среднюю Азию.

В 1933 году, учась в Военной академии РККА имени Фрунзе, во время партийной проверки он признался, что награжден пятью республиканскими орденами. Председатель партийной комиссии при аттестации А. Т. Федина смог назвать лишь один его недостаток: «Существенный недостаток тот, что он слишком скромн. Большой человек, и ему, так сказать, по штату положено. Например, возьмем хотя бы с орденами. Долгое время мы не знали, что у него есть пять орденов, так же как не знали, что он член ЦИК. Никаких внешних признаков»¹⁷.

Почетнейший орден — «Красное Знамя» РСФСР А. Т. Федин получил при особых обстоятельствах — за блестящую операцию по ликвидации одного из последних очагов басмачества в Средней Азии в 1929 году. В дни работы 2-го съезда Советов Таджикской ССР на территорию республики вторглись банды басмачей Фузайла Максума. А. Т. Федин узнал об этом во время заседания съезда, на котором он присутствовал в качестве члена ЦИК республики и делегата. Получив известие, что басмачи взяли Гарм, Федин покинул заседание и на самолете с двумя бойцами полетел в Гарм. Сев неподалеку от захваченной врагами крепости, Федин обнаружил лишь один взвод красных кавалеристов. Больше в его распоряжении войск не оказалось, но это не смутило смелого комбрига.

Взлетев на коня, он повел взвод в атаку на многочисленного врага. Когда басмачи увидели впереди атакующих красных конников человека с ромбами в петлицах, то решили, что на них идет целая бригада Красной Армии. Бандиты в панике бежали. Гарм был освобожден.

Еще одной боевой награды — ордена Красной Звезды БНСР 1-й степени — А. Т. Федин был удостоен раньше, в 1924 году, также за успешную борьбу с басмачеством¹⁸.

После национально-территориального размежевания в Советской Средней Азии в 1924 году вновь образованные республики — Узбекская, Таджикская и Туркменская — учредили свои национальные ордена. Как трудовые успехи, так и отличия в завершении разгрома контрреволюционных сил отмечались орденами Трудового Красного Знамени. 22 февраля 1928 года «за исключительную работу по советскому строительству Красной Армии» Андрей Трофимович Федин награждается орденом Трудового Красного Знамени Узбекской ССР¹⁹. Всего же Андрей Трофимович носил два узбекских трудовых знака отличия. В 1930 году, в связи с 13-й годовщиной Великого Октября

и десятилетием свержения власти бухарского эмира за «многочисленные труды, понесенные на фронте социалистического строительства, а также многочисленные подвиги, примеры высокой доблести и героизма, проявленного в период борьбы и ликвидации басмачества, и бесконечную преданность делу пролетарской революции» Андрей Трофимович Федин был награжден орденом Трудового Красного Знамени Таджикской ССР²⁰

Другие советские республики, не имевшие боевых орденов, награждали за военные отличия также орденами Трудового Красного Знамени. Так, орден Трудового Красного Знамени Украинской ССР получила большая группа военнослужащих, а также некоторые воинские части, например, 1-я Запорожская имени Французской компартии и 2-я Черниговская имени Германской компартии дивизии Чervoного Казачества — за большие достижения в боевой подготовке, а также за большую общественно-политическую работу и помощь колхозам в районах расквартирования. Красным Знаменем с изображением украинского трудового ордена была награждена 44-я армейская дивизия — за помощь крестьянам в посевной кампании и охрану урожая от бандитов и кулацких элементов.

Белорусский орден Трудового Красного Знамени получили право носить на своих знаменах 8-я авиабригада, 8-я Минская дивизия, 7-й конноартиллерийский полк. В январе 1932 года трудовым орденом Белоруссии были награждены пограничные войска ОГПУ БССР «за героическую преданность войск Погранохраны делу революции, большие заслуги в охране советских границ, а также и большую работу по укреплению хозяйственно-политического состояния пограничных районов»²¹.

Орденом Трудового Красного Знамени БССР была отмечена Объединенная Белорусская Военная Школа имени ЦИК БССР и ее начальник и комиссар И. И. Василевич. Белорусский орден получил герой гражданской войны, кавалер трех орденов Красного Знамени РСФСР комкор В. К. Путна, а также многие другие активные участники гражданской войны и борьбы с бандитизмом.

Вера Захаровна Хоружая, прославленная белорусская подпольщица, секретарь подполь-

ного ЦК комсомола Западной Белоруссии до ее воссоединения с СССР, активная участница партизанской войны с фашистами на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза, еще в довоенное время была награждена орденом Советской Белоруссии.

В РСФСР, имевшей и боевой, и трудовой ордена, ВЦИК считал возможным наградить несколько воинских частей и соединений орденом Трудового Красного Знамени республики. За проявленный героизм в борьбе с наводнением трудовой орденом РСФСР прикрепили к своим боевым знаменам 2-я Приамурская стрелковая дивизия, 220-й Славянский полк 74-й стрелковой дивизии и 19-й авиаотряд «Дальневосточный Ультиматум»²².

Как известно, Владимир Ильич Ленин в силу своей необычной скромности пресекал неоднократные попытки наградить его советским орденом. Лишь в 1922 году он принял орден Труда Хорезмской НСР, которым был награжден от имени ЦИК Хорезмской республики. В письме, которое ЦИК ХНСР направил одновременно со знаком ордена Труда, говорилось: «Дорогой товарищ! С радостью извещаем Вас, что мы приступили к мирному строительству Советского Хорезма. Мы, придерживаясь строго Ваших заветов, делаем все, чтобы (...) слить все народы Хорезма в единую братскую семью. Мы принялись за устройство жизни наших дехкан, следуя Вашим словам, которые глубоко запали в сердце каждого из нас. Мы занялись организацией своей промышленности, развития которой не допускала прежняя царская колонизаторская политика, и в этом опять-таки руководствуемся Вашими начертаниями новой экономической политики. В память второй годовщины Хорезмской революции мы установили орден Труда для наших героев труда. Мы просим Вас, дорогой и любимый наш учитель, принять этот орден согласно постановлению Центрального Исполнительного Комитета и носить его как символ освобождения труда на Востоке после многовекового рабства»²³.

Орден сейчас хранится в Центральном музее Владимира Ильича Ленина.

В мае 1970 года, в дни празднования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, мотоколонна хорезмских мотоциклистов, проехав через пять республик и девять областей, доставила в Ульяновск, на родину вождя, макет ордена Труда ХНСР.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Декрет ВЦИК Советов № 742 от 16 сентября 1918 года.

² Собрание Узаконений РСФСР № 1 от 3 января 1921 года.

³ ЦГАСА, ф. 37 837, оп. 3, д. 96, л. 9.

⁴ Как вариант основной эмблемы будущей награды предлагалась также красная гвоздика, перевитая красной ленточкой (ЦГАОР, ф. 1235, оп. 35, д. 16, л. 5а).

⁵ «Вопросы истории», 1963, № 9, с. 197.

⁶ СУ РСФСР, № 39. 19 мая 1920 г., № 176.

⁷ Приказ РВСР № 106, 28 апреля 1922 г.

⁸ СУ РСФСР № 48, 1 июня 1920 г.

⁹ Пятый орден Красного Знамени В. К. Блюхер получил за работу в качестве военного советника при революционном правительстве Китая, возглавлявшемся до 1925 года Сун Ятсеном.

¹⁰ «Красная Звезда» № 217 (1413) от 16 сентября 1928 года.

¹¹ ЦГАСА, ф. 895, оп. 1, д. 444, л. 182.

¹² Там же, д. 467, л. 75.

¹³ Там же, ф. 26, оп. 1, д. 289.

¹⁴ «Год семнадцатый». Альманах третий. Под редакцией М. Горького и др. М. 1933, с. 394.

¹⁵ ЦГАСА, ф. 37 837, оп. 1, д. 815, л. 69—71.

¹⁶ Там же, оп. 19, д. 33, л. 17.

¹⁷ Быков Д. Комкор Павлов. М., 1965, с. 66—67.

¹⁸ Гос. Архив, ОФОР, ф. 47, оп. 1, д. 4674, л. 210.

¹⁹ ЦГА Узб. ССР, ф. 86, оп. 1, д. 4674, л. 210.

²⁰ ЦГА Таджикской ССР, ф. 11, оп. 3, д. 24, л. 209—210.

²¹ Собрание Узаконений БССР, № 8, 5 апреля 1932 г. Ст. 34.

²² ЦГАОР, ф. 1235, оп. 136, д. 19, л. 34.

²³ Письма трудящихся к В. И. Ленину. 1917—1924 гг. 1960. с. 362.

Прометей: Ист.-биогр. альманах сер. «Жизнь
П 18 замечательных людей». Т.13/Сост. В. И. Калугин.—
М.: Мол. гвардия, 1983.—366 с., ил.

2 р. 60 к. 200 000 экз.

В тринадцатый том историко-биографического альманаха серии «ЖЗЛ» «Прометей» вошли неопубликованные и малоизвестные материалы о жизни и творчестве Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, А. А. Блока, М. М. Пришвина, документы к биографии народовольца В. Ф. Троцкого, первых советских наркомов Н. В. Крыленко и Н. А. Милютина, а также исторические очерки о первых черноморцах, герое Отечественной войны 1812 года Я. П. Кульнев, о знаменитом советском летчике С. А. Леваневском и др.

5000000000 — 202
П —————
078(02) — 83

Без объявл.

ББК 63.3(2)
9(С)

ИБ № 2796

ПРОМЕТЕЙ. Т. 13

Редактор-составитель В. Калугин

Художник Р. Тагирова

Художественный редактор А. Степанова

Технический редактор Н. Носова

Сдано в набор 04.08.82. Подписано в печать 08.08.83. А05267. Формат 70×100^{1/16}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Условн. печ. л. 29,9. Учетно-изд. л. 39,2. Тираж 200 000 экз. (100 001 — 200 000 экз.) Цена 2 р. 60 к. Заказ 1266.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

**Выпуски историко-биографического альманаха
«Прометей» серии «Жизнь замечательных людей»**

Том первый. 1966 г.

Том второй. 1967 г.

Том третий. 1967 г.

Том четвертый. 1967 г.
(История военной интервенции
и гражданской войны в СССР)

Том пятый. 1968 г. (История ВЛКСМ)

Том шестой. 1968 г.

Том седьмой. 1969 г.

Том восьмой. 1972 г.

Том девятый. 1972 г.

Том десятый. 1974 г. (А. С. Пушкин)

Том одиннадцатый. 1977 г.

Том двенадцатый. 1980 г. (Л. Н. Толстой)

Том тринадцатый. 1983 г.

**Выпуск четырнадцатого тома альманаха «Прометей»
планируется на 1985 г.**



PROVEN

JEFFREY

13